



◆ Д. В. ◆
ГРИГОРОВИЧ



2

Д. В. ГРИГОРОВИЧ

Сочинения

Д·В· ГРИГОРОВИЧ

Сочинения

Д·В· ГРИГОРОВИЧ

СОЧИНЕНИЯ

В трех томах



МОСКВА

«Художественная литература»

1988

Д·В· ГРИГОРОВИЧ

СОЧИНЕНИЯ

Том второй

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

1856-1892

ДРАМАТИЧЕСКИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1873·1891



МОСКВА

«Художественная литература»

1988

ББК 84Р1
Г83

Составление, подготовка текста
и комментарии
А. А. МАКАРОВА

Оформление художника
И. М. ГИРЕЛЬ

Г $\frac{4702010100-180}{028(01)-88}$ 3-88

ISBN 5-280-00063-9 (Т. 2)
ISBN 5-280-00061-2

© Состав, комментарии, оформление. Издательство «Художественная литература», 1988 г.



ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

1856-1892







ПАХАРЬ

(Повесть)

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

I

...Звонили к вечерне. Торжественный гул нескольких сотен колоколов усиливался постепенно и разливался мягкими волнами над Москвой. При ярком блеске весеннего солнца, начинавшего клониться к западу, Москва казалась волшебным, золотым городом. В эти часы весенних ясных вечеров Москва ни с чем сравниться не может! Но все-таки не нахожу слов, чтобы передать радостное чувство, которое овладело мной при расставании с городом. Я как будто воскрес душой, когда миновал Замоскворечье, проехал последнюю улицу, обставленную трактирами, запруженную народом, подводами, сайками, калачами, баранками, и очутился, наконец, за заставой.

Шум и возня, превращающие близость застав в многолюдный базар, делают еще заметнее резкий переход из города на поле. С каким наслаждением откидываешь верх тарантаса! А между тем впечатление еще не полно: долго попадаются возы с телятами, овощами и припасами всякого рода, встречаются толпы каменщиков, плотников и других рабочих. Все это невольно приводит на память городскую возню и суматоху, которую только что покинул и которая так давно наскучила. Время от времени приходится проезжать длинные села с каменным барским домом, как бы перенесенным сюда прямо с Тверского бульвара. На улице народ в картузах и синих мещанских кафтанах; бабы в штофных коротайках; парни похожи на фабричных щеголей; девки с бойкими глазами и пухлыми, белыми руками, никогда не бравшими серпа. Все почти подворотни превращены в лавочки: везде весы, баранки, деготь и ободья; в окнах неуклюжие самовары. Верст за десять и даже более от заставы встречаются щегольские, расписанные цветами тележ-

ки, в которых величественно восседает толстая мешанка с золотисто-фиолетовым платком на голове; рядом помещается такой же толстый сожитель, мешанин, — купец, поставляющий крупу или муку в один из столичных лабазов... И долго, еще долго будут попадаться давно наскучившие и как бы скроенные на один лад физиономии; долго станет преследовать звяканье медных пятак, смешанное с тем несносным, одуряющим голову дребезжаньем, которое преследует вас в городе и днем и ночью. Приморские жители уверяют, что звук, который слышится в больших раковинах, происходит оттого будто бы, что в их пустоте навсегда остается шум моря: «море нашумело», говорят они. Надо полагать, человеческое ухо, как эти раковины, если не всегда, то надолго способно сохранять шум города. Город давно уже успел исчезнуть; исчезли постепенно и самые признаки городской суетливости; даже колокольный звон, долго покрывавший все остальные звуки, тонул и терялся в пространстве. Но все еще в ушах раздавались шум и трескотня улиц, грохот экипажей, хлопотливый говор, знакомые голоса и восклицания... Я страшно тяготился городом!..

Разлука с ним чувствительна для тех, кто оставляет за собой особенно близких людей или особенно дорогие воспоминания; но когда нет ни тех ни других, когда покидаешь одну суетную, мелкую жизнь, оставляющую после себя чувство умственной и душевной усталости и, непременно, чувство какого-то неудовольствия и даже раскаяния, — разлука с городом делается сладостной выше всякого описания. Понятно тогда, почему так заботливо стараешься забыть все прошлое; понятно, почему сердце так только вот и рвется вперед и вперед к этому бескрайнему горизонту, полному такой невозмутимой, такой торжественной тишины...

С каждым шагом вперед, кругом делалось тише и тише, воздух свежее и свежее. Я нетерпеливо ждал минуты, когда прощусь с большой дорогой. К счастью, недолго было дожидаться: на пятнадцатой версте я повернул на проселок.

II

И вот я снова в полях, снова на просторе, снова дышу воздухом, пахнущим землей и зеленью!

Чудный был вечер! Солнце было еще высоко над

горизонтом: оставалось час или полтора до заката. Прозрачное, безоблачное небо дышало свежестью; оно сообщало, казалось, свежесть самой земле, где на всем виднелись признаки юности. Апрель приближался к концу. Весна была ранняя, дружная; снег давно сбежал с полей. Повсюду, направо и налево от дороги, вдали и вблизи, по всем буграм и скатам, зеленели озими, освещенные косвенными золотыми лучами; тонкие полосы межей были еще темны; над ними, вместо тучных кустов кашки, донника, ежевики и шиповника, лоснились покуда пунцовые прутья и подымались ноздреватые, пересохнувшие стебли прошлого года; кое-где разве развевался и сквозил мягкий, как бархат, лист земляники. Но как уже хорошо было в поле! Тишина необыкновенная. Так тихо, что ни одна былинка не покачет головкой; а чувствуешь, между тем, — слышишь даже, что весь этот неоглядный простор земли и воздуха наполнен жизнью и движением. Напрягаешь слух, жадно прислушиваешься... И — странно! — звуки эти радостно даже как-то отдаются в душе и тешат ее... совсем не то, что в городе... В блестящей глубине небесного свода не видать жаворонка; но воздух наполнен его переливами. В каждой борозде, в чаще мелкой травы, в озимях слышатся писк, шорох. Далеко в рощах воркует горlinkа и перелетают с места на место дикие голуби. Все оживает: в самой тонкой ветке, в самых нежных стебельках движется свежий сок, хлынувший из корня, которому так тепло теперь под землю, нагретой солнцем. Мириады насекомых роями жужжат в воздухе, снуют и качаются на гибких травках молодой зелени. Солнце везде и всюду: солнце насквозь пронизывает густые чащи, не успевшие еще заслониться листом; солнце донимает в глубине лесов и оврагов остатки рыхлого, почерневшего снега; солнце жаркими лучами обливает поля, где сквозь редкую еще зелень блистают новые отпрыски озимого хлеба и желтеет прошлогоднее, дотлевающее жнивье. С каким наслаждением выставляешь на вешнее солнце спину и обнаженную руку! В воздухе уже не чувствуешь той проникающей сырости, которая заметна в первую весеннюю пору, когда реки в разливе: реки вступили в берега свои. Вода сквозила и отражала чистую синеву неба; леса — особенно, если смотреть на них сбоку, — видимо почти опушались. Еще два-три такие дня, и птицы,

которые поминутно встречаются с соломинкой или перышком в носу, начнут вить свои гнезда в защите под куполами и сводами молодых листьев.

Местами проселок был влажен; но нигде не было следа грязи: колеса катились как по бархату, оставляя по чернозему следы, как бы покрытые лаком. Славное было время для путешествия!

III

Мне следовало проехать около двухсот верст по этому проселку. Недалеко, кажется, но, в сущности, это целое странствование: предстояло переехать Оку, на которой, судя по времени, не успели еще навести моста; было на пути еще несколько маленьких речек, которые переезжаются обыкновенно вброд, потому что мосты на них обманчивее всякого брода. Но я не скучал этим.

Надо вам сказать, я с детства чувствую особенное влечение к нашим русским проселкам. Если судьба приведет вас когда-нибудь случай ехать по России, если при этом вам спешить некуда, вы не слишком взыскательны в отношении к материальным условиям жизни, а главное, если вам страшно наскучит город, советую чаще сворачивать с больших дорог: большие дороги ведь почти те же города! Это бесконечно длинные, пыльные и пустынные улицы, которыми города соединяются между собой; местами та же суета, но уже всегда и везде убийственная скука и однообразие. От Петербурга до Харькова, от Москвы до Перми — те же станционные дома, те же вытянутые в ряд села и деревни, предлагающие овес, деготь, кузнеца и самовар; вам мечутся в глаза те же полосатые версты, те же чахлые, покрытые едкой пылью ветелки, те же ямщики. Вся разница в том, что один ямщик говорит на «о» и носит шапку на манер гречишника, а сто верст далее делают ударение на «щ», и шапка его несколько приплюснута. «От Мурома до Нижнего столько-то, и столько-то от Орла до Тамбова!» — вот все, что узнаете вы на больших дорогах.

То ли дело проселки! Вы скажете: поэзия! Что ж такое, если и так? И, наконец, если хотите знать, поэзия целой страны на этих проселках! Поэзия в этом случае получает высокое значение. Правда, вам

не предложат здесь баранков, вы часто исходите целую деревню и не найдете самовара; не увидите вы здесь ни пестрых столбов, ни вётел, ни станций; не вытягиваются проселки по шнуру; не трудился над ними инженер — все это совершенная правда: их попросту протоптал мужичок своими лаптишками; но что ж до этого! Посмотрите-ка, посмотрите, какой частой, мелкой сетью обхватили они из конца в конец всю русскую землю: где конец им и где начало?.. Они врезались в самое сердце русской земли, и станьте только на них, станьте — они приведут вас в самые затаенные, самые сокровенные закоулки этого далеко еще не изведенного сердца.

На этих проселках и жизнь проще и душа спокойнее в своем задумчивом усыплении. Тут узнаете вы жизнь народа; тут только увидите настоящее русское поле, с тем необъятно-манящим простором, о котором так много уже слышали и так много, быть может, мечтали. Тут услышите вы впервые народную речь и настоящую русскую песню, и, головой вам ручаюсь, сладко забьется ваше сердце, если только вы любите эту песню, этот народ и эту землю!..

IV

Посмотрите теперь, какое здесь разнообразие. Проселок, цепляясь с другими, бежит вперед и вперед, открывая поминутно новые виды: где деревушку, которая боязливо лепится по косогору, где пруд с головастыми вётлами, осокой и дощатым плотом — на нем толпа баб с вальками и коромыслами — пруд, отражающий клочок неба и кровлю перекосившейся избышки; где группу кудрявых дубков с вьющимися над ними галками и отдыхающим в стороне стадом; где гладь, бескрайнюю, необозримую гладь полей, и посреди ее, на каком-нибудь перекрестке, одинокий крест или часовню; где лощину, покрытую частым орешником и перерезанную ручьем, который пересох в песчаном дне, усеянном угловатыми камнями. Вы спускаетесь на мост, который, едва прикоснулись к нему копыта лошади, весь как будто переполнился страхом; дрожит он всеми своими суставчиками; дрожит, опасаясь, вероятно, за свое собственное существование столько же, сколько за жизнь смельчаков, которые так

беззаботно вверяют ему свои кости. С диким криком и верезгом поднялась стая чибисов, испуганных шумом... И вот снова поднялись вы по косогору, снова на проселке, и снова пошли направо и налево новые виды: где клин соснового бора, который глянул для того, кажется, чтобы тотчас же скрыться; где снова зеленеющие пажити, с движущимися тенями туч и косыми полосами ливня на горизонте; а вот и большое село с белой церковью на бугре, речкой, отражающей старинный липовый сад, лугами, избами, скворечницами и колодезным журавлем, высоко чернеющим в небе... И как, право, хороши эти виды!

V

А между тем, чем далее подвигался я в глубину полей, тем тишина, меня окружавшая, делалась все торжественнее. Солнце село; вместе с ним угасла, казалось, и самая жизнь: смолкли хоры, смолкла гармоническая музыка, наполнявшая весь день и воздух и землю. Темно-синий горизонт разлился по небу, и загорелись звезды...

На другой день, вечером, я приближался к цели моей поездки. Беззаботное, счастливое настроение духа, которое не оставляло меня во всю дорогу, стало изменять мне; сам не знаю отчего, но кровь волновалась сильнее; я начинал чувствовать то внутреннее беспокойство, которое предшествует всякому ожиданию, как радостному, так и печальному. Когда я поднялся на холм, откуда видны были сначала деревня, потом роща, а за ней кровля дома, сердце мое забило вдруг необыкновенно сильно.

Не верьте, пожалуйста, нашим столичным умникам, которых мы же сами, не находя им другого названия, а может быть, просто, из снисхождения, прозвали людьми с строгим, философским складом ума. Посмеиваясь над самыми простыми, естественными и, уж конечно, лучшими нашими чувствами, называя их действием воображения или слезливо-сентиментальными выходками, они, я уверен, слову не верят из того, что проповедуют: они только рисуются перед нами. Ведь только глупцы могут потешаться над тем, чего не знают или чего сами сознательно не переживали. Философия наших знакомых — больше ничего как

фразы, сухое и очень дешево доставшееся резонерство. Истинная философия состоит в убеждении, что лишнее умничанье ни к чему не ведет. Счастье заключается в простой жизни; просто живут те только, которые следуют своим побуждениям и доверчиво, откровенно отдаются движениям своего сердца. Дайте любому философу живописный участок земли, дом — какой-нибудь уютный, теплый уголок, скрытый как гнездо в зеленой чаще сада; пускай вместе с этим домом соединятся воспоминания счастливо проведенного детства, — и тогда, поверьте, подъезжая к нему после долгой разлуки, он искренно сознается, что вся философия его — вздор и гроша не стоит!

VI

С каждым поворотом колеса я приподымался и нетерпеливо вытягивал шею. Глаза с жадностью перебежали от ряда знакомых ветел к крыше дома, которая начинала выглядывать из-за угла старого сада. Я уже мысленно ступал по тропинке, протоптанной через двор, она вела к липовой аллее — свидетельнице моих детских игр, первых моих слез и первых радостей. Существуют ли еще качели, привешенные к шесту между двумя старыми деревьями?.. Что случилось с моим садиком, который занимал всего аршин, но казался мне тогда великолепным парком?.. Все ли еще существует и белеет на своем месте, за ветхой стеной амбара, каменная плитка, под которой, обливаясь когда-то слезами, хоронил я умершего воробья... Я превращался в ребенка; я волновался и радовался, как будто меня ждала там и простирала ко мне руки вся минувшая моя юность; как будто ждало меня там бог весть какое счастье!..

VII

А счастья, право, никакого не было! Дом мой опустел давным-давно, никто не махал мне издали платком; никто не бежал к околице; никто меня не встретил. Самый дом глядел угрюмо, неприветливо своими серыми бревенчатыми стенами, наглухо заколоченными ставнями, заброшенным палисадником и полуобва-

лившимся плетнем, из которого половина кольев была вынута.

И все-таки — не странно ли это? — в душе моей ни тени тоскливого чувства! Кроме сладких воспоминаний детства, в сердце постепенно рождалось еще другое ощущение... сказать ли вам? я радовался тому именно, тому радовался, что никто не встретил меня, никто, в эту минуту, обо мне не думал и не заботился!.. Я вошел в этот опустелый дом с тем же радостным биением сердца, с каким подъезжал к нему. Не вините меня в мизантропии или, вообще, в расположении к мрачному одиночеству. Не нужно быть вообще мизантропом, чтоб чувствовать иногда сильнейшую потребность умственного, душевного спокойствия. Я просто утомился городом и искал тишины.

VIII

Мне случалось встречать людей, горячо привязанных к семейству. Вдруг, среди самой счастливой обстановки, сами сначала не сознавая этого, начинали они предаваться неслыханной тоске. И в мыслях, и на языке была одна только мысль: уехать, исчезнуть куда-нибудь, где бы ничто не напоминало прерванных на время связей; и все это без малейшего повода со стороны семейства или внешних каких-нибудь обстоятельств.

В числе убеждений, вынесенных мною из жизни и внушенных мне опытом, находится, между прочим, следующее: очень часто свет удивляется продолжительности некоторых сердечных связей. Вся тайна заключается в препятствиях, которые ставит этот же самый свет между связанными людьми и мешает им не только неразрывно делить жизнь, но даже мешает беспрестанно видеться. Уничтожьте препятствия, и тогда, наоборот, все станут удивляться непрочности сердечных привязанностей. Счастье многих и многих семейств поддерживается только временными разлуками. Иное сердце пресыщается скоро, другое медленнее; но все равно испытывают пресыщение. И, наконец, даже и без этого чувства, так уж душа бывает иногда настроена, что полное, глубокое одиночество кажется единственным блаженством существования. В такие минуты самые ласковые речи, самая искренняя, задушевная нежность способны только раздражать нервы.

Дом мой расположен как нельзя удобнее: он отделен от деревни; между ними холм и роща; из деревни не доходит ни одного звука, кроме лая собак и петушиного крика на заре. Самая деревня находится в исключительно благословенном положении: она как бы затеряна в глубине уезда между нескончаемыми полями и рощами.

Первым движением моим, как только я вошел в комнату, было отворить окно в сад. Ночь сменила сумерки. Высокие липы обступали сад; кусты, разбросанные в беспорядке и успевшие уже в эти два дня опуститься зеленым, сливались местами в одну совершенно темную массу и неопределенно круглились между дорожками, которые слегка серебрила роса. Слева только, между черными как уголь стволами, светлела часть пруда; в ней, как в чистом зеркале, неизбежно отражались синее небо и робко мерцающие звезды. Струи воздуха, пробежавшие перед закатом, не трогали теперь ни одной ветки. Запах вечерней росистой мглы, смешанный с запахом почек, молодых отпрысков, и запахом прошлогоднего листа, проникал, казалось, каждый атом воздуха и медленно курился над садом. Самое полное, самое невозмутимое безмолвие распространялось не только вокруг, но даже далеко по всей окрестности.

Я опустил на окно, отдаваясь весь новому сладчайшему впечатлению. Слух мой, освобожденный от трескотни города, получил страшную чуткость; но тишина окрестности ничем не нарушалась. Изредка чиликнет внезапно пробудившаяся птичка, прожужжит запоздавший жук, стучаясь рогатой головкой о сучья, или послышится треск молодой ветки, которая распахнулась от избытка свежего сока, и снова воцаряется молчание...

Влияние тишины, царствующей над полями, вполне может быть доступно тем только, кто долго тяготился тревожными житейского моря, чей слух и чьи нервы многие годы постепенно тяготились и раздражались безумной суматохой города. Я чувствовал, как тишина вливалась в душу и как делалось в ней и покойнее, и светлее.

Х

Каждый день, прожитый здесь, приводит меня к убеждению, что сельская жизнь улучшает человеческую природу. Не считая того, что она ставит в необходимость жить больше с самим собой, представляет мало развлечений и тем самым сосредоточивает мысли и делает их яснее, одно из главных преимуществ ее заключается в том, что она значительно усмиряет нашу гордость.

Влияние ее в этом случае совершенно противоположно влиянию города.

Там все заставляет нас много о себе думать: стесненные в домах и улицах, которые кажутся широкими только сравнительно, встречая на каждом шагу тысячи предметов, изобретенных человеком, мы невольно начинаем считать себя чем-то особенно важным. Все подтверждает уверенность в наше могущество, силу и способности. Здесь впечатления совсем другого рода: здесь уже давит нас один этот простор, которым окружены мы с утра и до вечера. На улицах, между домами, точно делаешься заметным; здесь — превращаешься почти в ничто, в едва видную точку. Ваша власть уничтожается, как ваши размеры: здесь все растет, создается, разрушается и движется, не обращая на вас ни малейшего внимания, не спрашивая ни вашего совета, ни вашего разрешения.

В городе отдаешь себе ясный отчет в своем гордом удивлении и, надо сказать, тотчас же переносишь частицу этого удивления к себе самому; здесь — удивляешься молча. Ум, пораженный бесконечным совершенством природы над совершеннейшими делами рук человеческих, пораженный всегдашним ее величием, смиренно сознает свое детское бессилие.

ХІ

Здесь встречаются так же, как и везде, неудачи, препятствия, неприятности; но, если не выходишь из мирной сферы сельской жизни, самые эти неудовольствия не раздражают духа: в них всегда есть что-то примирительное. И в самом деле, на кого здесь пенять? На дождик ли, который не вовремя упал на вашу ниву? на запоздалую ли весну и холодные утренни-

ки, которые задерживают рост травы и озимей? не червь ли, подточивший корень вашего хлеба, или на град, скомкавший широкое поле ржи, так приветливо золотившееся на июньском солнце и обещавшее такую богатую жатву?.. Никто в этом не виновен. Горе «не от человека». «Так, знать, богу угодно!», «Его на то святая воля!..» — скажет вам здесь простолюдин. Вместе с этой нивой он и семья его теряют, однако ж, спокойствие целого года. Мысль эта является здесь беспрерывно. Горе, поразившее вас, велико; но оно не оставляет раздражения в сердце, не возбуждает бесполезного, грешного ропота. Свыкаясь с жизнью полей, привыкаешь мало-помалу отдавать все помыслы свои на волю Провидения. Существование, порученное, таким образом, в исключительное распоряжение Промысла, привычка покоряться постоянно его воле дают здесь, мне кажется, то душевное спокойствие, которое так напрасно ищешь в общественной жизни и городе, где все, более или менее, зависит от нас же самих или таких же, как мы, смертных. Жизнь течет здесь ровно, покойно. Когда живешь сознательно и честно, не знаешь, что значит «убивать время». День проходит незаметно.

Глазам не веришь, когда, подняв голову, видишь, что солнце давно обогнуло половину неба.

XII

Сильно также действует на душу ближайшее знакомство с бытом простого народа.

До сих пор, сколько я ни замечал, мне казалось всегда, что образованный класс общества всегда сочувствовал этому быту. Жизнь народа, была ли она изображена в книге или на полотне, всегда трогала и привлекала человека. Популярность таких художников, как, например, Леопольд Робер, успех многих сочинений, как древних, так и современных, только и объясняются этим тайным сочувствием к народу, к сельской жизни и всей наивной ее обстановке. Как, однако ж, после этого растолковать себе испуг, который все решительно обнаруживают при столкновении с самой действительностью?.. Виновата ли эта действительность, если праздность, городская скука и неведение сельского быта внушают нам мечтания

о каком-то небывалом, часто совершенно идиллическом мире?.. Настроенные таким образом, мы, конечно, не находим в деревне того, чего искали. Разочарование ждет нас уже у самой околицы...

Сельская жизнь приучает смотреть на тот же предмет здраво, без преувеличения. Взгляд этот скоро примиряет с народом. Грубая его сторона находит свое оправдание в непросвещении и общих свойствах человеческой природы; она за ним и останется. Но зато какие сокровища добра и поэзии открывает другая сторона того же народа! Кого не удивит и вместе с тем не тронет слепая вера в Провидение, — этот конечный смысл всех философий, этот последний результат мудрствований и напряжений человеческого разума? Кого не тронут эти простодушно-детские мысли и вместе с тем этот простой, здравый смысл, не стремящийся напрасно разгадывать тайны природы... нет! но принимающий дары ее с чувством робким, но радостным и исполненным величайшей благодарности? Кто не умилится душой при виде этого всегдашнего, ежедневного труда, начатого крестным знаменем и совершаемого терпеливо, безропотно?

Когда откроется перед вами картина широкого простора и на ней живой пример тяжкого труда и простой, первобытной жизни, все ваши идиллии, плод праздной фантазии, покажутся вам мелкими до ничтожества! Присмотритесь, и вы увидите, что поэзия действительности несравненно выше той, которую может создать самое пылкое воображение!..

ПРОГУЛКА

XIII

Наступало время, когда, после долгой зимы, поселянин снова выезжает в поле; когда, приладив соху в сошник, праздно лежавший столько времени и успевший покрыться ржавчиной, пахарь делает его чище серебра, взрывая согретую солнцем землю. Наступало время первой пахоты и первого посева. Я отправился в поле.

Вечер был чудесный, — такой же почти, как когда я, несколько дней тому назад, подъезжал к дому. Круглые облака опалового цвета, с белыми сверкаю-

щими краями, как бы выкованными из светлой жести, почти недвижно стояли в небе, открывая глубокие темно-голубые просветы. Окрестность наполнялась радостным сиянием. Листья окончательно распустились, и зелень блистала повсюду; у опушек роц попадались фиалки и ландыши; бледно-розовые и белые колокольчики повилики, которая с первым дуновением весеннего ветра быстро переплетает старое жнивье, начинали пестрить поля и разливали в недвижном воздухе тонкий миндальный запах. Солнце, несмотря на первые дни мая и пятый час вечера, пекло как в июле. Но меня не пугали ни жар, ни дальность расстояния (поля, куда я направлялся, считаются у нас самыми отдаленными от жилья). Следовало пройти холм и роцу, которые отделяют меня от деревни, миновать самую деревню и перейти речку. После моста дорога пошла тотчас же в гору. Волнистые скаты горы, то круглые и поросшие кустарником, то спускающиеся мягкими склонами и покрытые местами березовыми и сосновыми лесочками, составляют правый бок зеленеющей, живописной долины: на дне ее полукруглыми извилинами блестит речка. Вершины этих скатов позволяют обозревать всю окрестность; но прежде, чем достигнешь такой высоты, приходится очень долго подыматься.

Я почувствовал наконец, что дорога стала как бы опускаться; вместе с этим воздух сделался подвижнее. Окрестность открылась как на ладони; деревня казалась подле самого моста; дом, холм и березовая рощица казались примыкавшими теперь к деревне. Все это — и дом, и сад, и деревня, принимали теперь вид тех игрушек, где стебли мха изображают деревья, кусочки зеркала — речку. Овцы, рассыпанные по лугу на дне долины, мелькали как белые крапины, которые то сверкали на солнце, то исчезали посреди длинных голубых теней, бросаемых облаками. Поля занимали всю вершину горы; она была срезана как ножом и представляла версты на две гладкую, как стол, поверхность. Горизонт замыкался только небом и, слева, опушками роц, которые спускались в долину; облака на дальнем горизонте выходили как будто из земли.

По мере того как я подвигался вперед, ветер делался заметнее. Иногда меня обдавало теплом как из жерла раскаленной печки, и вместе с этим сильнее приносился тучный запах земли, которым так легко,

однако ж, дышится. Крики: «Возле, возле!» — которыми пахари понукают лошадь, заставляя ее в то же время идти подле соседней борозды, доходили явственнее. Вскоре передо мной совсем открылось поле, облитое солнцем и оживленное пахарями, лошадьми, подводами, глухим жужжаньем насекомых и жаворонками, которые неумолкаемо заливались в небе.

XIV

Дорога вела в самую середину полей; на всем протяжении они перерезывались ровными десятинами. Пересохшие растения и корни, выхваченные зубьями сохи, местами покрывали межи; местами межи резко отделялись зеленью молоденькой травки от коричневой, только что вспаханной почвы, исполосованной свежими бороздами. Земляные испарения струились и переливались в воздухе, сообщая особенную, какую-то золотистую мягкость всем предметам, жарко облитым солнцем.

На углу почти каждой нивы стояла распряженная телега с овсом. В стороне, немного поодаль, виднелись пахари. Впереди всех шел всегда сеятель. То был большей частью человек преклонный, отец или дед. К концам веревки, перекинутой через плечо сеятеля, прикреплялось решето или кузов, наполненный зерном: выступая спокойным, сдержанным шагом вперед, старик то и дело опускал руку в кузов, простирал ее потом по воздуху и разом выпускал зерна, которые рассыпались всегда ровным полукругом. Постепенно удаляясь и исчезая в солнечном сиянии, сеятель уступал дорогу сыну или внуку, который управлял сохой и закрывал землей разбросанные зерна. За ним, звеня и подпрыгивая, тащилась борона с прицепившимися к ее зубьям комками косматых трав и корней. Лошадью правил обыкновенно мальчик. Иногда лошадь, если только она была старая, привычная к работе кобылка, шла сама собой: покорно следуя за хозяином, она изредка позволяла себе замедлять шаг, чтоб не смять жеребенка, который, в нетерпении своем, вытягивал шею под оглоблю и принимался сосать ее изо всей мочи.

Но этим еще не оканчивалось шествие: за каждой бороной летела в беспорядке стая галок, грачей, сизых

и белых голубей. Они, казалось, совсем свыклись с людьми и лошадьми: то жадно припадая к земле, то взлетая на воздух, чтобы подраться за червячка, птицы следовали все время за бороной, нимало не пугаясь крика и свиста пахарей. Все поле усеяно было птицами...

XV

Несмотря, однако ж, на крик и свист пахарей, несмотря на звонкие голоса птиц и шумные их драки, несмотря на движение людей и лошадей, которые сновали взад и вперед по десятинам, несмотря на щебетание мелких птичек, жужжание насекомых, фыркание лошадей, ржание жеребенка и пение жаворонка, этого дарового музыканта пахаря, — несмотря на все это оживление и странное разнообразие голосов и звуков, все представлялось одним гармоническим целым. Широкий простор полей смягчал и сглаживал все звуки. Вся эта деятельная картина посева принимала вид чего-то мирного, какой-то кроткой радости и покоя!

Переходя от одной нивы к другой, я незаметно приблизился к опушке последней рощи. Тут оканчивалось поле. Последняя десятина склонилась даже несколько по скату, смотревшему на запад и на долину; защищенная от солнца рощей, которая обступала ее полукругом, она наполовину уже покрылась зубчатой тенью. Издали я увидел на ней одинокого пахаря; он работал совершенно один: сам сеял, сам боронил, сам управлялся с сохой. Я удивился еще больше, когда подошел ближе. Пахарь принадлежал к довольно многочисленному семейству. Особенно странным казалось мне, что с ним не было его отца. Первый весенний сев пользуется в простонародье особым почетом: им преимущественно управляют старики. Прошлый еще год я видел старика на этой самой ниве и в это самое время. Одинокество молодого парня было для меня необъяснимо: вся семья его слыла в околотке одной из самых заботливых, деятельных в полевых работах. Я оставил межу, пошел полем и через несколько минут был подле пахаря.

Его звали Савельем. Это был парень еще молодой, лет тридцати, высокий, смуглый, с правильным, продолговатым лицом и кудрявыми, русыми волосами. На вид он не казался очень плотным; но расстегнутый ворот его белой рубахи выказывал широкую, крепкую грудь, уже тронутую загаром на том месте, где застегивался ворот; плечи его и мускулы рук богатырски круглились, выпучивая складки рубашки; через плечо его висел на веревке большой кузов, полный зерна, но он держал его с таким видом, как будто не знал, что такое тяжесть. Коричневые глаза его глядели спокойно, но прямо, откровенно. Солнце садилось за спиной пахаря, и вся фигура его, окаймленная золотыми очертаниями, красиво рисовалась перед рощей, потопленной голубоватой тенью. Я подошел к нему в ту минуту, как он забросил вожжи на спину лошади и готовился сеять.

— Что ж это старика-то не видно? где он? — спросил я.

— Старик дома, лежит, — возразил пахарь, делая шаг вперед.

— Что ж так?

— Все хворает, — сказал он.

Я осведомился, почему, наконец, брат не выехал в поле, но получил в ответ, что брат остался с большим отцом.

— Ему с самой весны все что-то нездоровится, — подхватил Савелий, — а в эти три дня наш старик совсем слег... Очень опасаемся: все думается, не встать ему; человек древний... долго ли? Вот уж третий день не ест, не пьет, слова не выговорит, все лежит, только что вот вздохнет иной раз. Господь знает, что такое! — заключил он, отводя рукой кузов с зерном и потупляя голову.

Мне тотчас же представилось, что старика ударил паралич: старик был деятелен не по летам; с приходом весны деятельная природа его должна была, разумеется, воскреснуть. Вероятно, по обыкновению своему, он слишком горячо припал к работе; спеша уладить разом многочисленные дела, которые падают весной на простолюдина, он надорвал стариковские свои жилы; к этому, вероятно, примешалась также и кровь: разогретая усиленным трудом, а также и ве-

сенним временем, она вдруг расходилась и сковала параличом его ослабевшие члены. Я начал подробно расспрашивать сына обо всем случившемся.

XVII

— Недели две назад, — начал было Савелий, но остановился, сделал несколько шагов вперед и принялся хлопать в ладоши, чтобы отогнать стаю птиц, которая расположилась в телеге и взапуски клевала зерно, — недели две будет, — подхватил он, возвращаясь назад, — мы ничего такого не чаяли, как словно даже лучше стало, отлегло, стал поправляться... весне, что ли, очень уж обрадовался. Господь знает!.. Первый-то день, как встал, до самого до обеда ходил все по полю, смотрел озими; только на поясницу очень жаловался: «Поясница, — говорит, — добре очень ододела». Вечером прихожу я к нему на гумно, он и говорит мне: «Вот, — говорит, — Савелий, весна на дворе...» — говорит так-то, а сам все кругом осматривается. «Весна, — говорит, — на дворе, наши пахать едут». Стал он тут на силу на свою жаловаться: «Сила, — говорит, — обманула меня... Знать уж, — говорит, — не придется мне нонче и попахать с вами...» — «Полно, — говорю, — батюшка! что напередки загадывать, бог милостив!» — «Нет, — говорит, — не пахать мне нонче с вами... сердце мое чует!» Подошел после того к соломе, маленечко постоял, лег на нее да вдруг как заплачет! индо жаль стало!.. Никогда с ним этого не было. Так почитай пролежал до самого до вечера; насилу уговорили в избу пойти. На другой день опять как будто стало легче, опять в поле ушел...

— Как же вы его не удержали? — перебил я.

— Кто его удержит! — хлопотлив очень, заботлив! такой-то завистливый в работе, другого такого не найдешь! Мы и то говорили ему, и матушка говорила — ничего не слушает. Пришел это он домой, суетится, хлопочет, сам до всего доходит, борону чинить зачал; а уж куды: у самого руки-то так и дрожат; ходит по всему двору, по всем углам... точно, взаправду, чуюло его сердце, словно со всем домом ходит прощается... даже мы с братом подивились... Нет, видно, уж не встать ему!.. — добавил Савелий, после минутного молчания.

Я спросил о том, что произошло три дня тому назад.

— И бог знает, как сказать, что такое! — произнес Савелий, заботливо тряхнув головой, — пошел он к лошадям корму засыпать. Он ведь у нас до лошадей-то охотник: никто и не подходит окромя его! Стали это я да брат его уговаривать; видим, чуть на ногах держится, и матушка к нам пристала. Опять не послушал: «Ничего, — говорит, — авось, как промнусь, легче будет!..» Ничего ведь с ним не сделаешь!.. Вот матушка и говорит нам, мне да брату: «Что-то, — говорит, — долго старик нейдет; поглядите-ка, сходите, где он...» Пошли мы с братом; глянули под навес, а он там и лежит. Стали спрашивать: слова не добьешься, лежит словно мертвый; так без языка домой и принесли. С тех самых пор не вставал, трое суток без языка лежит!..

— Надо было тотчас же кровь пустить, как же вы не подумали об этом? — воскликнул я, нимало не сомневаясь, что старик остался бы жив, если б приняты были своевременно меры.

— Брат и то два раза ездил, — сказал Савелий, — два раза кровь отворяли — не пошла только! должно быть, сильно уж она в нем запечаталась! Так уж, знать, господь уставил, что помереть ему надо! уж, видно, не топтать ему травы! — заключил он спокойным, но таким грустным голосом, что у меня ёкнуло на сердце.

С последними словами Савелий приложил ладонь к глазам в виде зонтика и пристально посмотрел на поле. Так как в последнее время слова его часто сопровождались этим движением, я невольно взглянул в ту сторону. На дороге, которая вилась по полю, я увидел бабу. Она быстро подвигалась вперед, иногда даже принималась бежать; она махала руками и направлялась прямо к опушке рощи.

Савелий между тем поставил наземь короб с зерном. Он не отымал ладони от глаз. По мере того как баба приближалась, я заметил, что в чертах пахаря проступало беспокойство, брови его судорожно изгибались, ноздри вздрагивали; весь он превращался, казалось, в зрение. Немного погодя я мог различать черты приближавшейся женщины; это была жена Савелья.

Она остановилась еще раз, чтобы перевести дух, и пустилась бежать быстрее прежнего.

— Савелий! Савелий! Домой ступай, скорее ступай домой! — крикнула она, когда была еще на дороге.

Лицо ее было красно и выражало все признаки сильного замешательства; крупные капли пота текли по разгоревшимся щекам вместе со слезами, которыми вымочены были ее глаза и ресницы; беспорядок в ее чертах и одежде показывал беспорядок и смущение чувств.

— Что случилось? — спросили мы.

— Батюшка отходит!.. Ступай прощаться!.. — проговорила она, прижимая руки к груди и едва переводя одышку.

Я взглянул на Савелья. Он стоял с понурой головой и тяжело опущенными руками; с минуту стоял он как громом пораженный. Можно было думать, что, говоря со мной за несколько минут о смерти родителя, он не верил в душе, чтобы она пришла так скоро... Нет такого очевидного горя, в котором человек не старался бы обмануть себя и не подкреплял бы себя надеждой. В простонародье существует даже поверье, что лучшее средство избавиться от несчастья заключается в том, что надо говорить о нем, как о предмете верном, несомненном. Меня поражало, однако ж, в пахаре его внешнее спокойствие: лицо его было скорее грустно-задумчиво, чем взволнованно; только вздрагивающие веки и ноздри изменяли ему. Жена его между тем заламывала руки, била себя кулаком в грудь и разливалась-плакала.

— Ступай же скорей... совсем уж отходит... простись поди... чего ты стоишь? — говорила она, дергая его за рукав, — все наши в избе давно... за дядей Карпом поехали... пойдем скорей... я подсоблю с лошадьми управиться! — заключила она, поспешно направляясь к лошадям, щипавшим траву на меже.

Савелий несколько секунд оставался недвижим; наконец он медленно, как бы стараясь привести себя в память, провел ладонью по волосам, тяжко вздохнул, перекрестился и пошел за женой.

В движениях его, когда он припрягал лошадь в подводу, не было заметно малейшей суетливости: он не забыл ни одного ремешка, ни одной мелочи, хотя

мысли его, очевидно, были далеки от дела. Он точно не видел и не слышал жены: во все время он слова ей не сказал, даром что она не переставала тормошить его, суетилась без толку, плакала и говорила без умолку, вычисляя, в скорбных выражениях, добродетели умирающего. Наконец воз был увязан, лошади взнузданы, соха перекинута сошником кверху, и они оставили ниву. Я пошел за ними.

Поля начинали покрываться красноватым блеском; одни межи ярко освещались солнцем, глядевшим между рощами, и тени от рощ захватывали иногда целые участки. Поля пустели. Кой-где на отдаленной пашне золотилось облако пыли, и из него выглядывала лошадь, с сидевшим на ней пахарем, который возвращался с работы. Птицы несметными стаями кружились высоко в небе; но, отставая постепенно друг от дружки, они опускались в рощи. Тени, между тем, быстрее бежали вперед, и вместе с тем, с каждой минутой, умолкала шумная деятельность поля.

ПАХАРЬ

ХІХ

Я знал отца Савелия еще в детстве. Но не одни воспоминания прошлого привязывали меня к нему и заставляли сожалеть о нем: можно сказать без преувеличения, что вместе с ним весь околоток лишился одного из самых почтенных, самых достойных стариков своих.

Иван Анисимыч, или просто Анисимыч (так звали старика), принадлежал к числу тех трудолюбивых, деловых пахарей старого века, которые, к величайшему сожалению, переводятся год от году. Особенно редко теперь встречаются в наших местах. По мере того, как развивался у нас фабричный промысел, возделывание полей приходило в упадок; челнок, красная рубаха и гармония заметно сменяли соху, балалайку и лапти; вместе с тем заметно также исчезал тип настоящего, коренного, первобытного пахаря. В последние дни один Анисимыч исключительно, можно сказать, жил своим полем. Его не сокрушали даже неурожайные годы. Он продолжал пахать, боронить и сеять даже в то время, когда фабрики стали приносить очевидные

выгоды против пашни. Но не упрямство управляло им, не закоснелая привычка к старому прадедовскому ремеслу; не управляли им также расчет и тонкая сметливость: старик нимало не соображал о том, что не век же продлятся неурожайные годы, не век же миткалю будет цена высокая! В уме его было меньше, может быть, хитрости и пронырства, чем у любого тридцатилетнего фабричного шеголя. Наконец, мне сказывали, он считал даже грешным делом вперед загадывать: «Что будет, то все в руке господя; словесами либо думой тут не поможешь», — говорил он. Старик не расставался с полями потому только, кажется, что свыкся с ними и шибко к ним привязался. Мудреного нет: он начал привыкать к ним еще в то время, когда покойная его мать, отправляясь на жнитво, носила его туда в люльке. А это было очень давно: Анисимыч доживал уже теперь восьмой десяток.

XX

С мыслью о смерти старого пахаря, вся простая жизнь его, исполненная безропотного, неусыпного труда и детского простодушия, ясно представилась моему воображению; даже мелкие черты характера и ничтожные эпизоды его скромного существования, которые давным-давно были мною забыты, стали выясняться как бы для того, чтобы в минуту смерти оставить о нем еще больше сожаления.

Меня особенно поражали в нем всегда необычайная кротость нрава, чистота помыслов и благочестие. Единственная вещь, быть может, которой не любил он, было миткалевое производство; но никогда, однако ж, не относился он с насмешкой, злобой или пренебрежением, когда речь заходила об этом предмете. Он, помнится, покручивал только седой головой и говорил: «Худое ремесло то, когда ничего не делаешь! Коли человек кормится фабриками, стало, и в них прок есть. Нехороша только жизнь фабричная — вот что похвалить нельзя; нехороши эти гулянки, да кабаки, да пищалки эти (так называл он гармонию). Что денег-то дают хозяева, — присовокуплял он обыкновенно, — за этим гнаться нечего: деньги только в соблазн вводят. Нашему брату денег не надобно; был бы хлеб святой. Есть хлеб, ни в чем, значит, недостат-

ка не будет, потому хлеб всем надобен, всякому то есть человеку; на что хочешь можно променять его!.. По-моему, пахота самое, выходит, первое дело! — заключал всегда старик, редко пропускавший случай поговорить о ремесле своем, когда был в духе, и стараясь при этом выставлять все его выгоды. — Да! пахота всякому ремеслу голова! Какое ни есть руко-месло, уж это все, значит, живешь при нем как словно не в удовольствии: фабриканту ли какому, или хозяину работаешь, им, примерно, и отвечать должен. Люди-то неравны — вот что! И хорошо сделаешь, всеми силами стараешься, да не угодишь; ну, сердце-то и кипит в тебе, все не в удовольствии... Ну, а с пахотой этого не бывает: сам себе работаешь, сам себе и отвечаешь: старался — значит, тебе же хорошо; поленился, не родилось ничего — сам, выходит, на себя и пеняй!.. И живешь покойнее, потому, выходит, сердчать не на кого: весь ты, как есть, во власти господней!»

Анисимыч доказывал на деле, как мало имел пристрастия к денежному барышу. Когда заводился лишний грош, он спешил принанять лишней земли, употреблял его на покупку какой-нибудь снасти или на поправку домашней, хозяйственной принадлежности. Во всем околотке дети, моложе даже восьми лет, занимались размоткой бумаги и доставали этой работой «на соль», как выражались отцы их. Анисимыч слышать не хотел об этом. Ребятишки его пользовались полной свободой бегать по полям и рощам. На четырнадцатом году, однако ж, старший брат Савелья ловко уже управлял сохой и никогда не портил борозды.

XXI

И не расстраивался как-то Анисимыч, несмотря на неурожайные годы, несмотря на добровольное лишение выгод, которые могли доставить ему фабрики. Соблюдая строгий хозяйственный порядок, живя просто, неприхотливо, он ни в чем никогда не нуждался; он находил даже способ быть запасливым. Часто даже доводилось зажиточным крестьянам занимать у него муку и зёрна на посев. В этих случаях, надо заметить, старик оказывался всегда очень «крепким». Человек беспутный, нетрезвый не выманил бы у него куска льду зимой. Он не давал займы без разбора; но ког-

да случалось ссужать соседа, то делал это, никогда не требуя вознаграждения. Благодаря промышленному состоянию края, в редкой деревне не сыщешь своего рода ростовщика. Мужик, застигнутый врасплох нуждой, берет у него овес, соль и деньги, с тем, чтобы по истечении условного срока отдать в полтора раза больше. У нас, следовательно, простолюдин знаком очень хорошо с процентами. Старому пахарю часто предлагали отдать долг с залишком, лишь бы только смягчить его: он всегда отказывался. Ему выставляли на вид, что если б он брал лишки с должников, то в скором бы времени обогатился; но такие речи встречали всякий раз в пахаре самое полное равнодушие: он слушал их, как будто они вовсе не к нему относились. Ответ его был постоянно один и тот же:

— Я денег не даю, — говорил он, — денег у меня нет; я хлеб даю... коли есть; хлеб — дар божий!.. Господь с нас процентов не берет, стало и нам грех, не приходится... Хлеб — дело святое, — не то, что деньги; деньги от человека! он их выдумал, он их и делает...

Анисимыч слыл мастаком во всяком хозяйственном деле. Знание его, соединенное с услужливостью и необыкновенной терпимостью нрава, было причиной, что часто также прибегали к нему с просьбами другого рода. К нему ходили за советом. Встречалась ли соседу надобность купить корову и лошадь, Анисимыч должен был прежде осмотреть животное: приговор старика решал тотчас же дело. Требовалось ли соорудить новую снасть, купить топливо на зиму или лесу на избу, опять обращались к его опытности. Во всем, что касалось полевых работ, Анисимыча слушали как оракула. Глядя на то, что он делал, делали и другие: он выезжал сеять — вся вотчина сеяла, он не косил — никто не брал косы, хотя бы даже минули Петровки.

— Анисимыч рассаду сажать выехал: стало, время! — говорили бабы.

XXII

И точно: лучше старика никто не мог знать о времени жнитва и посева, о свойствах земли и зерен. Более шестидесяти лет прожил он в полях; постепен-

но, год за годом, сроднялся он теснее с почвой. В этом сродстве его с полями было что-то трогательное. Эти три-четыре нивы, которые пахали его отец, дед и прадед, обуславливали всю его жизнь: от них зависело благосостояние детей его и целого семейства; он возлагал на них все свои надежды и всегда с жаркой молитвой поручал их богу. Сколько забот и попечений они ему стоили, сколько тревог и радостей принесли они ему, сколько пота пролил он на них в эти шестьдесят лет своей трудовой жизни!

Но и они как будто понимали его; между ними установилось как словно тайное сочувствие. «Эх! — скажет, бывало, старик, оглядывая летом свое поле, — вот этот осминничек как славно обманул меня! Мало ли положил я в тебя зерен, — не жалел, кажется! и вспахал лучше быть нельзя! А колос-то жиденский, соломка тощая!.. Обманул ты меня!..» Проходит лето, жатва скошена, уж журавли летят в теплые стороны. Анисимыч снова в поле, снова идет к осминнику, который не оправдал его надежды. Старик крестится, с удвоенным старанием бороздит его вдоль и поперек, раза два лишних боронит и вспахивает, прилаживает лишний камень на борону. «Ну, теперь ладно, надо быть; не надо бы, кажется, теперь обманывать! — скажет он, обтирая рукавом крупные капли пота, — так запахано, комушка нет! как пух земляца! Славная будет постелька для зернышка!..» И в самом деле, на другое лето старик не натешится, глядя на свой осминник, покрытый из края в край чистым, высоким стеблем, который плавно колышется на ветру, шумя тяжелыми гроздьями золотого овса. Эти три-четыре нивы были для него целым миром, в котором жил он всеми своими помыслами, всей душой. Мысли его редко переносились за предел зеленеющих межей, окружавших его поле.

XXIII

Но и в этом тесном горизонте научился он многому. Премудрость божия не так же ли бесконечно паразитерна в стебле травы, как и в громадных явлениях природы! Довольно было старому пахарю прожить свой век под этим узеньким клочком неба, между эти-

ми бедными холмами и рощами, чтобы приобрести опыт и знание, которые составляют мудрость сельского жителя. Не этот ли опыт и знание помогали старику поддерживать благосостояние семьи и тех окружающих, которые хотели слушать его советов?

— А что, Анисимыч, не пора ли овес сеять? — вымолвит сосед, выходя весной за ворота, чтобы погреться на солнце. — Вишь, теплынь какая стала, даже пар от земли пошел!

— Нет, погоди, — скажет старый пахарь, — ходил я нонче в поле, глядел: лист что-то мал на дубках, не совсем еще развернулся, — ждать надо холоду, стало быть; может статься, еще будет и сиверка: овес этого не любит! Сей его, как лист дубовый развернется в заячье ухо: тогда и сей, потому, значит, земля тогда готова, за свой род принялась.

У него на все были свои приметы. Они, надо полагать, постоянно оправдывались в продолжение целых шестидесяти лет; он слепо им верил! Раз, помнится мне, всю весну лили непрерывные дожди; земля в полях размокла, как кисель; кругом стали опасаться за корень ярового хлеба. Не унывал один Анисимыч. А между тем ему более чем всякому следовало бы тревожиться: поле составляло все его богатство; но он оставался покойным: он утвердительно говорил, что лето будет ведренное и все высушит, все поправит. Другого объяснения не было, как то, что в день апостола Якова (30 апреля) солнце взошло в ясном, безоблачном небе, и весь день не видно было ни одной тучки. Старик присоединял к этому еще другую примету: он наблюдал вскрытие реки; река вскрылась рано и дружно, а, по словам его, это служило несомненным знаком благополучного лета. Предсказание его оправдалось как нельзя лучше. Основываясь на приметах, он почти всегда верно угадывал о злой и счастливой судьбе, которая ожидала поселянина в поле. Помня день, когда начал завязываться первый колос, он безошибочно высчитывал, день в день, все периоды произрастания хлеба и всегда верно определял срок жатвы.

— Что ты, Анисимыч, на луг-то уставился? — шутливо замечал сосед. — Лошадей, что ли, высматриваешь?

— Нет, на гусей гляжу.

— А что?

— Да все что-то на одну ногу становятся; надо быть, скоро снежок выпадет!.. Вон также и журавли: вишь, как низко летят. По всему сдается, рано нонче зима станет.

Иной раз радостно ожидал он дружную, теплую весну. «Был я нонче в поле, — говорил он, — ни одного грача не видно; а уж давно прилетели! Прямо, значит, на гнезда на свои сели: тепло, значит, чувят, торопятся детей выводить». Стоит иной раз засуха, вся деревня нос повесила; Анисимыч ходит, бывало, всех ободряет. Полагаясь на какую-нибудь приметку, он весело поглядывает на нивы, палимые солнцем. «О чем вы? — скажет, бывало, — и дождик, и ветры, и солнце, — все это в руке божией. Он знает, что делает, у него все сосчитано, все дни и весь год уравнен: не пропадет зря ни единой капельки во весь год, не колыхнет ветер стебля, коли не ко времени. Он знает лучше, что надобно...» В истинно скорбное время, когда солнце спалило хлеб, или град скосил дотла созревающую рожь, он никогда не отчаивался, никогда не падал духом: им овладевало тогда какое-то сосредоточенное, задумчивое спокойствие. «Тут ничем не поможешь, — были всегдашние слова его, — надо бога просить, чтоб на будущее время помиловал...» И снова принимался он с прежней доверенностью делать свои наблюдения.

Одним словом, приметы эти наполняли жизнь его, они управляли каждым его действием: не брался он ни за какое дело, не посоветовавшись сначала с знаменьями, которые природа, как нежная мать, заботливо рассыпает по лицу своему в назидание человеку, отдавшему ей свое существование. Не голос ли это божий слышится нам в этих знаменьях? Не потому ли и жизнь старого пахаря протекла так беззаботно и мирно, что так покорно слушался он этого таинственного голоса?..

XXIV

Нет, как бы сильно ни чувствовали мы природу, она никогда не может говорить нам столько, сколько скажет пахарю. Так уж судьба поставила нас, что между природой и нами нет и быть не может близкой, родственной связи. Мы только мимоходом восхи-

щаемся ее красотами или вдаемся по поводу ее явлений в сухие теории и сухие исследования: в обоих случаях, не является ли она перед нами книгой, в которой мы любуемся картинками, но не разбираем текста?

Простолюдина мало трогают красоты ее: он не размышляет, как мы, о ее таинствах (размышлять, судить о чем-нибудь, не значит ли отрешать уже себя, некоторым образом, от обсуждаемого предмета, считать себя если не выше его, то хотя исключением?). Пахарь сродняется с природой от колыбели; он покоряется без размышления ее законам, он живет ее жизнью; его судьба, радости и горести, — все в руках ее. И природа, как будто сознавая детское бессилие пахаря и тронутая его зависимостью, постепенно бросает к ногам своим таинственные свои покровы; она открывает ему грудь свою и знакомит его с собой. Величаво молчаливая с ними, гордыми мира сего, она говорит пахарю и распускающимся листом, и восходом солнца, говорит ему мерцанием звезд, течением ветра, полетом птиц и тысячею, тысячею других голосов, которые для нас, гордых мира сего, останутся навсегда языком непонятным.

Тому, кого занимали только расчеты по поводу сельского хозяйства и сельской жизни, тому никогда не понять поэзии, которая заключена в этом родстве пахаря с землей и природой. Есть вещи, светлая сторона которых открывается только сердцу. Если находятся люди, которые чувствуют эту поэзию, стало быть, она существует; но почему не предположить, что душе пахаря сознательно доступна хоть одна сторона ее? Человек, который не может ни дать отчета в своих впечатлениях, ни выразить их словами, конечно, кажется беднее одаренным того, кто обладает такими способностями; но следует ли заключать, что он ничего не чувствует? Почему знать, о чем думает пахарь, когда, выйдя в поле на заре ясного весеннего утра, оглядывает он свои нивы? Неужели улыбка на лице его и радость на сердце служат только выражением грубого чувства и уверенности в будущем барыше и выгодах? Отчего же, глядя на нивы свои, не может он припоминать и осенний вечер, в который засеивал их, и теплую молитву, с которой поручал их тогда богу, и семейную радость, когда омыло их первым дождиком, и те стократ счастливые дни, когда

увидел он, что эти голые поля, поднятые его рукой, начинали покрываться частой, сочной зеленью?.. Что же такое поэзия, если не живое представление мирных минувших радостей?..

XXV

Анисимыч никогда не был ни старостой, ни даже сотским; он, как особенной милости, просил всегда, чтоб избавили его от всякой почетной должности. При всем том его почитали и слушали больше даже, чем начальников, которые избирались миром.

В деревенском быту, несмотря на внешние грубые формы, нравственные качества так же хорошо взвешиваются, как и в образованном сословии; влияние нравственной личности так же здесь заметно и сильно, как и там. Здесь точно так же взвешены права на уважение каждого лица и семейства. В каждом углу рассчитывают поступки каждого, разбирают, кто с кем в родстве, почему лучше отдать дочь замуж в такой-то дом или взять такую-то для сына, и все это не в одном денежном смысле. Общественное мнение господствует над всеми и управляет поступками каждого более, чем думают.

Не было примера, чтобы мирская сходка обходилась без Анисимыча. А между тем он стоял в каком-то исключительном положении, как пахарь в фабричной деревне, не был ни особенно богат, ни силен, ни криклив; но его слушали, и совет его служил всегда последним, решительным приговором. То же самое было во всех крайних, запутанных делах и даже в семейных распрях: что скажет, бывало, старик, то и свято. Мне ясно представляется теперь один случай.

Делились два брата. Всякий, кто жил в деревне, знает, с какими трудностями сопряжены дележи такого рода. Как разделить, например, одну избу между двумя человеками? Не разрубить же ее пополам, в самом деле! Как уравнивать ценность лошади с несколькими овцами или ценность хозяйственных орудий с домашней утварью? Дележ между двумя братьями не подвигался к концу, несмотря на деятельное участие мира и конторы. «Позвать разве Анисимыча: что он скажет!» — заметил кто-то. Братья и все присутствующие выразили согласие. Послали за стари-

ком, и немного погодя он явился. Сначала он долго отговаривался, говорил, что что бы ни сказал он, один из братьев все-таки останется не в удовольствии, и проч.; но к нему приступили решительнее и потребовали ответа. «Ну, во имя Отца и Сына и Святаго духа!» — сказал он тогда, набожно осеняя себя крестным знамением. (Он объяснил потом движение это тем, что «просил господу помочь ему судить по-божески, по-справедливому, а не по-человеческому».) Затем он решил спор таким образом: все хозяйство и весь скот следовало разделить пополам, как «приобретенное»; но хлеб — дар божий! Бог печется о каждом человеке и посылает хлеба каждому сколько нужно: хлеб надо делить, следовательно, по душам; у одного брата три души, у другого восемь: так последнему больше надо.

Так и сделали.

XXVI

В жизни пахаря, которая протекла так же спокойно и тихо, как песок стеклянных часов, было, однако ж, одно сильное потрясение. На семью его пала рекрутская очередь. Его не предупредили в этом, слова не сказали: думали сделать лучше. Но раз ночью пришли к нему в избу и захватили одного из сыновей его, первого, который попался. (Говоря потом об этом, он сказывал, что сердце его в эту минуту сделалось вдруг тяжелым, как пуд, и словно окаменело) Но случай этот его поразило так сильно только по своей неожиданности. Прийдя в себя, старик побежал в контору и просил, чтобы ему самому предоставили выбор детей. На другой день он отвез всех трех сыновей в город.

До сих пор еще, многим лицам, присутствовавшим на ставке, памятна сцена, когда, после произнесения очередного имени, в дверях присутствия явился вдруг седой, шестидесятилетний старик. «Ваше благородие! — сказал он, обращаясь ко всем членам присутствия, — очередь за моей семьей. У меня три сына... пытался — не могу выбрать: все равно дороги!.. Соблаговолите позвать всех трех... выбирайте уж лучше сами!..» В комнату вошли три парня, один краше другого. Двое стали по правую руку отца, один по левую.

Старик обнял поочередно всех трех и произнес, положив им сперва руку на голову: «Все милы!.. все дороги!.. все хороши!..» Тут дыхание как бы стеснилось в груди его; он остановился, покачал головой, тяжело вздохнул и вдруг залился слезами. Присутствующие, тронутые его положением, стали его успокаивать. Он попросил позволения кинуть жребий. Вынув из кошелька три медные гроша, он подал их детям, внимательно потом осмотрел каждый грош, положил на каждом знак зубами и велел бросить их в шапку.

«Вам, ваше благородие, — сказал он, обратясь опять ко всем, — вам, я вижу... вы о них также жалеете... прикажите уж лучше позвать какого ни на есть человека... который не видал меня с ними... Пускай уж лучше он жеребий вынет...» Позвали солдата. Старик сказал ему: «Как вынешь жеребий, никому не показывай... мне отдай...» Жеребий вынут. Старик взял грош у солдата, отошел к окну, взглянул на него, дрогнул, но тотчас же оправился, перекрестился и возвратился к детям. «Вася, — вымолвил он, обратясь к младшему, — Вася... голубчик мой! подойди ко мне!..» Он снова положил ему руку на голову, с минуту глядел на него молча и наконец произнес: «Ты был... да, был ты мне хорошим сыном... завсегда хорош был... будь же хорошим солдатом царю нашему...» Он обнял его, благословил и, закрыв ладонью лицо, пошел к двери, плача каким-то детским плачем.

КОНЧИНА

XXVII

Припоминая прошлое и стараясь представить себе как можно яснее почтенную личность старого пахаря, я незаметно миновал поле. Я даже удивился, когда увидел себя вместе с Савельем и его женой на скате горы, откуда открывались деревни и окрестность.

Солнце приближалось уже к горизонту. Долина наполнялась тенью; там только, где местность в долине несколько подымалась или где возвышалась роща, выступали яркие пятна света, которые казались тем ослепительнее, что их окружал голубоватый сумрак. Вер-

хушки одиноких дерев, разбросанных кое-где по долине, принимали издали вид золотых островков, плавающих в синем море. Посреди пестрой смеси света и тени особенно сильно освещалась улица; лучи солнца прямо били на один бок ее, превращая в огонь окна избышек: в каждой избе топилась как будто печь или пылал костер. Я уже сказал, что с этого ската деревня виднелась как на ладони. Я заметил с первого взгляда, что там происходило необыкновенное оживление: черные точки поминутно перебегали улицу; длинные тени, бегавшие заодно с людьми, обманчиво усиливали движение.

— Скорей... скорей!.. — вымолвила жена Савелья, не отрывая глаз от деревни.

Она хотела еще что-то прибавить, но выразительно указала вперед рукой и побежала к мосту. Савелий не замечал ни движения жены, ни ее голоса, ни того даже, кажется, что она нас оставила. Голова его была по-прежнему опущена на грудь; глаза, с дрожащими над ними бровями, притушенно смотрели на землю. В задумчивой фигуре его, как словно машинально идущей по дороге, заметно было присутствие одной только мысли, которая отталкивала все, что до нее ни касалось. Он ускорял, однако ж, шаг по мере приближения к цели.

Мы вошли в деревню в ту самую минуту, как в околицу вгоняли стадо. Оно бежало к нам прямо навстречу и еще больше усиливало движение, которое я заметил издали. Бабы, ребята и девчонки поминутно перебегали нам дорогу: их точно держали до сих пор взаперти и вдруг разом всех выпустили. Все стремились к освещенной половине деревни и направлялись к одной избе, у ворот которой стояла уже порядочная толпа. Рев, бляенье, топот, крики старух, которые загоняли коров и овец, не позволяли мне расслышать говор народа, толпившегося у двери избы; раз только с той стороны послышался мне как будто глухой сдавленный вопль нескольких голосов.

— Савелий! брось лошадей-то, старик умирает! — быстро проговорила какая-то баба и еще быстрее пронеслась мимо.

Савелий постепенно ускорял шаг. Из избы явственно уже теперь приносились вопль, крики и голошенье; когда отворяли дверь, можно даже было разбирать

слова и узнавать голоса. В толпе, теснившейся у избы, все горячо и торопливо говорили. Когда мы приблизились к воротам, все смолкло и обратили любопытные глаза на Савелья.

Под навесом ворот жались полдюжины овец и две коровы; в общей суматохе, они были забыты хозяевами. Савелий остановил лошадей, сделал шаг, с очевидным намерением отворить ворота, снова вернулся к лошадям, начал было их разнуздывать, но отчаянный вопль, вырывающийся из избы, отнял, видно, у него последнюю твердость: руки его опустились, он тоскливо замотал головой и пошел к низенькой боковой двери, которая вела в сени. В толпе с особенной какой-то торопливостью дали ему дорогу.

XXVIII

Мне никогда не случалось присутствовать при последних минутах умирающего. Смерть действует особенным страхом, когда дело идет о знакомом человеке. Мимо чувства сожаления, возбуждаемого сознанием вечной разлуки, душа в этих случаях невольно содрогается при мысли, что существо, лежащее теперь бездыханным трупом, вчера еще говорило с вами; я слышал звук его голоса, он и теперь еще явственно как будто раздается в ушах моих; я делил с ним мысли и чувства, видел, что жизнь наполняла его до тончайшей фибры, — и вдруг все это смолкло, остановилось, кончилось навсегда и никогда, никогда больше не возобновится! Жутко...

Я окончательно смутился, войдя в сени, битком набитые плачущим народом. Посреди протяжных причитаний, выходил иногда вопль, который как ножом надрезывал сердце. В избе было еще теснее: не было решительно возможности подвигаться вперед. Бабы, с грудными младенцами на руках, стояли даже на лавках; печь и полаты усеяны были головами, все жались и тискались. Вопль был так силен, что с трудом можно было заставить понять себя, говоря громко на ухо. В толпе то и дело попадались распухнувшие, красные лица, с зажмуренными глазами и раскрытыми ртами, из которых вырывались пронзительные крики. Большая часть баб стояла крепко обнявшись: положив голову на плечо друг дружке, они мерно рас-

качивались под такт унылого, размеренного голошенья.

Мне тогда не был еще знаком обычай нашего народа спешить наполнить избу умирающего и выразить скорбными возгласами то уважение, которое имели к нему при жизни. В первую минуту, признаюсь, мной овладела даже досада. «Чего им здесь надо, — подумал я, — чего они не видали? Человек не успел умереть, и вот все набились в избу и кричат во все голоса, что он умер! Ему и без того, быть может, тяжело расстаться с жизнью, а они не перестают напоминать ему о прожитом счастье, об осиротелом семействе!» Но почти в ту же секунду мне пришла следующая мысль: поспешность эта выразить свое отчаяние, — поспешность, часто преждевременная и с первого взгляда возмутительная, не показывает ли, как мало вообще народ избалован надеждой? Он не привык обманывать себя успокоительными мечтаниями: он отдается своему горю без размышления, и не потому ли кажется оно ему неизбежным. Я окончательно примирился с воплем, раздававшимся подле умирающего, когда вспомнил, сколько было у него близких и родственников: они, конечно, не могли достаточно оплакать его кончину.

До сих пор, сколько я ни старался пробраться вперед, передо мной мелькали только головы и впереди виднелся темный угол избы, в котором тускло мерцало пламя желтой восковой свечи, прилепленной к образу. Прежде всего я различил колени умирающего. Меня с ног до головы обдало холодом: сам не знаю отчего, но мне не так тягостно было увидеть его самого, как увидеть эти недвижные, выступающие острым углом колени. В ногах пахаря сидела жена его, древняя старуха, как и он сам. Обняв руками шею двух замужних дочерей, которые рыдали как безумные, она бессильно свешивала голову то к одной на плечо, то к другой. Платок, покрывавший ей голову, бросал густую тень на лицо ее; изредка слабый стон вырывался из впалой груди старушки. Она сама как будто умирала. Подле стоял старший сын, такой же видный мужчина, как Савелий, но только смуглее его. Прислонясь правым локтем в стену, закрыв правой ладонью лицо, он был недвижим, и только тяжкие вздохи приподымали могучую грудь его. По другую сторону находился Савелий. Он стоял на коленях; ку-

дрявая голова его лежала на обнаженной руке, вытянутой вдоль соседней лавки. Все убивались над стариком, как над бесчувственным трупом покойника; а между тем предмет их скорби боролся еще с жизнью; глаза его были закрыты, но грудь время от времени высоко еще подымалась.

XXIX

Он лежал под образами, на лавке, устланной соломой. Голова его покоилась на снопе овса. Длинные серебристые волосы старика не раскидывались в беспорядке, как у человека, который судорожно, отчаянно борется со смертью: они спускались мягкими волнистыми прядями вдоль худощавых щек, покрытых мелкими складками и тем смуглым, черствым отливом, который накладывает жизнь, проведенная на воздухе во всякое время года: в холод, зной, дождь и ветер.

Я стоял в двух шагах и мог различить мельчайшие черты почтенного лица его. Оно поражало своим контрастом с лицами, меня окружавшими: сколько истинной, неподдельной скорби и безотрадного отчаяния виднелось на последних, столько же спокойствия написано было в чертах умирающего старца; нет, никогда потом, нигде и никогда, не встречал я такого тихого, такого кроткого выражения! Ясно, между тем, видно было, что смерть не отняла еще у него полного сознания: мысль как бы просвечивала сквозь закрытые веки его и озаряла черты его; он должен был слышать все, что вокруг происходило: слышал вопли родных, слышал страшные слова прощания, слышал раздиравшие сердца возгласы двух дочерей, умолявших его не покидать их, пожить еще с ними; слышал глухой плач Савелья и горькие всхлипывания старшего сына; но мысль, оживлявшая черты его, не принадлежала уже, видно, окружавшему его миру. Ни одна морщинка не показывала душевной, внутренней тоски. Он как будто засыпал в поле после трудового утра и, отходя постепенно ко сну, сладко прислушивался к пению жаворонков, которые заливались в вышине небесной...

«Так вот смерть!» — думал я, пристально всматриваясь в лицо его. Я видел смерть в первый раз; но мне

страшнее было слушать вопли, страшнее был вид живых лиц, обезображенных отчаянием, чем вид самой смерти. Страшный, ужасающий образ, который представлялся моему воображению всякий раз, когда я думал прежде о смерти, исчезал постепенно, по мере того как я всматривался в кроткое, покойное лицо пахаря. Мне стало казаться, что в том трепетном мерцании, которое разливала свечка над изголовьем умирающего, стоит не страшный, ужасающий образ, — нет! но ясно улыбающийся ангел, который ласково простирал вперед руки и тихо двигал белыми лучезарными крылами...

XXX

В одну из тех минут, как я напрягал зрение, чтобы уловить на лице пахаря отражение окружающей его скорби, в дальней части избы нежданно стихли вопли. Послышалась давка, и несколько женских голосов прокричали: «Пропустите, касатики! пропустите дедушку Карпа... дайте пройти! проститься хочет!..» Я посторонился вместе с другими и дал место седому, низенькому старичку.

Это был родной брат пахаря. Хотя между летами того и другого считался только год разницы, но Карп смотрел уже совершенной развалиной. Он давно оставил полевую работу, перемогался со дня на день и в последнее время проводил жизнь на печке, изредка выходя на завалинку, чтобы погреться на солнце. Крошечное лицо его изрыто было морщинами; каждый трудовой день провел, как словно, на нем черту свою. Ноги его дрожали; руки тряслись; голова, на которой оставались по бокам редкие клочки волос, ходила из стороны в сторону. Он, очевидно, дрожал не от волнения, но от дряхлости. В тусклых глазах, устремленных на брата, не было пока заметно замешательства. Он подошел ближе, медленно перекрестился и сказал:

— Эх, Иван, Иван! Чай я, поживешь еще с нами... Рано, Иван, ты нас покидаешь!

Страшный вопль двух дочерей умирающего перебил старика. Они нежданно оторвались от матери, которая бессильно опустилась мужу на ноги, и бросились обнимать отца. Савелий и старший брат его

громко зарыдали. Тихая мысль, освещавшая лицо умирающего, стала как бы потухать. В чертах его, дышавших спокойствием, изобразилось вдруг тяжелое томление. Голоса родных точно в первый раз нашли дорогу в его сердце и возвратили его на минуту к действительному миру. Глаза его остались, однако ж, закрытыми, и грудь по-прежнему подымалась ровно и медленно.

— Бабы... полно вам!.. — проговорил Карп, притрагиваясь к племянницам, — Савелий, Петр, вы бы их удержали!.. ему и без того жаль с вами расставаться... пуще воем-то душу мутить... оставили бы... будет еще время убиваться-то!..

Петр и Савелий подняли сестер и отошли к ногам отца. Лицо умирающего постепенно вытягивалось и принимало грустное выражение. Грудь его приподымалась теперь едва заметно.

— Эх, брат Иван, — произнес неожиданно Карп, — и я заметил, голос старика задрожал сильнее, — в какое время ты нас покидаешь!.. Встань, Иван!.. Погляди-ка поди, весна на дворе; наши ведь все пахать поехали...

При этом каждая черта умирающего наполнилась вдруг выражением страшной тоски. Веки его, начинавшие уже углубляться, дрогнули, слегка раскрылись в углах и пропустили две крупные слезы. Они медленно потекли по морщинам и видимо, казалось, застывали на холодевших щеках его...

Светлые струи ручья многие годы оживляли долину. Тихо журчали они, отражая и небо, и зелень, и мирные окрестные виды; но время открыло скважину в русле: ручей заметно мельчает; тускней и тускней делается его поверхность, и, наконец, он вовсе пропадает, оставив темное, земляное дно, в котором не блеснет уже никогда луч солнца!

Так и жизнь невидимым путем своим покидала старого пахаря. Грудь его подымалась все реже и реже; мертвенная бледность покрывала черты его. До сих пор душа все еще как бы носилась над чертой, разделяющей земную жизнь от загробной. Она тревожно, хотя постепенно слабее и слабее, прислушивалась к воплям и крикам; но вот стала она переходить роковую черту...

Лицо старца снова стало приобретать спокойствие и ясность, и, казалось мне, в трепетном мерцании,

разливавшемся над изголовьем пахаря, снова являлся улыбающийся ангел, который ласково простирал к нему руки и тихо двигал белыми лучезарными крыльями...

.

XXXI

Прошло два дня. Я шел уже отдать последний чолг пахарю.

Не помню, чтобы было когда-нибудь такое тихое, такое ясное утро. Ни одна тучка не омрачала неба. Какой-то мягкий, янтарный блеск разливался по всей окрестности, и не было, казалось, такого затаенного уголка, куда бы не проникал луч солнца; а между тем ранний час утра поддерживал прохладу в воздухе и сообщал свежесть полям, холмам и рощам. Роса сверкала повсюду. Листья были недвижны. Изредка под тем или другим деревом раздавался шорох и слышалось, как била по листьям катившаяся капля росы. Но как звонко зато распевали птицы, каким жужжанием, писком и чиликаньем наполнялся недвижный воздух! Все, что имело только крылья, собралось как словно праздновать в это утро. Кузнечики, как искры, сыпались под ногами, и жаворонки неумолкаемо заливались по обеим сторонам дороги, которая вела из дома в деревню.

Но зрелище, ожидавшее меня там, сильно противоречило веселой, улыбающейся картине утра. Я вошел в деревню, когда совершался вынос. Я увидел густую толпу народа и над ней, несколько дальше, белую верхушку гроба, которая сияла на солнце и медленно раскачивалась из стороны в сторону, как бы посылая прощальные поклоны избам и зеленеющим нивам. Погребальное шествие, сопровождаемое толпой и подводами, скрип которых заглушался рыданиями сидевших в них баб, стало опускаться к лугу. На нем изгибалась дорога, которая вела к приходу.

Достигнув точки, где начинался скат к лугу, я встретился с одним из самых древних стариков деревни. У него, как видно, недоставало сил идти дальше за гробом; он провожал его глазами и крепился.

— Прощай, Анисимыч! Прощай... Скоро все там

будем! — сказал он, махнул рукой и медленно побрел к избам.

Прежде чем подняться в гору, скрывавшую приходское село, погребальное шествие остановилось. На этом месте, по обеим сторонам дороги, кругом покрытой мелким кустарником, возвышаются два столетние тополя: они обозначают наши границы с соседскими землями. Здесь обыкновенно в последний раз прощаются с покойниками. Вопль и голошение, заглушаемые говором, раздалось сильнее. Народ тесно жался вокруг гроба, опущенного на землю. Каждый хотел проститься с пахарем.

Я подошел ближе. Но мне не удалось уже видеть почтенное лицо старца: оно было закрыто; наружу выставлялись одни смуглые, загоревшие руки его. Каждый из присутствовавших подходил к гробу, кланялся в землю и целовал эти смуглые честные пальцы, которые, в продолжение семидесяти лет, складывались только для труда и для крестного знамения. Наконец обряд прощания кончился. Гроб, приподнятый на плечи носильщиков, снова озарился солнцем. Родственники, истомленные продолжительными слезами и скорбью, усажены были на подводы.

Мы стали подыматься в гору, постепенно удаляясь от толпы, которая стояла у тополей и провожала нас глазами до тех пор, пока гроб совершенно не скрылся из виду.

XXXII

К полудню я возвращался один по той же дороге. Окрестность так же радостно сияла; птицы так же весело пели. Но веселость, царствующая иногда в природе, тем именно и разнится от веселости города, что она не отуманивает головы, не развлекает мыслей. Напротив, ясность, вас окружающая, как бы передается вашей душе и вашим мыслям.

Когда я подошел к двум тополям, свидетелям прощального обряда, там давно уже никого не было. Под листьями, палимыми солнцем, жужжали только насекомые; луга, холмы и рощи погружены были в сонливое молчание жаркого майского полудня. Пройдя еще несколько шагов, я увидел в кустах, растущих вправо

от дороги, пук соломы и на нем черепки глиняной кубышки. То были последние вещественные предметы, которые напоминали усопшего. Клок соломы служил ему последним ложем; из кубышки черпали воду, которой обмыли его похолодевшее тело.

Я не знаю, что лежит в основании обычая оставлять эти предметы на дороге, по которой в последний раз проносили покойника; в обычае этом есть, однако ж, что-то трогательное... Грустно настроенный посреди сияющей природы, я долго стоял под тополями.

«Вот, — думал я, глядя на черепки и солому (эти последние и уж точно ничтожные, бранные памятники столь долгой жизни), — вот и месяца даже не переживут они: ветер разнесет солому, прохожий растопчет черепки, и никакого даже видимого следа не останется от старого пахаря!..»

Но что до этого! Стоит ли думать об этих бранных, вещественных, грубых напоминаниях! Не оставил ли пахарь другого, более прочного воспоминания!.. Существует еще что-то лучше памяти, основанной только на вещественных знаках. Есть память другого рода: она основана на душевных свойствах, на нравственных заслугах оплакиваемого человека. Такая память — высшая поэзия нашего нравственного мира, — и старый пахарь вполне ее заслужил. Кроткий, смиренный образ его — оболочка души прекрасной и чистой — останется, навсегда останется окруженный любовью и уважением тех, кто знал его, жил с ним и умел понимать его. Не лучшая ли это награда, и не самый ли это яркий, прочный след, который можно после себя оставить?..

Да, старый пахарь, несмотря на то, что жизнь его казалась нам, гордым мира сего, такой ничтожной и мелкой, старый пахарь заслуживал такую память! Благочестивая жизнь его прошла в труде непрерывном, неусыпном. Он, пока жил, сделал все, что мог, и сделал все, что должен был сделать! Нет нужды и не место разбирать здесь его общественное положение, смиренную сферу его деятельности и скромные результаты этой деятельности. Нравственный смысл нашего рассказа исключает понятие о личности: здесь дело идет собственно о «человеке». Целью нашей было сказать, что, с точки зрения высоконравственного

смысла, тот только «человек», кто в сфере, предназначенной ему судьбой, недаром жил на свете, кто честно и свято исполнял свои обязанности, кто сохранил чистоту души, про которого можно сказать без лести и пристрастия, что он сделал все, что мог и что должен был сделать!

Пусть же истлевет солома, служившая старцу последним ложем, пусть глиняные эти черепки превращаются в прах, как и кости его: из памяти моей, как из памяти всех смиренных людей, которым он сам, не подозревая того, служил советом, образцом и примером, — долго не изгладится честная личность старого пахаря!

1856





В ОЖИДАНИИ ПАРОМА

(Рассказ)

Кого хоть раз в жизни не застигали на наших дорогах продолжительное ненастье, весенняя распутица или позднее осеннее время, тому, может быть, лишнее описывать все, что претерпевает в таких случаях путешественник. Достаточно сказать, что курная изба, со всей ее грязью, вонью и духотой, приветствуется тогда с величайшей радостью.

На мою долю выпали и грязь, и ненастье. Апрель стоял на половине; зимний путь прекратился; но ехать пока еще можно было; почва, благодаря возвратившимся морозам и постоянному холодному ветру, держалась довольно твердо. Вдруг ветер повернул с юга; по прошествии какого-нибудь часа небо покрылось тучами, и частый, теплый дождь зашумел со всех сторон. Воздух сделался так мягок, что земля видимо почти распушталась; низменные места дороги и колеи наливались водой; в ровных местах было еще хуже: глина навивалась на колеса целыми ворохами и мешала двигаться. Я торопил, однако ж, ямщика. Нам предстоял переезд через Оку. Принимая в соображение время и погоду, мы легко могли засесть на этом берегу, в случае, если замешкаем. До перевоза осталось верст шестнадцать, — сущая безделица, кажется! По железной дороге проехать такое пространство — полчаса, по шоссе — час, много полтора; но надо заметить, мы пробирались так называемым большим почтовым трактом; как все пути такого рода, дорога наша отличалась от полей кое-где торчавшими по сторонам ветелками. Тут уже нет возможности расчислить время, соображаясь с числом верст; можете благополучно проехать от станции до станции; можете также просидеть в какой-нибудь котловине, и всего чаще под каким-нибудь мостом, целые сутки.

Мы едва тащились. Время от времени попадались подводы с мукой, которые безнадежно бились посреди дороги; мы подсобляли им выкарабкаться и продолжали путь, чтобы полверсты далее засесть, в свою очередь, и ждать, пока не выручат оставшиеся позади и только что нами же вырученные люди. В таком обмене услуг заключались, можно сказать, путевые впечатления и развлечения.

Гладкая, пустынная как степь, местность убегала во все стороны; всюду мелькала темная, взбудораженная почва, по которой хлестал ливень; встречались сломанные оси, чахлые ветлы и стаи галок, которые, как бы в контраст грустной неподвижности всего остального, проносились стрелой над нашими головами. Не помню, чтобы было когда-нибудь так печально на земле и на небе! Весеннее время года перемежается в средней полосе России периодами, где решительно не разберешь, что происходит в природе: признаки весны исчезают совершенно; кажется, скорее наступила суровая, опустошительная осень; птицы, прилетевшие при первом теплом ветре, бог весть куда все прячутся; серый туман застилает окрестность, отчаянная глушь воцаряется всюду; обнаженные деревья, обливаемые дождем и колеблемые ветром, уныло гудят, дополняя тоску, которая сама собой вливается в душу...

Был уже час восьмой вечера, когда сквозь частую сеть дождя и начинающиеся сумерки блеснул в отдалении один из поворотов Оки. Но прежде чем попасть на перевоз, следовало проехать длинную-длинную деревню, раскинутую по низменному берегу. Улица буквально запружена была лошадьми, подводами и народом, ждавшим очереди. Нечего было думать ехать далее; надо было остановиться при самом въезде в деревню.

— Где паром, на той или на этой стороне? — спросил я, как только выровнялся с ближайшими возами.

— Паром ушел... — отозвалось несколько голосов.

— Давно ли?

— С утра ушел!

— Как с утра?..

— С утра... Канат порвался у парома... он и ушел...

Дождь промочил во многих местах мое платье, и я продрог до костей; но при этом известии меня в жар кинуло. Кроме того, что я спешил достигнуть цели

своей поездки, мне слишком хорошо было известно, что значит дожидаться восстановления порядка, когда наблюдения за порядком, передаваясь от одного лица к другому, переходят наконец к мелким властям, а мелкие власти, после дружеского объяснения с содержанием перевоза, предоставляют последнему полную свободу действовать и распоряжаться по своему произволу.

Я решился оставить лошадей, взять чемодан и попытаться переехать на лодке. С такой мыслью направился я к реке. С каждым шагом вперед труднее было двигаться. Улица, окутанная уже полумраком, представляла совершенную кашу из подвод, людей и лошадей; все это располагалось зря, без всякого порядка, тискалось и сбивалось, уходя в грязь по колено и по ступицу; иная телега стояла прямо, другая поперек; в одном месте голова лошади упиралась в воз, в другом — задние ноги животного тесно жались к соседним колесам; трудно было понять, как все это могло устать таким образом; но еще труднее было понять, как все это разъедется, как отцепится одна ось от другой, как двинутся колеса без того, чтобы не переломать ноги бедным клячам. Нескончаемый этот лабиринт неожиданно прерывался гуртом волов, которые неподвижно лежали под дождем и смутно обозначались в седом паре, клубившемся над ними. На самом берегу, у спуска к косогору, стояли толпы народа. Крики, говор и шлепанье по грязи — все это мешалось с грохотом реки, шумевшей от надавшего на нее дождя, с плеском волн. Не было возможности разобрать целой речи; посреди говора ясно только слышалось: «Куда лезешь! народ! начальство не позволяет!.. слышь: начальство!..» Слова эти, произносимые с сильным малороссийским акцентом, принадлежали сухопарому, рябому инвалиду очень мирного вида, который тут и там появлялся с тоненькой хворостинкой в руке. Этот же самый инвалид на вопрос мой: можно ли проехать в лодке? — отвечал, что это никак невозможно, что лодка была привязана к парому, и ее унесло вместе с ним; а что вот как придет паром, тогда, пожалуй, можно и на лодке переехать...

Скрепив сердце, я отправился назад искать ночлега.

Сколько ни странствуйте по нашим дорогам, сколько ни испытывайте всякого рода дорожных бед-

ствий, при каждой новой поездке вам непременно встретится новый, еще не изведанный случай. Мне, по крайней мере, ни разу не приводилось быть жертвой порванного каната, хотя я много раз слышал о подобных случаях. Этот канат не выходил у меня из головы. «Отчего бы ему оборваться?.. — рассуждал я мысленно. — Отчего могло произойти все это?.. надо думать, вот как было: конторщик или управитель какого-нибудь помещика купил дешевенькие семена конопля (в расходной книге выставлены были, разумеется, семена первейшего сорта и самые дорогие); уродилась плохая конопель, из нее вышла плохая пакля; управитель или конторщик ловко подсунил ее купцу-поставщику, который, в свою очередь, ловко подсунил ее канатному фабриканту. Фабрикант начал вить из нее особенного рода дешевенькие канаты, предназначенные на продажу лицам, не больно сведущим в деле веревочного производства. Содержатель парома был не настолько дурак, чтобы покупать дорогой канат, когда под руками находится дешевый. Авось сдержит! думал он, не видя даже лично для себя никакой потери в случае, если и не сдержит; народу, съезжающему к его перевозу, все равно деваться больше ведь некуда, — хочешь не хочешь, переезжай здесь, а не в другом месте; ближе сорока верст в обе стороны нет парома: потери, следовательно, никакой нет для содержателя перевоза; бояться ему также нечего, после предварительного переговора с мелкими властями». Восходя таким образом к источнику беспорядка, я мысленно говорил: «Но отчего же наконец такая круговая порука взаимного надувательства и недобросовестности?.. Отчего же все это?.. Отчего?..»

Совсем уже стемнело и в окнах зажигались огни, когда я возвратился к своему ямщику. Мы направились к ближайшей избе. Но так уже суждено было, чтобы в этот день испытывать одни неудачи: в избе скопилась целая орда, не оставалось свободного уголка. Нас отправили в избу напротив, уверяя, что там найдем много свободного места; изба принадлежала бурмистру; он держал горницу и пускал одних купцов и помещиков.

На этот раз действительность далеко даже превзошла ожидание. У бурмистра нашел я трех человек; с первых слов оказалось, что то были проезжие помещики, претерпевавшие одинаковую со мной участь.

Все трое сидели вокруг стола, уснащенного стаканами и блюдецками: тут же возносился самовар, шипевший самым привлекательным образом. Минут через десять, переодетый и обогретый, сидел я между ними со стаканом чая, радушно предложенным мне соседом, человеком средних лет, весьма симпатичной наружности, закутанным в коричневое пальто, повязанным черным галстуком, пропускавшим белые и тонкие воротнички рубашки. Второй сосед был миниатюрный, худенький, но живой и веселый господин с крошечным белокурым лицом, отличавшимся необыкновенною подвижностью. Третий представлял из себя толстяка лет шестидесяти, с шарообразной седоватой головой, серыми глазами навывкате и коротенькой шеей; он сидел без галстука, в халате и туфлях, покуривая из коротенького чубука, залепленного сургучом, — обстоятельство, заставлявшее его поддерживать свободной рукой живот, который от чрезмерного сотрясения туловища приходил всякий раз в сильное колебание. Повидимому, ему тесно было даже в халате; он ехал, видно, на своих: под ногами его стоял тяжеловесный поставец, а шагах в двух подымалась широкая, пышно взбитая перина с ситцевым одеялом и подушками.

В промежуток этих десяти минут, как я вошел в избу, он слова не промолвил; во все время сохранял он какой-то неловкий, сконфуженный вид, пыхтел и краснел, бросая, особенно на меня, недоверчивые, косые взгляды; компания, очевидно, стесняла его. Первым поводом к беседе послужил, разумеется, беспорядок, которому обязаны мы были нашим столкновением.

— Мошенники! — неожиданно пробурчал толстяк к совершенному удовольствию маленького живого господина, который, казалось, только и ждал, чтобы разразиться смехом.

Замечание толстяка произнесено было таким мрачным, таким недовольно-комическим тоном, что действительно трудно было удержаться.

— Чего вы смеетесь? Конечно, мошенники! — повторил он, дико поглядывая на весельчака.

— Еще бы не мошенники!.. Разве я заступаюсь? — возразил тот, продолжая надрываться. — Впрочем, нам с вами нечего много жаловаться, — подхватил он преднамеренным каким-то тоном и как бы желая подразнить старика. — Нам с вами грех роптать; одно разве: домой позже приедем! Что ж касается до всего

остального — мы здесь блаженствуем, — именно блаженствуем! Видите: сидим в теплой избе, пьем чай... ваш человек даже вам перину постлал. Чего же еще?.. Нет, скажите-ка лучше, каково-то теперь бедному мужичонку, что стоит на улице, вот что! Каково этому мужичонку, который не только не пьет чаю теперь и не уснет на перине, но которому нечем даже за ночь лег отдать, чтобы от дождя спрятаться? Скажите-ка лучше, — ему каково?.. Вот, — добавил маленький господин, живо обратясь ко мне и насмешливо прищуривая глазки по направлению к толстяку, — вот они говорили нам, что все это ровнехонько ничего не значит, что мужик привык ко всему этому...

— Разумеется, привык! — произнес толстяк, нахмуривая брови и как-то боком пятясь на своем стуле.

— Ну, а как вы думаете, — заговорил в свою очередь господин в коричневом пальто, холодно поглядывая на толстяка, — думаете ли вы, что этот мужик, у которого, по вашему мнению, кожа должна быть дубовая, привык ли он, например, платить за хлеб для себя собственно и за овес и сено для своей лошади, привык ли он платить втриворога против того, что в самом деле стоит овес, сено и хлеб? Не думаю, чтоб это было ему нипочем!.. А между тем, могу вас уверить, весь этот народ, который вы видели здесь на улице, находится в таком положении! — присовокупил он, переменяя голос и обратясь ко мне. — Я сам спрашивал: тут есть бедняки, которые уж третьи сутки дожидаются; известно: человеку надо есть, надо, чтоб и лошадь сыта была; как же не воспользоваться таким случаем? ломим с него за все втриворога! Таких случаев, как тот, которому обязаны мы нашей встречей, только и ждут обыватели приречных деревень! Надо было видеть, что происходило в этой самой деревне (и нет причин, чтобы в других не было того же самого) во время половодья, недели две назад; я давно привык ко всему этому, но, признаюсь, последний раз пришел в ужас: подвод съехалось, я думаю, больше, чем теперь; большая часть возвращалась из Москвы после обоза; Ока восемь дён стояла в разливе, восемь дён не было возможности попасть на ту сторону! Хлеба, сами, полагаю, знаете, весной остается уже немного: у другого, если семья большая, в феврале уж весь вышел; об овсе и сене говорить нечего! И наконец, не напасешься всего этого дней на

десять, которые необходимы для переезда из деревни в Москву и обратно. Вот тут-то поглядели бы вы, что здесь происходило: кто продавал одежду для того, чтобы прокормиться, — а время, надо заметить, было самое холодное и дождливое; кто продавал лошадь, чтобы не дать ей издохнуть с голоду, кто сани сбывал... Все эти предметы отдавались, разумеется, за самую безделицу; проезжающий находился в руках обывателей, которые, нимало не стесняясь совестью, просто грабили! Я вам говорю: такая картина, что не приведи бог во второй раз видеть!.. а придется, непременно придется, потому что я каждую весну и осень проезжаю по этой дороге...

Разговор, к которому тотчас же пристал маленький живой господин, завязался на эту тему. Мы совсем почти забыли толстяка; он, впрочем, молчал; казалось, он не доволен был предметом беседы. Переходя от одного вопроса к другому, мы невольно коснулись быта народа и нравственных его свойств. Мнения были очень различны; мы вообще так мало обращаем внимания на народ, так мало знаем его, что иначе быть не могло; перебрав хорошие качества нашего простолюдина, мы пришли к его недостаткам; тут мнения еще резче стали отличаться одно от другого. Одного более всего возмущала жадность к барышу, часто даже заглушающая совесть и религиозное чувство; другой нападал на отсутствие крепкого нравственного начала, на малодушие и бесхарактерность; маленький господин с жаром обвинял мужика в лени, которую часто даже прикладывает он к личным своим интересам. Хотя маленький господин, очевидно, увлекался собственными словами и чересчур горячился, суждения его показывали человека, не лишённого наблюдательности и много обращавшегося с народом. По мере того, как говорил он, толстяк заметно делался внимательнее, он начал даже поддакивать, утвердительно потряхивал головой и время от времени бросал на меня и моего соседа торжествующие взгляды. Слово за словом, речь коснулась той роли, которую играют страсти в душе простолюдина.

— Я имею основание думать, что страсти вообще, то есть как благородные, так и неблагородные, одинаково свойственны всякому человеческому роду без различия состояний... — сказал собеседник в коричневом пальто, — на мои глаза (думаю, и на ваши точно

так же), не существует между людьми другой разницы, как та, которую дают большая или меньшая степень развития и образования; но в деле страстей, мне по крайней мере так кажется, образование и развитие не имеют большого значения; они помогают только страсти иначе выразиться, смягчают форму; действие страсти, сущность нравственного процесса остается все та же...

Такое мнение не встретило возражения ни с моей стороны, ни со стороны маленького господина. Кажется, это удивило толстяка; до настоящей минуты он не переставал моргать нам обоим с видом взаимного соучастия, как бы ожидая, что вот-вот оба мы разразимся смехом; обманутый в своих ожиданиях, он раздул губы и отвернулся с видом пренебрежения; как будто хотел сказать: «Ну, опять запороли чепуху!..»

— Мне известно из самых верных источников, — продолжал между тем господин, начавший разговор, — знаю верно, что в наших тюрьмах, например, на три тысячи преступников средним числом находится около восьмисот таких, которых страсти, я разумею сердечные страсти, довели до преступления; такая пропорция что-нибудь доказывает в пользу нашего общего мнения! Я убежден в этом. Постоянно живу в деревне, постоянно наблюдаю: всего насмотрелся. Не далее как прошлой осенью был у меня случай с одним из этих вялых и апатичных, как вы их называете... Пожалуй, я расскажу вам, если не скучно...

Я и маленький сосед мой выразили готовность слушать. Толстяк ничего не сказал; он явно предубежден был против рассказчика; щетинистые брови его выпрямились, однако ж, и пухлое лицо повернулось в нашу сторону. Господин в коричневом пальто обрезаю сигару, налил новый стакан чаю и начал таким образом:

— Я заметил, кажется, что происшествие, о котором пойдет речь, случилось осенью; но осенью оно собственно только кончилось; началось гораздо раньше, — весной прошлого года. Верстах в ста отсюда, за Окой, находится у меня деревушка, вернее, выселки из другой деревни, где я провожу обыкновенно лето; выселки от меня версты две; народ на оброке; но ни расстояние, ни оброчное положение не мешают мне знать

очень хорошо, что там делается. Надо вам сказать, я сам занимаюсь своим хозяйством; это не весело, если хотите; куда как не весело! но я делаю это из убеждения; действуя таким образом, мне кажется, я исполняю свой долг,— это раз; и, наконец, я приношу этим действительную, существенную пользу моим крестьянам, такую пользу, какую не мог бы принести самый лучший, добросовестный управитель...

— Уж это точно! — вымолвил толстяк с уверенностью, — эти управители — все мошенники; кругом тебя обворуют.

— Совершенно справедливо! — произнес рассказчик, посылая ему самый серьезный поклон, — вы угадали мою мысль! Но все это, господа, дело постороннее; я коснулся всего этого с той только целью, чтобы понятнее было, каким образом мог я изведать подробности моего рассказа. Итак, я знал более или менее всех выселовских мужиков. В числе их был один, который особенно всегда возбуждал мое любопытство; это потому, может быть, что я знал его менее других. Такого рода личность легко, впрочем, могла ускользнуть от самого наблюдательного глаза; в жизнь мою не видал я человека более бесцветного: не было ни наружной черты, ни факта из жизни, которые могли бы служить для пояснения его характера. Представьте себе жидкую, в высшей степени разварную фигуру с подслеповатым белокурым лицом, усыпанным веснушками, длинной головой, странно как-то приплюснутой на лбу, — головой, которая держалась всегда на сторону и сонливо клонилась к земле. Глядя издали, вы бы непременно сказали: «Над чем так крепко задумался этот мужичок? верно пришибло его каким-нибудь горем...» Вблизи оказывалось, что как в глазах его, так и во всех чертах царствовало полнейшее отсутствие жизни и даже мысли. Непомерная апатия и вялость еще резче проявлялись, когда он ходил или принимался дело делать: длинные руки болтались словно сами собой; ноги, несмотря на худобу, тяжело передвигались, подгибались в коленях, переплетались как у пьяного; он не пил, однако ж, капли в рот не брал, — не на что было. Присоедините к этому страшную неряшливость; она как бы дополняла жалкий вид наружности. Не помню, чтобы явился он когда-нибудь без прорехи или зацепины; в одежде его непременно

чего-нибудь да недоставало: или меховой обшивки вокруг шапки, или веревочки на одном лапте, или целого плеча на полушубке; и сколько бы ни пропекало его морозом в прорванное место — он на другой день выходил с той же прорехой, как и накануне. Та же самая распушенность была и в домашнем быту его, и в хозяйстве, и в поле; у других, например, озими или яровое бархатом стелется; у него, смотришь, на десятине те же прорехи, что на рубахе; везде плешины; где густо, где нет ничего... И между тем не было возможности взыскивать с него, заставить его быть расторопнее, деятельнее, — заставить, чтоб дело шло иначе...

На этом месте рассказа хрипение толстяка перешло в удушье, и он начал выказывать сильнейшие знаки нетерпения.

— Вам, кажется, угодно что-то сказать?.. — обратился к нему рассказчик.

— Что уж тут говорить! — комически безнадежным тоном промолвил толстяк, — а вот я вам скажу, — подхватил он с сердцем, — посечь бы его хорошенько, этого мужика, — так ничего бы этого не было... отличный был бы мужик.

— Вот оно что значит настоящий-то хозяин! — воскликнул весельчак, стараясь сохранить серьезный и даже почтительный вид, — вашу руку, милостивый государь, вашу руку! Я всегда питал искреннее, глубочайшее уважение к практическим людям; всегда! — заключил он, потрясая жирную руку толстяка, который, по-видимому, недоумевал, как принять все это: за настоящую ли монету или за насмешку.

— Теперь, — довершил веселый господин, обратившись к рассказчику, — позвольте просить вас продолжать: вы сказали, что нельзя было прицепиться к этому мужику...

— Я, по крайней мере, не мог этого сделать, — подхватил рассказчик, — духу недоставало. Он решительно, хоть кого бы, впрочем, обезоружил своей кротостью. Иной раз идешь мимо его поля, невольно возьмет досада: так бы вот, кажется, и разругал его и тотчас же заставил переделать, перепахать; но при виде несчастной этой фигуры, покрытой заплатами, при виде этого смиренного лица, опущенного к земле, только отвернешься да пройдешь поскорее мимо. Вся эта распушенность слишком уже очевидно происходи-

ла скорее от внутреннего бессилия, от врожденной, свойственной его природе лени и апатии, чем от преднамеренности, — лени или вообще порочного какого-нибудь свойства.

Им, наконец, и без того уже много помыкали. Если безответные, кроткие люди играют жалкую роль в образованном обществе, можете судить, в какое положение ставят такие свойства в кругу народа! Он находился во всеобщем пренебрежении; каждый над ним трунил, подсмеивался. Не было примера, однако ж, чтобы он, с своей стороны, кого-нибудь облаял; он не подавал голоса даже в таком деле, когда очевидно приходило ему в наклад; он всегда молча повиновался. Надо думать, что, кроткий и смиренный по природе своей, он в детстве был сильно загнан или запуган. Тем только и обозначалось присутствие его в выселках, что поле его и изба занимали там место; на самом деле, он как будто не существовал. Возьмите также в расчет действительно самую безотрадную домашнюю обстановку: детей куча, ни брата в доме на подмогу, ни старика; поневоле упадешь духом и одуреешь! Тут же, кстати, одно к одному, жена попалась ему такая ничтожная, как и сам он. Попадись баба сметливая, расторопная, смышленная, — дело, разумеется, шло бы другим порядком. У нас часто встречаются бабы, которые вертят и хозяйством, и мужем, любо смотреть, как распоряжаются! Мнение, будто в домашнем быту народа жена играет второстепенную роль и всегда подчинена мужу, — ошибочное мнение; второстепенная роль точно присуждена ей обычаем; но обычай существует только в памяти народа, на словах существует; это ничего, что муж иной раз поколотит; он поколотил, а она все-таки свое возьмет. Бывает даже, что целой деревней управляют бабы: заведется какая-нибудь тетка Маланья, да в дворне еще Аграфена, да к ним присоединится еще мельничиха; одна к старосте подольщается, другая — к конторщику, третья за нос водит мужа, который, в свой черед, имеет влияние на конторщика и на старосту. Староста, конторщик и мельник воюют на миру, надрываются; Маланья, Аграфена и мельничиха виду не подадут, так только как бы невзначай встречаются и шепчутся, — а дело, — смотришь, — дело делается по-ихнему.

К несчастью, жена Якова (так звали моего мужика)

не из таких была. Она принадлежала к разряду так называемых плакс, канючек. Пустейшая была баба. Вот ее смело можно было упрекнуть в лени! Она положительно выказывала явное нерасположение к труду; даже дома редко чем-нибудь занималась; вечно сидит, бывало, у соседок или шляется по окрестным деревням, навещая кумушек; жалобы на бедность и сетования на судьбу служили только придиркой к тому, чтобы поболтать, язык поточить. С мужем жила она, однако ж, смиренно; мне сказывали только, будто они никогда друг с другом не разговаривали; он молчит, и она молчит, и все это не потому, чтобы имели они что-нибудь друг против друга, — вовсе нет; так просто; говорить, видно, не о чем было. Меня всегда удивляло, как при таких странных отношениях могли у них ежегодно рождаться дети; а ежегодно рождались, семеро ребятишек было. В доме находилась еще мать Якова; но ее пока считать нечего; все равно, что была она, что нет. Она уже пятый год не сходила с печки; паралич свел ей левую руку и ногу. Казалось бы, что при такой обстановке, особенно при таких характерах, трудно ожидать в этой семье драматического эпизода; по всем данным, этот Яков, поживши своей жалкой жизнью, должен был сойти в могилу, не оставив после себя малейшего следа, даже воспоминания... Случилось, однако ж, иначе; вот как это было.

Один из выселовских мужиков, который был позажиточнее, нанял работницу. Взял он ее из-за реки, верст за десять, на какой-то миткалевой фабрике. Женщина эта (она, забыл вам сказать, была вдова и бездетна) пользовалась даже между фабричными не совсем благонадежной репутацией: значит, уж хороша была. Ее знали в околотке под именем рябой Марфутки.

После того, как кончилась история, которую вам рассказываю, я имел случай ее видеть; трудно представить наружность более непривлекательную: лицо пухлое, рябое; нос комом; из себя коротыш какой-то; к тому же было уж ей лет сорок, может даже и с хвостиком. Но, несмотря на все это, в выселках нашлись поклонники. Марфутка эта была, впрочем, баба бойкая, разбитная; она отлично играла на гармонике, могла выплясывать часа по три без отдыха, знала наперед все местные песни и обладала таким звонким,

пронзительным голосом, что за версту отличишь его в хороводе.

С первых же дней стала она как бес на выселках: с одною вступила в тесную дружбу, с другими успела поосмириться. Число поклонников заметно возрастало. Недели через три после ее прибытия произошла даже маленькая свалка: она подралась с одной из баб, которая, не знаю, основательно или неосновательно, но только приревновала ее к мужу. Прошла Святая, наступила и пахота. Мужики стали выезжать в поле; отправился и наш Яков с ними.

В один из этих дней мужик, нанимавший Марфу, послал ее за чем-то в соседнюю деревню; дорога лежала через те самые поля, на которых работал народ; нива Якова примыкала к дороге. Проходя мимо, Марфа остановилась. До того времени, нужно заметить, Марфа слова не сказала с Яковом; по всей вероятности, редко даже с ним встречалась; но, вероятно, она имела о нем некоторое понятие, слышала, по крайней мере, как над ним подтрунивали, и, проходя мимо, вздумалось ей в свою очередь побалагурить. Бедность мужика, его вялая, кислая наружность служат верным подтверждением, что у Марфы, кроме балагурства, не было другого повода вступать с ним в беседу. Как начался разговор, в чем состоял он — неизвестно; но после этой встречи беседы их стали повторяться. Хотя встречи происходили как бы случайно, они не ускользнули от глаз любопытных; это дало новую пищу смеяться над Яковом. Марфа сама, казалось, потешалась над ним вместе с другими; а между тем ловила случаи попадаться ему на дороге. Многие видели, как иной раз Яков торчал где-нибудь за углом или подле рощи, переминался на одном месте несколько часов сряду и очевидно ждал чего-то; при встрече с кем-нибудь из крестьян, он вдруг раскисал, щурился и с пристыженным, крайне жалким и неловким видом направлялся домой.

Не могу сказать вам, какие способы пустила в ход Марфа, чтобы приворожить к себе, сбить с толку и, наконец, совершенно погубить этого человека; после говорили, будто все это случилось по наговору; она, говорили, опоила его каким-то зельем; но это пустяки, разумеется. Еще труднее объяснить, каким образом страсть, — я говорю: страсть, потому что нельзя дать другого названия чувству, которое овладело Яко-

вом, и, наконец, по заключению этой истории, сами вы увидите, что одна безумная страсть в силе одурманить до такой степени человека, — каким образом, повторяю вам, это вялое, по-видимому совершенно безжизненное, кислое и робкое существо могло так сильно привязаться к женщине, которая явно вела постыдную жизнь, — словом, отвратительная была во всех отношениях. Началось с того, что Яков пришел однажды домой без полушубка; он рассказал, что снял его и положил на межу перед тем, чтобы сеять; вернувшись к меже, полушубка уже не было: его украли. Это случилось в начале недели; в следующее затем воскресенье Марфа явилась в новом, красном как маков цвет, платке и новых котках.

— Фу ты, как расфрантилась! — говорили бабы, — откуда у тебя все это?..

— Давно было; в сундучке лежало! — возразила без малейшей запинки Марфа; пухлое лицо ее лоснилось от удовольствия и багровело как красный сафьян.

В этот день голос ее немолчно дребезжал на выселовской улице; она превзошла самоё себя и в пляске, и в песнях. В скором времени со двора Якова ночью унесены были корыто, чугунок и лошадиная сбруя. С женой своей Яков не вступал почти в объяснение по этому предмету; но в разговоре со старухой-матерью выказал решительное недоумение касательно того, как могли пропасть эти вещи: он в эту ночь, как нарочно, спал на дворе. Спустя несколько дней, у Марфы завелся новый передник, запонка, серьги и позумент на подоле понёвы. Короче сказать, по мере того как у Якова происходили пропажи, — а такие случаи повторялись чаще и чаще, — Марфа покрывалась обновками... Ясно, что в выселках завелся вор, который преимущественно избрал дом Якова, хотя в этом доме меньше было чего взять, чем в других...

— Какой тут вор! — нетерпеливо перебил толстяк, поглядывая с пренебрежением на рассказчика, — какой вор! Вам сказали: вор! — вы этому и поверили... Этот же самый Яков, которого вы так жалеете, — он сам таскал у себя! Утащит, мерзавец, продаст, да Марфе этой и купит обновку.

— Может ли быть? — спросил с напряженным изумлением весельчак, переглядываясь со мной и рассказчиком.

— Разумеется! — возразил толстяк.

— Они совершенно правы! — подхватил рассказчик, сдерживая улыбку, — вор точно был не кто другой, как Яков; об этом давно даже догадались все бабы; всем решительно известно было, что Яков тащит все из своего дома, закладывает у целовальника и на вырученные деньги наряжает Марфу. Нашлись люди — стали ему выговаривать; но больше проходу не было от насмешек: стоило Якову на улицу высунуться — из-за угла уж непременно кто-нибудь кричит: «Яков, ступай скорей, Марфа дожидается!..» — и тому подобное. Смеялись также и над Марфой; но, вообще, она держала себя так бойко, так осаживала тех, кто приступал к ней, что насмешки никогда не переходили за предел шутки; даже мужик, нанимавший ее, не делал ей замечаний; его останавливало, вероятно, опасение лишиться дешевой и ловкой работницы; потому что, надо сказать, Марфа, мимо проделок своих, могла, когда хотела, заткнуть за пояс самого здорового батрака. Замечательнее всего, что Яков не встречал ни малейшего препятствия со стороны домашних; жена словом не обмолвилась, — виду не показывала, что что-нибудь знает. С тех самых пор, как открылись отношения между Марфой и Яковым, жена совсем почти дома не сидела; уйдет в поле или к реке, ляжет ничком наземь и давай выть; голосит, словно по покойнику. Но чаще всего забиралась она к дальним родственникам и соседям; там уже выгружала она свои горести и, казалось, тем охотнее это делала, чем больше находилось слушателей. Мало или, вернее сказать, вовсе почти не заботясь о детях, она колотилась теперь головой, говоря о них; говорила, что вот пустил-де разбойник по миру сиротинок горьких; остались они, черви малые, одни как нива без огорода, — и проч., и проч. Дети между тем бегали по улице оборванные, неумытые; весьма вероятно, часто даже бывали голодны... Раз только, один-единственный раз, старуха-мать Якова попрекнула сына. Приходит он в избу; никого там не было кроме старухи; по обыкновению, лежала она на печке.

— Яков! — говорит она.

Он подошел.

— Что, матушка?

Над верхней перекладной печки показалась седая косматая голова, и два мутные глаза пристально на него устремились.

— Яков, — произнесла старуха, не спуская с него глаз, — Яков, что ты это затеял, — разбойник, а?..

Больше ничего не сказала она; но сам Яков признавался потом, что весь этот день ходил как шальной; словно тоска давила его, и он нигде не находил себе места. Но минул день — и все пошло опять своим порядком.

Перед людьми и миром Яков оставался тем же робким, безответным, смиренным человеком; он постоянно молчал; знака сопротивления не показывал, когда староста, не зная уж чем остановить его, переговорив предварительно со стариками, начал водить его в пустой сенной сарай и наказывать. Все это решительно, однако ж, ни к чему не послужило. Стыд, совесть, самый страх, — все заглушала несчастная привязанность; это было что-то похожее на запой, против которого все средства оказывались бессильными. В доме его постепенно, одна за другой, исчезли: телка, две овцы, горшки, — словом, все, что могло превращаться у целовальника в наличные деньги. Марфа выходила по воскресеньям великолепная как пава, день-деньской грызла орехи; начали даже часто замечать ее навеселе. Наступило под конец совершенное разорение; в избе остались только лавки, стены, оборванные ребятишки да старуха, которая с того дня, как сделала первый намек сыну, дала словно обет молчания; слова не произносила она, хотя все видела, все замечала. Придут к ней соседки и родственницы, принесут ей и внучатам творожку или хлеба, начнут рассказывать про сына, ругают его, соболезнуют о детях, — старуха слова не промолвит: сидит, понуря голову, молчит, точно дело не до нее совсем. Она представляла совершенную противоположность снохе, которая всем уже надоела своими слезами и жалобами.

— Позвольте, почтеннейший, позвольте, — прервал толстяк, насмешливо прищуривая заплывшие свои глазки, — как же вы-то, вы, сударь мой, никаких мер не принимали против такого беспорядка?..

— Признаюсь, я сам хотел сделать вам тот же вопрос, — заметил маленький господин.

— К сожалению, меня в ту пору не было. Я приехал домой к концу уборки, когда Яков дошел уже до того положения, о котором я говорил вам. Первым распоряжением моим было отдать приказание, чтобы

Марфу непременно выслали из выселок; потом велел я призвать Якова. Сначала я сильно было на него напустился; но, подумав в ту же минуту, что все эти рассказы о его проделках могли быть преувеличены (мысль, которая невольно рождалась при воспоминании о его жизни и характере), обезоруженный сверх того робким, совершенно потерянным видом этого человека, который стоял передо мной с опущенной головой, дрожал как осиновый лист и обливался холодным потом, — я переменял грозный тон на увещательный; всячески начал я его усовещивать; говорил о грехе, о семействе, о голодных детях, и так далее. Во все время он не проронил ни слова, не сделал движения: он казался убитым, подавленным совестью и раскаянием; из-под жиденьких волос, наполовину закрывавших лицо его, я заметил слезы, которые текли по щекам и разбегались по морщинам. Я выслали его, строго наказав старосте докладывать мне о том, как пойдет теперь житье Якова.

Прошел месяц; я не слышал малейшей жалобы. Между ним и Марфой, которая перешла версты за две в село Лысково, прекратились, казалось, все сношения. Я начинал уже радоваться такой перемене, как вдруг узнаю, что все пошло опять на прежний лад; узнаю, что Яков продал свою единственную лошадь, а деньги девал неизвестно куда; должно быть, Марфе отдал. Теперь необходимо следовало уже решиться на энергическую меру; но, признаюсь, в чем должна была состоять эта мера — я не мог придумать. Отдать в солдаты человека сорока пяти лет не было возможности; посадить в острог, хотя бы временно, нельзя без причины, установленной законом; не говоря уже об отвращении подвергнуть его домашнему наказанию (к счастью, ограниченному правительством), но и эта мера была уже приведена в действие без малейшей пользы. Отправил бы его на поселение, — не принес бы я ровно никакой пользы его семейству. Кроме того, каждая из этих мер казалась мне чересчур уж сильной для человека, который хотя и служил худым примером остальным крестьянам, хотя требовал наказания, но сам по себе не сделал ничего особенно резко преступного. С нашей пошлой привычкой судить легко или рутинно о нравственных свойствах простого класса, я верить не хотел в искренность Якова; я не предвидел, чем все это могло кончиться; на-

против, хотя было не до смеху, — мне смешным казался этот новый кавалер Де Грие, явившийся у меня в выселках. Как бы то ни было, я не знал, на что решиться. Вот, однако ж, чем все это кончилось.

Впоследствии выяснилось, что в этот последний месяц между Марфой и Яковом вышла разладица. Причиной была, разумеется, Марфа; ей, без сомнения, в голову не приходило, не могла даже понимать она и думать о том, какого рода чувство влекло к ней бедного мужика; видя, что взять с него больше нечего, она стала вдруг от него отбиваться. Кроткий нрав мужика поощрял ее действовать грубо и бесцеремонно. Она освоилась в деревне Лыскове так же скоро, как в выселках, и так же скоро нашла там обожателей. Она попалась Якову в роще (роща отделяла Лысково от выселок), попалась ему с работником лысковой мельницы. Раза два потом Яков, следивший за ней украдкой, видел, как входила она в кабак вместе с тем же работником. Обращение ее с Яковом, когда он начал упрекать ее, проникнуто было дерзостью и наглостью самой возмутительной; она как бы не понимала, чего хотел от нее мужик, с чего он к ней привязывался. Яков между тем день ото дня делался сумрачнее. Это заметила его жена, мать и многие даже из посторонних людей. Все они сами потом говорили об этом. В таком-то положении, вероятно, он и решился продать лошадь. Может быть, тут ревность действовала; но всего вероятнее, как человек слабый, бесхарактерный, не мог он совладать с собой, не мог перенести мысли о разлуке. Ослепленный страстью, он вперед не загадывал; страх и последствия, ожидавшие его после продажи лошади, — все это исчезало при одной надежде, что авось-либо Марфа снова с ним сойдется, авось все пойдет у них, хоть на время, да пойдет по-прежнему, а там, после... но о том, что после будет, он, вероятно, даже и не думал. Так, по крайней мере, кажется все это теперь, когда дело уже кончено. Кончилось это, как я вам сказывал, прошлой осенью.

Выселовские мужики купили в Лыскове десятину лесу для топлива. Пришли они ко мне проситься на рубку. Я советовал повременить, потому что день, выбранный ими, вовсе не отвечал такому делу: ветер рвел в полях, как голодный волк, и без пощады рвал

последние листья; на горизонте видимо росли тяжело-весные тучи; даль застилалась сумраком; холодно не было, но рука стыла на воздухе; все предвещало или грозу, или продолжительное ненастье. Я представлял им всевозможные резоны, говорил, что дорога из лесу идет в гору и что, в случае дождя, лошадям тяжело будет тащить возы, навьюченные лесом; говорил, что самые дрова, смоченные дождем, не просохнут до самого снега; но наш мужик если уж что заломит, ничем его не удержишь: поставили на своем, поехали. Так как дело было мирское, с ними отправился Яков. Началась рубка. В то же время, и в том же лесу, лысковские бабы собирали валежник; тут также и Марфа была. Подсмотрев, когда она осталась одна, Яков подошел к ней. С чего началось у них — никто не знает: надо думать, обращение Марфы было чересчур уже грубо и жестоко, потому что сам Яков возвысил голос; от слов перешло у них к брани, и, наконец, Яков, потеряв, видно, терпение, замахнулся и ударил ее в лицо. Марфе ничего не стоило ответить тем же; но тут она вдруг, ни с того, ни с сего, повалилась наземь и стала звать на помощь; она кричала во всю мочь, что Яков убил ее до смерти. Когда прибежали на голос, Яков стоял у дерева; на расспросы товарищей он ничего не отвечал: у него точно язык отнялся. Марфа между тем продолжала кататься по земле и кричала, что ее убили. Видя, что никакого толку из этого не выходит, только народ смеется, она встала, разразилась бранью и пошла своей дорогой; ее проводили насмешками, добрая часть которых выпала, конечно, на долю Якова.

В мирском деле, как и следует, впрочем, быть, не то, что на барщине: время терять не любят, посмеялись — и опять за работу. Но то, что я предсказывал мужикам, поневоле укоротило их деятельность; к полудню тучи окончательно заволокли небо, и дождь пошел как из ведра. Нечего было думать продолжать работу.

Вернувшись домой, Яков показался домашним чудным каким-то; так они сами потом выразились. Не касаясь уже того, что он ни с кем слова не молвил, ему не сиделось на месте: то встанет, то сядет, то выйдет в сени, то обойдет вокруг двора и снова придет в избу; и все это делал он безо всякой причины, сам, по-видимому, не сознавая даже того, что делал. Река

у нас не очень далеко: стоит обогнуть крестьянские риги и пройти луг. Яков несколько раз отправлялся на реку. Движимая любопытством, возбуждаемым загадочным поведением мужа, жена выходила из избы и за ним наблюдала: подойдет Яков к реке и начнет ходить взад и вперед по берегу; или спустится к воде, постоит-постоит, словно в раздумье каком-то, и снова наверх подымет. Раз быстрыми шагами направился он к роще, совсем уже подошел к опушке, и снова вернулся в деревню. Во все время дождь лил не переставая, ветер ревел с той же силой, как и утром. Яков ничего не замечал как будто; он продолжал бродить у себя по двору и по окрестности. Наконец наступила ночь. В выселках все улеглись и заснули. Несмотря на то, что дождь и ветер превратились с наступлением ночи в бурю, Яков все еще не возвращался. Он пришел домой около полуночи; жена и дети давно спали. Он тихо вошел в избу и сел на лавку.

По прошествии некоторого времени он встал, бережно подобрался к печке, нащупал в потемках стремячки, по которым взбираются на печь, и сел подле матери. Она не спала; но Яков не мог разобрать этого: старуха лежала неподвижно и молчала. Руки Якова дрожали так сильно, что несколько раз провел он ими по воздуху, прежде чем нащупал старуху.

— Кто тут? — спросила она, как бы пробуждаясь от сна.

— Я, матушка!..

— Что ты?

— Матушка, — произнес Яков, — нет больше моей моченьки... Матушка, я убью ее!..

— Кого? — спросила старуха, сохраняя прежнюю неподвижность; только голос ее словно несколько оживился.

— Ты, матушка, — продолжал Яков, — ты хоша ничего не говорила, но все видела, — видела все мое разорение... мою погибель... Заела она всю мою жизнь, змея подколодная... Моченьки моей нету... я убью ее!..

Выражения Якова при объяснении с матерью были, вероятно, энергичнее, может статься, совсем даже другие; приблизительно, в общих словах, передаю то, что слышал, что показала потом сама старуха. Вообще во

всей этой истории нет ничего вымышленного; точь-в-точь рассказываю, как дело происходило в действительности; следствие, которое при мне происходило, и показания действующих лиц при допросе доставили мне все сведения.

Старуха-мать осталась, по-видимому, совершенно бесчувственной к словам сына; она не сделала малейшего замечания, слова не промолвила. Но когда Яков в третий раз повторил: «Матушка, я убью ее!..» — она медленно приподнялась на локте, кряхтя и охая, слезла с печки и принялась суетливо шарить в углу, где стоял стол. Яков слез также с печи и следовал за матерью. Старуха нащупала в ящике нож и молча сунула его сыну, который тотчас же бросился из избы.

По прошествии часа выселовский народ пробужден был страшными криками; все впопыхах высыпали на улицу. У околицы нашли Якова; он лежал ничком на дороге, страшно бил себя кулаками в грудь и голову и кричал во весь голос: «Батюшки, вяжите меня!.. Я убил ее!.. Батюшки, вяжите! убил ее, убил!..» Выбежав тогда с ножом из избы, он пустился сломя голову в Лысково, ворвался в клеть, где спала Марфа, и нанес ей сряду одну за другой восемнадцать ран!.. каждая была смертельна.

С последними словами толстый господин, слушавший рассказ очень равнодушно, разразился вдруг против Якова самой энергичной, крупной бранью. Он как будто давно уже вывел свое заключение об этом человеке и ждал только окончания истории, чтобы высказаться. Но, к великому удивлению нашему, тотчас же открылось, что помещик выходил так сильно из себя вовсе не потому, что возмущал его поступок Якова; преступление само по себе было в глазах его самой обыкновенной вещью: такие случаи часто встречаются, чего же и ждать от полудикого человека! — негодование толстяка выходило совсем из другого источника: Яков настолько заслуживал внимания и возбуждал негодование, насколько шашни его и потом убийство навлекли хлопот, беспокойств и неудовольствий барину; шутка платить теперь за него и семейство подушные до следующей ревизии! А следствие-то! — следствие, которого не было бы без этого мошенника Якова и которое так убыточно для вотчины и, следовательно, для помещика! Словом, во всей этой исто-

рии толстяк видел одного только барина; у него не было другой точки зрения. Мораль его объяснений состояла в том, что послабления покуда не годятся и ведут только, неминуемо ведут помещика к убыткам и неприятностям.

— У вас, сударь мой, — заключил он, — у вас, судя по тому, как вы о народе судите, люди попросту от жиру бесятся, — именно от жиру! У меня бы этого не случилось; нет, шутишь! Заведись такой мужик, я бы дал ему Марфу!.. Этот ваш Яков просто мошенник, я вам скажу; бестия продувная, сударь мой!.. да-с, продувная бестия, который так только смирячком прикидывался! А вы еще заступаетесь, сударь мой, да еще жалуете...

— Конечно, жалею, как и следует жалеть всякого человека, который почему бы то ни было гибнет; но не знаю, с чего вы берете, что я заступаюсь! — возразил рассказчик, — я привел этот факт единственно потому, что речь, если помните, зашла у нас о страстях в простом классе народа...

— Какие тут страсти, сударь мой! Какие страсти! — нетерпеливо перебил толстяк тоном пренебрежения, — все это баловство одно... Какие нашли вы еще страсти!..

— Полноте, господа! Ну, стоит ли спорить об этом! — воскликнул маленький собеседник, — поверьте, вы их не убедите! — подхватил он, обратившись к рассказчику и мигая на толстяка, — пусть каждый остается при своем мнении... Знаете ли что? Чем спорить, расскажу-ка я вам лучше другую историю... Она отчасти идет под лад той, которую мы сейчас слушали... Тут, с одной стороны, действует крестьянка, простая деревенская девушка; с другой — сын богатого фабриканта: малый грамотный, выросший посреди достатка, даже некоторым образом шлифованный. Вы говорили, что развитие и образование умягчает человеческую природу, что страсти человека образованного невольной уже как-то принимают облагороженную форму... Предстоит увидеть, насколько внешняя шлифовка или полуразвитие лучше в нравственном смысле, — насколько лучше они самого полного невежества... — промолвил он, украдкой взглянув на толстяка. — Предупреждаю вас, происшествие, о котором пойдет речь, еще трагичнее того, которое вы рассказывали... оно такого рода, что, будь здесь барыш-

ня, я бы не стал передавать его... Хотите слушать? Ведь все равно, в ожидании паромы нам нечего делать...

Один толстяк не согласился, казалось, с таким мнением; он предпочел, по-видимому, возлечь на перину и предаться сладкому отдыху. Увидев, что я и господин в коричневом пальто просили начать историю и приготовлялись слушать, он остался на своем стуле.

— Дело, господа, происходило в Ярославской губернии, — начал маленький господин, откашливаясь, — там, как вы, вероятно, знаете, сплошь и рядом попадаются деревни, в которых почти совсем нет мужиков: они не живут дома. Большая часть молодцов, которые в Москве, Петербурге и губернских городах покрикивают: «Пельсины, лимоны хорош!..» — «Вот садова ма-а-лина!..» — и проч.; большая часть того народа, который погуливает по городским улицам с лотками на голове, а по проселкам — с коробами за спиной; все почти лавочники, зеленщики, пивовары, целовальники, мелкие торгаши, — спросите у любого из них: откуда? — он почти наверное скажет: ярославец! Домой, на побывку, приходят они по большей части в зиму. В деревнях остаются одни бабы, девки, ребята да старики, которым бродячая жизнь уже не под силу.

В одной из таких деревень жило между прочим семейство, состоящее из бабы и ее дочери, девушки лет семнадцати; муж бабы, отец девушки, торговал в Петербурге. Мать держала дочь в большой строгости; это бы еще куда ни шло; но дело в том, что строгость эта имела характер самый бессмысленный и бестолковый; сама мать, впрочем, была женщина в высшей степени взбалмошная, отчасти даже глуповатая, — с придурью, как в деревнях говорится. Сегодня, например, привязывается ко всякой безделице; дочь шагу не смей ступить без спроса, не смей выйти на улицу, — ругает ее наповал, как с дубу рвет; упрекает ее в таких вещах, которые девушке даже во сне не грезились; иной раз даже и поколотит; и все это без всякого основания, так себе, здорово живешь! В другое время, опять-таки без причины, ластится к дочери, сама с ней заговаривает и всячески хвалить станет. Бедная девушка решительно сбивалась с толку и не знала, как приноровиться к матери. Такая бестолковщина в обра-

щении с детьми непрерывно встречается в простонародье; живя в деревне, на каждом шагу видишь такого рода сцены: положим, ребенок заплакал, мать сломя голову кидается на него с веником: «Ах ты, пострел окаянный! Уймешься ли ты?.. вот же тебе! вот тебе!.. Перестань, говорят! Перестань!.. Ну, на пирожка... на пирожка... А, так ты вот как, не унимаешься!.. Вот же тебе!.. Вот тебе!..» — и веник снова пускается в ход; потом опять слышно: «Ну, уймись!.. ну, на пирожка...» — и т. д.

В середине лета, когда случилась история, мать удвоила вдруг строгость; покажись ей, что между дочерью и одним очень молоденьким парнем, который доживал последнее лето в деревне, завелись шашни. Собственно говоря, особенных шашней не было; девушка находилась неотлучно при матери, и если встречалась с парнем, так только на улице и при народе. Могло статься, что парень часто торчал подле девушки; чаще других ловил ее, играя в горелки. Но глупой взбалмошной бабе довольно было подозрений; не расспросив, не выведав дела, она накинулась на дочь и с того же дня стала запирает ее на ночь в летничек, род клетки, которая примыкала к сеням. Как только пригонят скотину, отдоят коров, отужинают и уберутся, старуха ведет дочь в летник и запирает ее там на запор вплоть до зари.

Около этого времени в деревне явилось новое лицо, сын фабриканта из той же губернии. Явился он вот по какому случаю: отец его купил у владельца деревни несколько десятин земли, с целью выстроить фабрику для тканья полотен. Началась стройка; но вскоре другие заботы отозвали старика, и он послал на свое место сына; хотелось, видно, ему начать приучать парня к делу. Парню стукнуло уже двадцать два года: до настоящей минуты он сидел в лавке, отмеривал холст и ситец и перемигивался с мещанками. Основываясь, вероятно, на том, отец дал ему в руководители и помощники своего приказчика. Приехав в деревню, хозяйский сын и приказчик поместились наймом в избе одного крестьянина.

Отношения между молодым человеком и приказчиком были такого рода: последний постепенно, втихомолку от родителей, потакал дурным наклонностям первого: этим способом он совершенно овладел мо-

лодым человеком; он влез к нему в душу и как хотел, так и вертел им. Все это делалось, разумеется, неспроста; приказчик имел свои виды; хозяин был стар; сын должен был наследовать всем именем. Вообще этот приказчик был мошенник и плут первой руки; кроме того, что он развращал сына, он и отца обкрадывал; впрочем, хорош был также и молодой купчик; они друг друга стоили, несмотря, что последнему минуло только двадцать два года.

Дня два-три после приезда в деревню приказчик выводит купчика на улицу и говорит: «Ну, — говорит, — какая только здесь есть девушка, — чудо! — говорит. — Перед ней все эти бабы, что вы вѣчор выхваляли, самая, то есть, выходит мразь, — сволочь нестоящая!..» — «Какая девушка? Где?..» — спрашивает купчик. Приказчик указывает на избу бабы, которая жила с дочерью и о которой я вам сказывал. Купчик случайно увидел девушку; она ему очень понравилась. Начал он ухаживать; караулил ее на улице, старался заговаривать при встречах, прохаживался мимо окон; изо всего этого вышло только то, что юноша чаще видел кулак матери, высунутый из окошка, чем самую дочку. Девушка, с своей стороны, или пряталась, или попросту отворачивалась. Быть может, поступала она таким образом из страха; скромность, робость также, может быть, тут действовали; без этих последних свойств не могла бы она выносить так безропотно обращение взбалмошной матери. Ничего нет мудреного, если невнимание девушки происходило также оттого, что в самом деле нравился ей молодой парень, за которого так доставалось ей от матери. Как бы там ни было, купчик отъехал ни с чем, как говорится. Он передал свои неудачи приказчику. «Ничего, — говорит тот, — это значит, не так взялись за дело; манера не годится; надо взять дело в другую сторону; ничего, наша будет; не извольте ничего себе беспокоиться! Вы, — говорит, — главное, виду теперь не показывайте... дайте мне уладить дело... Практика эта нам знакома!..» Узнав от хозяйки, а также и от других баб подробности о житье-бытье матери и дочери, приказчик выдумал такую штуку: молодой человек должен был пробраться в летничек до того времени, пока мать не запрет там дочку; ему следовало завалиться куда-нибудь за лавку, за сундук и всю ночь пролежать так смирно, чтобы девушка никак не могла подозре-

вать его присутствия; он должен был показаться тогда только, когда мать отворит летник, чтобы выпустить девушку. Купчик решительно не понимал, к чему ведет такая штука; приказчик сказал, чтоб он только слушался; слушаться будет — увидит, к чему поведет выдумка. В тот же вечер купчик и его товарищ прокрались к риге матери; выждав минуточку, когда старуха и ее дочь вышли на улицу встречать стадо, купчик бросился в летник и спрятался; приказчик повторил ему свои наставления и скрылся.

С наступлением ночи мать, как это обыкновенно делается, запирает девушку; молодой человек слышит, как она раздевается и ложится спать; он находился от нее в каких-нибудь двух-трех шагах, но не отступил, однако ж, ни на волос от того, что говорил приказчик: во всю ночь не повернулся, не кашлянул. На заре девушка оделась и стала стучаться в дверь. В ту самую секунду, как старуха отворила летник, купчик ловко вышел из своей засады и показался подле девушки...

Представляю вам самим судить об изумлении матери и особенно дочери. Не успела бедная девочка прийти в себя, мать яростно на нее бросилась и принялась колотить ее насмерть, после этого старуха как бы вдруг очнулась, повернулась к купчику и повалилась ему в ноги: «Батюшка, — говорит, — не погуби только! взмилуйся, касатик!.. никому не расславляй, батюшка, об этом деле! не срами, касатик! никому не рассказывай!..»

Молодой человек, смекнувши, к чему могла повести выдумка приказчика, поспешил успокоить старуху: он клялся, что ничего никому не скажет, и с того же утра смелее приступил к девушке. В ответ на это она только заливалась-плакала и осыпала его проклятиями. Жизнь ее сделалась окончательно невыносимой: с одной стороны, неотступно приставал купчик, который внушал ей страх и ужас, с другой — не было житья от матери, которая была ее с утра до вечера. Приказчик между тем не переставал расспрашивать, как идут дела. Купчик сначала лгал: говорил, что все идет превосходно, что дело увенчалось блистательнейшим успехом; но раз как-то, после сотого неудачного приступа, передал ему всю правду. «Об ней нечего думать, — советует приказчик, — главная статья —

больше на мать напирайте; постращайте хорошенько старуху; скажите, что обо всем размолвите по деревне; увидите — дело тогда само собой сладится».

Молодой человек согласился, что дело точно пойдет тогда вернее; но прежде, однако ж, чем исполнить совет, попытался он обратиться сначала снова к девушке и взять лаской. Девушка, как и прежде, слышать ничего не хочет. Юноша приходит раз к старухе и говорит:

— Послушай, — говорит, — тетка, что ж она?.. Коли денег понадобится, мы в этом не постоим; и подарки, и все такое... я хоть сейчас. А только не вели ей ломаться... Теперь уж поздно, — говорит.

Старуха опять бух в ноги:

— Кормилец, молчи только, не сказывай! Муж узнает — убьет до смерти... Ах, она дура этакая, проклятая!..

Накидывается она опять на девушку и давай бить. Та только рыдает да головой о стены стучается. Такого рода сцены повторялись раз и два; дело все-таки не двигалось, вопреки обещаниям советчика. Потеряв наконец терпение, юноша объявляет напрямик матери, что, если дочь станет еще ломаться, он решительно начнет рассказывать по деревне обо всем случившемся. Малый, как видно, был с характером. Объяснение это происходило вечером, после пригона скотины. Купчик, действуя, вероятно, по совету приказчика, нарочно выбрал такое время; он как будто не сомневался уже в успехе и бил наверняка. Началось с того, что мать снова бросилась таскать девушку; она пришла в такое бешенство, что, не случись тут купчика, она сделала бы дочь калекой. После этого старуха силой втаскивает дочь в летник, кланяется в ноги купчику, умоляет его молчать, сама ведет в летник и запирает с дочерью...

Очутившись наедине с девушкой, купчик заметил не без удивления, что она уже более не плачет. Ободренный этим, начинает он разговаривать. Она не бранит его, не проклиняет как прежде; она даже не отворачивается. Как окаменелая стоит она подле постели; изредка под платком, накинутым на плечи и совсем почти заслоняющим лицо ее, пробегает судорожная дрожь; юноша объясняет себе это робостью и, ободренный более и более, садится подле нее; она не де-

дает даже сопротивлений, когда он начинает обнимать ее. Не отвечая на его ласки, не смотря на него, не произнося ни слова, она совершенно ему покоряется. Одного только никак не мог он добиться: не мог он добиться от нее живого слова, она точно онемела. Впрочем, не много заботился он об этом. На заре, когда старуха отворила летник, торжествующее лицо купчика доказывало, что он был очень доволен собой. Оставив девушку в летнике, он отозвал старуху в избу; ему хотелось сделать ей подарок. В ту минуту, как он полез в карман за деньгами, в дверях неожиданно показалась девушка. Лицо ее было бледно, растрепанные волосы рассыпались по плечам, в чертах проступало такое отчаяние, что мать и сам купчик испугались. Девушка сделала два шага, взглянула на мать, произнесла проклятие, схватила, как бы в беспамятстве каком-то, — схватила себя руками за голову и кинулась из избы. Мать пустилась за ней вдогонку; девушка как словно исчезла; купчик присоединился к старухе; стали искать; обошли все закоулки, обшарили ригу — нигде нет; начали расспрашивать соседей: не видал ли кто? — никто не видал... Словом, искали весь день — и нигде не нашли. К вечеру только отыскалась она... отыскалась — на дне пруда, который тянулся за деревней... Ну, как вы об этом скажете? — заключил рассказчик, неожиданно обращаясь к толстяку. — Как вы скажете: с чего утопилась эта бедная девушка? Что заставило ее поступить таким образом?..

— С чего утопилась? — возразил толстяк с невыразимым спокойствием. — Известно, с чего утопилась, — сдуру!..

— Вы решительно, стало быть, отвергаете в простом человеке всякого рода благородные движения души и даже чувство честности? — воскликнул господин в коричневом пальто, вдруг разгорячась, так что краска выступила на лице его. — По-вашему, надо думать, люди только те, которые, как мы с вами, носим халаты, курим табак, земли не пашем, в избе не живем, нужды не терпим да знаем, что есть на свете Франция и были когда-то римляне?.. Мы одни, стало быть, — подхватил он, не замечая наших взглядов, которые ясно говорили ему о бесполезности таких объяснений, — одни мы можем чувствовать благородно и думать по-человечески?.. На чем же вы все это основываете?

Вы человек уже пожилой, не можете же вы говорить без основания...

— Эх, господа, перестаньте, бога ради! Охота же вам! — снова вмешался и с той же поспешностью, как и прежде, маленький господин. — Разговоры такого рода решительно ни к чему не ведут; вы их не убедите, они — вас; убеждать, следовательно, бесполезно... Не лучше ли, право, чтобы кто-нибудь из вас рассказал еще какую-нибудь историю? Самое красноречивейшее рассуждение, как сказал один из наших писателей, не стоит самого мелкого рассказа, взятого только из действительной жизни, и который мог бы служить фактом... Только факт что-нибудь значит, остальное все туман... Основываясь на этом, позвольте, я расскажу вам происшествие, которое пришло мне на память. Я рассказываю плохо, но вы простите неловкость, мешковатость слога за смысл. К тому же я нахожу, мы довольно уже говорили о мужиках... Кроме того, все, что ни говорилось, проникнуто было каким-то мраком, чем-то диким, грубым, необузданным... Для разнообразия расскажу историю из другого быта: начать с того, что история эта не мрачного свойства; и потом, тут идет речь о людях, которые... ну, да вы сейчас увидите... — присовокупил он, окидывая нас лукавым взглядом и как бы приглашая не спускать глаз с толстяка, к которому, как казалось, преимущественно хотел он обратить речь. — Вот в чем дело: верстах в трех от меня жили и теперь еще, слава богу, живут и благоденствуют два помещика; одного зовут Кондей Ильич, другого — Михайло Васильич; фамилии их вам знать не для чего; они не громки и притом не придадут интереса рассказу; без них обойдемся. Кондей Ильич человек вида могущественного, сановитого, рост богатырский, косая сажень в плечах; весь он точно целиком из дубового пня вырублен; в жизни не видал я таких огромных ступней, таких кулаков и мускулов, как у Кондея Ильича: его, кажется, ядром не убьешь. Михайло Васильич представляет из себя человека тоже коренастого, но коротенького, с глазами, которые как словно чему-то изумились и застыли навсегда в таком виде. В характере Кондея Ильича есть что-то героическое, соответствующее его осанке; он смел, отважен, действует всегда напролом и решителен в высшей степени. Случается ли ему, например, рассердиться на Михайла Васильича, а это случается

часто, — он тотчас же отыскивает его, идет к нему и с прямою, свойственной благородным людям, говорит: «Ты подлец и скотина!» Михайло Васильич обыкновенно ничего на это не отвечает; не может он вообще похвастать храбростью и прямизной нрава; он скорее берет умом и хитростью. Рассердившись на соседа, он тщательно всегда скрывает настоящие свои чувства, старается даже избегать его, но с той же минуты бежит на мельницу к приказчику соседней деревни, к пономарю и другим лицам и наскажет всегда таких ужасов про Кондея Ильича и его семью, что у робких людей пробегает холод в затылке. У Кондея Ильича девять душ; у Михайла Васильича семь; каждому из этих мужей уже около пятидесяти лет; словом, оба почтенного возраста.

С летами враждебные чувства, которые питают они друг против друга, нимало не умягчаются: напротив; с годами вражда только усиливается; она, надо думать, перешла к ним по наследству от родителей, которые точно так же ненавидели друг друга и раз так даже шибко схватились, что сбежавшиеся шестнадцать мужиков того и другого никак не могли разнять их.

Впрочем, самая обстановка двух помещиков такого рода, что неминуемо должна разжигать их друг против друга; дома их, поставленные еще покойными родителями, находятся на расстоянии шести сажень; они обращены лицом друг к другу и разделяются двориком. До сих пор не решено, кому принадлежит дворик. Об этом обстоятельстве спорили одинаково безуспешно отцы и теперь спорят дети; как те, так и эти сотни раз прибегали к местному начальству и подавали несчетное число прошений о том, чтобы раз навсегда определили, кому владеть двориком; местное начальство являлось, но всякий раз как между родителями, так и между настоящими владельцами подымалась такая война, что начальство отказывалось напрямик от всякого посредничества; оно уже радо было, когда могло растащить ссорившихся. Как Кондею Ильичу, так и Михайлу Васильичу нет ни малейшей надобности в этом дворике; ими в этом случае управляет та мысль, что тот, кто уступит дворик, даст случай восторжествовать над собой врагу; другой причины не существует. Как бы там ни было, несчастный дворик служил и служит основой и театром всех собы-

тий, совершающихся в этом уголке нашего уезда, который, не мешая заметить, богат такими уголками. Раздражение одного семейства против другого так сильно, что самое неувловимое обстоятельство способно подлить масло в огонь. Бывает вот как: индейский петух Кондея Ильича, прогуливаясь по двору, станет, например, против окон Михайла Васильича, распушит хвост и буркнет свою песню; Михайло Васильич принимает это тотчас же в обидную для себя сторону: «Мошенники, — говорит, — нарочно подучили его!»

В ту же секунду из-за угла летит на петуха палка; супруга Кондея Ильича стремится на выручку петуха; супруга Михайла Васильича выбегает к ней навстречу; на крик из обоих домов вылетают как пули, один за другим, Кондей Ильич и Михайло Васильич; за ними бегут дети, потом золовки, свояченицы (у обоих число душ собственной семьи втрое превышает число душ крестьян). Через минуту двор представляет одну движущуюся кучу людей, из которой во все стороны торчат и болтаются руки, ноги и головы. И хорошо еще, если б один дворик служил театром и поводом для таких сцен! Управляемые тем же чувством, которое мешает им покончить с разделом дворика, они до сих пор еще остаются чересполосными; их, если хотите, давно размежевали, вырыли даже межевые ямы и столбы поставили; но это ни к чему не служит; так бывает, впрочем, у многих помещиков, которые не чета Кондею Ильичу и Михайлу Васильичу. Кондей Ильич подозревает, что Михайло Васильич подкупил землемера; Михайло Васильич питает с своей стороны те же подозрения: оба владеют теми же участками, какими владели их отцы и прадеды. Рига Кондея Ильича до сих пор открывается на землю Михайла Васильича; бабы Михайла Васильевича полощут белье в пруду соседа; народ и семья Кондея Ильича пользуются водой из колодца Михайла Васильича. При малейшей ссоре Михайло Васильич ставит у колодца мужика с дубиной; Кондей Ильич бежит к пруду, принимает героическую позу, машет кулаками и кричит:

— Подойди только, — разобью вдребезги!..

Одним словом, вражда, существовавшая некогда между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем Гоголя, ровно ничего не значит против той, которая

существует между Кондеем Ильичом и Михайлом Васильичем.

— Что это вы, сударь мой, рассказываете! Позвольте вам заметить, — промолвил толстяк с заметным неудовольствием, — где вы видели таких помещиков?..

— Если вам не угодно верить, что во всем этом не прибавлено ни одного слова, не выдуманно ни одной черты, — не хотите ли сделать мне честь отправиться со мной ко мне в деревню; мы отсюда всего шестьдесят верст; нам даже может быть по дороге; я сочту за особенное удовольствие познакомить вас с Кондеем Ильичом и Михайлом Васильичем; пожалуй, познакомлю вас и с другими, которые ни в чем им не уступают... Господа, — промолвил маленький рассказчик, обратясь к нам, — неужто вы также не даете веры моему рассказу? Неужто вам не случилось встречать таких помещиков, как мои соседи?

Господин в коричневом пальто верил совершенно; мало того: он насчитал до десятка Кондеев Ильичей в своем уезде; я, с своей стороны, вызвался познакомиться присутствующих также с десятком лиц, которые шли совершенно под стать героям, описанным рассказчиком.

— Может, и есть такие, только я не видал, не приводилось!.. — пробормотал толстяк. — И наконец, какие же это помещики?.. Так, мелюзга какая-то...

— Конечно, мелюзга, но все же они помещики!..

— Семь душ всего! Какие помещики! — упорствовал толстяк, — это тоже мелочь, которую вот этот ваш Гоголь описывал... они не идут в счет...

— Ну, нет: сосчитайте-ка их, — куш выйдет порядочный! — перебил господин в коричневом пальто. — А вы Гоголя читали? — перебил он.

— Читал; так же все преувеличивает и во всем прибавляет... Таких людей, как он описывает, никогда не было...

— Ну, этого опять также нельзя сказать! — подхватил господин в коричневом пальто, который обращался теперь к толстяку неохотно и явно раздражался, когда говорил с ним. — По-моему, напротив, нельзя не согласиться, что Гоголь не только не увеличивал, но даже смягчал, значительно смягчал каждое лицо, ко-

торое описывал; это особенно относится к помещикам. Выставляя Собакевичей и Ноздревых, он, если смею так выразиться, берет только одну сторону своих героев; они гадки и пошлы, как частные личности. Описывая нашего брата, русского помещика, одной этой стороны мало. Представьте себе, во сколько раз Собакевичи и Ноздревы показались бы нам гадже, если б Гоголь захотел выставить их не только как мужей, отцов семейства, словом, как частных лиц, — но еще и как помещиков? Всякий из нас помещик. В этом отношении мы находимся в исключительном положении; положение это так тесно вяжется с нашим существованием, от него в такой зависимости наша жизнь, что, описывая одно, необходимо коснуться другого, чтобы описание было полно. Я могу быть отличным отцом и скверным помещиком; примерным мужем и, из любви к жене, разорять крестьян, покупая жене шляпки и шали, и т. д. Гоголь не трогал этой стороны своих героев по многим причинам. Выставка он Собакевича и Ноздрева как помещиков, — они, может быть, превратились бы в злодеев; Гоголю не хотелось этого... Мне, признаться, всегда жаль, что он не делал этого... Повторяю: наша жизнь слишком тесно связывается с этим помещичьим положением, оно играет в нашем обществе слишком большую роль, чтобы можно было упускать его из виду, описывая нашего брата! По-моему, невозможно даже иметь верного понятия о ком-нибудь из нас, не руководствуясь в отношении друг к другу таким соображением или, пожалуй, пословицей: покажи на деле, каков ты помещик, — и я скажу тебе, что ты за человек!

— Совершенно справедливо! — подхватил маленький господин, — именно: дай мне только понять, каков ты, как помещик, — и я скажу, что ты за человек! — присовокупил он, украдкой взглянув на толстяка. — Но, послушайте, хотя я скажу теперь общее место, истину, давно уже всем известную: заслуга Гоголя останется все-таки неизмеримо огромна! Уже одно то, что он внес в нашу литературу правду! — правду, которой до него не было и которая не мешает Гоголю быть великим поэтом! Положим, выставил он частных лиц, как вы говорите, но зато как поразительно они верны в смысле общечеловеческом! Что ни лицо — то тип! Он точно собрал всю нашу братью, раз-

делил по кучкам, каждую кучку посадил в особую клетку и сказал: это Собакевичи, это Маниловы, это Чичиковы, и т. д., — просто клеймо положил! Многие до сих пор еще не любят Гоголя именно, кажется, за эту сортировку! У меня, например, тысяча душ, я задаю обеды, задираю свой глупый нос, кричу на выборах; Гоголь объяснил каждому, что я не кто другой, как Собакевич; меня иначе не зовут, как Собакевичем; согласитесь, это очень ведь неприятно!.. — добавил маленький господин, засмеялся и снова бросил косвенный взгляд на толстяка, который сидел, мрачно насупив брови, и дышал особенно тяжело как-то; — но мы, однако ж, далеко зашли, господа! Позвольте кончить мою историю. Кондей Ильич и Михайло Васильич точно так же, как жены их, свояченицы, тещи и проч., чрезвычайно между тем заботились о том, как думают и что говорят об них соседи; дома дрались они, как какие-нибудь бойцы и мясники; вне дома оба лезли из кожи, чтобы казаться настоящими помещиками. С семьей и девятью душами не уедешь далеко по части важности; тщеславие — плохая пожива! Для поддержки общественного мнения Кондей Ильич держит пару кобыл, на которых подкатывает к церковной паперти или является на ярмарки со своим семейством; у Михайла Васильича одна только лошадь и, вместо тарантаса, тележка; но к тележке своей приделал он складные подножки, как у тарантаса, и выкрасил ее темно-бурой краской; на лошади щегольская сбруя, с медной оковкой, которая так сияет на солнце, что решительно ослепляет глаза. Оба на ярмарках и на городских праздниках поминутно выходят из своих экипажей, забегают на видные места и кричат кучеру: «Эй, подавай!» Особенно надо любоваться Кондеем Ильичом и Михайлом Васильичем, когда они входят в церковь, сопровождаемые своим семейством. Кондей Ильич гордо, важно проходит всегда мимо помещиков; нужно видеть, как, ведя свое семейство, расталкивает он вправо и влево народ, заслоняющий дорогу, и с каким озабоченным видом говорит: «Посторонись! Посторонись!» Михайло Васильич ведет себя гораздо деликатнее: при входе в церковь, он оставляет семью, протискивается к каждому помещику и, все равно, знаком ли он с ним или нет, протягивает наотмашь руку и осведомляется о здоровье. Он старается внушить всем, что он свой

брат. Он и жена его ведут тесную дружбу с дьячком и дьяконом, нарочно с той целью, чтобы в конце обедни им, время от времени, подносили просвиру. Когда в первый раз удостоились они этой чести, жена Кондея Ильича вошла тотчас же в теснейшие сношения с попадьей; теперь просвиру подносят как жене Кондея Ильича, так и жене Михаила Васильича.

Несмотря, однако ж, на толчки свои и величавый вид, Кондей Ильич пользуется в народе несравненно большей популярностью, чем сосед его. Кондей Ильич держит себя так гордо перед мужиками и бабами только при посторонних, — особенно перед помещиками; дома живет он запанибрата со своими мужиками: ходит к ним в избу, пирует у них на крестинах и свадьбах, хлебает с ними щи из одной чашки и проч.; он вообще невзыскателен в работе, и если иной раз которого из них поколотит, то это скорее потому, что он не в духе, чем на основании какой-нибудь другой причины; мужики не ставят ему этого в укор; они любят Кондея Ильича. Михайло Васильич никогда не дерется, но зато обращение его сухо и холодно; фамильярность с крепостными считает он несовместной с достоинством дворянина и помещика; он требует главное, чтобы мужик и баба уважали его; требует, чтобы называли его барином, жену его барыней, детей барчонками; любит, чтобы мужик при виде его снимал издали шапку, а баба отвешивала низкий поклон. Мужик и баба терпеть его не могут, называют его гордецом, чуфарой...

Но оставим все это; надо вам передать теперь одно маленькое событие, которое случилось прошлой осенью; в событии этом нет ничего, кроме самого обыкновенного. Это было в сентябре; не помню, они из-за чего-то опять поссорились. Михайло Васильич по принятому издавна правилу пустился тотчас же к мельнику, управителю и пономарю; но потому ли, что злоба бушевала в нем сильнее обыкновенного или находился он в особом припадке вдохновения, — он наговорил таких ужасов про соседа, что под конец сам даже испугался. Рассказы легко могли дойти до слуха Кондея Ильича; с ним, как известно, шутить было не совсем выгодно. Михайло Васильич с детства, можно сказать, питал к нему непобедимый страх, и чувство это, хотя тщательно им скрываемое, служило главным

основанием ненависти к соседу; что ж мудреного — от одного взгляда Кондея Ильича мог бы, кажется, вскочить волдырь на лице врага; удар должен был превращать врага в блин! Под влиянием своих опасений Михайло Васильич целые трое суток не выходил из дома; он передал жене свои мысли; на общем семейном совещании решено было прекратить раз навсегда все сношения с злодеем (так звали могучего Кондея Ильича). Для этой цели Михайло Васильич в ту же ночь собрал своих семерых мужиков, настрогал кольев, нарубил хворосту и до зари воздвиг плетень, который заслонил дом его от дома врага. Все это было превосходно придумано; оставалось удивляться, как до сих пор подобная мысль не приходила в голову хитрому Михайлу Васильичу; но, к несчастью, в горячке своей Михайло Васильич не сообразил одного обстоятельства: плетень как раз пришелся против риги врага! Иначе, впрочем, нельзя было устроить; задние ворота риги Кондея Ильича отворялись на землю соседа; рига стояла подле дома.

На другое утро Кондей Ильич выходит с мужиками веять рожь; отворяют ворота риги, чтобы дать ход ветру, — «что за черт, — плетень!». Не сомневаясь, что это было сделано с целью досадить ему, Кондей Ильич подошел к плетню, припер плечом и своротил его; но усилие, употребленное им, не было рассчитано; он потерял баланс и рухнулся вместе с плетнем наземь. Не успел он очнуться, как Михайло Васильич налетел на него со всех ног и дал ему оплеуху. Такая необычайная решимость и храбрость со стороны Михайла Васильича объясняется тем, что уже слишком много, вероятно, накопело злобы в его сердце; им овладело, надо думать, что-то вроде корсиканской вендетты, какая-то необузданная жажда мести и бешенство. Кондей Ильич вскочил на ноги, взглянул, замахнулся — и Михайло Васильич лежал уже разбитый вдребезги у ног врага; на крик сбежались жены, золовки, свояченицы и дети; картина, как можете судить, была торжественная; все умолкло; наступила тишина, но это была тишина перед грозой. Полчаса спустя Михайло Васильич, перевязанный и упакованный, сидел в расписной тележке своей и катил во всю мочь по дороге к уездному городу; за ним попевал во все лопатки Кондей Ильич в своем тарантасе. Оба стремились к губернскому предводителю, который жил в деревне

подле самого города. Каждый выбивался из сил, чтобы поспеть первым. Они приехали вместе, однако ж, вместе ворвались в прихожую предводителя и оттуда после доклада вместе бросились к дверям, где и завязли.

— Господа, — сказал предводитель, смекнув в чем дело, что, мимоходом сказать, было нелегко, потому что оба помещика говорили в одно время, опровергали клятвенно друг друга и раза два даже чуть было не сцепились, — господа, я, право, не знаю, что мне делать!.. От всех этих историй я начинаю терять голову... Не говоря уже о сраме, потому что, господа, вы все-таки дворяне... но... но такого рода истории служат еще сверх того дурным примером... Ей-богу, это ужасно...

Предводитель обратился к Михайлу Васильичу и просил рассказать обстоятельно, как было дело. Кондей Ильич тотчас же было вмешался, но предводитель попросил его помолчать до времени.

— Помилуйте, ваше превосходительство, — сказал Кондей Ильич, — за что же ему такое предпочтение?.. За что? Вы прежде меня должны выслушать; я первый получил оскорбление!..

— Может быть, может быть, — возразил предводитель, — но только я сужу по тому, что вижу... Ваш сосед разбит совершенно... тогда как вы невредимы... тут уже улика налицо...

При этом Кондей Ильич отступил три шага; сердце его закипело и переполнилось негодованием; он скрестил руки на могучей груди своей и произнес голосом человека, сраженного несправедливостью судьбы и людей:

— Ваше превосходительство, где же справедливость?.. Чем же я виноват, что у меня тело крепкое и знаков не остается?..

— Ваше благородие, паром пригнали!.. — неожиданно прокричал бородастый хозяин избы, появляясь в дверях...

Трудно передать действие, которое произвело на всех нас такое известие. Рассказчик остановился посреди своей фразы. Впрочем, и то надо сказать, вздумай он продолжать, никто, конечно, не стал бы его слушать; все бросились к шапкам, шинелям и калошам. Толстяк, кряхтя и задыхаясь от суетливости, в одно

и то же время запахивал халат, убирал чайные ложечки, запирал поставец и звал во весь голос лакея. Тишина в избе, прерываемая только голосом рассказчика и редкими возражениями слушателей, уступила место страшной возне, нетерпеливым возгласам и суматохе.

Но что значит этот переход от тишины к возне и шуму; сравнительно с той переменной, которая произошла между отношениями присутствующих? Минуту назад троих из нас тесно как будто связывала одна общая мысль; мы невольно тянулись внутренне друг к другу; силой этой мысли чувствовали друг к другу что-то близкое, родственное; один миг, одно слово, одно пустое восклицание: «Паром пригнали», — и все это сродство так же неизгладимо исчезло, как дым, когда дунет ветер; мы были уже чужими, перестали существовать даже один для другого; самая мысль, которая сродняла нас, была забыта. У всех была теперь одна мысль: как бы опередить друг друга, поспеть скорее на паром и занять там удобное, покойное место. Что же осталось бы от этой мысли и куда делось бы то святое чувство, которое пробудила в нас мысль, если б вместо перспективы занять место на пароме, — перед нами открылась бы другая, более важная выгода?..

Минут через пять мы уже ощупью пробирались между возами и, завязая в грязи, перегоняли друг друга с таким же комическим усердием, как Кондей Ильич и Михайло Васильич, когда спешили они к предводителю.

Известие о приходе парома привело улицу в сильное движение. Посреди непроницаемого мрака бурной, ненастной ночи раздавались крики, брань, скрип телег и нескончаемое шлепанье по лужам; все рвалось к реке; беспорядок был невообразимый. С помощью локтей, иногда даже пинков, мы подвигались, однако ж, благополучно. Никто из нас не думал теперь о бедном мужичке, который стоял под дождем; никому уже в голову не приходило уступить этому мужичку то место на пароме, которого ждал он несколько суток, — каждый из нас, без сомнения, встретил бы с насмешкой и негодованием того, кто не шутя сделал бы нам такое предложение. А сколько между тем истинного, неподдельного жара было в словах господина в коричневом пальто! Как горячо мы ему сочувствовали и го-


товы были распинаться за наши убеждения! Какой же толк в этом жаре и убеждениях?

Первым нашим делом, как только вошли мы на паром, было сунуть скорее перевозчикам денег, чтобы они поскорее только отчаливали (в этом случае мы действовали, надо сказать, с замечательным единодушием, и снова, казалось, одна общая мысль нас на секунду связала). Причал ловко отняли, и мы благополучно отвалили от берега.

Дождь лил ливмя. Уныло гудел ветер, всплескивая волны реки, едва отделявшейся от темных, пустынных берегов и еще более темного неба, которое облегалo, казалось, всю землю и мрачно смотрело...

1857





КОШКА И МЫШКА

(Повесть)

I

ОСЕННИЕ ВИДЫ И МАЛЬЧИК С БОЧОНКОМ

К концу осени, когда нет еще снега, но утром и вечером начинает порядочно уже подмораживать, выпадают иногда такие ясные, лучезарные дни, что на минуту обманываешься и думаешь: не апрель ли опять на дворе?.. Солнце горит так же ярко, в воздухе столько же блеска, тени на обнаженных холмах так же легки и прозрачны! Недостает только воркованья весенних ручейков, запаха земли и песни жаворонка, чтоб подкупить вас совершенно.

В один из таких дней, утром, часов около десяти, в околице села Ягодня показался белокурый мальчик лет тринадцати. Мальчик, каких бы то ни было лет и с какими бы то ни было волосами: белыми, черными или рыжими, принадлежит к самым обыкновенным сельским явлениям. Но мальчик, о котором идет речь, заслуживал особенного внимания: он нес за плечами ведерный бочонок, обвязанный старым кушаком, концы которого находились в руках его. Будь за плечами этого мальчика корыто, ушат, связка хворосту, плетеная кошелка с мякиной, пук сена; восседай там другой мальчик — младший братишка, — или болтайся за плечами лапти или даже новые смазные сапоги, ничего бы не было удивительного, но бочонок — особенно с железными обручами и новой точеной деревянной пробкой, воля ваша, такое обстоятельство невольно возбуждало любопытство!

Начать с того, что посудинки этого рода вовсе не в употреблении в крестьянском хозяйстве: нечего класть туда; потом, бочонок не по карману; наконец, известно было, что во всем околотке таким бочонком обладала одна только дьячиха; и то достался он ей по случаю: одна из приходских помещиц подарила. С какой же стати мальчик этот, не принадлежащий ни

с которой стороны дому дьячихи, нес этот бочонок?.. Но мальчика мало, казалось, занимали такие соображения. Выйдя за околицу, он тряхнул бочонок с самым беззаботным видом, перенес концы кушака в левую руку, поправил свободною рукою шапку, которая лезла на глаза, и, весело посвистывая, зашагал по дороге.

Дорога, укатанная недавно еще проезжавшими подводами с овсяными и ржаными снопами, звенела под ногами и лоснилась на солнце, как серый полированный камень. Вправо от нее неоглядно желтели поля, покрытые шершавым жнивьем; слева тянулись крестьянские гумна, обнесенные старым земляным валом, с торчавшими кое-где плетнями и ветлами, побросавшими свои листья. Тень от плетней и ветел местами пересекала дорогу, отпечатывая на ней прихотливые узоры инея, который превращался в капли и пропадал, как только убегала тень и прикасались к нему лучи солнца; от канавки, наполненной листом, кустами крапивы и полыни, побелевшими от изморози, несло острой свежестью. Но чем темнее рисовались плетни и стволы ветел, тем ослепительнее сверкали за ними скирды и крыши гумен; чем тише было вправо от дороги, тем шумнее было за ветлами. Там из конца в конец немолчно звучали удары цепа, шумела рожь, падавшая звонкими, сухими зернами на гладко убитый мерзлый ток, слышался говор народа, шелест голубей и крик галок, перелетавших с места на место.

В числе пернатых воробьи, как и всегда впрочем, отличались особенною егозливостью и трескотнею. Недаром называют их в простонародье ворами и разбойниками! Глядя, как суетились они, как задирали одиноких галок и как потом тарасили серые свои перышки, когда которая-нибудь из этих птиц выказывала намерение напасть в свою очередь, как обсыпали они тогда соседнюю ветлу и разом принимались пищать и бить крыльшками, — можно было думать, что они считали себя здесь полными хозяевами и приходили в такую ярость потому лишь, что защищали собственность.

Такие проделки сильно забавляли мальчика; можно сказать, воробьи сделались даже единственным предметом его внимания, как только ступил он на дорогу. Следя за ними быстрыми, веселыми глазами, он

то ускорял шаг, то замедлял его; каждый раз, как крикливая стая, сделав неожиданный поворот в воздухе, опускалась на макушку ветлы, мальчик припадал к земле и начинал подкрадываться; брови его подымались, и лицо выражало быстроту и лукавство; в чертах и движениях явно проглядывало намерение подкрасться ближе и застать птиц врасплох; но нетерпение всякий раз портило дело: не успев сделать трех шагов, он суетливо свешивал набок свою ношу и принимался стучать камнем в дно бочонка, издававшего при этом какой-то глупый глухой звук.

Бочонок был пуст — это ясно; иначе быть не могло: одна пустота бочонка могла объяснить прыжки мальчика, легкую его поступь и веселость; не мог бы он в другом случае бегать за воробьями и не стал бы так громко смеяться, когда птицы, испуганные грохотом бочонка, пугливо и врозь разлетались. Мальчик выказывал, впрочем, такой веселый нрав, что мог бы, кажется, смеяться и под более тяжелой ношей. Веселость его проистекала, по-видимому, столько же из нрава, сколько от здоровья и довольства жизнью; от полных щек его, разруганных остротою утреннего воздуха, дышало свежестью; в чертах не было следа лишений и преждевременного утомления. Он был в лаптишках, старом полушубке, очевидно принадлежавшем рослому человеку, и шапке, которая, конечно, могла только принадлежать владельцу полушубка; но все это было, однако ж, в порядке; заплат было много; попадались даже заплатки из синего и бурого сукна, но не висели они лохмотьями, а тщательно обшиты были кругом белыми здоровыми нитками; короче сказать, все показывало очень счастливого мальчика — мальчика береженого, вволю пичкавшего хлеб и кашу, не лишеного нежных материнских попечений. Уже самая фигура его, крепкая, пышущая здоровьем и похожая издали на медвежонка, ставшего на задние лапы, красноречиво подтверждала такие предположения.

Он продолжал стучать в бочонок и посвистывать до тех пор, пока не миновал гумен. Тут он тряхнул шапкой как-то сверху вниз и без помощи рук надвинул ее на глаза. Солнечные лучи, не заслоняемые ветлами и скирдами, били ему теперь прямо в глаза. Дорога выходила на пологую, ярко освещенную луговину, за которой вдалеке круто выросстал горный уступ, оку-

танный тенью. С левой стороны луговины мелькали последние кровли села: там же, но только несравненно ближе к дороге, возвышалась старая деревянная церковь, обнесенная решеткой. Глубокий воздушный простор за церковью наполнен был ярким солнечным сиянием; от церкви через луг шла длинная тень, в которой точно так же серебрилась изморозь, отпечатывая на траве углы колокольни, крест и тонкие полоски решетки.

Мальчик с бочонком продолжал спускаться и по-свистывать. Внезапно он замолк и остановился. Посреди мертвой тишины послышались стоны... Они раздались за церковной оградой, где находилось кладбище... Случись такое обстоятельство ночью или даже в сумерки, мальчик бросил бы свой бочонок и полетел бы без оглядки в село, но теперь он ограничился тем, что стал вслушиваться. Румяное лицо его, исполненное до настоящей минуты рассеянностью и детскою беззаботливостью, осмыслилось выражением внимания. Он свернул с дороги и пошел к церкви. Стоны усиливались и превращались в рыдания. Немного погодя мальчик остановился у ограды; приложив щеки к решетке, увидел он высокого худощавого мужика, который закапывал могилу; баба между тем лежала навзничь подле ямы и отчаянно колотилась головою оземь.

Лицо мужика знакомо было мальчику; он знал, что мужика звали Андреем; он встречал его в селе, встречал в церкви по воскресеньям, встречал на дороге, на мельнице. Он слышал, как родные, говоря о нем, называли его всегда бедным. Все это припомнил мальчик, и вид знакомого человека в слезах и горе еще сильнее пробудил его любопытство. Но любопытство находило особенную пищу в отчаянии бабы; она билась у могилы и приговаривала нараспев:

Ох, тяжело мне... тяжело!
Ах ты, сизый голубь мой,
Ненаглядное дитячко!..
Кто мне теперь зашебещет?
Кто меня сердцем порадует?

— Полно, жена... Ох!.. Знамо, тяжело! Как быть!.. Власть божья!.. — говорил в то же время мужик, тяжело переводя одышку и продолжая закапывать могилу.

— Батюшка!.. батюшка! — голосила еще отчаяннее

баба. — Ох, батюшка!.. Егорушка... дитячко мое... белянушка!.. Засыпали твои светлые глазунки, кормилец мой... Не воротишься уж оттоль, родной мой!.. Ох!.. Тяжко!.. Тяжко мне, горькой!..

— Полно!.. Ну, полно... Как быть!.. Христос с ним, — проговорил Андрей, продолжая работу и часто останавливаясь, чтобы отереть слезы, которые текли по щекам его и въедались в морщины.

Прислушиваясь к таким речам, мальчик машинально следил глазами за лопатой Андрея. Мерзлые комки земли сыпались с лопаты в могилу; она постепенно мельчала. Вот там мелькал еще уголок, куда проникал луч солнца: но земля засыпала его. И никогда уже в этот уголок не глянет солнце! Никогда также не увидит дневного света и Егорушка! Что случилось теперь с ним, так недавно еще бегавшим, кричавшим и резвившимся на улице? Впрочем, ему, верно, теплее теперь, чем отцу и матери, которых едва прикрывают лохмотья! Но зато как холодно ему будет, когда мороз насквозь прохватит рыхлую землю могилки! Как страшно будет Егорушке в глухую зимнюю ночь, когда живой человек не пройдет мимо кладбища, когда по округу рыщет только серый волк, прислушиваясь чутким ухом к лаю собак и свисту ветра... Ветер гудит в стропилах колокольни и веет из-за угла церкви сыпучий снег... Винтом крутится снег в мерзлом воздухе и ложится косыми полосами поперек погоста...

Такие соображения легко могли представиться воображению мальчика с бочонком за плечами, а впрочем, не ручаюсь; достоверно то, что он отошел от ограды тогда только, когда Андрей засыпал могилу, поднял жену и повел ее с погоста. Мальчик возвратился на дорогу; раз или два останавливался он, чтобы посмотреть им вслед; но вдруг, как бы вспомнив о чем-то, пошел вперед по скату ускоренными шагами. Немного далее, когда совершенно уже открылся луговой скат, спускавшийся к горному уступу, мальчик увидел бабу, которая вязала пучки льну, разостланного по траве ровными рядами; за нею тотчас же показались другие бабы, занимавшиеся тою же работой. Дорога проходила мимо, и первая баба окликнула мальчика, как только он с нею поравнялся:

— Гришутка!

— Эй! — весело отозвался мальчик.

— Откуда, из села?

— Да.

— Посылали, стало, за чем? — вмешалась другая, молоденькая бабенка, оставляя также работу и приближаясь к мальчику. — За чем посылали?

— Вишь, бочонок! — сказал мальчик, встряхивая своей ношей.

— Здравствуй, Гришутка! — промолвили еще две другие, выходя на дорогу. — Отколь?

— Да уж сказал — из села! — возразил мальчик. — За бочонком посылали; вина хотят взять...

— Что у вас, праздник, что ли? — спросили в один голос бабы.

— Сестра родила... — отвечал мальчик.

— Ой ли! Когда?..

— Ахти, касатки! — воскликнула молоденькая бабенка. — Кого родила, мальчика или девочку?..

— Мальчика...

— То-то, я чай, дядя-то Савелий возрадовался! Ась?.. Семь лет ждал внучка-то! И ты небось рад, Гришутка? А?.. Рад, я чай? Сам дядей стал теперича... Дядя теперь!.. Дядя!..

— То-то, касатушки, он с нами нонче и здороваться-то не хотел! — подхватила самая молоденькая, поглядывая на мальчика лукавыми глазами. — Идет себе, как чуфарка какой, право! Смотреть даже не хочет... Ах ты, дядя! дядя!.. — примолвила она, засмеявшись, и неожиданно нахлобучила ему шапку на глаза.

— Ну!.. Оставь!.. Чего ты... Полно! — закричал Гришутка, откидываясь в сторону и делая невероятные усилия бровями, чтобы приподнять шапку на лоб.

— То-то у него щеки-то нонче как разгасились! Вишь, красные да жирные какие! — подхватила другая, подскакивая к мальчику прежде, чем успел он поднять шапку, и прикладывая ладони к щекам его, которые были так свежи, что баба почувствовала свежесть даже на ладонях своих.

— Оставьте! Ну!.. Что пристали?.. Ну!.. — кричал мальчик, тщетно стараясь освободить глаза от шапки и отбиваясь от баб, которые, радуясь случаю побаловать и посмеяться, обступили его кругом, тискали и дергали во все стороны.

— А ну-ткась, тяжел ли бочонок-то? — говорила одна, налегая руками на посудинку и выгибая назад мальчика.

— Не пуше тяжел! — смеялась другая, дергая концы кушака, перехватывавшего плечи мальчика, и нагибая его вперед.

— Бабы, вали его наземь! Вали разбойника! — крикнула третья.

В ту же секунду несколько рук обхватили его; но чье-то плечо перекосило шапку Гришки набок, и правый глаз его освободился из мрака; это обстоятельство мигом воскресило в нем бодрость, начинавшую уже падать; он начал рваться во все стороны, работать локтями, брыкаться ногами, двигать бочонком и, прежде чем бабенки посреди хохота и крика успели возобновить осаду, ловко вывернулся из кружка и стремглав пустился вниз по дороге. Скачки мальчика приводили в движение старую пробку, проткнутую когда-то в бочонок и которая лежала там, прилепившись ко дну; принимая шум прыгавшей пробки за погоню, Гришка первую минуту летел стрелою и без оглядки. Он вскоре очнулся, однако ж, и остановился, чтоб перевести дух.

— Экие ведьмы! — закричал он, быстро оборачиваясь к верхней части луговины, где стояли бабы, хохотавшие вс все горло. — Право, ведьмы!.. Ведьмы! Ведьмы! — подхватил он скороговоркою и постепенно усиливая голос.

Бабы захлопали в ладоши и сделали движение, как будто пускались догонять его. Гришутка задвигал ногами и снова полетел без оглядки. Он остановился тогда уже, когда добежал почти до подошвы лугового ската и ясно увидел, что опасения его ни на чем не основывались; баб не было даже видно: лен расстился в небольшой лощине, которая делалась заметною только издали; бабы принялись, видно, опять за работу, и наклоненное положение скрывало их от взоров мальчика. Тем не менее он счел долгом назвать их несколько раз ведьмами; облегчив себя как будто от огромной тяжести, он бодро тряхнул бочонком и начал прыгать по камням, служившим переходом через ручей; ручей бежал между подошвой пройденного лугового ската и горным обрывом, который подымался почти отвесно.

В этом месте подводы переезжали обыкновенно вброд, а дорога, перехваченная ручьем, снова показывала колеи свои между берегом и обрывом; она следовала течению ручья и шла влево. Немного погодя

мальчик обогнул часть ската, и церковь в высоте предстала перед ним, обращенная другим своим фасом; обернувшись назад, он мог бы увидеть также село Ягодню, которое с этой точки дороги целиком почти рисовалось и смотрело своими окнами, игравшими на солнце, на небольшую долину, по которой вился ручей. Но Гришутка не думал оборачиваться. Его привлекали другие предметы; то на одном из камней усаживалась ворона, и требовалось задержать шаг, подобраться к ней ближе и пугнуть ее с места; то останавливали его внимание маленькие заводья ручья, покрытые блистающими иглами льда, не успевшего еще оттаять на солнце; нельзя же было пройти мимо, не надломив ледяной корочки, не пососав ее. Лед теперь в диковинку; шутка! Как давно его не было! Трудно также было утерпеть, чтобы не спихнуть камня, который висел над ручьем и, казалось, сам просился упасть в воду; или не пустить по ручью обломка древесной коры и не полюбоваться, как пойдет она влять и прыгать между камнями; как буркнет и пропадет она в пене, сбиравшейся подле уступов, и как потом снова поплывет, следуя прихотливому изгибу.

Местами берега покрыты были кустами лозняка, который укреплялся даже кое-где посреди ручья в виде маленьких островков. Но как плачевно смотрели теперь эти островочки. Чем сильнее пронизывало их солнцем, тем заметнее выказывалась их бедность; вместо частой, непроницаемой зелени всюду торчали голые, холодно лоснящиеся прутья, перепутанные поблекшей ежевикой, засыпанные у основания листом, похожим на луковичную скорлупу и жалобно хрустевшим при самом легком ветре. Проходя мимо, Гришутка открывал иногда между прутьями серенькое пушистое гнездо; такое открытие давало ему всякий раз случай дивиться, как не заметил он его прежде, проходя тут летом. Что же была это за птица такая?.. Должно быть, крохотная какая-нибудь! И куда она теперь делась?

«Погоди, постой, лето опять придет, прилетит она опять на прежнее место выводить яйца!..»

И мальчик, озираясь на стороны, старался заметить камень, земляной выступ, овражек против куста с гнездом, чтобы не обознаться, когда придет время, прямо напасть на след.

А между тем щеки долины расходились, склоны

с обеих сторон понижались, каменистый грунт заметно делался мягче и покрывался травой, по которой плавно теперь, без пены и шума, спускался ручей. Вскоре открылись пространные луга, кой-где замкнутые лесистыми холмами. Вся эта плоскость, залитая тем же блестящим, хотя холодным сияньем, казалась совершенно гладкою; нигде не было видно деревушки. Но тут и там подымались вдалеке тонкие струйки дыма. Несколько ближе, хотя очень еще далеко, выступало строение с высокой остроконечной кровлей, которая вырезывалась синеватым треугольником под сверкающим краем горизонта. Еще ближе возносилась группа ветел; между головастыми их стволами и сквозь голые сучья мелькал на солнце бревенчатый новый амбар с лепившимися к нему избою и навесом. Ручей, откинувшись от дороги, делал два-три поворота, пропадал раза два и снова сверкал у ветел; дорога шла прямо к амбару. При виде старых ветел и амбара рассеянный, беспечный вид мальчика исчез тотчас же; он снова как будто вспомнил о чем-то и теперь уже с озабоченным и совершенно деловым видом ходко пошел вперед.

Мало-помалу, не в дальнем расстоянии за ветлами, показался берег реки, тянувшийся прямо к строению с высокой кровлей, мелькавшей в отдаленье. Ручей бежал к реке; но прежде чем в нее скатиться, он замыкался плотиной и наполнял небольшой пруд, обсаженный с одного бока ветлами; к тому же боку примыкал амбар, изба и плетни с навесом. В летнее время все это должно было пропадать в зелени; но теперь опавший лист позволял рассматривать два водяные колеса, прикрепленные к амбару, и под ними дощаной желоб; сквозь щели досок просачивались длинные серебристые водяные нити, между тем как с дальнего конца желоба каскадом ниспадал водяной стержень, обдававший пеной всю нижнюю часть амбара. Вода, очевидно, пущена была от избытка, потому что колеса оставались неподвижными. Пруд сверкал как зеркало; и на незыблемой его поверхности ясно отражались стволы ветел с их прутьями, часть плетня, калитка в плетне и ярко освещенный амбар с его кровлею, обсыпанною мучною пылью; место, где вода из пруда устремлялась в желоб, представлялось неподвижною стеклянною массой; быстрота стремления выказывалась только утками, которые, как ни спешивали,

ли двигать красными своими лапками, но все-таки едва плыли против течения.

Обогнув пруд (дорога проходила по той стороне пруда и упиралась прямо в ворота амбара, которые были теперь заперты), Гришутка ступил на гибкую доску, брошенную через желоб против калитки. В другое время он, конечно, не преминул бы поугагать уток, и без того уже бившихся из сил, чтобы выплыть из стремнины; не преминул бы также остановиться посреди доски и покачаться над водою, в которой представлялся он стоявшим вверх ногами со своим бочонком, — но, надо думать, не до того теперь было. Он суетливо перешел доску, поглядел сначала в щель калитки и, приняв вдруг решительное намерение, вступил на дворик мельницы.

II

СЕМЕЙНАЯ РАДОСТЬ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ

— Это ты, молодец?.. Что долго так? А я думал, ноги твои быстрые, думал — духом слетаешь...

Голос этот, несколько надорванный, но снисходительный какой-то и очень мягкий, принадлежал старичку, который сидел под навесом двора, верхом на обрубке бревна, и работал что-то топором. Именно только такой голос и мог принадлежать этому старичку: он как-то шел к нему, отвечал его кроткому, ухмыляющемуся лицу, дополнял, если можно так выразиться, то впечатление, которое производил старик с первого взгляда. Прозвучи голос его хрипло, как тупая пила в гнилом дереве, или раздайся как из бочки, это было бы то же, как если б воробей гаркнул повороньему. Если хотите, старик наружным видом своим отчасти даже смахивал на воробья: те же прыткость и суета в движениях, такой же острый нос и быстрые глаза, те же, относительно разумеется, личные размеры; разница сходства состояла в том, собственно, что воробей весь серый, тогда как у старика серыми были одни брови; волосы его белели как снег и рассыпались волокнистыми, как трепленный лен, прядями по обеим сторонам маленького, но чрезвычайно умного и оживленного лица.

— Что ж так долго, а? — повторил старик, поглядывая на Гришку.

Нельзя сказать, чтобы мальчик очень смутился; он запнулся, однако ж, не нашел что ответить и, чтобы поправиться, поспешил спустить с плеч бочонок и поставить его на вид.

— Это-то я вижу... вижу... — промолвил старик, потряхивая головою. — Да был долго зачем?.. вот что...

— Бабы, дядюшка... задержали... они все...

— Какие бабы? — спросил удивленный старик.

— Лен на лугу вязали. Я иду... а они... они и давай привязываться. Я и то всё в бежки... почитай, всю дорогу... Ничего с ними не сделаешь!.. Озорные такие...

— Какие же это бабы?.. С чего ж бы им так-то привязываться... Ну, брат, тут что-то неладно. Шишковато больно говоришь! Неладно что-то, Гришунька...

При имени «Гришунька» неловкость мальчика мигом пропала. Он знал очень хорошо, что когда старик хотел бранить его или вообще был не в духе, то звал его всегда Гришкой, Григорием; когда же был в духе, другого названия не было, как Гришутка, Гришаха или Гришунька. Пора было привыкнуть мальчику к таким оттенкам: он жил у старика третий год; он приходился родным братом его снохи, и старик взял его у родителей, с тем чтобы приучать исподволь к мельничному делу.

— Ну, что ж смотришь-то? А?.. — подхватил старик. — Бочонок принес, ну и ладно; чего глядишь-то?.. Али что здесь в диковинку?

— Нет, дядюшка, смотрю: где ж это собаки-то наши? — возразил мальчик, к которому снова возвратилась его ветреность и рассеянность. — Собак не видать...

— Эх забота припала... собак не видать!.. А!.. Волки съели.

При этом старик ослабил беззубые свои десны и засмеялся. По всему было видно, что находится он в отличном расположении духа; веселость светилась в его глазах, проглядывала в движениях седой головы, которая самодовольно покручивалась; тесно было, казалось, веселости в груди его, и она вырывалась оттуда сама собою.

— Поди, о чем сокрушается: о собаках! Эх, паренек, паренек!.. Вот уж подлинно: молодо — зелено!..

Чем собак-то высматривать, — они, слышь, за Петрухой побежали, не пропадут небось! — ты погляди-ка сюда лучше, сюда погляди. Совсем, почитай, уж покончил... Ну, что, хорошо ли?..

Предмет, на который указывал старик, действительно заслуживал внимания: из-под навеса, бросавшего густую тень на двор, высовывался длинный гибкий шест; в конец шеста проходило старое, ржавленное кольцо, от кольца спускались четыре коротенькие веревки, которые расходились и прикреплялись концами к углам деревянной рамы, обшитой внутри посконной холстиной и представлявшей подобие неуклюжего мешка.

— Ну, какова штука-то, ась? — сказал старик, пригибая несколько шест веревками и вдруг выпуская их из рук, причем рама и мешок начали прыгать.

— Что ж это, дедушка; — спросил мальчик, следя за эволюциями мешка и рамы.

— А что ты думал?

— Качка?

— Хе-хе-хе!.. — залился старик. — Знамо, что качка, а не амбарный ящик; ну, молодец, сказывай: хорошо, что ли?

— Хорошо, дядюшка!

— Эвна! эвна! эвна! — произнес старик, снова приводя в движение люльку и подпираясь ладонями в бока. — Эвна! Знатно будет лежать нашему молодцу!.. Подобью еще дно войлочком, да тьюфячок положим... Вот тут еще маленько веревки того... сам вижу — криво; все в правый бок забирает. И тогда повесим!.. Хорошо будет спать моему внуку и твоему племяннику, Гришутка: словно в лодочке! Не ворохнетя.

Тут ухмылявшееся лицо старика сделалось вдруг серьезным; он отвернулся и склонил голову.

— Дай только господь пожить ему, сердечному... Создай такую милость, царица небесная!.. — произнес он вполголоса, крестясь медленно, с расстановкой.

Гришутка, не спускавший с него глаз, машинально снял шапку.

— Ты, Гришаха, не встречал дорогой Петра? — спросил старик, расправляя брови.

— Нет, дядюшка.

— Чтой-то все вы нонче как замешкались? День такой: хлопот полон рот, а они ухом не ведут... точно, право, зарок дали...

— Вот он, никак, дядюшка... Вот едет! — крикнул Гришка и побежал отворять ворота, за которыми слышался шум подъехавшей телеги.

Щелкнул деревянный засов, ворота пронзительно закрипели, и в темном дне навесов открылся вдруг ярко сияющий квадрат с лошадьёю на первом плане, тележкой и сидевшим в ней молодым парнем. Но прежде чем Гришка успел взять лошадь под уздцы, его чуть не сшибли с ног две собаки: одна серая, большая, похожая на волка, другая несколько меньше, черная, с желтыми зрачками, полузаслоненными шершавыми бровями, покрытая вся взъерошенными завитками, делавшими ее похожею издали на мячик, обшитый черным мохнатым бараном.

— Дядюшка дожидает, — сказал Гришка, отбиваясь одною рукою от собак, другою хватаясь за поводья.

— Да, пора бы! Давно пора! — отозвался старик с другого конца навеса.

Телега въехала на двор. Из нее вылез светло-русый малый лет двадцати семи, среднего роста, но плотный, приземистый, дышащий силою и здоровьем. Это был сын старика и муж Гришкиной сестры. Насколько брал он против отца силой, настолько, казалось, уступал ему в расторопности, живости и той быстрой сметке и смышлености, которая отражалась в глазах и каждой черте старика. Малый поглядывал даже несколько простаком, но, впрочем, был усердный помощник отцу, надежная, плотная опора его старости; малый он был кроткий, покойный, честный; свойства эти явно отпечатывались на его широком, круглом лице, опушенном снизу бородкой, сквозь которую просвечивали толстые, добрые губы и время от времени сверкал ряд зубов белизны ослепительной.

— Что так поздно? — спросил старик, выходя к нему навстречу.

— Ничего не сделаешь, батюшка, — смиренно возразил сын, — Василья дома не было: пришлось обождать.

— Ну что ж, купил?

— Купил, батюшка, все купил, что ты наказывал: солонины один пуд, баранины двадцать фунтов, масла и гороху на кисель...

— Много, чай, рассорил денег-то? — спросил старик, прищуриваясь.

— По той цене взял, как ты сказывал...

— Вот это хорошо!.. Эй, тетка Палагея! Подь к нам! — закричал старик, суетливо обращаясь к крыльечку избы.

— Иду, кормилец, иду!.. — прохрипел голос в сенях, и появилась затем старушка со впалую грудью и лицом, сморщенным, как чернослив.

Старик взял ее из Ягодни на все время, пока лежать будет сноха его; сверх обычных хлопот по хозяйству Палагея обязывалась за два с полтиной сострять крестинный обед, назначенный на завтра.

— Ну, тетка Палагея, стряпня твоя приехала!.. Бери, кроши, повертывай — да в печку ставь!.. Готовы ли горшки-то?..

— Готовы, касатик!.. У нас духом-летком! Было бы из чего, родимый, за мною дело не станет... Не смигнешь — все представлю в твое удовольствие!.. — бодрясь, говорила старуха, подходя к телеге и принимаясь вытаскивать кулечки.

— Гришутка, полно тебе с собаками-то возиться!.. Вишь, время нашел! Подсоби тетке Палагее в избу таскать... Ты, Петруха, — присовокупил старик, понижая голос и указывая глазами на старуху, — ты за нею поглядывай... баба-то вострая; недоглядишь — и крупичи себе отсыпет, и ветчинки отрежет, и маслица отольет... Хозяйке твоей, знамо, не до того теперь — с малым возится... Ну, а у священника был?

— Был.

— Что ж он?

— Как обедня отойдет, говорит, тут и окрестим; приезжать велел.

— Ну, а к свату Силаеву и куму Дрону заезжал звать их?

— Нет, батюшка, не успел... Василий добре задержал меня с покупками... Я схожу к ним, как уберусь.

— Да, малый ты с затылком! Рази у нас одно это дело-то?.. Ну да ладно, авось там справимся как-нибудь... Пока ты в село пойдешь, а я за вином съезжу; Гришунька бочонок принес. Ну, и я без тебя не сидел скламши руки... погляди-ка поди, — примолвил старик, подводя сына к люльке и снова приводя ее в движение. — Эвна! эвна! эвна как! Хорошо, что ли?

— Хорошо, батюшка... Я, батюшка, как по лугу ехал, повстречал три воза из Протасова; к нам на мельницу едут; скоро, чай, будут... Встретился также Андрей со мною...

— Какой Андрей?

— Да наш, из Ягодни... Схоронил ноне опять парнишку, последнего схоронил...

— Что ты!.. Экой горький этот мужик, право! И что за диковина такая: не стоят у него ребята, да и полно! Все в одно время, почитай, решились, в одну осень нынешнюю... И бедность-то, да и горе-то... Что ж, не сказывал он, зачем шел? — заключил старик, поглядывая вопросительно.

— Нет, не сказывал; никак, мешок нес с рожью; должно быть, молоть идет.

— Гм! гм! хорошо все это, только не по времени; право, недосуг; бог с ними совсем и с возами-то! Сидишь, бывает, делать нечего, никто не едет; ноне хлопот не оберешься — все как нарочно повалили...

— Я, батюшка, схожу пока хозяйку проведаю, — перебил сын.

— Ступай!.. Я здесь поуправлюсь... вот качку надо еще приладить... Эй, Гришунька! Эй!

— Что, дядюшка?

— Распряги лошадь, поставь ее на место, а телегу отодвинь — сейчас воза приедут!

Мальчик побежал к лошади; старик снова уселся верхом на обрубок и начал тесать колышки, предназначавшиеся для распорки рам на люльке.

Лошадь была уже распряжена, и мальчик возился с телегой, когда в светлом отверстии отворенных ворот показался Андрей, тот самый мужик, который хоронил ребенка. С первого взгляда Гришка не признал его, Андрей был очень высок ростом; но теперь, согнутый в дугу под тяжестью мешка, перекинутого через плечо, казался он маленьким человеком. На нем были те же лохмотья; к ним теперь присоединялась еще шапка, которой не было у него на кладбище. Медленным, отягченным шагом пошел он прямо к старику, шагов за пять снял он шапку; несмотря на холод, лоб его был совершенно мокр, и черные волосы свивались на лбу и висках.

— Бог помочь, Савелий Родионыч! — сказал он, сбрасывая мешок наземь.

— А! здорово, брат Андрей... здорово!.. — сказал старик, насаживая топор в обрубок и вставая. — Слышал я о твоем горе, слышал! Сын сказывал! Как быть-то, брат, как быть!.. Знать, так господу богу угодно... Его, знать, воля святая, — подхватил он с со-

жаленьем. Частью также старик повел такую речь с умыслом: он не сомневался, что Андрей пришел с какою-нибудь просьбой, и хотел ему не дать на это времени: старик был «крепковат в счетах», как говорят в простонародье.

Андрей слушал, свесив руки и потупя голову; красивое лицо его, побледневшее от усталости, изрытое нуждою и лишениями всякого рода, выражало глубокую скорбь; но в скорби этой было что-то покорное, тихое; он, как видно, свыкся уже с ударами рока, не возмущался ими, и если слезы текли по ранним его морщинам, так это было совершенно против воли: не мог он никак совладать с ними.

— Да, — проговорил он с расстановкой, — да, Савелий Родионыч, господь последнего взял... Один был... и того теперь нету, сирота стал, Савелий Родионыч, как есть сирота теперь...

Он не договорил, отвернулся и отер лицо изнанком ладони.

— Да... Как быть... власть божья!.. — промолвил Савелий тоном, сквозь который проглядывало эгоистическое чувство счастливого человека. — У тебя вот господь, творец милосердный, отнял, а мне дал! Ты ноне, Андрей, схоронил детище, а у меня ноне в ночь внучек родился! Семь лет ждал, молил господа — не было; а теперь послал господь!.. Власть божья! Его не переспоришь... Ведь у тебя было никак всего трое ребят? Один, помнится, косенькой такой, маленечко еще на ногу припадал... нога-то с кривинкой была... Этот, что ли, помер?

— Этот, Савелий Родионыч...

— Ну, этот, господь с ним! Обиженный был человек... Не был бы тебе помощником... Калека был!

— Нет, Савелий Родионыч, этого мне жалче... других хоронил, словно не так горько было!.. Косенького всех жалче, Савелий Родионыч!.. Уж так-то жалко... кажись... Пришел в избу, гляжу — нет его, нет Егорушки, вспомнил... индо даже от сердца оторвалось у меня... Косенького всех жалче!..

— Что говорить... последний был; своя полоса мяса!.. Что говорить! — сказал Савелий, поглядывая на стороны. — Ты, брат Андрей, не серчай на меня... Ей-богу, некогда... недосуг нонче... У нас ноне хлопот-то и-и-и!..

— Я за делом к тебе, Савелий Родионыч...

— Гм! Какое же твое дело?.. Коли можно...

— Да помолоть пришел... один мешок всего...

— Ну, что ж, засыпай!..

— Только... нельзя ли как-нибудь, Савелий Родионыч... Как перед истинным богом говорю: нет у меня ничего... от похорон гроша не осталось... за помол отдать нечего...

Савелий поморщился и почесал затылок.

— Сделай милость, Савелий Родионыч!.. Право, на хлебец, на один хлебец муки нет...

Савелий смотрел в землю и пожимал губами.

— Дядюшка, к нам возы едут! Три воза! — крикнул Гришка, стоявший в воротах.

— Вишь, тебе господь бог посылает, Савелий Родионыч! — вымолвил Андрей.

— Н... ну, бог с тобой! Засыпай! Ступай только скорее, пока те не подъехали, — сказал старикашка, приняв снова свой добродушный вид. — Гришутка, отцепи колесо поди — у первой снасти!..

Минуты две спустя внутри амбара послышалось шипенье жернова, который вскоре разошелся и пошел порхать, посылая из амбарной двери легкие клубы мучной пыли.

— Петрунька, — сказал Савелий, останавливая сына, после того как возы въехали на двор, установились и пущена была в ход вторая снасть, — как же нам, слышь, быть теперь?

— Что ж, батюшка?

— Ты идешь в село теперь на крестины звать; может, там опять промешкаешь; до вечера, может, пробудешь; дни теперь короткие... Тут вот эти, прости господи, приехали! — прибавил он, указывая глазами на подводы. — Мне от них отойти нельзя никак... А кто ж теперь за вином-то поедет?..

— Пошли, батюшка, Гришку — он съездит!

Старик пожал губами и покачал головою.

— Что ж такое! — продолжал сын. — Разве мудрость какая? Подал деньги целовальнику — и все тут; бочонок ведь ведерный, обмерить нельзя: дело все на виду...

— На виду-то на виду... Оно так... Да малый-то... думается, того... Ну да ладно, ступай!.. — произнес Савелий, одумавшись. — Эй, Гришка, — крикнул он, когда Петр исчез в воротах, — поди запрягай лошадь, смотри только, как дугу надевать станешь, мне скажи, сам не затягивай...

— Дай я подсоблю ему, — сказал Андрей, выходя из амбара, — мне пока делать нечего.

Он пошел навстречу мальчику, который вел уже лошадь. Когда подвода была готова, Савелий велел Гришке надеть шубенку и взять шапку. Тот вытаращил сначала удивленные глаза, но потом, как будто вместе с этим приказанием соединилось для него великое счастье, полетел в избу и разом даже перескочил через все ступеньки крылечка.

— Посылать его хочешь? — спросил Андрей.

— Да, вина взять на завтра, — возразил Савелий, запуская с озабоченным видом руку за пазуху и вынимая оттуда кожаный кошель. — Что это, как вино стало у нас ноне дорого!.. Четыре целковых за ведро... Виданное ли это дело!.. И добро бы вино-то было хорошее, спорое... а то леший их знает, прости господи, чего туда подливают, разбойники!.. Бывало, два с половиной платили; теперь хуже стало, а все четыре целковых отдай... Беда, да и только!..

— Все теперь вздорожало, Савелий Родионыч; за что ни возьми, все дороже.

— Охо-хо! — говорил Савелий, высчитывая на ладони деньги. — Стало, уж времена такие пришли... времена такие тугие... Такие времена!

Надеть полушубок и схватить шапку было для Гришки делом одной минуты; он возвратился на двор прежде еще, чем старик успел сосчитать деньги.

— Дядюшка, я здесь! — сказал он, торопливо застегивая на ходу верхнюю пуговицу у полушубка и любопытно поглядывая то на лицо старика, то на ладонь с деньгами. — Я здесь, дядюшка!.. — повторил нетерпеливо мальчик.

— Вижу... вижу!.. Шесть гривен, да полтина... да двугривенный... — бормотал старик. — Возьми бочонок, Гришутка, положи его в телегу, — прибавил он мимоходом и возвышая голос. — Еще три четвертака... Всего четыре целковых... Вишь ты эти деньги? — заключил он, обращаясь к мальчику.

— Вижу, дядюшка!

— Что ж ты видишь-то?

— Деньги, дядюшка!

— Да сколько их?

— Не знаю...

— То-то же и есть!.. Прыток больно... Ох уж ты у меня, смотри... слушай, тут четыре целковых, — про-

должал старик, копотливо завертывая мелкую монету в две замасленные рублевые бумажки, — смотри, не оброни!..

— Нет, дядюшка, в руке держать буду: не выпущу!

Савелий покачал головою, молча расстегнул ему полушубок, ощупал овчину внутри, опять покачал головою; молча потом снял шапку мальчика, внимательно осмотрел тулью, приподнял ее и, вложив туда деньги, крепко опять надвинул шапку на голову Гришки.

— Смотри у меня, не сымать шапки дорогой! — сказал он. — Поедешь теперь в кабак, возьмешь там ведро вина, скажи целовальнику: «бочонок-то ведерный, видно будет, как обмеришь!..» Постой! — возвысил голос старик, видя, что мальчик бросился к телеге. — Погоди! Эк его носит как!.. Знаешь ли еще, где кабак-то?

— Как же, дядюшка! Как не знать... я рази впервой... Кабак за рекою...

— Погоди!.. — перебил старик, выказывая, в свою очередь, нетерпение. — Постой!.. Эк его носит!.. Ну что ты похваляешься-то? Что похваляешься? Кабак, знаю, за рекою... Да ведь за рекою-то у нас два кабака; как проедешь реку, от перевоза будут две дороги: одна пойдет влево, другая прямо; налево не ездят, ступай прямо... слышишь?

— Слышу, дядюшка!

— А коли слышишь, садись да поезжай; вот еще что: смотри у меня, лошадь не гнать! Приедешь домой, я погляжу: коли потная она, вихры намну!.. Помни же, что сказано: шапки не сымай дорогой; как в кабак приедешь, тогда только сыми...

Последние слова сказаны были мальчику, когда он сидел уже в телеге и держал вожжи. Андрей взял лошадь под уздцы и вывел ее из ворот. Гришка свистнул собаке, которая полетела за ним, и вскоре собака и телега пропали из виду.

— Андрей, — крикнул старик, когда тот возвратился, — побудь пока здесь в амбаре, погляди за помольцами; на минутку в избу схожу, сноху проведаю, погляжу на внука...

— Ладно, Савелий Родионыч.

— Постой!.. Поди-ка сюда... — вымолвил старик, направляясь к той стороне навеса, где висела люлька. — Ты, брат, повыше меня, достанешь без подстав-

ки... сыми кольцо с шеста... Кстати, уж заодно пойду качку в избе прилажу... Погоди! — присовокупил он, останавливая одной рукой Андрея, другой рукой приводя в движение люльку. — Теперь, кажись, ровно идет... Эвно! эвно!.. Ладно, сымай теперь!

Андрей исполнил его просьбу.

— Побудь же пока в амбаре-то, — повторил дядя Савелий.

И, пропустив кольцо в костлявые свои пальцы, вытянув руки, чтобы дно люльки не тащилось по земле, он поплелся в избу, сохраняя во все время на лице самодовольную улыбку.

III

МАЛЕНЬКАЯ БИОГРАФИЯ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА

Эпоха, в которую родился Савелий, относится к весьма отдаленному времени. Лучшим доказательством этого служит то, что помещики имели тогда право продавать крестьян своих поодиночке. Теперь благодаря просвещению, которому так справедливо удивляемся и мы и европейцы, — право продажи душ поодиночке не существует.

Теперь крестьяне продаются не иначе, как целым семейством: оно и человечнее и даже выгоднее.

Соседу понравился, например, ваш столяр; он предлагает за него очень выгодные условия.

— Человек отличный! — говорите вы с одушевлением. — Превосходный! Клад — не человек! При случае он может даже красить крыши, составлять лаки... Жена его также отличная женщина...

— Но жены его и детей мне не надобно, — возражает сосед, — я хочу иметь одного только столяра, он один мне нужен...

— Без жены и детей не могу... не могу! — говорите вы с убеждением. — Разве не знаете вы, что я уже не могу этого сделать...

— Делать нечего, продайте всю семью... Мне, собственно, все равно!.. Но в таком случае денежные условия останутся те же...

— Что вы! Что вы!.. Христос с вами!.. — говорите вы, пораженные бесстыдством и наглостью соседа. —

Жена его отличная прачка; она даже тонкие кружевные воротнички стирает! Отпустите ее на оброк — она принесет вам верных пятнадцать целковых!.. Наконец, у него есть еще мальчик лет двенадцати, удивительный мальчик! Самоучкою выучился грамоте, пишет как писарь, почерк чисто каллиграфический... У меня в семействе даже зовут его каллиграфом... Словом, замечательный мальчик! Года через четыре-пять он принесет вам рублей тринадцать оброка, если не больше!.. Я бы никогда не расстался с этим ребенком и его матерью... Я уступаю их единственно потому, что отец мне не нужен; а так как по закону одно лицо продать невозможно, решаюсь уже заодно продать все семейство...

Соседу столяр нужен до зарезу, он предлагает сверх положенной суммы за отца кое-что еще за мать и сына, — и вы остаетесь, следовательно, в барышах против того, как было бы при продаже одной души. Но все это дело постороннее и выставлено здесь единственно в защиту успеха нашего просвещенного века.

Савелий Родионыч принадлежал к другой губернии, а не к той, где теперь находился. Семи лет от роду продан он был на своз вместе с отцом и матерью в село Ягодню, где в то время земли было вчетверо против числа душ. Переселение из родины на новое место совершилось очень благополучно; не обошлось, конечно, без слез, воплей и даже криков отчаянья при разлуке, нельзя же: сердце не камень! Привелось прощаться с родными, которых никогда больше не увидишь, привелось расставаться навеки с погостом, на котором покоились кости отцов, и проч. Но нет такого горя, которое не умалялось бы временем. Поплакали и перестали. Семейству Савелия выстроили избенку и отвели землю. Местность Ягодни, воздух, вода, жизнь при тогдашнем помещике — все было лучше, чем на родине. При всем том переселенцам как-то не посчастливилось на новом месте. Мать Савелия видимо чахла; к началу осени слегла она, а к концу отдала богу грешную свою душу. На второй год Савелий остался круглым сиротою, потому что отец его тоже «переселился», то есть переселился в такой край, откуда никакой помещик — предлагай он хоть все свое состояние — не мог бы уже достать отца Савелья.

Сирота начал переходить из одного семейства в другое. На вызов управляющего, нет ли желающих

взять мальчика на воспитание, многие семейства изъявляли величайшую готовность; мальчика отдавали; но вскоре явилась необходимость отнять его у воспитателей: одни заставляли пахать его на восьмилетнем возрасте, другие отдавали его внаймы в соседнюю деревню, третьи выказывали явное намерение воспитать его для той цели, собственно, чтобы отдать за сына в солдаты, когда придет очередь, и т. д. Такие распоряжения не отвечали видам управляющего, который, к счастью, был человек рассудительный и, главное, очень добрый. Он решился испробовать еще раз и отдал сироту одинокому мужику, жившему с женою. Мужик брался воспитать мальчика; он обещал даже усыновить его. На этот раз можно было, кажется, положиться на воспитателей. Несмотря на крайнюю бедность новых хозяев мальчика, они не посылали его ни пахать, не отдавали внаймы соседям. Жизнь Савелия пошла не в пример лучше прежнего. Вскоре начал он свывкаться с хозяевами; мало-помалу и те стали привыкать к нему. Мальчик был, впрочем, славный, — хотя, надо сказать (и в этом старик и старуха сознавались с сокрушенным сердцем), — он поедал у них множество хлеба. «К росту, что ли, он так или прежде добре уж голодал много, — говорили они, — но только съедает — Христос с ним! — словно взрослый! Не напасешься никак!..»

Год от году, однако ж, меньше каялись они, что взяли его, и меньше жалели хлеба. Хлеб шел впрок мальчугану; он рос, крепчал, привязывался к старикам и вместе с тем не шутя делался им полезен. На тринадцатом году он свободно уже управлялся с сохою; и это вовсе не потому, чтобы много понукал хозяин, — но по своей охоте. В прежнее время, когда выходила старику очередь ехать в ночную или отрывали его другие мирские и барские дела, — поле его часто гуляло (батрака нанять было не на что), собственные работы его останавливались, плетень оставался недоплетенным, лошадь неприбранною и проч.; теперь он оставлял малого, и если последний не приводил дела к полному успеху, то по крайней мере все же хоть сколько-нибудь подвигал его. И все делалось у него как-то скоро, охотно, весело; все как-то давалось ему и спорилось в руках его. Старик занимался несколько плотничным ремеслом; Савелий любил присматриваться к такой работе. Лет пятнадцати он владел то-

пором ничуть не хуже своего воспитателя. Прошел год, другой. Около этого времени в Ягодне перестраивали церковь, которую мы видели. Савелий попал в число плотников.

Выбор этот определил, можно сказать, судьбу его. Церковь перестраивалась своими мужиками, но ими заведовали два испытанные егорьевские плотника. С первых же дней заметили они, что никто не строгал досок глаже Савелия, никто так чисто не выводил желобков для стока воды, никто не был так сметлив, ловок и смел с топором и на подмостках. Они дали ему рубить углы и потом посадили за рамы. Но где особенно отличился Савелий, так это когда пришлось убирать узорчатыми подзорами наружные стены и церковные навесы. Он выдолбил в доске такой красивитый узор, что все только ахнули и решили, что лучше не выдумать. Теперь уже не существуют эти деревянные фестоны, служившие когда-то лучшим наружным украшением церкви; обливаемые дождем в продолжение пятидесяти лет, съедаемые червоточинной и плесенью, они истребились совершенно; в одном только месте, с восточной стороны церкви, там, где алтарь и где теснятся могилы, осталась еще одна — серая тесина с треснувшим и полуосыпавшимся узором; но и этот последний остаток висит уже на одном гвозде и день ото дня грозит упасть на ближнюю могильную плиту и рассыпаться в прах.

Слухом, говорят, земля полнится. В окрестностях сделалось известным, что в Ягодне находится ловкий плотник; слух не замедлил проникнуть на мельницы, которых тогда уже было довольно много в околотке. Мельники стали звать Савелия.

— Что ж, батюшка, — сказал Савелий, когда старик завел речь об этом предмете, — коли ты с матушкой отпустишь, я бы пошел, пожалуй; плотничья работа далась мне, супротив всякого другого дела имею я к ней охоту... Сдается мне, худобы для дома от этого никакой не будет; емельяновский мельник сулит от Святой до заговенья сто тридцать рублей; восемьдесят рублей отдашь батраку; земли у нас не бог знает сколько, он с нею управится, ты маленько еще подсобишь... Значит, пятьдесят рублей в доме останутся! Как умом ни раскидывай, все, значит, в барышах останешься.

Такая речь пришлась старику по душе и по разуму.

Савелий отправился. Лишним считаю распространяться о том, как жил Савелий на емельяновской мельнице. Достаточно сказать, что на второй год мельник сулил ему не сто тридцать, а сто восемьдесят, лишь бы остался работник. Одна из причин, почему жалованье усиливалось, заключалась отчасти в том также, что соседние мельники старались всячески переманить к себе работника. Такие обстоятельства достаточно, кажется, говорят в пользу Савелия.

На десяти мельницах по крайней мере известно стало, что лучше емельяновского плотника не сыскать по округу: емельяновские колеса его изделия пошли в славу столько же по чистоте отделки, сколько и потому также, что, принимая меньше воды, вертели так же скоро, как прежде. Малый, сверх того, был на все руки: хочешь, приставь его в прудке, вели толчею в ход пустить, пошли на базар с мукою или дай приглядеть за помольцами — ни в чем не сплочует, ко всему горазд, нигде не докрит душою; и малый-то какой: хмелем не зашибается, нравом кроткий, хозяина всегда готов уважить — словом, клад, а не работник! Савелий остался у прежнего хозяина; с него пошел он в ход, и не хотелось идти ему на новое место, тем более что на первом он привык и давали ему столько же жалованья, сколько и на вторых.

Маленькое хозяйство старика и старухи год от году между тем поправлялось. Савелий вовремя высылал им деньги и никогда копейки от них не утаивал.

— Вот, батюшка, — скажет, — здесь трех целковых с пяталтынным не в достаче; ты не сумлевайся: два целковых пошли на полушубок; вот гляди: на спине протерлось... новую овчину вставил, да на локти еще... Один целковый отдал за сапоги. А за пяталтынный ты, батюшка, не серчай: набивной платок купил... В праздник, знамо, поразгуляться захочешь, повяжешь на шею... У нас все так-то ходят, не хотелось супротив других-то... словно совестно!..

Батрак, заступивший место Савелия, попался хороший: поля не стояли, обрабатывались; не то что прежде, когда, бывало, старик, отвлекаемый то миром, то барщиной, не успевал управиться со своими делами. Хлебушка было теперь вдостачу, оставалось даже на продажу.

Но человек так уж сотворен, видно, что никогда не доволен настоящим. Сколько провидение ни расточай

на него благ своих, сколько ни балуй его, он все-таки стремится получить больше, все-таки продолжает докучать провидению, прося у него новых даров, нового счастья. То же было и со стариками — приемными отцом и матерью Савелия. До преклонных годов терпели они нужду горькую, бедность; господь сжалился над ними: утолил их нужду, утешил их старость, послал им сына — подпору; положим, сын не был родной; но не все ли равно, когда жил он с ними и радовал их, быть может, лучше всякого кровного! Так нет же! Стоило только попериться старикам, стоило им порадоваться над Савельем и возблагодарить за него бога, — начали они воссылать к нему новые мольбы, начали давать волю новым мечтаниям! Утром, вечером ли, короче сказать, когда ни встречались старик со старухой, только и слышно было у них разговору, что вот, дескать, конечно, творец милосердный благословил их всем, послал и сынка и достаток, но что ко всему этому как словно недостает еще чего-то... Что надо бы теперь поженить сынка-то, надо бы порадоваться на его счастье, надо бы внучат понянчить... и проч. Слова нет, при существующих обстоятельствах такие мечтания не были, может статься, заносчивы; теперь любая девка охотно пошла бы в дом к ним; но все-таки не доказывает ли это, что человек, даже преклонный, никогда не успокоивается, вечно будет уноситься мечтаниями и требовать большего. Дало провидение сына — нет, мало: давай еще сыну жену, потом внучат и так далее. Старик и особенно старуха начали искать невесту. Ходить было недалеко и недолго; в той же самой Ягодне выискалась вскоре хорошая девушка. Зимой на побывку пришел Савелий. Старики поговорили ему, показали девушку; девушка парню понравилась, он согласился — и в тот же месяц сыграли свадьбу. Месяца два пожил он дома, провел рождественские праздники с молодою женою — и снова отправился на работу. Такой уговор был у него с содержателем бархинской мельницы, слывшей в то время первой мельницей по всей губернии. Савелий получал уже теперь триста рублей в год жалованья. Но счастье не в достатке! Именно: не в достатке счастье. Сколько ни молил бога Савелий, сколько ни просили старики угодников, старуха ходила даже по этому предмету на богомолье, — нет, не давал господь детей Савелью, не давал внучат стари-

кам! На все остальное снизошло благословение; хлеба рождалось много, скотинка велась хорошая: была корова и телка, восемь овец, две лошади; жили они в новой избе и с широкою печью, полатями и перегородкой; остальное строение также все поисправилось: столбы навесов были новые, плетни стояли стеною, крыша так густо покрыта была соломой, что стало бы ее на три крестьянских двора; сами они, и старики, и сноха, и Савелий, пользовались хорошим здоровьем — словом, все было так, что лучше и желать нельзя, но детей не давал господь; не рождались дети, да и только!

Савелию было уже около тридцати семи лет, когда неожиданно умер его помещик. Наследники поспешили продать Ягодню. Новый помещик приехал в приобретенное. Первым распоряжением его было — собрать налицо всех мужиков, работавших на стороне и ходивших по оброку. Савелий только что нанялся тогда заправлять новой какой-то мельницей; он лишился места и, сверх того, должен был еще заплатить неустойку.

Но мы оставим на время Савелья. Расскажем в нескольких словах историю Ягодни за двенадцать лет. Жизнь крестьянина так тесно связана с положением его деревни; положение деревни находится в такой зависимости от жизни помещика, его взглядов, нрава и образа управления, что, рассказывая историю деревни, или, все равно, историю управления над нею, даешь в то же время возможность судить о житье-бытье самого крестьянина.

Провидение, всегда хранившее Ягодню, спасавшее ее от пожаров, неурожая, моровых язв и дурных помещиков, казалось, вдруг от нее отвернулось. Так по крайней мере говорили и думали крестьяне. В эти двенадцать лет в Ягодне сменилось сряду пять помещиков; все они как на подбор принадлежали к классу, известному у нас под именем «помещиков-спекуляторов». К этому классу, благодаря бога весьма немногочисленному в нашем отечестве, принадлежат большею частью люди темного происхождения; они выходят из семинарий, из уездных судов, из задних рядов гражданской государственной службы, дослуживаются до секретарей и коллежских советников, иногда больше, и, набив копейку, пускаются приобретать имения с целью закруглить капитал. Такие господа не живут

обыкновенно в деревнях своих. Детство их не запечатлено воспоминаниями сельской жизни — воспоминаниями, которые сердечно привязывают человека к такому-то месту и людям, ему принадлежащим, и заставляют смотреть на все это мимо всяких выгод и расчетов. В глазах помещика-спекулятора имение представляет ничего больше, как капитал, из которого стараются они извлечь по возможности больше процентов; на крестьян смотрят они, как на известного рода свеклу, которую чем сильнее нажмешь, тем больше получишь из нее соку. Часто помещик-спекулятор стыдится приехать в свою деревню, потому что дядя его был там дьячком или дворовым человеком. Он посылает тогда управителя, отставного унтера какого-нибудь или знакомого протоколиста, которому протезирует и которого выводит в люди. Из числа помещиков, владевших Ягодней в продолжение двенадцати лет, двое посылали туда управляющих, три сами являлись и лично занимались управлением. Последние были самые худые. Одни действовали таким образом: не изменяли прежней системы управления, но только удвоили оброки; они уничтожали затяглых и сажали их на оброк; накладывали оброк на девок и ребят свыше двенадцатилетнего возраста; женили семнадцатилетних парней, чтобы увеличить число тягл; известно, что с тягла, то есть с мужа и жены, можно больше взять, чем с девки и парня. Они продавали на сруб рощи, продавали невест из крестьянских и дворовых девок, продавали скот. Владея таким образом год или два имением, собрав два непосильные оброка, собрав еще один оброк вперед за третий год, они неожиданно продавали Ягодню. Другими управляла иная система: они уничтожали оброк и сажали имение на пашню; земля и народ не знали отдыха. Правило, назначающее столько-то дней работать на барщине, столько-то на себя, уничтожилось само собою; народ неумоимо работал в полях, работал на кирпичном заводе, который вдруг возникал в Ягодне, возил продавать кирпич в город, пахал, молотил и веял, не зная сна и покоя. Выжав сок из земли и крестьян, разорив вконец имение, помещик наскоро подправлял плетни, покрывал крыши, подкрашивал амбары, воздвигал кой-где красивенькие решетки и, показав лицом Ягодню, выгодно сбывал ее другому, менее опытному из своего же брата. Результатом этих

двенадцати лет было то, что Ягодня, слывшая как-то чуть ли не первой деревней уезда, сделалась последней; земля истощена, леса порублены, крестьяне разорены; у многих не только коровы не было — не было лошади и даже курицы в доме. Бóльшая часть побиралась.

К этому числу не принадлежал, однако ж, Савелий. Он был беден; куда! — следа не осталось от прежнего благосостояния! Но сравнительно с другими он все еще кой-как пробавлялся. В эту страшную эпоху разоренья мужичку все-таки встречалась надобность поправить угол избы, требовалось подвести ось телеги, починить кадку; бабам нужны были деревянные гребни для мычек, веретена, корыта; никто лучше Савелья не мог исполнить таких дел, и при этом всегда перепал ему лишний кусок хлеба. В эти двенадцать лет много, впрочем, изменилось в его домашнем положении: старик и старуха приказали долго жить; но, как бы взамен такого горя, господь услышал наконец его молитвы и послал ему сынка. Савелий не падал духом. Какая-то внутренняя сила, — быть может, вера в промысл, быть может, природная потребность деятельности, быть может, то и другое вместе, — подкрепили его. Он разгибал спину после барщины и, приходя домой, снова сгибал ее, всегда находя под рукою какую-нибудь работу. Действием этого было то, что он ел хлеб, тогда как другие побирались.

Наконец судьба сжалилась над бедною Ягодней. Она попала в руки соседнему помещику, настоящему помещику — коренному, как называли его крестьяне. Пошли тотчас же другие порядки: имение поступило на оброк, не на такой, которого не могли платить крестьяне, но который мог только их поправить. В первое же воскресенье, последовавшее за купчею, церковь Ягодни была полна народу. Старики стояли на коленях, бабы кланялись иконам и плакали; все молились и благодарили творца, внявшего их грешным молитвам.

Обыватели Ягодни вздохнули. Вместе с ними вздохнул, разумеется, и Савелий. Но вскоре вздох радости сменился у него тяжелым вздохом: около этого времени он лишился жены. Правду говорят: не бывает радостей без печали!

Поплакал, погрустил Савелий, но делать нечего, мертвого не воскресишь! Надо было приниматься тя-

нуть как-нибудь житейскую ляжку. Сына своего (мальчишке было тогда семь лет) поручил он жениной родне, а сам, перекрестясь, снова пошел ходить по мельницам. Дело было знакомо, сподручно. На мельницах Савелия еще помнили; думали, конечно, что силы в нем поубавилось, думали также, от дела отвык; взяли его больше за прежнюю славу. Сначала сам Савелий так думал; но пожил весну, пожил лето, плечи расходились, снова явилась прежняя сметка — и пошло по-старому, с тою разницею, что разуму теперь и опыту стало в нем больше. Мало-помалу делюшки опять начали поправляться. Землю свою передал он до времени мужу родственницы, у которой находился сынишка; избу свою он не только не продавал, но всячески даже старался ее поддерживать. Когда мальчику минуло четырнадцать лет, Савелий взял его с собою и определил сначала без жалованья на ту мельницу, где сам занимал место первого работника. Между тем как исправлялся Савелий, поправлялись также другие жители Ягодни; но, не имея ремесла, не одаренные той сметкой и деятельностью, которые отличали Савелия, — они поправлялись медленнее. Только спустя десяток лет Ягодня и ее обыватели пришли в прежнее положение.

Эти десять лет принесли большие перемены в быте Савелия; он женил сына и сам к концу этого срока перебрался домой на жительство. Ему наскучило, видно, таскаться по чужим местам, хотелось пожить своей волей, своим домком-хозяйством; к тому же и кости состарелись, пора было на покой, на отдых. Так рассуждали его родные и соседи. Савелий, надо полагать, думал иначе. Силы его точно истратились (ему минуло уже под шестьдесят), лета ослабили его тело, но не уgomонили духа и деятельности. С утра и до вечера копошился он на своем дворе, не переставал рубить, строгать, плесть плетни, и ни на минуту престарелые руки его не оставались праздными. Но, оказалось, не по душе, не по привычке были старику такие мелкие, мирные занятия; он словно скучал, ел мало, нигде не находил себе места. В свободное время, а такого было теперь много (он считался уже за тяглым; один Петр сидел на оброке и платил пятнадцать целковых), в свободное время старик отправлялся обыкновенно к ручью, который огибал луговой скат села, где была церковь, извивался по долине и па-

дал в речку. При этом впадении когда-то, в давние времена, находилась маленькая колотовка; от нее оставались теперь только старые ветлы. Прогулки старика повторялись чаще и чаще. Ни один человек — даже сын и сноха не подозревали намерений старика. Вскоре все объяснилось; как домашние, так и посторонние узнали, что Савелий был у помещика, предложил ему выстроить на свой собственный счет мельницу, где была прежняя колотовка, предлагал платить за нее вместе с сыном тридцать рублей оброку в год. Так все и ахнули. Но ахов было еще больше, когда Савелий приступил к стройке, особенно когда заплатил за два жернова двести рублей да за амбар еще триста.

«Пооди ж ты!.. — говорил народ. — Кто бы подумал об этом?.. Виду ведь никакого не показывал, а денег-то, денег сколько! Шутка, капитал какой!..»

Капитал был, точно, значительный. Мельница стоила Савелию шестьсот рублей ассигнациями; но это еще не все: оставалось у него про запас еще целковых сорок. Все это в общей сложности представляло капитал в семьсот сорок рублей на ассигнации. Действительно, страшная сумма, если принять в соображение, что на составление ее потребовались только, всего-навсё, каких-нибудь десять лет! Конечно, каждая копейка этого капитала досталась потом; для добывания каждого рубля требовалось работать не разгибая спины; но что могут значить труды сравнительно с таким огромным вознаграждением!..

Простым классом народа вообще управляет рутина: его пугают всякие нововведения: он боится идти новым путем и редко решается употребить деньги на промысел, на дело, которым не занимались отцы и деды. Соседи совсем не шутя жалели его, не шутя думали, что он рехнулся. К такому мнению немало способствовали окрестные мельники: Савелий покушался отбить у них помольцев; они досадовали и выпускали насчет его предприятия самые неблагоприятные слухи, они старались даже вредить ему более действительным образом: подсылали кидать ртуть в ручей с целью повредить плотине, которая должна была от этого просачиваться; говорили, что воды ручья недостаточно, чтобы поднять два жернова, что в весенний разлив реки вода пойдет ко двору и несет мельницу, и проч.

Но не таков был Савелий, чтобы стал действовать

наобум, очертя голову. Зоркий глаз его давно высмотрел местность, сметливый ум исчислил все выгоды и неблагоприятные случаи, долгий опыт научил, как предупредить их. Дело было слишком ему знакомо, слишком много лет из жизни своей употребил он на изучение его, чтобы мог обмануться. Слухи и разговоры прекратились, как только подняты были в первый раз шлюзы, оба колеса дружно завертелись и жернова пошли порхать так же скоро, как у соседей. Всем известно теперь, что в своем округе мельница дяди Савелия самая исправная, даром что самая маленькая и стоит на ручье, а не на речке: ни разу не прорвалась ее плотина, ни разу не было недостатка в воде, ни разу не подмывала она двора, ни разу не задержался помолец; ко всему этому следует прибавить, что в эти три года помолец уезжал всегда довольный и в разговорах никогда достаточно не нахвалялся обычаем маленькой мельницы: там оставляли на распыл меньше муки, чем у соседей, никогда не оттягивали зерен, мука была всегда мягкая и всегда строго наблюдалась очередь: кто первый заехал, тот и засыпай; не то что в других местах: тот прав всегда, кто больше посулил мельнику.

Год от году жерновам Савелия доставалось больше работы; барышей больших не было, но жить было можно; хорошо можно было жить! Не встречалась, не предвиделась пока надобность трогать запасный капитал, оставшийся после постройки мельницы. Деньги лежали скрытно от всех в сундуке — и радовали сердце предусмотрительного старика. Так было по крайней мере до того дня, когда Савелий приготовился к крестинам и делал качку для новорожденного внука, предмета стольких ожиданий и радостей.

IV

ПЕРЕДРЯГА

Бедный Андрей из Ягодни давным-давно уже отмолол свой мешок ржи и оставил мельницу; мало того: из трех возов, так некстати тогда приехавших, оставался всего один; и все-таки не видно было ни Петра, ушедшего в село с приглашениями, ни Гришутки, уехавшего за вином. Время приближалось к вечеру.

Солнце садилось, усиливая с каждой минутой пурпуровый блеск холмов и отдаленных роц, смотревших на запад; с востока между тем спускались синие холодные тени; они бежали как будто от солнца, быстро наполняли лощины и раскидывались все шире и шире по лугам, оставляя кое-где за собою верхушку ветлы или кровлю, которые при блеске заката горели точно охваченные пламенем. Ветер не трогал ни одним поблекшим стебельком, ни одной соломинкой на кровле, но и без ветра сильно пощипывало уши и щеки. Прозрачность воздуха и ослепительная ясность заката предвещали на ночь мороз порядочный; даже теперь в низменных местах, где тень сгущалась, опавший лист и трава покрывались седою изморозью. Дорога звенела под ногами. За две, за три версты можно было, кажется, различить малейший звук: лай собак в отдаленных селах, голоса на соседней мельнице, шум доски, внезапно сброшенной на мерзлую землю. Но сколько ни прислушивался Савелий, нигде не раздавалось дребезжанья телеги: Гришутка не являлся. Напрасно также глаза старика обращались к долине, по которой вилась дорога, — и Петр не показывался. Стояв минуты с две у ворот, Савелий возвращался на двор, заглядывал в амбар, обменивался несколькими словами с помольцем, который домалывал последний воз, и снова уходил в избу.

Изба его была невелика, но было в ней и тепло и уютно. По случаю стряпни к крестинам было в ней даже жарко; но это ничего: когда на дворе морозит, чувствуется особенная приятность войти в сильно нагретое жилище. Изба ничем не отличалась от прочих изб: направо от двери возвышалась печь; дощаная перегородка, отделявшаяся от печки небольшой дверцей, упиралась другим концом в заднюю стену. Два окна освещали эту первую половину; окна смотрели на запад, и заходящее солнце било так сильно в перегородку, печь и на пол, что свет отражался под столом и лавками, оставляя кое-где только непроницаемые пятна тени. В заднем углу, который называется красным, хотя бывает обыкновенно самым темным, виднелись иконы, медный литой крест, кончики желтых восковых свеч и неуклюжий стаканчик из толстого фиолетового стекла; все это располагалось на двух полках, украшенных внутри кусочками обоев, снаружи — грубою, но замысловатую резьбою; стиль

резьбы был тот же, что на подзорах, украшавших некогда церковь Ягодни; она относилась, надо полагать, к тому времени и принадлежала тому же долоту и топору. Солнечные лучи, пронизывая маленькие оконные стекла с радужным отливом, золотили пыль, проходившую двумя параллельными полосами через всю избу, и упирались в чугунок с водою, стоявший у печки; над чугунком, в темном, закоптевшем потолке, дрожало светлое пятно, которое дети называют «мышшкой». Неподдалеку играла кошка и четверо полосатых котят.

Во второй половине, за перегородкой, против печки, помещалась койка, устланная соломой и покрытая войлоком, на котором лежала жена Петра. Под рукою ее висела люлька, приделанная к концу шеста, укрепленного в потолке; младенец лежал, однако ж, не в люльке, а подле матери. Тут находился также шкаф с посудой, два сундучка и широкая лавка, которую Палагея, хлопотавшая у печки, устала караваями, горшками и пирогами. За этой перегородкой было и тесно и душно. Тут также было окно; но солнечный луч, встречая множество углов и выступов, цепляясь то за люльку, то за край лавки, то проходя по ряду пирогов, густо зарумяненных яичным желтком, производил здесь страшную пестроту; глаз отдыхал только на верхней части постели, которая тонула в мягком желтоватом полусвете, где покоились голова родильницы и спавший подле нее младенец.

— А-ай да морозец! Знатно завертывает! — сказал Савелий, входя в избу и потирая ладонями, напоминавшими корку старых древесных пней. — Коли так денька два постоит, пожалуй что, и река станет... Эх нажарили! — промолвил он, повертывая за перегородку. — Словно в бане, право, в бане!.. Только что вот дух другой: пирогами пахнет!.. Ну, сношенька наша любезная (до рожденья внука он всегда называл ее просто Марьей и вообще не выказывал ей большой нежности), не знаю, что мне делать с нашими молодцами: о сю пору не видать! А давно бы пора, кажется...

— Приедут, батюшка, — слабым голосом отозвалась Марья.

— Вот есть об чем умом раскидывать! — бойко вмешалась Палагея, гремя в то же время ухватом. — Один не нашел, должно быть, хозяев. Пришел: «До-

ма?» — спрашивает. «Ушел», — говорят; он его дожидаться сел либо искать пошел... Другой в кабаке сидит; может, народу много — он и дожидает, пока других не отпустит целовальник; знамо: парень малый, больших не перекричит; тот и после пришел, да первый взял...

— Ну нет, не таковский! Шустер — у-у-у — шу-стер! — перебил старик, грозя пальцем на какой-то вообразимый предмет. — Небось в обиду себя не даст, даром невеличек!.. Не об этом я совсем думаю; думаю: парнишка-то востер очень, не напроказил бы там... Ну, да вот приедет, спросим, спросим... — добавил он, как бы заминая речь и подходя к постели родильницы. — Ну, сношенька любезная, как можется, а?

— Ничего, батюшка, бог милостив...

— Все ты меня... к примеру, меня не слушаешь!..

Вот что...

— В чем же, батюшка?

— А хошь бы в том... очень уж много труда принимаешь... ей-богу! На первых-то порах так не годится... Ведь вот нарочно качку сделал для малого. Нет, все подле себя его содержишь, все с ним возишься; ну, помилуй бог, еще заснешь как-нибудь... Долго ли до беды!

— И-и, касатик, — перебила Палагея, — Христос с тобою! Господь милостив, до греха такого не допустит!

— Нет, бывает! бывает! — подхватил Савелий тоном убеждения. — Ведь вот случилось же: выселовская Марфа заспала ребенка-то!.. Коли не это, все равно другой случай может выйти: заснет она, подберутся как-нибудь котятка, лицо младенцу — Христос с ним! — исцарапают... Ну, что хорошего! Вас, баб, не вразумишь никак! Ведь вот нарочно качку сделал, нарочно повесил подле кровати: заплакал младенец — протяни только руку, либо, коли не осилишь, Палагея подаст... Опять же теперь другое рассуждение: разве ему не покойнее лежать в люльке, чем на кровати?.. Он, вестимо, не скажет, а уж это всякий видит, что в люльке покойнее! Нарочно для покою и сделана...

Старик нагнулся к младенцу.

— Агу, батюшка, агу! — произнес он, потряхивая сединами и комически как-то сморщиваясь. — Слышь, сношенька... дай-ка, право... дай положу его в люлечку... Ну, что он тут? Кормила ты его?

— Кормила, батюшка...

— Ну и ладно!.. Подь, касатик, подь! — говорил старик, подымая ребенка, между тем как обе женщины молча на него смотрели.

Ребенок был красен, как только что испеченный рак, и представлял пока кусок мяса, окутанный в белые пеленки: ничего не было хорошего; при всем том морщины Савелия сладко как-то раздвинулись, лицо ухмылялось и в глазах заиграло такое чувство радости, какого не испытывал он даже тогда, когда удачно запрудил первый раз мельницу, когда пущена она была в ход, когда дешево купил он жернова свои... Поди ж ты, суди после этого, как устроена душа человеческая и на чем основываются иногда его радости!

Подержав ребенка на руках своих с таким видом, как бы мысленно прикидывая, сколько в нем весу, старик бережно уложил его в люльку.

— Ну, как же не покойнее? — самодовольно воскликнул он, отступая на шаг. — Как же не покойнее?.. Вишь: словно в лодочке... эвна! — прибавил он, приводя слегка в движение люльку. — Эвна! Эвна как!..

— Ах ты затейщик! Затейщик! — говорила между тем старая Палагея, подпираясь локтем в конец ухвата и покачивая головою. — Право, затейщик!..

Во время последних этих объяснений послышался шум приближающейся тележки; но Савелий громко разговаривал, Палагея гремела ухватом, внимание снохи поглощалось ребенком и болтовнею тестя, так что никто не заметил шума извне, пока наконец телега не подъехала почти к самым воротам.

— А, вот и Гришутка! — сказал старик.

В эту минуту со двора раздались такие отчаянные крики и вопли, что ноги присутствующих на секунду приросли к земле. Савелий опрометью кинулся из избы. Петр держал лошадь под уздцы и печально вводил ее на двор; в телеге рядом с Гришуткой сидел человек с худощавым, но багровым и рябым лицом, в высокой бараньей шапке и синем тулупе, плотно перехваченном ремнем.

Савелий узнал в нем кордонного, отставного солдата, охранявшего границу соседней губернии против контрабандного провоза вина. Сердце старика так и екнуло. Кордонный держал за ворот Гришку, который ревел во весь голос и приговаривал, горько всхлипывая:

— Ей-богу, не знал!.. Отпусти!.. Золотой, отпусти!.. Батюшка, не знал!.. Золотой, не знал!..

Лицо Гришутки распухло от слез; они текли ручьями из полузажмуренных глаз и капали в рот, разевавшийся непомерно, должно быть от избытка давивших его вздохов и рыданий. Шествие закрывал помолец, остававшийся домалывать последний воз; то был маленький черномазый мужичок, очень приткого, суетливого вида; он, впрочем, как только увидел Савелия, выскочил вперед, замахал руками и, страшно вытаращив глаза, крикнул надрывающимся от усердия голосом:

— С вином попался!.. Схватили!.. Взяли!.. С вином взяли!..

— С вином попался! — печально повторил Петр.

— Как?.. Ах ты господи! — произнес Савелий, останавливаясь в недоумении.

Шум в сенях и голос Палагеи заставили его обернуться. Марья рвалась вперед на крылечко, так что Палагея едва могла удержать ее; лицо молодой женщины было бледно, и вся она тряслась от головы до ног; увидя маленького своего брата в руках незнакомца, она вскрикнула и покачнулась.

— Куда! Не пускай ее... Петр, держи!.. Ах ты творец милосердый! Уведите ее скорее!.. — воскликнул Савелий.

Петр бросился к жене и с помощью Палагеи увел ее в избу. В это время кордонный соскочил с тележки.

— Ты здесь хозяин? Ты за вином посылал? — спросил он, обращаясь к старику, который не мог прийти в себя.

— Я, батюшка...

— С вином поймали!.. Эко дело! Ах! Схватили! Взяли! — спешил пояснить черномазый мужичок, снова пуская в ход глаза и руки.

— Точно, батюшка, поймали! — сказал Петр, появляясь на крыльце и быстро спускаясь на двор.

Савелий ударил себя ладонями по полам полушубка и с сокрушенным видом замотал головою.

— Дядюшка... не знал я... Не знал, дядюшка!.. — рыдая, заговорил Гришутка. — Микулинские мельники научили... Сказали: тот кабак ближе...

— Кто ж за вином-то посылал? Ты, что ли? — повторил опять кордонный, дерзко поглядывая на Савелия.

— Мы посылали! — отвечал Петр, потому что отец мотал только головою и бил себя ладонями по полушубку.

— А вы кто такой? — спросил кордонный Петра.

— Я сын его... Я, батюшка, — подхватил Петр, — встрелся я с ними, как они уж к нашим воротам подъехали...

— Сейчас только встрелся! — вмешался опять маленький помалец. — Подъехали — он тут! Смотрю: и я подошел! Эко дело!..

— Об этом после расскажешь, — перебил кордонный. — За вином посылаю вот он — стало, он и ответит... Эки разбойники! — присовокупил он, разгораясь. — Свой кабак под рукою... нет, в другой посылать надо!..

— Не знал я ничего!.. На мельнице научили... — промолвил Гришутка, истекая слезами.

— Молчи! — сказал Петр.

Мальчик приложил ладонь ко рту, прислонился лбом к тележке и заревел громче прежнего.

— Да что же это, батюшка... Как же так? — сказал Савелий, нетерпеливо махая рукою в ответ помольцу, который мигал, дергал его за рукав и делал таинственные какие-то знаки.

— С вином попался — и все тут! — возразил кордонный. — Попался в селе у нас, как только из кабака выехал; вино у нашего старосты осталось, там и печать к бочонку приложили.

— Печать приложили! Припечатали!.. — отчаянно возопил Гришутка.

— Плохо дело! — крикнул помалец, приходя весь в движение. — Затаскают, дедушка, затаскают!.. Лопни глаза — затаскают!..

— А то как же, так, что ли, сойдет? — перебил кордонный. — Известно, проучат! Будешь знать, как в чужую губернию за вином ездить! Сказано: не смей, не приказано! Нет, повадились, окаянные! Нонче поверенного ждем; ему передадут, примерно, все расскажут... Завтра же в суд представят...

До настоящей минуты Савелий бил только руками по полушубку и мотал головою с видом человека, поставленного в самое затруднительное положение; при слове «суд» он поднял голову, и в смущенных чертах его заиграла вдруг краска; даже шея его покраснела. Слово «суд» подействовало также, казалось, и на Гри-

шутку; между тем как шли последние объяснения, он стоял с разинутым ртом, в который продолжали капать слезы; теперь он снова припал опять лбом к тележке и снова наполнил двор отчаянными рыданиями. Петр переминался на месте и не сводил глаз с отца.

— Вот беду-то накликали! Вот греха-то не чаяли! — произнес наконец старик, оглядывая присутствующих.

Он еще хотел что-то прибавить, но вдруг переменял намерение и быстрыми шагами пошел к маленькой калитке, выходявшей к ручью.

— Послушай, добрый человек!.. Эй, слышь! — сказал он, останавливаясь в калитке и кивая кордонному. — Подь, брат, сюда... На два словечка!..

Багровое лицо кордонного приняло озабоченный вид; он направился к калитке, показывая, что делал это неохотно — так, только из снисхождения.

— Послушай, добрый человек, — заговорил Савелий, отводя его к пруду, — слышь, — промолвил он, пожимая губами, — слышь! Нельзя ли как... а?

— Это насчет чего? — спросил тот более смягченным тоном и как бы стараясь взять в толк слова собеседника.

— Сделай такую милость, — упрашивал старик. — Сколько живу на свете, греха такого не было. Главная причина, мальчик попался! Через него все вышло... Ослобони как-нибудь... а? Слышь, добрый человек!..

— Теперь нельзя, никаким, то есть, манером... Печать приложили! К тому, дело было при свидетелях... никак нельзя...

— Сделай милость, — продолжал старик, не удовольствуясь на этот раз умолять голосом, но пуская еще в ход пантомиму и убедительно разводя руками, которые дрожали.

Серые плутоватые глаза кордонного устремились к амбару, за которым слышались голоса Петра и помольца; после этого он отступил еще несколько шагов от калитки.

— Слышь, добрый человек! — подхватил ободренный Савелий. — Возьми с меня за хлопоты... Только нельзя ли как дело-то это... к примеру... Нельзя ли как ослобонить... право!..

Кордонный поправил баранью свою шапку, почесал переносицу указательным пальцем и на секунду задумался.

— Двадцать целковых дашь? — спросил он, понижая голос.

Савелия так огорошило, что он открыл только рот и откинулся назад.

— Меньше нельзя! — спокойно-убедительным тоном подхватил кордонный. — Рассуди: надо теперича дать старосте в селе, дать надо мужикам, которые были в свидетелях, надо также целовальнику дать; не дашь — обо всем поверенному расскажут, — уж это беспрременно, сам знаешь: народ нынче какой!.. Ну, и сосчитай: много ли сойдет мне из двадцати целковых?.. Узнает поверенный — я через это пропасть должен! Наше дело такое: мы, братец, затем к должности приставлены; как, скажут: ты с вином поймал, утаил от конторы и с мужика взял!.. Я через это подлецом должен остаться перед начальством! Из того хлопочешь, чтоб было из чего...

— Двадцать целковых за ведро вина! — вымолвил старик, снова вспыхнув до самой шеи.

— Послушай, дядя, — миролюбиво сказал кордонный, — ты не кричи — нехорошо! Мы не к тому пришли сюда; говорил: помириться хочешь... так ты и делай; а то, что кричать-то, не годится. По душе говорю, право, больше отдашь, коли в суд представят: за вино одно возьмут с тебя втрое; так по закону отдашь за вино двенадцать целковых! да в суде еще сколько рассоришь...

Старик слушал и смотрел в землю; теперь более, чем когда-нибудь, был он, казалось, подавлен происшедшим с ним случаем.

— Эко дело! Эка напасть! — повторял он, чмокая губами, качая головой и безнадежно разводя руками.

— Батюшка, — неожиданно произнес Петр, появляясь в калитке, — поди-ка сюда!

Савелий поспешно заковылял к сыну. Тот дал ему знак повернуть за угол амбара. Там стоял маленький помолец, который, как только показался старик, снова весь преисполнился быстротою.

— Слышь, дядя, — торопливо заговорил он, хватая старика за рукав и выразительно мигая на калитку, — слышь: ничего ему не давай; плюнь! плюнь, я говорю! Окроме него, все ведь видели! Видели, как малый-то попался! При народе было дело! Дашь ему — ничего не будет, слухи дойдут все единственно! Плюнь! Сколько ни давай — всё в суд потребуют: де-

ло такое, при народе было, дойдут слухи все единственно! Обмануть хочет!.. Плюнь, говорю!..

Мужичонок торопливо отскочил, услышав шаги за калиткой. Кордонный как будто догадался, о чем шла речь за амбаром. Он окончательно убедился в этом, когда позвал старика и тот, вместо того чтобы пойти к нему, задумчиво продолжал смотреть в землю.

— Дело такое настоящее, — сказал кордонный, бросая злобный взгляд на помольца, который зевал на стропилы навесов, как ни в чем не бывало, — мы через это пропасть можем... Всяк себя оберегает: дело такое! Представят завтра поверенному, ты его и проси... Этакой народ! Сказано: в чужой кабак не ходи — нет! Теперь и разведывайся!.. А я что?.. Я не могу. Поверенного проси!

Последние слова сказаны были уже за воротами. Кордонный поправил шапку и, ворча что-то под нос, быстро пошел по дороге.

— Должно быть, слышал, о чем мы здесь разговаривали... — вдруг возвратилась вся его прыткость, — вестимо, слышал либо догадался, все единственно! Видит: взять нечего, разговаривать не стал! Сколько просил, дядя? Сколько?

— Двадцать целковых!..

— Ах он, шитая рожа! Эк разбойник! Ах ты! — воскликнул мужичонок, порываясь как-то разом во все стороны. — Двадцать целковых! Поди ты!.. Эк махнул! Ах bestия! Эти целовальники, нет их хуже! Самые что ни есть мошенники... душа вон! Ей-богу! Ах ты, шитая рожа, поди ж ты!.. Ах он!..

Савелий не обращал никакого внимания на слова помольца: он не отрывал глаз от земли и, по-видимому, размышлял сам с собою. Никогда еще не чувствовал он себя столько расстроенным. Это потому, быть может, что во всю свою жизнь никогда еще не был так спокоен и счастлив, как в последние эти три года, когда выстроил мельницу и жил сам по себе, с сыном и снохою.

— Эко дело! — проговорил он наконец голосом, который показывал, что склад его размышлений был самый безотрадный. — Вот не чаяли горя-то! Вот уж не чаяли!..

Помолец снова приступил было и уже схватил его за рукав, но Савелий махнул только рукою, отвернулся и медленным, отягченным шагом побрел в избу.

ОБЪЯСНЕНИЯ. НАДЕЖДЫ. ПОСЛЕДСТВИЯ

Минут пять спустя старик снова показался на крылечке.

— Григорий! — крикнул он, озираясь вокруг с недовольным видом. — Григорий! — повторил он, возвышая голос.

Гришка не откликнулся.

— Должно быть, где-нибудь за амбаром, — отозвался Петр, принявшийся распрягать лошадь.

— Уберешь лошадь, позови его ко мне, — сказал Савелий, уходя опять в избу.

Распрягнув лошадь, Петр несколько раз окликнул мальчика; ответа не было. Петр повел лошадь и мимоходом заглянул в амбарную дверь.

— Что, ай малого-то нету? Неужели убег? — заботливо осведомился маленький помолец, ослабляя зубы, которые были так же почти белы теперь, как лицо его, выпачканное мукою. — Никак старик кликал? Как не осерчать! Осерчаешь! Вишь, набедовал как... насдобил! Стало быть, запужался... завалился куда-нибудь... Испугаешься!.. Подождешь хвост!.. Пойдем, я поищу; отчего ж? поискать можно!.. Пойдем.

Петр вел между тем лошадь в клетушку, прилаженную к задней части навесов; услужливый мужичонок следовал за ним, стараясь попасть в ногу и поминутно хватая его за рукав, как бы желая обратить внимание Петра на каждый угол, щель, где, по мнению мужичка, должен был непременно сидеть мальчик. Оба они вошли в клеть.

— Здесь! Вот он! Взял! Взял! Держу! — закричал во все горло помолец, хватая Гришутку, который стоял смиренно, забившись лицом в угол.

— Вижу, вижу! Ну что кричишь-то? — сказал Петр.

Ободренный словами и голосом Петра, Гришутка, остолбеневший в первую минуту от страха, зажмурил вдруг глаза, раскрыл рот и залился жалобным воплем.

— Ну, о чем плачешь-то? О чем? — промолвил Петр. — Пойдем, отец зовет; эх ты, страмник, страмник!.. Право, страмник этакой!

— Высекут, это как есть! И-и, высекут! — подхватил, двигая руками и глазами, помолец. — Как не высечь? Надо, не балуй!..

— Ничего этого не будет, — отозвался Петр, — старик, Гришутка, ничего не сделает, только спросит... Не бойся! Разве не знаешь?.. Не плачь, а то хуже... — добавил он, взяв за руку несколько утешенного мальчика.

Черненький мужичонок сопровождал их до самого крылечка; он, вероятно, пошел бы дальше, но вспомнил, что рожь приходила к концу в ящике, и опрометью побежал в амбар. Савелий находился за перегородкой, где лежала сноха его.

— Подойди сюда, — сказал он мальчику, который смотрел бычком в землю и пыжился из всей мочи, чтобы удержаться от слез. — Ну, видишь, смотри! — примолвил старик, обращаясь к снохе. — Видишь, ничего с ним не сделали! Не сковали, не повезли в острог... Цел, видишь! Было из чего полошиться, бежать на стужу... Словно полоумная какая, право!.. Хошь бы о себе-то подумала, об ребенке подумала... А то: зря выбежала на стужу, вся раскрымшись; ну, есть ли разуму-то? И стоит ли он того, чтобы сокрушаться-то о нем?.. Озорник этакой!.. Поди сюда, — промолвил старик, снова поворачиваясь к мальчику и выходя в первую половину избы, — зачем поехал ты в чужой кабак, а? Разве я не говорил тебе, куда ехать? Сказывай... а?.. Не говорил разве?.. Ну, какой твой будет ответ, а?.. — заключил он, садясь на лавку.

Из объяснений мальчика открылось (голос его звучал такую искренностью, что нельзя было ему не поверить, и, наконец, все слова его потом оправдались), открылось, что виновниками всего случившегося были старшие сыновья хозяина микулинской мельницы, той самой, что виднелась в отдалении. Встретив Гришку на плотине, они спросили, куда он ехал; он сказал; они уверили его, что кабак, куда посылал его дядя Савелий, был теперь заперт; целовальник уехал с женою на свадьбу сестры и возвратится только завтра; они говорили, что все равно, вино можно взять в другом кабаке, что тот кабак еще ближе первого, что там вино не в пример даже лучше и что дядя Савелий скажет еще спасибо. Гришутка поверил и отправился. Он клялся и призывал всех святых в свидетели, что не съмал шапки во всю дорогу; выйдя из кабака, он благополучно поехал в обратный путь, но при выезде из села налетел на него кордонный; его схватили, повели к старосте и отняли у него вино.

Дойдя до места, когда к бочонку приложили печать, рассказчик остановился и снова залился горькими слезами, как будто в этом именно печатании бочонка и заключалось, собственно, все несчастье. Но Савелий не слушал уже его. Он смотрел даже в другую сторону. Он притупленно молчал и только время от времени досадливо потряхивал сединами, произнося упреки, относившиеся, впрочем, более к микулинскому мельнику и сыновьям его. «Пора бы им, кажется, войти в совесть! Пора бы оставить его в покое! Чего им еще от него надо? Разве он на реке поставил свою мельницу? Разве перебил у них воду? У них мельница-крупчатка о семи поставах, работают они год круглый, тысячи добывают! Неужто мало им этого?.. Неужто зависть берет и не довольно вредили они ему?.. Богачи, крупчатку имеют, тысячи наживают, а завидуют какой-нибудь колотовке о двух колесишках! Чай пьют, калачи едят крупчатые, а завидуют крохам бедного человека! Богачи, купцы, а на какие срамные дела пускаются! Мальчика подучают ехать в чужой кабак, чтобы подвести под беду родителей!..»

Под влиянием таких соображений, приправленных еще мыслью, что дело с бочонком не обойдется даром, дядя Савелий сделался ворчлив и несообщителен. В эти последние три года, как устроилась мельница, никто из домашних не видал его таким пасмурным, недовольным. За ужином, где старик бывал обыкновенно таким болтливым, он едва сказал несколько слов. Он послал Петра рассчитаться с помольцем и прежде всех завалился на печку.

Петр, его жена и старая Палагея, рассуждая о завтрашнем дне, думали, однако ж, что авось-либо завтра сердце старика как-нибудь разойдется. Предположения их оправдались. Заря следующего утра показала им, что лицо Савелия совсем уже не было таким, как накануне; лоб его, правда, морщился, но морщины выражали скорее суетливость, чем мрачное настроение духа. Он тотчас же послал Петра за вином; против всякого ожидания, не выказал он даже большой досады, отсчитывая ему следуемые четыре целковых; раза два пожал только губами и крякнул.

Прибытие кума и кумы, поездка в церковь, обряд крещения, возвращение домой — все это заметно развлекло старика. Съехались гости, пошли поздравления и угощения. Не обошлось без того, разумеется, чтобы

не упомянуть о происшедшей вечер неприятности, но речь об этом предмете благодаря стаканчикам винца, которые успели уже пропустить собеседники, приняла такой путаный характер, так часто прерывалась всякого рода восклицаниями и взрывами хохота, что не имела никаких последствий на расположение престарелого хозяина. Вообще крестинный обед прошел весело. Савелий, сидевший между кумом Дроном и сватом Стегнеем, смеялся даже громче их, когда к концу угощения старая Палагея выскочила вдруг из-за перегородки и, прищелкивая пальцами, начала отхватывать какие-то диковинные колбаски.

Хорошее расположение старика не прерывалось даже и на другой день. Он спал еще, когда на двор въехало семь подвод с рожью. Одно разве могло несколько озабочивать старика: внучек, который был так покоен, начал вдруг, ни с того ни с сего, кричать; вместе с этим узнал он также, что Марья сильно жаловалась на головную боль. Легко могло стать, что простудилась она, выбежав на крыльцо, когда привезли Гришку; но отчего бы ребенку плакать, отчего бы ему не брать груди?.. Напрасно уверяла Палагея, что все дети кричат на второй день, что крик внучка, может, происходит оттого также, что просто не в охоту грудь матери, и лучше будет, коли дадут ему рожок, но слова ее пропадали, казалось, даром. Старик качал головою и пожимал губами.

Надо было, однако ж, обратиться к делу; не всякий день является по семи помольцев на мельнице! Двое суток сряду отбою не было от помольцев; жернова работали без отдыха, и мучная пыль не переставала клубиться над амбаром. В день крестин и последовавший за тем день Савелий не проходил мимо Гришки, чтобы не погрозить ему пальцем или не остановиться, подперевшись в бока, и не сказать ему: «Эх, ты у меня... Эх!.. Смотри!..»

Но теперь все это миновало, он звал его Гришуткой, Гринькой и Гришахой; словом, все пошло опять по-старому, пока неожиданно на четвертый день после крестин, утром, явился сотский. Он был от станowego пристава. Это обстоятельство навзничь опрокинуло мирное течение мыслей в голове Савелия. Было отчего, впрочем. Оказывалось, что на Савелия поступила в стан «бумага» за противозаконный провоз вина из чужой губернии. Становой велел ему тотчас же явить-

ся на станovouю квартиру. Сотский издавна знаком был Савелию: пошли спросы-расспросы. Сотский сказал, что дело, собственно, не большой важности, придется только поплатиться, но сколько придется отдать — этого не знал он положительно.

— Так точно, — хрипел сотский, представлявший из себя совершенное подобие гриба, закутанного в чашную шинелишку такого же цвета и такую же морщинистую, как лицо его, — денег с тебя возьмут, так по положению, это так точно; главная причина, проси Никифора Иваныча (так звали станового), его проси, чтоб до суда не доводил; поблагодарить придется, не без этого, так точно; главное, без денег не суйся; возьми денег; требуется; лучше дай, сразу реши дело, отрежь; таскать начнут — дороже обойдется, не в пример дороже, это так точно...

Во время этого объяснения Петр стоял шагах в трех и тревожно смотрел на отца, который бил себя по полушубку и вообще выказывал величайшее беспокойство. Гришка, пропавший при первом появлении сотского, сидел между тем в самом темном углу клетушки; он был ни жив ни мертв. Но никто об нем не думал; не до него было совсем. Мигом заложена была тележка. Пока Петр по приказанию отца отсыпал сотскому мучицы, Савелий оделся. Он не послушал, однако ж, сотского, не взял денег. Ему хотелось прежде уяснить хорошенько все обстоятельства, убедиться, точно ли дело такой важности, как показалось со страху, точно ли суд вступится в такую безделицу. «Что ж такое, что мальчик кабаком обознался? — рассуждал он. — Разве кто-нибудь от этого отпирается? Коли в самом деле по закону так требуется, он, пожалуй, готов отдать что следует — его грех! Но больше давать за что же? Лучше съездить лишний раз домой, достать сколько денег требуется, чем брать их с собою... Может, так как-нибудь и безо всего еще обойдется; возьмешь деньги, того и смотри пронюхают как-нибудь; тогда уж не отвертись, возьмут, потому статья такая будет подходящая...»

Так рассуждал сам с собою старик, всячески стараясь ободрять себя; между тем руки его дрожали и под сердце подступали тоска и беспокойство. Он довез сотского до Ягодни и прямо пустился на станovouю квартиру. Становой уехал в город и раньше двух дней не мог возвратиться. Савелий узнал, сверх того, что

и письмоводителя также не было. Оставался только писарь, но последний не мог дать никакого объяснения касательно дела; он советовал старику ехать в город и скорее явиться к становому. Покормив лошадь, Савелий в тот же вечер поехал в город. От стана до города считалось верст тридцать; ему хотелось поспеть туда чем свет на другое утро.

Мысли, бродившие в голове старика, были такого свойства, что, конечно, не могли развлекать его приятным образом. Во всю дорогу лицо его сохраняло озабоченное, задумчивое выражение; ни разу не оживилось оно той добродушной улыбкой, которая снова, казалось, установилась на губах его. Впрочем, и самое время изменилось теперь против того, как было в последние дни. Рыхлые, тяжелые тучи покрывали небо; накануне в эту самую пору поля ярко еще освещались закатом — теперь наступали сумерки; даль начинала уже пропадать, заслоняясь густым сизым мраком. Пасмурное небо смотрело неприветливо, тускло; серо и голо было в окрестности. В воздухе также произошла большая перемена; вместо сухой морозной свежести, румянившей щеки и приятно щекотавшей ноздри, дул теперь мягкий, но сильный, порывистый ветер. В мутной глубине сгущавшихся сумерек слышно было, как шумели рощи. Сухие листья, кружась и шуршукая, проносились мимо; отставший листок падал иногда на дорогу и, как бы не решаясь пуститься одиноко в сумрачную даль глухого поля, долго-долго катился по дороге, пока наконец не встречал новых товарищей, которые подхватывали его и снова увлекали дальше... Местами на пути попадались ручьи и реки; дня три назад мороз покрыл их ледяною корой, и смело можно было на ней держаться; вода теперь отовсюду просачивалась, и лед осаживался. Нельзя было ждать, однако ж, ненастья. Время дождей и грязи давно миновало. Рыхлые тучи и мягкость воздуха предвещали другое; с минуты на минуту надо было ждать снега; снег, как говорится, висел над головою.

Савелий ехал всю ночь. Был уже час шестой, когда сквозь рedeющий мрак показались наконец городские церкви, едва тронутые бледной утренней зарею.

Город, куда не замедлил въехать Савелий, считался — и совершенно справедливо — одним из самых значительных наших уездных городов. Когда-то думали даже сделать его губернским. Он раскидывался по берегу большой судоходной реки; здесь ежегодно грузилось несколько тысяч судов, уносивших в Москву и Нижний рожь, овес и пшеницу. Большая часть обывателей занималась оптовой хлебной торговлей. Нельзя было сделать десяти шагов на любой улице, чтобы не пройти мимо лабаза, украшенного снаружи скамьею с намалеванной посредине шашечной доскою, на которой восседали хозяева с седыми, черными и рыжими бородами. Многие из этих бород имели миллионы. Город богател и процветал год от году.

Все это не мешало, однако ж, что в городе никак не могла утвердиться контора дилижансов. Контора устроилась прекрасно, экипажи были отличны; цена за места назначена была самая умеренная, от города до Москвы брали всего четыре целковых. Но почетное купечество находило более выгодным ездить с вольными ямщиками, которые держали кибитки, устроенные таким образом, что в случае надобности (а надобность всегда встречалась) можно было помещаться человеку трем на козлах и человеку пяти в рогожном мешке, прикрепленном в задней части кузова. Последние места обходились в один рубль. Бедные пустые дилижансы с сокрушенным сердцем взирали на то, как почтенное купечество погружалось в мешки, проскакивало до Москвы вверх ногами и, погрызвая сайку, лукаво на них посматривало. Контора не могла долго бороться против такой опасной конкуренции: рогожные мешки одержали победу, и дилижансы скоро закрылись.

Часов около девяти Савелий отправился отыскивать станowego; он был у него на квартире, но там сказали, что Никифор Иванович ушел в уездный суд. Уездный и земский суды помещались в большом двухэтажном доме, смотревшем на собор и отличавшемся белизною наружных стен. Уездный суд был во втором этаже. Поднявшись по лестнице, Савелий вступил в темную прихожую, казавшуюся еще чернее от мно-

жества шинелей, висевших на стенах. Тут стояло довольно много мужиков, попадались даже бабы. Едва вошел Савелий, одна из баб тотчас же обратилась к нему и, утирая слезы, сказала:

— Батюшка... кормилец, взмилуйся!.. Муж у меня ратник, год слуху об нем не имею; не знаю, жив ли, умер ли... Была у ротного, сюда прислал, кормилец...

— Чего ж тебе надо? — нетерпеливо спросил Савелий.

— Батюшка, не сказывают ничего об муже-то... Пришла сюда бумага об нем — да не сказывают... Просила, просила — пятьалтынный спрашивают, без этого не сказывают... А нет у меня ничего, кормилец; пришла я, отец, за сорок верст... Взмилуйся, не поможешь ли?..

— Как же, много у меня! Дело-то, может, твоего хуже... — проговорил Савелий, хмуря лоб и не обращая внимания на соседней, которые скалили зубы.

Он дал ей, однако ж, грош и, чтобы избавиться от дальнейших преследований, протискался вперед к двери. Посреди второй комнаты, окруженной столами, за которыми человек десять трещали пером, стоял, раздвинув ноги, толстый господин с шитым воротником и толстыми руками, заложенными за фалды; раздув брюзгливо губы, насупив брови, он неохотно слушал какого-то белокурого человека, который шептал ему на ухо, страшно егозил и весь расплывался, таял и умилялся. Господин с шитым воротником видимо скучал; глаза его воспаленными белками блуждали по сторонам; они остановились на двери в ту самую минуту, как белая голова Савелия высунулась из толпы.

— Чего тебе? — густым басом спросил его господин с шитым воротником, очевидно с тою только целью, чтобы развлечь себя.

Савелий сказал, что он, собственно, затем здесь, чтобы видеть станового Никифора Иваныча, который, так сказали ему, здесь находился.

— Никифор Иваныч! — забасил стоячий воротник, тяжело поворачиваясь на каблуке и не обращая никакого внимания на белокурого человека, который продолжал припадать к его уху и по-прежнему егозил, таял, млел и умиленно что-то нашептывал.

В соседней комнате послышался голос и чьи-то быстрые шаги; секунду спустя в дверях показался Никифор Иваныч — человек молодой, круглый, румяный

и очень снисходительного вида. Савелий выступил два шага и поклонился.

— Что скажешь? — ласково спросил становой, закинул руки за фалды и начал перекачиваться с носков на каблуки и обратно.

Савелий сказал, что за ним посылали, и передал ему свое дело.

— Знаю, знаю, — перебил становой, — так это, брат, ты попался? Хорош гусь! Дело твое теперь уже не у меня, оно поступило сюда к исправнику; я, собственно, затем тебя и вызвал в стан, чтобы ты немедленно сюда явился.

Ободренный ласковым видом станового, Савелий начал просить, нельзя ли ему как-нибудь вступить, ослобонить его.

— Что ты, братец, не понимаешь разве, что ли? Русским языком говорю: дело о тебе поступило уже к исправнику, я тут ничего не могу; проси исправника или вот, чего же лучше: сходи к откупщику, его попроси; он же, на твое счастье, вчера в город приехал; его проси, а я ничего не могу.

Савелий слушал все это, понуря голову и переминая в руках шапку. Живая сметливость и восприимчивость духа, которых не могли победить годы, теперь как будто его оставили. Ум его, так быстро соображавший размеры колес относительно количества воды, так хитро придумывавший шестерни и всякие улучшения в плотинах, так ловко применявший самое незаметное обстоятельство к успеху мельничного и плотничного дела, не давал ему теперь никакого объяснения и совета.

«Гришутка попался с вином, это точно; вино по закону запрещено брать в чужом уезде или губернии, это так; становой вызвал его по этому случаю; оказывается, что дело уже перешло к исправнику; почему ж к исправнику? Неужто в самом деле так важно это дело и будут его судить? Его? За что же? Такая дрянь нестоящая — ведро вина! — и сколько возни, хлопот, быть может, даже издержек?.. Что же там за откупщик такой? Неужто властен он над исправником? Надо к откупщику идти... надо... А ну, как держит он руку исправника?..»

Все это сбивало старика с толку и наполняло туманом его голову. В этих комнатах, перед этими пишущими людьми, перед этими господами в светлых пу-

говицах он чувствовал себя как будто на другой планете, в другом мире, чувствовал себя совершенно отчужденным, уничтоженным, подавленным, без силы, без воли и разума. Нет, здесь не то что на улице Ягодни, где каждый был ровня, каждый готов был его послушать, каждому почти был он нужен при случае; здесь не то что на мельницах, где все представлялось ему таким понятным и ясным; здесь никто не нуждается в колесах, плотинах, советах насчет жерновов, толчеи и снастей; здесь на все это плевать хотят, и требуется здесь совсем другое... Робость невольно прокрадывалась в душу старика; ласковое обращение станowego ободрило его только на минуту. Как только исчез Никифор Иваныч, два-три мужика приступили к Савелию с расспросами, но он не отвечал; он торопливо вышел на лестницу, надел шапку, потом снял ее, два раза перекрестился и, спустившись на улицу, спросил, куда идти к откупщику.

Дом откупщика знаком был каждому в городе; Савелию стоило только обратиться с вопросом своим к первому человеку, чтобы узнать дорогу. К тому же дом находился недалеко от присутственных мест; это было большое каменное здание, выходявшее одним боком на пространный двор, обнесенный вокруг деревянными навесами и другими строениями. Савелий застал на дворе человек тридцать народа; все они, очевидно, принадлежали к дому; кто перекатывал бочки, кто набивал обручи, кто таскал мешки с солодом. Против одного из строений, находившегося ближе к дому, стояла распряженная карета, возле которой возился кучер в черном плисовом казакине. Откупщик действительно только что накануне прибыл. Он заглядывал сюда раз или два в год, когда проезжал через губернию, которую держал на откупу. Для таких случаев в доме, нанимаемом собственно для конторы, оставлялось несколько комнат. Откупщик с семейством своим жил или в Москве, или в Петербурге; и тут и там имел он собственные дома; сверх того, в окрестностях обеих столиц были у него дачи, отделанные с баснословным великолепием. Все это возникло вдруг, как бы по мановению волшебного жезла.

Роскошь Пукина (так звали откупщика) давно проникла через молву до уездного города, куда прибыл он накануне. Многие из обывателей уезда были у Пу-

кина в Москве и Петербурге; возвращаясь восвояси, они по целым неделям ни о чем больше не говорили, как об убранстве комнат Пукина, о его обедах, лошадях, цельных зеркальных окнах, резных потолках и о том невероятном богатстве, которое позволяло ему бросать деньги, как песок. Ясно, что приезд такого человека должен был всегда производить впечатление в уездном городе. В промежуток трех-четырёх дней пребывания Пукина должностные лица и многие из частных обывателей почти не выходили из дома откупщика: они пили у него чай, завтракали, обедали, играли в карты и ужинали. Так было и теперь. В то время как Савелий входил на двор конторы, у Пукина сидели гости.

Ранний час утра не позволял обществу быть многочисленным; оно состояло пока из исправника и городничего. Оба сидели с хозяином дома в большой зале, смотревшей окнами на двор. Тут находился также управляющий конторою и два поверенных; но последние не принадлежали обществу — их считать нечего; первый стоял поодаль в каком-то подобострастном оцепенении, два другие торчали в дверях, сохраняя на лицах выражение благоговейного умиления.

Не следует, впрочем, думать, чтобы обращение исправника и городничего отличалось особенною фамильярностью; разница между первыми и вторыми состояла почти в том, что первые стояли, тогда как вторые сидели. Иначе даже быть не могло. Начать с того, что Пукин был благодетель городничего: он выхлопотал ему место, разместил детей его, помог выстроить дом после пожара, дал раз две тысячи рублей, которых не достало при каком-то казенном отчете, и тем спас protégé своего от позора и гибели. Городничий ясно понимал, может статься, что благодетель действовал неспроста; понимал он это, но, с своей стороны, лез из кожи, желая доказать Пукину свою благодарность: позволял держать кабаки открытыми до часу ночи и даже всю ночь, скрывал все случаи, происходившие в этих приютах, и проч., и проч. При всем том мера благодеяния превышала все-таки выражения благодарности, и городничий не мог считать Пукина за обыкновенного человека. Что ж касается исправника, он стеснял себя перед откупщиком совершенно бескорыстно; он знал, что Пукин слиш-

ком привык к лести и подобострастию, чтобы можно было подъехать к нему такими путями. Исправник просто не мог победить в себе чувства невольной робости и удивления при виде человека, который из ничего сделал себе миллионы и бросал деньгами, как песком. Пукин возбуждал, впрочем, удивление и не таких добродушных людей, как исправник. Одни удивлялись его гению, других поражало безграничное его тупоумие; замечательнее всего, что те и другие были совершенно правы.

Гений Пукина заключался в следующем: не далее четырнадцати лет назад он служил на побегушках и, как говорили, исправлял даже самые низкие должности у откупщика Сандараки, успевшего также нажить миллионы и носящего теперь фамилию Сандаракина. Пукин понравился, получил место поверенного, потом дистанционного и, наконец, попал в управляющие конторы. Счастье ли тому способствовало, или так распорядился уж Пукин, но в два года уезд под его управлением дал Сандараки вдвое больше прежнего. Изобретательность Пукина была изумительна; она удивляла даже Сандараки, который сам прошел огонь, воду и медные трубы и давно уже ничему не удивлялся. Известность Пукина росла между откупщиками; начали его переманивать, но Пукин остался верен Сандараки. Последний дал ему небольшой пай в каком-то большом предприятии и послал его уполномоченным на свое место. В акте сказано было, что Сандараки дает мещанину Пукину два пая; но Пукин из двух ухитрился сделать двадцать два, хватил неслыханный куш и учтиво тогда раскланялся с Сандараки, который должен был поневоле молчать: предприятие было такого рода, что обязывало не раскрывать тайны. Пукин вышел сух и бел, как лебедь из воды, расцвел, вырос, представил залогов и сам сел в откупщики. Он, говорили, был уже тогда в семистах тысячах. Дело его пошло отлично, счастье ни разу не изменило. Откупщики только ахали; многие, несмотря на молодость Пукина, стали обращаться к нему за советами. Вскоре Пукин нашел покровителей между людьми сильными. Он так пошел вдруг в ход, что все об нем заговорили. Он брал теперь по десяти городов на откуп, брал целые губернии — и ни разу не оборвался. Начали его бояться: стоило Пукину явиться на переторжку — ему давали огромные отступные суммы,

чтоб он только не набивал цен, и т. д. — словом, в четырнадцать лет из человека, исполнявшего низкие должности у Сандараки, Пукин сделался миллионером. В этом, по мнению многих, заключалась гениальность Пукина.

Тупоумие откупщика основывалось вот на чем: как только явились у него миллионы (известно, как легко они ему достались), он вообразил себя каким-то всеобъемлющим человеком; отправляясь с этой точки зрения на пути богатства, Пукин тотчас же заразился самым непомерным тщеславием. Пройдя от доски до доски всю школу надувательства, он позволял теперь надувать себя самым жалким образом. Двум-трем негодьям, движимым очевидным расчетом, ничего не стоило, например, уверить его, что он, Пукин, ничему никогда не учившийся, едва знающий грамоту, — был все-таки умнее их всех; они твердили ему с утра до вечера, что он обладает способностями министра, что на него устремлены взоры государства, что он, Пукин, человек популярный! Пукин, при всей своей плутоватости, чистосердечно всему поверил — поверил как простофиля. В ослеплении своем он толковал о Европе, разрешал вопросы высшей политики, высказывал суждения о литературе, не понимая страшного комизма той роли, которую на себя принял. Фимиаи, который воскурляли подленькие сеиды и мюриды, составившие двор его, решительно вскружил Пукину голову. Он помешался на том, чтоб быть популярным и чтоб об нем говорили. С этою целью, собственно, сыпал он такие безумные деньги. Стоило явиться какой-нибудь дорогой вещи, будь эта вещь дом, лошадь, картина, главное, чтоб она была дорога и пришлась не по карману такому-то графу и князю, — Пукин тотчас же покупал ее.

Все для той же цели купил он дом в Москве и отдал его великолепно, купил дом в Петербурге и отдал его еще великолепнее. Он покупал картины, бронзу, редкости. Пукин находился в полном убеждении, что совершенно достаточно знать толк в пиве и пеннике, чтобы уметь ценить произведения искусства; он сделался меценатом, покровительствовал художникам; и тут, так же как и везде, сыпал деньги самым бестолковым образом. Художникам было это, конечно, с руки: они сбывали ему свой хлам, получая за него больше, чем за лучшие свои картины. Но Пу-

кину было все равно, он не гнался за достоинством, — да и грех ему было! — ему нужно было только знаменитое имя на картине, нужно было много картин, чтоб говорили: «Известная галерея Пукина!» — вот за чем он гнался.

Роскошная жизнь, великолепные обеды, на которые не стыдились являться очень умные люди, чтобы поест, попить и потом посмеяться над Пукиным, — все это, весьма естественно, имело некоторое влияние на мещанина, бывшего на побегушках у Сандараки. Из разбитного Степки, перетянутого сначала полушубком, потом чуйкой, потом уездным сюртучком с высокой тальей, — образовался господин с величественной, комически-горделивой осанкой, покровительственно улыбающейся физиономией, глубокомысленно раздувающий ноздри и с достоинством махающий руками. Он самодовольно судил и рядил теперь обо всем, не терпел возражения и мрачно хмурил брови, когда что-нибудь не по нем выходило. Таким являлся он дома, сидя в бархатных своих креслах, на улице — в своей бекеше или трехтысячной шубе. На самом же деле был он тот же Степка, тот же приказчик питейного дома, но только в бобрах вместо овчины и смотревший не из кабака теперь, но из кареты или из окна роскошного дома, в котором каждый кирпич представлялся воображению ведром пенника, сильно разбавленного водою...

Но мы, кажется, довольно уже говорили о Пукине, чтоб стоило еще распространяться о его наружности. Достаточно сказать, что Степан Петрович Пукин изволили откусать чай, оделись и вельможественно расхаживали по зале, возбуждая удивление городничего и исправника и подобострастное благоговение управителя конторы и двух поверенных. Он сделал таким образом несколько поворотов, когда в дверях залы показался становой Никифор Иваныч.

— Честь имею явиться-с, Степан Петрович! — весело сказал Никифор Иваныч, делая несколько шагов вперед и протягивая руку хозяину дома.

Такая смелость, и еще в становом, видимо не понравилась откупщику, он небрежно кивнул головою и подал палец, украшенный богатым перстнем.

— Здравствуйте, — сухо сказал он. — У вас там в стану опять что-то случилось, — отрывисто прибавил откупщик, — первый раз слышу, чтоб в одном и

том же стану так часто случались у нас неприятности...

— Что такое? — спросил Никифор Иваныч, с недоумением поглядывая на городничего и исправника, которые укорительно качали головою.

— До меня то и дело доходят слухи, — продолжал Пушкин, — что в вашем стану народ поминутно попадает с контрабандным вином.

— Невозможно справиться, Степан Петрович, — возразил сконфуженный становой, — мой стан пограничный, входит углом в соседнюю губернию; наконец, что ж мне делать? Я рад был бы, чтоб этого не случилось... но это совершенно не в моей власти.

— Я вам говорил, Никифор Иваныч! — произнес значительно исправник.

— Ваше дело их преследовать, Никифор Иваныч, — преследовать и преследовать! — с жаром сказал городничий, выпуская клубы дыма.

Городничий курил сигару, предложенную ему Пушкиным; куря ее, городничий раздувал ноздри, шурил глаза, сладко вдыхал дым — словом, всячески старался показать хозяину дома, что испытывает неописанное наслаждение и блаженство.

— Садитесь! — сухо сказал Пушкин, обращаясь к становому и принимаясь снова расхаживать.

Услышав шум на дворе, он повернул туда голову и подошел к окну. Кучер Пушкина гнал в шею какого-то седенького старичка, который хотел что-то объяснить стоящим тут же мужикам и порывался вперед.

— Спросить, что там такое, — произнес откупщик, кивая головою двум поверенным.

Те полетели стрелою; через минуту возвратились они и, перебивая друг друга, сообщили, что какой-то мужик хочет непременно видеть Степана Петровича.

— Спросить, что ему надо... или нет, привести его сюда! — сказал Пушкин.

На этот раз за поверенными кинулся сам управляющий конторой. Они ввели Савелия.

— Что тебе надо? — спросил Пушкин, снисходя к такой роли по какому-то странному капризу, свойственному богатым, избалованным людям.

— Это тот самый мужик, который... — начал было становой.

— Что такое? — нетерпеливо перебил его Пушкин.

— Который, — подхватил Никифор Иваныч, — в последний раз с вином попался.

— Точно так... ваша милость... — заикаясь, сказал Савелий, — по нечаянности, простите, сударь... вам господь вдвое воздаст... Сказывают... теперича с меня двенадцать целковых потребуют... простите, сударь!.. Вам господь втрое воздаст!..

Добродушие старика, который не шутя, казалось, думал, что Пушкин гонится за двенадцатью целковыми, вырвало у последнего невольный смех; с этим смехом обратился он к исправнику и городничему; те также засмеялись и пожали плечами.

— Простите... сударь... Помилуйте!.. — повторил Савелий упавшим каким-то голосом.

Он чувствовал себя здесь еще более отчужденным, чем даже в суде, перед лицами с светлыми пуговицами. Так ли уж настроили старика впечатления нынешнего дня, или напуган он был поверенными, — но внутренний голос шептал ему, что перед ним теперь сила и воля страшная, — сила и воля, которые все ломили, перед которыми все должно было уступать и склоняться. Робость подступала к его сердцу и путала его мысли; он казался таким жалким, маленьким, раздавленным, уничтоженным; комкая свою шапчонку, не смел он поднять глаз и слышал только, как звенело в ушах его и как стучало сердце.

А между тем другой какой-то голос, извне как словно вторгавшийся в залу откупщика, — голос, сначала тихий, потом постепенно укрепляющийся, начинал ходить внутри и вокруг всей конторы... Голос с каждой секундой разрастался и приобретал больше и больше силы... Буря, опустошающая села, ломающая столетние дубы, подымающая к небесам волны морские, уносящая кровли и хижины как щепки, — не так, казалось, ревет и грохочет, как ревел теперь этот голос, потрясавший до основания, до последних сводов каменное здание конторы... Звук откупщицкого баса терялся и пропадал как едва приметная пискотня едва приметной мухи... Все заглушалось голосом, который, постепенно возвышаясь, вырастая сильнее и яростнее, покрывал шум города и все дальше и дальше распространялся, как громовые раскаты... И ясно, казалось, ясно для всякого слуха говорил голос: «Не бойся, дядя Савелий! Не робей! Смотри пря-

мо — смело и прямо смотри в глаза откупщику Пушкину! Не пугайся его, дядя Савелий, не кажись таким маленьким и подавленным! Смелей, дядюшка Савелий, смелей! Выпрями спину, подыми седую голову, взгляни ему гордо в глаза! Не ты перед ним маленький, — он перед тобой прах и крошка! Ты ведь также капиталист, дядя Савелий. У тебя сорок целковых, и каждый грош твоего капитала выбит честным трудом и покрыт потом; каждый грош его миллионов заклеямен плутней! Кто же из вас двух богаче? Кто?.. Не робей же, дядя Савелий, не робей! Ободришься и прямо смотри на откупщика Пушкина, он прах перед тобою, — честный ты труженик, честная, простая душа! Прах перед тобою — частицей той могучей, прочной силы, перед которой откупщик Пушкин с его миллионами ничтожен, как самая ничтожная пылинка, сорванная ветром с кучи негодного сора!..»

Но слова таинственного голоса — слова внятные и ясные для всех — проходили неслышными мимо ушей Савелия. Вместо того чтобы ободриться, продолжал он комкать свою шапчонку, продолжал обливаться потом, не находя даже смелости повторить свое оправдание. «Простите... батюшка!.. Помилуйте!» — вот все, что мог сказать он, когда Пушкин снова к нему обратился.

— Который случай? — спросил Пушкин, поворачиваясь к управляющему.

— Двадцать седьмой-с! — живо возразил тот, тараща глаза и страстно как-то впиваясь в лицо начальника.

Пушкин значительно приподнял брови.

— Нельзя простить, — сказал он, взглянув на Савелия, который завертел опять шапкой, — вы этак все, пожалуй, станете ездить в соседнюю губернию; вас поучить надо хорошенько, поучить — непременно!.. Андрей Андреич, — добавил он, подзывая исправника, который шараясь к нему со всех ног, — пожалуйста, — подхватил Пушкин, отводя исправника несколько в сторону, — подержите у себя этого старика; он заплатит установленный штраф — это само собою; но вы, сверх того, подержите его еще у себя на домашнем аресте; они больше даже этого боятся, чем штрафа; нужно, чтоб знали в народе, что такие проделки даром не обходятся...

Во все это время исправник моргал глазами, вни-

мательно слушал и одобрительно кивал головою; как только Пукин кончил, исправник обратился к Савелию, велел ему идти к себе на квартиру и дожидаться там его возвращения.

— Нельзя, господа, никак нам нельзя пропускать такие случаи безнаказанно! — заговорил Пукин, входя в роль оратора, которая всегда ему очень нравилась. — Какое-нибудь ведро вина, сто, тысячу ведер для нас ничего не составляют! Вы понимаете, тут дело не в ведре вина, а в искоренении злоупотребления, в нарушении порядка, нарушении наших постановлений! Сказано народу: не ходи в чужую губернию; он должен повиноваться! Не повинуется — заставь повиноваться!.. И, наконец, имеем мы, кажется, полное право требовать повинования в отношении к нашим постановлениям! Платим мы миллионы за такую-то губернию, такой-то город; я заплатил, дал деньги, купил право — народ должен пить у меня, а не у другого!.. Что ж бы это такое было? Хорошо бы шли откупа! Да они плевка бы тогда не стоили! Не стоило бы рук марать!.. — продолжал Пукин, самодовольно поглядывая на присутствующих, которые сохраняли, за исключением, может быть, одного станового, сохраняли такой вид, как будто прислушивались к сладчайшей музыке.

Они даже били такт головою... Савелий сидел между тем на дворе исправника и ждал, когда тот явится, чтобы решить его участь. Он ждал долго. По прошествии трех часов разнесся слух, что исправник рано дома не будет: он остается обедать у откупщика и проведет там остаток вечера. Известие это принес старый инвалид, занимавший должность рассыльного в канцелярии исправника.

— Где тут мужик, который к откупщику ходил... ты, что ли? — спросил неожиданно рассыльный, взглянув на Савелия.

— Я, касатик...

— Тебя велено не пускать отсюда; задержать веле-
но.

— Как же так, батюшка... Что же это?.. — проговорил Савелий, озираясь кругом, как потерянный.

— Так приказано! — возразил рассыльный, не давая другого ответа.

Домашнему аресту в квартире исправника подвергаются только те крестьяне, которые по незначитель-

ности вины не могут быть посажены в острог; такое право предоставлено исправнику; но он может приводить его в исполнение и не приводить — по своему произволу; нет ему никакой охоты держать у себя на дворе постороннего человека; правда, может он заставить арестанта возить воду, колоть дрова, топить печи и проч.; но игра свеч не стоит. Сажая под арест, исправник по большей части делает дружеское одолжение помещику, который просит его об этом, не зная как справиться с крестьянином, требующим некоторой острастки. Домашний арест входит, следовательно, в состав частных, домашних мер. Для негодяя арестанта мера эта недействительна, если она не соединяется с розгами; ничего не стоит ему убежать — никто за ним не присматривает; ему скажут только, чтобы не смел он никуда выходить, — и только.

Савелий покорился судьбе своей и решил терпеливо дожидаться исправника. Его беспокоила мысль о домашних: что-то скажут они, как увидят, что он не возвращается; пройдет эта ночь — и будет уже двое суток, как он выехал из дому. Немало также сокрушала его лошадь, оставленная на постоялом дворе; кто об ней позаботится? Кто даст корму? Вот уж часов шесть будет, как она, сердечная, ничего не ела. Старик сообщил свои беспокойства другому инвалиду, несколько помоложе первого и, как казалось, более снисходительному. Инвалид не обманул его ожиданий — точно оказался добряком. Он согласился вывести старика, как только смеркнется, и сходить с ним на постоялый двор; за все это просил он только гривенник; он требовал, однако ж, чтобы арестант не делал сопротивления, когда придет время назад возвращаться. Савелию доставлен был, таким образом, случай переговорить с хозяином постоялого двора; тот согласился оставить у себя лошадь и кормить ее.

Савелий тем охотнее начал сокрушаться о семействе, что ничто уже его не развлекало. Исправник явился домой ночью; на другое утро встал он поздно, велел сказать просителям, чтоб приходили завтра, и снова на весь день отправился к откупщику. Тоска еще неотвязчивее, чем накануне, приступила к Савелию.

«За что же здесь держат? Хоть бы сказали по край-

ней мере, чего хотят? Коли штраф заплатить требуется, он готов это сделать; но что же значит, что не выпускают его отсюда?.. У него свои дела есть: у всякого есть дела свои!.. Теперь самое время помола; одному Петру не управиться. Кроме того, живучи в городе, приходится кормить лошадь ни за что ни про что... везде убытки, изъян!..»

Он не переставал ходить по двору и беспокойно потряхивать седою головою; тоска подмывала его и не сиделось ему на месте; посидит минуты две, ударит себя ладонями по полам полушубка, — и снова пошел кружить по двору исправника. В таком положении находился Савелий, когда неожиданно попался ему благодетель. Благодетель был не кто другой, как писарь, или письмоводитель исправника — человек с косым левым глазом и флюсом на правой щеке, туго перетянутой косынкой. Савелий заметил, что писарь утром и в обед прошел мимо него два раза и кашлянул; но старик сначала не обратил на это внимания и ограничивался тем, что вставал и кланялся. Вечером на второй день письмоводитель снова явился, прошелся по двору и кашлянул; на этот раз, однако ж, он остановился, подозвал старика и сказал:

— Ну что, старче, скучаешь, а?..

— Вся душа изныла, батюшка. Хлеба даже лишился... — отвечал Савелий. — Хоть бы узнать только, когда конец-то этому будет... Кажись, все бы отдал, чтобы только выпустили!.. Похлопочи, батюшка!.. Век буду за тебя молить бога!..

— Что ж, это можно... — сказал письмоводитель, моргая косым глазом, — похлопотать можно... только без денег нельзя...

— Мы, отец, не постоим в этом; сколько надо, готов отдать... Только ослобони Христа ради!.. Ослобони, батюшка!

— Тридцать целковых, — ласково сказал письмоводитель.

Савелия при этом встряхнуло, словно кто-нибудь дал ему тумака в спину.

— Тридцать целковых, — продолжал письмоводитель, поправляя платок, перевязывавший щеку, — менее нельзя; из них штрафных за вино отдать надо двенадцать целковых; потом придется еще кой-кому дать... без того не выпустят! Не скупись, старик, ой,

не скупись! Тебя же жалеючи, говорю; ведь хуже будет: продержат здесь недель шесть, пожалуй; там, пожалуй, в острог еще посадят... Ну, что тебе: раз отдал — и дело кончил; убытков меньше будет, а уж я похлопочу, дело сделаю; одно говорю: выпустим.

— Батюшка! — воскликнул Савелий. — У меня и денег-то таких нет... Где ж их взять-то? Где?

— Найди как-нибудь, твое дело! У тебя лошадь здесь есть — продай! Говорю: дашь эти деньги — дело решенное, поконченное; это все в наших руках! Ни за какие деньги не захочу я в подлецах остаться; сказал: сделаю, стало можно, потому и говорю; у нас случаи такие бывали, не впервой; свертим, говорю: дай только деньги!..

Надо было на что-нибудь решиться: или сидеть здесь в мучительной неизвестности, подвергая себя изъяну, или отдать деньги. Савелий думал, и как ни тяжело было — решился на последнее. Затруднение состояло в том теперь, как дать слух домой и вытребовать сына, потому что лошадь свою Савелий ни за что не хотел продавать. Продать ее можно было одному хозяину постоянного двора; но тот, зная положение продавца, конечно, даст за нее втрое меньше против цены настоящей. С такими мыслями сидел он на трети сутки, когда услышал за собою шаги; подняв голову, увидел он младшего инвалида, который шел к нему торопливо.

— Старик, тебя спрашивают, — сказал инвалид, указывая на калитку, — никак, сын пришел проведать...

Савелий опрометью бросился к калитке; увидев Петра, он в радостях трижды поцеловался.

— К тебе, батюшка, — сказал Петр, оглядывая отца беспокойными глазами (он едва переводил дух, и, казалось, столько же происходило это от внутреннего волнения, сколько и от усталости), — добре уж очень об тебе соскучились... Сутки нейдешь, вторые нет тебя, — пошел я на станovouю квартиру, оттуда сюда... Начал по постоялым дворам спрашивать, — никто не знает! Тут напал на нашу лошадь... мне все сказали...

— Да, — перебил Савелий, прищуривая глаза и с горечью потряхивая сединами, — жил век, ничего со мною такого не было... привелось под старость!.. Дорого обошлось нам это ведро вина!.. Пуще того су-

мленья одного сколько!.. Как быть... За грехи, видно, господь наказывает!..

Старик провел ладонью по глазам и задумался.

— У нас, батюшка, тоже есть дома неладно, — сказал Петр, — мальчик мой добре разнемогся...

Старик перекрестился, не подымая головы.

— Не знаю, что такое сделалось, — продолжал Петр, — кричит день-деньской и ночь всю... весь даже извелся; одни косточки остались!.. Палагея сказывала: у жены молоко, вишь, как-то попортилось... очень уж в ту пору она испугалась, как Гришку схватили... сама опосля сказывала; да это не оттого припало к мальчику: он и рожка не берет... чем жив — бог ведает!..

— Видно, — произнес старик, покашливая, — видно, горе-то не в одиночку ходит... не в одиночку!.. Прогневили, знать, господа!..

Старик отвел сына несколько в сторону и передал ему от слова до слова разговор с письмоводителем; требование тридцати целковых озадачило Петра ничуть не менее, чем отца; но это потому так было, что Петр не подозревал даже, чтобы такая сумма могла у них находиться. Узнав об этом, Петр начал упрашивать старика отдать деньги. Он говорил, что денег этих пока им не надобно, что живут они и без них по милости создателя, что работы вволю теперь и, коли бог благословит, — наживут они опять столько же. Старик долго крепился, молчал, пожимал губами; наконец рассказал сыну, где лежали деньги, и велел ехать домой как можно поспешнее.

Отсутствие Петра продолжалось почти целые сутки; от города до мельницы, если даже ехать на перекоски, считалось верст сорок. Лошадь плохо была кормлена; пришлось ехать медленно; пришлось даже лишний раз остановиться на перепутье и дать вздохнуть бедному животному. Наконец Петр явился.

Старик переговорил еще раз с письмоводителем и отдал ему требуемые деньги. Письмоводитель действительно не показал себя подлецом; он сдержал слово. Остается совершенно неизвестным, как устроил он дело (надо думать, исправник отчасти участвовал в заговоре); Савелий в тот же вечер получил свободу и мог отправиться на все четыре стороны. Он расплатился с хозяином постоялого двора, дал лошади пере-

хватить корму и, несмотря, что на дворе была уже ночь (старика сильно тревожила мысль о внучке, которому было хуже), сел с сыном в тележку и покати́л из города.

VII

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА МЕЛЬНИЦУ

Савелий и Петр подвигались медленно. В ночь выпал снег; необыкновенная мягкость воздуха делала его рыхлым и мягким; он ворохами навивался на колеса и так отягощал тележку, что лошадь с трудом ее тащи́ла. Тучи заслоняли небо; но снежная белизна окрестности распространяла ясность, и ночь была не так черна, как ожидали путешественники. Тем не менее лошадь часто сбивалась с колеи; местами дорога вовсе пропадала; Петру и Савелию приходилось пробивать первый зимний путь. Совсем уже рассвело, когда прибыли они в Ягодню. Они завернули к куму Дрону, взяли у него сани, перепрягли лошадь и, не теряя секунды, опять отправились. Минуты две какие-нибудь потребовалось, чтобы спуститься по луговому скату; санишки летели сами собою, раскатываясь то вправо, то влево и каждый раз загребая глыбы снега. Лошадь, почуяв стойло, пустилась вскачь. Миновали ручей.

Весело подъезжать к дому. Весело глядеть, как постепенно показывается и вырастает вдаль родимая кровля. По лицам Савелия и Петра нельзя было сказать, чтоб они были веселы; смущение и беспокойство обозначались в чертах отца; тяжелое предчувствие сильнее вторгалось в его душу по мере приближения к мельнице. Он слова не говорил с сыном. Петр также молчал. Молча вылезли они из саней и отворили ворота.

При появлении их на двор Гришутка выглянул из-за угла амбара; он скрылся в ту же секунду, и потом видно было сквозь щели плетня, как проскочил зайцем и пропал за клетушкой. Не знаю, обратил ли на это внимание Петр, но старик ничего не заметил. Оба поспешили к крыльцу. Вопль, неожиданно раздавшийся в избе, рванул их за сердце; они переглянулись. В эту минуту на крыльчке показалась Палагея. Нечего уже было спрашивать: лицо Палагеи и, еще бо-

лее, вопль, свободно вылетающий теперь в полурастворенную дверь избы, ясно сказали, что все кончено...

— Очень уж больно убивается... — проговорила Палагея. — Подите к ней... Нонче помер, Христос с ним, на самой на заре...

Отец и сын вошли в избу. Младенец, покрытый белым платком, лежал под образами, тускло отражавшими крошечное пламя желтой восковой свечки. Марья сидела подле; обхватив руками тело младенца, спрятав лицо в ногах его, она неутешно плакала. Потеря ребенка, которого она ждала шесть лет, которого девять месяцев потом так радостно носила под сердцем, тяжело отзывалась в душе ее; но к этому примешивалось еще другое чувство: младенец теснее как-то привязывал к ней мужа, очевидно располагал к ней тестя. Душа ее, горько настроенная потерей ребенка, создавала новые, преувеличенные опасения: она теряла уверенность в любовь мужа и расположение тестя.

Савелий, в глазах которого крошечное пламя свечки принимало вид большого мутного круга, тут же увидел, что ему еще приходится утешать сноху и сына. Сделав три земные поклона, он велел Петру остаться с женою, а сам спустился на двор и начал распрягать лошадь. Поставив ее на место, он снял с перекладины навеса две новенькие тесенки и медленно повлек их к обрубку, где дней пять назад сколачивал люльку. С люлькой больше было хлопот, чем в теперешней работе. Когда Петр вышел к отцу, гробик совсем почти был окончен.

— Петр, — сказал старик, — тебе со мною идти незачем, посиди пока с женою; я один схожу; тягость в нем небольшая!.. Сам снесу его, сам схороню... Ты здесь побудь... Да где же Григорий? Что я его не вижу... Где он?

Петр словно по чутью какому-то пошел прямо к клетки. Минуту спустя он вывел оттуда Гришку; мальчик не смел поднять головы и вообще выказывал знаки сильного испуга.

— Поди сюда, Григорий! — произнес старик кротким голосом. — Куда ты все прячешься... зачем?.. Это нехорошо... Побудь здесь... Вот я его возьму с собою, — промолвил Савелий, обратившись к сыну, — он подсобит; к попу сходит и лопату снесет... Ты поди пока, посиди с ними...

Ласковое обращение старика произвело, по-видимому, на Гришку совсем другое действие, чем следовало ожидать; вместо того чтобы ободриться, он кисло как-то пожимал губами и плаксиво моргал глазами; он не трогался с места, не смел поднять головы, так что кверху выглядывали только два вихра на его затылке и уши, которые были так же красны, как лицо его. Но старик, принявшийся за крышку гробика, снова забыл как будто о существовании мальчика. Вскоре, однако ж, был он развлечен стуком лошадиных копыт и голосом помольца, который въезжал на двор мельницы. Помалец поздоровался, спросил, есть ли свободная снасть и можно ли засыпать.

— Засыпай, добрый человек, засыпай... — промолвил Савелий тем же кротким, расслабленным голосом, с каким обращался к Гришке. — Которая снасть понравится, в ту и засыпай...

— Что же это... Никак у вас покойник? — спросил помалец.

— Внушек... — тихо сказал Савелий, подбирая как-то вовнутрь губы свои, которые начали вдруг морщиться, — внушек... Вот был он... а теперь... а теперь и нету...

Полчаса спустя на дворе мельницы опять раздались вопли и крики; теперь были они только сильнее; Марья стояла на крылечке; с одной стороны держала ее Палагея, с другой Петр. Она рвалась к Савелию, который выходил из ворот, придерживая гробик, перевязанный кушаком, переходившим через плечо старика; Гришка, также без шапки, следовал за ним с лопатой и скребком на плече. Во всю дорогу Савелий не обернулся к своему спутнику, слова с ним не промолвил: Гришка нарочно, казалось, ступал осторожнее и старался не шуметь скребком и лопатой, чтобы не обращать на себя внимания. Время от времени он заходил в сторону и сбоку поглядывал на лицо дяди Савелия; но в этих взглядах далеко уже не было того лукавства, той быстроты, какими отличались они несколько дней назад, когда мальчик выступал по той же дороге с бочонком за спиною. Самые мысли его были теперь как словно другие. Он не думал спихивать камней в ручей, не думал подкрадываться к воронам, садившимся иногда в десяти шагах от дороги. Самые воробьи не занимали его, хотя, надо сказать,

они так же шумливо, как и тогда, егозили в ветлах, прыгали по плетням и били крылышками, купаясь в рыхлом снегу.

Поднявшись в Ягодню, старик зашел прежде всех к куму Дрону, потом к свату Стегнею и попросил их подсобить ему выкопать могилку. Те сначала поохали, потом начали вспоминать о том, давно ли было, как пировали они на крестинах; но, видя, что Савелию было не в охоту плакать, взяли скребки и отправились. Пока рыли могилу, Савелий послал Гришку за попом. Обряд похорон совершился очень скоро. Немного погодя на том месте, где была яма, поднялся небольшой холмик. Снег валил густыми хлопьями, и прежде чем Савелий успел уровнять землю, снег обсыпал ее точно пухом.

— Ну, — проговорил Савелий, вздохнув как-то в два приема, — ну, внучек, прости!.. Думал, поживешь с нами... в утеху будешь... Прости, внучек!..

— Полно, кум, — сказал Дрон, — есть о чем сокрушаться! Добро бы уж ходил внучек-то, либо лепетать начал, а то всего только пять дней было ему...

— Бог даст, другого наживешь внука-то! — проговорил, в свою очередь, сват Стегней. — Сноха не старая, сын парень также молодец; какие года ему!..

В ответ на такие утешения Савелий махнул только рукою и отвернулся. Кум Дрон и сват Стегней переглянулись, как будто сказать хотели друг другу: «Оставить надо, не до того теперь!» — простились и пошли по домам.

Савелий, сопровождаемый Гришкой, который по-прежнему шел в некотором отдалении, ступал бережно и старался не обращать на себя внимания, покинул кладбище. Неподалеку от церкви встретились они с Андреем. Савелий находился в родстве с Дроном и Стегнеем: первый доводился ему кумом, второй сватом; Андрей был ему чужой, а между тем Савелий обошелся с ним гораздо ласковее, чем с двумя первыми. Он приподнял шапку в ответ на поклон Андрея и даже замедлил шаг.

— Савелий Родионыч, — сказал Андрей своим грудным, тихим голосом, — послушай: у меня трое было... трое уж взрослых! Девочке моей пошел двенадцатый год, Егорушке семь лет было... И тех схоро-

нил, Савелий Родионыч!.. Как тут быть-то! Знать, так уж нам господь посылает; он дает детей, он и отнимает... Говорю тебе: у меня трое было — всех схоронил!

— Братец ты мой, — промолвил Савелий, в первый раз в этот день возвышая голос, — возьми в толк: ведь шесть лет ждал внука-то! Шесть лет просил о нем господа! Уж, кажется, я ли ему не радовался! Как радовался-то!.. А тут еще одно к одному, другой случай вышел... Совсем сокрушился!..

— Слышал я, слышал... Сказывали! — подхватил Андрей. — Пожалел я тебя, Савелий Родионыч... Ну и в этом также, Савелий Родионыч... в этом также... рассуди: у тебя недостаток: деньги были... Случись такой грех с другим, с бедным, тут что делать? Как тут быть? Вестимо, жаль... Ну, да бог с ними! По крайности хоть ослобонился...

— Братец мой, последнее ведь отдал! Всего только и было! — сказал Савелий, покачивая головою с боку на бок. — Только всего добра и было! Десять лет трудился, десять лет спины не разгибал и потом обливался!.. Разве они даром мне достались, эти деньги-то? Подумай тоже и ты: разве я нашел их, сидючи на печке да руки скламши? Десять годов работал, берег — и все пошло прахом! В один день — все ушло... и куда ушло, подумаешь!

— Полно, Савелий Родионыч, полно! Господь наказывает, господь и милует! Кабы не господь, на кого бы еще надеяться! Моя жизнь тошнее твоей, и-и! Куда! А ведь живу же, живу!.. Живут люди и не в такой горести, Савелий Родионыч, право, так! Право!

Беседуя таким образом, они незаметно спустились к ручью, который просачивался теперь в снежных сугробах холодною темно-синиею лентою. Тут Андрей и Савелий расстались; один пошел в Ягодню, другой направился к мельнице.

Снег продолжал валить хлопьями. Церковь на возвышении и даже ближняя часть лугового ската исчезали совершенно, как бы задернутые белым, медленно колеблющимся пологом. В двадцати шагах нельзя было различать предметов на дне долины. Мало-помалу, однако ж, в воздухе стало проясняться: снежная движущаяся сетка заметно редела. Местами открывались клочки серого неба, которое постепенно синело

и сгущалось, приближаясь к дальнему горизонту. Немного погодя снег перестал падать; изредка только то тут, то там, мимо синего горизонта, медленно пролетали, кружась и тихо опускаясь, одинокие снежные хлопья.

Но перемена погоды встречала глубокое равнодушие со стороны Савелия; в этом случае, как и во всех, впрочем, случаях, представлял он резкую противоположность с Гришуткой. Последний, надо думать, обладал большою твердостью духа и способен был переносить с более философским спокойствием удары рока. Он, по-видимому, заметно ободрялся; казалось даже, успел овладеть всегдашним своим расположением или старался по крайней мере развлечь себя и рассеять. Он внимательно следил за одиноко кружившимися в воздухе снеговыми хлопьями, выводил носком лаптя вычурные фестоны по снегу, не пропускал случая выставить изнанку ладони навстречу спускавшимся снежинкам; часто даже улучал минуту и, закинув назад голову, ловил их на язык. Правда, стоило Савелию кашлянуть или сделать движение рукою, Гришутка выпрямлялся, выравнивал на плече своем скребок и лопатку и вообще принимал озабоченный, суетливо-деловой вид; но это продолжалось минуту, много две, после чего он снова овладел собою и снова старался себя рассеять.

Так вышли они на луг, который под снежным покровом своим убегал как будто еще дальше к бледно-лиловым рощам и темно-синему небосклону. Тишина была мертвая; все пропало, казалось, под снегом и погрузилось в глубокий сон. Кровля маленькой мельницы и осенявшие ее старые ветлы одиноко белели, возвышаясь под сизым, отдаленным горизонтом. Там было так же тихо, как и во всей окрестности. Не слышно было ни шума воды, ни того глухого, ровно вздрагивающего гула, который показывает, что жернова на всем ходу и колеса дружно повертываются. Помолец окончил, видно, свою работу и уехал; оно и лучше было. Так думал Савелий. На дворе и в доме застал он ту же тишину; тишина снизошла даже как будто в самую душу обывателей маленькой мельницы. Петр смотрел теперь не так печально; Марья заметно успокоилась. При виде тестя, возвращающегося с пустыми руками, она снова заплакала; но слезы ее не сопровождалась криками и воплями отчаяния;

слезы ее приостановились даже, когда Савелий подошел к ней и ласково начал утешать ее, ссылаясь на промысл, на волю Божию.

— Знаю, батюшка, божью волю не нам судить, ее не переспоришь, — а все горько! — сказала Марья голосом, надорванным печалью. — Не забыть мне, долго не забыть моего дитятку... Так я к нему привыкла, так привязалась!.. Кажись, батюшка, век буду я им беременна! Век буду носить его!.. Век его не забуду!

Но в горестные минуты человеку всегда свойственно терять надежду в будущее, всегда свойственно преувеличивать свои страдания! Не прошло года, и уже между жителями маленькой мельницы помину не было о минувших несчастьях. Мирная, безмятежная радость изображалась на всех лицах, особенно на старческом лице дедушки Савелия, которому снова пришлось сидеть на обрубке под навесом, снова пришлось хлопотать над люлькой.

Пришлось также опять за вином посылать; но поехал уже Петр, а не Гришка, хотя, надо сказать, последний ни за что бы теперь не попался; Гришутка заметно меньше зевал на стороны и вообще выказывал меньше рассеянности. Крестины прошли на этот раз несравненно веселее, чем в былое время. Сват Стегней, кум Дрон и Палагея пели песни; Савелий радостно потряхивал сединами, отпускал ласковые шуточки снохе и поминутно трепал по плечу Андрея, который часто заглядывал теперь на маленькую мельницу. Самая мельница словно разделяла радость своих хозяев. В день крестин возы с рожью не только наполняли двор, но даже стояли за воротами, жернова порхали, как бы порываясь пуститься в пляс; колесо вертелось без отдыха, обдавая пеной нижнюю часть амбара, тогда как кровля, тихо вздрагивая, посылала в воздух легкие облака мучной пыли.

Микулинский мельник и сыновья его продолжают коситься на маленькую мельницу. Но Савелий не обращает на них никакого внимания. Мельница его год от году процветает, год от году появляется на ней больше помольцев, так что снова приходится жернова менять, совсем почти износились; впрочем, есть теперь на что купить, слава богу! Но это с одной только стороны старика радует; с другой стороны, другая радость: у него внучек, крепенький, здоровый мальчуган,

которого, можно сказать без преувеличения, сам дедушка почти вынынчил.

Часто в ясные, солнечные дни можно видеть, как внучек ступает по двору и, переваливаясь с ноги на ногу наподобие утки, спешит убежать от деда, который выбивается из сил, по-видимому, чтобы поймать ребенка, хлопает в ладоши и во все время преследования не перестает ухмыляться в седую свою бороду. Но веселые крики ребенка, хлопанье в ладоши деда, голос Петра, песня Марьи постепенно умолкают, по мере того как вечерняя заря угасает на небе. Ночь спускается на землю... Все утихает, кроме маленькой мельницы, которая, ровно вздрагивая, одна шумит посреди заснувшей окрестности, напоминая как будто о старом своем хозяине. Он также не знал никогда отдыха и век свой трудился, даже в то время, как спали другие.

1857





ПАХАТНИК И БАРХАТНИК

(Повесть)

Не будет пахатника, не будет
и бархатника.

Русская пословица

Глава первая

ПАХАТНИК

I

Такого продолжительного, нестерпимо жаркого лета не могли запомнить даже самые старые люди. С половины июня до конца июля ни разу не освежило дождем воздуха; раскаленная земля трескалась, превращалась в камень или пыль, которая лежала тяжелым рыжеватым пластом на дорогах. Каждое утро солнце восходило багровым шаром и, поднимаясь выше в сверкающем, безоблачном небе, совершало свой круг, никому не давая отдохнуть от зноя. Все живущее словно умаялось и повесило голову. Цветы, не защищенные лесом или тенью рощи, пересохли; горох пожелтел преждевременно; проходя полем, слышно было, как лопались его стручья, рассыпая, словно дробь, свои зерна. Трава, скошенная утром, начинала к полудню пучиться, подымалась ворохом и звонко хрустела, когда брали ее в руки. Стада упорно жались к ручьям и речкам; во всякое время дня коровы и лошади по целым часам недвижно стояли по брюхо в воде; можно было бы принять их за окаменелых, если б не двигали они хвостами, стараясь отогнать мух и оводов, которые роями носились и жужжали в воздухе.

Во всей природе, которая как будто изнемогала и тяжело переводила дыхание, одни насекомые бодрствовали; чем горячее жарило солнце, тем больше их появлялось и тем громче раздавались жужжанье и шорох. Там, где полуиссохшие ручьи впадали в реч-

ки, роями стояли коромысла, блистая на солнце своими кисейными глянцевыми крылышками и зелеными, словно стеклянными головками; запыленные шмели и бесчисленные миллионы всяких мух и мошек облипали каждого, кто только останавливался.

В полях весь этот шелест заглушался трескотнею кузнечиков; из-под каждой травки, из-под каждого стебелька, немолчно дребезжал тот жесткий, металлический звук, который всегда как бы дополняет впечатление страшной засухи; в сырое время кузнечик поет не так звонко. В полях часам к двум-трем пополудни зной особенно был чувствителен. Солнечные лучи, насквозь пронизывая рожь до корня, нагрели, казалось, самые стебли; даже там, в глубине колосьев, бросало в испарину; чувствовалось, что пышет от почвы, как от жерла раскаленной печки. Васильков совсем не было; они давно пересохли, оставив тощие зеленоватые стебли; одна повилика, туго оплетая подошву колосьев, разливала в воздухе тонкий миндальный запах и пестрила своими бело-розовыми колокольчиками жаркое, лучезарное сиянье, наполнявшее глубину поля.

II

Несмотря, однако ж, на удушливый зной, от которого сохло в горле и потом обливало тело, все пространство поля покрыто было народом; куда ни обращались глаза, отягченные солнечным сверканьем, всюду над морем колосьев мелькали, то опускаясь, то подымаясь, белые рубашки баб; перегнув в три погибели спину, прикрытую мокрой сорочкой, они вязали снопы; мужья их, отцы и братья выступали между тем один за другим, звонко размахивая косами.

Работа кипела; время было такое, что нельзя было ни на один час отложить покоса; благодаря жаркому июлю, едва успели откоситься и убрать сено, как рожь поспела; там совсем уже налился и дозревал овес — того и смотри, сыпаться станет. Изредка останавливался тот или другой работник, отирал рукавом загорелый лоб и принимался точить косу, издававшую при этом сухой, острый звук, вторивший как нельзя лучше дребезжанью кузнечиков. Изредка та или другая баба разгибала спину, оглядывалась и торопливо направля-

лась выпить кваску из серого кувшинчика, спрятанного в укромном месте, или шла к люльке, скрывавшей ребенка. Но едва мать успевала раскрыть холстяной полог люльки, едва припадала грудью к губам младенца, голос старосты снова призывал ее к работе.

— Эй, бабы, бабы! — покрикивал он, являясь то тут, то там, — что-то уж больно часто бегаете! Покормили раз-другой — и шабаш! Главная причина, не надо бы вовсе таскать с собою ребятишек — вот что! Оставляли бы дома лучше старухам да бабкам!..

— Хорошо, Гаврило Леоныч, коли есть такие, — возразила молоденькая живая бабенка, — коли не на кого оставить, поневоле тащишь...

— Все же так часто бегать не приходится, — возразил староста. — Говорю: покорми раз-другой — и шабаш!.. Ну ступай, ступай, полно разговаривать!.. — довершил Гаврило Леоныч, направляясь в другую сторону.

Немного погодя, посреди звяканья кос и шума падающей рядами ржи голос его раздавался на дальнем конце поля.

III

В голосе этом не было, впрочем, ничего повелительного или грозного; с появлением старосты никто не бросал в его сторону боязливых взглядов. Косы, правда, начинали скорее двигаться, и бабы усерднее принимались вязать снопы, но это, очевидно, происходило не столько от страха, сколько от жалкой привычки русского простолюдина жить и действовать не иначе, как с помощью понуканья. Гаврилу слушали точно так же, как стали бы слушать любого мужика, поставленного в старосты главным управляющим.

Гаврило ничем не отличался от остальных мужиков своей деревни; он только знал счеты и разбирал грамоту; основываясь на этом, его выбрали в начальники и выдавали ему ежегодно пятнадцать рублей жалованья из главной конторы, которая находилась верстах в семидесяти, в соседнем уезде. Гаврило сильно даже скучал своею должностью; пуще всего сокрушал старосту, что, будучи сам человеком домовитым и хозяином, он принужден был поминутно отрывать от дела и ездить в контору из-за каждой безделицы,

иногда даже так, безо всякой надобности. Случалось, самое нужное дело на руках, — нет, бросай все и отправляйся! Кроме того, всякий раз надо было неизбежно стоять с глазу на глаз перед управляющим, который внушал Гавриле, точно так же, как и всем, находившимся в зависимости от конторы, страх непобедимый. Короче сказать, староста готов был ежегодно приплачивать еще своих денег, лишь бы освободили его от должности; то же самое готов был сделать каждый крестьянин, принадлежавший деревне Антоновке.

Не только в нравственном отношении, но и по наружности Гаврило во всем был сходен с мужиками, работавшими в поле. Ему было лет пятьдесят; на лице его, покрытом мелкими морщинками, явно проглядывал нрав мягкий, сговорчивый и веселый. Он носил на голове шапку на манер гречишника, из-под которой с той или другой стороны всегда выглядывал кончик клетчатого платка; платок служил скорее для того, чтобы утирать лицо, чем для настоящего употребления. Выходя в поле, Гаврило постоянно вертел в руках палочку, служившую ему биркой; на ней-то надрезывал он ножом число копен, скирд, снопов и проч. Как потом мог он добраться толку и распутать на своей бирке все эти насечки, зарубки и крестики — это останется вечной неразгаданной тайной.

IV

— Ну, братцы, подкашивай, подкашивай! — по-нукал Гаврило, переходя от одного ряда косарей к другому, — по-настоящему, к вечеру решить бы надо!.. Вот разве бабы не успеют снопы довязать...

— Нет, сват Гаврило, нонче не управимся, — заметил коротенький кудрявый мужичок, останавливаясь, чтобы снять шапку и отереть лицо, — добре уж очень парит; раза три махнешь косой, так инда всего тебя размочалит. Невмоготу даже...

— Не одному тебе, всем жарко!.. Ну-ка, сват, полно, бери косу-то, бери! — подхватывал Гаврило, — оттого, что жарко, оттого и откоситься скорей надобно; погоди-ка денька три, в колосе совсем ничего не останется... Эку сухмень сотворил господь!.. эку сухмень!..

— Везде сухо, везде зерно сыплется, — промолвил

высокий рыжий мужик с коротенькой, крутой, кудрявой бородкой. — Вот уже третий день никто в свое поле не заглядывал! — присовокупил он, не оборачиваясь к старосте и продолжая косить, — значит, здесь справляйся, а со своим добром как знаешь, — пропадать должно!..

— Это точно, — проговорил старый мужичок, усыпанный веснушками, — хошь бы на один день ослобонили!.. Здесь хлеб уберегай, а со своим управляйся, как бог велит.

— Толкуют, точно первинку рассказывают, точно про то никто не знает! — перебил Гаврило, встряхивая шапкой, — опять-таки, я, что ли, тому причиной?.. Так велено; кто велел — сами знаете; поди-тка сладь с ним! «Чтобы все поле, — говорит, — на мирской магазин которое отрезано, убрать, — говорит, — к воскресенью; уберут, — говорит, — тогда за свое пускай принимаются!» Сам обещался наведаться; сам до всего доходит. А мне что? Мое дело сторона; как велют, так и делаю...

— Надо, значит, самим идти просить в контору, — сказал рыжий мужик.

— Поди-ка сунься, — много возьмешь! — заметил Гаврило.

— Значит, — продолжал опять рыжий мужик, размахивая так сильно косою, что звон ее сделался вдруг слышнее других кос, — значит, оброк только для виду для одного; слава только: вот, дескать, на оброк отпущены! Поглядеть — выходит хуже барщины! Барщинные по крайности оброка не знают; у нас деньги оброчные отдай само собою, а там еще плетни плети вокруг садов, луга коси господские, дороги починяй; пришла пора рабочая, хоть бы вот теперича — идти бы убирать свой хлеб, — нет, сюда ступай... Дни, вишь, такие выговорили!.. Сосчитай-ка эти выговоренные дни — много ли время на свое дело останется?.. Право, барщина сходнее...

— Знамо, так; Филипп правду сказывает... Это точно как есть!.. — отозвались ближайшие мужики.

— Поди-ка столкуй с управителем, поговори ему, что он тебе скажет, — произнес Гаврило с сердцем, — уж было такое дело, из других вотчин приезжали, говорили ему, — с тем и уехали! Ты свое — он свое: «знать, — говорит, — ничего не хочу; мое дело, — говорит, — было бы прежде всего исправно!..» А что насчет

работы, какую теперь справляем, — продолжал рассудительно Гаврило, — надо правду сказать — браниться да жаловаться не за что: поле не господское, «мирское»¹ — стало, все единственно, для себя трудимся!

— Главная причина, дядя Гаврило, — заговорил опять мужичок с веснушками, — не ко времени работа — вот что! Этим пуще всего народ обижается; у самих хлеб сыплется, а ты здесь валандайся; оно хоть и мирское дело — а свое все жалче упустить.

— Потому и говоришь вам: братцы, велено! как ни бейся, сделать надо; работой дружнее, не тормози рук; здесь скоро отделаемся, за свое скорей примемся... Ну, дружней, ребята, подкашивай, подкашивай — к вечеру чтобы совсем убраться!.. — подхватил Гаврило, возвышая голос и принимаясь снова ходить по полю. — Эй вы, бабы, — полно вам бесперечь к люлькам бегать!.. Ох, эти бабы пуще всего!.. Авдотья, ты, никак, с самого обеда торчишь у люльки, ни одного снопа не связала... Брось, говорю!.. Эки, право, ни стыда в них нет, ни совести!..

V

Во время этих разговоров с той стороны, где деревня заслонялась пологими холмами, показался мужик. С первого взгляда легко было заметить, что он не принадлежал к числу обывателей Антоновки или если принадлежал, то по каким-нибудь обстоятельствам освобожден был от работы.

Длинные ноги его, обутые в довольно плохонькие сапоги, передвигались безо всякой поспешности; он рассеянно посматривал направо и налево, время от времени посвистывал и вообще имел вид человека, который лишен всяких забот и вышел в поле единственно затем только, чтобы прогуляться. Ему было лет под сорок; рубашка его начала просвечиваться на локтях, и швы во многих местах пообсеклись; но зато

¹ Мирским полем называется часть земли, которая отрезывается крестьянам для посева хлеба, поступающего потом в так называемые магазины. Такой запас ржи и овса делается на случай неурожая, недостатка зерен для посева. В деревнях, где существует порядок, строго наблюдают, чтобы в магазине всегда находился запас зерен, который обеспечивал бы в случае несчастья все население деревни. (Примеч. автора.)

подпоясан он был новым гарусным шнурком и на голове его, покрытой реденькими черными завитками, красовался совершенно новый картуз с козырьком, вроде тех, какие носят подгородные мещане и фабричные. Сам он скорее похож был на мещанина, чем на обыкновенного поселянина; несмотря на знойное лето, загар едва коснулся его лица и шеи; на лице его, довольно еще красивом, не было следа тех морщин, той загрубелости, которые преждевременно накладывает тяжелое, трудовое житье. Взгляд его, обращавшийся как-то сверху вниз — точно он считал себя значительнее всех тех, с кем встречался, — не был лишен живости, точно так же как и остальные черты лица; в движениях заметно, однако ж, проглядывали лень, вялость, сонливость.

Человек этот не был совершенно чужим и незнакомым лицом в здешних местах; едва поравнялся он с первыми косарями, многие его окликнули:

— Федот, здорово! Откуда?

— С люблинской мельницы...

— Дело, что ли, есть?

— Да, — лаконически отвечал Федот, слегка приподымая картуз и продолжая идти далее.

Замечательно, что в голосе каждого, кто обращался к Федоту, звучала веселость; каждый почти, заговаривая с ним, прищуривал глаза и ослаблял зубы. Случалось, что иной мужичок, — особенно из молодых и которые были попроще, — видя, как ослаблялись другие, — схватывался попросту за бока и громко начинал смеяться. В таких случаях Федот выше только подымал голову, весь как словно от макушки до пяток преисполнялся чувством собственного достоинства и шел мимо, сохраняя такой вид, как будто на пути попался муравей, не стоящий никакого внимания.

Приближаясь к месту, где сосредоточивалась главная деятельность и куда сошелся почти весь народ, Федот спросил, как бы найти ему дядю Карпа? Карп, оказалось, косил в числе передовых косарей и находился на дальнем конце поля. Федот медленно, как бы желая похвастать своей неторопливостью, направился в указанную сторону. Проходя мимо подвод, которые приехали за снопами, мимо баб, вязавших снопы, и мужиков, шумевших косами, — Федот снова осведомился, где отыскать дедушку Карпа.

Признав, наконец, того, кого отыскивал, Федот

встрепенулся и ускорил шаг; он словно вдруг вспомнил о чем-то; лицо его выразило озабоченность, суетливость; он пошел так скоро и начал так размахивать руками, что пот выступил на лице и даже шее; подойдя к Карпу, который продолжал усердно косить, не замечая приближающегося, Федот, и без того запыхавшийся, старался еще показать вид, что едва переводит дух от усталости.

VI

— Дядя Карп, здорово! К тебе... — озабоченным тоном проговорил Федот, снимая картуз и отирая плоский белый лоб с прилипнувшими к нему жиденькими кудрями.

— А, Федот! — воскликнул седой как лунь старичок, быстро поворачивая к Федоту сухощавое лицо, изрытое глубокими морщинами, — как ты здесь?..

— К тебе, дядя Карп... Ух, умаялся! — дай дух переведу, — сказал Федот, стараясь показать вдвое больше усталости, чем было на самом деле. — Примерно такое дело... переговорить надо...

Тут Федот нахмурил брови, покосился на стороны и, заметив, что ближайšie мужики остановились и посматривали в его сторону, начал мигать Карпу на соседнюю ниву, где не было еще ни одного косаря.

— Говори здесь — все одно, — сказал старик.

— Нельзя, — суетливо перебил Федот, — никаким то есть манером... дело такое... Отойдем, говорю...

Он дернул старика за рукав рубахи и силою почти отвел его шагов за десять.

— Аксен Андреев прислал, — произнес он, быстро оглядываясь и как бы желая убедиться, что никто не слушает.

— Это зачем?

— Насчет избы; ты избу приторговал... Прислал: «Скажи, — говорит, — Карпу — он тебе родственник, часто выдается, — скажи: задатку надо прибавить!..»

— Ведь я дал ему задаток, и дело совсем порешили; чего же еще? — произнес старик нетерпеливо.

— Говорит, много на избу охотников...

— Ну...

— Много очень народу избу торгуют и деньги сейчас отдают... «Коли, говорит, Карп прибавит задатку,

я обожду, пожалуй, а то, — говорит, — несходно!» Я затем и пришел к тебе; ты, дядя, нонче же бесприменно сходи к Аксену. Он так и наказывал: сегодня переговоры с ним; дело, примерно, такое, никаким манером нельзя оставить! — примолвил рассудительным тоном Федот и даже зажмурил глаза. — Избу я видел: изба знатная; и цена небольшая... упустить никак невозможно!..

Старик не слушал последних слов Федота; с досадливым, беспокойным выражением лица смотрел он в землю.

— Когда видал ты Аксена? — спросил он.

— Нынче утром, в самый обед. Как сказал он об этом — «дело такое, думаю себе, упустить нельзя; Карп Иваныч сродственник, оставить не годится», — прямо к тебе бросился...

— Как же попал ты туда, к Аксену? — спросил Карп, медленно направляясь к прежнему своему месту.

— Встретились по соседству... Я теперь на люблинской мельнице... вот уже с неделю живу в работниках...

— Как! ты, стало, уж не на фабрике у Василья Иванова?

— Нет, рассчитался!.. Хозяева добре очень уж зазнались... Мне здесь сходнее: хозяева — лучше быть нельзя, обходительные такие, и жалованья больше... в неделю три целковых получаю...

Карп недоверчиво покачал головою.

— Ей-богу, три целковых! — с живостью подхватил Федот.

— Ты никак на мельницах-то прежде не живал... — промолвил Карп рассеянно.

— Как не живал? — возразил Федот с уверенностью, — вот те раз! Перед тем как на фабрику поступил, только и работал, что на одних мельницах!.. дело привычное... все статьи примерно знаю; другой мельник того не сделает.

Хотя старик вполупину слушал Федота, но снова покачал головою.

Прийдя на свое место, он далеко не был так бодр и весел, как когда подошел к нему Федот; седые брови старика не оставляли нахмуренного положенья; несмотря на несколько минут отдыха, он дышал тяжелее, чем когда без усталости размахивал косою.

— Подсоби, Федот, — сказал он, — подсоби маленько, чтоб упущения не было; я тем временем дойду до снохи, кваску выпью...

— Давай, давай!.. Нам не впервые! — бойко и с величайшей готовностью проговорил Федот. — Ступай, дядя, справимся!..

Федот выпрямился, молодецки поправил картуз, поплевал в ладони и взял косу.

VII

— Никак, подсобить хочешь!.. — произнес соседний мужик.

— Нам это дело в привычку! — хвастливо возразил Федот, — в наших местах — мы на Оке живем — луга такие: конца-краю не видно, глазом не обведешь! Месяц целый косим: весь мир косит, а все остается верст на десять нескошенного места... так и оставляем... скот травит.

Сказав это, Федот снова поправил картуз, снова поплевал в ладонь и молодецки махнул косою; но луга косить, видно, не то, что рожь; под косою Федота жнивья осталось вдвое больше, чем следовало, и колосья, захваченные им, легли не в ряд, а раскидались на стороны. Два молодые парня, работавшие слева, громко засмеялись.

Федот повернулся к ним спиной и осмотрел косу.

— Ну, уж коса! — сказал он с усмешкою, обращаясь к мужику, который начал разговор, — диковинное дело, как только Карп управляется... Как есть ничего не берет! Дай-ка, братец ты мой, точило... Эх, была у меня коса — вот так уж точно коса! — подхватил Федот, принимаясь водить бруском по лезвию, — и теперь еще две такие же дома остались — вот так косы! Случается, найдешь на такое место — конятник заросло, — такие места есть, — махнешь косою — словно трава валится! В наших местах всё такие-то косы, по два рубля платим; этих, какими вы косите, у нас в заводе нет, впервые вижу...

— Слышь, брат, — сказал словоохотливый мужичок, — ты этак по одной-то половине не води точилом... этак совсем косу затупишь.

— Ничего, ладно, живет! — возразил Федот, возвращая ему точило.

Не поворачиваясь к двум смеявшимся парням, Федот снова принялся за работу: но дело по-прежнему не клеилось; чем больше он храбрился, чем сильнее махал косою, тем дело меньше спорилось, — выходило и криво и косо.

— А, Федот! отколь бог принес? — неожиданно спросил Гаврило.

— К Карпу за делом пришел... Он отошел кваску испить; подсобить попросил...

— Да что ты, брат, косы, что ли, в руки не брал? — сказал Гаврило. — Смотри-ка, что натворил!..

Молодые парни опять засмеялись; даже словоохотливый мужичок начал ухмыляться.

— Натворишь поневоле! — возразил Федот, тыкая с сердцем косу в землю, — вишь, у вас косы-то какие... мне не в привычку...

— А как же Карп-то косит? ведь ладно же выходит, не по-твоему!..

— Не такую мы косьбу видали! — сказал Федот тоном надменного пренебрежения, скрывавшим обиженное чувство. — В степи жить приходилось, рожь-то вдвое повыше вашей, — косили не хуже других!.. По два целковых в день получал... стало, не даром; дело свое знаем...

Он замолк, увидев приближающегося Карпа.

Гаврило и соседние ребята начали было трунить над Федотом, указывая Карпу на работу его родственника; но ни Карп, ни Федот ничего не отвечали. Первый молча взял свою косу и продолжал работу, которая пошла как по маслу; второй, поправив картуз, обратился к старику и громко вымолвил:

— Приходи же, смотри, как я сказывал...

— Ладно, приду, — отвечал Карп, не поворачиваясь.

Такая невнимательная выходка со стороны старика, — и еще при людях, вконец, по-видимому, разбидела Федота; куда ни обращались глаза, он всюду встречал ухмыляющиеся лица. Помявшись с минуту на месте, как человек, который ищет угла, чтобы спрятаться, Федот вдруг повернулся спиною и, никому не поклонившись, никому не сказав слова, пустился мелким, пристыженным шажком в обратный путь.

По мере того, однако ж, как удалялся он от места, где претерпел столько неудач, стан его заметно выпрямлялся и глаза снова начали посматривать сверху

вниз; проходя мимо подвод и баб, он выступал уже величественным, сдержанным шагом; дальше он начал насвистывать; еще дальше — вся фигура его приняла беззаботный вид человека, который вышел прогуляться для собственного удовольствия; наконец Федот окончательно пропал из виду.

VIII

Известие, сообщенное Федотом, сильно, казалось, встревожило старого Карпа. До того времени болтливый и разговорчивый, он впал вдруг в крайнюю несообщительность; на расспросы соседей, желавших узнать, зачем был Федот, старик отделивался, говоря, что родственник приходил безо всякой цели, а чаще всего отмалчивался. Он точно так же усердно продолжал косить, хотя уже видно было, что работа шла теперь машинально и косою водило не столько сознание, сколько привычка такого занятия. Пот лил с него ручьями; он оставался, однако ж, к этому менее прежнего чувствительным; он реже даже останавливался, чтобы дать себе отдых, остыть и порасправить спину.

Несмотря на то, что солнце совсем уже скатилось к горизонту, в поле было почти так же душно, как в полдень. Воздух, налитый испарениями, был неподвижен; самые тонкие стебельки, приходившие в колебание без всякой видимой причины, стояли теперь, как околдованные, облако пыли, поднятое стадом, которое полчаса назад прогнали в деревню по отдаленному холму, стояло так же высоко и только постепенно меняло свой цвет, превращаясь из золотистого в багровое, по мере того как ниже опускалось солнце.

Наконец солнце скрылось.

— Дядя Карп, народ по домам пошел! — сказал соседний мужичок.

— Шабаш! — послышалось в отдалении. — Шабаш, домой! — подхватили ближайшие косари.

Карп молча подбросил косу на плечо и поднял голову.

В разных концах поля народ направлялся к деревне; то тут, то там раздавался скрип навьюченных снопами телег, которые тяжело покачивались, пробираясь по пашне.

Карп направился ускоренным шагом в надежде догнать сноху свою; но ее нигде не было; она не кормила ребенка и, как все бабы, избавленные от такой заботы, успела, вероятно, отойти очень далеко. Попадались только те бабы, которые поневоле должны были отставать, потому что еле-еле передвигали ногами, неся на спине люльку, а в руках серп и кувшинчик.

При повороте с поля на дорогу Карп встретился с Гаврилой.

— Ну, брат Карп Иваныч, разобидели мы твоего Федота, — смеясь, заговорил староста, — пошел от нас — никому даже слова не промолвил; что за человек такой уродился! Сказывают, опять переменял место; на люблинской мельнице нанялся теперь... Зачем это приходил он? Тебя, что ли, проведать?

— Эх! — произнес старик, махнув рукою.

— Разве что неладно?

— Такое дело, совсем даже в сумленье приводит; зарецкий Аксен, что лесом торгует, прислал его ко мне...

— Зачем?

— Сказывал я тебе, приторговал я у него избу, — начал Карп таким голосом, как будто у него накипело в сердце и он рад был, наконец, высказаться, — задатку взял он с меня семьдесят рублей; дело совсем сладили; теперь прислал Федота, говорит: «прибавить надо к прежнему задатку»; очень, вишь, много народу на ту избу охотятся и деньги все сейчас отдают; «несходно, говорит, ждать до осени!». Сам суди, Гаврило Леоныч, откуда взять теперь денег? Хлеб не убран, и хошь бы и убран был — все одно не время его продавать; только в убыток продашь... Вот дело какое — шут его возьми! Я третий год за избой гоняюсь; так было обрадовался; моя совсем плоха; насилу прозимовали... Коли Аксен заартачится, не знаю, право, где уж искать избу; в своей зиму никак не проживешь; вся кругом как есть промерзает... Эх, шут его возьми! скрутил он меня этим по рукам и ногам...

— Почему за избу-то просит?

— Уговор был двести тридцать рублей, совсем уж было поладили...

— Сходно; по теперешним ценам на что сходнее.

— Об том и сокрушаешься; сходнее не найти; по-

тому больше и жаль, Гаврило Леоныч... — вымолвил старик, насупив брови.

Немного погодя, сквозь сереющие сумерки открылась деревня; войдя в околицу, Карп и Гаврило расстались.

IX

Антоновка выстроена была под самым скатом, на плоской луговине, которую огибала небольшая речка; во всякое время на улице стояла топь непроходимая; только теперешнее лето могло вполне просушить ее и превратить грязь в слой пыли. Избы шли в два порядка, со множеством узеньких проулков; в глубине деревни, там, где речка делала поворот и пропадала, высоко подымалось несколько старинных ветел; дальше, за ветлами, снова шли пологие холмы, исполосованные оврагами и темными клиньями сосновых перелесков.

Изба Карпа выходила углом в проулок и на улицу; она действительно никуда больше не годилась, как в лом; бок ее, смотревший на улицу, круто выпучивался и, без сомнения, давно бы повалился, если б хозяин не позаботился подпереть его двумя осиновыми плахами; все пазы были вымазаны глиной, которая истрескалась от жары и во многих местах отвалилась. Изба была одною из самых старых в деревне; Карп доживавший уже седьмой десяток, не помнил, когда ее ставили. Ветхость избы еще заметнее бросалась в глаза от соседства с плетнями, которые отличались плотностью, стояли прямо на толстых высоких кольях. Карп не осиливал только с избою, все остальное, что зависело от его рук и средств, смотрело как нельзя пригляднее и обличало домовитого, деятельного хозяина.

Войдя на двор, Карп встречен был блеянием овец, фырканьем трех лошадей и глухим чмоканьем коровы, которая в сумерках принимала вид огромного белого камня, брошенного посреди двора. Старик повесил под навес косу, вступил в темные сени, но наткнулся на кого-то и поспешно отступил на шаг.

— Ай, дедушка, чуть Ваську не уронил! — раздался тоненький голосок.

При этом на крыльцо выступила девочка лет семи,

державшая на руках толстого, как пузырь, ребенка, который кряхтел и отдувался, как словно не его тащила девочка, а он нес ее на руках своих.

— А сама что под ноги лезешь! — проговорил ворчливо дедушка, входя в избу.

В избе царствовала уже тьма крошечная; от жары едва можно было переводить дух; мухи, бившиеся на потолке и в окнах, наполняли ее глухим журчаньем. Заслышав шум у печки, Карп обратился в ту сторону.

— Старуха, ужинать собирай; я чайл, все уж у вас готово...

— Сейчас, батюшка; сейчас сноха вынесет стол на крылечко; здесь пуще жарко... Нонче печь топили; новые хлебы, из новой муки пекла; мука белая, хорошая, на скус хлебы прошлогоднего лучше...

Но и это обстоятельство, всегда почти тешащее душу простолюдина, столь бедного на прихоти и радости всякого рода, не произвело никакого действия на Карпа.

Он повесил голову, вышел из избы и снова в сенях чуть было не сшиб с ног девочку, которая, вся изогнувшись на один бок, тащила толстого Ваську.

— Ох! — крикнула девочка, с трудом пятясь назад, — ох, дедушка, — Васька! Ваську чуть не уронил!..

— А ты опять под ноги лезешь!

— Что ты его взаправду все таскаешь — сядь поди с ним, Дуня! Сядь, — проговорила сноха, явившаяся на крылечко собирать ужин.

— Здорово, батюшка! — раздался голос из-под навеса, и на дворе показался рослый мужик, лицо которого невозможно было рассмотреть за темнотою.

Это был сын Карпа и муж молодой женщины, хлопотавшей с ужином. Карп лет уже семь освобожден был, за старостью, от всякой работы: он постоянно, однако ж, ходил в поле и исполнял все мирские и господские повинности; старик находил расчет работать за сына, который в это время управлялся в собственном поле или занимался дома; расчет был верен: Петр (так звали сына) был одним из лучших работников Антоновки.

Выйдя из-под навеса, Петр махнул рукою и погнал лошадей к воротам.

— Погоди, Петруха, — сказал старик прежде еще, чем сын коснулся ворот, — кто нынче у нас в ночном? Чей черед?

— Андрей Воробей с ребятами поедет.

— Смотри, молодого серого меринка не спутывай: он не сильно боек, не уйдет от табуна; боюсь, как спутаешь, зашибут его копытами... У Гаврилы кобыла бойкая такая, скольких уж зашибла!

— Ладно, батюшка!

Серый этот меринок дороже был Карпу всей остальной скотины; в продолжение десяти лет старику, несмотря на все старания, никак не удавалось вывести ни одной лошаденки своего завода; все или дошли, или оказывались слабыми; этот конек вознаградил его, наконец, за все неудачи: серый меринок, которому пошел уже четвертый год, удался во всех статьях; старик не мог на него нарадоваться и берег его пуще глаза.

Петр отворил ворота и вышел с лошадьми на улицу. Немного погодя он вернулся, поднялся на крыльцо и сел подле отца на лавку, которую поставила жена.

Х

— Что, как нонче день? — спросил старик.

— Ничего, батюшка, ладно; рожь совсем решил, завтра возить стану.

— Сыплется, чай?

— Сыплется, только не много; впору захватили; умолот будет знатный!..

В эту минуту старуха поставила на стол чашку с тертым горохом, приправленным маслом.

— Ты, касатик, хлебца-то новенького отведай, — сказала она, подавая мужу полновесный ломоть и крепко нажимая его пальцами, как бы желая доказать этим мягкость и доброкачественность хлеба, — отведай, батюшка: с прошлого года новенького хлебца не ели...

— Ой! бабушка, пропусти! ой, не пролезу; ох!.. — отчаянно прокричала вдруг Дуня, стараясь пролезть между столом и лавкой и всеми силами упирая живот Васьки в край лавки, а собственный затылок в стол. — Ой, не пролезу! бабушка, пропусти! — повторила она, но уже со слезами в голосе.

— Ступай, родная; ступай, Христос с тобою... — промолвила бабушка, торопливо отодвигая лавку.

— Ой, тятка, пропусти... ой, уроню Ваську! —

снова закричала Дуня, увязая на этот раз между столом и коленями отца.

Петр привстал и подсобил дочке усесться с Васькой между собой и дедом.

Во время этих переходов и неудач, повторявшихся сто раз в день, на долю Васьки выпадало всегда большее число испытаний, даром что сидел он постоянно на руках сестры и казался вдвое ее сильнее. Часто тоненькие руки Дуни туго обхватывали Ваську поперек живота; часто, заигравшись на улице с подругами и поспешая на зов матери или бабушки, она второпях брала Ваську таким образом, что он совсем перевешивался набок, цепляясь ручонками за ее рубашку; случалось даже Ваське висеть головою вниз и болтать в воздухе ногами; но все это было ему решительно ни о чем; в какое бы трудное положение ни приводила его Дуня, он казался совершенно довольным и никогда не пищал; но зато стоило сестре попробовать посадить его на лавку или на траву, — Васька мгновенно багровел, начинал трясти руками, наливался весь кровью, так что даже кожа его лоснилась, — и раздражался вдруг пронзительным воем, который сию же минуту привлекал и мать и бабушку.

Усевшись со своим неизбежным спутником, который открыл рот, как только услышал запах еды, — Дуня придвинулась к чашке: ложка девочки ни разу не коснулась ее губ без того, чтобы сначала не попасть в рот брата; она пичкала его с таким усердием, Васька так уписывал, что отец и мать только посмеивались.

Одна бабушка не разделяла их веселости.

— Ешь, батюшка; кушай на здоровье, касатик, Христос с тобою! — повторяла старушка озабоченным голосом.

После ужина Карп обратился к востоку, перекрестился и потребовал шапку.

— Куда ты? Никак идти собрался? — спросила старуха.

— Да; дело такое вышло... Шапку давай! — повторил Карп, усаживаясь на ступени крыльца, чтобы снять лапти.

— Куда ты, батюшка? Никак, взаправду идти хочешь? — спросил в свою очередь Петр.

— Да, на реку надо сходить...

— Ты бы завтра; не то мне вели — я сбегаяю.

— Нет, дело такое, надо самому идти, — приду, отдохну потом.

Карп взял шапку и вышел за ворота, плотно заперев их за собою.

XI

Темная звездная ночь давным-давно обняла небо.

Выйдя за околицу, Карп несколько раз шмыгнул босою ногою по траве; нога его осталась почти сухою; воздух, не освеженный рососою, был тяжел, душен, точно перед грозою; нигде, однако ж, не видно было признака тучи: только зарницы, вспыхивая поминутно, обливали окрестность красноватым светом.

Дорога на Оку шла все время по берегу маленькой речки; сделав крутой поворот за Антоновкой, речка протекала дном плоской долины и версты три далее впадала в Оку. Местами бока долины суживались, местами расходились, образуя по обеим сторонам речки более или менее пространные луговины.

Приближаясь к первому из этих лугов, Карп услышал лошадиное фыркание, сопровождаемое визгом и глухими ударами копыт. При блеске зарниц различил он табун, который только что выгнали в «ночное». Старик свернул с дороги и пошел к лошадям. Почти в ту же минуту его окликнули:

— Кто идет?..

— Я, — отозвался Карп, направляясь прямо к длинному человеку, который так же скоро шел к нему навстречу.

— Ты, Карп Иваныч? — заговорил длинный человек тоненькой, надорванной фистулой, которая заслужила ему еще с детства прозвище Воробья, — я вечер еще собирался поговорить с тобою...

— Об чем это?

— Сродственник твой Федот, что женат на твоей племяннице, нанялся теперь на люблинской мельнице...

— Знаю: ну так что ж?

— Скажи ему, — произнес Воробей, неожиданно оживляясь, причем голос его сделался еще пронзительнее, — скажи ему, коли станет он шляться у моей риги или застану его опять у себя в огороде — ему так не сойдет; там что ни выйдет, на себя пусть пеняет!..

— Что ты, Андрей; в другом чем не постою за него, а насчет то есть баловства такого, чтобы на чужое добро польстился,— этого за ним никогда не водилось; никогда об этом слуху даже не было...

— Я не насчет того говорю,— подхватил Воробей тем же раздраженным голосом,— я знаю, чего ему надо; он, собака, к сестре моей подлащивается, вот что! Она хошь и солдатка, человек вольный, а пока с нами живет, не хочу я этого сраму брать... Не хочу, чтобы ходил он к нам! Ей-богу, провалиться на месте,— коли еще раз застану в риге или увижу в огороде,— ей-богу, мы с братом намнем ему бока так, что не встанет!.. Так и скажи, коли увидишь; так и скажи! Ей-богу, исколотим всего в один синяк! Так и скажи!

В ответ на это Карп только тряхнул шапкой и досадливо крикнул. Рассудив, что при теперешнем настроении Воробья нечего думать поручать ему присмотреть за мерином, старик простился с Андреем и, обещав поговорить Федоту, поплелся далее.

Вскоре шум табуна начал удаляться и, наконец, совсем пропал.

Мертвая тишина стояла над рекою и склонами долины, которые то озарялись зарницами, то погружались в темноту непроницаемую.

Карп услышал шум небольшой мельницы, которую также содержал богатый люблинский мельник. Люблинская мельница находилась уже при самом впадении речки в Оку. Миновав плотину и пройдя вдоль забора, ограждавшего мельничный двор, за которым раздался сиплый лай цепной собаки, Карп продолжал путь другим берегом реки.

С этой стороны бок долины неожиданно изменялся; склон ее подымался круче и весь, сверху донизу, покрыт был густым орешником; местами, как остовы великанов, возвышались над чащей сухие столетние дубы, простиравшие к небу черные, причудливо изогнутые ветви. Немного далее лес, как словно насильственно раздвинутый, оставлял с вершины холма донизу совершенно голую почву, покрытую рядами ям и бугров, которые, каждый раз как вздрагивала зарница, придавали перелеску особенно мрачный, пустынный характер.

Место это считалось вообще «недобрым» в околотке. Тут, сказывали, находилась когда-то деревня, которая до последней щепочки выгорела от громового огня. Носились также слухи, будто в давние времена Ока при весеннем разливе принесла сюда расшиву, нагруженную татарским золотом; барка застряла именно в этом месте, после чего ее доверху занесло илом. Лет тридцать назад нашелся одинокий старый мужичок (Карп помнил его очень хорошо), который не шутя прельстился сокровищами, скрывавшимися будто бы в этом месте. Он стал ходить сюда чаще и чаще; сначала ходил он так, ради любопытства; осмотреться, что ли, ему прежде хотелось — неизвестно; потом начал брать с собою скребок и уже каждый день с утра до вечера, с зари до зари, проводил время, взрывая и ворочая землю. Так провел он целое лето. Он с каждым днем заметно более и более впадал в раздумье; мало-помалу перестал он с людьми разговаривать, начал дичиться и бегать от ближайших знакомых. Раз, — это было уже осенью, — батраки люблинской мельницы, проходя мимо этого места холодной морозною зарею, нашли старика распростертого навзничь с лопатой в руках: стали его окликать, подошли ближе, — он был мертв.

Множество баб и даже некоторые, по-видимому, степенные, люди положительно утверждали, что самим им случалось, проходя мимо Глиница (так звали место), слышать подземный жалобный стон, от которого сами собою начинали шевелиться уши и холод пробегал по спине и волосам. Короче сказать, место считалось «проклятым», и редкий человек даже среди белого дня не проходил мимо, не ускоряя шага.

Но Карп, надо полагать, не верил таким слухам; быть может также, чувство страха ослаблялось в нем привычкой; более шестидесяти лет ходил он мимо Глиница, и во все это время ни разу с ним ничего не случилось. Мудреного нет тоже, мысли Карпа слишком сильно заняты были предстоящей беседой с Аксе-ном, чтобы мог он обратить на что-нибудь внимание.

По мере приближения к Оке лес редел, и щеки долины расходились, оставляя место просторным лугам. В непроницаемо темной глубине сверкнула, наконец, Ока; по мере того как река открывалась, душливый

воздух заметно освежался. Слева, над берегом, возносились черными неправильными углами строения большой люблинской мельницы. Дорога делала неожиданно поворот и прямо вела к парому. В то время, когда Карп проходил мимо пристани, парома не было; недвижною темною точкой стоял он, казалось, на гладкой поверхности реки, отражавшей мириады мигающих звезд. Далее, шагах во ста от пристани, громоздилась куча бревен; тут же насупротив возвышалось несколько новых, непокрытых срубов.

Проходя мимо одного из них, Карп невольно приостановился и оглядел его сверху донизу; это была та самая изба, которую он приторговал у Аксена.

Карп прямо пошел к маленькой крытой избушке, в которой летнею порою помещался обыкновенно Аксен.

У входа, на траве, раскинувшись на войлоке и прикрывшись полушубком, лежал человек, который хрипел «во всю ивановскую».

ХIII

— Аксен! — сказал Карп, нагибаясь к спавшему и слегка подталкивая его. — Аксен Андреев!..

— А? — проговорил Аксен, высовывая из-под овчины голову и прерывая свой сон безо всякого затруднения, с легкостью, свойственною вообще тем деятельным простолюдинам, для которых первый жизненный вопрос — дело, барыш, и которые отдаются отдыху не в условный час, не когда захочется, а когда свободно и где придется.

— К тебе, Аксен Андреич! — вымолвил старик не совсем уверенным голосом, — в другое время недосуд ходить; ты присылал ко мне нонче Федота.

— Посылать — не посылал, только велел сказать при случае: ты бы ко мне как-нибудь понаведалься.

— Сказал он... Я все в толк не возьму, Аксен, право, в толк не возьму; ведь я тебе семьдесят рублей задатку отдал...

— Отдал.

— Тогда уговор у нас был: семьдесят рублей задатку, а в осень, после уборки, остальные деньги... Со всем было того — поладили; теперь что ж это будет такое? Ведь этак, Аксен, не годится, право, не годится...

— Экой ты, братец мой, чудной какой! — право, чудной! Я от задатка твоего разве отказываюсь? Говорю только: надо как-нибудь сладить, потому выходит дело совсем несходное. Всяк свой барыш наблюдает; ты норовишь себе потрафить — я себе... Вот теперича человек двадцать напрашиваются на избуто! — и деньги все сейчас отдают, как есть до копейки. На прошлой неделе выселковский мужичок приходил ко мне; так тот тридцать рублей лишку давал, в упрям просил, отдай только! Рассуди сам таперича: люди деньги выкладывают; барыши дают; за тобой надо ждать еще два месяца, пожалуй что и тогда не разделашься с хлебом, — не соберешься с деньгами... Суди, сходно ли? А насчет задатка говорить нечего, возьми его хоть завтра...

— Что ж ты прежде мне об этом не сказывал? — произнес старик досадливым голосом, — вишь, время какое — самая уборка! Сам знаешь: где нашему брату достать денег?.. Где их взять!

— Денег у тебя не спрашиваю; может, так как-нибудь, без денег, сойдемся.

Карп ясно понял, что Аксен неспроста отказывался от денег, что, верно, держал на уме какое-нибудь намерение. Старик не показал, однако ж, виду своего недоумения; он сделался только внимательнее прежнего.

— Вот к осени коров стану бить на мясо, — проговорил Аксен, — не найдется ли у тебя лишней скотины?..

— Всего одна корова.

— Ну, в другом чем сойдемся... У тебя меринок серый трехгодовалый... его отдай; цену, какую положишь, та и пойдет в счет избы...

Предложение Аксена поразило Карпа самым неожиданным образом. Он знал очень хорошо, что Аксен не тот человек, чтобы стал говорить зря и наобум касательно приобретения лошади, что, верно, он имел свои виды, что все это давно было у него обдуманно.

Несмотря на свою наружную простоту и сговорчивость, Аксен принадлежал к числу самых тонких, самых пронырливых и хитрых мужиков уезда. Способность его пронюхивать барыш там, где другие барыша не подозревали, могла только равняться с его оборотливостью и неутомимой деятельностью. Аксена видели всюду, на всех ярмарках, базарах, по пристаням в торговые дни; он вел торговлю сплавным ле-

сом, досками, солил солонину, торговал говядиной, жег кирпичи и известку, скупал рощи, сымал сады у помещиков. Нельзя сказать, чтобы товар его был хорош и отличался доброкачеством; все делалось спешно, зря, на живую руку: говядина была тощая, яблоки снимались незрелыми, срубленный лес продавался всегда сырым, кирпичи были недопечены. «Ничего, сойдет!» — говорил всегда Аксен. И точно, крестьяне и помещики уезда поневоле должны были обращаться к Аксену, который силою денег и деятельности завладел мелкою торговлею уезда.

Карп знал также — и это всего более приводило старика в расстройство, — что, при простоте своей и сговорчивости, Аксен — человек крепкий, как кремень; если уж что заберет в голову, ни за что не уступится. Нечего, значит, было и разговаривать; надо было тут же решиться или уступить серого меринка, или взять назад задаток и отказаться от избы. Тем не менее Карпу обидно как-то показалось уступить сразу, с первого слова.

— Рассуди теперь и ты, Аксен Андреич, — произнес он внушительно, — у меня две лошади: хорошо, отдам я тебе меринка, как же я при одной останусь?..

— Скоро осень, а там и зима привалит; больше одной лошади держать тогда незачем; у вас же все на оброке, обозов не справляют, зачем две лошади? Куда их? только корм травить понапрасну... Пожалуй, я и на то согласен: до того времени, как в поле работа не кончится, оставь у себя мерина, я за этим не погонюсь.

— Кто ж тебе об нем сказывал? — спросил Карп, у которого при этом словно подступило к сердцу.

— Мало ли сюда ходит всякого народу... из вашей деревни, из других также; пуще, признаться, хвастал сродственник твой Федот...

— Он-то, собака, из чего? — промолвил старик, быстро сжимая кулаки и так же скоро разжимая их, чтобы не заметил этого собеседник.

— Уж этого я не знаю; только каждый день придет, и давай хвалить... Заезжай, говорит, погляди да погляди! Было мне к вам по дороге, я и подъехал к вашему табуну... Федот со мной ввязался; он и лошадь указал... Точно, лошаденка складная; шестьдесят рублей можно дать.

Подвернись в эту минуту Федот, старик разругал

бы его на все бока; мало того, вцепился бы, кажется, в жиденькую бородку родственника и тряс бы ее до тех пор, пока волоска не осталось.

Тут между Карпом и Аксеном завязался сильный торг, который кончился тем, что Аксен прибавил за мерина еще четыре с полтиной; на том дело и остановилось. Эти шестьдесят четыре с полтиной, приложенные к прежним семидесяти рублям, составляли сумму, которая, в качестве задатка, совершенно удовлетворяла Аксена; с Карпа оставалось получить около ста рублей; Аксен соглашался ждать эти деньги до осени, как прежде было условлено.

— Когда же за мерином-то прислать? — спросил Аксен.

— Хошь завтра, хошь послезавтра — когда хочешь! — проговорил Карп отрывисто.

Он поправил шапку, которая во время этих разговоров совсем скосилась на сторону, и, простившись с Аксеном, повернул на дорогу.

— Эй, слышь, Карп! — крикнул Аксен, делая шаг вперед, — слышь — Федот ко мне просился; взять его, что ли?

— Провались он совсем! — нетерпеливо возразил Карп.

— Не брать, стало, что ли?

— Ведь он, собака его ешь, две недели всего нанялся на люблинской мельнице — чего ему еще? — спросил Карп, останавливаясь. — Три целковых в неделю жалованья одного получает, чего ж еще — собаке!

— Он, что ли, тебе сказывал? — смеясь, вымолвил Аксен, — ну, здоров, значит, врать-то! Всего за четыре рубли в месяц живет: за ту же цену и ко мне просится; так как же, по-твоему, взять его, что ли?

— А пес его возьми совсем! — с сердцем сказал Карп, удаляясь.

XIV

Когда Карп подошел к окраине той части берега, где находилась пристань, паром стоял уже на причале. Фигуры двух перевозчиков смутно обозначались на песке берега; сколько можно судить по голосам, тут, кроме перевозчиков, находилось еще несколько человек. Все они сидели у самой воды и громко разговари-

вали. Проходя мимо, Карп явственно услышал голос Федота.

Первым движением старика было сойти по скату берега и тут же, при людях, осрамить Федота и разругать его на чем свет стоит; но он удержался, рассудив тотчас же, что этим дела не поправишь. К тому же степенный нрав старика противился всякому шуму и брани, — особенно на миру, при чужих людях.

«Ну его, поганца! подвернется где-нибудь в одиночку — я ему тогда все припомню!» — подумал старик, отводя глаза от парома.

Голос Федота громко раздавался: заметно было, он говорил с жаром и увлечением.

Карп невольно замедлил шаг; минуту спустя он остановился и насторожил слух; любопытно стало ему послушать, о чем это так горячо тараторил его родственник.

— Эка невидаль пять пудов поднять! Как жил я на крупчатой мельнице под Коломной, такие у нас батраки были, мешка по четыре пшеницы в третий верх таскали! Значит, пудов по десяти! Самому, бывало, не одна случалось... Известно, был я в ту пору помоложе!.. Да это что, братцы, — вот дед был у меня, так точно была силища! Супротив него таких теперь и людей нет! Пойдем, бывало, на пристань в базарный день, распоясается: «выходи!» — кричит; первого, кто покуражился, хлобызнет, бывало, под сусолы либо под микитки — тут тому и конец... Бывало, часа по три без отдыха бьется, весь даже синий делается, словно чугунный котел; а все, кто ни подвернется, — так и кладет лоском. «Нет еще, говорит, человека такого, кто бы победил меня! Был бы только, говорит, крест на человеке, со всяким буду драться, никого не боюсь!..» Такая была крепкая скотина!.. А насчет того, о чем прежде спрашивали, братцы, — это мне наплевать! я был и сам у Герасима (так звали люблинского мельника) — ни за что не остался! Нанялся я у него потому больше, что надо как-нибудь время проволочить недельки еще на четыре! — с уверенностью продолжал Федот, — такой уговор был у меня с купцом Бахрушиным... Прокофий Андреевич — звать... Вы, чай, об нем слыхали? первейший купец в Коломне, миллионщик, торгует на первый сорт, и в Москве также лавку свою содержит... Такой уговор был у нас: «как поделюсь, говорит, с братом, ты,

Федот Васильич, ко мне поступай, и жалованье, примерно, и все такое, говорит, будет тебе по самому настоящему положенью...» Он сродни мне доводится... по жене... Потому жена моя купеческого званья... Жду, значит, теперича этого раздела промеж братьев; по той самой причине и поступил сюда... Главная причина, мы к этой мельницкой должности не приучены; жили всё по торговой части, этим больше сызмалетства занимались, и родители мои также... Упокойный родитель трактир содержал; также лавку с красным товаром.

— Вы, значит, в городе жили? — спросил один из слушателей.

— Нет, дома; только у нас село больше другого города; церковей одних семь, и все каменные; дома также все каменные; фабрик одних, никак, пять или шесть... Всё богачи содержат, купцы московские и серпуховские... Мы к торговле с малых лет приобучены... Во всем, значит, привычка требуется... Посади теперь любого из вас, братцы, в лавку либо в трактир, как есть ни один не управится, — в лесу все единственно!..

— Где! куда тебе! Уж это как есть! — отозвалось несколько слушателей.

— Главная причина, Прокофий Андреич потому и звал меня; знает, я ихнее дело наскрозь произошел... Хозяйка моя тем временем своим домом станет управляться... У нее две батрачки... да еще девочку нанимает для подмоги.

— Что ж много? — спросил кто-то.

— А ты думаешь, как? — еще словоохотливее заговорил Федот, — у меня дом-то немалое количество: в три сруба выстроен!.. В наших местах все так строят; нет этих здешних изб... Внизу стряпают; работницы и батраки живут...

— Ты разве и батраков держишь?

— А то как же? Двух нанимаю... Кто ж бы землю стал пахать?.. У нас земли и лугов не то, что здесь... Ну, внизу батраки, вверху горница — мы с женою занимаем... Вот, братцы, коли кто из вас в Москву пойдет, заходите дорогой... Меня не будет — все единственно, к хозяйке моей зайдите; скажите: «Федот, мол, прислал»; сами посмотрите наше житье... Прошлого года дом мой под трактир нанимали, только не отдал; несходно... И хозяйка так говорит: «не отдавай, говорит, Федот Васильич; самим потом на-

нимать надо, одно на одно выйдет...» Заходите же, братцы; посмотрите на мое житье, сами скажете: из какого, мол, дьявола таскаться так-то Федоту по мельницам!..

— То-то и я так думаю... — проговорил тоном недоверия и насмешки один из слушателей, — хошь бы теперича набиваешься ты к Аксену в работники... Из какой такой неволи?..

— Эх, братец ты мой! — произнес Федот с таким выражением, что можно было думать, он обращался к пустому и вздорному малому, который совался в разговор затем только, чтобы противоречить. — Говорю вам, братцы, пуще всего надо проволочить время. Пока Прокофий Андреич с братом не поделятся — все же одно, делать нечего, деньги свои понапрасну проживать, что ли?

— Денежки-то, стало, водятся?

— Да, — проговорил Федот с какою-то густотою в голосе, — после упокойного родителя тышчонки две, может, осталось... и теперича есть...

— Врешь! — отозвались почти все в один голос.

— Приходите, покажу... И больше было, только дом дорого стал, на стройку много пошло...

— Где ж у тебя эти деньги? — спросил кто-то.

— Известно, в сундуке спрятаны; где ж им больше быть?..

— Уж подлинно: охота пуще неволи! — снова заметил собеседник, обращавшийся с недоверчивостью. — Будь у меня такие деньги, стал бы я, как же, по чужим людям шляться...

— Говоришь так, братец ты мой, потому, — денег у тебя нет своих, — вот что! было бы, стал бы беречь их, все единственно... Коли сила есть в тебе, почему ж и не поработать? — рассудительно продолжал Федот, — бережешь пуще к старости, было бы тогда чем прожить, вот что! Хоронишь также деньги из осторожности: люди бы не зарились, займы не просили: покажи только; тот: «Федот Васильич, ссуди»; другой: «Федот Васильич, ссуди»... Дашь — поди ищи потом, не то и вовсе пропали... Уж ведь бывали статьи такие! У меня сродство большое... Есть богатые, есть и бедные... всякие есть!.. Вот бы хошь теперь в Антоновке, может, знаете, старик живет, Карпом звать?.. сродни приводится... Также немало ему от меня денег-то перепало... почитай, я его и поправил... Теперь избу

новую торгует... Покажи только деньги, вынь их; сейчас пристанет: «Дай, да дай!..» Потому больше их и хоронишь!..

XV

Карп слушал-слушал и только качал головою, пожимал губами и время от времени ударял ладонями по коленям. При последних словах Федота он только плюнул.

— Ах ты, провал тебя возьми! собака ты этакая непутная!.. — проговорил он, выходя на дорогу и ускоряя шаг.

Перебирая все, что привелось теперь слышать, старик невольно забыл на минуту свое горе; он начал даже усмехаться.

Действительно, было над чем потешиться. Во всем, что говорил Федот, не было правды на маковую росинку. Жил он в маленькой разоренной деревушке, где не было даже часовни; дом его состоял из полуобвалившейся дымной лачужки, имевшей вид заплаты даже в соседстве невзрачных избенок; не было у него ни сохи, ни лошади, ни коровы; землю свою отдавал он за девять рублей в год одному из соседей. Жена Федота доводилась, как известно, Карпу племянницей; она была круглая сирота, и сам же Карп снарядил ей, по силе своей, кой-какое приданое. Она существовала тем, что ходила работать то к одной соседке, то к другой и жила в страшной бедности. Федот не заглядывал домой по целым полугодам. К какому бы месту он ни прилаживался, ему нигде не уживалось; он сам отходил, или его рассчитывали.

В первые два-три дня он приводил в восхищение самого взыскательного хозяина: расторопность его и усердие в работе — не имели границ; он разом хватался за все, и все кипело и выправлялось в руках его; не только прикладывал он старание к той части, для которой собственно его наняли, но радел и надсаживался там, где, казалось его вовсе не спрашивали; он выметал двор, чистил хозяйский самовар, приколачивал жерди или доски там, где они доставляли удобство; и вдруг, на третий или четвертый день, все это радение плашмя падало; он ни с того ни с сего насупливался, переставал говорить, словно его чем обиде-

ли, и, наконец, вовсе бросал заниматься делом: проводил день-деньской сидя у ворот или так бил баклуши. И все это происходило вовсе не потому, чтобы действительно нашел он повод быть чем-нибудь недовольным; такой уж, видно, каприз напал. Вдруг казалось ему, что хозяева не довольны его ценят и не отдают ему должного уважения; или выходило все из того, что он вдруг обижался, зачем, при возвращении с работы, хозяева не поставили ему самовара, тогда как он прежде вовсе не думал об этом, никогда этого не случалось, никогда даже не думали уговариваться насчет самовара ни хозяева, ни сам Федот. Как только такая дурь попадала Федоту в голову, он делался невыносим. Он начинал смотреть на всех свысока, делался недоступно-гордым и уже с этой минуты никого не удостаивал словом; едва-едва даже отвечал хозяевам, когда те спрашивали о самом важном деле.

Рассказы Федота недолго, впрочем, занимали Карпа; послав его мысленно к нечистому, старик снова обратился к настоящим своим делам и снова отдался прежним тревожным думам; к ним присоединялась теперь мысль об утрате серенького меринка, которого он так долго ждал, берег и холил с такою заботливостью.

Таким образом Карп незаметно почти возвратился в Антоновку; он не пошел к околице, но повернул задом деревни, прошел к себе в ригу, помолвился и растянулся на соломе, прикрыв лицо шапкой.

XVI

В сельской трудовой жизни, особенно с апреля до октября, время пролетает с невероятной быстротою; не успеваешь кончить с одной работой, смотришь, уже другая наготове; в иную пору скопляется вдруг столько занятий, что длинный летний день кажется коротким. Несмотря, что дело, по-видимому, очень немногосложно: все ограничивается овсом, рожью и сеном, — руки неутомимо работают и пот льется ручьями в продолжение целых шести месяцев.

Самые эти занятия так разнообразны и несхожи одно с другим, что каждое из них не только вносит новые условия в жизнь простолюдина, но совершенно даже дает новую физиономию деревне и окрестности:

Всего каких-нибудь четыре недели назад деревни и села были пусты и оживлялись только по праздникам или к вечеру, после солнечного заката. Жизнь сосредоточивалась в поле; там кипела полная деятельность; там от зари до зари неумолкаемо звенели косы, скрипели воза и раздавался говор. Теперь все переменялось; теперь, в свою очередь, опустело поле; самые стрекозы и мухи неизвестно куда вдруг делись; изредка слышится протяжное посвистывание пастуха, который лениво подгоняет тощее крестьянское стадо.

Время и дожди немало также содействовали к тому, чтобы дать окрестности другой характер; жара миновала, и вместе с тем побледнело лучезарное небо, на которое нельзя было взглянуть не прищурясь. Рощи смотрят теперь бодро, хотя по опушкам начинает кое-где показываться желтый лист; луга сбросили болезненный вид и снова стелются ярким зеленым бархатом; темные увлажненные десятины, только что засеянные под озимь, резко отделяясь от бледно-желтого жнивья, придают картинность местности, которая прежде затушевывалась скучным, однообразным серым тоном. С речкой также произошла перемена; она стала полнее, так что седые листья лопуха, которыми покрыты были песчаные откосы берегов, кажутся теперь плавающими над водою. Ручьи, едва заметно пробиравшиеся между камнями, звонко гремят теперь, унося с быстротою обломки древесной коры и сухие листья; но уже в укромных местах, густо обросших зарею и травами, там, где ручьи впадают в реку, — не роятся коромысла со своими стеклянными головками и кисейными крыльями.

Но что особенно бросалось в глаза, так это перемена в Антоновке. Она словно обновилась. Все почти избы покрыты новой соломой; на задах деревни неуклюжие риги заслонены скирдами, которые, привлекательно круглясь в сжатом пространстве гумен, гордо возносят свои остроконечные макушки. Со всех сторон раздаются учащенные удары цепов или слышится шум подбрасываемого на воздух зерна, которое звонко падает на гладко убитый ток.

В этой деятельности, сосредоточенной в деревне, всегда как-то меньше суетливости, чем в поле, даром что там она сжата, здесь рассеяна на большом пространстве. В поле чувствуется всегда присутствие чего-то спешного, судорожно-хлопотливого, — словно весь

работающий люд находится под влиянием тревожного какого-то ожидания; в деревне совсем не то; прислушайтесь осенью, в будничные день, к деревенским звукам — в них нет ничего беспокойного. Со всех сторон бьют цепи, шумит рожь, а между тем нет тревоги, нет суетливости; отовсюду веет миром и кротостью — чем-то таким, что сообщает душе спокойное, удовлетворенное чувство.

Тайна этого не заключается ли в тех высоких скирдах ржи и овса, которые заслоняют гумно каждого почти крестьянина?..

XVII

Хотя ворота Карповой риги — те ворота, которые отворялись на ток, — были настежь раскрыты, нечего было думать приступать с этой стороны. Из ворот вылетало, клубясь и подымаясь вверх, целое облако пыли; перед входом громоздился ворох куколи, мякины и всякого сору; кроме того, легкая летевшая пыль ослепила бы глаза. Надо было обогнуть строение и войти в другие ворота, также настежь отворенные, но обращенные к полям, откуда тянул легкий ветерок.

При входе в ригу сначала решительно ничего нельзя было рассмотреть от резкого перехода из света под темную крышу, но это проходило скоро. Прежде всего выставлялись горы взбитой соломы и между ними сквозь облако пыли виднелись Карп, его сын и сноха, которые, стоя друг против друга, неистово махали цепями, стараясь, по-видимому, истребить друг друга; потом, при взгляде наверх, постепенно выяснялись кривые стропила и пучки соломы, из которых поминутно вылетали ласточки, стремительно пропадавшие в светлом пятне ворот. Под конец глаз совершенно привыкал, начинал даже любоваться коричневым полусветом, который наполнял ригу и постепенно темнел, приближаясь к воротам, как бы для того, чтобы еще резче выставить всю миловидность светлого пейзажа с клочком голубого неба, зеленым лужком и сверкающим белым облаком, отражавшимся в повороте речки.

Судя по солнцу, время приближалось к полудню, когда за плетнем неожиданно раздались чьи-то охи;

вслед за тем в светлом пространстве ворот показалась Дуня.

Пройдя от дому до риги, она совсем уже запыхалась и через силу поддерживала Ваську; выпучив глаза и засунув в рот указательный палец, Васька так же мало, по-видимому, заботился о руках сестры, как паша какой-нибудь о диване, на котором покоится.

— Ух! — вымолвила Дуня, переваливая Ваську на другое плечо. — Дедушка, староста зовет! — подхватила она торопливо, — стучит под окнами, народ собирает... Под ветлой на улице народ собирается!..

— Чего им там надо! — произнес Карп, опуская цеп.

— Не знаю, дедушка! — отозвалась внучка, думавшая, что вопрос к ней относился.

— Гаврило никак в контору не ездил... — заметил Петр.

— Оттуда, может, приказ прислали, — сказал Карп, надевая шапку и утирая рукавом лицо, совсем почерневшее от пыли. — Скоро время обедать, — вымолвил он, останавливаясь в воротах, — вы, как копну домолотите, домой ступайте, я скоро приду.

— Ладно, батюшка! — отозвался сын, принимаясь снова за цеп.

XVIII

Народ действительно собирался к ветле, бросавшей тень на тесовую крышу мирского магазина. Еще издали Карп услышал шумный говор. Судя по тому, с какою поспешностью крестьяне шли к сборному месту, надо было думать, причина сбора была немаловажная и слух о ней успел уже обежать деревню.

Карп ускорил шаг.

— Карп, слышал? — обратился к нему старый мужичок, толкавшийся вместе с другими.

— Ничего не знаю...

— Оброк требуют!

— Как так?

— Теперь, говорят, требуют...

— Срок к Кузьме и Демьяну; всегда так отдавали... Еще семь недель до срока остается...

— Теперь, говорю, требуют! Из конторы писарь с бумагой приехал; сказывают, наказ такой из Питера барин прислал...

— Кто сказывал-то?

— Гаврило; он и бумагу читал...

Карп, приведенный в смущение таким известием, начал протискиваться в кружок, чтобы узнать что-нибудь повернее; но толку нельзя было добиться никакого; все говорили в одно и то же время, и все говорили разное, перетолковывая каждый по-своему. Теперь, как и всегда, впрочем, в случаях мирской сходки, первым действующим лицом являлся рыжий Филипп, тот самый, который смелее других выражал когда-то в поле свое мнение.

Голос его на этот раз не покрывал остальных голосов; тем не менее плечистая фигура его, целою головою почти превышавшая толпу, появлялась то в одном конце сборища, то в другом; шапка его то и дело пригибалась к уху товарищей, с которыми не переставал он втихомолку, но с одушевлением разговаривать.

— Где ж староста? Куда его носит! все, никак, собрались... Кого еще надо? — громко, наконец, произнес Филипп, выпрямляя голову. — Эй, Гаврило! — крикнул он еще громче, поглядывая на улицу и обращаясь к старосте, который обходил последние избы, постукивая в окна. — Эй, староста! ступай! Все уж здесь!..

— Иду! — отозвался Гаврило, торопливо направляясь к магазину.

Толпа расступилась и замкнула в свой круг старосту. Человек десять, из которых один только разбирал печать, но не мог читать писаного, легли Гавриле почти на спину.

— Что вы, братцы! — сказал староста, ворочаясь на месте, — думаете, что я от вас утаить хочу, что в грамоте писано... Бери, читай сам, кто хочет...

— Ну, читай, читай! — нетерпеливо вымолвил Филипп, становясь к старосте ближе всех. — Помолчи только, братцы, ничего как есть не слышно.

Вмиг все замолкло.

Гаврило вынул из-за пазухи письмо и прочел довольно внятно и толково следующее:

«Гаврило Андреев, с получением сего приказываю тебе собрать мирскую сходку и объявить о немедленном сборе оброка; в случае если выйдут какие замед-

ления, приказываю тебе не медля явиться в контору и донести мне об этом.

Старший управляющий конторой Попов».

Громкий ропот пробежал в толпе; все заколыхалось и пришло в движение.

XIX

— Что ж нам, братцы, делать теперича? — спросил Гаврило с недоумевающим видом.

— А то делать — не отдавать оброка, — вот и все! — сказал Филипп, оглядываясь вокруг и стараясь увериться, не торчит ли где-нибудь писарь, присланный из конторы. — Сказано: срок к Кузьме и Демьяну, — тому, стало, и быть! — прибавил он решительно.

— Писарь сказывал мне, — начал Гаврило, — из Питера в контору такой приказ пришел; сам барин велел оброк представить...

— Господа нашего положения не ведают; это все вертят эти мошенники управители! — заговорил опять Филипп. — Православные! — воскликнул он, неожиданно обращаясь к толпе, причем лицо его сделалось вдруг таким же красным, как волосы и коротенькая курчавая бородка, — православные! что ж вы стоите, молчите? Надо всем ответ держать!.. Что ж это такое! одно, выходит, разоренье! До оброка целых семь недель сроку остается... Откуда теперь взять его? У многих хлеб еще в поле; а хошь и обмолотились, куда его продашь? Цены нет никакой теперь. Даром, что ли, отдавать?

В толпе опять разом все заговорило, так что в первую минуту невозможно было разобрать слова.

— Погодите маленько, братцы, дайте слово сказать! — крикнул Гаврило.

Снова наступило молчание.

— Обо всем этом, что ты говоришь, Филипп, сами мы знаем, — начал Гаврило, — надо, примерно, не об этом... Настоящим делом рассудить надо... Оброка, говоришь, не платить... Велят — так заплатишь... Надо настоящее говорить... потому словесами одними ничего не сделаешь...

— Изволь, я и настоящее скажу... Давно бы ска-

зал... ты же перебиваешь! Настоящее то, что в контору надо ехать к управителю! — возразил Филипп. — Велели миру собраться — и собрался; миром и положили: время такое — нет силы-возможности отдавать оброка; к Кузьме-Демьяну отдадим, как следует по положенью... Теперь нет цены на хлеб... Продать теперь — значит разоренье одно... так и сказать надо!..

Все в один голос подхватили мысль Филиппа. Напрасно Гаврило убеждал в бесполезности поездки к управителю с таким порученьем, напрасно приводил из опыта разные примеры, — мир поставил на том, чтобы Гаврило ехал.

Решив таким образом, толпа стала расходиться, собираясь на улице маленькими кучками, в которых громко говорили.

Карп вернулся домой чуть ли не из последних.

Войдя на двор, он застал жену и сноху под навесом, где стояли лошади; обе женщины, припав к плетню лицом, жадно к чему-то прислушивались. До слуха старика долетели в то же время крики, раздававшиеся у соседа.

Скрип ворот заставил баб обернуться; обе побежали к Карпу.

— Батюшка, касатик, — заговорила старуха, — сейчас Воробей с братом сестру свою, солдатку, били... Так били — у нас даже слышно было... Пришли они, как народ стал расходиться, — и давай колотить... Слышим, кричат... Что такое, думаем?.. Подошли послушать: уж так-то кричит — и-и-и!..

Карп сейчас же смекнул, в чем дело; но он был слишком не в духе, чтобы вступить в разговор и дать жене и снохе объяснение того, что происходило у соседа. Он сделал вид, как будто не обратил никакого внимания на слова жены.

Поднявшись на крыльцо, он сказал только бабам, чтобы скорее собирали обедать.

XX

Несмотря на то, что зори по утрам начинали быть довольно холодны, Карп все еще продолжал спать в риге. В ночь, которая следовала после сборища у магазина, Карп, начинавший уже засыпать, внезапно пробудился и стал прислушиваться. Слух его явствен-

но различил шорох; но где он раздавался, внутри или снаружи риги, — этого в первую минуту не мог разобрать старик... Наконец слышно стало, что кто-то царапался вдоль плетня и перебирал ногами в высокой крапиве, окружавшей ригу. Немного погодя чьи-то руки ощупали деревянный засов и бережно начали отворять ворота.

— Кто тут? — крикнул Карп, торопливо приподымаясь с соломы.

— Я... дядюшка Карп... — проговорил кто-то, шмыгнув в ригу.

— Кто ты? — еще громче крикнул Карп, делая шаг вперед.

— Не признал, что ли?.. Я, я, — Федот! — произнес голос, явно старавшийся принять характер примирительный, заискивающий.

— Так это ты! — мог только выговорить старик, озадаченный таким неожиданным появлением.

— Было мне по дороге, думал отдохнуть у тебя, — подхватил Федот скороговоркою и как бы стараясь замять речь старика. — Аксен просил сходить в Андреевское... насчет, то есть, — корова там у барыни продается... так посмотреть просил... Я у него живу теперича... Ну, запоздал маленько... Дело не спешное, думаю; дай зайду к дяде Карпу, отдохну до зари...

— Врешь, врешь! бесстыжие твои глаза! — заговорил сквозь зубы и как бы с озлоблением старик. — Врешь! знаю я, зачем ты сюда шляешься! Знаю, с какими коровами ходишь... Собака ты этакая!..

— За что ж ты ругаешься...

— Ах ты, непутный ты этакой! — продолжал Карп, все более и более разгорячаясь. — Будь я помоложе, — я бы в тебе места целого не оставил!..

— Не тот я человек, чтобы меня трогать! — обиженным тоном возразил Федот, — никто еще меня не трогал... Это уж я вижу: значит, тебе на меня наговорили...

— Нет, не наговорили!.. Кто разболтал Аксену про мерина, а? — кто?.. Говори, через кого, коли не через тебя, лошадь отошла от двора моего?..

— Слушай, Карп Иваныч, — снова скороговоркою начал Федот, — провалиться мне на этом месте, отсохни мои руки, лопни мои глаза...

— Молчи, бесстыжий! Не боюсь лучше, не грешу... Сам я про все знаю. — Стой, погоди! — восклик-

нул Карп, думая, что Федот хочет улизнуть, тогда как Федот отступал только в сторону, боясь, чтобы Карп его не ударил. — Сказывай, благо пришло к случаю: какие и когда давал ты мне деньги? а? Говори, когда я брал у тебя? Зачем же ты рассказываешь, что ссужал меня деньгами, и теперь хоронишь, которые остались, — боишься, не стал бы я просить на избу...

— Отсохни мои руки, лопни мои глаза... — начал было Федот, но Карп не дал ему договорить.

— Молчи, окаянный, не божись, сам слышал!

— Ничего я этого не говорил.

— Врешь! Как шел я наемни ночью от Аксена, сам слышал, как ты на пароме...

— Что ты? — перебил Федот, — ноги моей никогда на пароме не было! Все это, Карп Иваныч, одни сплетки про меня пуцают, — подхватил он невинным голосом. — И охота только слушать тебе... Меня все знают!.. Не тот я человек совсем.

— Ну, теперь, — продолжал Карп, не обращая внимания на оправдание своего родственника, — сказывай, зачем пришел? Чего надо?.. Сестра Воробья, солдатка, приманила!.. На себя бы ты поглядел!.. Тебе ли, лысому черту, такими делами заниматься?.. Хоть бы людей-то постыдился, коли в тебе ни стыда нет, ни совести! Ведь через тебя ссоры только в семье да брань: и то сегодня, через тебя, братья ее таскали... Да и тебе так не сойдет... Воробей с братом сами мне сказывали: попадись только им — тут тебе и голову положить! Они и день и ночь на сторожке, как бы только поймать тебя, может, и теперь уж укараулили...

— Все это сплетки одни; как пред богом, сплетки... — неуверенно и даже плаксиво проговорил Федот.

— Ладно, сплетки!.. А пока ступай от меня! проваливай! чтоб духу твоего здесь не было!..

— Дядя Карп, пусти переночевать, — сделай милость... Что ж я, чужой тебе, что ли? — робко промолвил Федот.

— Вон ступай, бесстыжие твои глаза! Вон!

— Дядя Карп, сделай милость...

— Не пуцу! — заключил Карп, выталкивая Федота, который пятился назад. — Вон ступай, говорю; вон, — и на глаза мне не показывайся!..

Карп запер ворота и возвратился на солому. Шуму никакого не было теперь слышно за плетнями; изредка, — и то едва приметно, — раздавался треск сухих сте-

блей, ломавшихся под ногами, которыми, очевидно, переступали с большою осторожностью. Наконец все замолкло, кроме петухов, которые начали вдруг драть горло, почуяв полночь.

XXI

Но не успел Карп заснуть, шум в воротах снова привлек его внимание; на этот раз кто-то смело стучался.

— Кто тут? — с досадою крикнул старик.

— Я, дядя Карп! — отозвался голос Филиппа.

Карп поднялся на ноги и отворил ригу.

— Я затем к тебе в такую пору — не видать теперича... Не станут, значит, болтать... — сказал Филипп. — Слышь, дядюшка, вот дело какое: я, почитай, уж со всеми перемолвил, все в одном утвердилось: до Кузьмы-Демьяна не отдавать оброка! Тут толковать нечего; знамо, не барину нужно; господа люди понятные; одна тут управительская воля. «Как, мол, хочю, так и верчу!» вот что! Управитель у нас новый; возьмет такую привычку — житья нам не будет... Мы вот на чем положили: известно, один человек упрется, ничего не сделает, — в рог согнут! А как миром что скажут, коли весь мир в согласии, — тут хошь не хошь, ничего не возьмешь; с целой деревней ничего нельзя сделать; всех к становому не отправишь.

— Так-то так, Филипп, — отозвался старик, — не вышло бы только худо из этого...

— Эх! братец ты мой, говорю тебе — весь мир в согласии; главная причина, крепко только надо друг за дружку держаться! Мы чего добиваемся? Хотим держаться до поры возможности, чтобы время протянуть до срока; установится на хлеб цена настоящая, хлеб продадим, тогда и оброк бери... Так, что ли?

— Хорошо, как бы так-то...

— Главная причина, — подхватил Филипп с воодушевлением, — не выдавать друг друга! Примерно, хоть тебя спросят: «Зачем не продаешь хлеб?» — «Я, — говори, — ничего... мир не велит, всем миром так положили ждать до осени!..» Так все уговорились, я со всеми перетолковал; все на одном стоят: не продавать хлеба до Кузьмы-Демьяна, пока цена не устанется... Смотри, Карп, не выдавай; говори заодно со всеми...

— Кому убытки — мне разоренье, — сказал Карп, — коли мне продать хлеб теперь, без цены, — да из тех денег оброк отдать, ничего на избу не останется... Надо также и на зиму малость денег оставить...

— То-то же и есть!.. У тебя изба, у другого свои дела; у всякого так-то!.. Так слышь: как другие, так и ты делай; такой уж уговор; я затем и зашел к тебе, чтобы как, то есть, повернее... Ну, прощай, время идти... — заключил Филипп, суетливо выходя из риги.

Карп снова отправился на солому; но сколько ни ворочался он с боку на бок, на этот раз долго не мог заснуть; сон сморил его тогда только, как пропели вторые петухи.

XXII

На другой день вечером Карп, осмотрев свое озимое поле и оставшись очень доволен всходами, возвращался в Антоновку, когда недалеко от поворота в околицу услышал за собою трескотню тележки. Он оглянулся; узнав по гнедой вислоухой лошади владельца телеги, Карп остановился; лицо его заметно оживилось любопытством. Немного погодя телега с сидевшим в ней старостой Гаврилой поравнялась с Карпом.

Уже одна наружность Гаврилы свидетельствовала, что поездка его была крайне неуспешна; он сидел нахохлившись, как воробей после дождя; глаза его против обыкновения мрачно, недоброжелательно как-то поглядывали из-под шапки, пропускавшей большой клин клетчатого платка, которого он не думал поправлять.

— Что, как? — спросил Карп, следуя рядом с телегой, которая продолжала приближаться к околице.

— Эх! — был только ответ старосты.

— Худо, стало быть?

Гаврило тряхнул только шапкой.

— Напрасно, значит, съездил?

— Говорил тогда — нет, не верили! — вымолвил, наконец, староста. — Вышло все по-моему, как я говорил: ничего этого, о чем мы толковали, не берет в рассужденья!.. Только ругается... Грозит еще становаго прислать...

Карп зачмокал губами, отнял руку от перекладки телеги и также нахохлился.

Таким образом вступили они в околицу.

Появление Гаврилы на улице произвело ожидаемое действие; многие увидели старосту — и слух о его возвращении мигом распространился по деревне. Едва подъехал он к избе своей и вылез из телеги, его окружила толпа еще многочисленнее той, которая стояла у магазина.

Все, что было взрослого в Антоновке, знало более или менее причину отъезда старосты, и все любопытствовали узнать, какой будет ответ из конторы.

В первые две-три минуты Гаврило не мог выговорить слова — его решительно затормошили; наконец, когда старые люди подали голос, призывая всех к молчанию, — Гаврило передал миру почти то же, что сообщил Карпу.

— Писарь, который вечер приезжал сюда, — не соврал нам, — продолжал Гаврило, — точно, грамота такая пришла из Питера! Мне земский сказывал; он и письмо барина видел...

— Да ты сказал ли управителю, о чем мир просит? — неожиданно вмешался Филипп, просовываясь вперед.

До той минуты он молча стоял в толпе и только прислушивался.

— Ругается, кричит, — вот те и все тут! ничего не сделаешь! — ответил Гаврило, разводя руками, — знай только кричит: «станового пришлю!..»

— Эка невидаль! — перебил Филипп, — присылай, пожалуй! Мы становому то же скажем...

— Как же, станет он слушать! Он, знамо, управительскую руку держит, — вымолвил Гаврило, — что скажет ему управитель — тому и быть...

— Это как есть!.. Что он скажет, — тому и быть!.. Эх-ма... — послышалось отовсюду на разные тоны.

— Православные! — заговорил опять Филипп, с живостью обращаясь к толпе, — неужто взаправду разоряться? По-моему, вот что делать: самим к управителю ехать; выбрать из мира человек пяток и ехать... А коли не поможет, напишем тогда письмо к барину; из Коломны, по почте, чрез пять дней в Питер доставят... Это всего вернее... Помереть мне, коли все это дело не от управителя; помереть — коли барин об этом ведает...

Одобрительный говор пробежал в толпе.

— Православные! — крикнул ободренный Филипп, все более и более воодушевляясь, — выходи, братцы, кто к управителю поедет! Савелий, ступай сюда в круг, — обратился он к рослому смуглому мужику, стоявшему ближе других.

— Охотников без меня много... — проговорил Савелий, запинаясь и пятясь назад.

— Стегней, выходи! — крикнул Филипп другому мужику с оживленным, решительным выражением лица.

Живое и решительное лицо быстро скрылось в толпе.

— Кум Демьян, поедем! опаски никакой нет; удастся — ладно, не удастся — письмо написать можно; поедем! выходи, становись в круг!..

Но кум Демьян, шумевший до сих пор столько же, сколько сам Филипп, — был, по-видимому, другого мнения. Он глухо пробормотал что-то, и с этой минуты никто уже не слышал его голоса.

Филипп, у которого побелели губы, обратился еще к трем-четырем человекам, но так же безуспешно.

Толпою, где плечо одного чувствовало плечо другого, все надсаживали горло, выказывали смелость, решимость — и, казалось, готовы были города брать; но, странное дело, как только дело касалось каждой личности порознь, — едва требовалось проверить силу убеждений целого общества по силе убеждения каждого лица отдельно, — каждый, к кому ни обращались, напрямик отказывался действовать и даже назад пятился.

— Полно, Филипп! ничего из того не будет, — проговорил Гаврило, поглядывая на Филиппа, который, казалось, с трудом удерживал кипевшее в нем негодование.

— Известно, ничего не будет, когда сначала все заодно, а как пришло к делу — все врозь, — сказал Филипп. — Испугались, что ли?.. — примолвил он, мрачно озираясь вокруг.

— Что ты храбришься-то! ехал бы сам, коль охота есть! — иронически заметил Гаврило.

В толпе многие засмеялись.

Это окончательно взорвало Филиппа.

— Что ж, и поеду, — сказал он, обмеривая глазами Гаврилу, — ты, может, ничего этого не сказал, как

надобно, управителю... добре уж очень страх взял!.. Потом приехал, рассказываешь! такое-то, мол, решение, — а тут тебе и поверили!..

— Поверили! поверили! — перебил староста, передрознивая Филиппа, но вместе с тем из предосторожности отодвигаясь назад. — Поезжай сам, говорю, — авось сладишь!..

Вместо ответа Филипп снова обратился к толпе:

— Что ж, православные, никто, стало, не едет?.. все от слова отступились!..

Каждый раз, как взгляд его куда-нибудь устремлялся, там тотчас же воцарялось молчание и в толпе заметно редело.

Филипп плюнул наземь, рванулся вперед и быстрыми шагами пошел к своему дому.

— Экой горячий! Бедовый!.. Рыжие и все такие-то!.. Куды braveй какой!.. — раздалось в толпе.

Общее мнение было таково, что Филипп нахвастал, — хотя до сих пор никто еще не мог привести случая, когда бы Филипп поступил таким образом. Вскоре об нем совсем забыли. Везде, во всех отдельных кружках только и толку было, что об известии, привезенном Гаврилой, — о том, что такая уж, знать, напасть пришла, — и делать нечего: наступили, знать, времена такие тяжкие!

XXIII

Между тем брат Филиппа и другие члены его семейства, которое было очень многочисленно, спешили возвратиться домой.

Увидя, что Филипп не шутя готовится в путь, все приступили к нему, убеждая его не ехать. Но Филипп ничего не хотел слушать; он велел бабам идти в избу и оставил при себе только брата, с которым жил всегда очень дружно; они до сих пор ни разу даже не поссорились.

Брат начал в свою очередь убеждать Филиппа оставить свое намерение.

— Вот вздор какой! Чего ты опасаться? — возразил Филипп голосом, который показывал, что сердце его еще не улеглось и кипело остатком негодования.

— Боюсь, брат, не вышло бы худа из этого!..

— Это насчет меня, думаешь? Ничего не будет!

Каков ни есть управитель, он все же свой рассудок имеет; увидит — не пьяница я, не бунтовщик какой; приехал просить об настоящем деле.

— Хорошо, как послушает; сказывают, не такой человек...

— Врет Гаврило! — нетерпеливо перебил Филипп. — Отсохни правая моя рука, коли не врет! Сам рассуди: статочное ли дело, чтобы человек, какой он ни есть, слушать не стал, коли толком, настоящее говорят? Побожиться рад — Гаврило ничего этого, что надо было, не сказал управителю; такая уж душа соломенная! Не токмо перед управителем, другой раз и перед своим-то братом, — кто побойчее, — и то молчит... Ты ничего этого не опасайся. Приеду, скажу: так и так, повременить только просим до срока, — как по положению... цена устанется, — к Кузьме-Демьяну все как есть представим...

— Делай, как знаешь; я бы не поехал, — сказал брат.

— Это почему?

— Потому, если и ладно сойдет, послушает тебя управитель, — не стоят они того, чтобы хлопотать...

— Думаешь, за мир просить еду?... — с живостью произнес Филипп. — Нет, подождут теперича! Пускай опять Гаврилу посылают, — черт с ними! Как знают, так пускай сами разделяваются... Как только к делу пришло, все один за одним отступились... Еду за себя просить — за семью свою. Нам всего накладнее приходится; хлеба продашь вдвое — деньги выручишь те же: по семейству по нашему, давай бог, чтоб, при настоящей-то цене, на зиму хлеба достало, покупать не пришлось; потому больше и еду. Нет, разделявайся они как сами ведают!.. Я теперь, что хошь мне давай, — пальца не согну для мира — шабаш!..

Брат, побежденный отчасти такими доводами, не старался более удерживать Филиппа и помог ему даже запрячь лошадь.

XXIV

Как только узнали в деревне об отъезде Филиппа, мнение об нем тотчас же переменилось. Даже те, которые на сходке подтрунивали над ним заодно с Гаврилой и говорили, что Филипп только храбрится

и хвастает, не переставали теперь выхвалять его, величали его самым толковым, деловым и вместе с тем самым смелым мужиком деревни. Все домохозяева, повесившие было голову, снова исполнились надеждой и воспрянули духом — точно так же, как в то время, когда ждали возвращения Гаврилы. Деревня снова громко заговорила.

Гаврило, переходя из избы в другую, напрасно убеждал всех, что поездка Филиппа не принесет никакой пользы, кроме той разве, что его самого хорошенько проучат и сделают помирнее, — что управитель, — если б даже не понуждало его к тому письмо барина, — совсем не таковский человек, чтобы стал кого-нибудь слушать; напрасно убеждал он покориться и приступить к сбору оброка, — никто не трогался с места; отовсюду встречал он один ответ: «Торопиться некуда; время терпит; дай Филиппу приехать, что Филипп скажет!»...

На другой день вечером напрасно, однако ж, прождали Филиппа; он не возвращался.

— Что ж бы это значило?.. — спрашивали друг друга соседи:

В доме самого Филиппа началась между тем тревога: мать, жена и сестры его одна за другой выбегали на дорогу за околицу; часто та или другая выжидали его там по целому часу. Беспокойство заметно также начало овладевать братом. На следующий день в доме Филиппа раздались всхлипыванья.

Прошел и этот день. Филипп все-таки не возвращался. Всхлипыванья в его доме превратились в громкий вопль. Брат начал было уговаривать мать и сестер, стараясь всячески их обнадежить, — ничего не помогало; к жене брата он уже не приступался; она лежала ничком на дворе и голосила, словно по покойнике.

Наконец на четвертый только день, поздно вечером, распространился слух, что Филипп приехал. Немного погодя стали разглашать по деревне странные вести: говорили, будто Филипп, как только вышел из тележки, прямо отправился к себе в ригу; ни с кем из домашних он не поздоровался, никому даже слова не промолвил. Обрадованная жена, с которой жил он всегда ладно, бросилась было к нему с воплем, — он грубо отвел ее руками и сказал только: «Что тебе... давно, что ли, не видала?..» После того пошел он

в ригу. Жена, мать и сестры последовали за ним, желая добиться какого-нибудь толку, — он всех разогнал, всем велел идти домой и допустил к себе одного брата. Войдя в ригу, Филипп с сердцем бросил наземь полушубок, бросил шапку и ничком повалился на солому. Два-три человека, которым потом удалось говорить с братом, спешили сообщить, что Филипп велел брату везти хлеб и продать его за первую цену, какую дадут.

— Стало, и нам то же делать! — был общий отзыв.

Слух обо всем этом не замедлил, конечно, достигнуть ушей Карпа.

— Оброк не пуще велик, а много придется теперь за него хлеба отдать! — задумчиво промолвил старик, обратившись к сыну, который передал ему общую весть. — Хлеба, который останется, — только на зиму хватит для семейства... Сколько ни считал я все эти дни, не выручишь денег тех, что за избу отдать надобно... Так, стало, тому и быть! — довершил он угрюмо.

Карп, точно так же как и остальные обыватели Антоновки, лишившись всякой надежды на благоприятный поворот дела, упал вдруг духом и толковал теперь о том только, чтобы насыпать возы и везти хлеб на продажу.

Так как пятнадцать рублей, получаемые Гаврилой в виде жалованья, засчитывались ему ежегодно в оброк, — староста на свой счет не очень сокрушался. Он тревожился тем только, что управитель того и смотри пришлет за ним и потребует отчет за медленный сбор мирского оброка. Движимый такою мыслью, он еще неусыпнее начал убеждать всех и каждого, что если уж вышло такое невзгодье, — откладывать нечего; чем скорее отдашь деньги, тем скорее отвяжешься от управительского надзора и неприятностей, которые грозят миру в случае промедления.

— Главная причина, в спокойствии тогда оставят, вот что! — повторял староста, — станем оттягивать — осерчает, уж это наверное так; пожалуй, еще станового пришлет... расправа начнется... что ж хорошего??

На этот раз никто не возражал ему; вместо смелых, бойких ответов он встречал одну молчаливую покорность.

Решено было всем миром понаведаться завтра же утром к Дроздову и условиться с ним насчет цен.

Впрочем, это были одни только пустые разговоры; никто не сомневался, что все равно надо будет отдать хлеб за ту цену, которую назначит Дроздов.

XXV

То же самое ожидало крестьян, если б они повезли теперь хлеб в ближайшие уездные города. Купцы очень хорошо знают, что если мужик в такую пору приехал с хлебом, — видимое дело, его прижали, ему до зарезу надобны деньги; они спешат воспользоваться таким благоприятным обстоятельством и в свою очередь его прижимают. Городские кулаки еще плутоватее, еще неумолимее деревенских. Уже одно то, что крестьянин насыпает дома рожь настоящей мерой, а купец принимает ее по своей мере, несравненно большего объема, — заставляет всегда первого избегать продажи в городе.

На этом основании антоновцы решились прибегнуть к Дроздову; к тому же он проживал от деревни верстах в пяти всего-навсе.

Дроздов, или, лучше, Никанор, потому что так обыкновенно называл его народ, — был простой откупившийся на волю мужик, содержавший большую миткалевую фабрику.

В некоторых уездах средней России таких фабрик развелось — особенно в последние годы — такое множество, что нет почти деревни, где бы не возвышалось неуклюжее бревенчатое строение, из которого с утра и до вечера слышится шум разматываемой бумаги и щелкотня ткацких станов. Над этими фабриками не существует ни присмотра, ни контроля; хозяева, обеспечивая себя ежегодно домашними расчетами с мелкими местными властями, — приобретают положение, которое ничем почти не отличается от положения начальников диких племен на самых отдаленных архипелагах Тихого океана. Самоуправство является здесь в полном своем безобразии. Хозяева по произволу изменяют заработную плату; назначается такая-то цена за основу; основа готова — хозяин переменил цену, и работник получает меньше того, на что рассчитывал. Бедные крестьяне соседних деревень посылают на фабрику своих девочек и мальчиков для размотки бумаги; нет возможности приходить всякий

день за несколько верст и уходит вечером; дети но-чуют на фабриках; все это спит где ни попало и впо-валку; можете судить о том, что здесь происходит и как, по мере процветания фабрик, должна процве-тать нравственность. Мало того, хозяева редко или, вернее, никогда не рассчитываются с народом на чистые деньги. Они покупают в городах залежалые партии сапогов, оптом скупают шапки, подмоченную соль, годовалую муку, перепревшую крупу и т. д. и рассчитываются таким материалом, ставя за него всегда втридорога против того, что стоит он им са-мим. Народ, следовательно, обут и одет скверно, ест худую пищу и постоянно без гроша денег.

Многие из этих хозяев владеют большими капита-лами. Никанор принадлежал к числу последних. Впро-чем, он продолжал только дело, начатое еще по-койным его родителем.

XXVI

Взглянув на лицо фабриканта, нельзя было пове-рять, чтобы мог он так успешно вести дела свои. На-ружность Никанора ставила в тупик — так резко проти-воречила она его действиям. На всем свете не было, казалось, тупоумнее человека. Бесцветные навывате глаза, как у разварной рыбы, смотрели мутно, как будто угасла в них способность осмысливать пред-меты; плоские, как щепки, волосы мертвенно висели по обеим сторонам пухлого, но крайне болезненного лица, окруженного редкими бакенами и такою же чах-лой, жидкой бородкой; все черты выражали одну сон-ливость, вялость, неспособность. Все в нем было одно к одному; говорил он вяло, словно клещами хомут на-тягивал; ногами своими, обутыми в башмаки, пере-двигал медленно, словно против воли. Ходил он все-гда запахиваясь в длинный бумажный набивной халат такого же почти грязновато-больного цвета, как и ли-цо его. Словом, не было возможности поверить, чтобы такой человек был на что-нибудь годен. Дела его между тем шли блистательно; он ворочал такими деньгами, что ничего не значило ему усадить в своем приходе пятьдесят тысяч на постройку ог-ромной кирпичной церкви с круглым зеленым ку-полом.

Это не мешало, однако ж, самому Никанору жить, как говорится, свинья свиньей. Дом его, очень поместительный, с нижним этажом кирпичным, а верхом деревянным, был крыт железом и выкрашен зеленой краской, оставшейся от церковного купола. Внизу помещались подвалы для склада товара и контора. Верхний этаж из шести-семи комнат занимал Никанор с своим семейством.

Жил он собственно в одной только из этих комнат; остальные стояли пустыми; кое-где разве попадалась скамья или стояла кадушка с квашеной капустой, прижатой кирпичом. В комнате Никанора рамы не выставлялись со времени постройки дома; там с трудом можно было переводить дыхание; все смотрело до невероятности грязно — начиная с самой хозяйки и ее засусленных, золотушных детей и кончая зеленым, как словно прокислым, самоваром и стеклами окон, почти до темноты засиженными мухами.

У дверей, в высоком буром футляре, доходившем до потолка, чикали часы с циферблатом, размалеванным цветами; в углу стоял не прислоненный к стене диван, покрытый ободранной кожей: но боже было упаси сесть на него; особенною опасностью угрожали гвоздики и тесемка, обшивавшая кое-где кожу; под каждым гвоздем и складкой сидело, мирно приютясь, целое гнездо клопов. Все это, кроме, впрочем, дивана, который постоянно, годы целые, оставался на своем месте, — чистилось и переставлялось раз в год, — именно на Страстной неделе перед светлым праздником; тогда целые ушаты воды разом проливались в этом втором этаже; хляск воды раздавался повсюду; вода, не находя себе выхода, скорее всего утекала в широкие щели кой-как сколоченного пола, удобряла земляную настилку и этим способом разводила мириады блох, которые несметными легионами появлялись уже к Святой.

Но Никанор и его семейство так сжились со всем этим, что всякое другое место показалось бы им крайне неудобным. Незачем было, следовательно, изменять порядка, начатого блаженной памяти упокойным родителем, — порядка, которым удовлетворялся сын и, верно, будет удовлетворяться золотушное потомство.

Карп был один из первых, который явился к Никанору. Войдя в контору, старик застал там хозяина. В конторе никого почти не было; стояли только две бабы и оборванная девочка, пришедшие за бумагой для размотки.

Тем не менее Никанор сделал вид, как будто не заметил вошедшего. Он никогда не кланялся первым простому мужику. Никанор прежде был проще; гордость напала на него с той самой поры, как воздвиг он церковь и к концу каждой обедни поминали его, как строителя храма, и подносили ему просвиру.

Карп подошел к прилавку, разделявшему контору на две половины, и поклонился.

— Чего надо? — спросил Никанор, едва поворачиваясь.

— Хлебца привез, Никанор Иваныч... десять четвертей: не возьмешь ли?.. — задобрывающим голосом сказал Карп.

— Не надуть! — возразил фабрикант как бы сквозь сон.

— Что ж так?.. Возьми, сделай милость!..

— Столько хлеба навезли — девать некуда.

— Всего ведь десять четвертей!

— К тому же денег теперь нету... — начал было Никанор, но Карп перебил его:

— У тебя?.. У кого ж и быть деньгам-то!.. Возьми, пожалуйста!

— Пять с полтиной, — коротко и сухо проговорил, наконец, Никанор.

— Как, за четверть? — воскликнул Карп, между тем как фабрикант повернулся к нему боком и, казалось, перестал даже его слушать. — Побойся бога! к Кузьме-Демьяну четверть-то девять рублей стоит; три рубля с полтиной на четверть хочешь нажить... Бога ты побойся!

На мутном лице Никанора промелькнула тень пренебрежения.

— Чего ты пристал ко мне, — произнес он, не вышая, однако ж, голоса, — говорю, не надо: вези куда знаешь... где сходнее...

В эту минуту батрачка позвала хозяина наверх;

почти в то же время в контору вошел еще мужичок из Антоновки.

Карп передал ему свой разговор с фабрикантом.

— Делать, знать, нечего, Карп Иваныч; отдать надо, — отвечал тот, — больше не даст; вечер уж трое из наших к нему приезжали; за ту же цену отдали.

— Знаю, сказывали мне, — вымолвил старик. — Я думал, посовестится, не надбавит ли каким случаем; потому и разговор такой повел с ним.

— Как же, жди от него совести, эх захотел!.. И я свои два воза за те же деньги ссыпал, делать-то нечего!..

С возвращением Никанора дело Карпа было конечно. Фабрикант, поручая приказчику сходить и смерить привезенную рожь, говорил так же сонливо, вяло и неохотно; казалось, он не подозревал даже, какой огромный оборот делал, скупая в настоящее время хлеб из Антоновки.

Получив деньги, Карп сел в пустую тележку и вместе с сыном, поместившимся на другой подводе, отправился домой.

Путем-дорогой старик принялся в сотый раз сводить свои счета; он как будто все еще не доверял прежним своим соображениям и думал — авось-либо выйдет как-нибудь по-другому.

Нет, по-другому не выходило! Прежние расчеты были совершенно верны. Отдав пятьдесят два с полтиной оброку, отложив десять четвертей на зиму для семейства, Карп мог продать всего-навсе шесть четвертей ржи и четыре четверти овса. Как умом ни раскидывай, не было возможности, даже при самых счастливых обстоятельствах, выручить из этого столько денег, чтобы добавить Аксену за сруб, отдать плотникам за постановку избы, печнику за печь, — и мало ли еще сколько денег требуется при сооружении нового дома!

Касательно первого задатка, отданного Аксену, Карп не беспокоился; Аксен был известен своею честностью; старик ни на минуту не сомневался, что получит свои деньги. Но вот что неотступно его тревожило — тревожила мысль о втором задатке, о сером меринке, который, как назло, приглянулся Аксену так, что последний им не нахваливался. Тут как быть? Как тут рассчитывать? Вернее всего, Аксен оставит его за собою; ведь ему надо получить вознаграждение за

убытки; на избу много было охотников; не случись Карпа, Аксен давно бы продал ее с барышами.

Карп так углубился в свои соображения, что поднял голову тогда только, как лошадь остановилась перед его воротами.

После дождя, лившего всю ночь и все утро, избенка как нарочно представлялась такой кислой, так грустно поглядывала на улицу своими крошечными окнами, полусгнившими углами и выдавшейся мокрой стеною, что вчуже забирала жалость.

Понятно, такой вид не мог порадовать и развлечь ее владельца.

XXVIII

Время между тем шло своим чередом, свершая в природе обычные, неумолимо неизменные перевороты. Давно ли, кажется, поля, луга и рощи дышали таким оживленьем? Все это миновало! Первыми возвестниками наступающих холодов были, по обыкновению, ласточки; они отлетели с первыми морозными утренниками. За ними в похолодевшем воздухе пронеслись длинные белые нити тенетника; потом в светлом, хотя уже бледно-зеленоватом, небе пролетели журавли, возбуждая отдаленным криком своим громкие возгласы деревенских мальчишек.

Давно ли, наконец, антоновская роща, одетая с макушки до корня зеленью клена, березы, орешника и разного рода кустарников, наполнялась веселым треском, свистом и пением каждый раз, как проникал в нее первый солнечный луч? Давно ли, кажется, было все это!.. Теперь, от маковки до корня, стоит она обнаженная, и хотя бы три раза в сутки начинался день, не пошлет уже ему навстречу веселых, приветливых звуков. В серой, сквозящей глубине рощи мелькают одни голые стволы и перекрещиваются во все стороны почерневшие обнаженные ветви. Вместо прохлады отовсюду несет сыростью и крепким запахом опавших листьев, которые наполняют глубину кустарников и густо устилают дорогу. Изредка кое-где тоскливо, в разлад, чиликнет краснобрюхий снегирь или вдруг в стороне зашуршуют листья и через дорогу пугливо пробежит заяц.

Все остальное, куда ни обращаются глаза, носит ту

же печать опустения. Окрестность словно состарилась; колеи, которыми изрыты дороги, кажутся глубокими морщинами; речка, так долго отражавшая в последнее время свинцовые, серые тучи, усвоила навсегда как будто цвет их, отвечающий, впрочем, общему тону печали, которым окутались не только окрестность, но и самое небо.

Куда девался также веселый вид деревни, когда, бывало, при заходящем солнце ослепительно сверкают соломенные крыши избышек; когда старые ветлы, бросая через реку на луг длинные густые тени, постепенно зарумяниваются, покрываясь багрянцем заката; когда весь деревенский люд, высыпая в эту пору на улицу и — то уходя в сизую тень, бросаемую избышками, то выстукая на свет, — начинает петь песни и водить хороводы, играя на солнце ярко-алыми и синими платками и рубашками... Куда все это делось! Антоновки узнать невозможно. Она также отжила, как будто вдруг состарилась. Стены избышек, вымоченные непрерывными дождями, так же почти черны, как улица, которая превратилась в грязь, замесилась и стала непроходимой; старые ветлы обнажили свои головастые пни, и ветви на них торчат кверху, как волосы на голове взъерошенного человека. Солома на крышах сделалась совсем серою и едва-едва отделяется теперь на сером небе.

Небо пока не шлет еще дождя, но в отдалении начинают уже клубиться тяжелые, мрачно-сизые тучи.

XXIX

Дядя Карп, которого ненастье отрывало поминутно от начатой работы, спешил воспользоваться этим временем. Обрадованный, что перестал, наконец, дождик, он с помощью сына с утра еще выкатил две пустые кадки; они служили старику козлами для подмосток; приставленные к наружной стене избы и устланные досками, кадки давали Карпу возможность достать рукою почти до крыши.

Взгромоздившись на подмостки, Карп старательно набивал глину в пазы и трещины избенки; он то и дело обращался к снохе, которая тут же в стороне мешала лопатою сырую глину. Бедная бабенка едва успевала управиться; с одной стороны кричал свекор,

с другой поминутно высовывалась из окна свекровь с хозяйственными расспросами, с третьей — приводилось гнать Дуню, которая, несмотря на холод, никак не хотела идти в избу. По всей вероятности, Дуня согревалась Васькой; крепко перехватив брата поперек живота, она переносила его с одного плеча на другое; но как терпел Васька — это делалось решительно непонятным! Мальчик перешел уже от багрового цвета в синий; но ничего, однако ж; Васька не плакал; он только кряхтел и пыжился, и то, по-видимому, не столько от стужи, сколько от того, что вздрагивавшая сестра слишком уж сильно нажимала ему живот.

Подле другой стены, со стороны улицы, происходила также работа; Петр приваливал к стене солому, укрепляя ее жердями.

По мере того как с той и с другой стороны двигалась работа, избушка принимала вид больной, хилой старушонки, которую обкладывают пластырями и кругом обвязывают и кутают.

На улице никого почти не было, кроме семейства Карпа. Изредка проходил кто-нибудь. Так прошла баба с ворохом неразмотанной бумаги на спине. Поравнявшись с избою Карпа, она остановилась, поздоровалась со стариком и его снохою.

— Карп Иваныч, — сказала она, — тебе сродственник твой Федот велел кланяться!

— Ну его совсем! — ворчливо проговорил старик, продолжая шлепать глиной.

— Ты, Дарья, откуда? — спросила сноха, — я думала, ты от Никанора.

— И то, оттуда; вишь, взяла ребятам разматывать! — возразила Дарья, встряхивая бумагой.

— Где ж ты Федота видела? Он ведь у Аксена живет; разве так повстречались?

— Нет, касатка, нанялся он теперь к Никанору; у Никанора живет в рабочих.

При этом Карп сердитее только шлепнул глиной.

Немного спустя после ухода Дарьи место ее занял маленький, живой мужичок с веснушками, который во время уборки ржи беседовал с Гаврилой.

Поглядев с минуту молча на работу Карпа, он, наконец, придвинулся.

— Ничего от этого, сват, теплее не будет, — сказал

он, — я, как не было у меня новой избы, свою старую тоже глиной обмазал, — продувает; так-то продувает — хуже быть нельзя.

— Коли хорошо, крепко смазать — не продует! — отозвался Карп неохотно.

— Хуже, сват, право, хуже; тогда снутри преть начнет; у меня то же было; пойдут морозы — в окнах, поверишь ли, вот какие сосульки намерзнут! — добавил мужичок, показывая от плеча до ладони.

Карп ничего не ответил.

— Сейчас, сват, к Филиппу заходил, — продолжал словоохотливый мужичок, — дома нету, уехал; сказывают — опять запил; года три за ним этого не было; зарок, сказывают, на себя наложил, чтоб не пить... Теперь опять, сказывают, зашибается... Э! да, никак, дождик?.. — промолвил он, подымая голову.

Карп, сноха и Петр, слышавшие весь этот разговор, сделали то же самое.

Серые тучи, которые бежали, казалось, над самую крышею, действительно начинали отделять дождевые капли; в то же время ветер сильнее зашевелил соломой.

— Прощай, сват! Надо скорей до дождя укрыться!.. — сказал мужичок, направляясь к избе, которая стояла на самом краю деревни.

Пока он приближался к дому, тучи, давно уже потоплявшие своею тенью окрестность, быстро надвигались на Антоновку. С каждой минутой местность, лежавшая за старыми ветлами, заслонялась и пропадала; вот и ветлы начали показываться как бы сквозь серую дымку и вскоре пропали; дождик заметно делался чаще и усиливался. В дальнем конце деревни кто-то, закутанный с головою, — баба ли, мужик ли, разобрать было невозможно, — промелькнул через улицу.

На минуту можно еще было различать, как Карп, его сын и сноха бегали и суетились, убирая свои кадки; но и они не замедлили исчезнуть за частую сетью дождя, который, крутясь и двигаясь по воле ветра, ударил косым ливнем и заслонил, наконец, самую Антоновку.

Глава вторая

БАРХАТНИК

XXX

Позвольте теперь перенести вас из унылой деревушки, утопающей в грязи и облитой дождем, прямо в центр Петербурга. Переход, конечно, очень резок; но тем лучше, мне кажется. Без контрастов и неожиданных переходов от худого к хорошему, от мрачного к веселому и обратно не только романы и повести, но и самая жизнь была бы однообразна и, следовательно, невыносимо скучна.

Итак, поспешим войти через парадную дверь в один из самых больших домов Малой Морской. Признаком, что дом при основании своем исключительно предназначался для помещения жильцов богатых или таких, которые во что бы ни стало хотели прослыть за богатых, — служила широкая, устланная ковром лестница, украшенная каминами и швейцаром.

Нам незачем подыматься слишком высоко; достаточно остановиться во втором этаже против двери с медной дощечкой, на которой награвировано: «Аркадий Андреевич Слободской».

Аркадий Андреевич вместе с домашней его обстановкой, — начиная с круга знакомых и кончая мебелью его обширной квартиры, — составляют главный предмет настоящего повествования. Мебель, особенно гостиной и кабинета, так великолепна, что, я уверен, если б любое кресло перенести вдруг в Антоновку и поставить посреди улицы, ни один из тамошних обывателей ни за что не определил бы, что это за штука такая; сам приходский священник сильно бы затруднился дать ему вдруг, сразу, настоящее имя, и только разве после некоторого размышления мог бы решить, что изделие сему всего более подобает находиться в храме для замещения старинного седалища в алтаре.

Аркадий Андреевич был холост, любил роскошь и решительно не видел надобности себе в ней отказывать; у него было около семи тысяч душ, в числе которых, если не ошибаюсь, состояли также знакомые антоновские души.

Часов в двенадцать утра в богато убранном кабинете Слободского находилось уже несколько посетите-

лей. По мере того как приближался день, посетители умножались; многие являлись, впрочем, минут только на пять; спешно выкурив папироску, повертевшись перед камином, они так же скоро исчезали. Все входили совершенно бесцеремонно; брали со стола сигары и папиросы и во всем поступали как у себя дома. Кто усаживался, укладывая удобно ноги на соседнее кресло, кто попросту разваливался на кушетке против пылающего камина, кто расхаживал взад и вперед, пуская кверху дым, который расходился мутными, серыми клубами, потому что самое утро было мутно, серо и ненастно. Все они по большей части были товарищами Слободского по службе; некоторые, подобно ему, вышли в отставку; другие ходили в мундирах. Хозяин дома, заслонив себя от каминного жара стеклянными ширмами, располагался в вольтеровских креслах.

Это был человек лет двадцати восьми, с чертами лица чрезвычайно правильными и красивыми, но уже заметно начинающими отцветать. Военная служба не оставила на нем ни малейшего отпечатка; он так же изящно одевался и так же свободно двигался в серых панталонах, сером жилете и серой жакете английского покроя, как будто век не носил другого платья; в приемах его не было ничего жесткого, натянутого, во всей фигуре его, начиная с маленьких, красивых ушей и кончая белой, нежной кистью руки, было что-то женственное, изнеженное. Он казался усталым, хотя всего час назад вышел из постели. Слободской не переставал говорить то с тем, то с другим из гостей своих; в голосе его и во взглядах проглядывало, однако ж, полнейшее равнодушие если не всегда к предмету беседы, то всегда почти к собеседнику.

Слободской далеко не был мизантропом; равнодушие его проистекало частью из жизненного опыта, частью из того также, что он никого не любил искренно из тех, с кем постоянно жил и в кругу которых ежедневно вращался. Выражение: «*mon ami, — il n'y a pas d'amis!*»¹, изобретением которого был он очень доволен, повторялось им каждый раз, как только слышал он слово — «друг». Слободской, тративший большие деньги на обеды, где за каждого приятеля приходилось иногда платить рублей тридцать и сорок, пожа-

¹ Друг мой, — друзей нет! (*фр.*)

лел бы между тем десять целковых, чтобы спасти приятеля, которому случилось бы обкушаться на его обеде.

Он разделял своих знакомых и приятелей на три разряда. К первому принадлежали лица, которые в самом деле были к нему привязаны и любили его; до сих пор он встретил одного только такого; но и того убили на Кавказе. Ко второму разряду причислялись те, которые ездили к нему ради удобств, хороших сигар, надежды выгодно променять лошадь, занять денег или ради того также, что надо же деться куда-нибудь и вертеть языком — благо он существует; третий род приятелей состоял из лиц, которые положительно его ненавидели, но виделись с ним, частью чтобы скрыть настоящие свои чувства, частью потому, что пошло, глупо расходиться с человеком, не имея, кроме затаенной ненависти, другой, более основательной причины.

Из числа последних не было, к счастью, ни одного между посетителями настоящего утра: все они по большей части принадлежали ко второй категории. Несмотря на положительную глупость многих из них, каждый, по-видимому, в отношениях своих к Слободскому стоял на настоящей точке зрения; никто не обманывался в его чувствах; но никому, казалось, не было дела до этого, никто об этом не заботился; каждый думал о себе самом, о своем удобстве, о хорошей сигаре — и точно так же чувствовал к хозяину самое полное равнодушие.

Все это нисколько не мешало вести самую короткую, дружескую беседу.

XXXI

— По-моему, одно из самых главных, самых натуральных чувств человека — это чувство благодарности! — говорил Слободской, продолжая начатый разговор и преимущественно обращаясь к смуглому господину средних лет, лежавшему на кушетке с сигарою в зубах. — Человек, не имеющий такого чувства, на мои глаза, существо недоконченное, что-то вроде получеловека!.. И вот именно этого-то чувства, — невесело в этом сознаться, но надо говорить правду, —

именно этого-то чувства не вижу я в нашем простом народе...

Господин, лежавший на кушетке, выразительно усмехнулся.

— Я говорю так решительно потому, что основываю свои суждения на собственном опыте, — продолжал Слободской. — При покойном отце крестьянам моим было так плохо, как хуже быть не может: отец почти безвыездно жил в Париже; в имениях распоряжались управляющие — грабили, разумеется, и разоряли крестьян до невозможности; когда я вступил во владение имениями, первым делом моим было искоренить весь старый порядок и злоупотребления; я сменил управляющих, уничтожил барщину и посадил мужиков на оброк, зная, что такое положение для них несравненно легче барщины. Сотни, тысячи помещиков берут двадцать, двадцать пять рублей и более оброку; я назначил всего пятнадцать с семейства — с тягла, как там называют... Кажется, сделано было все, что только можно сделать! Какой же вышел результат? Крестьяне сделались только неисправнее; с первого же года до настоящей минуты я только и слышу, что о недоимках и недочетах, чего прежде, при отце, никогда не бывало!.. Далеко идти незачем; я теперь более месяца без денег... Пишу, пишу, — недели проходят, прежде чем пришлют из той или другой конторы каких-нибудь четыре-пять тысяч! После всего этого поневоле придешь к убеждению, что при снисходительном, гуманном, как говорят теперь, управлении народ делается только неисправнее и балуется; управлять им, как видно, может только страх; горько соznаться — но это так!..

— Что ж вы хотите, Слободской, чтоб я сказал вам на это?.. — произнес небрежным тоном и по-французски господин, лежавший на кушетке, — мне отвечать нечего; вы по этому предмету давно знаете мои убеждения!..

XXXII

Убеждения этого господина заключались в том, что он называл Россию непроходимую тундрой и отвергал в русском народе, которого величал тунгусом, всякую способность к развитию. Происходя из чисто

русской фамилии Ипатовых (невозможно, кажется, подозревать примесь чего-нибудь иноземного), он ненавидел все русское, и нельзя было лучше польстить ему, как сказав, что он по выговору, привычкам своим и наружности представляет совершеннейший тип француза или англичанина. Не имея понятия о самых главных, основных фактах отечественной истории — фактах, известных почти каждому школьнику, не прочитав во всю жизнь ни одной русской книги, потому что, как сам он говорил, вся русская литература не стоила маленькой комедии Октава Фелье или пословицы Мюссе, оставаясь так же равнодушен, как какой-нибудь японец, к самым живым событиям, совершающимся в отечестве, — он в то же время с неимоверною жадностью поглощал иностранные газеты, *revues*¹ и брошюры.

Трудно найти человека, который был бы сильнее Ипатова, когда речь заходила об административном, политическом или финансовом вопросе Европы. Он знал имена всех замечательных деятелей континента и Британии и мог сообщать мельчайшие подробности из их биографии. Прения верхней и нижней палат, виды английской политики, подробности касательно борьбы вигов и тори, направление наполеоновской политики, отношение французского государства к восточному и итальянскому вопросу, политическое состояние Австрии и Германии — все это занимало Ипатова и действительно знакомо было ему в той самой степени, как мало знакома была Россия и вообще все отечественное.

Всего замечательнее, что Ипатов никогда не бывал за границей; всю свою жизнь провел он в Петербурге, изредка посещая Москву, чтобы повидаться с теткой, над которой громко всегда смеялся, называя ее княгиней Халдиной.

Он проводил время, читая или рыская по гостиным, где на изящнейшем французском наречии рассказывал о ходе современных европейских дел и каждый раз, как представлялся случай, проливал потоки желчи, котя на чем свет стоит Россию.

Предположение, будто основанием желчи служило оскорбленное самолюбие, совершенно несправедливо; с самой юности до настоящего времени не произошло

¹ Журналы (*фр.*).

с Ипатовым решительно ничего такого, что хотя бы кончиком волоска могло задеть его самолюбие. Другие слагали причину его желчи и раздражительности на бедность, которую скрывал Ипатов тщательнее своих пороков, но и это неосновательно; Россия виновата была в этом, конечно, никак не более Англии, Франции, Германии и т. д.

В последнее время Ипатов сделался еще заметно терпимее; прежде он был решительно невыносим. Мания его к чужеземному доходила до того, что он никогда ни с кем не хотел слова сказать по-русски; так, например, во время обеда, желая выпить стакан воды, он обращался всегда к соседу и говорил по-французски: «Сделайте милость, скажите лакею, чтобы налил мне воды!»

Я сам лично был свидетелем такого факта; хотите — верьте, хотите — нет!

XXXIII

— Я давно слышал, — продолжал Слободской, закуривая новую сигару и опрокидываясь на спинку кресел, — будто вся эта дикость, недобросовестность — словом, весь этот нравственный упадок народа происходит от крепостного состояния; я не защищаю его — нет; но все-таки желательно бы знать, — подхватил он, пуская струю дыма, — почему, несмотря на крепостное состояние, которое началось не на прошлой неделе, в прежнее время все шло как-то исправнее; самый народ был лучше и нравственнее?..

— Полно, пожалуйста, Слободской! — с жаром заговорил белокурый молодой человек, до сих пор ходивший молча по кабинету. — Удивляюсь только, как можешь ты это говорить! Что теперь худо — никто в этом не сомневается; но что прежде было хуже — это так же верно, как то, что ты теперь в Малой Морской; дело в том, что прежде жили мы в неведении счастливом, как говорится, — о России понятия не имели; все было от нас шито да крыто; теперь начинаем мы мало-помалу с ней знакомиться...

Ипатов прислушивался к речи молодого человека как к чему-то очень забавному и вместе с тем достойному сожаления; он считал всегда, что знакомство с Россией достигнуто в совершенстве, когда произне-

сешь слово — «тундра»; по его мнению, это легче было, чем выкурить папироску.

— Да, я утверждаю, — подхватил тот же молодой человек с прежним оживлением, — всему виновато крепостное состояние; только оно одно могло постепенно привести в такой упадок нравственность крестьянина...

— Эх, досадно, право, слушать, — сказал, нетерпеливо вставая, плотный кавалерийский ротмистр с рыжими бакенами, расходившимися веером, — у меня даже кровь в голову бросается, когда он начинает проповедовать! Знаете ли вы, Лиговской, что русский мужик во сто крат счастливее меня с вами — да-с!..

— Вот это прекрасно...

— Да, счастливее, — подхватил ротмистр, багровея. — Что ему делается! Хлебает себе щи, пичкает с утра до вечера пироги и сметану да на печке валяется... А тут, подле, жена... какая-нибудь толстая, белая, румяная баба...

Все засмеялись, кроме Лиговского.

— Превосходно знаете вы, стало быть, положение нашего простолюдина, — произнес он. — Не только не ест он пирогов, но часто нечем печь истопить — ту печь, на которой, по словам вашим, он весь день валяется!.. Слава богу, мы начинаем теперь иначе смотреть на вещи; я думаю, нет теперь человека, который не ждал бы ото всей души скорого уничтожения крепостного права; я уверен, что как только...

— Лиговской! Лиговской!.. — смеясь, закричал хозяин дома, указывая на верхний косяк двери. — Лиговской, посмотри... Ты, кажется, знаешь правило!..

К верхнему косяку пришпилен был булавкой кусок бумаги с крупною надписью: «Здесь не говорят об эманципации!»

— Скажи-ка лучше, — подхватил Слободской, — ты, который часто видишься с Берестовым, — разыграл ли он свою комедию, разошелся ли, наконец, со своей танцоркой?

— Нет, каждый день ссорятся, расходятся, потом мирятся и снова сходятся — совершенно как старый Исаакиевский мост, — отвечал рассеянно Лиговской, — мне кажется, они век проживут таким образом.

— С этими барынями всегда легче сойтись, чем разойтись... — сказал Слободской. — Сначала они ни за что как будто не хотят начинать; потом, как начнут, ни за что не хотят кончить! Это всегдашняя история...

Скажи, пожалуйста, ну а граф Пирх все еще влюблен?

— Разве он у тебя не бывает?

— Бывает, но только давно что-то блистает своим отсутствием.

— Влюблен по-прежнему! Утром проезжает своих лошадей мимо ее окон; в шесть часов вечера провожает ее карету до театра; после театра торчит на театральном подъезде...

— Но как дело его? идет успешно?

— Кажется; не знаю только, чем кончится.

— Ничем не кончится! — заметил ротмистр. — Пирх вконец промотался — даром что немец; говорят, он даже долгов не платит...

— Ну, это еще не доказательство! Долги платят теперь одни только наследники... и то в первое время своего богатства... Увидите, господа, Пирх достигнет своей цели; там, где другой берет браслетами, Пирх возьмет терпением... И наконец, что ж мудреного: оба они могут быть влюблены друг в друга...

— Какая тут любовь! — перебил Лиговской с тем же самым жаром, как говорил об эманципации и состоянии народа, — какая любовь! если есть что-нибудь у них — так просто обмен двух капризов.

— Ну, прощайте, господа! — сказал Ипатов, приподымаясь с кушетки. — Как скоро речь зашла о балете и театре, вы, по обыкновению, никогда не кончаете, — прощайте, Слободской!..

— Прощайте! я тоже уйду, — вымолвил ротмистр, пристегивая палаш. — Ты не забыл, Слободской, что обещал сегодня Острейху приехать посмотреть его лошадей?

— Нет; но стоит ли? Хороши ли лошади?

— Знатные есть кони! Я купил у него верховую.

— Доволен?

— Не совсем... Лошадь во всех статьях красива, — проговорил ротмистр, насупливая брови, — но я погорячился; нахожу в ней сухость какую-то в аллюре; своего, природного в ней мало... Понимаешь, братец, — нет под седлом фантазии; фантазии нет! Так ты приедешь?

— Да, в три часа, как обещал, — отвечал Слободской, поглядывая на булевские часы, украшавшие камин.

Выходя из кабинета, Ипатов и ротмистр встретили в дверях камердинера, который нес на подносе несколько конвертов, запечатанных казенною печатью.

— Сейчас с почты принесли, — проговорил камердинер, подавая их барину.

Слободской распечатал одну повестку за другою, бегло взглянул на цифру, потом придвинулся к столу, черкнул на обратной стороне доверенность на имя камердинера и велел ему, не медля ни минуты, съездить сначала в полицию для удостоверения подписи, потом в почтамт для получения денег.

Камердинер вышел.

В общей сложности, повестки объявляли о получении из разных губерний суммы в пять тысяч. Слободской ждал гораздо больше; в другое время он жестоко бы рассердился и тотчас же написал бы громовое письмо в главную свою контору. Но нынешнее утро застало его в хорошем расположении духа. Это обстоятельство спасло главную контору, а следовательно, и все, что находилось в ее зависимости, от передраг, суеты, беспокойств и даже притеснений всякого рода.

Слезно прибегаем к провидению, моля его продлить хорошее расположение духа Аркадия Андреевича Слободского.

— Слушай, Лиговской, — сказал Слободской, поворачивая кресло к молодому человеку, который стоял спиною к камину, расправив в обе стороны фалды сюртука, — я ждал ухода Ипатова и милейшего из ротмистров, чтобы пригласить тебя сегодня в ложу.

— Спасибо; все та же ложа — литера Ц с левой стороны?

— Да. Так ты приедешь?

— Непременно; но скажи, пожалуйста, — весело подхватил Лиговской, — как идут твои собственные дела с маленькой Никошиной?.. О других ты расспрашиваешь, о себе никогда ничего не скажешь...

— Мои дела, — смеясь, возразил Слободской, — мои дела пока еще в будущем! Они ограничиваются утром — прогулкою по Театральной улице...

— Говорят — улица любви! — с комическим укором подсказал Лиговской. — Вступив в круг театралов,

ты должен говорить их языком и называть вещи настоящим их именем.

— Вечером, когда балет, — продолжал Слободской, — сижу в ложе, где у нас происходит стрельба...

— Которая, прибавь, идет очень удовлетворительно; в прошлый вторник я сидел в креслах; едва вошел ты в ложу — она не спускала с тебя глаз; стоя за кулисами, она так же исправно на тебя постреливала... Прелесть, какая миленькая девочка! Но я не об этом... Мне хотелось узнать, не приступишь ли ты к более действительным мерам?

— Нет еще; до сих пор не мог даже хорошенько узнать, есть ли у нее какая-нибудь родственная обстановка...

— Да, это статья не последняя!

— Еще бы!

— Надо бы попросить барыню Берестова разузнать об этом... Но, впрочем, вот и Дим! Спроси у него. Здравствуй, Дим!..

XXXV

Восклицание это относилось к молодому человеку лет двадцати трех, худенькому, тщедушному, но с приятным лицом, исполненным огня и одушевления, не совсем обыкновенных. В юноше этом было что-то особенное — какая-то внутренняя притягательная сила, которая невольно влекла к нему и располагала в его пользу.

Он действительно любим был всеми, кто только знал его, — начиная с лиц высшего общества, к которому принадлежал он, и кончая скромными кружками бедных студентов и художников. Лучшим доказательством хорошей природы его служило то, что всеобщее баловство и своего рода популярность не имели на него никакого действия; он был скромнее, проще и добродушнее многих никому не ведомых юношей, с которыми водил дружбу, и которая, скажем мимоходом, сильно не нравилась его отцу, матери и другим родственникам.

Предрассудки и обстоятельства, его окружавшие, служили с ранних лет преградою всем его стремлениям, не дали развиваться ни одному из его талантов, лишили его всякого направления; он ни на чем не

остановился. А между тем уже по одному тому, за что брался он иногда, — видно было, что могло бы выйти из него при других условиях. Никогда не учась рисовать, он набрасывал эскизы и композиции, которые обличали богато одаренное воображение и сильное артистическое чутье; не учась никогда музыке, он бегло разыгрывал *à livre ouvert*¹ какие угодно пассажи, играл на память целые оперы; врожденное музыкальное дарование высказывалось в его вкусе, в способности быстро понимать и сильно чувствовать истинно хорошее — даже в манере петь романсы, которые передавал он часто лучше многих известных артистов. Артистическая природа еще сильнее выказывалась в его разговоре, отличающемся живописностью и пластикой: двумя-тремя меткими выражениями умел он обрисовать живую фигуру или перенести слушателя в тот круг, который хотел изобразить. Принимаясь за книгу случайно, урывками, он прочел очень много: и здесь точно так же выбор его — показывал вкус и верное чутье. Словом, если б разделить дарования этого юноши между пятью французами и пятью англичанами, — вышло бы, наверное, десять замечательных людей. Из Дима ничего не вышло; вышел только милый, умный, занимательный малый, который с шестнадцати лет рисовал карикатуры в альбомы барынь высшего круга, пел романсы и цыганские песни в обществе камелий, был необходимым членом всех холостых обедов и попоек, являлся на всех загородных гуляньях, скачках и празднествах, на всех вечерах и пикниках с актрисами, лоретками и цыганками, — где снова пел романсы, танцевал, произносил комические речи и пил наравне с самыми застарелыми питуками веселых сборищ.

Папенька его в это время неизбежно сидел в английском клубе, где провел более двадцати лет своего существования; маменька, которой давно минуло за сорок, сидела в театре или, разряженная в пух и прах, в *manches courtes* и *décolletée*² вертелась на каком-нибудь бале, окруженная роем молодых людей, в числе которых один особенно отличался всегда своим постоянством.

Дим, настоящее имя которого было Дмитрий,

¹ С листа (*фр.*).

² С короткими рукавами и декольтированная (*фр.*).

а фамилия граф Волынский, — вошел не один к Слободскому. Его сопровождал тоже молодой человек, но только плотный, коренастый, с крутыми огромными икрами, выпяченной грудью, коротенькой шеей и шарообразною головою, обстриженной под гребенку. Господин этот, по фамилии Свинцов, был фанатическим поклонником Волынского; он точно влюблен был в него до идиотства; он не отставал от него ни на шаг, стремительно летел туда, где мог быть Волынский, — словом, не мог без него обходиться; каждое слово Волынского, каждая его выходка, каждая плохая острога имели свойство приводить Свинцова в восторг и восхищение неописанные.

— Здравствуй, Дим! ты как нельзя кстати, — сказал Слободской, здороваясь с Волынским и пожимая руку Свинцову, которого называл всегда субъектом, вполне достойным своей фамилии, — мы говорили здесь с Лиговским о Фанни Никошиной...

— За которой он зверски ухаживает, хотя и скрывает это! — подсказал Лиговской.

— Положим!.. — перебил Слободской. — Я до сих пор не знаю, есть ли у ней родня какая-нибудь, папенька, маменька, бабушки, тетушки и т. д., — проговорил он с комической интонацией.

— Если ты точно влюблен — не испытывай, пожалуйста, моей деликатности, — сказал Дим, улыбаясь, — спроси лучше, хорошенькие ли у ней ножки; мне в тысячу раз приятнее будет тебе ответить...

— О ее ножках я и без тебя знаю!.. Из того, что ты говоришь, я должен, следовательно, заключить, что Фанни обременена многочисленным и, вдобавок, что всего прискорбнее, добродетельным семейством...

Вместо ответа Волынский подошел к роялю, сел на табурет и взял несколько аккордов.

Свинцов засуетился, поспешно поставил каску и подошел к роялю.

— Я лучше спою вам вещь, которую оба вы, и ты и Лиговской, верно, не слышали...

— О, это превосходно!.. Восхитительно!.. Как он поет это, господа!.. Послушайте, это просто — просто восхитительно! — произнес Свинцов, сияя весь с головы до ног бессмысленным восторгом.

— Свинцов, я уже сказал тебе раз навсегда, — меньше восторга и больше скромности в отношении ко мне, — сказал Волынский, откашливаясь.

— Что это такое? — спросили Лиговской и хозяин дома.

— «La chanson du pain»¹ Пьера Дюпона:

Quand dans l'air et sur la rivière
De moulins se tait le tic-tac...²

— Слушайте!

Но не успел он спеть первой фразы, как в кабинете неожиданно явилось новое лицо.

XXXVI

На этот раз предстал господин лет уже под пятьдесят, высокий, плотный, в черном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, по-военному. Лицо его, брюзгливое и морщинистое, как печеное яблоко, украшалось сверху коротко обстриженными волосами, посредине круто завинченными усами; и то и другое было так дурно выкрашено черною краской, что всюду просвечивала седина и рыжеватый корень; золотые очки и коричневые перчатки, которые так были широки, что сами собою сползали с пальцев, дополняли его наружный вид.

— А, князь! — закричали присутствующие в один голос.

— Bonjour!³ — отвечал с каким-то недовольным, нахмуренным выражением князь, поочередно пожимая всем руки.

— Что с вами? Вы сегодня, кажется, не в духе, — спросил Слободской.

— Нет... ничего... — возразил князь, насупливая брови.

— Полно врать, пожалуйста! — крикнул Вольнский, который со всеми решительно, даже с дряхлыми стариками, был на ты, — все знают, что такое!..

— Если знаете, стало быть, спрашивать нечего! — сухо возразил князь, принимаясь ходить из угла в угол по кабинету.

— Сам рассуди, братец, — начал Вольнский умышленно серьезным тоном, — как же ты хочешь, чтобы

¹ «Песнь о хлебе» (фр.).

² Когда в воздухе и на реке
Мельниц умолкает шум... (фр.)

³ Здравствуйте! (фр.)

Фисочка Вишнякова, которой, скажем мимоходом, протезируешь ты черт знает из чего, нашла себе обожателя? Не сам ли ты уверил ее, что у нее есть талант, бегал к театральному начальству и хлопотал, чтобы перевели ее из балета в Александринский театр; кто ее там увидит? Останься она в балете — другое дело!.. И, наконец, талант ее совсем не из тех, который может обратить на нее внимание...

— Совсем не о таланте речь! — с жаром заговорил князь, — я говорю только, — вот девушка с самыми блистательными условиями, молоденькая, хорошенькая, ангельски кроткого характера, не имеющая никакого родства, кроме старой бабушки, которая безвыездно живет в Кронштадте, и при всем том девушка эта никого не находит, кто бы обратил на нее внимание! Да знаете ли вы: *elle n'a pas de chemises!*¹ — понижая голос и с сильным драматическим оттенком добавил князь, не замечавший, что присутствующие переглядывались и посмеивались.

— Ну, так купи ей дюжину рубашек — и делу конец! — сказал Вольнский.

— Не могу же я одевать всю дирекцию! — возразил князь патетически, — да, господа, это просто срам! — подхватил он с возраставшим негодованием. — В прежнее время этого бы не случилось! Нынешняя молодежь — просто дрянь!.. Да!.. Это какие-то вялые сосульки, и больше ничего! Я не могу говорить... об этом равнодушно... Это... просто черт знает что такое!

Всего замечательнее было то, что князь в негодовании своем был как нельзя более искренен. Проведя более тридцати лет в театральном обществе, в пользу которого отказался от своего собственного, он так с ним сблизился и сроднился, так усвоил себе закулисную точку зрения, что не шутя принимал к сердцу судьбу каждой неустроенной молоденькой танцовщицы или актрисы; он бился и хлопотал изо всей мочи, чтобы как-нибудь уладить дело. Для этого он давал у себя обеды, устраивал танцевальные вечера, куда приглашалась молодежь и театральные дамы, сочинял пикники, составлял в летнее время разные увеселительные прогулки, катанья в лодках и проч. и проч. Князь крестил почти во всех устроенных им семей-

¹ У нее нет рубашек! (*фр.*)

ствах. Когда, с его точки зрения — которая, как мы уже сказали, была закулисная точка зрения, — удавалось ему устроить судьбу какой-нибудь Ашеньки, Пашеньки или Глашеньки, он на несколько дней совершенно перерождался, расправлял брови, не переставал мурлыкать под нос какие-то песенки и крепко потирал ладонями от восхищенья; весело постукивая тростью по плитам невского тротуара, князь подходил тогда к каждому знакомому и, радостно потирая руками, произносил:

— L'affaire est arrangée! Nous avons baclé l'affaire!¹

XXXVII

— Знаешь, князь, — сказал Волынский, перебирая клавиши, — не шутя тебе советую — напусти-ка ты старого Галича на свою protégée...

— Ну его, старого шута!

— Представьте, господа, этот старикашка, Галич, не шутя, кажется, рехнулся! — сказал Волынский. — Вчера сидел я с ним в ложе князя; на сцену выходит Цветкова; клянусь вам, она ни разу на нас не взглянула; напротив, умышленно даже отворачивалась; князь, который на том свете ответит за Галича, потому что первый втравил его в театр и волокитство, — князь говорит ему: «Ты ничего не замечаешь, она с тебя глаз не сводит!» Смотрю, Галич закрыл вдруг глаза, прижал головою к перегородке ложи и, пожимая нам нежно руки, проговорил глухим, потухающим голосом: «Merci, merci!..»²

Все засмеялись. Сам князь улыбнулся и с той минуты словно повеселел.

— Но лучше всего, это история с поэмой...

— Какой поэмой? — спросил Лиговской.

— Как! разве ты не знаешь?

— Нет.

— Галич, которого опять-таки подбил князь, — сунулся на подъезд актеров после спектакля и сказал Цветковой какой-то комплимент... Та что-то ему ответила, надо думать, приятное, потому что Галич в тот же вечер полетел к старухе, сестре своей, и наотрез

¹ Дельце улажено! Мы ловко это устроили! (фр.)

² Благодарю, благодарю!.. (фр.)

объявил ей о своем намерении жениться на Цветковой! Бедная старуха, говорят, покатила на диван, и часа два не могли привести ее в чувство... Дня четыре назад сидим мы после обеда у князя, — является Галич. В жизни не видал я более уморительной и вместе с тем жалкой фигуры...

Волынский подогнул колени, повесил голову набок и так поразительно живо представил Галича, что все снова разразилось смехом.

— Князь, которому Галич сообщил уже свою поэму в честь Цветковой, начал его упрасивать прочесть нам ее; я думал, старик начнет ломаться, — ничуть не бывало! Он берет восторженную, самодовольную позу и начинает декламировать... Больше всего, — промолвил, смеясь, Волынский, — больше всего понаравились мне следующие стихи:

Я на Арарат ее поставлю
И весь мир думать заставлю:
«Вот та, которую я люблю!»

— Не правда ли, это прелесть! я тотчас же и музыку сочинил... Что-то торжественное, во вкусе марша Черномора из «Руслана и Людмилы»... — заключил Волынский, подходя к роялю в сопровождении Свицова.

— Пой, я пока оденусь: меня ждут в три часа, — сказал Слободской, направляясь к уборной.

Он возвратился, однако ж, увидев камердинера, входившего с толстыми пакетами, запечатанными пятью печатями.

Слободской сорвал обертки, положил деньги в стол и, заперев его ключиком, который носил всегда в кармане, — ушел в уборную.

В продолжение четверти часа долетали до его уха звуки фортепиано и пение, прерываемое время от времени криками «браво» и громким хлопаньем.

— Господа, — произнес Слободской, выходя в кабинет совсем уже одетый, — я предлагаю вам сделать мне сегодня маленькое удовольствие... Сегодня, как вам известно, балет; приезжайте все ко мне в ложу; ложа обыкновенная — литера Ц с левой стороны.

— Господа, — вмешался Лиговской, — отказать ему нет возможности! Знаете сами, какой день сегодня; се-

годня Фанни Никошина, — нечего объяснять вам, какое значение имеет она для хозяина дома сего, — Фанни танцует сегодня свое первое па... Это некоторым образом ее дебют!

— Еще бы! непременно! Просить нечего! — заговорили присутствующие, с участием окружая Слободского, который смеялся, как человек, которому ничего больше не оставалось делать.

— Господа, да будет вам известно, — сказал окончательно развеселившийся князь, — я приеду в ложу первым; без букета никто не впускается; «с'est de rigueur»!¹

— Спасибо, князь! — вымолвил Слободской, — я прошу вас об этом, господа, не столько для своих целей, сколько, не шутя, для того, что надо же поощрить молоденький, начинающий талант.

— Знаем! знаем! — заметил Волынский.

Все снова засмеялись.

Слободской позвонил, открыл ящик в столе и вынул несколько ассигнаций.

— Сходи сию же минуту к Казанскому собору в цветочную лавку, — сказал он, подавая деньги вошедшему камердинеру, — спроси два лучших букета из белых камелий — не забудь: белых камелий! Скажи только хозяину: для господина Слободского, — он знает! А что, коляска готова?

— Готова.

— Ну, господа, извините; надо ехать; дал слово, — заключил он, поглядывая на часы.

Все взяли за шляпы и вышли из кабинета вместе с хозяином дома.

XXXVIII

Острейх жил в Сергиевской. Слободской проскакал, следовательно, по всему Невскому и Литейной в тот час именно, когда на первой из этих улиц, даже в дурную погоду, бывает особеннолюдно. Коляска произвела свой всегдашний эффект.

Он имел обыкновение выезжать на страшной паре вороных, которых охотники называли «чертями и дьяволами», а остальные смертные — «лошадьми непо-

¹ Таково правило (*фр.*).

зволительного свойства», — и при этом всегда бранили полицию, позволяющую скакать по городу во все лопатки. Такие жалобы не совсем были справедливы; полиция нисколько не была виновата, что коляска Слободского опрокидывала извозчицьи дрожки, раз задела четырех подмастерьев со шкапом на голове, а раз совсем сбила с ног и чуть не задавила какую-то старушку, проходившую через улицу. Полиция неоднократно отбирала лошадей у Слободского. Слободской ограничивался тем, что сменял кучера, покупал новую отличную пару, променивал ее на свою прежнюю, и снова «черти и дьяволы» посявлялись на Невском.

Слободской вовсе не думал встретить у Острейха многочисленную компанию. Когда он приехал, общество находилось в конюшне: там началась уже выводка и продажа.

На свою долю Слободской купил маленького английского пони; он вовсе не был ему нужен, но так уж пришлось, — с языка сорвалось, как говорится. Приобретение пони внушило Слободскому мысль заказать легонький кабриолет, в котором, не обременяя маленького коня и сидя только с грумом, можно было бы ездить в летнее время на острова и посещать мыс Елагина острова. С такую мыслью Слободской, привыкший исполнять свои прихоти и фантазии тотчас же, не откладывая минуты, отправился к своему каретнику.

Оттуда проехал он в Большую Миллионную к сестре, с которой не видался более восьми дней.

Сестра его была женою великолепного, блистательного господина, который задавал каждую зиму роскошные балы и праздники, куда съезжался весь город, но который вместе с тем сидел постоянно без гроша денег, так что в последние два года, несмотря на строжайшие предписания докторов, не находил никакой возможности отправить жену и детей в Гапсаль для излечения здоровья.

От сестры Слободской проехал к одной светской даме, которой говорил «вы» при муже и «ты», когда супруг находился в отсутствии. Он ехал к ней единственно с тою целью, чтобы только показаться на глаза и этим способом избавить себя, хоть на время, от преследований и длинных писем, исполненных опасений, упреков, и часто, — что было всего невыноси-

мее, — писем, закапанных слезами. Связь эта, продолжавшаяся всего десять месяцев, но стоившая ему три года постоянных и почти безнадежных ухаживаний, страх теперь ему прискучила и была в тягость. Он бросился в театральство и распускал слух о волокитстве за маленькой Фанни, в той надежде, что это, по всей вероятности, дойдет до дамы его сердца и ускорит между ними разрыв.

Узнав от швейцара, что барина нет дома, но барыня принимает, Слободской, который прежде после такого известия радостно взбегал по лестнице, — страшно теперь надулся. Он надулся еще более, застав барыню совершенно одну. «Хоть бы лакей какой-нибудь торчал в дверях!..» — досадливо подумал он, ожидая начала докучливых объяснений. Он не ошибся: действительно, началась одна из тех сцен, когда женщина, чувствуя себя оскорбленною, но столько еще любящая, что мысль о разлуке тяжелей всего переносится, забывает вдруг всю мелочь самолюбия и явно, не скрываясь, отдается своему горю. Но странно, чем справедливее были ее упреки, чем обильней лились слезы, тем более и более ожесточалось сердце Слободского, тем сильнее разгоралось в его груди чувство досады и даже злобы. Наконец он встал, произнес мелодраматическим тоном: «*Encore des larmes, madame! Encore des reproches! C'est horrible vraiment!..*»¹ — и торопливо вышел.

Он заехал еще в два дома, чтобы оставить карточку, и велел везти себя как можно скорее в Малую Морскую. Ему оставалось ровно столько времени, чтобы успеть переодеться. Он ехал на полуофициальный именинный обед, который можно было бы назвать обедом проклятий, потому что тот, кто давал обед, проклинал его еще за три дня, — и те, которых звали, также проклинали его, в свою очередь.

Тем не менее обед прошел как нельзя лучше, хозяйин и хозяйка дома были очаровательно любезны, гости также; и все весело встали из-за стола, помышляя об одном только: как бы поскорее удрать, не обижая хозяина, который, с своей стороны, думал: как бы только поскорее освободиться!

¹ Опять слезы, сударыня! Опять упреки! Это ужасно, право!..
(фр.)

Слободской ускользнул первым. Он заехал опять домой и снова переоделся.

— В Большой театр! — закричал он, влезая в карету, которая стремглав понеслась, едва захлопнулись дверцы.

XXXIX

Туман, который опустился на Петербург часам к семи, был так густ, что карета несколько раз должна была останавливаться, — частью, чтобы не налететь на другие экипажи, катившие по тому же направлению, — частью потому также, что лошади скользили и спотыкались на торце, увлажненном сыростью. На театральной площади было еще хуже. Сотни экипажей стремительно неслись на площадь и храбро врезывались в туманную мглу, которая ходила волнами и постепенно сгущалась; ничего нельзя было различить. Слышались только со всех сторон крики, неистовый грохот колес и быстрый лошадиный топот.

Большей возни и суматохи не могло быть, кажется, на дне Красного моря, когда волны его, расступившись стеною, вдруг сомкнулись и закрыли фараоново войско.

Все это вышутывалось каким-то чудом и подкатывало к ярко освещенным подъездам. Из экипажей поминутно выходили воздушные, как сильфиды, дамы, которые быстро исчезали в дверях, распространяя в воздухе тонкий, благоухающий запах фиалки, *ess-vouquet*¹ и гелиотропа. В коридорах было почти так же жарко, как было сыро и холодно на улице. Там уже с трудом можно было двигаться. Львы и денди всех возможных возрастов и слоев общества, офицеры всех возможных полков, дамы, молоденькие и старые, в бальных нарядах, ливрейные лакеи и капельдинеры — все это двигалось взад и вперед, взбиралось по лестницам и хлопало дверьми лож и партера.

В зале, наводненной светом, было еще шумливее. Поминутно, то тут, то там, ряды лож унижывались хорошенькими женщинами, блиставшими своими нарядами, плечами и драгоценными камнями. Хорошо было, что с первого взгляда доставлялась возмож-

¹ Цветочные духи (*фр.*).

ность верно судить о том, чем именно следовало любоваться; выставлялось только то, что действительно заслуживало внимания; здесь, при всем желании усмотреть что-нибудь другое, можно было видеть один только профиль; тут показывалась на всеобщее удивление часть спины, от которой рябило в глазах и сладко вздрагивало сердце; там поражала чудная белизна руки с обнаженным локтем, который привлекательно лоснился на красном бархате перил. Иногда в той или другой ложе усаживалась в кресло ветхая фигура, представлявшая одну грудку драгоценных камней, которые блеском своим привлекали на минуту всеобщее внимание.

В глубине лож, не считая постоянных лиц, общество то и дело сменялось; множество мужчин, старых и молодых, со звездами и без звезд, статских и военных, желая до начала представления воспользоваться свободным временем, спешили отдать свои визиты и пробирались из яруса в ярус. В качестве гостей в ложи являлись иногда мужья; повертевшись с минуту, они спешили исчезнуть, чтобы скорее занять свое место в креслах, — и оставляли за спиною жен изящнейших молодых людей, которым жены давали держать букет, бинокль, бросая на них украдкою нежные, выразительные взгляды.

В половине осьмого зала театра окончательно наполнилась; в партере не было уже свободного места. Начинали чувствоваться жар и духота; в разных концах раздавалось хлопанье и шумели ногами, требуя, чтобы скорее подняли занавес. Звуки инструментов, которые настраивали в оркестре, говор в ложах и креслах, шум шагов, хлопанье — все это заметно угомонилося, как только в оркестре появился капельмейстер.

В то же время в литерной ложе налево выставились вперед Слободской, князь, Лиговской и Волынский, за спиною которого показалось сияющее бессмысленной веселостью лицо Свинцова.

Наконец грянул оркестр, проиграли увертюру, и при внезапно воцарившемся молчании подняли занавес. В зале сделалось свежее, точно пахнуло свежестью из роскошного тропического леса, изображенного на декорации.

Несмотря на величавые телодвижения индийского набоба, которого невольники принесли в паланкине,

несмотря на изумительные прыжки вновь ангажированного бордоского танцора, — тишина в зале не прерывалась до той минуты, пока из-за кулисы не выбежала маленькая Фанни. Сигнал аплодисментам, поданный из литературной ложи налево, был тотчас же подхвачен в креслах и других частях залы, где рассажены были агенты Слободского. Каждое движение Фанни сопровождалось криками «браво» и хлопаньем; наконец, когда после не совсем удавшегося пируэта остановилась она и поклонилась публике, — к ногам ее упала целая дюжина букетов, брошенных из знакомой литературной ложи; в числе букетов особенно бросались в глаза два из белых камелий, стоившие пятьдесят рублей, — кто знает, может быть, те самые пятьдесят рублей, добытые которых произвело (если помнит читатель) целую драму в семействе старого Карпа из Антоновки...

Но не время ли нам остановиться, и здесь — именно здесь, а не в другом месте — окончить нашу повесть?

Нам, конечно, ничего бы не стоило описать, как Слободской и его общество отправились после спектакля на театральный подъезд, как веселились они на вечеру у *m-lle Emilie*¹, как потом отправились все вместе ужинать к Борелю и как, наконец, часу уже в третьем ночи, поехали всей гурьбой к цыганам; но веселое расположение автора вдруг изменило ему; он извиняется перед читателями, которые останутся недовольны таким резким окончанием, и скорее ставит точку.

1860



¹ У мадмуазель Эмили (фр.).



ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК

(Повесть)

I

«...Когда я родился — я заплакал; впоследствии каждый прожитой день объяснял мне, почему я заплакал, когда родился...»

Метель! Метель!! И как это вдруг! Как неожиданно!! А до того времени стояла прекрасная погода. В полдень слегка морозило; солнце, ослепительно сверкая по снегу и заставляя всех шуриться, прибавляло к веселости и пестроте уличного петербургского населения, праздновавшего пятый день масленицы. Так продолжалось почти до трех часов, до начала сумерек, и вдруг налетела туча, поднялся ветер и снег повалил с такою густотою, что в первые минуты ничего нельзя было разобрать на улице.

Суэта и давка особенно чувствовались на площади против цирка. Публика, выходявшая после утреннего представления, едва могла пробираться в толпе, валившей с Царицына Луга, где были балаганы. Люди, лошади, сани, кареты — все смешалось. Посреди шума раздавались со всех концов нетерпеливые возгласы, слышались недовольные, ворчливые замечания лиц, застигнутых врасплох метелью. Нашлись даже такие, которые тут же не на шутку рассердились и хорошенько ее выбрали.

К числу последних следует прежде всего причислить распорядителей цирка. И в самом деле, если принять в расчет предстоящее вечернее представление и ожидаемую на него публику, — метель легко могла повредить делу. Масленица бесспорно владеет таинственной силой пробуждать в душе человека чувство долга к употреблению блинов, услаждению себя увеселениями и зрелищами всякого рода; но, с другой сто-

роны, известно также из опыта, что чувство долга может иногда пасовать и слабнуть от причин, несравненно менее достойных, чем перемена погоды. Как бы там ни было, метель колебала успех вечернего представления; рождались даже некоторые опасения, что если погода к восьми часам не улучшится, — касса цирка существенно пострадает.

Так или почти так рассуждал режиссер цирка, провояя глазами публику, теснившуюся у выхода. Когда двери на площадь были заперты, он направился через залу к конюшням.

В зале цирка успели уже потушить газ. Проходя между барьером и первым рядом кресел, режиссер мог различить сквозь мрак только арену цирка, обозначавшуюся круглым мутно-желтоватым пятном; остальное все: опустевшие ряды кресел, амфитеатр, верхние галереи — уходили в темноту, местами неопределенно чернея, местами пропадая в туманной мгле, крепко пропитанной кисло-сладким запахом конюшни, амьака, сырого песку и опилок. Под куполом воздух так уже сгущался, что трудно было различать очертание верхних окон; затемненные снаружи пасмурным небом, залепленные наполовину снегом, они проглядывали вовнутрь как сквозь кисель, сообщая настолько свету, чтобы нижней части цирка придать еще больше сумрака. Во всем этом обширном темном пространстве свет резко проходил только золотистой продольной полоской между половинками драпировки, ниспадавшей под оркестром; он лучом врезывался в тучный воздух, пропадал и снова появлялся на противоположном конце у выхода, играя на позолоте и малиновом бархате средней ложи.

За драпировкой, пропускавшей свет, раздавались голоса, слышался лошадиный топот; к ним время от времени присоединялся нетерпеливый лай ученых собак, которых запирали, как только оканчивалось представление. Там теперь сосредоточивалась жизнь шумного персонала, одушевлявшего полчаса тому назад арену цирка во время утреннего представления. Там только горел теперь газ, освещая кирпичные стены, наскоро забеленные известью. У основания их, вдоль закругленных коридоров, громоздились сложенные декорации, расписные барьеры и табуреты, лестницы, носилки с тюфяками и коврами, свертки цветных фла-

гов; при свете газа четко обрисовывались висевшие на стенах обручи, перевитые яркими бумажными цветами или заклеенные тонкой китайской бумагой; подле сверкал длинный золоченый шест и выделялась голубая, шитая блестками, занавеска, украшавшая подпорку во время танцевания на канате. Словом, тут находились все те предметы и приспособления, которые мгновенно переносят воображение к людям, перелегающим в пространстве, женщинам, усиленно прыгающим в обруч, с тем чтобы снова попасть ногами на спину скачущей лошади, детям, кувыркающимся в воздухе или висящим на одних носках под куполом.

Несмотря, однако ж, что все здесь напоминало частые и страшные случаи ушибов, перелома ребер и ног, падений, сопряженных со смертью, что жизнь человеческая постоянно висела здесь на волоске и с нею играли как с мячиком, — в этом светлом коридоре и расположенных в нем уборных встречались больше лица веселые, слышались по преимуществу шутки, хохот и посвистыванье.

Так и теперь было.

В главном проходе, соединявшем внутренний коридор с конюшнями, можно было видеть почти всех лиц труппы. Одни успели уже переменить костюм и стояли в мантильях, модных шляпках, пальто и пиджаках; другим удалось только смыть румяна и белила и наскоро набросить пальто, из-под которого выглядывали ноги, обтянутые в цветное трико и обутые в башмаки, шитые блестками; третьи не торопились и красовались в полном костюме, как были во время представления.

Между последними особенное внимание обращал на себя небольшого роста человек, обтянутый от груди до ног в полосатое трико с двумя большими бабочками, нашитыми на груди и на спине. По лицу его, густо замазанному белилами, с бровями, перпендикулярно выведенными поперек лба, и красными кружками на щеках, невозможно было бы сказать, сколько ему лет, если бы он не снял с себя парика, как только окончилось представление, и не обнаружил этим широкой лысины, проходившей через всю голову.

Он заметно обходил товарищей, не вмешивался в их разговоры. Он не замечал, как многие из них под-

талкивали друг друга локтем и шутливо подмигивали, когда он проходил мимо.

При виде вошедшего режиссера он попятился, быстро отвернулся и сделал несколько шагов к уборным; но режиссер поспешил остановить его.

— Эдвардс, погодите минутку; успеете еще раздеться! — сказал режиссер, внимательно поглядывая на клоуна, который остановился, но, по-видимому, неохотно это сделал, — подождите, прошу вас; мне надо только переговорить с фрау Браун... Где мадам Браун? Позовите ее сюда... А, фрау Браун! — воскликнул режиссер, обратясь к маленькой хромой, уже не молодой женщине, в салопе, также не молодых лет, и шляпке, еще старше салопы.

Фрау Браун подошла не одна: ее сопровождала девочка лет пятнадцати, худенькая, с тонкими чертами лица и прекрасными выразительными глазами.

Она также была бедно одета.

— Фрау Браун, — торопливо заговорил режиссер, бросая снова испытующий взгляд на клоуна Эдвардса, — господин директор недоволен сегодня вами — или, все равно, вашей дочерью; очень недоволен!.. Ваша дочь сегодня три раза упала и третий раз так неловко, что перепугала публику!..

— Я сама испугалась, — тихим голосом произнесла фрау Браун, — мне показалось, Мальхен упала на бок...

— А, па-па-ли-па! Надо больше репетировать, вот что! Дело в том, что так невозможно; получая за вашу дочь сто двадцать рублей в месяц жалованья...

— Но, господин режиссер, бог свидетель, во всем виновата лошадь; она постоянно сбивается с такта; когда Мальхен прыгнула в обруч — лошадь опять переменила ногу, и Мальхен упала... вот все видели, все то же скажут...

Все видели — это правда: но все молчали. Молчала также виновница этого объяснения; она ловила случай, когда режиссер не смотрел на нее, и робко на него поглядывала.

— Дело известное, всегда в таких случаях лошадь виновата, — сказал режиссер. — Ваша дочь будет, однако ж, на ней ездить сегодня вечером.

— Но она вечером не работает...

— Будет работать, сударыня! Должна работать!.. — раздраженно проговорил режиссер. — Вас нет в расписании, это правда, — подхватил он, указывая на писанный лист бумаги, привешенный к стене над доскою, усыпанной мелом и служащей артистам для обтирания подошв перед выходом на арену, — но это все равно; жонглер Линд внезапно захворал, ваша дочь займет его номер.

— Я думала дать ей отдохнуть сегодня вечером, — проговорила фрау Браун, окончательно понижая голос, — теперь масленица: играют по два раза в день; девочка очень устала...

— На это есть первая неделя поста, сударыня; и, наконец, в контракте ясно, кажется, сказано: «артисты обязаны играть ежедневно и заменять друг друга в случае болезни»... Кажется, ясно: и, наконец, фрау Браун: получая за вашу дочь ежемесячно сто двадцать рублей, стыдно, кажется, говорить об этом; именно стыдно!..

Отрезав таким образом, режиссер повернулся к ней спиною. Но прежде чем подойти к Эдвардсу, он снова обвел его испытующим взглядом.

Притупленный вид и вообще вся фигура клоуна, с его бабочками на спине и на груди, не предвещали на опытный глаз ничего хорошего; они ясно указывали режиссеру, что Эдвардс вступил в период тоски, после чего он вдруг начинал пить мертвую; и тогда уже прощай все расчеты на клоуна — расчеты самые основательные, если принять во внимание, что Эдвардс был в труппе первым сюжетом, первым любимцем публики, первым потешником, изобретавшим чуть ли не каждое представление что-нибудь новое, заставлявшее зрителей смеяться до упаду и хлопать до неистовства. Словом, он был душою цирка, главным его украшением, главной приманкой.

Боже мой, что мог бы сказать Эдвардс в ответ товарищам, часто хваставшим перед ним тем, что их знала публика и что они бывали в столицах Европы! Не было цирка в любом большом городе от Парижа до Константинополя, от Копенгагена до Палермо, где бы не хлопали Эдвардсу, где бы не печатали на афишах его изображение в костюме с бабочками! Он один мог заменять целую труппу: был отличным наездником, эквилибристом, гимнастом, жонглером, мастером дрессировать ученых лошадей, собак, обезьян, го-

лубей, а как клоун, как потешник — не знал себе соперника. Но припадки тоски в связи с запоем преследовали его повсюду.

Все тогда пропадало. Он всегда предчувствовал приближение болезни; тоска, овладевавшая им, была ничего больше, как внутреннее сознание бесполезности борьбы; он делался угрюмым, несообщительным. Гибкий, как сталь, человек превращался в тряпку, — чему втайне радовались его завистники и что пробуждало сострадание между теми из главных артистов, которые признавали его авторитет и любили его; последних, надо сказать, было не много. Самолюбие большинства было всегда более или менее задето обращением Эдвардса, никогда не соблюдавшего степеней и отличий; первый ли сюжет, являвшийся в труппу с известным именем, простой ли смертный темного происхождения, — для него было безразлично. Он явно даже предпочитал последних.

Когда он был здоров, его постоянно можно было видеть с каким-нибудь ребенком из труппы; за неимением такого, он возился с собакой, обезьяной, птицей и т. д.; привязанность его рождалась всегда как-то вдруг, но чрезвычайно сильно. Он всегда отдавался ей тем упорнее, чем делался молчаливее с товарищами, начинал избегать с ними встреч и становился все более и более сумрачным.

В этот первый период болезни управление цирка могло еще на него рассчитывать. Представления не успевали еще утрачивать над ним своего действия. Выходя из уборной в трико с бабочками, в рыжем парике, набеленный и нарумяненный, с перпендикулярно наведенными бровями, он видимо еще бодрился, присоединяясь к товарищам и приготавливаясь к выходу на арену.

Прислушиваясь к первым взрывам аплодисментов, крикам: браво! — звукам оркестра, — он постепенно как бы оживал, воодушевлялся, и стоило режиссеру крикнуть: клоуны, вперед!.. — он стремительно вылетал на арену, опережая товарищей; и уже с этой минуты, посреди взрывов хохота и восторженных браво! — неумолкаемо раздавались его плаксивые возгласы, и быстро, до ослепления, кувыркалось его тело, сливаясь при свете газа в одно круговое непрерывное сверкание...

Но кончалось представление, тушили газ — и все

как рукой сымало! Без костюма, без белил и румян Эдвардс представлялся только скучающим человеком, старательно избегавшим разговоров и столкновений. Так продолжалось несколько дней, после чего наступала самая болезнь; тогда ничего уже не помогало; он все тогда забывал; забывал свои привязанности, забывал самый цирк, который, с его освещенной ареной и хлопающей публикой, заключал в себе все интересы его жизни. Он исчезал даже совсем из цирка; все пропивалось; пропивалось накопленное жалованье, пропивалось не только трико с бабочками, но даже парик и башмаки, шитые блестками.

Понятно теперь, отчего режиссер, следивший еще с начала масленицы за возрастающим унынием клоуна, поглядывал на него с таким беспокойством. Подойдя к нему и бережно взяв его под руку, он отвел его в сторону.

— Эдвардс, — произнес он, понижая голос и совершенно дружественным тоном, — сегодня у нас пятница; остались суббота и воскресенье — всего два дня! Что стоит переждать, а?.. Прошу вас об этом; директор также просит... Подумайте, наконец, о публике! Вы знаете, как она вас любит!! Два дня всего! — прибавил он, схватывая его руку и принимаясь раскачивать ее из стороны в сторону. — Кстати, вы что-то хотели сказать мне о гуттаперчевом мальчике, — подхватил он, очевидно более с целью развлечь Эдвардса, так как ему было известно, что клоун в последнее время выражал особенную заботливость к мальчику, что служило также знаком приближавшейся болезни, — вы говорили, он стал как будто слабее работать... Мудреного нет: мальчик в руках такого болвана, такого олуха, который может только его испортить! Что же с ним?

Эдвардс, не говоря ни слова, тронул себя ладонью по крестцу, потом похлопал по груди.

— И там и здесь нехорошо у мальчика, — сказал он, отводя глаза в сторону.

— Нам невозможно, однако ж, от него теперь отказаться; он на афишке; нечем заменить до воскресенья; два дня пускай еще поработает; там может отдохнуть, — сказал режиссер.

— Может также не выдержать, — глухо возразил клоун.

— Вы бы только выдержали, Эдвардс! Вы бы

только нас не оставили! — живо и даже с нежностью в голосе подхватил режиссер, принимаясь снова рассказывать руку Эдвардса.

Но клоун ответил сухим пожатием, отвернулся и медленно пошел раздеваться.

Он остановился, однако ж, проходя мимо уборной гуттаперчевого мальчика, или, вернее, уборной акробата Беккера, так как мальчик был только его воспитанником. Отворив дверь, Эдвардс вошел в крошечную низкую комнату, расположенную под первой галереей для зрителей; нестерпимо было в ней от духоты и жары; к конюшенному воздуху, разогретому газом, присоединялся запах табачного дыма, помады и пива; с одной стороны красовалось зеркальце в деревянной раме, обсыпанной пудрой; подле, на стене, оклеенной обоями, лопнувшими по всем щелям, висело трико, имевшее вид содранной человеческой кожи; дальше, на деревянном гвозде, торчала остроконечная войлочная шапка с павлиньим пером на боку; несколько цветных камзолов, шитых блестками, и часть мужской обыденной одежды громоздились в углу на столе. Мебель дополнялась еще столом и двумя деревянными стульями. На одном сидел Беккер — совершенное подобие Голиафа. Физическая сила сказывалась в каждом его мускуле, толстой перевязке костей, коротенькой шее с надутыми венами, маленькой круглой голове, завитой вкрутую и густо напозаженной. Он казался не столько отлитым в форму, сколько вырубленным из грубого материала, и притом грубым инструментом; хотя ему было на вид лет под сорок, — он казался тяжеловесным и неповоротливым — обстоятельство, нисколько не мешавшее ему считать себя первым красавцем в труппе и думать, что при появлении его на арене, в трико телесного цвета, он приводит в сокрушение женские сердца. Беккер снял уже костюм, но был еще в рубашке и, сидя на стуле, прохлаждал себя кружкой пива.

На другом стуле помещался тоже завитой, но совершенно голый, белокурый и худощавый мальчик лет восьми. Он не успел еще простыть после представления; на тоненьких его членах и впадине посреди груди местами виднелся еще лоск от испарины; голубая ленточка, перевязывавшая ему лоб и державшая его волосы, была совершенно мокрая; большие влажные пятна пота покрывали трико, лежавшее у него на ко-

леньях. Мальчик сидел неподвижно, робко, точно наказанный или ожидающий наказания.

Он поднял глаза тогда только, как Эдвардс вошел в уборную.

— Чего надо? — неприветливо произнес Беккер, поглядывая не то сердито, не то насмешливо на клоуна.

— Полно, Карл, — возразил Эдвардс задобривающим голосом, и видно было, что требовалось на это с его стороны некоторое усилие, — ты лучше вот что: дай-ка мне до семи часов мальчика; я бы погулял с ним до представления... Повел бы его на площадь поглядеть на балаганы...

Лицо мальчика заметно оживилось, но он не смел этого явно выказать.

— Не надо, — сказал Беккер, — не пуцу; он сегодня худо работал.

В глазах мальчика блеснули слезы; взглянув украдкой на Беккера, он поспешил раскрыть их, употребляя все свои силы, чтобы тот ничего не приметил.

— Он вечером лучше будет работать, — продолжал задобривать Эдвардс. — Послушай-ка, я вот что скажу: пока мальчик будет простывать и одеваться, — я велю принести из буфета пива...

— И без того есть! — грубо перебил Беккер.

— Ну, как хочешь; а только мальчику было бы веселее; при нашей работе скучать не годится; сам знаешь: веселость придает силу и бодрость...

— Это уж мое дело! — отрезал Беккер, очевидно бывший не в духе.

Эдвардс больше не возражал. Он взглянул еще раз на мальчика, продолжавшего делать усилия, чтобы не заплакать, покачал головою и вышел из уборной.

Карл Беккер допил остаток пива и приказал мальчику одеваться. Когда оба были готовы, акробат взял со стола хлыст, свистнул им по воздуху, крикнул: марш! и, пропустив вперед воспитанника, зашагал по коридору.

Глядя, как они выходили на улицу, воображению невольно представлялся тщедушный, неоперившийся цыпленок, сопровождаемый огромным откормленным боровом...

Минуту спустя цирк совсем опустел; оставались только конюхи, начинавшие чистить лошадей для вечернего представления.

Воспитанник акробата Беккера назывался «гуттаперчевым мальчиком» только в афишках; настоящее имя его было Петя; всего вернее, впрочем, было бы назвать его несчастным мальчиком.

История его очень коротка; да и где ж ей быть длинной и сложной, когда ему минул всего восьмой год!

Лишившись матери на пятом году возраста, он хорошо, однако ж, ее помнил. Как теперь видел он перед собою тощую женщину со светлыми, жиденькими и всегда растрепанными волосами, которая то ласкала его, наполняя ему рот всем, что подвертывалось под руку: луком, куском пирога, селедкой, хлебом, — то вдруг, ни с того ни с сего, накидывалась, начинала кричать и в то же время принималась шлепать его чем ни попало и куда ни попало. Петя тем не менее часто вспоминал мать.

Он, конечно, не знал подробностей домашней обстановки. Не знал он, что мама его была ни больше ни меньше, как крайне взбалмошная, хотя и добрая чухонка, переходившая из дома в дом в качестве кухарки и отовсюду гонимая, отчасти за излишнюю слабость сердца и постоянные романтические приключения, — отчасти за неряшливое обращение с посудой, бившейся у нее в руках как бы по собственному капризу.

Раз как-то удалось ей попасть на хорошее место; она и тут не выдержала. Не прошло двух недель, она неожиданно объявила, что выходит замуж за временно-отпускного солдата. Никакие увещания не могли поколебать ее решимости. Чухонцы, говорят, вообще упрямы. Но не меньшим упрямством отличался, должно быть, также и жених — даром что был из русских. Побуждения с его стороны были, впрочем, гораздо основательнее. Состоя швейцаром при большом доме, он мог уже считать себя некоторым образом человеком оседлым, определенным. Помещение под лестницей не отличалось, правда, большим удобством: потолок срезывался углом, так что под возвышенной его частью с трудом мог выпрямиться человек рослый; но люди живут и не в такой тесноте; наконец квартира даровая, нельзя быть взыскательным.

Размышляя таким образом, швейцар все еще как

бы не решался, пока не удалось ему случайно купить за очень дешевую цену самовара на Апраксином дворе. Колебания его при этом начали устанавливаться на более твердую почву. Возиться с самоваром, действительно, было как-то не мужским делом; машина, очевидно, требовала другого двигателя; хозяйка как бы сама собою напрашивалась.

Анна (так звали кухарку) имела в глазах швейцара то особенное преимущество, что, во-первых, была ему уже несколько знакома; во-вторых, живя по соседству, через дом, — она в значительной степени облегчала переговоры и сокращала, следовательно, время, дорогое каждому служащему.

Предложение было сделано, радостно принято, свадьба сыграна, и Анна переселилась к мужу под лестницу.

Первые два месяца жилось припеваючи. Самовар кипел с утра до вечера, и пар, проходя под косяком двери, клубами валил к потолку. Потом стало как-то ни то ни се; наконец дело совсем испортилось, когда наступило время родов и затем — хочешь не хочешь — пришлось справлять крестины. Швейцару как бы в первый раз пришла мысль, что он поторопился несколько, связав себя брачными узами. Быв человеком откровенным, он прямо высказывал свои чувства. Пошли попреки, брань, завязались ссоры. Кончилось тем, что швейцару отказали от места, ссылаясь на постоянный шум под лестницей и крики новорожденного, беспокоившие жильцов.

Последнее, без сомнения, было несправедливо. Новорожденный явился на свет таким тщедушным, таким изнуренным, что мало даже подавал надежд прожить до следующего дня: если б не соотечественница Анны, прачка Варвара, которая, как только родился ребенок, поспешила поднять его на руки и трясла его до тех пор, пока он не крикнул и не заплакал, — новорожденный действительно мог бы оправдать предсказанье. К этому надо прибавить, что воздух под лестницей не имел в самом деле настолько целебных свойств, чтобы в один день восстановить силы ребенка и развить его легкие до такой уже степени, что крик его мог кого-нибудь обеспокоить. Вернее всего, дело заключалось в желании удалить беспокойных родителей.

Месяц спустя швейцара потребовали в казармы;

в тот же вечер всем стало известно, что его вместе с полком отправляют в поход.

Перед разлукой супруги снова сблизились; на проводах много было пролито слез и еще больше пива.

Но ушел муж — и снова начались мытарства по отысканию места. Теперь только труднее было; с ребенком Анну никто почти не хотел брать. Так с горем пополам протянулся год.

Анну вызвали однажды в казармы, объявили, что муж убит, и выдали ей вдовый паспорт.

Обстоятельства ее, как каждый легко себе представит, нисколько от этого не улучшились. Выпадали дни, когда не на что было купить селедки и куска хлеба для себя и для мальчика; если б не добрые люди, совавшие иногда ломоть или картошку, мальчик наверное бы зачах и преждевременно умер от истощения. Судьба, наконец, сжалась над Анной. Благодаря участию соотечественницы Варвары, она поступила прачкой к хозяевам пробочной фабрики, помещавшейся на Черной речке.

Здесь действительно можно было вздохнуть свободнее. Здесь мальчик никому не мешал; он мог всюду следовать за матерью и цепляться за ее подол, сколько было душе угодно.

Особенно хорошо было летом, когда под вечер деятельность фабрики останавливалась, шум умолкал, рабочий люд расходился, оставались только женщины, служившие у хозяев. Утомленные работой и дневным жаром, женщины спускались на плот, усаживались по скамейкам, и начиналась на досуге нескончаемая болтовня, приправляемая прибаутками и смехом.

В увлечении беседы редкая из присутствующих замечала, как прибрежные ветлы постепенно окутывались тенью и в то же время все ярче и ярче разгорался закат; как нежданно вырывался из-за угла соседней дачи косой луч солнца; как внезапно охваченные им макушки ветел и края заборов отражались вместе с облаком в уснувшей воде и как, одновременно с этим, над водою и в теплом воздухе появлялись беспокойно движущиеся сверху вниз полчища комаров, обещавшие такую же хорошую погоду и на завтрашний день.

Время это было бесспорно лучшим в жизни мальчика — тогда еще не гуттаперчевого, но обыкновенно-

го, какими бывают все мальчики. Сколько раз потом рассказывал он о Черной речке клоуну Эдвардсу. Но Петя говорил скоро и с увлечением; Эдвардс едва понимал по-русски; отсюда выходил всегда целый ряд недоразумений. Думая, что мальчик рассказывает ему о каком-то волшебном сне, и не зная, что отвечать ему, — Эдвардс ограничивался тем обыкновенно, что ласково проводил ему ладонью по волосам снизу вверх и добродушно посмеивался.

И так Anne жилось изрядно; но прошел год, другой, и вдруг, совершенно опять неожиданно, объявила она, что выходит замуж. «Как? Что? За кого?..» — слышалось с разных сторон. На этот раз жених оказался подмастерьем из портных. Каким образом, где сделано было знакомство, — никто не знал. Все окончательно только ахнули, увидев жениха — человека ростом с наперсток, съезженного, с лицом желтым, как испеченная луковица, притом еще прихрамывающего на левую ногу, — ну, словом, как говорится, совершенного михрютку.

Никто решительно ничего не понимал. Всех меньше, конечно, мог понять Петя. Он горько плакал, когда его уводили с Черной речки, и еще громче зарыдал на свадьбе матери, когда в конце пирушки один из гостей ухватил вотчима за галстук и начал душить его, между тем как мать с криком бросилась разнимать их.

Не прошло нескольких дней, и наступила уже очередь Anne пожалеть о торопливости связать себя брачными узами. Но дело было сделано; каяться было поздно. Портной проводил день в мастерской; к вечеру только возвращался он в свою каморку, сопровождаемый всегда приятелями, в числе которых лучшим другом был тот, который собирался задушить его на свадьбе. Каждый приносил поочередно водки, и начиналась попойка, оканчивавшаяся обыкновенно свалкой. Тут доставалось всегда Anne, попадало также мимоходом на долю мальчика. Сушая была каторга! Худшим для Anne было то, что муж почему-то невзлюбил Петю; он косил на него с первого дня; при каждом случае он изловчался зацепить его и, как только напивался, грозил утопить его в проруби.

Так как портной пропадал по нескольку дней сряду, деньги все пропивались и не на что было купить хлеба. Anne, для прокормления себя и ребенка, ходила на поденную работу. На это время поручала она

мальчика старушке, жившей в одном с нею доме; летом старуха продавала яблоки, зимою торговала на Сенной вареным картофелем, тщательно прикрывая чугунный горшок тряпкой и усаживаясь на нем с большим удобством, когда на дворе было слишком холодно. Она всюду таскала Петю, который полюбил ее и называл «бабушкой».

По прошествии нескольких месяцев муж Анны совсем пропал; одни говорили — видели его в Кронштадте; другие уверяли, что он тайно обменял паспорт и переселился на жительство в Шлиссельбург, или «Шлюшино», как чаще выражались.

Вместо того чтобы свободнее вздохнуть, Анна окончательно тогда замоталась. Она сделалась какою-то шальной, лицо ее осунулось, в глазах явилось беспокойство, грудь впала, сама она страшно исхудала; к жалкому ее виду надо еще то прибавить, что вся она обносилась; нечего было ни надевать, ни закладывать; ее покрывали одни лохмотья. Наконец, однажды и она вдруг исчезла. Случайно дознались, что полиция подняла ее на улице в обессиленном от голода состоянии. Ее свезли в больницу. Соотечественница ее, прачка Варвара, навестив ее раз, сообщила знакомым, что Анна перестала узнавать знакомых и не сегодня завтра отдаст богу душу.

Так и случилось.

В числе воспоминаний Пети остался также день похорон матери. В последнее время он мало с ней виделся и потому отвык несколько; он жалел ее, однако ж, и плакал, — хотя, надо сказать, больше плакал от холода. Было суровое январское утро; с низменного пасмурного неба сыпался мелкий сухой снег; подгоняемый порывами ветра, он колотил лицо как иголками и волнами убегал по мерзлой дороге.

Петя, следуя за гробом между бабушкой и прачкой Варварой, чувствовал, как нестерпимо щемят пальцы на руках и на ногах; ему, между прочим, и без того было трудно поспевать за спутницами; одежда на нем случайно была подобрана: случайны были сапоги, в которых ноги его болтались свободно, как в лодках; случайным был кафтанишко, которого нельзя было бы надеть, если б не подняли ему фалды и не приткнули их за пояс; случайной была шапка, выпрошенная у дворника; она поминутно сползала на глаза и мешала Пете видеть дорогу. Ознакомясь потом близко

с усталостью ног и спины, он все-таки помнил, как уходился тогда, провозжая покойницу.

На обратном пути с кладбища бабушка и Варвара долго толковали о том, куда теперь деть мальчика. Он, конечно, солдатский сын, и надо сделать ему определенье по закону, куда следует; но как это сделать? К кому надо обратиться? Кто, наконец, станет бегать и хлопотать? На это могли утвердительно ответить только досужие и притом практические люди. Мальчик продолжал жить, треплясь по разным углам и старухам. И неизвестно, чем бы разрешилась судьба мальчика, если б снова не вступилась прачка Варвара.

III

Заглядывая к бабушке и встречая у нее мальчика, Варвара брала его иногда на несколько дней к себе.

Жила она на Моховой улице в подвальном этаже, на втором дворе большого дома. На том же дворе, только выше, помещалось несколько человек из труппы соседнего цирка; они занимали ряд комнат, соединявшихся темным боковым коридором. Варвара знала всех очень хорошо, так как постоянно стирала у них белье. Подымаясь к ним, она часто таскала с собою Петю. Всем была известна его история; все знали, что он круглый сирота, без роду и племени. В разговорах Варвара не раз выражала мысль, что вот бы хорошо было, кабы кто-нибудь из господ сжалился и взял сироту в обученье. Никто, однако, не решался; всем, по-видимому, довольно было своих забот. Одно только лицо не говорило ни да, ни нет. По временам лицо это пристально даже посматривало на мальчика. Это был акробат Беккер.

Надо полагать, между ним и Варварой велись одновременно какие-нибудь тайные и более ясные переговоры по этому предмету, потому что однажды, подкараулив, когда все господа ушли на репетицию и в квартире оставался только Беккер, Варвара спешно повела Петю наверх и прямо вошла с ним в комнату акробата.

Беккер точно поджидал кого-то. Он сидел на стуле, покуривая из фарфоровой трубки с выгнутым чубком, увешанным кисточками; на голове его красовалась плоская, шитая бисером шапочка, сдвинутая на-

бок; на столе перед ним стояли три бутылки пива — две пустые, одна только что начатая.

Раздутое лицо акробата и его шея, толстая как у быка, были красны; самоуверенный вид и осанка не оставляли сомнения, что Беккер даже здесь, у себя дома, был весь исполнен сознанием своей красоты. Товарищи, очевидно, трунили над ним только из зависти!

По привычке охорашиваться перед публикой, он принял позу даже при виде прачки.

— Ну вот, Карл Богданович... вот мальчик!.. — проговорила Варвара, выдвигая вперед Петю.

Надо заметить, весь разговор происходил на странном каком-то языке, Варвара коверкала слова, произнося их на чухонский лад; Беккер скорее мычал, чем говорил, отыскивая русские слова, выходявшие у него не то немецкими, не то совершенно неизвестного происхождения.

Тем не менее они понимали друг друга.

— Хорошо, — произнес акробат, — но я так не можно; надо раздевать малшик...

Петя до сих пор стоял неподвижно, робко поглядывая на Беккера; с последним словом он откинулся назад и крепко ухватился за юбку прачки. Но когда Беккер повторил свое требование и Варвара, повернув мальчика к себе лицом, принялась раздевать его, Петя судорожно ухватился за нее руками, начал кричать и биться, как пыленок под ножом повара.

— Чего ты? Экой, право, глупенький! Чего испугался?.. Раздешься, батюшка, раздешься... ничего... смотри ты, глупый какой!.. — повторяла прачка, стараясь раскрыть пальцы мальчика и в то же время спешно расстегивая пуговицы на его панталонах.

Но мальчик решительно не давался: объятый почему-то страхом, он вертелся как выюн, корчился, тянулся к полу, наполняя всю квартиру криками.

Карл Богданович потерял терпенье. Положив на стол трубку, он подошел к мальчику и, не обращая внимания на то, что тот стал еще сильнее барахтаться, быстро обхватил его руками. Петя не успел очнуться, как уже почувствовал себя крепко сжатым между толстыми коленами акробата. Последний в один миг снял с него рубашку и панталоны; после этого он поднял его, как соломинку, и, уложив голого поперек колен, принялся ощупывать ему грудь и бока, нажимая большим пальцем на те места, которые казались ему

не сразу удовлетворительными, и посылая шлепок всякий раз, как мальчик корчился, мешая ему продолжать операцию.

Прачке было жаль Пети; Карл Богданович очень уж что-то сильно нажимал и тискал; но, с другой стороны, она боялась вступить, так как сама привела мальчика и акробат обещал взять его на воспитание в случае, когда он окажется пригодным. Стоя перед мальчиком, она торопливо утирала ему слезы, уговаривая не бояться, убеждая, что Карл Богданович ничего худого не сделает, — только посмотрит!..

Но когда акробат неожиданно поставил мальчика на колена, повернул его к себе спиной и начал выгибать ему назад плечи, снова надавливая пальцами между лопатками, когда голая худенькая грудь ребенка вдруг выпучилась ребром вперед, голова его опрокинулась назад и весь он как бы замер от боли и ужаса, — Варвара не могла уже выдержать; она бросилась отнимать его. Прежде, однако ж, чем успела она это сделать, Беккер передал ей Петю, который тотчас же очнулся и только продолжал дрожать, захлебываясь от слез.

— Полно, батюшка, полно! Видишь, ничего с тобою не сделали!.. Карл Богданович хотел только поглядеть тебя... — повторяла прачка, стараясь всячески обласкать ребенка.

Она взглянула украдкой на Беккера; тот кивнул головою и налил новый стакан пива.

Два дня спустя прачке надо уже было пустить в дело хитрость, когда пришлось окончательно передавать мальчика Беккеру. Тут не подействовали ни новые ситцевые рубашки, купленные Варварой на собственные деньги, ни мятные пряники, ни убеждения, ни ласки. Петя боялся кричать, так как передача происходила в знакомой нам комнате; он крепко припадал заплаканным лицом к подолу прачки и отчаянно, как потерянный, цеплялся за ее руки каждый раз, когда она делала шаг к дверям, с тем чтобы оставить его одного с Карлом Богдановичем.

Наконец все это надоело акробату. Он ухватил мальчика за ворот, оторвал его от юбки Варвары и, как только дверь за нею захлопнулась, поставил его перед собою и велел ему смотреть себе прямо в глаза.

Петя продолжал трястись как в лихорадке; черты его худенького, болезненного лица как-то съежива-

лись; в них проступало что-то жалобное, хилое, как у старичка.

Беккер взял его за подбородок, повернул к себе лицом и повторил приказание.

— Ну, малшик, слуш, — сказал он, грозя указательным пальцем перед носом Пети, — когда ты хочешь там... (он указал на дверь), — то будет тут!! (он указал несколько ниже спины), — und fest! und fest!!¹ — добавил он, выпуская его из рук и допивая оставшееся пиво.

В то же утро он повел его в цирк. Там все суетилось и торопливо укладывалось.

На другой день труппа со всем своим багажом, людьми и лошадьми перекочевывала на летний сезон в Ригу.

В первую минуту новость и разнообразие впечатлений скорее пугали Петю, чем пробуждали в нем любопытство. Он забился в угол и, как дикий зверек, глядел оттуда, как мимо него бегали, перетаскивая неведомые ему предметы. Кое-кому бросилась в глаза белокурая головка незнакомого мальчика; но до того ли было! И все проходили мимо.

Последнее это обстоятельство несколько ободрило Петю; наметив глазами тот или другой угол, он уловлял минуту, когда подле никого не было, и скоро-скоро перебежал к намеченному месту.

Так постепенно достиг он конюшен. Батюшки, сколько было там лошадей! Спины их, лоснясь при свете газа, вытягивались рядами, терявшимися в сгущенной мгле, наполнявшей глубину конюшенных сводов; Петю особенно поразил вид нескольких лошадок, таких же почти маленьких, как он сам.

Все эти впечатления были так сильны, что ночью он несколько раз вскрикивал и просыпался; но, не слыша подле себя ничего, кроме густого храпенья своего хозяина, — он снова засыпал.

В течение десяти дней, как труппа переезжала в Ригу, Петя был предоставлен самому себе. В вагоне его окружали теперь не совсем уже чужие люди; ко многим из них он успел присмотреться; многие были веселы, шутили, пели песни и не внушали ему страха. Нашлись даже такие, как клоун Эдвардс, который мимоходом всегда трепал его по щеке; раз даже одна

¹ И сильно! И сильно!! (нем.)

из женщин дала ему ломтик апельсина. Словом, он начал понемногу привыкать, и было бы ему даже хорошо, если б взял его к себе кто-нибудь другой, только не Карл Богданович. К нему никак он не мог привыкнуть; при нем Петя мгновенно умолкал, весь как-то съеживался и думал о том только, как бы не заплакать...

Особенно тяжело стало ему, когда началось ученье. После первых опытов Беккер убедился, что не ошибся в мальчике; Петя был легок, как пух, и гибок в суставах; недоставало, конечно, силы в мускулах, чтобы управлять этими природными качествами; но беды в этом еще не было. Беккер не сомневался, что сила приобретется от упражнений. Он мог отчасти даже теперь убедиться в этом на питомце. Месяц спустя после того, как он каждое утро и вечер, посадив мальчика на пол, заставлял его пригибаться головою к ногам, Петя мог исполнять такой маневр уже сам по себе, без помощи наставника. Несравненно труднее было ему перегибаться назад и касаться пятками затылка; мало-помалу он, однако ж, и к этому стал привыкать. Он ловко также начинал прыгать с разбега через стул; но только, когда после прыжка Беккер требовал, чтобы воспитанник, перескочив на другую сторону стула, падал не на ноги, а на руки, оставляя ноги на воздухе, — последнее редко удавалось; Петя летел кувырком, падал на лицо или на голову, рискуя свихнуть себе шею.

Неудача или ушиб составляли, впрочем, половину горя; другая половина, более веская, заключалась в тузах, которыми всякий раз наделял его Беккер, забывавший, что упражнениями такого рода он скорее мог содействовать к развитию собственных мускулов, которые и без того были у него в надежном порядке.

Мускулы мальчика оставались по-прежнему тощими. Они, очевидно, требовали усиленного подкрепления.

В комнату, занимаемую Беккером, принесена была двойная раздвижная лестница; поперек ее перекладин, на некоторой высоте от полу, укладывалась горизонтально палка. По команде Беккера Петя должен был с разбегу ухватиться руками за палку и затем оставаться таким образом на весу, сначала пять минут, потом десять, — и так каждый день по несколько приемов. Разнообразие состояло в том, что иногда приходилось просто держать себя на весу, а иногда,

придерживаясь руками к палке, следовало опрокидываться назад всем туловищем и пропускать ноги между палкой и головою. Цель упражнения состояла в том, чтобы прицепиться концами носков к палке, неожиданно выпустить руки и оставаться висящим на одних носках. Трудность главным образом заключалась в том, чтобы в то время, как ноги были наверху, а голова внизу, — лицо должно было сохранять самое приятное, смеющееся выражение; последнее делалось в видах хорошего впечатления на публику, которая ни под каким видом не должна была подозревать трудности при напряжении мускулов, боли в суставах плеч и судорожного сжимания в груди.

Достижение таких результатов сопровождалось часто таким раздирающим детским визгом, такими криками, что товарищи Беккера врываются в его комнату и отнимали из рук его мальчика.

Начиналась брань и ссора, — после чего Пете приходилось иногда еще хуже. Иногда, впрочем, такое постороннее вмешательство оканчивалось более миролюбивым образом.

Так было, когда приходил клоун Эдвардс. Он обыкновенно улаживал дело закуской и пивом. В следовавшей затем товарищеской беседе Эдвардс старался всякий раз доказать, что метод обучения Беккера никуда не годится, что страхом и побоями ничего не возьмешь не только с детьми, но даже при обучении собак и обезьян; что страх внушает несомненно робость, а робость — первый враг гимнаста, потому что отымает у него уверенность и удаль; без них можно только вытянуть себе сухие жилы, сломать шею или перебить позвонки на спине.

В пример приводился часто акробат Ризлей, который так напугал собственных детей перед представлением, что когда пришлось подбросить их ногами на воздух, — дети раза два перекувырнулись в пространстве да тут же прямехенько и шлепнулись на пол.

— Бросились подымать, — подхватывал Эдвардс, делая выразительные жесты, — подняли, глядь: оба fertig!¹ готовы! У обоих дух вон! Дурак Ризлей потом застрелился с горя, — да что ж из этого? Детей своих все-таки не воскресил: fertig! fertig!..

¹ Готовы! (нем.)

И странное дело: каждый раз как Эдвардс, разгоряченный беседой и пивом, принимался тут же показывать, как надо делать ту или другую штуку, Петя исполнял упражнение с большей ловкостью и охотой.

В труппе все уже знали воспитанника Беккера. В последнее время он добыл ему из гардероба костюм клоуна и, набеливая ему лицо, нашлепывая румянами два клякса на щеках, выводил его во время представления на арену; иногда, для пробы, Беккер неожиданно подымал ему ноги, заставляя его пробежать на руках по песку. Петя напрягал тогда все свои силы; но часто они изменяли ему; пробежав на руках некоторое пространство, он вдруг ослабевал в плечах и тыкался головою в песок, — чем пробуждал всегда веселый смех в зрителях.

Под руководством Эдвардса он сделал бы, без сомнения, больше успехов; в руках Беккера дальнейшее развитие очевидно замедлялось. Петя продолжал бояться своего наставника, как в первый день. К этому начинало примешиваться другое чувство, которого не мог он истолковать, но которое постепенно росло в нем, стесняло ему мысли и чувства, заставляя горько плакать по ночам, когда, лежа на тюфячке, прислушивался он к храпению акробата.

И ничего, ничего Беккер не делал, чтобы сколько-нибудь привязать к себе мальчика. Даже в тех случаях, когда мальчику удавалась какая-нибудь штука, Беккер никогда не обращался к нему с ласковым словом; он ограничивался тем, что снисходительно поглядывал на него с высоты своего громадного туловища.

Прожив с Петей несколько месяцев, он точно взял его накануне. Завиваясь тщательно каждый день у парикмахера цирка, Беккеру, по-видимому, все равно было, что из двух рубашек, подаренных мальчику прачкой Варварой, — оставались лохмотья, что белье на теле мальчика носилось иногда без перемены по две недели, что шея его и уши были не вымыты, а сапожишки просили каши и черпали уличную грязь и воду. Товарищи акробата, и более других Эдвардс, — часто укоряли его в том; в ответ Беккер нетерпеливо посвистывал и щелкал хлыстиком по панталонам.

Он не переставал учить Петю, продолжая наказывать каждый раз, как выходило что-нибудь неладно. Он хуже этого делал.

Раз, по возвращении труппы уже в Петербург, Эдвардс подарил Пете щенка. Мальчик был в восторге; он носился с подарком по конюшне и коридорам, всем его показывал и то и дело учащенно целовал его в мокрую розовую мордочку.

Беккер, раздосадованный во время представленья тем, что его публика не вызвала, возвращался во внутренний коридор; увидев щенка в руках Пети, он вырвал его и носком башмака бросил в сторону; щенок ударился головкой в соседнюю стенку и тут же упал, вытянув лапки.

Петя зарыдал и бросился к Эдвардсу, выходявшему в эту минуту из уборной.

Беккер, раздраженный окончательно тем, что вокруг послышалась брань, одним движеньем оттолкнул Петю от Эдвардса и дал ему с размаху пощечину.

— Schwein!¹ Швынья!.. тьфу!.. — сказал Эдвардс, отплеываясь с негодованием.

Но что уж дальше рассказывать!

Несмотря на легкость и гибкость, Петя был, как мы сказали выше, не столько гуттаперчевым, сколько несчастным мальчиком.

IV

Детские комнаты в доме графа Листомирова располагались на южную сторону и выходили в сад. Чудное было помещение! Каждый раз, как солнце было на небе, лучи его с утра до заката проходили в окна; в нижней только части окна завешивались голубыми тафтяными занавесками для предохранения детского зрения от излишнего света. С тою же целью по всем комнатам разостлан был ковер также голубого цвета и стены оклеены были не слишком светлыми обоями.

В одной из комнат вся нижняя часть стен была буквально заставлена игрушками; они группировались тем разнообразнее и живописнее, что у каждого из детей было свое особое отделение.

Пестрые английские раскрашенные тетрадки и книжки, кровати с куклами, картинки, комоды, маленькие кухни, фарфоровые сервизы, овечки и собачки на катушках — обозначали владения девочек; столы

¹ Свинья! (нем.)

с оловянными солдатами, картонная тройка серых коней, с глазами страшно выпученными, увешанная бубенчиками и запряженная в коляску, большой белый козел, казак верхом, барабан и медная труба, звуки которой приводили всегда в отчаяние англичанку мисс Бликс, — обозначали владения мужского пола. Комната эта так и называлась «игральной».

Рядом была учебная; дальше спальная, окна которой всегда были закрыты занавесами, приподымавшимися там только, где вертелась вентиляционная звезда, очищавшая воздух. Из нее, не подвергая себя резкой перемене воздуха, можно было прямо пройти в уборную, выстланную также ковром, но обшитую в нижней ее части клеенкой; с одной стороны находился большой умывальный мраморный стол, уставленный крупным английским фаянсом; дальше блистали белизною две ванны с медными кранами, изображавшими лебединые головки; подле возвышалась голландская печь с изразцовым шкапом, постоянно наполненным согревающимися полотенцами. Ближе, по клеенчатой стене, висел на тесемках целый ряд маленьких и крупных губок, которыми мисс Бликс каждое утро и вечер обмывала с головы до ног детей, наводя красноту на их нежное тело.

В среду, на масленице, в игральной комнате было особенно весело. Ее наполняли восторженные детские крики. Мудреного нет; вот что было здесь между прочим сказано: «Деточки, вы с самого начала масленицы были послушны и милы; сегодня у нас среда; если вы будете так продолжать, — вас в пятницу вечером возьмут в цирк!»

Слова эти были произнесены тетей Соней, сестрой графини Листомировой, — девушкой лет тридцати пяти, сильной брюнеткой, с пробивающимися усиками, но прекрасными восточными глазами, необыкновенной доброты и мягкости; она постоянно носила черное платье, думая этим хоть сколько-нибудь скрыть полноту, начинавшую ей надоедать. Тетя Соня жила у сестры и посвятила жизнь ее детям, которых любила всем запасом чувств, не имевших случая израсходоваться и накопившихся с избытком в ее сердце.

Не успела она проговорить свое обещанье, как дети, слушавшие сначала очень внимательно, бросились со всех ног осаждать ее; кто цеплялся за ее платье, кто усиливался влезть на ее колена, кто успел обхва-

тить ее шею и осыпал лицо поцелуями; осада сопровождалась такими шумными овациями, такими криками радости, что мисс Бликс вошла в одну дверь, в другую вбежала молодая швейцарка, приглашенная в дом как учительница музыки для старшей дочери; за ними показалась кормилица, державшая новорожденного, укутанного в одеяло с ниспадавшими до полу кружевными обшивками.

— What is going on here?..¹ — удивленно осведомилась мисс Бликс.

Она представляла из себя чопорную высокую даму с непомерно выдающеюся грудью, красными щеками, как бы закапанными сургучом, и красною шейю светловичного оттенка.

Тетя Соня объяснила вошедшим причину радости.

Раздались опять возгласы, опять крики, сопровождаемые прыжками, пируэтами и другими более или менее выразительными изъявлениями радости. В этом порыве детской веселости всех больше удивил Паф — пятилетний мальчик, единственная мужская отрасль фамилии Листомировых; мальчик был всегда таким тяжелым и апатическим, но тут, под впечатлением рассказов и того, что его ожидало в цирке, — он вдруг бросился на четвереньки, поднял левую ногу и, страшно закручивая язык на щеку, поглядывая на присутствующих своими киргизскими глазками, — принялся изображать клоуна.

— Мисс Бликс! — подымите его, подымите скорее, — ему кровь бросится в голову! — проговорила тетя Соня.

Новые крики, новое скаканье вокруг Пафа, который ни за что не хотел вставать и упорно подымал то одну ногу, то другую.

— Дети, дети... довольно! Вы, кажется, не хотите больше быть умными... Не хотите слушать, — говорила тетя Соня, досадовавшая главным образом за то, что не умела сердиться. Ну, не могла она этого сделать — не могла — не могла решительно!

Она обожала «своих детей», как сама выражалась. Действительно, надо сказать, дети были очень милы.

Старшей девочке, Верочке, было уже восемь лет; за нею шла шестилетняя Зина; мальчику было, как сказано, — пять лет. Его окрестили Павлом; но маль-

¹ Что здесь происходит? (англ.)

чик получал одно за другим различные прозвища: Бёби, Пузырь, Бутуз, Булка и, наконец, Паф — имя, которое так и осталось. Мальчик был пухлый, коротенький, с рыхлым белым телом, как сметана, крайне флегматического, невозмутимого нрава, с шарообразною головою и круглым лицом, на котором единственною заметною чертою были маленькие киргизские глазки, раскрывавшиеся вполне, когда подавалось кушанье или говорилось о еде. Глазки, смотрившие вообще сонливо, проявляли также оживление и беспокойство по утрам и вечерам, когда мисс Бликс брала Пафа за руку, уводила его в уборную, раздевала его донага и, поставив на клеенку, принималась энергичски его мыть огромной губкой, обильно напитанной водою; когда мисс Бликс при окончании такой операции возлагала губку на голову мальчика и, крепко нажав губку, пускала струи воды по телу, превращавшемуся тотчас же из белого в розовое, — глазки Пафа не только суживались, но пропускали потоки слез, и вместе с тем раздавался из груди его тоненький-тоненький писк, не имевший ничего раздраженного, но походивший скорее на писк кукол, которых заставляют кричать, нажимая им живот. Этим невинным писком, впрочем, все и оканчивалось. С исчезновением губки Паф умолкал мгновенно, и уже потом мисс Бликс могла обтирать его сколько угодно согретым шершавым полотенцем, могла завертывать ему голову, могла мять и тереть его, — Паф выказывал так же мало сопротивления, как кусок сдобного теста в руках пекаря. Он часто даже засыпал между теплыми шершавыми полотенцами, прежде чем мисс Бликс успевала уложить его в постель, обтянутую вокруг сеткой и завешенную кисейным пологом с голубым бантом на маковке.

Нельзя сказать, чтобы мальчик этот был особенно интересен; но нельзя было не остановиться на нем, так как он представлял теперь единственную мужскую отрасль фамилии графов Листомировых и, как справедливо иногда замечал его отец, задумчиво глядя вдаль и меланхолически свешивая голову набок: «Мог, — кто знает? — мог играть в будущем видную роль в отечестве!»

Предрешать будущее вообще трудно, но, как бы там ни было, с той минуты, как обещано было предствление в цирке, — старшая дочь, Верочка, вся пре-

вратилась во внимание и зорко следила за поведением сестры и брата.

Едва-едва начинался между ними признак разлада, — она быстро к ним подбегала, оглядываясь в то же время на величавую мисс Бликс, принималась скоро-скоро шептать что-то Зизи и Пафу и, поочередно целуя то того, то другую, успевала всегда водворить между ними мир и согласие.

Эта Верочка была во всех отношениях прелестная девочка: тоненькая, нежная и вместе с тем свежая, как только что снесенное яичко, с голубыми жилками на висках и шее, с легким румянцем на щеках и большими серо-голубыми глазами, смотревшими из-под длинных ресниц как-то всегда прямо, не по летам внимательно; но лучшим украшением Верочки были ее волосы пепельного цвета, мягкие, как тончайший шелк, и такие густые, что мисс Бликс долго билась по утрам, прежде чем могла привести их в должный порядок. Паф мог, конечно, быть любимцем отца и матери, как будущий единственный представитель именитого рода, — но Верочка, можно сказать, была любимицей всех родных, знакомых и даже прислуги; помимо ее миловидности, ее любили за необыкновенную кротость нрава, редкое отсутствие капризов, приветливость, доброту и какую-то особенную чуткость и понятливость. Еще четырех лет она с самым серьезным видом входила в гостиную и, сколько бы ни было посторонних лиц, прямо и весело шла к каждому, давала руку и подставляла щеку. К ней даже особенно как-то относились, чем к другим детям. Вопреки давно принятому обычаю в семье графов Листомировых давать различные сокращенные и более или менее фантастические прозвища детям, Верочку иначе не называли, как ее настоящим именем. Верочка была — Верочкой и осталась.

Что говорить, у нее, как и у всякого смертного, были свои слабости, вернее, была одна слабость; но и она как бы скорее служила гармоническим дополнением ее характеру и наружности. Слабость Верочки, заключавшаяся в сочинении басен и сказок, проявилась первый раз, как ей минул шестой год. Войдя однажды в гостиную, она при всех неожиданно объявила, что сочинила маленькую басню, и тут же, нимало не смущаясь, с самым убежденным видом принялась рассказывать историю про волка и мальчика, делая

очевидные усилия, чтобы некоторые слова выходили в рифму. С тех пор одна басня сменяла другую, и, несмотря на запрещение графа и графини возбуждать рассказами сказок воображение и без того уже впечатлительной и нервной девочки, Верочка продолжала делать свои импровизации. Мисс Бликс не раз должна была ночью приподыматься с постели, слышав какой-то странный шепот, исходивший из-под кисейного полога над постелью Верочки. Убедившись, что девочка, вместо того чтоб спать, произносит какие-то непонятные слова, англичанка делала ей строгий выговор, приказывая заснуть немедленно, — приказание, которое Верочка тотчас же исполняла со свойственной ей кротостью.

Словом, это была та самая Верочка, которая, вбежав как-то в гостиную и застав там сидевшего с матерью известного нашего поэта Тютчева, ни за что не хотела согласиться, что седой этот старичок мог сочинять стихи; напрасно уверяли мать и сам Тютчев, — Верочка стояла на своем; поглядывая недоверчиво на старика своими большими голубыми глазами, она повторяла:

— Нет, мама, это не может быть!..

Заметив наконец, что мать начинает сердиться, Верочка взглянула ей робко в лицо и проговорила сквозь слезы:

— Я думала, мама, что стихи сочиняют только ангелы...

С самой среды, когда обещано было представленье в цирке, до четверга, благодаря нежной заботливости Верочки, ее уменью развлекать сестру и брата, оба вели себя самым примерным образом. Особенно трудно было управиться с Зизи — девочкой болезненной, заморенной лекарствами, в числе которых тресковый жир играл видную роль и служил всегда поводом к истерическим рыданиям и капризам.

В четверг на масленице тетя Соня вошла в игральную комнату. Она объявила, что так как дети были умны, она, проездом в город, желает купить им игрушки.

Радостные восклицания и звонкие поцелуи опять наполнили комнату. Паф также оживился и заморгал своими киргизскими глазками.

— Ну, хорошо, хорошо, — сказала тетя Соня, — все будет по-вашему: тебе, Верочка, рабочий ящик, — ты

знаешь, папа́ и мама́ не позволяют тебе читать книг; тебе, Зизи, куклу...

— Которая бы кричала! — воскликнула Зизи.

— Которая бы кричала! — повторила тетя Соня, — ну, а тебе, Паф, тебе что? Что ты хочешь?..

Паф задумался.

— Ну, говори же, что тебе купить?..

— Купи... купи собачку — только без блох!.. — добавил неожиданно Паф.

Единодушный хохот был ответом на такое желание. Смеялась тетя Соня, смеялась кормилица, смеялась даже чопорная мисс Бликс, обратившаяся, впрочем, тотчас же к Зизи и Верочке, которые начали прыгать вокруг брата и, заливаясь смехом, принялись тормозить будущего представителя фамилии.

После этого все снова повисли на шее доброй тети и докрасна зацеловали ее шею и щеки.

— Ну, довольно, довольно, — с ласковой улыбкой произнесла тетя, — хорошо; я знаю, что вы меня любите; и я люблю вас очень... очень... очень!.. Итак, Паф, я куплю тебе собачку: будь только умен и послушен; она будет без блох!..

V

Наступила, наконец, так нетерпеливо ожидаемая пятница.

За четверть часа до завтрака тетя Соня вошла в «маленькую» столовую, так называемую для отличия ее от большой, где давались иногда званые обеды. Ей сказали, что граф и графиня уже прошли туда из своих уборных.

Графиня сидела в больших креслах, придвинутых к столу, заставленному на одном конце серебряным чайным сервизом с шипевшим самоваром. Старый буфетчик, важный, как разжиревший банкир, но с кошачьими приемами утонченного дипломата, тихо похаживал вокруг стола, поглядывая, все ли на нем в порядке. Два другие лакея, похожие на членов английского парламента, вносили блюда, прикрытые серебряными крышками.

Граф задумчиво прогуливался в отдалении подле окон.

— Хорошо ли мы, однако, делаем, что посылаем

детей в цирк? — произнесла графиня, обращаясь после первых приветствий к тете Соне и в то же время украдкой поглядывая на мужа.

— Отчего же? — весело возразила тетя, усаживаясь подле самовара, — я смотрела афишку: сегодня не будет выстрелов, ничего такого, что бы могло испугать детей, — наши детки были, право, так милы... Нельзя же их не побаловать! К тому же удовольствие это было им обещано.

— Все это так, — заметила графиня, снова поглядывая на мужа, который подошел в эту минуту к столу и занял обычное свое место, — но я всегда боюсь этих зрелищ... Наши дети особенно так нервны, так впечатлительны...

Последнее замечание сопровождалось новым взглядом, направленным на графа. Графине, очевидно, хотелось знать мнение мужа, чтобы потом не вышло привычного заключения, что все в доме творится без его совета и ведома.

Но граф и тут ничего не сказал.

Он вообще не любил терять праздных слов. Он принадлежал скорее к числу лиц думающих, мыслящих, — хотя, надо сказать, трудно было сделать заключение о точном характере его мыслей, так как он больше ограничивался намеками на различные идеи, чем на их развитие. При малейшем противоречии граф чаще всего останавливался даже на полумысли и как бы говорил самому себе: «Не стоит!» Он обыкновенно отходил в сторону, нервно пощипывая жиденькие усы и погружаясь в грустную задумчивость.

Задумчивое настроение графа согласовалось, впрочем, как нельзя больше с его внешним видом, замечательно длинным-длинным, как бы всегда расслабленным и чем-то недовольным. Он нарочно носил всегда панталоны из самого толстого трико, чтобы хоть сколько-нибудь скрыть худобу ног, — и напрасно это делал; по справедливости, ему следовало бы даже гордиться худобою ног, так как она составляла одно из самых характерных, типических родовых отличий всех графов Листомировых.

Наружность графа дополнялась чертами его худощавого бледного лица, с носом, несколько сдвинутым на сторону, и большими дугообразными бровями, усиленно как-то подымавшимися на лбу, странно ухо-

дившем между сплюснутыми боками головы, большей частью склоненной набок.

Совершенно несправедливо говорили, будто граф тоскует от бездействия, от недостатка случая выказать свои способности. Случаи эти представлялись чуть ли еще не в то время, когда ему минуло девятнадцать лет и дядя-посланник открыл перед ним дипломатическую карьеру. В жизни графа случаи блестящей карьеры искусно были расставлены, как версты по шоссе на дороге, — ничего только из этого не вышло.

На первых порах граф принимался как бы действовать и даже много говорил; но тут же неожиданно умолкал и удалялся, очевидно чем-то не удовлетворенный. Мысли ли его были не поняты как следует или действия не оценены по справедливости, — только он переходил от одного счастливого случая к другому, не сделав себе в конце концов, что называется, карьеры, — если не считать, конечно, нескольких звезд на груди и видного придворного чина.

Несправедливо было также мнение, что граф, всегда тоскующий и молчаливый в свете, был дома крайне взыскательный и даже деспот.

Граф был только аккуратен. Прирожденное это свойство доходило, правда, до педантизма, но, в сущности, было самого невинного характера. Граф требовал, чтобы каждая вещь в доме оставалась неприкосновенною на том самом месте, где была однажды положена; каждый мельчайший предмет имел свой определенный пункт. Если, например, мундштучок для пахитос, уложенный на столе параллельно с карандашом, отодвигался в сторону, граф тотчас же замечал это, и начинались расспросы: кто переставил? зачем? почему? и т. д.

Целый день ходил он по дому, задумчиво убирая то один предмет, то другой; время от времени прикасался он к электрическому звонку и, подозвав камердинера, молча указывал ему на те места, где, казалось ему, встречался беспорядок. Деспотом граф также не мог быть по той простой причине, что дома молчал столько же, сколько в свете. Даже в деловых семейных разговорах с женою он чаще всего ограничивался тремя словами: «*Tu penses? Tu crois? Quelle idée!..*»¹ — и только.

¹ Ты думаешь? Ты полагаешь? Какая мысль!.. (*фр.*)

С высоты своих длинных ног и тощего длинного туловища граф постоянно смотрел тусклыми глазами в какой-то далекий туманный горизонт и время от времени вздыхал, усиленно подымая на лбу то одну бровь, то другую. Меланхолия не покидала графа даже в тех случаях, когда главный управляющий над конторой вручал ему в конце каждого месяца значительные денежные суммы. Граф внимательно сосчитывал деньги, нетерпеливо всегда переворачивая бумажку, когда номер был кверху или книзу и не подходил с другими, запирали пачку в ящик, прятал ключ в карман и, приблизившись к окну, пощипывая усики, произносил всегда с грустью: «Охо-хо-хо-хо!!» — после чего начинал снова расхаживать по дому, задумчиво убирая все, что казалось ему лежащим неправильно.

Граф редко высказывался даже в тех случаях, когда дело касалось важных принципов и убеждений, всосанных, так сказать, с молоком. Не допуская, например, возможности быть за обедом иначе, как во фраке и белом галстуке, даже когда оставался вдвоем с женою, — и находя это необходимым потому, что это... это всегда поддерживает — именно поддерживает... — Но что поддерживает, — это граф никогда не досказывал.

— Tu crois? Tu penses? Quelle idée!.. — Этими словами, произносимыми не то вопросительно, не то с пренебрежением, оканчивались обыкновенно все объяснения с женою и тетей Соней. После этого он отходил к окну, глядел в туманную даль и выпускал из груди несколько вздохов, — из чего жена и тетя Соня с огорченным чувством заключали всегда, что граф не был согласен с их мнением.

Тогда обыкновенно наступала очередь тети Сони утешать сестру — когда-то весьма красивую, веселую женщину, но теперь убитую горем после потери четвертых детей и страшно истощенную частыми родами, как вообще бывает с женами меланхоликов.

На больших булевских часах столовой пробило двенадцать.

С последним ударом граф придвинулся к столу, хотел как будто что-то сказать, но остановился, вздохнул и тоскливо приподнял сначала одну бровь, потом другую.

— Отчего же детей нет? — торопливо спросила графиня, поглядывая на мужа, потом на тетю Соню, —

мисс Бликс знает, что граф любит, чтобы дети всегда завтракали ровно в двенадцать часов; скажите мисс Бликс, что завтрак давно готов! — обратилась она к буфетчику.

Но в эту самую минуту один из лакеев растворил настежь двери, и дети, сопровождаемые англичанкой и швейцаркой, вошли в столовую.

Завтрак прошел, по обыкновению, очень чинно.

Расслабленные нервы графини не выносили шума. Граф вообще не любил, чтобы дети бросались на шею, громко играли и говорили; сильные изъявления каких бы то ни было чувств пробуждали в нем всегда неприятное ощущение внутреннего стеснения и неловкости.

На этот раз по крайней мере граф мог быть довольным. Зизи и Паф, предупрежденные Верочкой, не произнесли слова; Верочка не спускала глаз с сестры и брата; она заботливо предупреждала каждое их движение.

С окончанием завтрака мисс Бликс сочла своею обязанностью заявить графине, что никогда еще не видала она, чтобы дети вели себя так примерно, как в эти последние дни. Графиня возразила, что она уже слышала об этом от сестры и потому распорядилась, приказав взять к вечеру ложу в цирке.

При этом известии Верочка, так долго крепившаяся, не могла больше владеть собою. Соскочив со стула, она принялась обнимать графиню с такою силой, что на секунду совершенно заслонила ее лицо своими пушистыми волосами; таким же порядком подбежала она к отцу, который тотчас же выпрямился и из предосторожности поспешил отвести левую руку, державшую мундштук с пахитоской. От отца Верочка перебежала к тете Соне, и тут уже пошли поцелуи без разбору, и в глаза, в щеки, в подбородок, в нос — словом, всюду, где только губы девочки могли встретиться с лицом тети. Зизи и Паф буквально проделали тот же маневр, но только, надо сказать, — далеко не с таким воодушевлением.

Верочка между тем подошла к роялю, на котором лежали афишки; положив руку на одну из них, она обратила к матери голубые глаза свои и, вся замирая от нетерпения, проговорила нежно вопрошающим голосом:

— Мамá... можно?.. Можно взять эту афишку?..

— Можно.

— Зизи! Паф! — восторженно крикнула Верочка, потрясая афишкой, — пойдете скорее!.. Я расскажу вам все, что мы сегодня увидим в цирке; все расскажу вам!.. Пойдете в наши комнаты?..

— Верочка!.. Верочка! — слабо, с укором, проговорила графиня.

Но Верочка уже не слышала; она неслась, преследуемая сестрою и братом, за которыми, пыхтя и отдуваясь, едва поспевала мисс Бликс.

В игровой комнате, освещенной полным солнцем, стало еще оживленнее.

На низеньком столе, освобожденном от игрушек, разложена была афишка.

Верочка настоятельно потребовала, чтобы все присутствующие: и тетя Соня, и мисс Бликс, и учительница музыки, и кормилица, вошедшая с младенцем, — все решительно уселись вокруг стола. Несравненно труднее было усадить Зизи и Пафа, которые, толкая друг друга, нетерпеливо осаждали Верочку то с одного бока, то с другого, взбирались на табуреты, ложились на стол и влезали локтями чуть не на середину афишки. Наконец с помощью тети и это уладилось.

Откинув назад пепельные свои волосы, вытянув шею и положив ладони на края афишки, Верочка торжественно приступила к чтению.

— Милая моя, — тихо произнесла тетя Соня, — зачем же ты читаешь нам, в каком цирке, в какой день, какого числа; все это мы уже знаем; читай лучше дальше: в чем будет заключаться представленье...

— Нет уж, душечка тетя; нет уж, ты только не мешай мне, — убедительно и с необыкновенною живостью перебила Верочка, — ангельчик тетя, не мешай!.. Уж я все прочту... все, все... что тут напечатано... Ну, слушайте:

— *«Парфорсное упражнение на неоседланной лошади. Исполнит девица...»* Тетя, что такое парфорсное?

— Это... это... Вероятно, что-нибудь очень интересное... Сегодня сами увидите! — сказала тетя, стараясь выйти из затруднения.

— Ну, хорошо, хорошо... Теперь все слушайте; дальше вот что: *«Эквилибристические упражнения на воздушной трапеции...»* Это, тетя, что же такое трапеция?.. Как это будет? — спросила Верочка, отрываясь от афишки.

— Как будет? — нетерпеливо подхватила Зизи.

— Как? — произнес в свою очередь Паф, поглядывая на тетю киргизскими глазками.

— Зачем же я буду все это вам рассказывать! Не лучше ли будет, когда сами вы увидите...

Затруднение тети возрастало; она даже несколько покраснела.

Верочка снова откинула назад волосы, наклонилась к афишке и прочла с особенным жаром:

— *«Гуттаперчевый мальчик. Воздушные упражнения на конце шеста вышиною в шесть аршин!..»* Нет, душечка тетя, это уж ты нам расскажешь!.. это уж расскажешь!.. Какой же это мальчик? Он настоящий? живой?.. Что такое: гуттаперчевый?

— Вероятно, его так называют потому, что он очень гибкий... наконец, вы это увидите...

— Нет, нет, расскажи теперь, расскажи, как это он будет делать на воздухе и на шесте?.. Как это он будет делать?..

— Как будет он делать? — подхватила Зизи.

— Делать? — коротко осведомился Паф, открывая рот.

— Деточки, вы у меня спрашиваете слишком уж много... Я, право, ничего не могу вам объяснить. Сегодня вечером все это будет перед вашими глазами. Верочка, ты бы продолжала; ну, что ж дальше?..

Но дальнейшее чтение не сопровождалось уже такою живостью; интерес заметно ослаб; он весь сосредоточивался теперь на гуттаперчевом мальчике; гуттаперчевый мальчик сделался предметом разговоров, различных предположений и даже спора.

Зизи и Паф не хотели даже слушать продолжение того, что было дальше на афишке; они оставили свои табуреты и принялись шумно играть, представляя, как будет действовать гуттаперчевый мальчик. Паф снова становился на четвереньки, подымал, как клоун, левую ногу и, усиленно пригибая язык к щеке, поглядывал на всех своими киргизскими глазками, — что всякий раз вызывало восклицание у тети Сони, боявшейся, чтоб кровь не бросилась ему в голову.

Торопливо дочитав афишку, Верочка присоединилась к сестре и брату.

Никогда еще не было так весело в игровой комнате.

Солнце, склоняясь к крышам соседних флигелей за

садом, освещало группу играющих детей, освещало их радостные, веселые, покрасневшие лица, играло на разбросанных повсюду пестрых игрушках, скользило по мягкому ковру, наполняло всю комнату мягким, теплым светом. Все, казалось, здесь радовалось и ликовало.

Тетя Соня долго не могла оторваться от своего места. Склонив голову на ладонь, она молча, не делая уже никаких замечаний, смотрела на детей, и кроткая, хотя задумчивая улыбка не покидала ее доброго лица. Давно уже оставила она мечты о себе самой; давно примирилась с неудачами жизни. И прежние мечты свои, и ум, и сердце — все это отдала она детям, так весело играющим в этой комнате, и счастлива она была их безмятежным счастьем...

Вдруг показалось ей, как будто в комнате стемнело. Обернувшись к окну, она увидела, что небо заслонилось большой серой тучей и мимо окон полетели пушистые снежные хлопья. Не прошло минуты, из-за снега ничего уже нельзя было видеть; метель ходила по всему саду, скрывая ближайшие деревья.

Первое чувство тети Сони — было опасение, чтобы погода не помешала исполнить обещания, данного детям. Такое же чувство, вероятно, овладело и Верочкой, потому что она мгновенно подбежала к тете и, пристально поглядывая ей в глаза, спросила:

— Это ничего, тетя?.. Мы в цирк поедем?..

— Ну, конечно... конечно! — поспешила успокоить тетя, целуя Верочку в голову и обращая глаза к Зизи и Пафу, которые вдруг перестали играть.

Но уже с этой минуты в миловидных чертах Верочки явно стало проступать больше внутреннего беспокойства, чем беззаботной веселости. Она поминутно заглядывала в окно, переходила из комнаты в другую, расспрашивая у каждого входившего о том, долго ли может продолжаться такая метель и может ли быть, чтобы она не утихла во весь вечер. Каждый раз, как тетя Соня выходила из детских комнат и спустя несколько времени возвращалась назад, — она всегда встречалась с голубыми глазами племянницы; глаза эти пылливо, беспокойно допрашивали и как бы говорили ей: «Ты, тетя, ты ничего, я знаю; а вот что там будет, что папá и мамá говорят...»

Худенькая Зизи и неповоротливый Паф были гораздо доверчивее: они также выказывали беспокой-

ство, но оно было совсем другого рода. Перебегая от одних часов к другим и часто влезая на стулья, чтобы лучше видеть, они поминутно приставали к тете и мисс Бликс, упрашивая их показать им, сколько времени на их собственных часах. Каждый входивший встречаем был тем же вопросом:

— Который час?..

— Пятый в начале.

— А скоро будет семь?

— Скоро; подождите немножко.

Детский обед прошел в расспросах о том, какая погода и который час.

Тетя Соня напрасно употребляла все усилия, чтобы дать мыслям детей другое направление и внести сколько-нибудь спокойствия. Зизи и Паф, хотя и волновались, но еще верили; что ж касается Верочки, — известие о том, что метель все еще продолжается, заметно усиливало ее беспокойство. По голосу тетки, по выражению ее лица она ясно видела, что было что-то такое, чего тетя не хотела высказывать.

Все эти тревожные сомнения мигом, однако ж, рассеялись, когда тетя, исчезнувшая снова на четверть часа, возвратилась на детскую половину; с сияющим лицом объявила она, что граф и графиня велели одевать детей и везти их в цирк.

Вихрем все поднялось и завозилось в знакомой нам комнате, освещенной теперь лампами. Пришлось страшать, что оставят дома тех, кто не будет слушаться и не даст себя как следует закутать.

— Пойдемте теперь; надо проститься с папá и мамá, — проговорила тетя, взяв за руку Верочку и пропуская вперед Зизи и Пафа.

Мисс Бликс и учительница музыки закрывали шествие.

Церемония прощанья не была продолжительна.

Вскоре детей вывели на парадную лестницу, снова внимательно осмотрели и прикутали и, наконец, выпустили на подъезд, перед которым стояла четырехместная карета, полузанесенная снегом. Лакей величественного вида, с галунами на шляпе и на ливрее, с бакенами à l'anglaise¹, побелевшими от снега, поспешил отворить дверцы. Но главная роль в данном случае предоставлена была, впрочем, старому, седому

¹ На английский манер (*фр.*).

швейцару; он должен был брать детей на руки и передавать их сидевшим в карете трем дамам; и надо сказать, он исполнил такую обязанность не только с замечательной осторожностью, но даже выразил при этом трогательное чувство умиленного благоговения.

Дверцы кареты захлопнулись, лакей вскочил на козлы, карета тронулась и тут же почти исчезла посреди метели.

VI

Представление в цирке еще не начиналось. Но на масленице любят веселиться, и потому цирк, особенно в верхних ярусах, был набит посетителями. Изящная публика, по обыкновению, запаздывала. Чаще и чаще, однако, у главного входа показывались господа в пальто и шубах, офицеры и целые семейства с детьми, родственниками и гувернантками. Все эти лица при входе с улицы в ярко освещенную залу начинали в первую минуту мигать и прищуриваться, потом оправлялись, проходили — кто направо, кто налево вдоль барьера, и занимали свои места в бенуарах и креслах.

Оркестр гремел в то же время всеми своими трубами. Многие, бравшие билеты у кассы, суетились, думая уже, что началось представление. Но круглая арена, залитая светом с боков и сверху, гладко выглаженная граблями, была еще пуста.

Вскоре бенуары над ковровым обводом барьера представили почти сплошную пеструю массу разнообразной публики. Яркие туалеты местами били в глаза. Но главную часть зрителей на первом плане составляли дети. Точно цветник рассыпался вокруг барьера.

Между ними всех милее была все-таки Верочка!

Голубая атласная стеганая шляпка, обшитая лебяжьим пухом, необыкновенно шла к ее нежно-розовому лицу с ямочками на щеках и пепельным волосам, ниспадавшим до плеч, прикрытых такою же стеганой голубой мантильей. Стараясь сидеть перед публикой спокойно, как большая, она не могла, однако ж, утерпеть, чтобы не наклоняться и не нашептывать что-то Зизи и Пафу и не поглядывать веселыми глазами на

тетю Соню, сидевшую позади, рядом с величественной мисс Бликс и швейцаркой.

Зизи была одета точь-в-точь как сестра, но подле нее она как-то пропадала и делалась менее заметной; к тому же при входе в цирк ей вдруг представилось, что будут стрелять, и, несмотря на увещания тети, она сохраняла на лице что-то кислое и вытянутое.

Один Паф, можно сказать, — был невозмутим; он оглядывал цирк своими киргизскими глазками и раздувал губы. Недаром какой-то шутник, указывая на него соседям, назвал его тамбовским помещиком.

Неожиданно оркестр заиграл учащенным темпом. Занавесь у входа в конюшню раздвинулась и пропустила человек двадцать, одетых в красные ливреи, обшитые галуном; все они были в ботфортах, волосы на их головах были круто завиты и лоснились от помады.

Сверху донизу цирка прошел одобрителный говор.

Представление начиналось.

Ливрейный персонаж цирка не успел вытянуться, по обыкновению, в два ряда, как уже со стороны конюшен послышался пронзительный писк и хохот, и целая ватага клоунов, кувыркаясь, падая на руки и взлетая на воздух, выбежала на арену.

Впереди всех был клоун с большими бабочками на груди и на спине камзола. Зрители узнали в нем тотчас же любимца Эдвардса.

— Bravo, Эдвардс! Bravo! Bravo! — раздалось со всех сторон.

Но Эдварс на этот раз обманул ожидания. Он не сделал никакой особенной штуки; кувыркнувшись раз другой через голову и пройдясь вокруг арены, балансируя павлиньим пером на носу, он быстро скрылся. Сколько потом ему ни хлопали и ни вызывали его, он не являлся.

На смену ему поспешно была выведена толстая белая лошадь и выбежала, грациозно приседая на все стороны, пятнадцатилетняя девица Амалия, которая чуть не убилась утром, во время представления.

На этот раз все прошло, однако ж, благополучно. Девицу Амалию сменил жонглер; за жонглером

вышел клоун с учеными собаками; после них танцевали на проволоке; выводили лошадь высшей школы, скакали на одной лошади без седла, на двух лошадях с седлами, — словом, представление шло своим чередом до наступления антракта.

— Душечка тетя, теперь будет гуттаперчевый мальчик, да? — спросила Верочка.

— Да; в афише сказано: он во втором отделении... Ну что, как? Весело ли вам, деточки?..

— Ах, очень, очень весело!.. О-че-нь! — восторженно воскликнула Верочка, но тут же остановилась, встретив взгляд мисс Бликс, которая укоризненно покачала головою и принялась поправлять ей мантилью.

— Ну, а тебе, Зизи?.. тебе, Паф, — весело ли?..

— А стрелять будут? — спросила Зизи.

— Нет, успокойся; сказано: не будут!

От Пафа ничего нельзя было добиться; с первых минут антракта все внимание его было поглощено лотком с лакомствами и яблоками, появившимся на руках разносчика.

Оркестр снова заиграл, снова выступили в два ряда красные ливреи. Началось второе отделение.

— Когда же будет гуттаперчевый мальчик? — не переставали спрашивать дети каждый раз, как один выход сменял другой, — когда же он будет?..

— А вот, сейчас...

И действительно. Под звуки веселого вальса портьера раздвинулась и показалась рослая фигура акробата Беккера, державшего за руку худенького белокурого мальчика.

Оба были обтянуты в трико телесного цвета, обсыпанное блестками. За ними два прислужника вынесли длинный золоченый шест, с железным перехватом на одном конце. За барьером, который тотчас же захлопнулся со стороны входа, сгруппировались, по обыкновению, красные ливреи и часть циркового персонала. В числе последнего мелькало набеленное лицо клоуна с красными пятнами на щеках и большою бабочкою на груди.

Выйдя на середину арены, Беккер и мальчик раскланялись на все стороны, — после чего Беккер приставил правую руку к спине мальчика и перекувырнул его три раза в воздухе. Но это было, так сказать, только вступление.

Раскланявшись вторично, Беккер поднял шест, поставил его перпендикулярно, укрепил толстый его конец к золотому поясу, обхватывавшему живот, и начал приводить в равновесие другой конец с железным перехватом, едва мелькавшим под куполом цирка.

Приведя таким образом шест в должное равновесие, акробат шепнул несколько слов мальчику, который влез ему сначала на плечи, потом обхватил шест тонкими руками и ногами и стал постепенно подниматься кверху.

Каждое движение мальчика приводило в колебание шест и передавалось Беккеру, продолжавшему балансировать, переступая с одной ноги на другую.

Громкое «браво!» раздалось в зале, когда мальчик достиг, наконец, верхушки шеста и послал оттуда поцелуй.

Снова все смолкло, кроме оркестра, продолжавшего играть вальс.

Мальчик между тем, придерживаясь к железной перекладине, вытянулся на руках и тихо, тихо начал выгибаться назад, стараясь пропустить ноги между головою и перекладиной; на минуту можно было видеть только его свесившиеся назад белокурые волосы и усиленно сложенную грудь, усыпанную блестками.

Шест колебался из стороны в сторону, и видно было, каких трудов стоило Беккеру продолжать держать его в равновесии.

— Браво!.. браво!.. — раздалось снова в зале.

— Довольно!.. довольно!.. — послышалось в двух-трех местах.

Но крики и аплодисменты наполнили весь цирк, когда мальчик снова показался сидящим на перекладине и послал оттуда поцелуй.

Беккер, не спускавший глаз с мальчика, шепнул снова что-то. Мальчик немедленно перешел к другому упражнению. Придерживаясь на руках, он начал осторожно спускать ноги и ложиться на спину. Теперь предстояла самая трудная штука: следовало сначала лечь на спину, уладиться на перекладине таким образом, чтобы привести ноги в равновесие с головою, и потом вдруг неожиданно сползти на спине назад и повиснуть в воздухе, придерживаясь только на подколенках.

Все шло, однако ж, благополучно. Шест, правда, сильно колебался, но гуттаперчевый мальчик был уже на половине дороги; он заметно перегибался все ниже и ниже и начинал скользить на спине.

— Довольно! Довольно! Не надо! — настойчиво прокричало несколько голосов.

Мальчик продолжал скользить на спине и тихо-тихо спускался вниз головою...

Внезапно что-то сверкнуло и завертелось, сверкая в воздухе; в ту же секунду послышался глухой звук чего-то упавшего на арену.

В один миг все заволновалось в зале. Часть публики поднялась с мест и зашумела; раздались крики и женский визг; послышались голоса, раздраженно призывавшие доктора. На арене также происходила сумятица; прислуга и клоуны стремительно перескакивали через барьер и тесно обступали Беккера, который вдруг скрылся между ними. Несколько человек подхватили что-то и, пригибаясь, спешно стали выносить к портьеру, закрывавшей вход в конюшню.

На арене остался только длинный золоченый шест с железной перекладной на одном конце.

Оркестр, замолкнувший на минуту, снова вдруг заиграл по данному знаку; на арену выбежало, взвизгивая и кувыркаясь, несколько клоунов; но на них уже не обращали внимания. Публика отовсюду теснилась к выходу.

Несмотря на всеобщую суету, многим бросилась в глаза хорошенькая белокурая девочка в голубой шляпке и мантилье; обвивая руками шею дамы в черном платье и истерически рыдая, она не переставала кричать во весь голос: «Ай, мальчик! мальчик!!»

Положение тети Сони было очень затруднительно. С одной стороны, сама она была крайне взволнована; с другой — надо было успокаивать истерически рыдавшую девочку, с третьей — надо было торопить мисс Бликс и швейцарку, копавшихся с Зизи и Пафом, наконец, самой надо было одеться и отыскать лакея.

Все это, однако ж, уладилось, и все благополучно достигли кареты.

Расчеты тети Сони на действие свежего воздуха, на перемещение в карету несколько не оправдались; затруднения только возросли. Верочка, лежа на ее коле-

нях, продолжала, правда, рыдать, по-прежнему вскрикивая поминутно: «Ай, мальчик! мальчик!!» — но Зизи стала жаловаться на судорогу в ноге, а Паф плакал, не закрывая рта, валился на всех и говорил, что ему спать хочется... Первым делом тети, как только приехали домой, было раздеть скорее детей и уложить их в постель. Но этим испытания ее не кончились.

Выходя из детской, она встретилась с сестрой и графом.

— Ну, что, как? Как дети? — спросили граф и графиня.

В эту самую минуту из спальни послышалось рыданье, и голос Верочки снова прокричал: «Ай, мальчик, мальчик!..»

— Что такое? — тревожно спросил граф.

Тетя Соня должна была рассказать обо всем случившемся.

— Ah, mon Dieu!¹ — воскликнула графиня, мгновенно ослабевая и опускаясь в ближайшее кресло.

Граф выпрямился и начал ходить по комнате.

— Я это знал!.. Вы всегда так! Всегда!! — проговорил он, передвигая бровями не то с видом раздражения, не то тоскливо, — всегда так! Всегда выдумают какие-то... цирк; гм!! очень нужно! quelle idée!! Какой-то там негодяй сорвался... (граф, видимо, был взволнован, потому что никогда, по принципу, не употреблял резких, вульгарных выражений), — сорвался какой-то негодяй и упал... какое зрелище для детей!! Гм!! наши дети особенно так нервны; Верочка так впечатлительна... Она теперь целую ночь спать не будет...

— Не послать ли за доктором? — робко спросила графиня.

— Tu crois? Tu penses? Quelle idée! — подхватил граф, пожимая плечами и продолжая отмеривать пол длинными своими ногами.

Не без труда успокоив сестру и графа, тетя Соня вернулась в детскую.

Там уже наступила тишина.

Часа два спустя, однако ж, когда в доме все огни были погашены и все окончательно утомилось, тетя Соня накинула на плечи кофту, зажгла свечку и снова

¹ Ах, боже мой! (фр.)

прошла в детскую. Едва переводя дух, бережно ступая на цыпочках, приблизилась она к кровати Верочки и подняла кисейный полог.

Разбросав по подушке пепельные свои волосы, подложив ладонь под покрасневшую щечку, Верочка спала; но сон ее не был покоен. Грудь подымалась неровно под тонкой рубашкой, полураскрытые губки судорожно шевелились, а на щеке, лоснившейся от недавних слез, одна слезинка еще оставалась и тихо скользила к углу рта.

Тетя Соня умиленно перекрестила ее; сама потом перекрестилась под кофтой, закрыла полог и тихими, неслышными шагами вышла из детской...

VII

Ну... А там? Там, в конце Караванной... Там, где ночью здание цирка чернеет всей своей массой и теперь едва виднеется из-за падающего снега, — там что?..

Там также все темно и тихо.

Во внутреннем коридоре только слабым светом горит ночник, прицепленный к стене под обручами, обтянутыми бумажными цветами. Он освещает на полу тюфяк, который расстилается для акробатов, когда они прыгают с высоты; на тюфяке лежит ребенок с переломленными ребрами и разбитою грудью.

Ночник освещает его с головы до ног; он весь обвязан и забинтован; на голове его также повязка; изпод нее смотрят белки полузакрытых, потухающих глаз.

Вокруг, направо, налево, под потолком — все окутано непроницаемою темнотою и все тихо.

Изредка раздается звук копыт из конюшни или доходит из отдаленного чулана беспокойное взвизгиванье одной из ученых собак, которой утром во время представления придавили ногу.

Время от времени слышатся также человеческие шаги... Они приближаются... Из мрака выступает человек с лысой головою, с лицом, выбеленным мелом, бровями, перпендикулярно выведенными на лбу, и красными кружками на щеках; накинутае на плечи пальто позволяет рассмотреть большую бабочку с блестящими, нашитую на груди камзола; он подхо-

дит к мальчику, нагибается к его лицу, прислушивается, всматривается...

Но клоун Эдвардс, очевидно, не в нормальном состоянии. Он не в силах выдержать до воскресенья обещания, данного режиссеру, не в силах бороться против тоски, им овладевшей; его настойчиво опять тянет в уборную, к столу, где едва виднеется почти опорожненный графин водки. Он выпрямляется, потряхивает головою и отходит от мальчика нетвердыми шагами. Облик его постепенно затушевывается окружающей темнотою, пропадает, наконец, вовсе, — и снова все вокруг охватывается мраком и тишиною...

На следующее утро афишка цирка не возвещала упражнений «гуттаперчевого мальчика». Имя его и потом не упоминалось; да и нельзя было: гуттаперчевого мальчика уже не было на свете.

1883





НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ

(Повесть)

I

В первой половине сентября два чиновника — Ефремов и Социперов, — возвращаясь домой из департамента, проходили по средней, главной аллее Летнего сада.

Сад казался совершенно пустым. Чиновники, не стесняясь, громко разговаривали, рассеянно поглядывая на деревья; их мало, по-видимому, занимало действие осени, которая, между тем, на всем уже сильно чувствовалась.

Деревья стояли наполовину обнаженными; верхушки их, совсем голые, уныло чернели на сером небе сдвигающимися дождевыми тучами. В нижней части оставалась еще кое-где зелень; но и ее повсюду донимал желтый лист, сморщенный, в свою очередь, сморщенным, раскислым, местами тронутым точно ржавчиной; он отпадал безжизненно при малейшем колебании воздуха. Вокруг все было тускло, сыро, неприветливо. Единственным светлым пятном выставлялось со стороны Царицына луга мокрое шоссе; выделяясь беловатой, грязно-серебристой полосой, оно резко било в глаза между стволами старых лип, почерневших от дождей; по шоссе тащился, сильно надавливая щебенку, воз, навьюченный домашним скарбом запоздавшего дачника. Дальнейшие предметы принимали неопределенный облик, уходили в сырую, липкую мглу, неприятно проникавшую в бакенбарды и осыпавшую одежду влажной пылью.

Словом, наступила та пора, когда жизнь снова переливает в город, когда окрестность глохнет и вымирает, дачи уныло посматривают своими заколоченными ставнями на клумбы с повалившимися и почерневшими георгинами, — когда коренной житель Петербургской стороны, встав утром и взглянув в ок-

но, дребезжащее от мелкого дождя и ветра, обращается к жене и говорит ей: «Ну, душенька, дождались: пошла теперь эта кислота!..»

Но возвратимся к Ефремову и Социперову, продолжающим отпечатывать подошвы на сырой дороге Летнего сада.

— Скажи мне на милость, что же дешево в Петербурге? — Все дорого! — говорил Ефремов, очевидно продолжая начатый разговор, — видишь: хожу до сих пор в какой покрывке! — прибавил он, сымая плетеную из цветной соломы шляпу, причем на голове его дыбом поднялась туча сухих волос цвета перца с солью, — собирался вчера купить картуз — семь рублей! Приступу ни к чему нет! Все дорого! Что у нас дешево?..

— Ну, теперь пошел!.. Пошел, — благо попал опять на любимую точку, — перебил Социперов, человек также с проседью, но завистливого, сухощаво-желчного вида и постоянно кусавший ногти, даже когда стоял во время доклада за стулом директора.

Наружность Ефремова представляла совершенно противоположный тип, и внешность вполне отвечала характеру.

Это был человек лет пятидесяти, рослый, тучный, с лицом круглым как полный месяц, — но, вопреки сходству, отражавшим не меланхолию, а веселость, свежесть и здоровье. Ребенком он был, без сомнения, то, что называют: кровь с молоком. К выражению веселости прибавляли в значительной степени вздернутый коротенький нос, рассеченный на кончике, большие серые глаза навывкате, как у лягушки, и беспечная, размашистая походка, сообщавшая его животу беспокойное колебание из стороны в сторону. Двигая на ходу толстыми руками, Ефремов никогда, по-видимому, не довольствовался числом приятных собеседников, но всегда как бы порывался вперед и выпучивал глаза, стараясь приискать нового весельчака. Когда таковой показывался, лицо Ефремова вдвойне начинало сиять от удовольствия, одышка усиливалась от нетерпения, голос хрипел, как труба старой шарманки перед началом арии, и толстые его губы заблаговременно складывались подушечкой, приготавливаясь к сочным поцелуям; он целовал обыкновенно взасос, крепко нажимая в обе щеки, неизбежно вlepлял всегда три поцелуя, — мало озабочиваясь тем,

нравилось или нет такое выразительное изъяснение радостных чувств.

— Толкуй, потешайся! — продолжал Социперов, — как ни дешево, по-твоему, эти статские и действительные, нет, однако ж, города в целом свете, где бы они имели столько значения!.. Да, любезнейший, сколько ни вертись, сила в них и ни в ком другом, — сила, так сказать, роевая, стихийная! За что ни возьми, куда ни сунься, везде их найдешь: сверху, снизу, с боков...

— Даже носом тянешь вместе с воздухом! — слышишь: гарью пахнет! — смеясь перебил Ефремов, опавшая шляпой лицо, покрасневшее, как в июле.

Он самодовольно тряхнул крутыми плечами, вынул из бокового кармана лопнувшую кожаную сигарочницу с вылезавшими отовсюду толстыми папиросами и, подавая одну из них товарищу, спросил:

— Хочешь исходящую?..

— Спасибо; только что курил, — отвечал тот, раздраженно кусая ногти.

Ефремов втянул в себя целое облако дыма, подержал его между выпученными щеками, плотно сжав губы, и продолжал, выпуская дым под нос маленькими струйками:

— На все твои доводы, скажу, братец, следующее: кому как! Для меня, например, чин действительного — то же, что петля на шею... Пстой, Семен Семенович, не перебивай, дай сказать: именно петля! На днях еще директор говорит мне: «Воля ваша, Петр Никанорович, так невозможно; вы, — говорит, — одиннадцать лет сидите без производства; что ж наконец другие скажут?..» — «Христом богом, — говорю, — оставьте меня, ваше превосходительство, на прежнем положении; от этого, — говорю, — зависит судьба семейства!» — «С вами, — говорит, — ничего, видно, не поделаешь, — оставайтесь, коли такая охота!..» И в самом деле, вникни: теперь я секретарь; место штатное; кроме жалования по окладу, получаю из остаточных сумм добавочные, квартирные, выдают на воспитание детей. Произведут в действительные, с того дня: тютю секретарство! Скажут: «Нет, брат, шутишь, не по чину; ступай к тетеньке!» — «Куда, — спросят, — девать нового генерала?» — «Валяй его в заштатные!» С проекцией причислят тебя к какой-нибудь комиссии... для сокращения комиссий... Простись тогда, душка

Петр Никанорович, с окладом и другими блезирами из остаточных! «Нет, — скажут, — здесь не полагается!» Вот тебе и выгода вся от вашего превосходительства!

— Я касался не только по служебным отношениям; я главным образом говорил о значении чина в общественном смысле...

— В общественном! Скажите, какая невидаль!

— Глумись! Глумись!.. Факт тот, однако ж, что действительный представляет нечто в самом деле действительно существующее, тогда как без этого предоставляется разве только право на существование...

— Существую, однако ж, видишь!.. — произнес Ефремов, выпучиваясь на ходу и похлопывая по животу, который загудел при этом как пустая бочка, — с одним разве можно согласиться; очень уж лестно: до действительного живешь так себе, хлеб жуешь, как мы теперь, грешные; ну, а как произведут — с того самого дня начнешь считать себя умнее других! «Мелюзга, значит, все остальные!..» Что ж наконец, скажи на милость: неужто в самом деле тебе так уж этого хочется? — спросил он, насмешливо поглядывая на товарища. — Знаешь что? — подхватил он, не дождавшись ответа, — прибегни к известному способу, вернее нет: насаливай всем и каждому!

— Хорош способ, нечего сказать...

— А что ж — дурен? Повторяю: нет его вернее! Когда надоешь до тошноты, — так надоешь, что не будут знать, что с тобой делать, — непременно произведут... чтобы скорее отделаться; без особой протекции позаботятся даже перевести в другое ведомство... Так сделал Худосокин; так сделали Чирков и Вафлин: все теперь действительные!

Социперов не обижался выходками Ефремова, потому что никто этого не делал в департаменте по привычке считать Ефремова малым хотя и распущенным, но, в сущности, добряком и забавником. Глядя, однако ж, с каким увлечением кусал он ногти, можно было думать, разговор с сослуживцем задевал чувствительное место его тайных побуждений. Грызть ногти было потребностью, выражавшей внутреннее состояние его духа, беспокойно и постоянно съедаемого завистью. Виной всему был младший брат Социперова, сделавший неожиданно видную карьеру. Последнее произошло следующим образом: тогдашний министр, подписывая бумаги, имел привычку оканчивать

подпись красивым завитком. Сделав однажды такой завиток и как бы полюбовавшись им, министр обратился с приятной улыбкой к директору и сказал: «Quelle belle plume!..»¹ Перо в тот раз чинил регистратор Социперов младший. Его немедленно приставили специально к такой должности. Когда министр поехал делать обзор по России, — Социперов находился уже в числе сопровождающих. Зимой, после того как он у камердинера министра окрестил сына, — его еще заметнее выдвинули; вскоре он сделался необходимым лицом; ему давали разные домашние поручения; жена министра посылала его в кондитерскую за буль-дегомами для детей. Два года спустя министр поручил ему осмотреть и обревизовать контору собственного имения. С тех пор и пошло, и пошло — чем дальше, тем успешнее. Теперь Социперов младший был в чине действительного статского советника и деятельно хлопотал о придворном звании, которое, по его мнению, должно было окончательно установить его в избранном обществе. Социперов старший, испытав бесполезность прибегать к протекции брата, ненасытность которого сравнивал всегда с аравийским песком: «Сколько в него ни лей — все мало», — пускался летать на собственных крыльях; он пробовал втираться в разные благотворительные общества, имея перед глазами разительные примеры скорого выдвигания на этом выгодном поприще; пробовал даже сделаться членом комитета сиротского училища, учрежденного специально с целью доставлять членам случай ходить с докладом к влиятельным сановникам и через них пробиваться к высшим должностям, — ничего не помогло. Он, очевидно, или не нравился дамам-попечительницам, или просто не умел как следует угождать и подделываться, что — мимоходом сказать — совсем происходило против его воли.

Его вообще недолго любили в департаменте. Один Ефремов сходил с ним чаще других, и то потому больше, что решительно не понимал, чтобы можно было кого-нибудь особенно любить или не любить.

В глазах Ефремова, — как сам он выражался: «Все одинаково не стоили кошачьего хвоста перед добрым куском кулебяки с сижком и визигой, благородной бутылкой вина и честной сигаркой!» Ефремов принад-

¹ Какое прекрасное перо!.. (фр.)

лежал к числу чиновников случайных, попавших на службу потому, что в данную минуту не оказалось другого поприща к существованию, и оставшихся на месте частью по привычливости нрава, частью по лени. Сел, так уж скучно как-то передвигаться. Он определился в департамент по выходе из университета, вскоре женился, — женился, как сам говорил: «Не зная для какого лысого беса», — и прижил тем не менее целую ораву детей. Но семья и департамент никогда собственно не были прямой целью его жизни; то и другое осуществляло горькую необходимость. Целью жизни Ефремова были закуска, трактир, веселая компания.

Всем возможным статским и другим советникам предпочитал он кружок мелких актеров, художников и других незатейливых, но бесцеремонных и разбитных, веселых малых. Он никогда не колебался между необходимостью заказать новое пальто или отдать последние деньги за членский билет в купеческий клуб — где, по его словам: «Готовили осетрину с оливками и грибной подливкой как нигде во всей вселенной!» Отправляя в департаменте служебные обязанности, он неожиданно подходил то к тому, то к другому из товарищей и, чмокая сластолюбивыми губами, сообщал, таинственно припадая к уху: «Приходите-ка, батенька, сегодня в «Малый Ярославец»; сегодня борщ с потрохами и вотрушки!!» — или вдруг отрывался от деловой бумаги, делая такое замечание: «Вчера, господа, подали мне у Палкина бифштекс; поверите ли, вот: подушка! страсть просто!..» Он обижался, когда в таких случаях начинали над ним подшучивать, — хотя, надо сказать, никогда ни на ком не срывал сердца; он отходил только с разочарованным видом и задумчиво принимался читать какой-нибудь доклад.

К нему, впрочем, все относились снисходительно; многие даже любили его за всегдашнюю податливость и веселость. Без него не обходилась ни одна пирушка, ни одна свадьба, ни даже похороны, если только последние оканчивались поминкой. В трактирах он состоял на приятельской ноге не только с хозяевами, но знал всех конторщиков и половых и называл последних обыкновенно уменьшительными именами: «Васенька, Петрушечка, Калистратушка... отрежьте-ка, голубчик, вот отсюда с жирком, пожалуйста...»

Само начальство снисходительно на него смотрело: «Человек семейный, не умевший сделать себе никакого положения; детей куча. По службе исправен. Внешний вид мог бы быть, конечно, благоприятнее; но семья, тесные обстоятельства, — трудно требовать!» — рассуждало начальство, не столько, конечно, руководясь в этом случае сердобольным увлечением, сколько взглядом, почерпнутым из привычки заботливо и постоянно оберегать собственные интересы. Вне должности Ефремов терпеть не мог говорить о службе и департаменте. Он отзывался о последнем даже непочтительно.

— Ну уж, Петр Никанорович, — сказал, встретясь с ним в ресторане, заезжий господин, приходивший по делам в департамент, — три дня сряду прихожу к вам в два часа, — ни души; во всем департаменте только одни сторожа...

— Напрасно жалуетесь; теперь очень хорошо, — возразил Ефремов.

— Ну уж хорошо, — нечего сказать!..

— Вы бы лучше летом пришли...

— А что?

— Тогда совсем никого не бывает.

Господин пожал плечами, искоса поглядывая на Петра Никаноровича; но Петр Никанорович как ни в чем не бывало продолжал с увлечением уплетать ветчину, заливая ее дри-мადерой, захваченной по дороге в погребе Шита. Он жалел только, что в эту минуту не находилось доброго товарища, чтобы рассказать скромный анекдот, от которого чесался язык, и затем увлечь его к немцам в общество «Пальма», где в этот вечер должны были играть две цитристки, только что приехавшие из Риги. Плевать хотел он на тех, кто совался говорить «по дружбе», что с его способностями он мог бы сделать карьеру и пойти куда как далеко, вместо того — что ж? — «весь пошел только в живот!».

— Ну, и пошел в живот, зато видишь: круглый! не чета твоему! — заключал Ефремов, раздувая щеки, бритые всегда как у актера.

Продолжая беседовать, Ефремов и Социперов незаметно подходили к той части аллеи, где начинаются бюсты и статуи, когда последний, неожиданно остановив товарища, указал ему на одну из боковых аллей сада.

— Ба! — да это, никак, наш Чемезов? — сказал Ефремов, пристально всматриваясь, — три дня в департамент не ходит, больным сказывается, а сам, голубчик, изволит прогуливаться в Летнем саду... Гм! Пришел, должно быть, тоску разогнать. Еще в апреле жена умерла, теперь сентябрь, — и все, сдается мне, забыть не может! Чудеса, право! Сто раз говорил ему: оставьте, пренебрегите, воротить назад невозможно, — не берет! Даже похудел... ей-богу! Надо пойти поговорить с ним...

— Оставь его. Пожалуй, на пароход опоздаем...

— Еще первого свистка не было. Нет, надо пойти, поговорить; хотя и не нашего прихода, — все же, братец, товарищ... — заключил Ефремов, увлекая Социперова в боковую аллею, по которой, шагах в двадцати и спиной к ним, медленно выступал человек маленького роста.

Услышав за собой шаги, он обернулся и, казалось, очень приятно был поражен неожиданной встречей. Он овладел, однако ж, собой; в углах рта оставалось только подергивание, свойственное нервным людям, когда они чем-нибудь недовольны.

Как все мужчины мелкого сложения, Чемезов казался гораздо моложе своих лет. Стоя за его спиной, можно было биться об заклад, что перед вами молодой человек, если б не выдавала сильная проседь на коротко остриженном затылке. Лицо не оставляло уже сомнения, что перед вами человек, переваливший за сорок и, кроме того, болезненный, нуждающийся в нравственном спокойствии. Подтверждением этому служили сероватый цвет кожи, коричневый обвод вокруг глаз, множество преждевременных морщинок на висках и на щеках. Некоторые внешние признаки прибавляли к такому впечатлению: судорожное движение в коротеньких, как бы съезженных чертах, низкий, упрямый, настойчивый лоб, маленькие уши, крепко прижатые к голове, черные глаза с желтизной в зрачках, заметно старавшиеся избегать прямого взгляда, — все это с первого раза отдаляло мысль от характера открытого, готового иногда распахнуться и проявить веселость. Выражение внутреннего, сосредоточенного чувства казалось застывшим на лице его. В самой походке его было что-то сдержанное; склоняя на ходу левое плечо несколько набок, он постоянно как бы от чего-то отстранялся. Одни считали Чемезова горде-

цом, другие человеком крайне щепетильным, обидчивым, старавшимся избегать возможность неприятных столкновений. Вернее всего было то, что наружность его почему-то менее напоминала чиновника, чем в Ефремове и Социперове, — даром что первый был похож на отставного старого актера, второй — на человека неопределенного звания, — всего скорее служащего по сыскной части.

— Батенька, какими судьбами! Мы думали, вы больны, Алексей Иваныч! — воскликнул Ефремов, протягивая руку.

Чемезов неторопливо подал руку обоим сослуживцам.

— Мне действительно нездоровилось; сегодня вышел в первый раз, — произнес он, — мне на дом не приносили никаких бумаг; у нас нет ничего нового? — добавил он, очевидно с тем, чтобы сказать что-нибудь.

— Какие, батенька, новости, все та же канитель!

— Бакланов умер! — проговорил Социперов.

— Ах, да, я и забыл: умер, — завтра хоронят! — подтвердил Ефремов.

— Вероятно, это очень огорчило директора, — равнодушно сказал Чемезов, — он и Бакланов были друзьями с детства...

— Отменно огорчился! — смеясь возразил Ефремов, — вчера приходит экзекутор, докладывает ему: «Генерал Бакланов, — говорит, — скоропостижно скончался сегодня ночью, ваше превосходительство». Он, душка, глазком не мигнул; сказал только: «Распорядитесь скорее, чтобы заняли его квартиру; она как раз, — говорит, — под моим кабинетом; скоро зима; квартира останется нетопленной — в кабинете совсем замерзнешь!» Да, эти душки директора оберегают-таки себя, нечего сказать!.. Не то, что вы, например, Алексей Иваныч, — заключил Ефремов, переменяя шуточный тон на сердобольный, — эх, голубчик, перестаньте! На себя только посмотрите...

— Да, Алексей Иваныч; с весны вы действительно очень переменились... — счел долгом вставить Социперов.

Чемезов не стесняясь начинал уже выказывать знаки нетерпения. Но Ефремов принадлежал к числу говорунов, и трудно было удержать его, когда язык приходил в движение. Он продолжал утешать, со-

ветовал о необходимости забыть, пренебречь, развлечься.

— Книжки, Алексей Иванович, которые вы сочиняете, — это, поверьте, теперь для вас всего хуже! — только мысль сосредоточивает; именно: сосредоточивает! Департамент подбавляет также немало уныния... Прежде всего, верьте мне: развлечение! Дома, например, ни за что не обедайте: больше как-то напоминает! Ходите в рестораны, в трактиры; запишитесь в клуб, вечером идите в театр, благо есть у вас на что покупать билеты... Не всякий ли день, наконец, видим мы людей в вашем положении! Быть вдовцом, — подхватил Ефремов, неожиданно развеселясь, — быть вдовцом! Помилуйте, да это самое милое, любезное положение; для такой цели можно, пожалуй, второй раз жениться, ей-богу!..

В эту минуту со стороны Невы послышался пароходный свисток. Ефремов поднял нос, потянул воздух, как легавая собака, и, торопливо пожав руку Чемезову, зашагал к решетке. Увидев подоспевшего Социперова, кусающего ногти, он спросил только: «Вкусно ли?» — и, когда тот фыркнул что-то под нос, разразился смехом, от которого запрыгал его живот и побавровели щеки.

Встреча с сослуживцами неприятно подействовала на Чемезова. Он находился в том более или менее всем знакомом состоянии духа, когда вдруг отпадает охота говорить и думаешь о том только, как бы избавиться от докучливости. С такой целью сказывался он три дня больным и, как только наступал вечер, отправлялся в Летний сад. Там редко теперь можно было кого-нибудь встретить.

Чемезов был большой домосед; но после кончины жены домашняя жизнь ему опостыла. Бывали дни, — как сегодня, например, — когда один вид квартиры делался невыносимым, хотелось уйти куда-нибудь подальше. С мыслью о потере жены он мало-помалу начинал свыкаться; но вместе с нею неизбежно всегда соединялись воспоминания всего лучшего, всего светлого, пережитого в жизни. Когда они приходили на ум, он ничего не делал, чтобы отстранить их, — хотя сам каждый раз чувствовал себя под гнетом мучительной тоски. Страдая больше всего одиночеством, Чемезов в такие дни нетерпеливо всегда желал уединения.

Так и теперь было. Отделавшись от докучливой

встречи, он отошел в глухую часть сада и сел на скамью. Горечь воспоминаний, казалось, еще сильнее им овладела. Выражение едкой грусти пробежало иногда по лицу его; грудь подымалась, подавляя вздохи.

Недавно еще просидел он таким образом до поздней ночи. На этот раз, вероятно, произошло бы то же самое, если б не помешал дождик. Чемезов приподнялся с места и медленно направился к выходу.

Начинало смеркаться. Сумерки ускорялись наволочком туч, набегавших от взморья. В воздухе заметно стало больше движения; сад глухо шумел, двигая обезлиственными вершинами. Густой туман наполнял аллеи; стволы деревьев показывались в нем местами как бы стоявшими в воздухе; местами стволы смутно представлялись углубленными, темными пятнами. Дорожки и лужайки между ними пропадали в десяти шагах; во всю глубину сада просвечивала только сквозь туман продольная, более светлая, волнистая полоса, обозначавшая главную аллею. Дождь усиливался, и слышно было, как капли били в сухие листья, летевшие во все стороны.

II

Если б Ефремов и Социперов вместо того, чтобы встретить Чемезова гуляющим в саду; могли застать его сидящим на скамье и узнать о настоящих его чувствах, — оба, без сомнения, поспешили бы сообщить об этом как курьезную новость. Всякое известие о Чемезове было находкой в департаменте. Любопытство главным образом возбуждалось исключительностью положения, в которое Чемезов поставил себя между товарищами. Прослужив с ними восемнадцать лет, он в течение этого времени ни с кем решительно не сошелся, держал себя постоянно в стороне, особняком, никогда шагу даже не сделал, чтобы с кем-нибудь сблизиться. Когда в его присутствии затевалась веселая компания, он особенно всегда как-то съеживался, — точно улизнуть хотел, и кончал всегда тем, что отказывался участвовать. На пирушках, руководимых Ефремовым, он ни разу не был. Вышло как-то так, что все говорили ему: «вы», между тем как это противоречило общей привычке; уж это одно было чем-то охлаждающим при ежедневных отношениях. Он был

одинаково учтив, даже услужлив, но в обращении его чувствовалась всегда сдержанность, отбивавшая охоту к панибратству. В департаменте он никогда ни о чем не разговаривал, как о делах службы. «Съеженный человек! Фуфыра! Весь на пуговках! Никогда не распадется, — точно немка родила!» — часто повествовал Ефремов. В последнем он не ошибался. Мать Чемезова действительно была немка.

По адресной книге департамента хорошо было известно местожительство Чемезова: никто, однако ж, никогда к нему не заглядывал; да и нельзя было: он никого никогда не звал к себе. О женитьбе его, происходившей пятнадцать лет тому назад, узнали случайно от Ефремова, прикладывавшего печать к форменному разрешению. Никого даже не позвал он тогда на свадьбу, никого не угостил.

«Свинтус! Ничего больше!!» — повторял Ефремов несколько дней сряду. С тех самых пор прозвал он его «таинственным монахом» и, как бы не удовлетворившись этим, назвал еще «Фотием»; оба эти прозвища до сих пор шепотом произносились иногда в департаменте. Никогда также никто не видал жены Чемезова, не встречал его гуляющим с ней под руку; когда шел, то всегда в одиночку. С похоронами жены было то же самое: ни приглашения, ни угощения! Узнали об этом после того, как он три недели носу не показывал в департаменте.

Такое постоянство в отчуждении и упорная несообщительность придали Чемезову в глазах товарищей таинственность, которая более или менее подстрекала общее любопытство. Стоило заговорить о нем, — у всех были уши на макушке.

Таинственность Чемезова действительно трудно было проникнуть, потому что все в ней основывалось на свойствах довольно своеобразного, сложного характера. В нем заключались как бы два отдельные существа, противоположные друг другу по духу, хотя жившие, по-видимому, в ладу между собой. Одному принадлежало горячее, любящее сердце, нервный темперамент, тесно всегда связанный со способностью сильно принимать впечатления; в удел другому достались по большей части мизантропические свойства: скрытность, замкнутость, крайняя несообщительность, самолюбивая щекотливость, — редко, впрочем, выказываемая потому, что ее удерживал ум, хотя, может

быть, и неспособный изобрести порох, но, во всяком случае, рассудительный и спокойный. Одна из этих долей характера дана была природой, — другую образовали обстоятельства жизни.

Чемезову было семь лет, когда скончался отец, мелкий уездный чиновник, женатый на прусской колонистке. Быв единственным ребенком у матери и страстно к ней привязанный, он был свидетелем, как год спустя мать вступила во второй брак; второй отец был тот самый человек, которого он, сколько себя помнил, всегда не любил и боялся. Поселившись с ним под одной кровлей, он возненавидел его окончательно, и вместе с тем под влиянием страха принужден был постоянно скрывать перед всеми настоящие свои чувства.

У матери пошли дети; быть может, он преувеличивал ее охлаждение к себе, но ясно, однако ж, чувствовал, как мало-помалу лишался ее прежней привязанности. Но и здесь надо было думать про себя и не высказываться. Все эти впечатления, начавшие его детство и болезненно отразившиеся на характере в момент его развития, были, однако ж, слабы перед теми, когда, по прошествии четырех лет, скончалась мать и он увидел себя круглым сиротой в руках вотчима; последний еще при жизни покойницы не стеснялся выказывать ему неприязненные чувства. Участь мальчика облегчалась тем только, что он был в гимназии и целую неделю не находился дома.

Около этого времени с вотчимом произошел, как говорится, «казус». Замешанный в какую-то темную историю, он лишился места и отказался платить за пасынка.

Докончив курс на казенный счет, благодаря участию директора, Чемезов, восемнадцати лет, без всяких средств, без пристанища, потому что вотчим вскоре после «казуса» уехал в отдаленную губернию, — предоставлен был самому себе. Он положительно не знал, что с собой делать. Врожденная несообщительность удерживала его от сближения с товарищами, горечь и недоверчивость, успевшие основаться в его сердце, мешали выйти из тяжелого положения.

Чтобы не умереть с голоду, он начал давать уроки детям лавочника, который согласился снабжать его в обмен углем и харчами. Спустя несколько месяцев Чемезов давал уроки в семействах разных мешан

и купцов. Занятие было не по душе; школа была суровая. Она, правда, приучила его к терпению, к выносливости, но вместе с тем развила желчь и прибавила замкнутости. Утешительная сторона была та, что он увидел возможность существовать своими средствами. Это обстоятельство ободрило его; он решился провести еще год таким образом, скопить несколько денег, уехать в Петербург и поступить в университет. Он мечтал об этом еще в гимназии.

Двадцати лет Чемезов приехал в Петербург с шестьюдесятью рублями в кармане и принялся усердно ходить на лекции.

Все, что пришлось испытать ему как бедному студенту, брошенному на собственный произвол, лишенному всякой материальной и нравственной поддержки, не могло, конечно, внести примирения в его взгляд на жизнь. Одно к одному, пришло вскоре и разочарование. В лекциях не нашел он того одушевления, какого ожидал; к удивлению, они показались ему холодными, неувлекательными. Он продолжал, однако ж, аккуратно посещать их; но уже целью его была не наука, о которой так горячо мечтал он прежде, цель ограничилась тем, чтобы не оставаться лишнего года на курсе и, по выходе, отыскать какое-нибудь поприще и основаться на нем. Невыносимая тягость материальных условий понуждала его к этому.

Тот, кто не испытывал питаться по целым месяцам одним ячменным кофеем с сухарями, не посещал известного рода кухмистерских, где каждый кусок становится поперек горла и принуждаешь себя есть потому, что желудок корчит от голоду, кто не жил в грязных углах, подкидывая вместо тюфяка собственное платье, кто, вместо шубы, не ограничивался в сильные морозы пледом, служившим ночью одеялом, кто не чинил заплат на своем пальто, не знал часто, как вымыть белье, потому что все, что было по этой части, покрывало тело, кто не пережил все это годами, не имея перед собой верной, определенной цели, — тот никогда не поймет, какими запасами прекрасных сил владеет молодость, — никогда не поймет, сколько нужно энергии, силы воли, высокой нравственной подкладки, чтобы, при таких условиях, не сбиться с пути, не упасть духом и, вопреки всему, продолжать учиться, посещать лекции, составлять записки и т. д.

Уроки по полтиннику, иногда по рублю, продолжа-

ли и здесь выручать Чемезова. Два лета сряду приглашали его в качестве репетитора в отъезд с семейством. Этот период его существования был очень знаменателен. Тут в первый раз более чем когда-нибудь высказалось его влечение к литературе; чтение всегда было любимым его занятием; оно превратилось теперь в запой своего рода. Быть литератором!.. Он не смел мечтать об этом, хотя такая мысль начинала мерещиться ему еще в гимназии. Доказательством могла служить тщательно сберегаемая тетрадка стихотворений, написанных за год до приезда в Петербург; были еще драма из итальянской жизни «Замок Морвено» и повесть «Отверженный»; но последние представляли скорее наброски, чем оконченные произведения.

Литературные занятия, казалось ему, вполне отвечали его вкусам, его характеру, склонному к уединению и мечтательности. Настроив себя таким образом, другой на его месте тут же бросил бы лекции и, в пылу возбуждения, послушался бы своего влечения; но у Чемезова при всей горячности сердца был ум спокойный и рассудительный, напуганный обстоятельствами жизни, привыкший сдерживать внутренние порывы. Прежде чем пуститься очертя голову, — ему хотелось добиться пристанища, определиться куда-нибудь на место, которое дало бы возможность осуществить любимую мечту. Мысль обеспечения, независимости была прямым следствием горьких испытаний в жизни.

Хлопоты, забегание вперед, просьбы, егозливость, умение подделываться и трогать сердца влиятельных особ, — все это, если бы даже и было в характере Чемезова, — не привело бы, может быть, к желанному результату. Случай лучше выручил. Старый сенатор, которому он четыре месяца переписывал бумаги, определил его в одно из министерств. Там приписали его чиновником четырнадцатого класса в один из департаментов и, неизвестно по каким соображениям, — вернее без всяких соображений, причислили к комитету, специально предназначенному для ученых целей.

III

В департаменте, равно как и в подведомственном ему комитете для ученых занятий, свободного времени девать было некуда. Большая часть чиновников зани-

малась преимущественно гулянием попарно в залах и коридорах и курила папиросы с таким остервенением, что у всех почти указательный палец желтел как янтарь.

Первым делом Чемезова было заняться пересмотром повести «Отверженный». Ему помнилось, в ней, несмотря на очевидно слабые стороны, были места, писанные когда-то с увлечением. Он прилежно сел за работу. Тут убедился он, что пришлось все переделать от начала до конца. Но, странное дело, никак не предполагал он, чтобы так трудно давалась работа. Все, кажется, ясно представляется воображению, так вот перед собой и видишь, — рукой схватить хочется; начнешь писать — выходит совсем не то, иногда даже совсем ничего не выходит! Он одновременно обдумывал сюжет, или, как говорится, «мотив» другой повести: «Разбитая жизнь», но стеснялся начинать, не зная решительно как приступить к женскому характеру. Ему невольно приходил на память анекдот, рассказанный Ефремовым, с которым он тогда только что познакомился: начальник, распекая подчиненного, замешавшегося в историю с женщинами, сказал ему: «Вы, милостивый государь, слава богу, не ребенок; вам пора бы знать женщин! Вы разве женщин не знаете?..» — «Помилуйте, ваше превосходительство, — смиренно возразил подчиненный, — получая всего триста рублей в год жалования, могу ли я знать их!..»

Чемезов мог бы то же ответить; у него был только другой повод; не столько стесняли его материальные средства в этом отношении, сколько недостаток общечеловечности, врожденная робость и, главное наконец, — мешала привычка внутренне съеживаться, уходить в себя, как улита от малейшего прикосновения к ее раковине.

Начитавшись романов, где преимущественно описывались женщины, и трудолюбиво делая отметки там, где черты женского характера отвечали характеру его героини (местами черты и душевные движения были так близки к тому, что он желал выразить, что казалось ему, он сам сочинил их), — Чемезов наконец победил трудность.

Повесть «Разбитая жизнь», переписанная бисерным почерком, которым отличался Чемезов, лежала на столе. Все это было прекрасно; но предстояло теперь дело также не последней важности; оставалось — шут-

ка сказать! — устроить рукопись, поместить ее в одном из журналов! Чемезов никого не знал из лиц литературного круга. После долгих колебаний решил он наконец отправиться в редакцию ближайшего журнала. Он, к тому же, казался ему почему-то скромнее других.

Прикоснувшись к звонку редакции, Чемезовым овладело ощущение, совершенно обратное тому, какое испытывают лица, одержимые зубной болью, при входе к дантисту; зубная боль, говорят, мгновенно проходит. Чемезов почувствовал усиленное волнение; даже пальцы похолодели и защемило под ложечкой.

— Что вам угодно? — спросил лакей, отворяя дверь в темную прихожую, увешанную по стенам шинелями.

— Мне хотелось бы видеть господина редактора...

— Дома нет! — отрезал лакей.

В эту самую минуту из боковой двери показался толстый господин, надевавший перчатку.

— Что вам угодно? — обратился он к Чемезову.

— Вы — господин редактор?..

— Да; но извините, пожалуйста, мне теперь некогда; я сейчас должен уйти...

— Я принес рукопись... Мне бы хотелось...

— Очень хорошо-с; оставьте ее здесь. Зайдите недели через три... или нет, лучше через месяц.

— Через месяц?! — невольно вырвалось у Чемезова.

— Вас, кажется, это удивляет?.. — проговорил редактор, надевая шляпу, — нельзя же так: взять да и напечатать! Согласитесь сами... Надо сначала прочесть, просмотреть... Мое почтение! — заключил он, торопливо выходя на лестницу.

Чемезов оставил рукопись, надписав на ней свой адрес.

Но прошел месяц, и не было ответа.

Думая, что рукопись не успели еще прочесть, находя также неловким налегать и торопить для первого раза, Чемезов принялся с новым усердием за окончательную обделку и переписку первой своей повести «Отверженный».

Он понес ее в другую редакцию.

На этот раз встретил его господин, коротко остриженный под гребенку, с тощим лицом, усыпанным веснушками, и носиком с пуговку, украшенным ринсе-

pez¹; последний никак не хотел держаться, поминутно соскакивал и снова нетерпеливо насаживался своим владельцем.

— Вы — господин редактор? — спросил он.

— Нет... я секретарь редакции, — но это совершенно все равно-с, — поспешил он прибавить.

Чемезов смиренно подал рукопись. Название повести, по-видимому, не понравилось секретарю; он кисло улыбнулся.

— Прекрасно переписано, — сказал он, перевертывая листы, — сами переписывали?..

— Сам-с.

— Прелестно! Легко будет читать. Раньше, однако ж, недели невозможно... Заходите через неделю, в будущую субботу около этого часа, вы получите ответ.

В назначенный день и час Чемезов отправился к секретарю редакции.

— Здравствуйте, — сухо проговорил секретарь; и, порывшись в груды взъерошенных бумаг, подал ему рукопись, прибавив: — редактор поручил передать обратно... Извините, пожалуйста, я теперь очень занят...

— Я желал бы знать, однако ж... — оторопевшим голосом начал Чемезов.

— Ах, боже мой! Чего же вы хотите? Повесть ваша не годится! Редактор говорит: в ней нет тени наблюдательности с живой жизни, — раздраженно перебил секретарь. — Это мнение редактора, а не мое; я вашей повести не читал. Редактор утверждает, что в целом повесть отзывается чем-то мертвым, сочиненным...

— Помилуйте, я тут почти ничего не сочинял, писал прямо с натуры... — воскликнул Чемезов, задетый за живое.

— Может быть; только, как видите, ничего из этого не вышло, — резко ответил секретарь.

Чемезов вышел на улицу, крепко сжимая челюсти. На лице его, всегда мутно-бледного цвета, показалось несколько красных пятен. Он меньше чувствовал раздражения, чем какого-то пристыженного чувства. Самолюбие было сильно задето, но, главным образом, его огорчали зарождавшееся сомнение в самом себе, обманутые надежды, бесполезность труда, потре-

¹ Пенсне (фр.).

бывавшего стольких напряженных усилий. «Быть не может, чтобы была тут одна «мертвечина», как он выразился; я писал, припоминая собственные впечатления; все это было пережито и перечувствовано!» — рассуждал он сам с собой.

Немного успокоившись, он на другой день понес «Отверженного» в редакцию журнала «Созерцатель».

Спустя месяц там также отказались печатать повесть. Поводом служили те же причины: «Нет живого лица; натяжка от начала до конца; везде сочинение, риторика!»

О другой повести «Разбитая жизнь» до сих пор между тем не было ни слуху ни духу. Дни проходили за днями, недели за неделями, — повесть не появлялась в печати. Чемезов послал письмо, но не получил ответа. Он снова написал, — результат был тот же. Он решил наконец сам отправиться.

Его встретил тот же лакей и, не дав проговорить слова, объявил, что редактора не было дома.

— Я пришел узнать насчет моей рукописи; я несколько раз писал, но не получал ответа; мне непременно надо знать... — начал Чемезов, возвышая голос.

— Кто там?.. — отозвался кто-то из соседней комнаты, и на пороге распахнувшейся двери показалась знакомая толстая фигура редактора.

— А, это вы?.. Сейчас! — произнес он, так же быстро исчезая за дверью. — Ефим! Ефим! — подхватил его голос из глубины соседней комнаты.

Лакей побежал, оставив в передней недоумевающего Чемезова. Минуту спустя лакей вернулся с толстой тетрадью в руках.

— Ваша?

— Моя...

— Извольте взять... возвратить приказано.

— Но мне хотелось бы поговорить с господином редактором, спросить у него...

— Заняты; никого сегодня не принимают, — лаконически возразил лакей, отворяя дверь на лестницу.

Несмотря на то, что Чемезов был сильно озадачен, он не упал, однако ж, духом, как в тот раз, когда получил отказ в печатании повести «Отверженный».

Первое произведение действительно могло быть неудачно: опытности не доставало! Вторая повесть, бесспорно, была основательнее задумана и лучше обработана; в нее, — мимо соблюдения литературных

условий, приобретенных некоторым опытом, положены были наконец все чувства, — и те, которые тревожили его детство, и те, которые волновали в Петербурге. Работая по ночам над повестью «Разбитая жизнь», недаром отрывался он от рукописи, чтобы успокоиться от волнения и утирать щеки, увлажненные слезами. Внутренний голос поддерживал в нем веру в этот последний труд. Толстый редактор, без сомнения, завладел только рукописью и не заглянул в нее, — а если и дал себе труд читать, — то так, зря, через страницу. Мнение его, наконец, не может еще считаться конечным приговором.

Успокоив себя таким образом, Чемезов подумал прибегнуть к новому журналу, издававшемуся под редакцией литераторов более или менее известных. Главным редактором был писатель с громким именем; каждое произведение его встречалось с восторгом, и Чемезов был в числе самых горячих его почитателей.

«Здесь, по крайней мере, будешь иметь дело с авторитетом; узнаешь правду, получишь настоящую оценку», — думал Чемезов.

В редакции его встретили очень приветливо; рукопись принял молодой человек и просил прийти за ответом через два дня в два часа.

В этот день в министерстве происходило какое-то экстренное заседание; в нем участвовало все начальство департамента и учебного комитета, так что Чемезову ничего не стоило урваться на полчаса; большая часть чиновников и без того разбежалась.

Молодой человек, принявший рукопись, ввел Чемезова в просторный кабинет, уставленный кожаной мебелью, обвешанный по стенам фотографиями разных знаменитостей; столы и этажерки завалены были газетами и книгами. За большим столом стоял, прислонившись к спинке кресла, высокий, белый как лунь господин, в котором по многочисленным портретам Чемезов тотчас же узнал знаменитого писателя; он живо объяснялся с другим господином, маленького роста и толстым.

— Извините, пожалуйста, — сказал писатель, указывая Чемезову на стул, — я сейчас, сию минуту к вашим услугам.

Чемезов сел на край стула, поглядывая на редактора.

«Так вот он! Вот эта знаменитая личность, сделавшая себе такое славное имя! И какая прелестная, симпатичная наружность!..» — повторял он, ощущая внутренне прилив сладостного волнения.

Простившись с собеседником, писатель-редактор обратил к посетителю добродушное лицо и сказал, очевидно стараясь придать голосу как можно больше мягкости:

— Вы пришли... узнать насчет вашей рукописи... вот она... К сожалению, мы не можем ее напечатать...

Чемезов открыл рот, желая сделать вопрос, но точно кость стала поперек горла, и он не мог выговорить слова.

— Не можем напечатать, — продолжал редактор, видимо чувствуя неловкость, — у вас, по всему видно, — много воображения... Пишете вы очень правильно, — правильное, чем многие из нас... Но... но этого еще недостаточно. Надо, чтобы произведение удовлетворяло прежде всего в художественном отношении... Товарищи мои и я, мы не нашли этих условий в вашей повести...

— Я старался изобразить то, что сам испытал...

— Да, но этого недостаточно, — проговорил редактор, отыскивая мягкие выражения, — надо прочувствовать...

— Прочувствовал! — невольно вырвалось у Чемезова, причем он приложил убедительным жестом руку к груди.

На глазах его навертывались слезы.

Редактор едва мог скрыть улыбку и продолжал:

— Да, но и этого недостаточно; надо, чтобы чувства и впечатления сообщались действующим лицам; складывались в живые образы. В вашей повести, к сожалению, нет этого... в ней, странно сказать: чувствуется на всем отпечаток чего-то старческого...

— Мне самому всего двадцать четыре года, — с грустью проговорил Чемезов.

— Вот в этом-то и странность! — подхватил редактор, добродушно улыбаясь, — сами вы так еще молоды, а пишете, между тем, как... старичок... Вы кроме этой повести писали еще что-нибудь?

— Писал...

— Печатали?

— Нет...

— Почему ж?

— Отказывали в редакциях...

— Сами теперь видите...

— Я думал совсем посвятить себя литературе; такое занятие всегда меня увлекало, — проговорил сквозь слезы Чемезов, — я так надеялся, так трудился...

— И продолжайте трудиться, только... неужели нет другого выхода кроме литературы?.. Нельзя разве употребить ваш труд на другое...

При этом Чемезов поднялся с места, молча принял рукопись, поклонился, вышел из кабинета и направился обратно в ученый комитет своего департамента.

В департаменте никто не заметил убитого выражения на лице Чемезова, никогда, впрочем, не отличавшегося особенной веселостью. Давно успели все привыкнуть к его неразговорчивости, склонности забираться в дальние углы, упорно держаться особняком, как «Иван Феклистович Бука», по выражению Ефремова. С окончанием служебного часа он пошел прямо домой, в маленькую комнату, занимаемую в семье театрального музыканта, в Офицерской улице, и весь остаток дня ничего не ел и никуда не выходил. Ночь провел он без сна, лежа на кровати с заложенными за шею руками. На другое утро было воскресенье. С головной болью, в припадке нервного возбуждения, сел он за письменный стол и под влиянием всего передуманного и перечувствованного ночью набросал, сам не зная для чего, но в один присест, очерк своего детства, всю историю, как его мать вторично вышла замуж, как остался он круглым сиротой, как попал под опеку вотчима и остановился на поступлении своем в гимназию. Он писал на этот раз, вовсе не думая о литературных условиях, но единственно желая удовлетворить внутренней потребности высказать подавлявшие чувства.

Несколько дней спустя обратился к нему случайно в комитете редактор детского журнала «Незабудочка», желавший навести справку о том, в каком положении его дело и есть ли надежда на принятие для народных школ последней его книжки: «Соха и плуг. — Рассказы для молодых крестьян». Редактор сильно жаловался на стеснения цензуры вообще и в особенности на трудность приобретать статьи, специально предназначенные для детского возраста. Крупные литераторы ничего для детей не пишут, средние дороги, мелкие

так небрежны, что боже упаси! Просто хоть отказывайся от издательства «Незабудочки».

Возвратясь домой, Чемезов переписал обычным бисерным почерком рассказ о своем детстве и послал его к редактору «Незабудочки», надписав на рукописи только адрес, но скрыв свое имя.

Предоставляю вам судить, как он изумился и вместе с тем обрадовался, когда неожиданно получил книжку «Незабудочки» и нашел в ней свой рассказ, целиком напечатанный! Редактор прибавил от себя только название «Сироточка» и ничего больше. Книжка сопровождалась письмом. Редактор благодарил ото всего сердца неизвестного автора, убеждал не скрывать своего имени, спрашивал о гонораре и горячо убеждал «не отказать вперед в просвещенном сотрудничестве». У Чемезова точно крылья вдруг выросли; мудреного нет: ему только минуло тогда двадцать четыре года и это была первая его радость, первая удача в жизни.

Восторженная встреча редактора «Незабудочки» окончательно его ободрила. Радостно взволнованный, он высвободился из его объятий, чтобы испытать горячее пожатие руки его жены и затем сочувственное пожатие руки свояченицы, главной заправительницы «Незабудочки». Редакция исключительно состояла здесь из женщин и, сколько можно было заметить, преимущественно из тоскующих вдовиц и девушек, напоминавших цветы, которые забываются на клумбах в сентябре месяце. Единственным представителем мужского пола был только сам редактор, маленький человек, крайне суетливого, озабоченного вида, но, впрочем, приветливый и добродушный. Он тут же предложил Чемезову по двадцати рублей с листа и поручил сделать к следующей книжке «маленькое сокращение Робинзона Крузо».

— Гонорар останется обязательно тот же, — заключил маленький редактор, — оригинальное ли произведение, переделки ли, — все равно; как тут, так и там ваше перо будет у нас одинаково цениться...

За сокращением Робинзона Крузо последовал сокращенный «Переход Суворова через Чертов мост» для ремесленных училищ первого возраста, и затем «сокращение» того же предмета для детей второго возраста.

За сокращениями следовали иногда «переделки».

Разнообразие главным образом состояло в пригонке одного и того же сюжета к разным возрастам. Маленький редактор был в восторге от нового сотрудника. Сотрудник, с своей стороны, был также очень доволен. Трудолюбие было в его природе; род занятий отвечал его вкусам, скромному, невзыскательному характеру и, вместе с тем, улучшал его материальные средства; последнее было весьма важно для Чемезова, постоянно мечтавшего о независимости, о возможности быть всем самому себе обязанным; мечта эта зародилась в нем еще при выходе из гимназии под гнетом тогдашних невыносимо тяжелых условий.

Чемезов получал триста рублей жалования; благодаря «Незабудочке», ему теперь на худой конец приходилось в месяц до шестидесяти рублей, иногда даже до восьмидесяти. Так прошло два года. В конце этого времени у Чемезова образовалась даже маленькая экономия. «Незабудочка» существовала положительно его трудами; подписка на нее улучшалась. Время от времени из провинции получались в редакцию письма, выражавшие благодарность за ту или другую статью. Восторженно читая эти письма сотруднику, маленький, добродушный редактор не мог равнодушно смотреть на холодность, с какой Чемезов выслушивал обыкновенно эти послания; от него часто слова нельзя было добиться; он ограничивался тем только, что стыдливо краснел. При всем своем желании редактор до сих пор не мог свести его с семейством, не мог сойтись с ним по душе, как бы хотелось. Дамы редакции также на это жаловались.

— Мильй, но дикий молодой человек! — говорили они.

В ученом комитете пронюхали между тем насчет «приватных» занятий сослуживца; слух пошел дальше, и вскоре стало известно во всем департаменте, что в стенах его скромно процветает сочинитель. Ефремов начал было подтрунивать и приглашать Социперова последовать его примеру, но оба сочли вскоре более благоразумным оставить Чемезова в покое.

Директор выписывал для детей «Незабудочку», и жена его несколько раз отзывалась с величайшей похвалой мужу о нравственном направлении этого почтенного издания. Он не знал, что Чемезов, подписывавший под статьями (таково было настоятельное требование редактора, уверившего сотрудника, что

в сфере педагогики имя его начинало делаться известным), был тот самый маленький, невидный Чемезов, служивший под его начальством. Он призвал его в кабинет, похвалил и при первом случае представил к следующему чину.

Действительно ли поверил Чемезов в некоторую известность своего имени в сфере педагогики или просто захотелось ему попробовать самостоятельности, — но только он вскоре предпринял новый труд, не рассчитывая уже поместить его в «Незабудочке». Напрасно, чуть не со слезами на глазах уговаривал маленький редактор, — Чемезов настоял на своем и, отчасти благодаря скопленным деньгам, отчасти кредиту в типографии, издал «Сокращенное путешествие по святым местам, для детей от десяти до четырнадцатилетнего возраста».

Директор позвал однажды Чемезова в кабинет.

— Скажите, Чемезов, — это ваша книга? — спросил он, указывая на «Сокращенное путешествие».

— Моя, ваше превосходительство, — робко отвечал Чемезов, оторопев от неожиданности.

Скромность, отличавшая подчиненного, всегда нравилась директору; он всегда любил видеть в нем молодого человека аккуратного, приличного; качества эти, особенно достойные похвалы со стороны сочинителя, обратили на себя особенное внимание начальника.

— Отчего же не представите вы книгу вашу в комитет? — спросил он.

— Думал, ваше превосходительство... но как-то не решался...

— Прекрасно, будьте всегда так скромны, молодой человек; скромность служит... гм! лучшим украшением... Хорошо-с, я за вас представлю вашу книжку.

В тот же месяц книжка была единогласно одобрена комитетом и принята для учебных заведений.

Успех неожиданный! Чемезов не успел очнуться, как уже потребовалось второе издание; за вторым последовало третье. Он решительно терял голову. Чувство не то смущения, не то радости попеременно овладевало им при виде стольких денег. Но уже в голове его зарождались планы новых изданий. Он мало-помалу пришел в себя и успокоился.

Он нанял в Средней Подьяческой квартиру из трех

комнат, взял старуху-кухарку и деятельно принялся за работу.

Единственным развлечением было угловое окно его квартиры, выходившее на двор, отгороженный со стороны улицы старой деревянной решеткой. В левой части двора, под самым окном Чемезова, находился садик из трех акаций, кусты бузины и полуобвалившейся беседки; за ними скрывалась сырая стена соседнего дома с черепками битой посуды у фундамента. Зимой, когда все это заваливало снегом, смотреть, конечно, было не на что; но в летнюю пору двор с садиком имел свою приятность. Чемезов, по крайней мере, когда уставал, охотно усаживался под вечер у окна со стаканом чая. Обдумывая новые книжки по части педагогики и мечтая о будущем, он иногда просиживал здесь до поздней ночи.

IV

Против дома, где жил Чемезов, по ту сторону улицы, наискосок от сада, находился большой дом, вмещавший в нижней его части красильное заведение, мелочную лавочку и модный магазин. На вывеске последнего обозначалось золотыми буквами: «Madame Vera. Моды и платья». По вечерам, когда магазин заперся и оставались те из работниц, которые в нем постоянно жили и ночевали, — они обыкновенно перебегали улицу и входили в садик. Таких девушек было четыре: три большие, одна подросток.

При всей своей скромности, Чемезов успел, однако ж, заметить одну из них. Предметом его любопытства была блондинка лет семнадцати, с круглым, милым лицом и большими серыми глазами; она была маленького роста, не худощавая и не толстая, и без признака румянца, — как это часто встречается на лицах работниц, просиживающих по двенадцати часов в тесных комнатах без воздуха.

Чемезов стал сам себе удивляться. До сих пор женщины, как уже сказано, мало его занимали. Неожиданный успех его книжки и затем усиленная работа окончательно отвлекли его в последнее время от соблазнов и развлечений. Теперь неожиданно повеяло на него чем-то совершенно новым. Его невольно притя-

гивало к окну, как только раздавались в саду знакомые голоса; ему непременно хотелось лишний раз взглянуть на эту милостивую девушку. Она, — надо сказать в ее оправдание, — не прибежала для этого ни к каким ухищрениям; нельзя было, конечно, не заметить господина, так часто подходившего к окну; но, по-видимому, она не была любопытна; всего вернее, он не делал на нее никакого впечатления. По праздникам, вечером, Чемезов перестал вдруг совершать обычную прогулку в сквер подле церкви Николы Морского. В такие дни подруги девушки отпускались к родным; она оставалась одна и всегда приходила в сад с какой-нибудь работой. Чемезов, трудившийся тогда над руководством «для первоначального ознакомления с географией», тотчас же бросал перо и подходил к окну. Блондинка заметила его наконец, но продолжала не давать повода к ближайшему знакомству. Раз они встретились на улице; Чемезов остановился, хотел что-то сказать, но встреча была слишком неожиданна, он не нашелся и, покраснев, прошел мимо. В другой раз они столкнулись у калитки сада.

— Вы, кажется, часто прогуливаетесь здесь в саду... — проговорил он, глотая слова.

Девушка посмотрела на него своими серыми глазами, улыбнулась, сказала «да» и вошла в сад.

Первым движением Чемезова было последовать за ней, но робость оказалась сильнее желания; он прошел дальше, обогнул две улицы — после чего вернулся домой крайне недовольный собой.

Увидав однажды старую свою кухарку, сидевшую подле беседки рядом с блондинкой и долго о чем-то с ней беседующую, — он, как только кухарка вернулась, принялся расспрашивать ее о новой знакомке. Кухарка сообщила, что не впервые разговаривает с этой девушкой, что она круглая сирота, отданная в ученье теткой, — шлиссельбургской мещанкой, давно пропавшей без вести, что девушка ласковая такая, словоохотливая и что жаль ее, — жаль, потому что как только кончится учение и выйдет из магазина на свою волю, — так тут и пропадет.

— Пропадет, как все пропадают, батюшка Алексей Иваныч, — заключила старуха, — подвернется этта какой ни на есть шалыган, прости господи, — много их в Петербурге! — ну и пропадет, отец мой!..

Слова старухи сильно подействовали на Чемезова.

Он спал ночь беспокойнее обыкновенного. Действительно, не трудно было пропасть в Петербурге! Чувство сожаления и вместе с тем что-то похожее на испуг и ревность волновали его. Он припоминал миловидное лицо девушки, доброе выражение ее глаз и с ужасом рисовал в воображении возможность ее падения, возможность для нее трагической судьбы, так часто выпадающей на долю молодым, хорошеньким девушкам, одиноко брошенным в водоворот столичной жизни.

— Знаешь что, Марфа, — сказал он на другое утро, — ты бы когда-нибудь позвала ее к себе чай пить...

— Извольте, батюшка, хоть сегодня; сегодня как раз праздник; она придет в сад одна; сами увидите, какая она, право, хорошая; только, скажу вам, она насчет этого баловства... вы не думайте...

— Что ты! Что ты! — воскликнул Чемезов, отмахиваясь обеими руками.

Он никогда не помнил себя таким веселым, как в этот день. Он немного только оторопел к вечеру, когда увидел блондинку, выходящую из сада и направляющуюся к дверям его черной лестницы. Еще несколько минут, — он знал, — она уже сидела за соседней стеной. Робко отворив дверь кухни и сделав как бы удивленный вид, Чемезов вошел. Девушка сначала очень удивилась; она никак не ожидала, чтобы Марфа была в услужении у того самого господина, которого часто встречала в саду и видела иногда гуляющим на улице мимо окон магазина. Но скромный вид молодого человека тут же ее успокоил. Не зная решительно с чего начать, Чемезов ограничился несколькими общими словами, сказал, что знает ее давно и рад с ней познакомиться, спросил, любит ли она читать, — и, ободренный своей находчивостью, — поспешно отправился в кабинет и вынес несколько книг; в числе их пестрели два розовые нумера «Незабудочки».

Этим вечером положено было начало другим таким же вечерам.

Машенька (так звали блондинку) и Чемезов мало-помалу перестали дичиться друг друга. Однажды он так одушевился, что пригласил ее с Марфой в кабинет и там взял с нее слово провести целый вечер следующего праздника в Александровском парке.

— И Марфу возьмем с собой, — поспешил он прибавить.

Но в следующий праздник Марфа, как назло, хлебнула лишнее и у нее сильно болела голова. Как быть? Машенька долго не соглашалась идти вдвоем; наконец решилась, и они отправились. Сначала разговор не клеился; оба чувствовали неловкость и не находили слов. Обстоятельство это крайне удивляло Чемезова; приготавливаясь к прогулке с девушкой, он не только накануне, но в самый день не мог понять, откуда вдруг бралось у него столько красноречия. Тут, как нарочно, слова не вязались и мысли разбегались как испуганные зайцы.

Шаг за шагом, они незаметно отделились от шумной части парка и уселись на скамейке. Начался понемногу тот первый разговор без свидетелей, которого он ждал с таким нетерпением. В первые минуты она казалась очень смущенной; что-то даже похожее на испуг промелькнуло в ее чертах; мало-помалу все это прошло; она перестала стыдиться и посмотрела ему прямо в лицо своими большими, добрыми глазами. Небывалая перед тем сладость ощущения овладела Чемезовым. Он во всю жизнь не испытывал ничего подобного.

Несмотря на то, что воображение его было возбуждено, оно и теперь не уносило его за тридевять земель, за пределы действительности; рассудок говорил ему, что перед ним не идеальное какое-нибудь существо, но простая, молоденькая работница, с грехом пополам знакомая с грамотой; он успел узнать только, что она не глупа и тихого, кроткого нрава. Но он знакомился в первый раз с прелестью находиться близко и наедине с женщиной, которая сильно нравится; он чувствовал к ней влечение, вопреки всему, что мог говорить рассудок. Не каждый ли день встречал он на улице множество женских лиц; почему же ни одно из них не действовало на него так притягательно, не было ему так сочувственно, как лицо этой девушки? Ее миловидные черты, ее серые, добрые глаза врезались в его памяти с первого дня, как он увидел их. От их взгляда, как бы сами собой, размягчались черствые, нелюдимые черты, заслужившие ему прозвище «буки» в кругу его товарищей. С ними он дичился; с ней его влекло к откровенности. И прежде приходили минуты, когда потребность привязаться к жен-

скому сердцу, любить и быть любимым, давала себя внутренне чувствовать; но это были только намеки, отдаленные, чуть слышные голоса перед тем, что теперь наполняло его душу. Одушевляясь постепенно, он передал ей всю историю своей жизни, все огорчения детства, все испытания юности. Теперь, благодаря богу, все изменилось к лучшему; в теперешнем его положении не было ничего общего с пережитым; он освободился от горя и бедности; но счастья, настоящего счастья все-таки у него не было! Оно, видно, не далось ему, потому что так жить, как он, без привязанности, без любви, — нельзя считать себя счастливым!..

Он это, впрочем, так только, в увлечении, рассказывал. На самом деле он уже теперь был счастлив, — счастлив тем, что любил и... он не смел сказать об этом утвердительно, — но так казалось ему, — встречал ответное чувство. Иначе к чему было бы ей соглашаться на отдаленные прогулки вдвоем, к чему было бы так терпеливо выслушивать его длинные объяснения и рассказы?

С того вечера они заметно уже искали случая встречаться.

Раз осенью, в праздник, Марфа отпросилась на Митрофановское кладбище. Давно смеркалось, но она все не возвращалась. Чемезов, поджидавший ее с тем, чтобы выпить чаю и сесть за работу, часто подходил к окну. Выражение удивления и радости показалось вдруг на лице его; он никак не ожидал увидеть сегодня Машеньку: весь день не переставая лил дождик. Закрывшись платком, она скоро, скоро пробежала мимо садика и, не подозревая отсутствия Марфы, прямо направилась к знакомой двери на черную лестницу. Чемезов сломя голову бросился в кухню, отомкнул дверной крючок и, притаившись за половинкой двери, стал прислушиваться к частым шагам, подымавшимся по лестнице. Сердце его билось так громко, что слышались его удары. Машенька вошла в кухню, увидела Чемезова, узнала, что он один в квартире, и не убежала...

С того вечера они стали видаться каждый день. Свидания их скрывались самым тщательным образом; все меры предосторожности были приняты. Машенька являлась не иначе как в сумерки; она всегда куталась и внимательно осматривалась, прежде чем перейти

улицу и вступить во двор. Даже Марфа ничего не подозревала. Чемезов обыкновенно уговаривал ее лечь спать, после чего запирали на ключ кухню. Машенька приходила теперь всегда по парадной лестнице, зная очень хорошо, что там за дверью стоит Алексей Иванович и нетерпеливо ее поджидает.

Думая окончательно уберечь Машу от возможности встреч с знакомыми лицами, отчасти сам желая избавиться от глаз любопытных, Чемезов поспешил переменить квартиру; он нанял неподалеку на Екатерининском канале. Переезд представлял также удобный случай отказать Марфе; в последнее время лишние рюмочки сменились совершенно уже лишним штофиком и держать ее стало положительно невыносимо.

К тому же времени подошел срок концу обучения для Машеньки.

«Madame Vera», хозяйка магазина, сначала никак не хотела расстаться с ней; она теряла в ней самую прилежную работницу. Но, с другой стороны, не было возможности держать ее против воли. При прощании, в досаде, она не расспрашивала даже ее зачем? куда? зная по опыту, что если уж девушка так настоятельно оставляет насиженное место, — значит, где-нибудь уж завелся «обже», как она выражалась.

Машенька связала свой узелок и поселилась у Чемезова.

Ему пришлось перейти одно неловкое испытание: пришлось передать дворнику паспорт Маши для прописки и тем, следовательно, заявить всему дому о своей связи, подвергнуть ее и себя любопытству жильцов; он прежде не подумал об этом. Но опасения оказались вскоре лишними; никто особенно не пялил глаз и не обращал на них внимания. Машенька к тому же была большая домоседка.

Житье их вдвоем началось с того, что она сильно восстала против найма новой кухарки; напрасно увещевал ее Чемезов, — она утверждала, что кухарка лишнее только стеснение, лишний расход, что она отлично сама справится и выучилась у «мадамы» варить суп, какого он верно никогда не пробовал. Машенька просила дать ей всего три дня на испытание.

— Зачем же? Слава богу, у нас есть чем нанять прислужницу, — доказывал Чемезов, не отрывая глаз от ее оживленного, миловидного лица, — и охота же

тебе, в самом деле, пачкаться? Можешь, если есть желание, найти себе другое занятие...

— Нет, уж ты только не мешай мне; дай сделать... увидишь, как все будет хорошо! — повторяла она, ласкаясь как котенок.

По прошествии нескольких дней нельзя было узнать квартиры Чемезова: везде показались чистота и порядок. Особенная заботливость приложена была к кабинету; нигде следа пылинки; книжки аккуратно были везде расставлены, даже вымыта чернильница и перья уложены рядышком, в приятной симметрии. Кухня была также неузнаваема; принадлежности маленького хозяйства, вымытые, вылощенные, выставались по стенам, правильно уложенными в ряд.

Дни испытания вытягивались в целые недели. Когда он заикался о найме кухарки, — она подсакивала и зажимала ему рот. Деятельность ее была изумительна; с утра отправлялась она на рынок, потом начиналась уборка квартиры; одновременно с этим разводился огонь, готовилось кушанье, стирались и гладились разные тряпочки; она день-деньской суетилась, полоскалась и при всем том находила время приводить в порядок белье Чемезова и приступить, для себя собственно, к шитью платья из серого мериноса, который ухитрилась купить за полцены.

— Так будет лучше, как сама сошью, — говорила она, радостно улыбаясь, — будут стоять только меринос, подкладка и пуговицы! — прибавляла она восторженно.

И все это, надо заметить, делалось у нее как-то без всякой трескотни и погрома и всегда весело. Самую эту веселость следовало приписать особому роду: она никогда не выражалась восклицаниями или громким смехом; их заменяли ямочки, появлявшиеся на щеках, улыбка и радостный блеск, светившийся в ее больших добрых глазах. Чемезов не мог ею налюбоваться. Даже в мечтах никогда не грезилось ему столько счастья. Встречая ее часто с раскрасневшимся лицом, вокруг которого от суеты разлетались пухом ее прекрасные белокурые волосы, он, в первое время, снова приступал, упрашивая нанять прислугу, уверяя, что без этого она тем наконец кончит, что совсем замучается; но вскоре убедился, что чем больше надумывала она себе хлопот, чем больше было у нее на руках дела, тем ста-

новилась она всегда веселее, — словом, тем казалась счастливее.

Время от времени ложное положение, в котором оба они находились, вызывало задумчивость на лице Чемезова; оно, видимо, его беспокоило. Но он припоминал свою прежнюю жизнь, сравнивал ее с теперешней и говорил себе, что надо же чем-нибудь жертвовать в обмен на чувства, соединявшие его с любимой девушкой. Привязанность их друг к другу укреплялась тем сильнее, что ничто ее не развлекало. Стесняясь мыслью о сожительстве, Чемезов хранил свою связь в величайшей тайне от сослуживцев. Живя своей особой, замкнутой жизнью и никогда не приглашая их к себе, он теперь подавно не делал этого. Она, со своей стороны, не хотела даже слышать о знакомстве с кем бы то ни было. Она утверждала, что некогда ей возиться с гостями и, наконец, решительно не будет уметь, как разговаривать со всеми этими господами.

— Тебе, может быть, хочется... Мне их не нужно; мне и без них хорошо! — заключала она обыкновенно.

С каждым днем Чемезов открывал в ней новые качества. В уме его опрокидывались навзничь все читанные и слышанные им педагогические теории и взгляды по вопросу о женском развитии и воспитании. Говорят: яблочко от яблони не далеко падает; ничего не могло быть несправедливее такой поговорки. Маша была у него перед глазами. Что видела она с детства? По большей части грубость и дурные примеры. И все это, тем не менее, не имело на нее и тени влияния, нисколько не привилось к ней, не пустило хотя бы самого слабого ростка. Она осталась с чистой детской душой, отзывавшейся на все честное и доброе. Ничего не было для нее милее ее угла с его мелочными хозяйственными заботами; лишь бы только ее не трогали, не мешали ей, — она тут только чувствовала себя на своей почве, всегда была весела и вполне довольна.

Простодушные, наивные натуры, способные сохраниться во всей умственной и душевной чистоте, вопреки самым неблагоприятным условиям жизни, — встречаются чаще, чем обыкновенно думают. Их можно сравнить с теми растениями, которые прячутся от солнца, не тянутся в высоту, но уходят в глубь, и там,

встретив сродный им грунт, развиваются и дают плоды свои.

Улицы с их шумом и городские увеселения не нравились Маше; но благополучие ее не знало меры, когда в праздник отправлялась она вместе с Чемезовым за город. В таких случаях она обыкновенно всегда запаздывала. Алексей Иваныч давно был готов, давно дожидался, стоя в шляпе; но она тут-то именно вдруг и припоминала о необходимости запереть такой-то ящик, припрятать такую-то вещь и выходила не прежде, когда убеждалась, что все в порядке.

Садясь в вагон, она принимала вдруг строгий, степенный вид, опускала глаза и церемонно молчала. Очутившись на свободе со своим Алешей, — она так же скоро оживлялась, и не было конца ее расспросам и веселости.

В начале первой весны Чемезов, находясь в департаменте, уловил удобную минуту, незаметно прошел в кабинет директора и попросил у него разрешения жениться.

— Раненько задумали!.. — сказал директор.

Зная Чемезова за молодого человека трудолюбивого и солидного, — он дальше не расспрашивал и тут же прибавил:

— А впрочем, — благословляю!..

Ефремов, который должен был приложить печать к разрешению, привязался было с расспросами, напрашиваясь на свадьбу, но Чемезов ответил, что свадьба будет происходить в Ропше, где проживет он после венчания несколько дней, — и таким образом отделался.

С женитьбой не произошло никаких особенных перемен в образе жизни Чемезовых. Возвратясь из церкви, Маша неожиданно только зарыдала, упав на грудь мужа, — после чего так же весело и деятельно принялась за свои хозяйственные хлопоты.

Единственная перемена, которую можно было заметить, состояла в том, что благосостояние их видимо улучшилось.

«Руководство для первоначального ознакомления с географией» принесло неожиданные результаты. Другие «сокращения» и «руководства», постепенно выпускаемые в свет, — разбирались нарасхват.

Так проходили годы. Счастье их не только не прерывалось, но упрочивалось от времени. Летом Чеме-

зовы перебирались теперь обыкновенно на дачу на Черную речку или на Карповку. Несмотря на то, что хозяйственных хлопот было здесь больше, чем в городе, а с другой стороны, в денежном положении Чемезова не могло быть вопроса о расходе на прислугу, — жена его все-таки противилась нанимать кухарку. Вместо нее она взяла двенадцатилетнюю девочку, — дочь прачки; Чемезова думала исподволь приучить ее к хозяйству и со временем найти в ней усердную помощницу. Зная в совершенстве жену, Алексей Иваныч ничего не говорил, хотя предвидел, что девочка эта послужит только источником новых забот и хлопот. Действительно, так и вышло. Началось с того, что Марья Ивановна привезла из города кусок полотна и в тот же вечер принялась кроить и резать, приготовляя белье для девочки.

Глядя, как она с ней возилась, обмывала, чесала, обучала тому и другому и постепенно к ней привязывалась, Чемезов убеждался больше и больше, что Марье Ивановне на роду было написано сделаться, может быть, лучшей еще матерью, чем была она хозяйкой. Но проходили годы, — детей у них не являлось.

Лета мало изменили Марью Ивановну; она несколько пополнила, но казалась вообще даже свежее, чем была в первой молодости. На характер лета не произвели никакого действия. Живя раз на даче, она купила цыплят; в числе их находился один с перешибленной ногой; он сделался ее любимцем. Она держала его особо от других, кормила на убой и звала всегда мужа посмотреть, как цыпленок бросается со всех ног, когда она его подзывает. К осени цыпленок превратился в толстую курицу, бегавшую за Марьей Ивановной как собачонка. Пришлось переезжать с дачи. Все уже было уложено, и подводы стояли готовые на дворе. Алексей Иваныч, расхаживая в пальто и в шляпе, не мог понять, что делает жена, стоя у окна и барабаня пальцами по стеклам; он несколько раз позвал ее, но она не откликнулась. Подойдя к ней, он только всплеснул руками; прислонив лицо к оконному стеклу, Марья Ивановна разливалась-плакала! Ей жаль было расстаться с курицей. Но птичник немислим был в городе, и, скрепя сердце, надо было расстаться.

Она утешилась тогда только, когда Алексей Иваныч купил ей собачку.

Благосостояние их продолжало между тем расти с каждым годом. Чемезовы могли считать себя теперь вполне обеспеченными. По службе также шло довольно удачно. Чемезов был теперь старшим столоначальником и при первой вакансии должен был занять должность начальника отделения. Мрачный взгляд на жизнь, горечь прежних испытаний, мизантропические побуждения — все это в нем постепенно улеглось, сгладилось под влиянием счастливой жизни, любви и преданности. Если он продолжал держать себя по-прежнему, в некотором отдалении от сослуживцев, то это происходило скорее от привычки согласоваться с природными наклонностями. Его и в молодости склоняло всегда к тихой, трудолюбивой жизни. Наконец он попросту боялся нарушить строй домашнего очага, под защитой которого прожил столько лет в постоянном счастье.

Привязанность нежно любимой женщины, ее чувства к нему, заботливость, не охлаждавшиеся, но развивавшиеся с годами, — достаточно наполняли его существование. Обаятельная доброта сердца, врожденные честные побуждения Марьи Ивановны сделали то, чего, быть может, не могло бы сделать самое внимательное, изысканное образование.

Иногда Алексей Иваныч приступал к ней с какой-нибудь книжкой, советовал почитать то и другое; Марья Ивановна не отказывалась, но за хлопотами книжка большей частью оставалась открытой на второй странице. Чемезов начинал упрекать.

— Много будешь знать, скоро состаришься, — смеясь возражала Марья Ивановна, — я тебя знаю; с меня этого довольно!..

Алексей Иваныч тем не менее, — по привычке, вероятно, заниматься постоянно учебниками и сидеть по уши в педагогике, — не расставался с мыслью об ее образовании. Упорно преследуя свою цель, он не пропускал удобного случая: водил ее по всем выставкам, концертам, театрам. Марью Ивановну часто клонило ко сну, но боже упаси, чтобы она показала это мужу; в угоду ему, она охотно на все соглашалась и всегда казалась очень довольной. Обманутый этим, Алексей Иваныч увеличивал свое старание. Зная ее экономность, но вместе с тем желая сделать ей сюрприз, он тайком абонировался на два стула в итальянской опере, как только узнал об открытии новой подписки.

Заботливость Алексея Иваныча оплачивалась ему всегда сторицей.

В течение пятнадцати лет, прожитых вместе, ни разу не испытал он ссоры, разлады, даже повода к чему-нибудь подобному. Весь ее мир начинался и оканчивался ее Алексеем Иванычем; вне этого для нее ничего не существовало; когда ему было хорошо и покойно, — добрые ее глаза сияли радостью и ничего не желала она больше. Он был для нее постоянным предметом любви и удивления. Лучше, умнее, честнее Алексея Иваныча — ничего не могло быть на свете.

Такая любовь и преданность, надо сказать, были вполне взаимны. Сердце Чемезова ни разу не изменило. Он никогда не думал о ней иначе, как с чувством глубокой нежности и признательности. Часто, сидя подле нее, он брал ее руки и горячо начинал целовать их.

— Э, полно, Алексей Иваныч, — говорила она, удивленно глядя на него своими добрыми глазами, — какое счастье я тебе принесла!.. Ты такой ученый! Такой умный! Что я перед тобой?.. Так, простая, незначащая бабеночка!..

И вдруг — вдруг этой бабеночки не стало!..

Она вернулась домой, чувствуя сильный озноб. На другой день открылся тиф. Три дня спустя добрые глаза ее навсегда закрылись... Она лежала в гробу такая беленькая, с вытянутыми ножками, обутыми в белые башмаки; белокурые ее волосы, гладко причесанные, вокруг осыпаны были цветами. На губах все еще оставалась улыбка; но она горько противоречила остальной части лица, совершенно неподвижной, — точно отлитой из воска.

Чемезов ничего этого не видел. Он или сидел в дальней комнате как громом пораженный, или начинал бросаться в беспамятстве, наполняя квартиру криками отчаяния. На минуту очнулся он и как бы пришел в себя на кладбище, когда уже гроб опустили и могилу стали засыпать землей, смешанной со снегом; но тут же упал он лицом в снег и стал опять биться как помешанный.

Близ стоявшие подумали, он окончательно лишится рассудка.

Первые дни директор несколько раз присылал курьера справиться об его здоровье.

Недели через три он появился, однако ж, в департаменте. Прошел еще месяц, и уже насчет Чемезова установилось мнение, что он взглянул, наконец, на свое положение «оком благоразумного человека». Один Ефремов подвергивался с утешениями, и то потому больше, что хотел показать себя в глазах несообщительного товарища человеком, способным не на одни пирушки и балагурство. Чемезов отделялся обыкновенно пожатием руки, но чаще всего отмалчивался. Он вообще слова ни с кем не сказал о понесенной им утрате. Никто этому не удивлялся, зная его всегдашнюю сдержанность. В лице его также никто не заметил особенной перемены; осунулось только немножко и как бы постарело; нельзя же без этого: человеку стукнуло, наконец, сорок два года!

Прошло лето; наступила осень. При встрече с Алексеем Иванычем редкий мог уже усомниться, чтобы горе окончательно в нем не изгладилось.

Иногда даже Чемезову казалось, как будто стало понемногу отлегать от сердца. Припоминая прошлое, он начинал чувствовать себя спокойнее. Воспоминания мало-помалу утрачивали свою едкость. Их точно заволакивало туманом; они, казалось, смягчались в нем и ослабевали. Он приводил в порядок бумаги, приступал к брошенной работе и одновременно с этим думал непременно переехать на другую квартиру; сомнения не было, что с переменой места спокойствие окончательно восстановится.

Так проходили дни, иногда целые недели.

Вдруг, — точно из-за угла ветром приносило, — обхватывало его опять чувством смертельной грусти. Вместе с ней мгновенно отлетало спокойствие, давая место мрачным, тревожным мыслям. Он неожиданно впадал в то состояние духа, как тогда в Летнем саду при встрече с двумя сослуживцами. Чемезов сказывался больным и не ходил на службу. Мысль кого-нибудь видеть, с кем-нибудь встретиться, была ему невыносима. В такие минуты потеря жены казалась ему чувствительнее даже, чем в первые дни после ее кончины. Он не понимал, как мог на минуту думать об облегчении своего горя. Квартира делалась ему тогда особенно дорога; он возмущался, думая, что в ней могли поселиться чужие люди.

Без всякого насилия воображения, воспоминания приходили сами собой, наплывали одно за другим. Они принимали иногда поразительную ясность. Он часто как бы прислушивался к голосу жены, следил за его звуком, вызывая в памяти каждую черту лица покойницы. Губы его судорожно двигались, когда перед ним, точно живые, начинали светиться ее добрые глаза. Припоминая ее кротость, ее ровный, безответный нрав, ее заботливость, так нежно сосредоточенную на нем одном, — он жадно хватался за самые мелкие воспоминания, сближавшие его с ней. Так неожиданно пришло ему на память, как в его отсутствие она опрокинула чернильницу на бумаги и, желая скрыть оплошность, вымыла в замешательстве лист и тем окончательно стерла все написанное. Столько лет прошло с тех пор! но он вспомнил выражение смущения на ее миловидном лице, вспомнил, как тогда рассердился, как она вдруг заплакала, — и горько стал упрекать себя. Забывая, что теперь ничего уже не вернешь, ничего не поправишь, — он продолжал каяться, припоминая, как был иногда груб, придирался, выказывал перед ней дурное расположение духа, в ответ на добрые, ласковые взгляды, на кроткую улыбку.

В такие черные минуты потеря жены представлялась ему таким ужасающим фактом, сердце наполнялось такой невыносимой скорбью, что не раз приходило ему в голову покончить с собой. Он не сомневался в том, что рано или поздно — не переживет своего горя.

Так многие думают: даже искренно думают; но все почти обманываются!

Под впечатлением душевно-тревожного чувства, мысленно переносишь себя, иногда одиноко, на берег необъятного моря и тем говоришь себе: «Что, если это случится со мной? Что, если вдруг постигнет меня такое несчастье?.. Я тут же в прах рассыплюсь, на месте умру, исчезну...» Но подымается волна горя, во сто раз более могучего против того, какого ожидаешь, прокатывается она с грохотом над головой... «Ну, — думаешь, — все кончено! Все!!» Осматриваешься во круг, ощупываешься — и с удивлением видишь себя сидящим на том же берегу, совершенно невредимым и целым!..

Нет, человек живуч! Не менее, надо думать, был

живуч и Чемезов, даром что казался на вид таким маленьким и тщедушным.

Черные дни не переставали посещать его; но уже в них начинал открываться новый оттенок; их возбуждали теперь не столько воспоминания, сколько новое чувство, перед которым бессильно было время. Одиночество давило Чемезова. Дома, на службе, на улице — оно неотступно его преследовало. Занятия, начинавшие в первое время развлекать его, — совсем ему опостытели; за что он ни брался, все из рук вываливалось. Привычка, говорят, вторая натура. В Чемезове она сильнее должна была высказаться. Не считая, что тихая домашняя жизнь согласовалась с его характером, отвечала его природным вкусам и наклонностям, — редкому выпало на долю так счастливо ею пользоваться. Она развила в нем потребности и привычки, лишение которых тягостно чувствовалось каждую минуту. Он точно был выброшен в пустыню, на необитаемый глухой остров, вокруг которого жизнь вдруг умолкла, отошла в сторону, как море отходит от берега. Иногда он рад был очутиться в департаменте, услышать живые голоса, увидеть людей.

Время от времени ему приходило даже на ум, не послушаться ли в самом деле совета сослуживцев, не благоразумнее ли будет стараться развлечь себя; но он тут же отворачивался, пугаясь смелости своих замыслов. Единственно, что мог он сделать, — это снова разве начать ходить в театр, как бывало при покойнице. Тут вспомнил он о двух билетах, взятых им на итальянскую оперу и лежавших запертыми в столовом ящике. Не весело было, конечно, но что же делать! Надо же было, наконец, победить чем-нибудь эту мучительную тоску, не дававшую покоя. Узнав из афиш, что дают «Фауста», он отправился. Но как ни привлекательна была музыка, как ни хорошо она на него действовала, он не мог дослушать конца представления. Вид пустого места рядом с его стулом, того самого места, где должна была сидеть Марья Ивановна, пробуждал в нем слишком тяжелые воспоминания. В той сцене, когда Маргарита является в саду при лунном свете, когда чистая ее душа так простосердечно отдается в обман коварству и в то же время раздаются звуки вальса, напоминающие равнодушную, смеющуюся и веселящуюся толпу, — Чемезов не мог досидеть и поспешно вышел из кресел.

Проходя мимо кассы, вспомнил он, что из двух билетов один был лишней; он остановился и, передав его кассиру, просил продать при первой возможности. Свой билет он у себя оставил, подумав, что, как ни тягостно чувство, испытанное в театре, оно все-таки легче тоски, приступавшей особенно сильно, когда он по вечерам оставался один дома.

Пропустив два представления, он снова отправился в оперу.

Подходя к своему стулу, увидел он, что соседнее место занято; на нем сидела дама. Обстоятельство это в первую минуту неприятно на него подействовало. Он торопливо взял бинокль и начал смотреть на сцену. Но любопытство взяло свое; он искоса взглянул на соседку. Чемезов, как известно, не был знаток в женщинах; насколько мог он судить по беглому взгляду, — соседка принадлежала скорее к числу привлекательных. Она была очень скромно одета: черная атласная шляпка, с черным пером, скромно уложенным по борту; такого же цвета и той же материи платье обтягивало ее плечи; оно застегивалось вплоть до воротничка, от которого спускалась на плоскую грудь цепочка часов, запрятанных за пуговицы лифа. В антракте представился случай рассмотреть ее ближе; и, надо сказать, второй этот осмотр сделался сам собой, без всякого старания со стороны Чемезова.

Соседка показалась ему не первой молодости, лет двадцати двух, двадцати трех, — может быть, несколько даже старше. На продолговатом, несколько заостренном лице выступал узенький нос с горбочком посередине и подвижными ноздрями; он отделял два черные глаза, быстрота которых беспокоила, должно быть, самую владелицу, потому что, вопреки стараниям опускать их, они слишком часто выказывали неповиновение и бегали как мышонки. Над глазами выгибались черные брови, почти срастающиеся у переносицы; верхняя губа оттенялась пушком, как у большей части сильных брюнеток. Могло статься, что брови были преувеличенно широки и черны, губы краснее, чем бывает обыкновенно, и кожа на лице тусклой своей белизной напоминала употребление кольд-крема и пудры, — но Чемезов ничего этого не заметил. Столько лет занимаясь между другими работами женским вопросом, — он в практическом смысле был менее опытен в женских делах, чем теперешний пятнадцати-

летний гимназист; покойница в этом отношении ничему его не научила; для поддержки своего милостивого лица она обыкновенно никогда ничего не употребляла, кроме воды и мыла.

Чемезов не мог не заметить, что все движения соседки отличались необычайной скромностью: в них присутствовала даже какая-то стыдливость. Обращая случайно глаза на проходящих, она мгновенно их потупляла; когда кто-нибудь из зрителей пробирался к ней, проходя по ряду стульев, — она спешила скромно подобрать нижние складки платья, как бы оберегаясь от мужского прикосновения.

Выходя из театра, Чемезов мало о ней думал; но когда думал, то говорил себе, что присутствие такой скромной особы на стуле, предназначенном для жены, было все-таки менее неприятно, чем если б занял его другой кто-нибудь. Он, вероятно, забыл бы о ней, но в следующее представление снова встретил ее на том же месте. Скромность соседки остановила его внимание точно так же, как при первой встрече. В антракте она привстала, желая дать пройти какому-то господину, и зацепила кружевом рукава за гвоздик, случайно высунувшийся из обивки стула; господин прошел мимо, ничего не заметив. Видя ее долгие и бесполезные старания высвободить кружево, Чемезов решился наконец прийти ей на помощь.

Она заметила, как он при этом покраснел, церемонно поблагодарила и, тотчас же опустив глаза, продолжала сидеть на своем стуле.

В конце второго действия она, однако ж, победила себя и, неожиданно обратясь к Чемезову, спросила, не может ли он разъяснить ей значение тех последних слов, которые сейчас, в финальной арии, произнес Мазини; ей, по всему заметно, очень было стыдно обращаться к незнакомому мужчине; но любознательность, по-видимому, превозмогла застенчивость.

Чемезов отвечал, что, к сожалению, также незнаком с итальянским языком и довольствуется тем, что слушает музыку и может ею наслаждаться.

— Для меня музыка также первое удовольствие!.. — сказала соседка детски наивным голосом, не отвечавшим ее быстрому взгляду, тотчас же, впрочем, скрывшемуся под опущенными ресницами.

— Сколько я замечаю, вы часто бываете в опе-

ре... — проговорил Чемезов и, сам не зная отчего, снова вдруг покраснел.

— Да, я бываю всякий раз, как только возможно... когда позволяет время...

— Вы разве специально чем-нибудь заняты?..

— Да, — отвечала она с заметным принуждением и замолкла.

Чемезов стеснялся продолжать разговор. Оба, поклонившись церемонно друг другу, покинули театр и разошлись в разные стороны.

Всякий раз, как приходил день абонементов, Чемезов уверен был, что вечером найдет подле себя скромную соседку. Они встречались теперь уже как знакомые.

Начав мало-помалу обмениваться впечатлениями о достоинстве музыки, об искусстве исполнителей, они попеременно переходили к другим интересам, коснулись жизненных вопросов и под конец, всякий раз когда занавес опускалась в последний раз, оба выражали сожаление о необходимости прервать интересную беседу.

Несмотря на поверхностный обмен мыслей и скромность соседки, она не могла скрыть своего ума; Чемезову по крайней мере никогда не случалось встречать такой умной собеседницы; его удивляло также, как сравнительно с ее молодостью успела она приобрести столько знания, столько практичности во взгляде на некоторые жизненные вопросы и вместе с тем умела сохранить такую простоту и скромность. Охотно употребляя в своих книжках слово «культурность», он в первый раз объяснял себе настоящим образом его значение, когда думал о собеседнице. То, что она рассказывала о себе самой, окончательно располагало Чемезова в ее пользу.

Подобно ему, — она была круглой сиротой; было даже сходство в их происхождении; но только ее отец был немец, а мать русская. Оставался у нее дяденька в Риге, но уже многие годы не было о нем никаких известий: умер, должно быть! Три года тому назад вышла она из консерватории и существовала уроками музыки; если она позволяла себе часто бывать в театре, то это потому, во-первых, — что была необыкновенно экономна, а во-вторых, выше всего на свете обожала музыку, предпочитала ее всем другим удовольствиям, увлекающим обыкновенно молодых деву-

шек. Узнав об образе занятий Чемезова и спросив его имя, — она выразила вдруг необыкновенную радость. Как! Это было то самое имя, которое встречалось так часто на детских книжках, на разных руководствах для образования юношества?.. Боже мой, кто же из лиц, сколько-нибудь соприкосновенных детям, не знаком с этим именем!! Она вдвойне благодарила случай, который их познакомил. Она давно искала работы в свободное время; зная порядочно французский и немецкий языки, ей легко было заняться переводами; она несколько раз даже приступала; но к кому обратиться за советом? Кому отдать результат трудов? Положение бедной девушки в таких случаях действительно достойно всякого сожаления!

Прислушиваясь к рассказам Амалии Карловны (так звали соседку), Чемезов иногда даже как будто задумывался; можно было предполагать, мысли его отвлекались посторонними соображениями; но это не было продолжительно; он снова начинал прислушиваться с удвоенным вниманием.

Сочувствуя положению бедной девушки, жившей трудом, он предложил ей свои услуги. Ему ничего не стоило присылать ей работу, и он спросил ее адрес.

Глаза ее, оживившиеся в начале разговора, тотчас же опустились. После минутного молчания и, очевидно, стесняясь, она сообщила, что занимает скромную меблированную комнату в отдаленном квартале, и тут же, неожиданно опять оживившись, объявила о невозможности допустить Алексея Ивановича отправляться в такую даль, отыскивать ее, подниматься по лестницам... Нет, — она ни за что этого не хотела! Не ему, нет, — скорее ей, да, ей скорее следовало являться к нему, — человеку столь известному и так сердечно ей сочувствующему!

Два дня спустя, в квартире Чемезова раздался звонок. Он сидел в халате и работал. При мысли, что звонит Амалия Карловна, — кровь бросилась ему в голову; он стремительно выбежал в соседнюю комнату и суетливо начал одеваться. В прихожей между тем явственно слышался знакомый женский голос, осведомлявшийся о том, дома ли Алексей Иваныч. Чемезов при этом совсем засуетился и, как обыкновенно бывает в таких случаях, не находил под рукой самых необходимых принадлежностей туалета; оправившись, наконец, он вышел из кабинета и стал извиняться, что

так долго заставил ждать себя. Он переминался, и неловкость проглядывала в каждом его слове. Она первая ободрилась.

На заостренном лице ее показалось даже выражение восторга при взгляде на кабинет «известного ученого», как она выразилась. В этом восторге проглядывало что-то детское. Чемезов нашел ее моложе против того, какой представлялась она ему в театре. Розовый бантик под белым воротничком, гладко причесанные волосы вместо падавших на лоб завитков, которыми украшала она себя по вечерам, гладко обтянутый корсаж, — придавали ей наружность институтки. Молодость и простодушие еще заметнее выказались на восхищенном лице, когда узнала она, что Чемезов был настолько добр, что не забыл ее просьбы и, несмотря на многосложные ученые занятия, приготовил для нее работу.

Работа заключалась в переводе с французского языка на русский очерка о «млекопитающих», которым должна была заключиться «Сокращенная история царства животных», приготавливаемая Чемезовым для второго гимназического курса.

— Благодарю вас, — ото всего сердца благодарю!! — восторженно проговорила Амалия Карловна, пожимая его руку и пристально устремляя на него глаза, одушевленные признательностью, — но тут много специальных слов, — прибавила она, — вы позволите мне иногда беспокоить вас... приходите к вам за советом?..

— Помилуйте, — очень рад!.. — отозвался Чемезов, провожая ее до лестницы.

Заперев за собой дверь, он долго ходил взад и вперед по кабинету, наконец позвал кухарку, велел подавать чай и, раздевшись, сел за работу.

Несмотря на многолетний опыт в занятиях такого рода, несмотря на привычку приводить перо в повиновение воли, — Чемезов в этот вечер написал очень мало. Тоска, оставившая его на время, — стала овладевать им с удвоенной силой. Он лег и заснул; но на другое утро и весь следующий день не мог отвязаться от ноющего чувства. Он снова ходил как в тумане. В департаменте ему трудно было даже составить и написать несколько простых отношений. Куда уйти? Где спрятаться от тоски?.. Волей-неволей надо было возвращаться домой.

Час спустя в квартире раздался звонок. Звук этот в первую секунду лихорадочно прошел по нервам Чемезова; он обрадовался, однако ж, увидав Амалию Карловну. Она очень извинялась. Но беда в том: у нее не было лексикона! В иных местах перевода она решительно не находилась; зная снисходительность Алексея Иваныча, рассчитывая на бесконечную доброту его сердца, она решилась снова его беспокоить.

Чемезов готов был помочь ей с величайшей охотой. Они уселись к столу. В это время кухарка подала чай. Амалия Карловна вызвалась хозяйничать.

Чемезов припомнил покойную жену и задумался; но воспоминание это только промелькнуло; он снова обратился к Амалии Карловне, которая, ничего, казалось, не замечая, заботливо расспрашивала о его вкусах и, грациозно изгибая стан, приветливо улыбаясь, накладывала сахар и резала тоненькие ломтики лимона.

Чай был только перерывом занятий; они снова приступили к переводу и просидели довольно поздно.

Изобилие специальных терминов в очерке о «млекопитающих», с одной стороны, неимение лексикона у Амалии Карловны, с другой, — заставляли ее часто посещать квартиру Чемезова.

Оба не стеснялись теперь друг перед другом. Он успел совсем освоиться; она скоро успела изучить все его привычки.

— Отчего, скажите, Алексей Иваныч, бываете вы иной раз такой грустный? — спросила она как-то совершенно неожиданно. — Я часто гляжу на вас и сама с собой рассуждаю: что бы такое придумать, чтоб рассеять ваши мрачные мысли...

— Не раз уже рассказывал я вам мою историю, — проговорил вздыхая Чемезов, — мало в ней радостного, как сами знаете! — подхватил он глухим голосом, принимаясь расхаживать по комнате с опущенной головой, — я скучаю, Амалия Карловна, жестоко скучаю! Иной раз нападает такая тоска, что, право, умереть бы, кажется, легче!..

— Вы бы женились...

— Э, помилуйте, кто пойдет за меня! И состарился я... да и вообще ничего во мне нет такого...

— А я так думаю, — всякая пойдет за вас... да еще как: за счастье почтет...

При этом голова Чемезова опустилась еще ниже

и шаги его заметно ускорились. Минуты две прошли в молчании. Лицо его и все движения изображали сильное внутреннее волнение. Амалия Карловна сидела в то время на диване; черные ее глаза нетерпеливо следили за Чемезовым. Он неожиданно остановился перед ней и, не смея поднять глаз, произнес голосом, прерывавшимся на каждом слове:

— Вы... например... пошли бы вы... за меня...

— С величайшим удовольствием!! — отвечала она, быстро вставая и протягивая ему обе руки.

На другой день после этого объяснения многим из сослуживцев Чемезова бросилась в глаза резкая перемена не только в его лице, но и во всей его наружности, — даже в способе ходить и держать себя с товарищами. Такое превращение могло объясняться производством в следующий чин или получением нового знака отличия, — но, сколько известно, ничего этого не случилось. Факт тот, что между прежним Алексеем Иванычем и теперешним не было ничего общего. Лицо его смотрело оживленно, сдержанная, щепетильная походка смягчалась небывалой развязностью движений; он ходил скоро и глядел прямо перед собой, точно спешил к цели, — словом, весь казался каким-то возбужденным, наэлектризованным.

— Смотри, пожалуйста, — наш таинственный монах; а каков нынче?! — нашептывал Ефремов, подмигивая то тому, то другому. — Этак, пожалуй, и светопреставление скоро будет!!

Зная нелюдимость и несообщительность Чемезова и не желая наскочить на неблагоприятный ответ, никто, однако, не решился сунуться к нему с расспросами. Каждый наблюдал втихомолку небывалую суетливость его движений, нетерпение, с каким перевертывал он листы и тут же принимался за другое дело, поспешность, с какой ухватился он за шляпу и почти бегом пустился в швейцарскую, как только пробило четыре часа.

В эти дни Чемезовым действительно овладела точно лихорадка.

С непрактичностью, которая его отличала, — непрактичностью, успевшей развиться от многолетней, почти замкнутой жизни с Марьей Ивановной, ему приходилось теперь бегать с утра до вечера за разными покупками, хлопотать у священников насчет венчальных документов, устраивать квартиру. Он думал

нанять новую, но отказался от такой мысли, так как это отняло бы слишком много времени. Главным, настоятельным желанием его было, чтобы все это только кончилось, прошло как можно скорее. Усиленная озабоченность предметами совершенно новыми, неожиданными отымала у него возможность привести в порядок собственные мысли. Чемезов не был влюблен, — он это чувствовал; он чувствовал даже, что между ним и Амалией Карловной не было еще настоящего, внутреннего, нравственного слияния; кое-что ему даже не совсем нравилось, — было по крайней мере не по сердцу; но он отклонял такие мысли, старался не думать об этом, старался, напротив, убеждать себя, что с ней все-таки придет конец тоски, жизнь вступит в свою колею, наступит спокойствие, образуется наконец домашний очаг, который если и не будет тем, чем был прежде, — то во всяком случае оживит, осмыслит его существование. Он хлопотал изо всех сил, чтобы только скорее, скорее достигнуть цели. Он желал также этого для Амалии Карловны. Она со своей стороны не менее также суетилась и торопила день свадьбы.

Встретив крайнюю необходимость видеть невесту, — Чемезов раз вечером отправился к ней по адресу. Но дома ее не было. Прислужница объявила, что Амалия Карловна ушла в театр. Такое известие удивило его; накануне она подтверждала, что весь следующий вечер займется приготовлением свадебного платья и не тронется с места. Осматриваясь кругом, он поражен был самым неприятным образом неряшливым видом, в каком содержались меблированные комнаты. Они разделялись темным, нескончаемым коридором, освещенным вонючей керосиновой лампой; копоть от нее распространялась черным пятном по стене с грязными обоями. Посередине коридора прогуливался, как у себя дома, какой-то небритый усатый господин в туфлях и халате: «Невежа! И бедная Амалия Карловна должна была все это выносить и видеть!!» — подумал Чемезов, спускаясь по лестнице.

На другой день он рассказал ей о своем неудачном посещении. Она вспыхнула, торопливо заговорила, назвав прислужницу бестолковой бабой, постоянно все путавшей. Ей в голову не приходило выходить куда-нибудь — и тем менее в театр; до театра ли теперь? Она отправилась всего на четверть часа с тем, чтобы

купить иголок и белого шелку, которых недоставало для окончания платья...

Вопрос о шаферах начинал также беспокоить Чемезова. Когда он венчался с Марьей Ивановной, свидетелями были управляющий домом, где нанимал он квартиру, два писаря и еще неизвестное какое-то лицо, подставленное услужливым дьяконом; теперь, очевидно, нельзя было так: требовалось другое. На Амалию Карловну нельзя было рассчитывать; у нее никого решительно не было, т. е. были знакомые, но она их не желала. Он подумал о маленьком суетливом редакторе «Незабудочки», — но вспомнил, что не видал его очень давно, и счел неловким обратиться к нему с такой просьбой. Оставались сослуживцы. Также не совсем было ловко: он держал себя с ними так отдаленно, так старательно избегал всегда тесного сближения с их обществом. Но они все-таки были ближе; большая часть состояла даже несомненно скорее из добрых людей. Он решился наконец прямо обратиться к Ефремову, как ближайшему из них, и просить его взять на себя и устроить дело.

Войдя в департамент, Чемезов крайне удивился, когда Ефремов встретил его такими словами:

— Вы женитесь, Алексей Иваныч, — от души поздравляю!..

— Как вы об этом узнали?..

— Социперов передал; ему сказал фотограф Хохлов; он доводится, кажется, двоюродным братом вашей невесте...

— У нее нет никаких двоюродных братьев... — возразил Чемезов.

— Так говорили. Но, впрочем, все равно, — рад; душевно рад! — подхватил Ефремов, узнав причину обращения к нему Чемезова, — когда так, позвольте же, батенька, как следует по христианскому нашему русскому обычаю, начать с того, чтобы расцеловать вас... Раз... два... три... Не говорил ли я вам: надо развлечься! Ну и прекрасно!.. Все, батенька, устрою вам, все, дражайший Алексей Иваныч! И шаферов пригласим, и все такое... Сегодня же зайду в «Малый Ярославец», переговорю насчет особой комнаты; там есть одна красная: вид чудный! Впереди Большая Морская, справа арка Главного штаба, — словом: великолепно!.. Закуска, обед, все будет как следует; предупредите только заблаговременно насчет дня свадьбы;

дальше вам, дорогой друг, нечего беспокоиться; так, батенька, накормим, что все перелопаются!..

— Пожалуйста, нельзя ли только, чтобы все это было как можно скромнее... — заметил Чемезов.

— Вы говорите насчет расходов?

— Вовсе нет; насчет того, чтобы не было слишком большой компании... я не привык к этому; да вообще это не в моем характере...

— Знаю, знаю... Никого, кроме своих! Будьте только благонадежны, не думайте об этом; у меня так: сказано — сделано!..

На этом они расстались.

— Послушай, Петр Никифорович, — заметил столоначальник Сельдереев, после того как Ефремов передал некоторым из товарищей разговор свой с Чемезовым, — воля твоя, тут что-то не так... С его стороны, по крайней мере, согласишься сам, есть чему удивиться...

— Удивиться нечему, — возразил Социперов, — стоило взглянуть десять дней тому назад, когда он вошел в департамент; мне тогда же бросилось в глаза, и я сказал себе...

— Думаешь, тут что-нибудь того... не ладно? — перебил Ефремов, пробарабанив по лбу.

— Думаю...

— Ну, и думай, бог с тобой! А мы пока честным пирком да и за свадебку, или вернее так: справим сначала свадьбу, а потом приступим, благословясь, к честному пирку! — заключил Ефремов, похлопывая ладонями по животу.

VI

Настал, наконец, торжественный день. Чемезов, в белом галстуке, во фраке с двумя орденами в петлице, ходил скорыми шагами по комнатам в ожидании невесты. Он был в кабинете, когда она неожиданно явилась в венке из цветов померанца, в белом платье с длинным шумевшим шлейфом. Запах тончайших духов мгновенно распространился по всей комнате.

Поздоровавшись с Алексеем Иванычем, она с первых слов положила ему ладони на плеча, прищурила черные глаза и произнесла, заманчиво улыбаясь:

— Алексей Иваныч, вы на меня не рассердитесь?.. Скажите, что нет...

— Нет.

— Я пригласила в церковь и на обед одного моего знакомого...

— Вы говорили: не хотите ваших знакомых...

— Да; но этот очень хороший... Он даже мне несколько сродни... по маменьке...

Амалия Карловна неожиданно поцеловала жениха в щеку:

— Представьте: я совсем об нем забыла! — подхватила она оживленно, — три года не видались... Иду вчера по Гостиному двору, — вдруг он! Я тут же ему все рассказала и пригласила...

— Кто же он?

— Ах, очень хороший... он занимается фотографией... Хохлов его фамилия... маменькина фамилия... Но я вижу, вы не веселы, Алексей Иванович... Я замечаю, вы как будто чем-то недовольны?.. — продолжала она слезливо, хотя губы ее не переставали улыбаться, — подумают, право, вы женитесь против воли... по принуждению... В эти последние два дня я просто не узнаю вас; никогда не видала вас таким мрачным, расстроенным... Что с вами?.. Да улыбнитесь же!..

Чемезов сделал усилие, чтобы улыбнуться, но вместо улыбки вышла кислая фигура.

Амалия Карловна отвернулась, хотела удержаться, но не могла и засмеялась.

Алексей Иванович ничего не сказал, но по лицу его заметно пробежала тень неудовольствия. Смех этот не столько обижал его самого, сколько казался ему неуместным в те минуты, когда надо было думать ехать к венцу.

Замечание Амалии Карловны было тем не менее совершенно справедливо: в последние дни Чемезов казался действительно задумчивее, мрачнее обыкновенного. Ему самому трудно было определить настоящее состояние своих чувств. Надежда на счастье и сомнения, смертельная тоска и радость от нее освободиться сменялись попеременно.

«Не увлекся ли я? — повторял он себе время от времени; — найду ли то, чего ожидаю?.. Ее ревность к труду, очевидно, не больше как вспышка. Не по характеру... Может быть, молодость также мешает... Но та... та была еще моложе и было все-таки счастье!.. Возвращу ли себе привязанность, без которой жить так тягостно... И наконец: есть ли в ней настоящее

чувство?.. Связывает, однако ж, свою судьбу с моей, — недаром, стало быть!.. И все-таки спрашиваю себя: не поторопился ли я?..»

Мысли эти, начинавшие тревожить его, никогда не приходили одиноко; они неизбежно всегда связывались с воспоминаниями о покойнице. Не то сожаление, не то раскаяние овладевали им в такие минуты. Но все опять уступало место внутренней борьбе между сомнениями и надеждой на счастье, смертельной тоской и радостью от нее избавиться.

Смех едва успел умолкнуть на губах Амалии Карловны, когда в передней раздался звонок. Лакей, присланный Ефремовым, побежал отворять; минуту спустя он подал Чемезову записку.

Амалия Карловна поспешно встала с дивана.

— Не мне ли? — спросила она.

— Нет, — ответил он, срывая конверт.

В записке четким почерком было обозначено: «Остерегайтесь. Вас обманывают». И только.

— Это ложь! Клевета! Гнусная клевета! — вскричала Амалия Карловна, бегло взглянув на записку.

Лицо ее неожиданно изменилось; губы ее и брови искривились; нос побелел и заострился; глаза сверкнули таким блеском, что Чемезов невольно попятился.

— Это враги мои! — подхватила она, придавая так же неожиданно слезливое выражение лицу и голосу, — чего хотят они от меня?.. Что я им сделала? Я даже знаю, кто тот негодяй, который послал это анонимное письмо... Сейчас же все объясню вам...

Но объяснению не суждено было осуществиться. В прихожей раздался новый звонок, и один за другим вошли, расшаркиваясь, Ефремов, Социперов и еще два чиновника: надворный советник Бабков и губернский секретарь Сельдереев.

— Я кое-кого еще пригласил, — суетливо заговорил Ефремов, едва переводя дух от одышки, — но они будут ждать в церкви; оттуда уже все вместе, — огулом, так сказать, — отправимся в «Малый Ярославец». Там все готово!.. Позвольте, сударыня, иметь честь представиться...

Тут он остановился перед Амалией Карловной, успевшей совершенно оправиться, развел руками, как актер, вызванный на сцену, отвесил низкий поклон и начал поочередно представлять сослуживцев, которым Чемезов успел уже рассеянно пожать руки.

Роль распорядителя очевидно увлекала Ефремова; озабоченное выражение на его круглом лице приводило на память церемониймейстера, представляющего послов; его толстая, осанистая фигура могла бы дополнить впечатление, если б окончательное сходство не нарушалось, к сожалению, небрежностью туалетной обстановки; белый галстук был далеко не первой свежести, на обшлагах затрепанного фрака виднелись следы пятен от разных соусов, старые панталоны, приподнятые разросшимся животом, открывали выше щиколки плохо вычищенные сапоги, прическа была «au naturel» — из серых сухих и взъерошенных завитков; разлетавшихся во все стороны. В этом виде он представлял совершенную противоположность с надворным советником Бабковым, — кругленьким и гладеньким, как огурчик, человеком, с крестом на шее, вылощенной накладкой на черепе, гладком как чайник, крашеными бакенбардами и с головы до ног опрысканным о-де-колонью. Сельдереев не был так надушен и не имел креста на шее, — но брал ростом и молодостью; рост, впрочем, придавал ему чахоточный вид, а молодость выражалась менее чертами лица, чем узенькими лаковыми ботинками, которые так стесняли ноги, что, казалось, выжимали слезы из глаз владельца, прикрытых золотыми очками. Съезженная, завистливая наружность Социперова уже известна; прибавить можно только, что он не грыз ногтей потому, что мешали перчатки.

Каждый раз, как Ефремов подводил Амалии Карловне которого-нибудь из шаферов, — она окидывала его пытливым взглядом, застенчиво потом опускала ресницы и церемонно кланялась.

— Пора, однако ж, господа; все готово: шафера налицо, священник у амвона, кареты у подъезда! — заговорил Ефремов, пробуя надеть перчатку, которая никак не влезала, — полноте же вам смущаться, дражайший Алексей Иванович; чувства ваши я понимаю... вполне! но теперь не до философских размышлений, — надо действовать!..

Он припал правым плечом и согнул калачиком руку, чтобы подать ее невесте, но опомнился и поспешил выставить вперед Бабкова, который повел Амалию Карловну к выходной двери. Ефремов, желая, вероятно, ободрить Чемезова, подхватил его за талию, но тот осторожно отвел его руку, взял шляпу и в сопро-

вождении остальных лиц вышел из кабинета. Но Ефремов слишком занят был своей ролью, чтобы останавливаться перед такими мелочами. Он торопливо протискался вперед, ворвался в прихожую и, увидав невесту в шубе, настоятельно стал требовать, чтобы она прикрыла голову оренбургским платком и надела меховые сапожки.

— Не выпущу без этого, — говорил он, обматывая себе шею шерстяным шарфом, сильно подточенным молью, — ни за что не выпущу; помилосердуйте: двадцать градусов и ветер в придачу; так прямо из Шлиссельбурга и поджаривает!.. брр!..

Морозило действительно сильно; но небо было открыто и обещало к вечеру оттепель.

В церкви Чемезова неприятно поразило скопище любопытных. Ефремов уверял, никого не будет кроме шаферов и двух-трех близких знакомых; вместо того встретилось множество сослуживцев и еще больше совершенно незнакомых лиц. Из числа последних Ефремов представил жениху приятеля своего, Фукса, молодого человека, рябого как кукушка, с рыжими волосами, и тут же, мимоходом, подвел другого приятеля, Фанфарова, рослого, кудрявого господина с черными бакенбардами в виде котлеток. Амалия Карловна, со своей стороны, робко подвела фотографа Хохлава, — писаного красавца с подточенными усиками, спаньолкой, прической à la «черт меня побери» и пестрым галстучным бантом такого же эффектного характера.

Чемезов ограничился поклонами. Ему было не до любезностей. Видя себя предметом всеобщего любопытства, он в первые минуты совсем растерялся.

К счастью, обряд венчания произошел очень скоро.

Начались поздравления. Чемезов был так взволнован, что не находил слов в ответ на приветствия. В то время как Амалия Карловна пожимала всем руки, казалась такой веселой и всем улыбалась, — он готов был убежать и скрыться куда-нибудь подальше. Перед ним, как точка света в темноте, ясно мелькала одна мысль: «Скорее бы все это только кончилось... скорее бы освободиться!..» Но делать было нечего, надо было овладеть собой; предстоял еще обед в «Малом Ярославце»!

Тут, надо сказать, Ефремов в самом деле отличился. Комната оказалась та самая, которую он так крас-

норечиво расхваливал. Стол был сервирован на славу. Свет двух больших канделябр и средней люстры ослепительно играл на гранях стекла, разливался по серебру, бутылкам и салфеткам, сложенным калачом на тарелках. Сбоку у стены находился дугой стол, покрытый всевозможными водками и закусками. Подле открывалась дверь в комнату, также освещенную.

Ефремов стоял у входной двери и с торжествующим видом вводил гостей.

Убедившись, что все налицо, он сделал самодовольный, выразительный жест по направлению к большому столу, произнес: «Ну, что, дражайший Алексей Иваныч, какова механика!..» — и тотчас же приступил к распределению молодых и гостей:

— На почетном месте, здесь, садится Амалия Карловна, лицом к ней — молодой! подле молодой, с правой руки, ее шафер Бабков; с левой — Сельдереев; подле молодого, справа — Социперов, слева — я!.. Пожалуйста!.. — заключил он, подавая руку Амалии Карловне и подводя ее к закуске; он тут же, однако ж, ловко уступил свою даму фотографу Хохлову и приступил к водке.

Стол был тотчас же окружен.

Чемезов напрямик отказался от закуски; у него начиналась жестокая головная боль.

— Что ж ты, Сельдереев? Такой тоненький, а пролезть не можешь! — кричал Ефремов, набивая рот. — Фанфаров, рекомендую: селедки — просто сахар, икра — мед, фаршированные раки — конфеты, осетрина — мое почтение!! Такой осетрины, заметь себе, Бабков, ты нигде не найдешь, поезжай хоть в самую Астрахань!

— Вам свежей икры, Амалия Карловна? — внимательно осведомился Хохлов.

— Да, но я больше люблю эту сухую икру... не знаю только, как ее назвать...

— Паюсная, сударыня!.. Паюсная!! — воскликнул Ефремов с выражением упрека в голосе.

Но суп был подан, и все поспешили к своим местам.

Обед обещал большое веселье. Ефремов, глотая пирожки как пилюли и заливая их раковым супом, немедленно приступил к своим шуточкам; Фанфаров и рыженький Фукс усердно его поддерживали. Амалия

Карловна не переставала смеяться, прислушиваясь к шептанию Хохлова и Сельдереева, которые, вперегонку, сообщали ей, вероятно, очень забавные вещи. Бабков и Социперов пока мало говорили, но все равно сердце радовалось при виде, как они ели. Здесь, очевидно, не было места для уныния, — и с этой стороны Чемезов мог считаться лишним. Он сам, по-видимому, хорошо это чувствовал. К счастью еще, мало к нему обращались. Зная его угрюмую несообщительность, сослуживцы оставляли его «разводить меланхолию», как выразился Ефремов. Социперов, никогда особенно не сочувствовавший Чемезову и взявший на себя роль шафера только по настоятельной просьбе Ефремова, едва перекинулся с ним двумя-тремя словами. Остальные, кроме Амалии Карловны, — еще меньше о нем заботились; внимание ее больше, впрочем, ограничивалось взглядами. Встречая всякий раз его нахмуренное, мрачное лицо, глаза ее теряли свою приятность и брови соединялись у переносицы; но это продолжалось несколько секунд. Увлекаемая любезностью соседей, она снова смеялась и кокетливо прищуривала глазки. Вообще, надо сказать, она менее напоминала теперь институтку, но скорее даму бойкого свойства. Каждый раз как кто-нибудь говорил с ней, она возражала с уверенностью, ресницы ее не опускались, глаза смело смотрели вперед или заманчиво прищуривались в ответ на любезности.

Обед между тем шел своим чередом. Блюда и вина сменялись, разговоры оживлялись, веселье возрастало. У Фанфарова, после второй рюмки хереса, открылся бесподобный бас, и он гремел неумолкаемо; ему вторил пискливый дискант рыженького Фукса, вступавшего в спор с Хохловым. Ефремов успел уже рассказать свой знаменитый анекдот о чиновнике с расслабленным желудком, который вдруг испугался козла, и спохватился прервать его, когда уже было поздно. Фукс и Хохлов все больше и больше горячились. Фанфаров, очевидно начинавший придирается к Бабкову, непочтительно заговорил вдруг о чиновниках, назвав их «канцелярскими крысами». Бабкову, конечно, не в первый раз приходилось слышать такое выражение, но тут он почему-то вдруг обиделся. По всей вероятности, он обиделся бы еще больше, если б мог заметить, что всякий раз, как наклонял раскрасневшееся

лицо, Амалия Карловна, сидевшая рядом, указывала Хохлову глазами на его паричок, расходившийся звездой на макушке; но Фанфаров неожиданно как-то перешел к ресторану Доминика и начал его расхваливать, — чем, с другой стороны, задел за живое Ефремова.

— Дудки! — вскричал Ефремов, — чепуха!! Чем вздор говорить, лучше лей! Лей да соседям подливай!.. Социперов, налей еще себе дрей-матерки и передавай дальше... Дорогая наша красавица молодая, вы совсем околдовали ваших соседей; они только любят на ваши глазки и ничего в рот не берут!.. Хохлов, Фукс, — вы опять заспорили!.. А, наконец-то, вот она, вот наша голубушка! — восторженно провозгласил он при виде блюда с индейкой, которое вносил половой, — давай его сюда, Ефимушка, сюда ставь, передо мной, я сам ее разрежу... Хотел заказать парочку фазанов, но их не нашлось, — шепнул он мимоходом под ухо Чемезову, который даже не поблагодарил его за такое намерение, — ну-тка, Фанфаров, — заключил он, — поди-ка к своему Доминику, посмотри, сумеет ли он так зажарить!.. Нет, тью-тью, молода еще, в Саксонии не была! Кожица-то сама отстает... даже, смотри, пузырьки по ней бегают... Господа, кому что угодно: с одного боку яблоки, — с другого каштаны...

На минуту все занялись индейкой.

Но подали еще вина, наконец полилось шампанское и в поднявшемся шуме раздались голоса Ефремова и Фанфарова, провозглашавшие тосты.

— За здоровье молодых! — кричал Ефремов, выкатывая глаза и подымаясь со стула.

— За здоровье молодых! — ревел Фанфаров, потрясая бокалом.

— За здоровье молодых! — кричали не менее усердно остальные, подходя поочередно к Амалии Карловне и Чемезову, который, как волк, окруженный собаками, бросал во все стороны растерянные взгляды.

Социперов воспользовался минутой, когда поздравления были в полном разгаре, мигнул Ефремову и отвел его к окну.

— Помнишь, что я говорил насчет... — шепнул он, указывая глазами на Чемезова.

— Ну...

— Теперь я в этом не сомневаюсь...

— В чем?..

Социперов приложил палец ко лбу и хотел продолжать, но Ефремов не дослушал; в эту минуту подавали дутый малиновый пирог, прозванный почему-то Ефремовым «пустой надеждой», — и он снова поспешил к столу.

Фанфаров, у которого одна бакенбарда скосилась на сторону, приставал между тем теперь к молодому; он убеждал Чемезова покинуть мрачный вид, уверяя, что веселость с его стороны в некотором роде теперь даже обязательна.

— Справедливо! — заголосил Ефремов. — Вы, дорогой Алексей Иваныч, должны теперь сиять, блаженствовать! И вместо того, что же мы видим? Видим печальное, расстроенное лицо!.. На всех сошлось: похож ли, господа, наш дорогой Алексей Иваныч на молодого?.. Спрашивается: что подумать должна, наконец, наша красавица-молодая?.. Глядя на нее, сердце: тук-тук — так и подпрыгивает... Вы, между тем, хоть бы улыбнулись, словцом подарили... Но погодите, почтеннейший, это вам даром не пройдет! Амалия Карловна растормошит вас... Сам начну теперь к вам навещиваться, сам наблюдать стану... все мы наблюдать будем... Не так ли, господа? Фу, боже мой, да оживитесь же, оживитесь!.. — заключил он, хлопывая Чемезова ладонью по спине.

Чемезов отодвинул стул и поднялся с места. Ефремов объявил, что обед кончен, встал вместе с Чемезовым и велел подавать кофе и ликеры.

Амалия Карловна поспешно подошла к мужу.

— Что с вами?.. — спросила она, стараясь вызвать на лице выражение участия и беспокойства.

Но усилия ее были совершенно лишние. Уже в последние дни сомнения начинали в нем устанавливаться. То, что произошло утром: неожиданное родство с Хохловым, путаница ее объяснений, анонимное предостережение, какие-то враги, о которых прежде помину не было, раскрыли ему глаза. Но в это утро его чувства и мысли были слишком взволнованы; он ходил как в тумане, терялся, готов был, казалось, решиться на смелый шаг, — но тут же откладывал такое намерение, падал духом и в последнюю минуту отступил в страхе перед неминуемыми трагическими сценами и скандалом. Теперь он вполне очнулся, понял, ку-

да завлекла его тоска и безумное желание от нее освободиться, понял вполне глубину своего несчастья. Горечь обманутых чувств и надежд сменилась в его сердце негодованием. Он не мог выносить теперь вида этой женщины. Как только она подошла, он отвел глаза в сторону и, не ответив на ее вопрос, скорее отошел к окну.

Амалия Карловна хотела за ним последовать, хотела объясниться, — но в это время загородили ей путь Фукс, Хохлов и Сельдереев, — один с чашкой кофе, другой с коробкой конфет, третий с перчатками, которые она забыла на столе.

Амалия Карловна, не мешая заметить, в продолжение обеда стыдилась за своего мужа; он мог молчать и быть расстроенным сколько угодно, но не теперь, когда то и другое ставило ее в такое неловкое положение перед чужими. С ее стороны сделана была, кажется, достаточная уступка тем, что она подошла к нему, хотела дальше за ним последовать, вопреки его грубому обращению, — но дальше, после того как он отвернулся и отошел к окну, что же оставалось ей делать? Оставалось показать вид, что она нисколько не обижается его дикими выходками. «Это послужит ему уроком», — подумала она, принимая снова веселый вид.

— Сюда, красавица, сюда, на диванчик, милости просим! Тут, драгоценная, вам будет удобнее, — кричал между тем Ефремов из ближайшего угла.

Амалия Карловна приняла чашку из рук Фукса и, улыбаясь направо и налево своим кавалерам, направилась к дивану.

— Сюда, золотая... сюда... — подхватил с увлечением Ефремов, между тем как Фукс услужливо подкладывал подушку, Хохлов высматривал для себя удобное место, Фанфаров раскрывал фортепиано, Бабков делал усилия, чтобы встать из-за стола, и глупо улыбался, а Социперов смотрел задумчиво на остаток пирожного. Чемезов воспользовался этой минутой и незаметно прошел в соседнюю комнату.

— Вот так, золотая, — я говорил, здесь будет удобнее, — хлопотал Ефремов, окончательно разнеживаясь, — и ножки ваши сахарные вытянуть можете... вот так... а сюда, под плечико, подушечку. Ефимушка, еще бутылочку холодненького, — обратился он к вхо-

дившему половому... — а где же Розенкранц? (так звал он в минуты увлечения Прохора, другого полового) — знаю, должно быть, также где-нибудь на свадьбе...

Амалия Карловна расположилась на диване, приняв грациозную позу, Хохлов улегся Гамлетом у ее ног, Фукс уселся в головах, Бабков и Социперов, — один сентиментально, другой настоятельно, потребовали себе места подле молодой; Ефремов собирался к ним присоединиться, но в эту самую минуту Фанфаров брякнул по клавишам и заиграл «камаринскую».

— Не могу, драгоценная Амалия Карловна, — это выше сил моих!.. Играй громче! — воскликнул Ефремов, бросаясь раздвигать стулья между столом и входной дверью.

Он закинул назад голову, подобрал фалды и, колыхаясь как бочка, пущенная на воду, принялся выплясывать «русскую», мелко семеня ногами и приговаривая:

— Вот как мы с нашей сединкой!.. Вот как!.. Смотрите, Алексей Иваныч, как надо веселиться! Произведут в действительные — нельзя будет... не по чину!.. Громче, Фанфаров!! Надо же наконец развеселить молодого!.. Это просто ни на что не похоже!! вот как мы, Алексей Иваныч!.. Но где же он?.. — проговорил Ефремов, оглядываясь вокруг и неожиданно останавливаясь.

— Где же в самом деле Алексей Иваныч?.. — осведомилась Амалия Карловна, отталкивая Фукса, который начинал целовать ей руки, не замечая раздраженных взглядов Хохлова.

— Где он? — спросили остальные.

— Эй, люди!.. Ефим! Кто там?.. — засуетился Ефремов, подходя к двери.

Вошедший половой объяснил, что господин, о котором спрашивают, изволили уйти.

При этом известии все встали со своих мест.

— Ушли, — подтверждал половой. — Вскоре как из-за стола встали, уйти изволили; вышли, вероятно, в эту комнату, оттуда в коридор, спросили шубу и ушли...

— Вот так штука! — проговорил Ефремов, обводя присутствующих недоумевающими глазами. — Что ж это значит?.. Как объяснить?.. Все могло случиться, но этого... этого, признаюсь...

— Боже мой!.. Боже мой!.. — воскликнула Амалия Карловна, закрывая лицо руками и снова опускаясь на диван.

Все бросились к ней и начали ее успокаивать.

Один Ефремов не трогался с места; выпучив глаза, он стоял как громом пораженный.

VII

Чемезов между тем направлялся скорыми шагами по Большой Морской.

Сумрачное небо, обещавшее утром оттепель, отчасти только оправдало ожидание. Мороз действительно убавился, но холодное утро сменилось туманным вечером; к ночи туман так сгустился, что фонари просвечивали как сквозь серую, мокрую тафту. Усиленный шум карет, движение на улицах показывали, что представление в театрах только что кончилось. В ресторане Бореля окна бельэтажа горели огнями; насколько позволял туман, можно было различить зажженные люстры; там, вероятно, не успели кончить большого обеда или приготавливались к заказному ужину. Толпа зевак теснилась на тротуаре. В других местах тротуар был почти свободен. Торопливо проходили пешеходы с поднятым воротником, опущенным подле рта изморозью. Проходили иногда женщины, замедлявшие шаг перед фонарями; мелькала эксцентрическая шляпка, из-под которой смотрело набеленное лицо и выглядывали два бойкие глаза.

Чем дальше оставалась за спиной Большая Морская, тем заметнее умолкал шум и реже встречались пешеходы.

Улицы, наполненные туманом, уходили в непроглядную ночь, и кроме тусклых фонарей редко где встречались освещенные окна.

Чемезов продолжал идти, не замечая, что многие при встрече с ним сторонились, иногда останавливались и смотрели ему вслед. Каждый более или менее выводил заключение, что встретил пьяного или, скорее, несчастного игрока, готового броситься в ближайшую прорубь; во всяком случае, никто не думал видеть в нем господина, спокойно возвращающегося с вечеринки в белом жилете и галстуке.

Он шел с распахнутой шубой, низко опущенной го-

ловой, открывавшей сзади голую шею, и руки его дрожали. Но дрожь происходила менее от мороза, чем от внутреннего лихорадочного озноба, который прошел в него еще на лестнице «Малого Ярославца». При всем том он казался менее взволнованным, чем видели его в конце обеда. Судорожные подергивания в лице прекратились; глаза не бросали растерянных взглядов; они, напротив, скорее пристально куда-то всматривались. Чемезовым точно постепенно овладевала преимущественно одна мысль, отклонявшая все остальные. Сосредоточиваясь на ней более и более, он почти бессознательно повернул на Екатерининский канал и остановился перед воротами дома, где нанимал квартиру во втором этаже, окнами прямо против фонаря.

Заспанный дворник, тяжело переваливаясь в лохматой шубе и валенках, отворил ему калитку. Чемезов шагнул через порог под ворота. Темнота была страшная. Огни на дворе были погашены; жильцы, — по большей части люди мирные, — давно спали. Чемезов машинально вынул из кармана шубы ключ от квартиры и с тем же напряженным, неподвижным взглядом, устремленным в темноту, начал подниматься по лестнице.

Достигнув второго поворота, он неожиданно остановился и быстро откинулся назад; ему, очевидно, хотелось ухватиться за что-нибудь руками, но пальцы судорожно ощупывали позади спины иней, покрывавший гладкую стену. Шуба его скосилась с плеча, шляпа чуть не упала к ногам. Но он неподвижно стоял на прежнем месте; у него не хватало силы оторвать глаза от беловатого туманного пятна, которое как бы вдруг выступило из мрака лестницы... С каждой секундой пятно это увеличивалось и светлело... Туман слегка вытягивался и начинал тихо колебаться, отделяя от себя словно складки белого платья... Несколько выше стало выясняться лицо... Оно пока едва приметно складывалось, заслоняясь проходившими мимо тонкими волнами тумана... Но волны эти отходили, точно сдуваемые ветерком, и лицо каждый раз делалось яснее... В нем, — почудилось Чемезову, — обрисовались знакомые, когда-то нежно любимые черты...

В один миг все исчезло; мрак и тишина снова окутали лестницу.

Чемезов не помнил, как отворил дверь кварти-

ры, как вошел в нее; не отдавая себе отчета в своих действиях, он запер дверь и заложил ее на железный крюк. При первом шаге — он замер на месте.

Белое туманное пятно снова показалось... Не успел он опомниться, как оно разрослось, заколебалось и в нем, сначала смутно, потом все яснее и яснее проступили те же знакомые черты... Ближе... ближе... Чемезов почувствовал на лице своем чье-то дыхание... мимо слуха прошел шелест... точно далеко кто-то проходил легкими стопами по сухим листьям...

Холод пробежал по его волосам; он хотел крикнуть, но дыхание остановилось в его груди. Он бросился в угол, плотно прижался лицом к стене и закрыл глаза; но сквозь сомкнутые веки знакомые черты просвечивали еще явственнее; он видел их выражение, видел кроткий взгляд, чувствовал, как он проникал ему прямо в душу...

Объятый ужасом, Чемезов бросился в соседнюю комнату.

Она была светлее других; в нижней части опущенных оконных занавес проходил огонь от уличного фонаря. В полумраке блистало зеркало, опутанное вокруг лентами, отделялся стол с туалетными принадлежностями, обрисовывались нижняя часть висевших женских капотов и женские новые туфли; ближе к свету белела большая кровать с высоким кисейным пологом, верхняя часть которого пропадала под потолком. Чемезов отвернулся, — но в ту же секунду из противоположного угла отделилось туманное пятно... и в нем снова показался образ покойницы... Теперь он был совершенно уже ясен; вокруг распространялся голубоватый фосфорический свет, сообщавшийся ближайшим предметам... Она смотрела теперь сверху, склонив к нему голову; но на этот раз, — почудилось ему, — в неподвижных ее глазах было уже другое выражение... Она смотрела на него как бы с укором и глубокой печалью... И взгляд этот как холодное лезвие прошел в его сердце.

Он отчаянно схватил себя за голову, бросился к двери, но никак не мог найти ручки. Он бешено начал тогда метаться по комнате, опрокидывая стулья, хватая в забытых предметах, попадавшиеся под руки, сорвал полог над кроватью, сорвал капоты, начал топтать их ногами, наконец, остановился, крикнул:

«Прости меня! Прости!!» — и, зарыдав, упал лицом на пол.

Несколько времени спустя на лестнице, которая вела в квартиру Чемезова, послышались голоса и шаги, торопливо стучавшие по ступенькам. Посреди шума явственно раздавался хриплый голос дворника, уверявшего, что барин давно вернулся домой, и нельзя же не знать ему этого, когда он сам отворял ему калитку. Дворник знал также, что барин, перед тем как ехать к венцу, отпустил кухарку, сказал ей, вероятно, что вернется поздно домой, и кухарка до сих пор не возвращалась; кухарки не было дома, это точно, но барин, — барин давно возвратился.

Амалия Карловна, бежавшая скорее других, остановилась, наконец, перед дверью и позвонила.

Прошла минута — никто не отзывался.

Старания дворника и за ним Фанфарова, Хохлова и Фукса (Социперов и Бабков, предвидя скандал, поспешили скрыться, как только все вышли из трактира), привели к тому же результату.

Ефремов, едва переводя дух от одышки, хрипевшей и свистевшей в его горле, принялся звонить в свою очередь; за дверью никто даже не пошевелился.

Амалия Карловна, производя отчаянные жесты, села на подоконник и заплакала.

Тогда присутствующие бросились к двери и общими силами принялись колотить в нее кулаками; но дворник поспешил остановить такое усердие.

— Позвольте, господа, вы этак, помилуйте, всех жильцов разбудите!.. — сказал он, становясь перед дверью с распахнутой шубой, — у нас никогда такого шума в доме не бывало... Что за притча? — прибавил он, снова наклоняясь к замочной скважине, в надежде увидеть хоть что-нибудь.

— Нельзя ли, братец, по черной лестнице как-нибудь?.. — проговорили в один голос Ефремов и Фанфаров, сходявшиеся, как видно, не только в пирушках, но и в мыслях.

— Никак невозможно, там дверь заперта, — возразил дворник, — кухарка взяла ключ с собой; сказала: придет, сама отворит, — но он знал: кухарки до сих пор не было... — Делать нечего, надо, стало быть, позвать городского.

— Как, полицию?.. — вскричала Амалия Карловна, вскакивая опять на ноги.

— А то как же?..

В то время как дворник, ворча и бранясь, отправлялся за полицией, мужчины, оставшиеся на лестнице, снова усадили Амалию Карловну на подоконник и начали утешать ее. Она не знала, куда деваться от сраму, обливалась слезами, бросалась то к тому, то к другому, не обращая уже внимания на шляпку, которая совсем съехала на сторону.

С появлением двух городских и дежурного полицейского офицера все тотчас же притихли. Ефремов назвал по имени каждого из присутствующих и последовательно рассказал все дело, как оно было.

Дворник не замедлил появиться с фонарем и ломом.

Когда дверь была открыта, Амалия Карловна ворвалась первая, но тут же отступила, испуганная темнотой. В прихожей отыскивали свечи. В то время как вошедшие сымали шубы, Амалия Карловна ловко выхватила одну из зажженных свечей и, поправляя на ходу шляпку, поспешила войти в квартиру. Никто не успел еще разоблачиться как следует, когда из дальней комнаты послышался раздирающий крик.

Все туда бросились.

Войдя в спальню, присутствующие увидели прежде всего Амалию Карловну, расprostертую на кушетке и бившуюся в истерическом припадке. Несколько дальше, на полу, лицом к потолку, лежал Чемезов с перерезанным горлом

Известие о трагической кончине Чемезова быстро разнеслось на другой день не только по департаменту, но и по министерству. Предположениям конца не было. Как обыкновенно в таких случаях, каждый делал свой вывод, выражая неудовольствие, когда не соглашались с его мнением.

Одни приписывали самоубийство огорчениям по службе, находя, что Чемезову, прослужившему беспорочно восемнадцать лет, давно бы следовало быть статским советником; другие находили такой род смерти неизбежным для мизантропа, человека характера крайне угрюмого и несообщительного; третьи руководились больше романтическими соображениями и, хитро прищуривая левым глазом, повторяли на ка-

ждом шагу: «Où est la femme?»¹ — как бы радуясь тому, что попали на счастливое слово; четвертые смело и решительно, не терпя даже возражений, утверждали, что тут дело не совсем так просто, как кажется; всем известные теперь нелюбимость и мизантропия этого чиновника служили, по их мнению, только маской, скрывавшей участие его в тайном обществе; вышла неудача, попали на след; выхода другого не было; одно оставалось: наложить на себя руки!..

Надо сказать, однако ж, — лица, присутствовавшие на свадебном обеде, менее всего принимали участие в этих разговорах. Все они заметно даже как бы притихли против обыкновенного. В первое время видно было даже старание избегать друг друга. Встречаясь на службе или на улице, они молча пожимали руку, изредка разве позволяя себе намекнуть о случившемся. Так, например, не раньше как спустя два месяца, Фукс решил шепнуть Сельдерееву, что встретил в пассаже Амалию Карловну, — всю в черном, правда, — но идущую под руку с фотографом Хохловым. Сельдереев, со своей стороны, счел надобным принять некоторые предосторожности, — оглянулся направо и налево, — прежде чем сообщил об этом Ефремову, которого встретил в трактире Палкина, доедающего одиноко порцию кулебяки. Выслушав сообщение, Ефремов только отвернулся и плюнул. Он точно взял зарок отмалчиваться каждый раз, как речь касалась Чемезова. Веселость его мгновенно пропадала; круто выступающие серые зрачки притупленно смотрели вбок, кончик раздвоенного носа не приходил в движение. В редких разве случаях, когда не было уже никакой возможности отделаться, он говорил, значительно шевеля густыми серыми бровями:

— Да, батенька, история, скажу вам!.. Гм! — и на этом обыкновенно останавливался.

Более других, впрочем, сторонились и избегали встреч Бабков и Социперов.

Бабков до сих пор сидел как пристыженный в своем отделении. Он простить себе не мог, каким образом, при солидности его лет, при семье из восьмерых детей, в числе которых три мальчика посещали гимназию и старший за отличие переведен был в выс-

¹ Где женщина? (фр.)

ший класс, — каким образом, наконец, при его чине и Владимире в петлице, мог он согласиться на просьбы этого шута Ефремова и сделаться участником в такой истории.

Социперова больше всего пугала огласка. Он кусал ногти до крови при мысли, что скандал, в котором случайно был замешан, может бросить на него тень в глазах начальства и повредить ему при производстве.

С наступлением нового года он совершенно, однако ж, успокоился. Его произвели, и уже к Рождеству успел он отпустить себе те пушистые, вперед зачесанные бакенбарды, какими преимущественно любят украшать себя в Берлине кельнеры.

1884





НЕ ПО́ ХОРОШУ МИЛ, — ПО́ МИЛУ ХОРОШ

(Этюд)

Посвящается доктору Л. Б. Бертенсону

Quisquis amat, valeat;
Pereat, qui nescit amare;
Bis tanto pereat,
Quisquis amare vetat.

Casa Rufus. Pompeia.

Любящим — привет;
Не умеющим любить — гибель;
Дважды гибель
Запрещающим любить.

Античная надпись в доме Руфа в Помпее.

I

Уютный мужской кабинет освещался с одной стороны большой лампой, прикрытой светлым абажуром, с другой — тушевался в красноватом полусвете от камина с горевшими угольями. Перед камином на турецком диване и сбоку, в широких кожаных креслах, сидело четверо мужчин. Все четверо были школьные товарищи; у каждого пробивала уже седина; один из них, хозяин дома, был совершенно белый.

Между ними издавна было так условлено: когда один из них, служивший на юге России, приезжал в Петербург, все четверо собирались обыкновенно у владельца кабинета, обедали у него и проводили вместе вечер.

Владелец кабинета, человек с достатком, нигде не служил; он большей частью проводил половину года за границей. Из остальных трех один занимал место товарища прокурора и проживал в одной из южных губерний, другой был инженер, третий служил сначала в министерстве просвещения, но вскоре вышел в отставку и занялся исключительно литературой.

В описываемый вечер все были как-то особенно

разговорчиво настроены; беседа отличалась редким воодушевлением, хотя, надо сказать, не отличалась большой последовательностью; по русскому обычаю, все хотели говорить в одно время, никто не давал другому докончить речи, спеша вставить свою мысль или замечание, отчего самый предмет беседы часто разбегался, как дробь, брошенная на пол, и редко оставался исчерпанным. Говорили о событиях дня и года, разбирали по косточкам действия разных лиц, касались мимоходом специальных вопросов, перескакивали к отвлеченным предметам, не обошлось, конечно, без болгар и Бисмарка, — но кончилось все-таки тем, чем обыкновенно кончается между холостыми мужчинами: беседу свели на женщин.

— Господа! — проговорил литератор, — прошу слова! Минуту внимания: вместо того, чтоб обмениваться клочками мыслей и впечатлений, касаться часто интересного предмета и, помазав им по губам, как говорится, переходить к другому, если б мы раз навсегда приняли добрый старый метод серапионовых братьев, т. е. условились в предмете беседы, и пускай сначала один что-нибудь расскажет, потом по очереди другой и т. д. Мы заговорили теперь о женщинах, чего же лучше! Предмет настолько интересен, что, кажется, на нем можно было бы остановиться. В нем, как и во всем, важны не отвлеченные рассуждения, которые обыкновенно не приводят ни к какому результату, важны факты, и чем факт ближе к рассказчику и пережит им, тем он, разумеется, занимательнее. Каждому из нас на веку своем приходилось, конечно, слышать множество любовных приключений; кто слышал, — кто сам был свидетелем интересных случаев; наконец, положив руку на сердце, — кто из нас может сказать, как Пилат: «Умываю себе руки», — неповинен в увлечении женщиной, не переживал с ней ни горя, ни радостей; не знаю, заслуживает ли она в самом деле поклонения и того, чтоб для ее любви стоило жертвовать своим спокойствием и часто портить свою жизнь... Мы почему-то до сих пор умалчивали об этом, никогда не доходили до полной откровенности... Предлагаю: сделаем сегодня первый опыт. Уговоримся в очереди, и пускай каждый расскажет свою сердечную историю. Нам нечего кокетничать годами; кто из нас старше? хозяин дома! очередь за тобой... Мы слушаем!

Как ни близки были присутствующие между собой, но застигнутый врасплох хозяин дома несколько смутился...

Минуты две сидел он молча с опущенной головой, наконец, сделал решительный жест и начал:

II

— Заставая меня иногда в черной хандре или встречая печальным и рассеянным, вы давно догадывались, что я скрываю в душе какое-нибудь горе. Из деликатности вы не расспрашивали; я молчал вовсе не потому, что не доверял вашей скромности. Как мы все ни дружны и, кажется, нечего уже нам церемониться, но бывают в жизни случаи до того уже интимные, до такой степени близкие, что прячешь их в самую глубину сердца и бережешь их там, как святыню; не говоришь о них впоследствии из чувства, быть может, ложной стыдливости и, наконец, молчишь уже так себе — по привычке.

Те из вас, которые благоразумны, которыми в подобных случаях (если таковые были) управляли осторожность или эгоизм, — непременно скажут в конце моего рассказа: «Ты сам во всем виноват, сам накликал себе горе; не надо было, очертя голову, поддаваться первому впечатлению, давать волю воображению; надобно было подумать о последствиях»... и т. д. Все это совершенно верно; но что же прикажете делать! Во-первых, я неблагоразумен, — вы все это знаете, во-вторых, я всю мою жизнь был рабом моего сердца; другого начальства у меня никогда не было. Наконец, если удар, который поразил меня, был жесток, ему предшествовало столько счастья, что, натурально, оно не могло долго продолжаться; на свете все уравновешено...

Все это произошло, надо вам сказать, очень давно. Это было в то время, когда — помните? — он (рассказчик указал на юриста) уезжал первый раз на службу, а я первый раз отправлялся за границу.

Странствуя без особенной цели, остановился я в одном из главных городов южной Германии.

Проходя городским садом с целью сократить путь к гостинице, я несколько не удивился, не встретив там

живой души; было около полудня, и жара стояла нестерпимая.

Почти у выхода, на последнем повороте, увидел я женщину, одиноко сидевшую на скамейке. В первую минуту я не имел возможности рассмотреть ее лица: оно было опущено, и край шляпки закрывал его верхнюю половину; одета она была не только скромно, но бедно: платье темного цвета, очевидно, давно уже служило; ботинки на вытянутых скрещенных ногах также не отличались свежестью; перчатки показались мне изношенными. Она сидела так неподвижно, что можно было подумать, — она заснула.

Я умышленно надавил подошвой песок дорожки и кашлянул. Она подняла голову; по лицу ее промелькнуло выражение не то удивления, не то испуга; но это продолжалось секунду; она тотчас же отвернула голову.

Я успел, однако ж, осмотреть ее лицо; оно не отличалось особенной красотой, но с первого взгляда показалось мне крайне симпатичным. Внезапный поворот головы открывал передо мной часть тонкой белой шеи, оттененной вьющимся пушком, и выше закручивался роскошный пучок волос чудного пепельного цвета. Красота волос и такого именно оттенка всегда обаятельно на меня действовала; в прежнее время мне трудно было победить соблазн; я готов был надеть множество глупостей — и делал их, — чтобы только прикоснуться к таким волосам губами.

Не долго думая, я подошел к скамейке, сел на противоположный конец и, обратясь к незнакомке, спросил, — не беспокоит ли ее моя сигара.

Она тотчас же поняла, что вопрос мой был только предлогом вступить в разговор. Не отвечая, она сделала нетерпеливое движение и привстала с места; я поспешил предупредить ее, — поклонился и вышел из сада.

Сделав несколько шагов, я остановился; мне стало вдруг совестно перед ней. Вам покажется это странным; вы скажете: нужда была заботиться о том, что может подумать незнакомая женщина, с которой слова не было сказано, которая только молчала и отворачивалась; все это так; но тут примешивалось любопытство, и, кроме того, признаюсь вам, все в той женщине: облик ее лица, ее волосы, ее поза, в которой

проглядывала естественная женственная грация, — все невольно меня к ней притягивало.

Я вернулся в сад, занял прежнее место, — и помню, — почувствовал вдруг неловкость, не знал решительно, с чего начать.

Я просил ее извинить меня в моей докучливости, просил не думать, чтобы меня побуждало к этому дерзкое чувство, так часто заставляющее мужчин привязываться к незнакомой женщине; старался объяснить ей, что в моем любопытстве не было ничего оскорбительного, что оно вызвано самым натуральным образом, ее одиночеством в этом саду и в такой час, — наконец, печальным выражением ее лица, явно говорившим о присутствии в ее душе тягостного чувства.

Во время этих объяснений незнакомка окинула меня несколько раз робким, недоверчивым взглядом. Мне редко приводилось встречать глаза с таким нежным очертанием век, с таким мягким, бархатным оттенком в темных зрачках, смотревших так, что внизу оставалась всегда частичка голубоватого белка.

Что бы там ни писалось и ни говорилось об обманчивости женских глаз, все, что сам я испытал по этой части, никогда не могло вразумить меня; отдавая долю женскому лукавству, притворству и хитрости (а разве мы, мужчины, не хитрим, не лукавим и не притворяемся?), я безусловно больше верю в честность и прямодушие женщин, чем мужчин.

Глаза незнакомки, ее несколько пухлые губы с опущенными углами, как у огорченного ребенка, не могли принадлежать дурной женщине... Дайте мне договорить до конца; вы убедитесь, что внутреннее чувство меня не обманывало.

Старания мои вызвать незнакомку на разговор не имели никакого успеха; она молчала, продолжая задумчиво водить кончиком зонтика по песку. Я решился на последнюю попытку: «Была не была, — подумал я, — положение мое слишком глупо, пора кончить; согласится — хорошо; не согласится — может быть, еще лучше...» Я подсел ближе и, сколько помнится, обратился к ней приблизительно с такими словами:

— Послушайте, — сказал я, смягчая насколько возможно голос и самую форму выражений, — догадаться нетрудно: у вас на душе какая-то печаль... Мне также

почему-то сегодня не весело; я совершенно один в этом городе, знакомых ни души, скука смертная... Предлагаю вам следующее: предупреждаю вас, в моем предложении нет никакой дурной задней мысли... делаю его вам потому только, что вам скучно и мне также... Чем сидеть здесь на жаре, пойдемте в ближайшую улицу; я возьму фиакр, отправимся куда-нибудь за город... Вам нечего бояться; даю вам слово исполнить малейшее ваше желание; захотите ехать назад — мгновенно вернемся... Одно у меня желание: чтобы вы не обиделись моим предложением... Что ж, согласны?..

— ...Хорошо... — проговорила она, но таким подавленным голосом, что я едва расслышал.

Не оборачиваясь даже в мою сторону, она встала и пошла прямо к воротам сада. Я предложил ей руку, она отказалась взять ее.

Я посадил ее в первый попавшийся фиакр, назвав кучеру одно из лучших загородных мест, о котором слышал накануне, и мы поехали. Я начал ее благодарить и хотел пожать ей руку, но она быстро отодвинулась в угол экипажа.

III

Положение мое стало еще глупее. С каждой минутой я чувствовал возрастающую неловкость и начинал на себя досадовать. На все мои расспросы она отвечала как бы нехотя, полусловами и больше отмалчивалась. «Зачем же в таком случае согласилась она ехать со мной?» — спрашивал я себя поминутно.

«И я также хорош! — продолжал я рассуждать мысленно. — Очень было нужно упрямитесь и заходить так далеко! Вот я всегда так: всегда увлекусь, всегда отдаюсь первому впечатлению»... Одно удерживало меня предложить ей вернуться назад: во время пути я несколько раз заметил, как губы ее судорожно сжимались, тонкие ноздри приходили в движение, грудь сильнее приподымалась и глаза делались влажными. Она действительно была чем-то сильно удручена и всячески старалась овладеть собой. Чувство сострадания взяло во мне верх над досадой. Мне приходило в голову, что там, на свободе, она наконец выскажется, и я терпеливо стал ждать выезда из города.

Перед нами открылась довольно унылая местность, пересеченная шоссе, ослепительно сверкавшим на солнце между тополями; с правой стороны подымались холмы, покрытые лесом; внизу, под крутым берегом, изгибался ручей, который мы только что переехали. Остановив фиакр, я высадил мою спутницу, и мы машинально направились к лесу. Миновав опушку, я пригласил ее сесть в тени подле берега и сам занял подле место.

Не знаю, бывали ли вы когда-нибудь в таком положении, но могу вас уверить, ничего не может быть тягостнее. Несравненно было бы проще сказать ей: если так, если уж вы непременно дали клятву молчания, — сядем снова в фиакр, я довезу вас до дому и прощайте! Но у меня не доставало на это решимости; такой поступок казался мне непростительно грубым против женщины, кто бы она ни была.

С другой стороны, упорное молчание незнакомки начинало действовать на меня раздражительно. Под влиянием ли такого чувства или, скорее, вследствие тоскливых мыслей, которые сами собою напрашивались, — я начал говорить в общих фразах о положении девушки, брошенной на произвол в большом городе... В надежде тронуть наконец мою незнакомку и вызвать в ней хоть какое-нибудь оживление, я принялся дальше развивать мою мысль и, мало-помалу увлекаясь, заговорил о дурных примерах в семье и бедности, заставляющей молоденькую девушку иногда против воли сделать первый шаг и потерять себя... Заговорил о соблазнах всякого рода, испорченности нравов, эгоизме мужчин — часто даже их бесчеловечной жестокости в иных случаях...

Но тут произошло что-то странное, от чего я в первую минуту едва мог прийти в себя.

Все время как я говорил, она сидела ко мне с полюборота, упираясь локтем в траву.

При последних моих словах она вдруг упала лицом в траву и зарыдала, но зарыдала таким рыданьем, от которого у меня полоснуло по сердцу.

Я бросился ее успокаивать, умолял простить меня, уверял и клялся в добром намерении моих слов, умолял доверить мне ее горе, — ничего не помогало; она продолжала так же горько рыдать. Но когда я встал перед ней на колена, стараясь приподнять ее, она не-

ожиданно упала мне на руки и, не обращая ко мне лица, вдруг заговорила.

Сквозь всхлипывания, которые разрывали ей грудь, — я мог только расслышать: «Первый раз... первый слышу такие слова... никто не говорил так со мной... Если вы добрый... спасите... спасите меня... не дайте мне погибнуть!..»

Я был глубоко растроган и тут же обещал исполнить все ее желания. После того как она немного успокоилась, я подвел ее к ручью, дал ей напиться и повел под руку к фиакру. Во все время пути тело ее судорожно вздрагивало; я чувствовал — у меня самого руки и ноги тряслись как в лихорадке.

В городе она не захотела, чтобы я подвез ее к дому; когда я предложил ей руку, она снова отказалась взять ее и пошла рядом со мной.

Жила она в отдаленном квартале в верхнем этаже большого дома, где нанимала комнату в семействе столяра; комната была крошечная, в одно окно, смотревшее на черепичные кровли; вокруг слышались детские плач и крики, носился горько-кислый запах стирки; бедность обстановки била в глаза: табурет вместо стула, низкая узенькая железная кровать, вешалка с юбками и ситцевой кофтой; на комодке приметил я тарелку с куском ветчины и часть домашнего хлеба. Сама она показалась мне крайне смущенной, взволнованной, не знала положительно, что сказать. Чтобы скорее вывести ее из затруднения, — я предложил отправиться обедать в один из загородных ресторанов и вместе провести вечер.

Там, после обеда, сидя в глухой части сада, узнал я ее историю.

История самая обыкновенная: отец пьяный мастеровой, мачеха, куча босых детей, нищета... Десяти лет отдали ее в картонажное заведение с уплатой в месяц по два талера, служившие обыкновенно поводом к потасовкам между отцом и мачехой; каждому хотелось воспользоваться этими деньгами. Семнадцати лет она лишилась отца; вскоре после того ее переманили на игрушечную фабрику в тот большой город, где я ее встретил. Жилось ей очень трудно, — но она была счастлива уже тем, что избавилась от мачехи.

Простодушная откровенность, с которой она до сих пор говорила, неожиданно изменила ей; старания

скрыть свою неловкость были очевидны, и я поспешил перевести разговор на самого себя. С умышленной веселостью стал я рассказывать разные случаи, встретившиеся мне во время путешествия. Она мгновенно оправилась, но намерение мое остановить ее от дальнейшего признания и желание ее развлечь, — не ускользнули от ее внимания. Слушая меня, она первый раз, можно сказать, — стала внимательно прислушиваться к моим словам, смотреть мне прямо в лицо и как бы успокаиваться в моем присутствии.

В ее чертах и взглядах изобразилось при этом столько простосердечия, столько хорошего, доброго чувства, что у меня как рукой сняло набежавшие было дурные мысли.

IV

Дальше кончилось вот чем: вместо того, чтобы прожить в этом городе несколько дней, как прежде предполагалось, — я прожил в нем два с половиной месяца и с каждым днем больше и больше привязывался к этой девушке. К такому чувству, надо сказать, сильно также примешивалось чувство глубокого сострадания; оно не давало мне покоя. У меня положительно не хватало сердца оставить ее на произвол судьбы; в эти два с половиной месяца я убедился, насколько она в этом деле заслуживала сердечного участия. Все, что она видела и что испытала, как бы скользнуло по ней, не прикоснувшись к ее уму и сердцу; к удивлению моему, то и другое сохранило что-то детское, простодушное, в связи с прирожденной честностью.

Мысль о том, что ожидает ее впереди, — что рано или поздно она должна будет погибнуть, — не оставляла меня ни на минуту.

Я по природе моей антипод Печорину и вообще ненавижу ловеласов и Дон-Жуанов, у которых вместо сердца трепещет какая-то дикая кошка с вечно выпущенными когтями. С другой стороны, привязанность моя начинала пугать меня. Чем дольше будет она продолжаться, — думал я, — тем тяжелее будет разлука. Обеспечить ее настолько, чтобы спасти на всю жизнь от бедности, я не мог; я тогда не владел еще

моим состоянием; и, наконец, как ни был я увлечен, — я понимал несообразность устроить судьбу женщины, случайно встреченной на пути; я начал тогда сам себя обманывать уверениями, что не устою против долгой разлуки; ее уверял, что скоро вернусь назад, скоро снова увидимся. Горячее всего было мне видеть, как она, в детском своем простодушии, — всему искренно верила.

Разлука у дверей вагона была тем не менее очень тяжела; сколько я ни крепился, я не мог удержаться от слез, обнимая ее, — заплакал потому, может быть, что она рыдала навзрыд, не стесняясь присутствующими.

В следующем городе, при перемене поезда, я случайно встретился с нашим общим товарищем Зарубиным; он также ехал в Италию. Помните, что это был за славный малый: и сердце хорошее, и умница большой! Мы друг другу очень обрадовались и поспешили занять место рядом в одном вагоне.

Под впечатлением только что испытанной разлуки, — я высказал ему обо всем случившемся, ничего не утаивая. Оглянув меня с удивлением, он слушал, сначала недоверчиво улыбаясь и пожимая плечами; вскоре, однако ж, убедясь, что то, что я высказываю, затрагивало меня глубже, чем ему прежде казалось, он сделался внимательнее и серьезнее.

Мы приехали в Геную, остановились в той же гостинице и заняли общий номер.

Я не мог сомкнуть глаз во всю ночь; тоска невыразимая капля за каплей вливалась мне в душу. Разлука с ней чувствовалась несравненно острее, чем накануне; теперь только как бы вполне сознавал я всю силу моей привязанности, сознавал весь ужас будущей судьбы покинутой девушки. К утру беспокойство мое увеличилось до того, что Зарубин сам встревожился и счел долгом приступить к советам и увещаниям. Но слова его, полные дружеского чувства и самых добрых намерений, служили только как бы упреком моему бессердечию. Он поспешил повести меня в город. К общему нашему удивлению, город со всеми его чудесами искусства, которые мне так давно хотелось видеть, — не произвел на меня никакого впечатления. Я думал только о ней одной, напрягал память, стараясь припомнить только ее черты, глаза и волосы; мысленно следил за ее движениями и не мог дать себе

отчета, как достало у меня силы оставить ее, и ежеминутно проклинал свое благоразумие.

На третий день я не выдержал: тайком убежал от Зарубина, опасаясь его увещаний, явился на станцию железной дороги и послал ей телеграмму с извещением, что еду в тот же вечер и завтра буду снова с ней.

Возвратясь в гостиницу, я тотчас же все рассказал Зарубину; он сначала широко развел руками, но вдруг обнял меня и проговорил:

— Ну... Ну, бог с тобой... Как знать, быть может, я сделал бы то же самое!

Во всю дорогу я находился в лихорадочном состоянии. Оно усиливалось по мере того, как путь сокращался. Окрестные виды, разговоры соседей, случайности пути, — на секунду не занимали моего любопытства. Я видел перед собой только ее лицо и мысленно целовал с жадностью ее пепельные волосы...

Приближаясь к ожидаемому городу, поезд стал замедлять ход и, наконец, въехал на станцию. Из открытого вагона увидел я на платформе женщину, бегущую навстречу и махающую платком. Как я выскочил из вагона, не помню; помню только, я бросился обнимать ее с бешеной горячностью; рассудок мой положительно помрачался от счастья. Вид ее пробуждал во мне такой внезапный порыв страсти, как будто я любил ее и был любим ею не два месяца, но целые годы и встречался с ней после долгой, мучительной разлуки. Что она чувствовала, не знаю; передаю вам теперь мои собственные ощущения.

С этого дня мы уже не расставались.

V

Первой моей мыслью было увезти ее как можно скорее из этого города. Когда я сообщил ей об этом, она вся просияла от счастья и бросилась мне на шею. Три дня спустя все было готово к отъезду.

Мне много раз приводилось слышать рассказы о приморских деревушках в Нормандии; мы прямо туда отправились. Осенью решено было ехать вместе в Петербург.

В Майнце надо было, однако ж, остановиться. Она

начала вдруг кашлять и неожиданно вся как-то ослабла. Но испуг мой не был продолжителен. Доктор объявил после осмотра, что опасения мои насчет простуды или предполагаемой грудной болезни неосновательны; он нашел, однако ж, ее комплекцию вообще слабой, надорванной, требовавшей большой осторожности; внезапный упадок сил объяснял он тем, что в последнее время она перенесла, должно быть, сильное нравственное потрясение и, как натуре в высшей степени нервной и впечатлительной, ей не прошло это даром.

Рассказы о нормандских приморских деревушках превзошли мои ожидания. Я нашел все то, что при тогдашнем душевном настроении было всего дороже: нашел полную тишину, почти безлюдье, дававшие возможность жить, как хотелось, не рискуя попасть на докучливые встречи и нескромные взгляды; несколько буржуазных семейств, приехавших из окрестных маленьких городков, составляли все общество. Я был в восторге.

Мы прожили так блаженствуя до половины сентября.

К концу этого срока я не мог уже представить себе возможности жить без нее. Мимо физического обаяния, которое овладевало мной все сильнее и сильнее, несмотря на полное обладание, меня привязывали к ней прекрасные свойства характера. Редкий день не радовала меня в ней новая хорошая черта. Она положительно рождена была для мирной семейной жизни; наконец самая ее природа, нежная, чуткая, деликатная, не выдержала бы другого рода существования.

Припоминая мрачную среду, окружавшую ее детство, и последующую обстановку, я понять не мог, каким образом могла она сохранить столько хороших качеств? Извольте после этого оспаривать могущество природных инстинктов! Откуда они берутся, как сохраняются вопреки самых неблагоприятных жизненных условий, — принадлежит к неразгаданным тайнам человеческой природы.

До того времени, надо вам сказать, я не испытывал чувства любви, хотя, как говорит св. Августин: «любил любить»... Между нами несравненно меньше людей, которые хотят и могут любить, чем таких, которые хотят только, чтобы их любили. Вероятно,

я принадлежу и к тем, и к другим потому, что сам горячо любил и чувствовал на себе все блаженство быть искренно любимым. Я видел, как чувство это постепенно в ней зарождалось и развивалось. Оба мы были как потерянные от счастья нашей встречи, давшей нам случай принадлежать друг другу. Ни мне, ни ей не приходила теперь, конечно, мысль возможности разлуки.

Приехав в Петербург, я нанял квартиру; я жил тогда с отцом, и иначе невозможно было устроиться. Время, конечно, я проводил с ней. Надо было видеть ее счастье, когда вдруг очутилась она в безбедной обстановке, распорядительницей маленького хозяйства. Я уже говорил вам, она рождена была для семейной сферы. Любовь ее ко мне просвечивала в каждом ее движении, в каждом слове, — говорю: просвечивала потому, что она не выражалась горячими порывами или страстными речами. Между различными родами любви существуют, сколько я заметил, два главные рода; один можно назвать горизонтальным, другой — вертикальным; ее чувство ко мне принадлежало к последнему, т. е. оно проходило в глубине ее существа и оттуда уже распространялось, сообщая теплоту всему окружающему.

Кто знает! Быть может, вместо того, чтобы беседовать, как мы теперь это делаем, мы сидели бы точно так же у меня, но с нами была бы любимая мною женщина... Я тогда же думал открыть мою связь отцу и решил соединить мою судьбу с этой девушкой. Предрассудков у меня никогда никаких не было, да и что за предрассудки, когда дело идет о счастье жизни! Но всему этому, как видите, не суждено было осуществиться! Еще доказательство, как жалки мы, когда гордимся нашей волей и похваляемся нашим могуществом!

Раз (это было в середине зимы), она целый день жаловалась на головную боль; на следующий день я заметил у нее какое-то угнетенное состояние, боль усилилась, а к вечеру она горела как в огне, лежала в постели и бредила. Доктор пока еще ничего не мог определить с точностью; но уже с первых его слов мной овладело беспокойство. Предчувствие меня не обмануло: на третий день у нее открылся тиф.

С этого дня я жил, точно одержимый тяжелым ударом. Мысль потерять ее положительно сводила меня с ума. «За что? К чему это?.. Зачем?.. Кому это нужно?..» — не переставал я повторять, глотая слезы, хотя знал, что Промыслу совершенно все равно, и человеческие терзания, горести и заботы встречаются в нем полнейшее равнодушие. Иногда мной овладевал панический страх; я спешил выбежать на улицу, но всюду, куда ни уносили меня шаги, всюду встревоженное воображение рисовало передо мной отпечаток ее изнуренного лица, которое как бы уже не было ее прежним лицом; похудевшие ее руки представлялись мне вдруг похолодевшими, и я бежал домой, задыхаясь от мысли, что, быть может, не застану ее уже в живых. Всего ужаснее были ночи; им, казалось, конца не было; я спал не раздеваясь подле ее комнаты, прислушиваясь к ее дыханию, теряя соображение о том, как протекало время. Расстроенные мои нервы приобрели необыкновенную чуткость; неуловимое для слуха движение, звук в соседней комнате, — наполняли меня тревогой, и я чувствовал, как озноб пробегал в волосах моих; я быстро приподымался, подходил к двери, прислушивался... Все было тихо, слышалось только ее слабое дыхание, и слезы сами собой капали из глаз моих. Но возвращался ли я на прежнее место, прислушивался ли издали к ее дыханию, или подходил к ее изголовью, — во мне жила одна только мысль: мысль, что, быть может, не сегодня завтра ее уже не будет у меня, она исчезнет, навсегда исчезнет: без возврата, *без возврата!* Какое страшное слово!!

У меня не оставалось никакой надежды на ее спасение. После одного из консилиумов (это был последний) один из докторов, которого я прежде хорошо знал, подошел ко мне, взял меня за руку, и когда я вдруг заплакал, проговорил мягким голосом: «Все было испробовано... все... что ж делать!.. вам надо успокоиться...»

Последняя ночь особенно врезалась в мою память. Ей стало как будто вдруг легче. Надежда мгновенно возвратилась ко мне. «Разве не часто случается докторам ошибаться!.. Быть может, произошел перелом болезни... они не предвидели этого...» — мелькнуло у меня в голове, и я опрометью бросился за доктором.

Был седьмой час утра; свет едва начинал проникать морозную мглу, в которой уныло открывались пустынные петербургские улицы. Как назло, не было ни одного извозчика; зову изо всех сил, — никакого отклика... Тот только, кому приводилось переживать такие минуты, может понять, в каком я был тогда отчаянии. Наконец, далеко уже от дома напал я на сани. Приезжаю, взбегаю задыхаясь на лестницу, звоню; говорят: доктор всю ночь провел у такого-то больного; беру адрес (это было на другом конце города), вхожу; говорят: доктор только что уехал и прямо отправился в клинику. Скачу на Петербургскую сторону; но меня, без умысла, конечно, ложно направили: доктора в клинике не было... В мучительной душевной тревоге возвращаюсь на минуту домой, чтобы узнать: что и как? но застаю ее... застаю ее уже мертвой!..

Избавлю вас от дальнейшего... — проговорил рассказчик, махнув рукой и подавляя вздох.

VII

— Теперь, в заключение моей истории, — подхватил он после минуты молчания, — скажите мне, в свою очередь, что было бы лучше: послушаться тогда голоса благоразумия, не заходить так далеко, оставить эту девушку проживать в своем городе, думая, что рано или поздно она утешится, или поступить, как я сделал, дать полную волю своему увлечению?..

— Последнее, конечно, лучше! — с горячностью заговорил литератор, — в тысячу раз лучше!! Увлечение твое накликало тебе много горя, но рядом также, благодаря ему, сколько было пережито счастья! Недолгое время, правда, но ты жил полным сердцем, любил и был любим, а это чего-нибудь да стоит! Ты лучше сделал потому еще, что дал пожить счастьем другому существу, обреченному судьбой никогда, может быть, не знать счастья!.. Прежде чем увлечься красивой симпатичной женщиной, тебя влекло к ней чувство сожаления, сострадания, глубокое человеческое чувство! Довольно было бы одного этого для оправдания твоего увлечения, даже в том случае, когда женщина, которую ты хотел спасти, оказалась бы недостойной всего того, что ты для нее сделал!.. Из твоей истории я вывожу также следующее заключение: для отыскания ис-

тинного счастья с женщиной не существует, как руководство, даже приблизительной теории вероятности; тут можно сказать безошибочно: не знаешь, где найдешь, — где потеряешь! Все основано на случайности. При встрече с женщиной иногда остановишься, скажешь себе: какая у нее симпатичная наружность, и проходишь мимо, не подозревая, что прошел, может быть, именно мимо настоящего своего счастья... В жизни все случай! И случай этот часто дальновидней и умнее наших мудрствований, предначертаний и обдуманых планов...

— Замечание твое справедливо, — вмешался инженер, — но чего я никогда не мог понять в истории любви, это — внезапного возбуждения страсти. Его увлечение (он указал на хозяина дома) было быстро, но тут все-таки чувствуется еще некоторая постепенность: началось с сожаления, потом мало-помалу втянулся, потом полюбил, все это понятно. Я говорю о тех случаях, когда взглянул на женщину — и готово: завертелся турманом и хлоп обзечь, как простреленный тетерев.

— Увлечения этого рода, однако ж, факт, — факт, не допускающий противоречия, — сказал литератор; — примеры внезапной страсти слишком часто повторяются, чтобы можно было сомневаться в ее возможности. Сколько помнится, в литературе первый раз изобразил ее Шекспир в трагедии «Ромео и Юлия», — заставляя воскликнуть Ромео при первом взгляде на Юлию:

«Кто дама та, что подала сейчас
Синьору руку?!
Так может поразить
Лишь яхонт нас, сверкающий на коже
Нубиянки!.. Нет на земле дороже
Сокровища!!»

И когда, в свою очередь, Юлия, увидав Ромео, спрашивает у кормилицы: «кто этот кавалер?» — и узнав, что он из семейства Монтекки, говорит с грустью:

«Как зло судьба сыграла
Со мной, — вселив к врагу любовь в меня!!»

— Да, но это в поэзии...

— В поэзии!! Во-первых, любезный друг, поэзия

Шекспира часто вернее действительности, — и это несколько не парадокс, — подхватил литератор. Изображая то или другое душевное движение, он сосредоточивает в нем такое множество однородных черт, что их совокупность составляет как бы квинтэссенцию изображаемого чувства; вот почему, мне кажется, иное душевное движение в шекспировской поэзии сильнее нас поражает и на нас действует, чем если б мы встретились с ним в действительности; во-вторых: желаешь исторических фактов? Изволь! Беру наобум первый, который приходит в память: герцогиня Беррийская, — дочь регента Франции, — самое балованное, капризное женское существо, когда-либо виданное; кроме того, женщина надменная до невозможности, искренно верившая, что в жилах ее течет голубая кровь, отличающая ее от остальных смертных; высота ее общественного положения казалась ей недосыгаемой; все, что ее окружало, преклонялось перед ней, как перед божеством, и обожало ее или притворялось обожающим... Вот, однако ж, что случилось: однажды во время прогулки застигла ее гроза; пошел ливень; она бросилась бежать, но на пути встретилась лужа; ни направо, ни налево — обойти невозможно; перескочить было еще труднее. В числе сопровождавших ее лиц находился недавно поступивший к ней в свиту кавалер де Риом, — бедный офицерчик, весьма некрасивый собою: белобрысый, с красноватой кожей, коротенького роста и даже, по свидетельству летописца герцога Сен-Симона, с прыщами на лице! Не говоря дурного слова, Риом стремительно бросается к герцогине и, прежде чем она успела опомниться, берет ее в охапку немного ниже талии и переносит через лужу. С той минуты герцогиню точно опоили дурманом; она признавалась, — прикосновение Риома огнем прошло во всем ее теле; и днем и ночью она только им бредила; кончилось тем, что, забыв гордость и величие своего сана, она тайно с ним обвенчалась, терпеливо переносила его капризы, покорялась ему, как последняя раба. Другой такой же пример рассказывает в своих записках Стендаль, писавший в двадцатых — тридцатых годах под псевдонимом «Бейль». Катаясь однажды в коляске с хорошенькой женщиной по улицам Берлина, — они встретили красивого молодого лейтенанта, ехавшего верхом. При первом взгляде на него, лицо спутницы Стендаля мгновенно разгорелось румян-

цем. С этой минуты ею овладела задумчивость и, вместе с ней, все ее движения выразили явное нервное беспокойство. Вечером они поехали в театр. Тут, сидя в ложе, она призналась Стендалю, что с того времени, как произошла известная ему встреча, она не знает покоя, живет точно в лихорадке, а ум ее занят постоянно одним лейтенантом. Она между тем никогда не имела случая обменяться с ним словом. «Если б не робость, — говорила она, — я бы тогда же, как только вернулась домой, послала ему приглашение»... Черты ее во время этих объяснений отражали все признаки сильного страстного возбуждения. На другой день продолжалось то же самое. По прошествии трех дней лейтенант, с которым она успела познакомиться, выказал себя, вероятно, настолько глупым и ненаходчивым, что совершенно перестал занимать ее. Месяц спустя она не хотела о нем слышать!..

— Последние два примера мне понятны, — сказал инженер, — дело объясняется здесь физическим влечением, как это было, например, у другого кавалера, — кавалера Де Грие...

— Позволь, позволь... я снова должен остановить тебя, — перебил литератор, — если б у Де Грие была к Манон Леско только чувственность, как ты говоришь, книга аббата Прево не заслуживала бы большого внимания. Де Грие действительно находился под физическим обаянием своей возлюбленной, но он присоединял к этому любовь и прощение; прощение! понимаешь! Оба эти чувства, так прекрасно выраженные автором, освещают всю личность Де Грие, заставляют прощать ему его слабости и ставят самую книгу в число бессмертных литературных произведений.

VIII

— Припоминаю теперь другой случай, — продолжал литератор, — он в том же роде, но более характерный, чем предыдущие. Его рассказывает свидетель, некто Бодмер, немецкий писатель конца восемнадцатого и начала нынешнего столетия. В одном из германских дворов и, кажется, чуть ли опять не в Берлине находилась фрейлина — известная в то время красавица. Она соединяла с красотой аристократическое имя, ум, большое состояние и блистала моло-

достью, ей было всего двадцать три года. Во всей Германии не было в то время второго экземпляра такой невесты. В ухаживателях всякого рода и настоящих влюбленных недостатка не было; представлялись блестящие партии; лица из высшей германской аристократии добивались ее руки; она безразлично всем отказывала, говоря, что выйдет замуж только по любви, но до сих пор не понимает этого чувства. Невозмутимость своего сердца приписывала она, не шутя, природному недостатку.

Однажды танцует она на придворном бале с каким-то кирасиром.

С этой минуты, рассказывала она потом, он овладел ею до такой степени, что все в ней сосредоточилось в тот вечер на одной цели: смотреть на него и наблюдать над тем, обращает ли он на нее внимание; в течение часа он стал для нее дороже всего на свете. Когда кончились танцы и король удалился в свои комнаты, кирасир ушел из дворца вместе с другими офицерами. Смертная тоска овладела ею, как только он скрылся из ее глаз. Ничто не могло ее утешить, и, возвратясь домой, она призналась близким лицам, что в эту ночь дорого заплатила за свою гордость и холодность. Страсть, внезапно ею овладевшую, объясняла она действием высшей какой-то власти. Она не находила слов, чтобы приблизительно даже высказать, каким образом один *его вид* приводил в беспорядок все ее существо как физическое, так и умственное. «Если б, — говорила она, — с первых слов, как началось наше знакомство, он сделал бы мне вопрос: обожаете ли вы меня? — я не в силах была бы удержаться и ответила бы немедленно: *да!* В помыслах моих не было, чтоб страсть могла родиться так быстро; я серьезно начинала думать, что была опоена каким-нибудь зельем!»

Последствия были такие, что вскоре весь двор, весь город узнали о ее связи; произошел ужаснейший скандал. История эта имела трагический конец, о котором говорила тогда вся Германия. Сама ли она отравилась, или была отравлена любовником, — осталось тайной.

Следует теперь спросить: в чем же собственно заключались чары того кирасира? Чем мог он вдруг сокрушить такую невозмутимо-холодную красавицу? Сделав себе, вероятно, тот же вопрос, Бодмер, — сви-

детель всей этой истории, — прибавляет: «что ж касается этого офицера, он отличался тем только, что ловко танцевал, был весел, самоуверен, — едва ли даже был благородного происхождения и приглашался ко двору только по списку в качестве танцора...»

IX

— Не менее интересный пример такого рода увлечения представляет Байрон; это происходило, кажется, в 1817 году, когда он проживал в Венеции. Знакома вам его история с Маргаритой Коньи?

Некоторые из присутствующих что-то припоминали, но неясно, другим история была неизвестна.

— Трудно, кажется, предположить, — продолжал литератор, — чтобы Байрон, — этот праправнук Дон-Жуана и чуть ли не родной дядя нашего Печорина, — способен был покориться женщине до такой степени, чтобы быть у нее в повиновении, заставить молчать свое чудовищное самолюбие, — словом, быть под башмаком. Так, однако ж, случилось, и самое курьезное в том, что женщина эта была ни больше, ни меньше, как самая простая венецианская мешчанка-булочница по профессии; звали ее: Маргарита Коньи. Байрон встретил ее случайно, затащил во дворец Мончениго, который нанимал для себя и многочисленной своей прислуги — и с этого дня сделался совершенно ее рабом. Неуживчивость и строптивость нрава, надменность и деспотическое чувство, сколько раз выказанное им к другим прекраснейшим женщинам, — все это как бы рукой сняло. Он исполнял беспрекословно малейшие капризы венецианки, терпеливо сносил ее вспышки и часто грубые оскорбительные выходки. Так, отправился он как-то в гондоле на Лидо; неожиданно налетела буря, и он чуть не погиб в лагунах. Маргарита оставалась дома. Предвидя опасность, она пришла в неописанное волнение; не покидая ни на секунду лестницы дворца, спускавшейся в большой канал, она бросала во все стороны растерянные взгляды, то и дело посылала проклятия и небу, и самому Байрону. Увидав, наконец, ожидаемую гондолу с сидевшим в ней благополучно Байроном, она дала ему подойти к лестнице; не успел он еще поставить ногу на ступень, она как тигрица вцепилась в его плащ и, не

обращая внимания на гондольеров и выбежавшую прислугу; прокричала бешеным голосом: «Ах ты, колченогая собака святой Мадонны! Не нашел лучшего времени, чтобы ехать на Лидо!?» Он смиренно смолчал; кроме того, был в восторге от ее встрепанных волос и возбужденного выражения на лице. В одном из писем к Томасу Медвину он так выражается, говоря о Маргарите: «долгое время я был ею подавлен; часто сопротивлялся я такому влиянию, но никогда не мог победить его!..» Ясно, кажется!

Вы можете мне заметить, я привожу слабые доказательства, так как до сих пор выставлял случаи, в которых главную роль играли эксцентрические личности; но что же делать, когда такие личности были всегда на виду, всегда всех занимали и о них всегда больше говорилось. Нет никакого сомнения, в жизни самых обыкновенных незаметных смертных встречаются те же примеры. Как знать! Быть может, на этой самой улице, в этом доме, подле нас, за этой стеной, находится женщина или мужчина, подавленные в настоящую минуту увлечением такого рода.

Х

Порывы эти объясняются таким образом: в то время, как в одном из тайников нашей природы начинает зарождаться стремление одного пола к другому, в другом тайнике, — в мозгу ли, в душе ли, неизвестно, — происходит другая работа: туда налетают и там постепенно складываются мечтательные образы, иногда отдельные черты, отвечающие инстинктивно нашим прирожденным вкусам и симпатиям. Я не спирит, но охотно готов верить, что симпатии эти приходят к нам не с ветра, но основаны на дальнем сродстве лиц... При встрече лица эти как словно где-то прежде виделись, были знакомы, близки друг другу... Встречи двух симпатичных натур, как бы созданных одна для другой, — редкость в действительной жизни; чаще всего одному из двух — мужчине или женщине — выпадает на долю быть жертвой, — жертвой потому, что чем сильнее влечение, тем, конечно, чувствительнее отсутствие взаимности. Но все равно, стоило *ей* или *ему* случайно встретить образ, который сам собой подготавливался и назревал в душе, чтобы произошло

то, насчет чего ты выразился: завертелся турманом и хлоп обзель... Красота, надо заметить, играет здесь второстепенную роль. «Не по́ хорошу мил, — по́ милу хорош!» — говорит глубокомысленная русская пословица. Можно признать за факт, что истинные красавицы и красавцы меньше всего увлекали; от них веет большей частью холодом. Можно думать, природе надо было придать им такое свойство с целью ослабить, уравновесить влияние красоты; и наоборот, она сообщает некоторым, как бы избранным женщинам-дурнушкам и мужчинам вроде Риома чарующую притягательную силу. Ею объясняется множество случаев самых безумных увлечений, которые, на первый взгляд, ставят в тупик и совершенно непонятны. У женщин этой категории обыкновенная притягательная женственная сила как бы удесятеряется; она проникает каждый их суставчик, каждый волосок и отделяет от них какую-то магнетическую, сладко-одуряющую, чарующую атмосферу. Некоторые мужчины одарены, надо полагать, таким же притягательным свойством относительно женщин.

Прибавьте теперь к этому тайную симпатию, и ясно будет, как от одного взгляда может произойти тот взрыв чувств, который побеждает в нас иногда и разум, и волю.

Внезапность таких порывов так обыкновенна и естественна, что для них существует специальный термин у каждой почти нации; у французов они известны под названием: «пистолетного выстрела»; немцы выражают их словом: «паф»; итальянцы словами: «amore subito»; и т. д. Одни объясняют их действие «мгновенной кристаллизацией чувств»; другие, как, например, Бальзак, «цепкостью сродных атомов» и т. д.

XI

Кстати о Бальзаке! Известно ли вам, как этот истинно замечательный наблюдатель над внутренними движениями нашей природы сам сделался жертвой тех «цепких атомов», о которых так тонко и метко говорил, описывая страсти своих героев? Вот эта история: путешествуя в сороковых годах в Швейцарии, остановился он в Невшателе и занял номер в гостинице. Ок-

на его выходили на двор, окруженный флигелями той же гостиницы. Утром отворяет он окно в ту самую минуту, как в окне противоположного фасада показывается молодая женщина. Мне памятливы выражения его письма к сестре, госпоже Сюрвиль, которой описывает он этот эпизод. Собрание его писем недавно вышло в печати, и я на днях еще прочел их; вот почти подстрочно, что он рассказывал сестре: «Странное волнение овладело мною при первом взгляде на эту даму; всю кровь мою как бы притянуло вдруг к сердцу; казалось мне: ум мой помрачается, и я теряю сознание...» Дама эта, узнав о соседстве Бальзака, захотела с ним познакомиться. При свидании с ней он, несмотря на большую привычку к женскому обществу, до того растерялся, что не мог выговорить слова. Остаток дня провел он в совершенном отчаянии, минутно повторяя: «что она должна теперь обо мне думать?!»

Дама эта была госпожа Ганска, урожденная княжна Ржевуцкая, — сделавшаяся восемнадцать лет спустя, после кончины мужа, — женой великого писателя. В течение восемнадцати лет впечатление после первого взгляда не только не ослабло, но еще усилилось; это видно из его писем к ней и к родным. Обвенчавшись с ней, он более чем когда-нибудь находился под ее обаянием. Письмо, в котором он извещает мать о своей женитьбе, глубоко трогательно. Я помню его почти от слова до слова, потому что все, что касается Бальзака, всегда было близко моему сердцу. Он пишет: «Наконец я соединен с единственной женщиной, которую страстно любил, люблю и буду любить до конца моей жизни. Соединение это, — награда от Промысла за столько пережитых горестей, мучительных испытаний всякого рода и мою трудовую жизнь. Женитьба моя доказывает вам, что долгие страдания не пропадают даром у Промысла, и рано или поздно он их вознаграждает...»

Бальзак поспешил выхвалять заботу и справедливость Промысла; за восемнадцать лет постоянства и горячей любви Промысл дал ему всего шесть месяцев пользоваться счастьем. Бальзак женился в марте 1850 года, а скончался в августе того же года.

Другой вариант действия «пистолетного выстрела», или «цепкости родственных атомов», произошел с одним моим знакомым, занимающим теперь место консула, но до того времени проводившим время в путешествиях.

Отправился он раз морем из Чивитта-Веккио в Неаполь. Пароход отходил в шесть часов после обеда. Вечер был один из тех волшебных вечеров, какие бывают на берегах Средиземного моря в мае месяце: лучезарное небо, легкие пушистые облачка, гладкое серебристое море с отражениями густо-синего цвета под лодками и скалами; везде вокруг блеск, яркие краски и тепло... Подле парохода продавцы цветов и апельсин, стоя в лодках, шумно и весело предлагали свой товар; на палубе также шумели и суетились; но и здесь солнце освещало веселые и оживленные лица. Было во всем этом, — говорил мой знакомый, — что-то праздничное, располагавшее мысли и душу к счастью и восторженности.

В таком настроении стоял он у борта, посматривая на море и гавань, когда внимание его привлекла лодка, приближавшаяся к пароходу; в ней, между чемоданами и саками, сидели мужчина и женщина. Он не мог рассмотреть их лиц; они подплывали с солнечной стороны, и блеск моря ослеплял глаза. Наконец лодка остановилась у парохода, и мой знакомый, движимый бессознательным любопытством, пошел навстречу новым пассажирам.

На палубе показалась женщина. При виде ее, — рассказывал мой знакомый, — он весь вдруг вспыхнул, как это бывает от неожиданного испуга. Впечатление было так сильно, что он несколько секунд стоял как ошеломленный, забывая посторониться, чтобы дать ей дорогу, забывая присутствие ее спутника, показавшегося за ее спиной. Наружность ее была, впрочем, довольно своеобразна: волосы ее, темно-красного цвета с золотистыми отливами, обременяли ее маленькую головку; она сняла шляпку, когда подымалась на трап парохода, и непокорные пряди, распутившись на воздухе, принимали на солнце вид ореола, в котором сверкая играли золотые нити; бледное, несколько продолговатое лицо оживлялось светлыми черными гла-

зами; они шурились от света, но весело мигали из-под черных тонких бровей. Все в ней дышало жизнью и молодостью; ей не могло быть более восемнадцати лет. Ощущения беззаботного довольства и счастья, наполнявшие минуту перед тем грудь моего знакомого, разлетелись как дым. Их заменило одно чувство: страстное, непреодолимое желание приблизиться к ней, любоваться ею, слышать ее голос. Рядом с этим и так же внезапно, признавался он, пробуждалось в нем озлобление, даже ревность к ее спутнику; вскоре оказалось — он был ее мужем. Они были женаты всего месяц и совершали свадебную прогулку.

Знакомый мой судил, по всей вероятности, пристрастно, но, по его описанию, действительно нельзя было без досады видеть сочетание милой молоденькой женщины с таким мужем.

Он представлял квинтэссенцию типа немца из северных провинций, немца, заквашенного на какой-то холодной кислоте с примесью золотухи, рубцы которой виднелись на его длинной крученой шее. «Когда я увидел эти рубцы, — говорил мой знакомый, — я готов был броситься на него и задушить его тут же на месте». К этим физическим качествам муж присоединял сорокалетний возраст, маленький рост, очки на больных глазах и красноватое темя, кой-где прикрытое гладко прилизанными жиденскими волосами шафранного оттенка.

Комическая ненависть, внезапно овладевшая моим знакомым к немцу, была подавлена, однако ж, настоятельным желанием вступить в разговор с его женой. Но дело плохо клеилось; на все попытки завязать беседу немец упорно отмалчивался; жена нерешительно поглядывала на мужа и как будто робела. Заметно было, однако ж, по ее глазам, она иногда как бы оживлялась, слушая рассказы незнакомца, который, чем далее, тем больше одушевлялся и становился красноречивее.

Прошло уже часа два или три, как пароход отвалил от берега; ночь обняла небо; в темно-синем мраке серебрилась морская гладь; тишину нарушал только равномерный плеск парового винта.

Муж, который прежде еще, как только село солнце, поспешил надеть теплое пальто и завернуть шею в кашне, начал теперь жаловаться на свежесть. На-

прасно жена уверяла, что ночь тепла и воздух мягок, как бархат; он объявил, что чувствует озноб, боится лихорадки и находит благоразумнее провести ночь в каюте; он приподнялся с места, церемонно расклаваясь и направился к трюму, дав вперед пройти жене.

Действительно ли так было, или так только показалось моему знакомому, но во взгляде, брошенном ею на прощание, он прочел как бы сожаление. В порыве какой-то безумной надежды, он воспользовался минутой и ответил ей, прижав обе ладони к сердцу. Она быстро отвернулась. Надежды мгновенно исчезли. Расхаживая по палубе, он предавался самым малодушным несообразным мечтам, чувствовал себя искренно несчастным человеком, и вдруг все в нем снова ожило и засияло, когда на повороте, неожиданно, встретился с ней. Он не сомневался, что она вернулась на палубу, движимая любопытством, — кто знает! — быть может, сочувствием... Легко может быть, он не ошибался, к чему иначе было бы ей возвращаться на палубу и искать с ним встречи! Не нужно быть вовсе кокеткой, чтобы желать нравиться; в самой честной женщине невольно пробуждается любопытство к мужчине, когда она заметила, что сделала на него благоприятное впечатление; все женщины в этом случае прозорливы и ясновидящие. В порыве благодарности, знакомый мой чуть было тут же не упал к ее ногам.

Он не помнил решительно, о чем говорил с ней в эти часы, проведенные ночью, сидя рядом на палубе; помнил только, что никогда ни прежде, ни после не любил с такой страстью; помнил также, что, кутая ее в плед и почувствовав форму ее плеч, его бросило в жар и холод, точно он первый раз в жизни прикасался к женщине; он совершенно обезумел от страстного желания обладать ею. Она во все время мало говорила, казалась больше удивленной, но ее, очевидно, что-то приковывало к месту. Она, без сомнения, сама невольно покорялась обаянию нового, неведомого для нее ощущения; дрожь, пробегавшая время от времени в ее теле, изменяла ей. Он между тем, в разгоряченном воображении, несколько раз мысленно порывался в каюту с тем, чтобы убить мужа, тайком выбросить его за борт; верил совершенно искренно, что рука его при этом не дрогнет; с такой же искренностью, не справляясь даже с ее согласием, мечтал о том, как,

тотчас же по приезде в Неаполь, спрячет ее ото всех, увезет куда-нибудь далеко-далеко... Не шутя даже думал отправиться с ней на какой-нибудь необитаемый остров.

На этом застало их восходящее солнце, и надо было расстаться. Вскоре показался Капри, за ним открылся Неаполь; началась на палубе обычная суэта, предшествующая высадке на берег; не успел пароход бросить якорь, как уже десятки лодок обступили его со всех сторон.

Но тут произошел случай, о котором, даже много лет спустя, мой знакомый не мог говорить без негодования; как это произошло, он не мог растолковать себе. Пока он возился в своей каюте, немец и жена его словно в воду канули; вероятно, у них все уже было готово, они сели в первую подъехавшую лодку и отправились на берег. Моему знакомому показалось даже, он видел, как они приближались к пристани. Он стремглав бросился за ними, понукал гребца, обещал ему денег, — все было напрасно. Он вышел из гостиницы, не дав себе времени оправиться, и побежал их отыскивать. К сожалению, в пылу ночной беседы, он не подумал узнать ее фамилию, не спросил, где они останутся в Неаполе, куда едут, не справился даже, где место постоянного их жительства. До позднего вечера объехал он все гостиницы, все меблированные квартиры, — нигде ни слуху ни духу. В течение нескольких дней, с утра до поздней ночи, не покидал он главных улиц, в надежде встретиться с ними — и встречал только толпы незнакомых лиц. Словом, она мелькнула перед ним, как в волшебном сне, — и так же быстро исчезла, — не исчезла только в его памяти. Он говорил: ни одна женщина не произвела на него такого сильного впечатления; до сих пор редкий день, когда он не вспоминает ее; стоит ему закрыть глаза, — она мгновенно является перед ним как живая, с ее светлыми глазами и золотистым ореолом вокруг головы...

Говоря это, он всякий раз принимался расхаживать большими шагами, волновался, и краска выступала на лице его.

Если вам не довольно этих историй, могу рассказать вам еще одну, но уже коротенькую, в которой главным действующим лицом был ваш покорнейший слуга.

— Как?! Что?! Может ли быть! Ты нам никогда ничего о себе не рассказывал... — раздалось со всех сторон.

— Не рассказывал, потому что к случаю не приходилось; теперь, — благо мы на ходу, — извольте. Произошло это также довольно давно, в молодости, вскоре после того, как я вышел из университета, и мы в первый раз разъехались. Жил я тогда в деревне под Москвой, но часто приезжал в город повидаться с одним семейством, которое считал все равно как своим. Оно доводилось мне даже несколько сродни по матери. С детьми этого семейства, — двумя дочерьми и сыном, — я был связан с самого детства. Мы продолжали говорить *ты*, — и называть друг друга по имени, после того даже, как девушки выпущены были из института. Одна из них, — Нина, вскоре вышла замуж. Муж и жена прожили год и разъехались. Единогласно все его обвиняли. Неожиданно получаю от Нины письмо; она извещала меня, что, после истории с мужем, едет к себе в деревню с тем, чтобы продать ее, и на вырученные деньги думает на несколько лет, по крайней мере, переселиться за границу. В конце письма была приписка; она просила, — если для меня не слишком затруднительно, — приехать в Москву проститься с ней. Проехать сорок верст — безделица; отправился утром, — в полдень был в Москве и, сидя с ней, беседовал об ее несколько рискованных планах; родные разделяли мое мнение; но она никого не хотела слушать, выставляя на вид свое теперешнее независимое положение. В тот же день мы вместе обедали в ее семействе.

Вечером, часов около восьми, она попросила меня проводить ее к старой тетке, с которой также хотела проститься перед отъездом. Тетка жила на другом конце города; чтобы попасть к ней, надо было пройти чуть ли не все бульвары.

Солнце уже скрылось, когда мы вышли на улицу; но в воздухе было нестерпимо жарко и душно, как в бане. Я забыл вам сказать, все это происходило в се-

редине июля. К духоте присоединялась еще знаменитая московская пыль; ее, как вам известно, в течение дня приподымают сотни тысяч экипажей, а к вечеру она снова садится рыжеватым облаком, сгущая сумерки и окончательно заслоняя глубину улиц. Мы не сделали ста шагов и принуждены были снять перчатки, прилипавшие к рукам.

Перспектива просидеть час со старой теткой в душной комнате, в которой, как летом, так и зимою, не отворялись окна и где теперь положительно должно было быть невыносимо, мало меня соблазняла. Подле дома тетки я упросил мою спутницу войти, а сам сказал, что буду ждать ее возвращения против подъезда на первой бульварной скамейке.

Заметьте, господа, здесь наступает главный пункт моей истории. Имейте постоянно в виду мои отношения к Нине с самого детского возраста и до настоящей минуты. Часто, правда, вместе с ее братом, сестрой и другими родными и близкими знакомыми, я любовался ее миловидностью и грацией, но мне в голову не приходило соблазняться тем и другим, как мог бы это сделать посторонний мужчина; привычка ее видеть, привязанность моя к ней, все равно как к сестре, не имела никакого действия на мое воображение. Ожидая ее возвращения так же спокойно, как если б был ее родным братом, я мысленно бранил ее мужа, который, обладая такой милой женщиной, мог завести себе любовницу; думал о пользе развода, который давал ей возможность вторично выйти замуж и быть счастливой, сожалел о ее решимости продать деревню, уехать за границу, расстаться со своими, — решимости, очевидно, вызванной чувством перенесенного оскорбления, и т. д.

Час спустя те же самые мысли служили темой нашей беседы, во время нашего возвращения домой, по крайней мере, на добрую половину пути. Она во многом соглашалась со мной, иногда спорила, но казалась такой же спокойной, как я сам был в то время. На второй половине пути произошла перемена; мысли ее неожиданно приняли грустное направление; она сделалась задумчивее, молчаливее; самый голос ее как бы упал, и дыхание становилось тяжелее. Меня самого начинало теснить странное чувство, — не то тоски, не то странной неловкости; в первый раз начал я при ней приискивать слова и выражения. Мы говорили теперь

о предстоящей разлуке: завтра я должен был вернуться к себе в деревню; она уезжала также завтра или день спустя. «Когда-то бог приведет теперь свидеться... Как, право, играет нами судьба! Соединит людей; привыкнешь, сроднишься, полюбишь... и вдруг возьмет и так же равнодушно оторвет близких друг от друга... Прости-прощай!.. Быть может, с тем, чтобы никогда уже больше не встретиться...»

Беседуя таким образом и почему-то оба замедляя шаг, мы незаметно подошли к дому ее родителей.

На улице и на бульваре было совершенно тихо; вокруг ни души; в пыльной туманной мгле дальнего горизонта выплывал перед нами багровый шар полного месяца...

Мы сделали несколько шагов, остановились и начали прощаться. Я взял ее обе руки и, растроганный, при виде слез, которые неожиданно закапали из ее глаз, наклонился, чтобы поцеловать ее, и вдруг... вдруг, сам не знаю, как это случилось, мы бросились друг другу в объятия и начали целоваться уже не как брат с сестрой, но горячо и сладко, как самые страстные любовники...

Два дня спустя, вечером, она выехала из Москвы и на второй станции, уже ночью, пересела в тарантас, в котором я ждал ее, весь дрожа от нетерпения обхватить ее руками и засыпать поцелуями... Мы прямо покатались на южный берег Крыма.

И странное дело! Женщина, которую, повторяю вам, привык я видеть двадцать лет, с которой равнодушно просиживал иногда наедине целые вечера, — сделалась теперь предметом ненасытной, бешеной страсти. Я любовался каждым ее пальчиком, как будто никогда прежде не видал ее руки, приходил в неопределенный восторг, когда она при мне распускала свои волосы, не мог представить себе родимого пятнышка на правой стороне ее плеча, без того, чтобы тотчас же не овладело мной желание прикоснуться к нему губами; считал блаженством целовать ее ноги... Мы не волновались, как прежде, смутным желанием обладания; обладание было полное и безграничное; но и тут воображение не оставляло нас обоих в покое; мы как будто еще чего-то ждали, чего-то отыскивали друг в друге... словом, совершенно безумствовали...

— Чем же все это кончилось? — спросил хозяин дома.

— Увы! Чем обыкновенно кончаются связи, основанные только на физическом влечении, подогретом юношеским воображением! Внутренних, настоящих симпатий между нами не было... Этим, может быть, и объясняется взаимное равнодушие до той минуты, когда оба внезапно увлеклись друг другом. Она верила в возможность постоянного обожания и деспотически от меня его требовала; на меня, как теперь, так и в молодости, находили иногда, без всякой причины, минуты хандры и нервного раздражения; при первом капризе с моей или с ее стороны, — хорошенько не помню, — вышла сцена; оба не выдержали и расстались, расстались не как любовники, которых ссора крепче иногда связывает, но окончательно расстались. Там, где главную роль играет воображение, — всегда непрочно: покажет чудеса в решетке, подойдешь ближе — и нет ничего!

— Нет, господа, если уж дело коснулось воображения, или, вернее, странностей, которые происходят от действия разыгравшегося воображения, у меня есть история... — сказал инженер, причем лица присутствующих, сохранявшие до сих пор более или менее серьезное или внимательное выражение, вдруг оживились, и глаза у всех повеселели.

Всем хорошо был известен характер его рассказов, приправленных всегда избытком красок, парадоксами, размахом штриха и эксцентрическими выходками. Таким знали его в юности, таким остался он в зрелом возрасте. Взгляды, которыми обменялись присутствующие, не ускользнули от рассказчика; но они как будто его самого расположили к веселости. Примостившись ловчее между подушками дивана, он повел плечами, как бы охорашиваясь, и начал таким образом:

— Дело, изволите ли видеть, происходило в сороковых годах. В глуши Саратовской губернии, в собственном имении, проживал с дочерью старец, по фа-

милли Шницель; ему было восемьдесят два года. Из этого вы можете уже отчасти заключить: дочь не могла быть первой молодости; говорю: «отчасти», потому что и у старцев также рождаются молоденькие дочери, только в последнем случае всегда как-то невольно приходит в голову... Впрочем, не стоит на этом останавливаться. Несколько лет назад, отцу понравилась почему-то цифра двадцать восемь, он уперся в ней и ни за что не хотел спустить или прибавить; в действительности, дочери было за тридцать. Упрямство старца было естественно; от старости он начинал терять память, чвакал и видимо размягчался.

Родом был он из Курляндии, но для служебной карьеры предпочел ей, как водится, Россию и в молодых годах удачно изображал тип русского немца; в глазах несокрушимая преданность России, в душе — нежная любовь к Митаве и Либаве.

Аккуратность, военная выправка, усердие во всякий миг, повиновение, когда было угодно, не замедлили выдвинуть его на служебном поприще; в сорок лет он был полковником, а протекция, в которой у русских немцев никогда нет недостатка, доставила ему место полицеймейстера в одном из южных городов нашего гостеприимного отечества.

Высокий рост, мундир, бряцанье шпор, серо-голубые глаза, румянец и белокурые, тщательно расчесанные и напомаженные, волосы творили чудеса в начале столетия, не только в провинции, но и в самой Москве. Стоило щелкнуть шпорами, ловко перевернуться на каблуке и прищуриться, покручивая молодецкато ус, чтобы произвести в то время трепет в женском сердце. Не прошло года, в полковника влюбилась по уши тридцатипятилетняя вдовушка. Ее, главным образом, прельстило белое тело на шее полицеймейстера. Белизна и мягкость кожи, свойственная вообще людям германской расы, была в самом деле до того у него замечательна, что даже теперь в глубокой старости не могли на ней изгладиться две красные полосы: одна вокруг талии, где стягивался когда-то мундир, другая на лбу от фуражки, которую носил он всегда тугой и плотно надвигал над бровями. Белизна тела могла также прельстить вдову, в силу контраста: она, в свою очередь, как женщина восточного происхождения (родом была она из Румынии), отличалась

смуглостью. Завистницы ее успехов с мужчинами находили в ней даже сходство с придворным арапом, который хотя и вышел в отставку и получил пенсию, но по привычке продолжал краситься. Кто из них, он или она, сделал предложение, неизвестно, только они сочтались законным браком. Из ревности к мужу, она заставила его немедленно выйти в отставку и деспотически переселила в деревню. Год спустя у них родилась дочь. После пятнадцатилетнего супружества румынка в знойный июльский день обкушалась окрошкой со льдом и отдала богу душу.

Вдовец сначала занялся было хозяйством, но смягчающая атмосфера степной русской деревни не замедлила проявить свое действие даже на курляндца; он стал мало-помалу облениться, закисать и, по прошествии еще пятнадцати лет, то есть в то время, как начинается мой рассказ, — имел вид той дряхлой, тощей развалины, которую я вам описывал. От старого времени у него осталась только привычка носить военный сюртук вместо халата; он сохранился в нем точно в футляре.

В последние десять лет, старец, зимой и летом, усаживался на то же самое место, в то же самое кресло и проводил время, насасывая, или, вернее, муся кончик дешевой сигары и прищуривая подслеповатые глаза, прикрытые зеленым тафтяным зонтиком, изпод которого высывалась беззубая челюсть, утыканная редкой, но колючей сединой. Днем куда еще ни шло, старец иногда даже как бы оживлялся; это происходило обыкновенно, когда в его памяти, покрывавшейся пеплом, — воскресала искра воспоминаний отдаленной военной карьеры. В них главным эпизодом являлся неизменно всегда случай, когда раз, на разводе, император Николай, проезжая мимо его роты, произнес: «Здорово, Шницель!» Этот «здорово, Шницель!» был единственным живым воспоминанием за все восемьдесят два года существования. Рассказывая об этом, старец всегда выпрямлялся, дергал плечом и начинал бодриться. В другое время, подымался он кряхтя с кресла, выходил на середину комнаты, шаркая мягкими подошвами, и принимался, как он говорил: делать гимнастику; она состояла в том, что он усиленно сгибал колена и махал руками, как плетями, скрещивая их на груди, как делают извозчики, когда хотят согреться. К вечеру старец уже окончательно ни-

куда не годился. Его приходилось по частям укладывать в постель: сначала посадят, потом закинут на постель одну ногу, потом другую и, наконец, опустят на подушки, — причем во всем доме слышалось, как он жалобно стонал, вздыхал и охал.

Но о старце довольно. Сущность дела в дочери.

XVI

Я уже сказал: ей было за тридцать. Родившись целиком в мать, она была не только брюнетка, но всем видом имела с ней ближайшее сходство: коротенькая, круглая, но рыхлая, с сильно развитой, — как говорится: арбузовидной грудью, стеснявшей ее еще в восемнадцать лет, а теперь, в тридцать окончательно превратившеюся в тягостное бремя; смуглый, неровный цвет лица отливал всегда глянцем, установившимся, должно быть, от усиленного употребления трескового жира в детстве, а впоследствии от излишнего употребления кольдкрема. Единственным украшением ее круглого лица могли быть черные глаза, но, к сожалению, в них было меньше блеску, чем уныния с придачей какого-то меланхолического изнывания; такой же безжизненный вид имели ее волосы; они были обильны и черны, как крылья ворона, — но это была какая-то глухая чернота: представьте себе волосы на голове мертвого армянина! Короче сказать: привлекательного было в ней мало, как, впрочем; большей частью у продуктов не молодых родителей; отцу было тогда уже за пятьдесят, а мать хотя и была несколько помоложе, но в последний год до родов постоянно хворала и жила, можно сказать, почти на одном касторовом масле. Тоскливое выражение на лице матери от приема этого неприятного медикамента и перешло, быть может, по наследству к дочери. Это могло также происходить у последней от горького сознания неудавшейся жизни и также неудавшейся наружности; она в ней обманывалась только до известной степени. Но страсти, как вы знаете, не свой брат; рассудительность говорит одно, — страсти чаще всего глухи, рвут и мечут зря в свою сторону!

Страсти зрелой девушки — унаследованные несомненно также от матери, — постоянно поддерживались

и разжигались чтением книг и журналов, которые по привычке продолжали выписывать в деревню.

В то время литература наша была в самом пылу романтизма. Поэты — или, вернее, сказать, стихотворцы — особенно торжествовали; это был положительно их золотой век.

Провинциальные барышни влюблялись в них не только по первому взгляду, но даже заочно: степень увлечения определялась степенью страстности, выраженной в стихах. Поэты представлялись воображению с глазами мечтательно устремленными к небу, с лавром на вдохновленном челе, лирой при бедре или в руках и в плаще, едва прикрывающем формы, такие же красивые, как у Аполлона Бельведерского. Посмертный портрет Байрона с открытой грудью нараспашку, с пером в руке и особенно надпись под ним: «увы! — он его (пера) больше не возьмет!..» — исторгали слезы. Первые романтические симптомы барышни, историю которой я вам рассказываю, — выразились тем, что она влюбилась (заочно, конечно) в Бенедиктова и долго не могла утешиться, узнав случайно, что он старый действительный статский советник и притом служит в государственном банке. Она постепенно прошла все стадии поэтических экстазов. Не довольствуясь печатными книгами, — она отчетливо, каллиграфически переписывала любимые стихи и целые поэмы, наполняя ими тетради с красивыми цветными обертками.

XVII

Провинциальные барышни того времени увлекались преимущественно двумя образами: одни, более пылкие, или «экзальтё», как говорили тогда в провинции, — любили воображать себя подхваченными поперек талии могучей рукой всадника (нечто среднее между Джауэром и Демоном) или даже перекинутыми через седло лошади, бешено скачущей над бездной с бушующим внизу потоком; кромешная ночь обнимает небо и землю; вокруг гремят грома и сверкают молнии, ветер рвет и крутит белые одежды несчастной жертвы, а всадник, прижимая ее к груди своей, шепчет ей страстно: «Заира, я оторвал тебя от людей! Ты моя, — моя навеки!..» Вообще надо заметить, литера-

тура наша мало тогда занималась Россией; запрещено что ли было или с легкой руки Марлинского и наших побед на Кавказе, — Восток вошел в моду и стал более подходящим ко вкусу публики, — но факт тот, что литераторы любили тогда больше начинать свои повести таким образом: «Здравствуй, великая царица Тедмора!» — «Здравствуй, великий Антарь — сын Раббия!» — слышался голос за занавеской», — чем обращаться к отечественным сюжетам, находя их слишком обыденными, вульгарными для вдохновенного поэта, — словом, безусловно восторгались Малек-Аделем — и глубоко презирали Чичикова, который не появлялся еще на сцене, — но успел уже родиться и замыслил свои планы.

Другие барышни, более склонные к меланхолии или мечтательности, любили воображать себя Татьяной и проводили время, трепетно ожидая: вот-вот прозвонит в отдалении колокольчик и явится Онегин...

Наша барышня принадлежала к числу последних. В ожидании Онегина, она влюбилась в дьякона, приехавшего с архиереем святить церковь в соседнем селе. Замечательнее всего, что наружность дьякона, весьма внушительная сама по себе, не была главным поводом увлечения. Подобно тому как покойная ее мать соблазнилась белизной тела полицеймейстера, — дочь увлеклась волосами обожаемого предмета; дьякон накануне был в бане и вымыл их щелоком, отчего они распушились во все стороны и волнами ходили вокруг его головы, когда он кланялся и вскидывал в ту сторону кадиллом; равнодушная к остальным красотам дьякона, — она унеслась воображением в его кудри и долго билась в них, то замирая от упоения, то изнывая от какого-то неудовлетворенного томительного чувства. Нет никакой возможности перечислить всех увлечений барышни; достаточно сказать, — их было, однако ж, меньше бессонных летних ночей, когда, горя внутренним жаром и согревая своим телом подушки и перину, бросалась она раздетая к открытому окну; или когда, в лунные ночи, просиживала она на балконе и, млея и замирая, прислушивалась к пению соловья, увы! часто прерываемого визгом влюбленных кошек на соседней крыше; или когда, ранней пахучей весной, испытывала она ощущения, выраженные впоследствии так прекрасно Фетом:

Пропаду от тоски я и лени,
Одинокая жизнь не мила...
В каждый гвоздик душистой сирени
Распевая вползает пчела...

Или, наконец, когда бродила она по целым часам в саду, распустив по плечам волосы наподобие русалки, и бросала вокруг растерянные масляные глаза, трепетно, но тщетно призывая предмет страстных мечтаний...

XVIII

Вы, может быть, придете к заключению, что в барышне, расположенной таким образом духом и телом, — вся эта неудовлетворенность законного ответа на ее чувства действовала разрушительно на ее организм, расстраивала нервы, увеличивала печень и расширяла коричневые круги вокруг ее глаз... Вы жестоко ошибетесь; не могу сказать: «все это способствовало ей к украшению», но уже к двадцати шести годам стала она заплывать и закругляться, как молодая дыня, которая назрела и лоснилась на солнце от избытка сока. Полнота, впрочем, не столько ее огорчала, сколько другая игра природы: едва зацвели сирень и черемуха — на лице барышни выступали такие признаки весны в виде маленьких почек...

Последнее это обстоятельство, с упорством повторявшееся каждую весну, не могло, конечно, не усилить печального настроения духа, которое без того уже заметно стало в ней проявляться после того, как она мало-помалу охладела к чистой поэзии и с пылкостью, ей свойственной, увлеклась чтением романов Ж. Занд, начинавших тогда распространяться в России. Вместо стихов она переписывала теперь целые главы изящной прозы. Лелия особенно ее поразила. «Кто ты? И отчего душа твоя полна такой печали?!» Слова эти служили как бы отголоском ее собственных чувств.

С этих пор она стала причесываться, подворачивая волосы по-мужски почти до плеч, и одевалась не иначе, как в черное платье. Экзальтация ее приняла также другое направление. Поэтические мечтания казались ей теперь чем-то далеким, праздным, неудовлетворительным для развитого ума и тоскующей души. На

первый план выступили теперь человечество, обязательства гражданина, долг, страстное желание общественной пользы. Не зная, с чего начать, к чему обратиться, она, в порыве первого увлечения, набросилась на отца и принялась на нем изощрять чувства долга. Порывы эти в первое время так были сильны, что когда она судорожно подхватывала старика под руку и начинала водить его по саду, — ноги его только путались, болтаясь как разварные макароны, и ему от слепоты казалось, будто его стремительно влекут под гору. От отца она так же стремительно перешла к сельской аптеке и лечению и затем всем существом своим отдалась устройству сельской школы. Сначала дело пошло даже изрядно; мальчики и девочки охотно учились. Одно во всем этом не отвечало настроению ее мыслей, казалось ей даже как бы оскорбительным: буквари, по которым учились крестьянские дети, аспидные доски, перья, бумага и проч. — все это покупалось на деньги, добываемые трудом и потом крепостного мужика... В чем же состояла тогда ее собственная жертва?.. Мысль эта на время охладила ее рвение; она решила продолжать дело не иначе, как на свои трудовые денежные средства. С того же дня, расхаживая ускоренными шагами по саду и поминутно откидывая назад волосы, она принялась сочинять повесть...

Сначала было очень трудно; выходило всегда как-то так, что все написанное напоминало ближайшим образом что-то где-то читанное. Мне привелось читать в рукописи это произведение. Оно в числе других рукописей было единственным моим наследством после тетки, а тетке рукописи перешли, также в виде единственного наследства, от ее свояченицы, бывшей замужем за братом редактора одного толстого журнала, пользовавшегося в то время большой известностью. Рассказ мой, передаваясь от одного близкого лица другому, связан, как видите, с моими фамильными воспоминаниями...

Но перейдем к рукописи.

XIX

Писанная рукой автора, она поражала каллиграфическими достоинствами; литературные качества показались мне несколько слабее. На первом плане высту-

пала задумчивая поэтическая девушка, окруженная многочисленной семьей — были даже, помню: семь сестер, три брата, дед, бабушка и две тетки, — но считавшая себя почему-то круглой сиротой и никем не понятой. Затем описывалась, — слабо, надо сказать, — поездка в Пятигорск и встреча с кавказским героем — офицером, сосланным за дуэль. Она в первый раз увидела его стоящим на вершине неприступного утеса, с руками, скрещенными на груди, и мрачным, таинственным взглядом, устремленным куда-то вдаль. Под ногами его клубились облака; над ним, в необъятной вышине, витали орлы, «возмущавшие криком дикую окрестность». «Где-то в стороне прокричал филин; с другого конца сверкнула молния, вышивая дивный узор на черном плаще неба»... *он* и *она* случайно встречаются у источника. Оказалось: он также считает себя во всем мире одиноким, круглым сиротой и непонятым... С этого места, признаться сказать, я пропустил несколько страниц; тут, может быть, была лучшая часть повести; но строчки шли плотно одна к другой без малейшего пробела; к тому же тут, сколько я заметил, вместо действия подробно описывалась внутренняя душевная и сердечная борьба героев, изображался психический процесс зарождающейся и развивающейся страсти — а я всегда избегаю такие страницы так же тщательно, как избегаю описания красот музыкальных звуков. В первом случае мне больше нравится, когда действующие лица разговаривают, во втором — предпочитаю шарманку; то и другое мне как-то доступнее, яснее... Остановившись на восклицании: «Царица души моей, я тебя недостоин!!» — произнесенном героем, мелькнувшим на лошади, скакавшей «быстрее мысли всадника», — я прямо перешел к концу повести. Из него узнал я, что герой, раненный насмерть при взятии какого-то аула и умирающий на коленях героини, переодетой почему-то в мужское платье, — открывает ей тайну своего существования: он был не что иное, как каторжник, бежавший из Сибири... Заключительные строки переносили читателя в скромную сельскую церковь, где, часто, в вечерний час, когда «угасало дневное светило», можно было видеть молодую прелестную женщину, одетую в черном и прикрытую вместо шляпки густым вуалем, также черного цвета; тихими, едва слышными шагами проходила она в дальний угол к образу бого-

матери, едва освещаемому теплющейся лампадой, — «падала ниц, простирая руки, и долго, долго молилась за себя и за несчастного»...

Как я вам сказал, повесть осталась в рукописи. Почему постигла ее такая жалкая участь, тут кроется целая драма. Она-то, собственно, и составляет суть рассказа.

XX

В то время, когда, бывало, сказать с некоторой смелостью: дважды два — четыре, считалось уже у нас вольнодумством, — толстые журналы были редкость: один, два, три — и обчелся. Барышня наша выписывала один из них, издававшийся в Петербурге. Он пользовался особым успехом между провинциальными барышнями благодаря тому, что в нем преимущественно печатались лучшие современные переводы, оригинальные повести, романы и стихотворения; последние занимали в каждом номере едва ли не третью часть; редактору, во-первых, приходилось удовлетворять вкусу публики к поэзии, во-вторых, он сам сочувствовал стихотворным произведениям, которые тогда печатались даром. Впрочем, в тот золотой век печати и редакторов, прозаики не уступали в этом отношении поэтам; они также не гнались за гонораром, считая себя вполне счастливыми, когда видели свои труды напечатанными.

Повесть барышни сопровождалась письмом, в котором автор, сознавая всю смелость своего поступка, оправдывался безвыходным положением молодой девушки, совершенно одинокой, занесенной в деревенскую глушь, не имеющей живого существа, с кем посоветоваться, лишенной всякого сочувствия, предоставленной самой себе; к кому же было ей обратиться, как не к человеку, имя которого, столь известное и любимое всей Россией, — прибавляла она, — было предметом ее всегдашнего поклонения (как многие читатели того времени, она думала, что большая часть того, что печатается в журналах, сочинялась самим редактором). С глубокой верой в его великодушие, она смела надеяться, что он не откажет ей в участии и снисходительно отнесется к первому опыту начинающего писателя. В письме слова не упоминалось

о благотворительной цели, с какой сочинялась повесть, и также о гонораре.

По прошествии двух недель получился ответ. Редактор, скромно умалчивая об удовольствии, доставленном ему известием, что имя его пользовалось такой популярностью и любовью в глухих местах России, — не мог, как литератор, которого, по его словам, «сам Марлинский благословил на литературное поприще», не мог горячо не сочувствовать юному начинающему собрату в образе высокоразвитой девицы, одаренной к тому же замечательным поэтическим дарованием. Он благодарил за присылку повести, в которой нашел много неподдельной теплоты в связи с тонким чувством, свойственным в такой степени только чуткому женскому сердцу; он обещал в скором времени поместить повесть в своем журнале. О гонораре в его письме также не упоминалось.

Можете сами судить, какое впечатление произвел такой ответ на барышню! При чтении его, у нее, от усиленного обращения крови, завертелись в глазах зеленые кружки; она едва могла прийти в себя от смущения. Возможно ли в самом деле, чтобы человек, которого представляла она себе сияющим в ореоле славы, окруженным сонмом поэтов, ученых и литераторов, поглощенным занятиями самого сложного свойства, — чтобы такой человек мог найти время для ответа совершенно незнакомой девушке, — и какого ответа, — боже мой, какого ответа! Наконец, время было здесь последним делом! Не в тысячу ли раз больше следовало ценить отзывчивость души, теплоту сердца и эти милые, милые сочувственные слова, вырвавшиеся как бы сами собой от избытка чувств... Дальше дело уже перешло в область воображения, которое, со свойственной ему пылкостью, не замедлило обрисовать редактора каким-то возвышенным, идеальным существом и даже придало ему идеальные формы, чуть ли не с крыльями за плечами...

В ту же ночь перо барышни, горевшей как в лихорадке, судорожно заходило по бумаге. Рано утром второе это послание отправлено было с нарочным на почту. Содержание этого второго письма мне неизвестно; но брат редактора, — муж свояченицы моей тетки, — рассказывал, что после этого второго письма

из Саратова, — редактор показался ему как бы не в своей тарелке; он был задумчивее обыкновенного и настолько был рассеян, что, принимая от какого-то литератора рукопись и намереваясь положить ее подле себя для просмотра, — сунул ее тут же под стол в плетеную корзину, чем жестоко обидел автора, пожелавшего тотчас же взять рукопись обратно.

XXI

Редактор, которого я не только знал по рассказам родственников, но которого несколько раз встречал у тетки, — принадлежал, надо сказать, к числу сильных романтиков. В то время между грамотными в России одни военные генералы, откупщики и действительные статские советники при должности — могли считаться людьми положительными; остальное человечество мирно занималось хлебопашеством, и меньшая его доля восхищалась Бенедиктовым и захлебывалась, читая Альманах — Владиславлева.

Редактор, как человек труда, принужденный проводить большую часть существования в кабинете, сидя в креслах на гуттаперчевом кружке, мало был знаком с действительной живою жизнью; знакомясь с ней почти исключительно по романам и повестям, которые приходилось читать с утра до вечера в рукописях и по корректурам, — он, можно сказать, жил больше воображением. По натуре своей, он был, однако ж, то, что называется: «сердечкин», то есть, повторяя выражение одного из его сотрудников: «постоянно носил под селезенкой тоскующую горлицу». И странное дело: он и журнал его имели две совершенно несхожие судьбы! Журнал, как известно, пользовался большим успехом у прекрасного пола; он же тем именно и отличался, что, дожив до сорока пяти лет, не имел с этой стороны никакого успеха. Обстоятельство это под конец сообщило его наружности унылый оттенок, который, естественным образом, усиливался от сознания, что виной всему была его наружность. Действительно, она не была привлекательна.

Глаза были еще туда-сюда, хотя, частью от близорукости, частью от усиленного напряжения при постоянном чтении корректур и рукописей, — они выкатывались вперед, образуя что-то вроде куриных яиц

с круглым, несколько тупым зрачком, выведенным тусклой серой краской. Мутный, геморроидальный цвет лица — неизбежное следствие упорного сидения на гуттаперчевом кружке, да еще в Петербурге — также мог быть допущен; главный предмет неудачи заключался в носе. Такие носы встречались прежде у заседателей и секретарей земских судов и теперь встречаются только иногда у архиерейских певчих; довольно обыкновенного вида при начале своем между бровями, носы этого рода, приближаясь к оконечности, начинают расширяться во все стороны, припухают и неожиданно закручиваются кверху, открывая по сторонам пару ноздрей, в которые свободно можно вставить по грецкому ореху; о цвете я уже не распространяюсь: такие носы всегда более или менее отливают свинцовым матом, как на сливах. Рот был бесспорно лучшим украшением редактора; но, по какому-то странному капризу, он менее всего обращал на него внимания, — можно даже сказать: держал его в черном теле, вспоминал о нем в тех только случаях, когда приходилось кушать и говорить, а в остальное время употреблял его почти исключительно для плеванья в медную песочницу, находившуюся постоянно подле письменного стола. Такие песочницы были тогда почему-то во всеобщем употреблении.

Неудачи редактора в отыскании «подруги по душе и влечению сердца» — как он выражался ближайшим друзьям и родственникам — все сильнее давали себя чувствовать; несмотря на успех журнала, сердце изнывало в одиночестве и тосковало от недостатка питания. Часто, в часы печального настроения, воображение рисовало перед ним молодое, кроткое и любящее существо, не испорченное жизнью столицы, сохранившее в душе чистоту ландыша и невинность фиалки, скромно притаившейся в тени своих листьев...

После чтения второго письма из саратовской глуши мечты его приняли неожиданно другой оборот... Они стали как бы сближаться с действительностью. «А что, если... если это?..» — пришло ему неволью в голову в то время, как он задумчиво расхаживал по кабинету с заложенными за спину руками. Он тут же отбросил такую мысль, но тем не менее, на следующий день, написал длинное письмо с адресом в Саратовскую губернию.

Ровно на десятый день утром получил он ответ. С этого времени (дело было в начале зимы) между Петербургом и Саратовом установилась совершенно правильная, непрерываемая корреспонденция. К новому году она составляла уже изрядный томик.

XXII

В последних письмах слова уже не упоминалось о повести, писанной с благотворительною целью. Говорилось больше о сочувствии душ, об обмене мыслей, о неудовлетворенности чувств, тоске по идеалу. В его письмах попадались такие строки: «Женское сердце неизмеримо, как океан, в таинственной глубине которого скрываются драгоценные перлы», — и также: «...глотая слезы, — эти горькие ягоды, растущие на развалинах разрушенного сердца...»

С каждым новым письмом желание высказаться приметно расширяло свои пределы, обмен чувств требовал все больше и больше простора на бумаге, самый слог, как бы подогреваемый невидимым огнем, разливался теперь жгучим, пламенным потоком. Во всем этом воображение, как всегда впрочем, принимало самое лукавое, демонски лицемерное участие; оно рисовало каждому из пишущих фантастические образы и картины, обольщало их волшебным миражем, купало в голубом эфире, возносило на неизмеримые вершины, где он — Манфред или Ромео, сияя весь мужественной красой, простирал к ней страстные объятия; она — Лаура или Беатриче, олицетворенная нежность и грация, припадала к нему на грудь и, обхватив его шею руками, лепетала ему слова вечной, неизменной любви...

К концу марта, в письмах того и другого выразилась настоящая потребность в обмене дагерротипных портретов. К сожалению, ни тот, ни другой не могли исполнить желания; редактор, как житель Петербурга, при первом дуновении весны, схватил неизбежный флюс и в таком виде не решился сниматься; барышня не снялась по той причине, что в деревне не существовало дагерротипа, а в губернский город проехать не было по случаю разлива рек...

В первых числах апреля переписка выяснила факт

несомненного сродства двух душ, несообразность разлуки и настоятельно требовала их сближения; с общего согласия назначено было свидание: десятое мая, два часа пополудни, Москва, гостиница Шевалдышева.

Трудность исполнения задуманного плана была на стороне барышни. Ехать одной в такую даль, без видимого повода, было немислимо. С другой стороны, нечего было думать оставить восьмидесятилетнего отца одного на попечение прислуги. Надо было тем или другим способом уговорить старца ехать в Москву. Но возбужденные страсти внушают иногда гениальные соображения. Ольга Карловна (я все забываю называть барышню настоящим ее именем) горячо принялась убеждать отца в том, что он страдает завалами, и им необходимо отправиться в Москву для совещания с докторами. «Что?.. А?.. Как??» — спрашивал старец, прикладывая ладонь к уху. — «У вас, папенька, завалы!!» — с удвоенной энергией подхватывала Ольга Карловна. Старик, начинавший совсем уже слепнуть под зеленым своим зонтиком и в последнее время совсем уже впавший в детство, на все согласился. В конце апреля его перенесли на руках в тарантас, бережно уложили между двумя тюфяками; дочь суетливо села подле; дворовые прокричали: «С богом!!» — старец застонал и заохал, но звуки эти тотчас были заглушены тарантасом, который тронулся и покотил по двору.

Охотно пропускаю психологический анализ тех нравственных ощущений, которые испытывала Ольга Карловна во все время переезда из Саратова в Москву; я вообще до них не охотник. Ограничусь тем, что взволнованное состояние чувств и мыслей в значительной степени усугублялось хотя и привычным, но, в настоящее время, совершенно неуместным действием весны на ее лицо, видимо украсившееся почками; способствовала ли тому внутренняя тревога, быстрее обращавшая кровь, но только почки эти росли и размножались с такой ужасающей силой, что даже в Москве, после неоднократного омовения лица сывороткой, вытирания его кольдкремом и обсыпания пудрой, даже после принятия внутрь пилюль из ревеня, ничто не могло остановить их распространения.

Переезд редактора в Москву был далеко не так затруднителен (он ехал в отделении первоначального заведения дилижансов), хотя, надо сказать, также не был избавлен от неприятности своего рода. Флюс его уменьшился, но не настолько все-таки, чтобы позволить ему снять черную косынку; она туго обтягивала его щеки и оканчивалась на макушке головы большим бантом, в виде раскрытых крыльев. Утешительной стороной могло служить, по крайней мере, то обстоятельство, что в последние два месяца редактор первый раз обратил должное внимание на свой рот: он то и дело полоскал его теперь каким-то крепким эликсиром из флакона, запрятанного в дорожном мешке.

Не могу вам сказать, в какой гостинице он остановился; наконец, это вовсе не интересно. Знаю только, что десятого мая, часу во втором пополудни, в одном из номеров гостиницы Шевалдышева, Ольга Карловна сидела на диване и, как трепетная лань, прислушивалась к малейшему звуку. Как только в коридоре раздавались шаги и голоса, лицо ее вспыхивало, оконечности пальцев холодели и сердце начинало биться, как внезапно пойманная птица; знаю — избитое сравнение, но в настоящую минуту не приискиваю лучшего.

В продолжение последнего этого часа она сотню раз вставала с места, бросала украдкой беспокойный взгляд в зеркало, причем всякий раз начинала ускоренно дышать, опускалась снова на диван, судорожно вынимала носовой платок и тут же снова запрятывала его в боковой карман платья.

В одну из таких минут кто-то постучал в дверь.

В голове ее помутилось, и все пошло колесом. Она невольно закрыла глаза и с передышкой произнесла: — Войдите...

Дверь отворилась, кто-то шаркнул и слегка кашлянул.

Открыв глаза, она увидела перед собой маленького тощего господина с лицом, перевязанным косынкой. Крайняя степень смущения изображалась в чертах его; высоко приподняв брови, раскрыв глаза во весь свой серый зрачок, раскрыв даже несколько рот, он стоял неподвижно на месте, как бы стараясь прийти в себя; наконец, неуверенно проговорил свою фамилию, прибавив:

— Я имею честь говорить с Ольгой Карловной?..

— Да... — произнесла она чуть слышно.

Прошло несколько секунд молчания; судя по их лицам, можно было думать, они только что сообщили друг другу самую печальную неожиданную новость. Оба были как бы в недоумении и готовы были заплакать.

Ольга Карловна первая овладела собой и сказала, указывая на стул:

— Очень рада... пожалуйста, садитесь...

— Благодарю вас, — возразил редактор совершенно растерянным голосом.

Он сел на край стула, повертел шляпой и произнес, опуская глаза в землю:

— Вы давно приехали... сударыня?..

— Третьего дня...

— Дороги в полях не совсем еще, должно быть, просохли... В рощах, вероятно, еще сыро... и зелень также... я думаю, не везде еще распустилась...

— Трава везде, впрочем... — проговорила было Ольга Карловна и вдруг начала дышать ускоренным тактом и так тяжело, что редактор невольно привстал со стула; но она ничего уже не видела: голова ее кружилась, в глазах зеленело, грудь спиралась от недостатка воздуха... Она судорожно прижала к лицу платок и с истерическим клокотанием в горле упала на спинку дивана...

Редактор заметался по комнате, бросая растерянные взгляды, и наконец выбежал в коридор, призывая прислугу; объяснив наскоро, что в соседнем номере барыне сделалось дурно, и потребовав, чтобы прислали ей горничную, — он быстро сбежал с лестницы и так же быстро зашагал по улице, продолжая сохранять на лице недоумение вместе с выражением испуга.

На следующий день Ольга Карловна получила письмо почти такого содержания:

«Позвольте выразить вам, м. г., мое искреннее сожаление о внезапно постигшем вас вчера нездоровье. Смею надеяться, оно останется без последствий. Возвратясь от вас, я получил депешу из Петербурга, требующую немедленно моего отъезда. Сожалею, что вчера не удалось переговорить с вами насчет прекрасной вашей повести. Я рассчитываю напечатать ее в июльской книжке. Примите и т. д.»

В тот же день редактор уехал в Петербург.

Дней пять спустя, после консилиума, на котором выяснилось, что у отца Ольги Карловны не было признака завалов и всего лучше было бы не тревожить его старых костей, — из гостиницы Шевалдышева выехал знакомый тарантас; из-под кузова его виднелся с одной стороны: зеленый зонтик на старческой голове с картузом, украшенным военным околышком, — с другой: несколько опухлое унылое женское лицо с раскрасневшимися от недавних слез глазами...

Ни в июле, ни в конце года, ни даже в последующее затем время, повесть Ольги Карловны не появилась в печати; она умерла для света, как умерли друг для друга романтический редактор и мечтательная Ольга Карловна, — две жертвы увлечения и пылкового воображения!..

На этом месте рассказчик остановился, привстал и закурил новую сигару.

XXIV

— Я думал, ты под конец смягчишься и хоть из сострадания выдашь замуж свою барышню... — смеясь сказал хозяин дома.

— Выдать ее замуж! Вот выдумал!! — полунасмешливо, полусерьезно воскликнул инженер, — во-первых, я не мог бы этого сделать по той простой причине, что рассказанная сейчас история произошла в действительности, и я не считаю себя вправе изменять исторической верности; во-вторых, если б рассказ был даже сочинен мной и в моей власти было бы располагать судьбой такой барышни, — я и тогда оставил бы ее доживать век в старых девах!..

Тон убеждения, с каким сказаны были последние слова, вызвал у присутствующих невольный хохот.

— За что же такая немилость? — спросили они в один голос, как бы сговорившись.

— Вы знаете, я материалист от природы и позитивист по убеждению, — возразил инженер тем же уверенным голосом, — мой женский идеал целиком в надписи на гробнице древней римской женщины: «Она занималась шитьем и охраняла дом!» Все эти сентиментальные субъекты, вздыхающие на луну, барышни

экзальте, романтические девицы с истерической подкладкой, надломленные мечтательные натуры: дунешь — разлетится пухом, и начнет капризничать, в чаотку вгонит бронзовую статую! А то есть еще умницы и ученые... Нет, благодарю покорно! «Надо попробовать пожить с такой умницей, чтобы почувствовать всю сласть жизни с глупой, но доброй женщиной», — говорит мне всегда один приятель... Если я женюсь когда-нибудь, в чем, впрочем, сомневаюсь, потому что женитьба, говорят, гавань, пристань, а я люблю открытое море, — итак, если я женюсь, я хочу, придя домой, встретить нечто солидное в нравственном смысле... ну и в другом также пожалуй; хочу встретить нечто рассудительное, благоразумное... А то: придешь домой, вместо жены на столе записочка: «Прости меня, душка, я увлеклась и полюбила нашего друга Ивана Ивановича...» Я знал семейство, в котором жена четыре раза таким образом увлекалась... Нет, *мерси-боку!!* Это выходит очень красиво в романах, но в действительной жизни спаси нас св. Сергей угодник и посох его святой, как говаривала моя бабушка... Нет, нет, спаси нас сам господь от всех этих «пафов», «пистолетных выстрелов» и вообще от увлечений. С ними, в результате, только беспокойство и горе. За доказательствами ходить недалеко, они налицо: начиная с тебя (он кивнул на хозяина дома) и кончая случаями, о которых ты рассказывал (он обратился к литератору), все больше или меньше были жертвами своих увлечений...

— Хорошо, по крайней мере, что ты ограничиваешься отдельными примерами... — заметил, улыбаясь, литератор.

— А что?

— А то, что иначе можно было думать, ты не признаешь в нашей природе лучшего ее свойства...

— Это каким образом?

— Таким образом, что свойство увлечения всегда показывает в душе человека присутствие чего-то живого, трепещущего, присутствие искры от священного огня, в котором тайна мирового воодушевления! — с горячностью подхватил литератор. — Ты думаешь, я говорю фразы, шучу, — несколько! Опять повторяю: лучшее! Без способности увлекаться, воспламеняться чувством и мыслью, человек ничего больше — как сухарь, тряпка, гнилушка!.. Все великие дела, к какой бы

сфере они ни принадлежали, все замечательные изобретения, все, что заставляет верить в успех человечества, одушевляет нас, подымает наш дух; все, чем можем мы гордиться; все, что видим мы вокруг себя благородного, доблестного, высокого, все, что когда-нибудь создавала, создает и будет создавать творческая способность; наконец, — самое это творчество, — все это продукт сильного душевного возбуждения, то есть увлечения! В истории остались и знаменательны те только факты, которые были результатом горячего возбуждения и увлечения! Блестящую сторону человеческой истории создали только поэты и энтузиасты! Тайна успеха в том лишь, чтобы повод энтузиазма отвечал потребности дня и часа — иногда минуты! Самодовольное благоразумие и так называемая рассудительность никогда ничего не производили; они, как конторщики, вписывают только в счет и подводят итоги и цифры. Если б свет ими управлялся, они давно бы заморозили человечество, и земля наша давно успела бы превратиться, как луна, в мертвое тело!.. «Молодой человек, вы увлекаетесь...», или: «Он прекрасный человек, — жаль, увлекается!» Вот что спокон веку самодовольно повторяет рассудительность, забывая, что сама она вечно жила и будет жить на счет энтузиастов, подбирая рождаемые ими мысли и согревая руки у костра священного огня, который во веки веков поддерживался этими увлекающимися и восторженными...

— Вполне тебе сочувствую и во всем соглашаюсь с тобой, — вмешался юрист, — но, признаться, мне больше нравилось, когда, сначала, ты говорил об увлечении вообще, как лучшем нашем свойстве, не входя в подробности. Увлечение великих людей, которые делали и будут доделывать историю человечества, — достойны нашего удивления и благодарности, но благородные душевные порывы свойственны не только лицам, которых отметила история; они совершаются точно так же, — и, может быть, еще чаще, — в скромном домашнем быту, втихомолку, так сказать, и делают такую же честь нашей природе, заслуживают не менее нашего удивления! Исторических деятелей увлекала высокая общественная цель, убеждение подымало их дух, впереди мерещилась слава, человек жертвовал собой в минуты возбужденных чувств и мозга... Легче было увлечься! Здесь дело проще: и люди

смиранные, и сфера темная; здесь в увлечении часто также жертвуют собой, но исключительным двигателем служит высокий подъем личного нравственного чувства, избыток сердечной любви, милосердия, добродетели, и, надо прибавить к чести человеческой природы, такие факты совершаются сплошь и рядом.

Мы до сих пор говорили о женщинах. Будем держаться до конца этого предмета. У меня есть история, которую более чем когда-нибудь кстати рассказать теперь; к тому же я еще ничего не рассказывал, и очередь за мной.

XXV

В моей истории действуют две женщины, но каждая увлечена по-своему, каждая действует, повинаясь своему собственному нравственному или, если хотите, сердечному влечению.

Лет десять тому назад (мы, господа, так стары, что поневоле должны уже считать десятками лет наши воспоминания), я был временно назначен по важному служебному делу в один из наших главных губернских городов. Лица, с которыми пришлось иметь дело, смотрели мне в глаза, чуть ли не целовали рук, хотя, по заведенному у нас порядку, наделали мне впоследствии и исподтишка, конечно, множество гадостей. Докладывают мне однажды: спрашивает меня какой-то человек, и называют его фамилию; она была мне знакома. Вошедший действительно оказался сыном старого учителя, приходившего когда-то давать уроки моим младшим братьям. Сын нисколько, однако ж, не напоминал отца... Боже, что это была за физиономия! Передо мной стоял человек еще молодой, лет двадцати семи-восьми, но до такой степени истасканный, изможденный и гнилой, что противно было смотреть. Наружным своим видом похож он был на тех попрошаек, которых чаще всего можно встретить в Москве подле харчевен, в обжорном ряду или на церковных папертях в праздничные дни; словом, гадость совершенная! Он окончательно мне опротивел, когда, не сказавши еще слова, бросился со всех ног целовать мне руку и, когда я ее отдернул, припал к плечу, называя меня благодетелем. Он умолял меня дать ему

какое-нибудь занятие, определить его куда-нибудь, и когда я спросил: что он умеет делать? — он, как истый русский человек, готов был принять безразлично какую угодно должность — хоть ковры вышивать или плотины строить, лишь бы сесть на казенное место и получать жалование. Под конец Хохлов (так его звали) вынул из-под полы оборванного сюртучишка засаленную тетрадку и подал мне ее, как образец его почерка. Тетрадка была исписана, сколько мне показалось с беглого взгляда, дрянными стишонками, но почерк был безукоризненный, бисер просто!

Я уже сказал вам, что лица, меня окружавшие, нуждаясь во мне в то время, смотрели мне в глаза. Они не отказали бы тогда, даже если б я попросил у них место для Стеньки Разина.

Хохлова определили писцом и дали ему комнату в казенном доме. Дня два спустя приходит Хохлов, снова бросается целовать руки, усиленно щурит глаза, тщетно стараясь заплакать, вызывает на сцену память отца и каким-то фальшиво-расчувствованным, приниженным, лижущим голосом просит довершить благодеяние, просит сделать ему «высокую честь» посетить его обиталище, взглянуть, как он там устроился, и кстати взглянуть на жену.

— Вы женаты?! — невольно вырвалось у меня.

— Уже четвертый год-с... — возразил он с некоторым самодовольствием.

«Боже мой, кто же эта несчастная!?» — подумал я в ту же минуту. — «Кто бы ни была эта женщина, но что могло заставить ее сделаться женой этой человеческой гнилушки, этой гадины, к которой, сказать по правде, — нельзя было прикоснуться без отвращения?!» Судите же о моем удивлении, когда, зайдя к Хохлову на другой день, — увидел я молоденькую — лет двадцати пяти женщину с милостивым детским лицом, белокурой головкой, гладко причесанной, и красивыми серо-голубыми глазами, с пушистыми ресницами, придававшими взгляду необыкновенную мягкость. Она заметно была смущена моим посещением, но старалась поддержать достоинство и казаться спокойной. Бедная обстановка комнаты отличалась чистотой; даже подоконники и пол были заново вымыты; так как прислуги у них не было, это была, очевидно, ее работа. В то время, как муж всячески егозил передо мною, кланялся всем туловищем и холопство-

вал, порываясь неоднократно припасть к руке или плечу, она продолжала держать себя вполне прилично; у нее смелости только недоставало, чтобы удержать его.

Поздравив ее с новосельем и пожелав ей всякого счастья, я вышел от них, истинно сожалея бедную женщину.

Вскоре после того возвратился я в Петербург.

XXVI

Прошел с небольшим год. Воспоминание о Хохлове совершенно изгладилось из моей памяти, когда раз говорят мне в департаменте: вас какой-то Хохлов спрашивает. С первого взгляда я едва узнал его; лицо мало изменилось, но одет он был совершенным франтом: сапоги с модными носками, пестрый галстук с падающими концами, прическа с пробором посередине головы, на левой руке перчатка кирпичного цвета... Он рассказал, что, приехав в Петербург, счел «священным долгом» выразить мне свое почтение и благодарность за оказанные ему прежде благодеяния; из дальнейших его объяснений я узнал, что он отказался от прежней должности, так как ему предложено было весьма выгодное место конторщика в одном из главных банкирских домов Одессы. Говорил он, — надо вам заметить, — без прежнего низкого кривлянья — не лез целовать руку или плечо, — говорил уверенно, — даже как-то рассудительно потряхивал головой. Раз только голос его принял прежнюю приниженную интонацию, и самые черты лица как бы размякли и жалостливо скорчились, именно, когда я осведомился о его жене. Он отвечал, что она, благодаря бога, совершенно здорова и теперь в ужаснейших хлопотах! — укладывается, приготавливаясь в путь. О цели своего приезда в Петербург он слова не проговорил; я, впрочем, и не спрашивал.

Вскоре открылось, что все, что ни рассказывал Хохлов, — было самой чистой, самой наглой ложью. Один из чиновников губернского города и того самого ведомства, куда я когда-то был послан, зашел ко мне проездом в Петербург и передал следующее: незадолго после того, как Хохлова определили по

моей просьбе, — он вдруг запил мертвую и начал выдвигать такие безобразия в казенном доме, что принуждены были выгнать его вон и отказать ему от места. Но пьянство ничего еще не значило перед возмутительным поступком, который совершил он еще за несколько месяцев перед тем и который обнаружился в то самое время, как решено было его выгнать.

У жены Хохлова была сестра, — молоденькая девушка, жившая где-то в услуженьи; Хохлов обольстил ее. В доме у него ничего не подозревали; более чем когда-нибудь прикидывался он тогда смиренным, ходил перед женой на цыпочках, был тише воды, ниже травы. Пьянство началось, когда не стало уже никакой возможности скрывать беременность, и обольщенная девушка, потеряв окончательно голову, объявила ему, что во всем откроется сестре. В это самое время Хохлова выгнали из казенного дома; он запил еще хуже и, наконец, пропал куда-то без вести.

Жена его осталась без крова и куска хлеба. К ужасу ее положения, она вскоре узнала о несчастье сестры и, к довершению всего, об участии в нем мужа. Несчастье сестры было, по-видимому, главным ее горем; оно пока заглушило в ней все остальные чувства. Забыв совершенно самое себя, свое собственное оскорбление, свой голод, она в тот же день продала остаток жалких пожитков, наняла в отдаленной части города комнату у огородника и переселилась туда с сестрой. Чтобы существовать и вдобавок кормить сестру, которую всячески старалась скрывать от посторонних взглядов, — она от зари до зари бегала по городу, отыскивая работу: где чинила платья, где стирала белье, где мыла посуду и убирала комнаты; случалось ей даже копать гряды, как она мне потом рассказывала. За сестрой ухаживала она все время, как нежная мать, не произнося упрека, не вымолвив слова, которое могло бы огорчить больную.

Но бедной этой женщине определено было судьбою выпить до дна горькую чашу испытаний. Обольщенная девушка не вынесла родов; разрешившись от бремени девочкой, она в ужасных муках скончалась на руках сестры...

Я не мастер передавать внутренние душевные движения; вы сами поймете, что должна была выстрадать эта женщина, лишившись единственного любимого су-

щества и еще при таких скорбных условиях, — и кроме того, оставшись при своей бедности с грудным ребенком на руках! Но она перенесла все это мужественно, никому ничего не говоря, без жалоб, без ропота. Надо думать, сердце этой простой женщины — женщины без образования и воспитания, — так уже сотворено было, что одновременно с тем, когда в него входило горе с одной стороны, — с другой — оно наполнялось двойной долей добра и великодушия.

Последнее выражалось, между прочим, тем, что ребенок этот, — живое напоминание всех ее несчастий, — сделался предметом ее обожания; она перенесла на него всю потребность любви и привязанности; с ним она не только забыла, но как бы простила все прошлое. Рассказывая мне потом об этом периоде своей жизни, ей в голову не пришло пожаловаться на судьбу, на испытанную тогда трудность в добывании средств к существованию. Куда как тяжело было, однако ж, перебиваться, живя одним шитьем и получая по сорока и тридцати копеек в день!

XXVII

Тем временем о Хохлове не было ни слуху ни духу; рассказывали, он перетащился в другой большой город и там, падая все ниже и ниже, путаясь с разными проходимцами и пропойцами, завалился под конец в одну из тех ночлежных трущоб, откуда, как из дантовского ада, нет выхода.

В числе обывателей этого города проживал, между прочим, отставной генерал с семейством; вернее было бы сказать, — генеральское семейство, — весьма многочисленное, не столько проживало, сколько перебивалось и колотилось, находя слабое утешение в том, что помещалось в собственном деревянном домике с покосившимся фронтоном на мезонине. Была также деревушка, отданная когда-то в приданое за генеральшей, но ее все равно что не существовало: лес давно был вырублен, скотный двор продан на своз фабриканту, фруктовый сад уступлен за грош медный мельнику; после освобождения крестьян она окончательно перестала давать доход. Существенным подспорьем была пенсия генерала и еще кой-какие деньжонки, перепая-

давшие от родственников жены. Средства были жиденькие, особенно если принять во внимание, что генеральша проводила день, куря папироски, генерал любил щеголять напомаженным, круто завернутым, хохлом и прогуливаться, выбирая преимущественно для прогулки места, где бабы стирали белье, копали гряды или купались, — а барышни большей частью занимались прической и смотрением из окон на проходящих молодых чиновников и офицеров.

Одна из них, — старшая, — резко отличалась от сестер; она собственно только по рождению принадлежала семейству. Взятая еще ребенком теткой и крестной матерью, бывшей начальницей какого-то сиротского дома в Петербурге, она была ею выращена и воспитана. Возвратясь в семью после кончины крестной, которая оставила на имя племянницы в банке все свои экономии — тысяч пять или шесть, — молодая девушка, с первых дней, почувствовала себя отчужденной; от нее так же как бы сторонились, называя ее насмешливо «графиней»; на самом деле втихомолку завидовали ее красивой, несколько строгой, наружности, завидовали ее деньгам и раздражались ее характером, крайне сосредоченным и мало общительным.

Единственное лицо, с которым она несколько сблизилась, была старая тетка, престарелая дева, ходившая вся в черном, с коротко остриженными седыми волосами — существо в высшей степени своеобразное, не только по внешнему виду и некоторым выдающимся чертам характера, но, главным образом, по религиозным убеждениям, которые привели ее к полному самопожертвованию в пользу страждущего и неимущего. Не имея гроша за душой, но пользуясь в городе обширнейшим знакомством и общей любовью, она умела всегда выманить старое платье, фунт сахара, говядины, картофелю и даже денег, и тут же раздавала все это разным беднякам. В том проходила вся ее жизнь. Ей знакомы были в городе все нуждающиеся семейства, все углы и закоулки, где гнездились нищета и болезни, от которых она искусно лечила даровыми медикаментами.

От скуки ли, из любопытства ли, или, наконец, от сочувствия к деятельности тетки, старшая племянница, слушая ее рассказы, не раз выражала желание ей сопутствовать.

— Трудно, милушка, тяжело... И бедно-то, и грязно подчас — куды грязно, не выдержишь...

— Ничего, тетушка, авось выдержу! — возражала племянница.

Не говоря ничего дома, обе условились в дне и отправились.

— Ну, что? — спросила старуха после первой такой прогулки.

— Не весело, тетушка, твоя правда, но вообще разве весело в жизни... — задумчиво возразила племянница.

Прогулки стали повторяться чаще и чаще. В семье узнали об этом, но никто не обратил внимания.

XXVIII

Тетка с племянницей, посещая однажды одну из отдаленных трущоб, набрали на человека еще молодого, но до такой уже степени истощенного болезнями и нищетой, что оставалось удивляться, каким образом находился он здесь, а не в больнице или не на кладбище.

«В больницу его водили, но не приняли, — пояснила хозяйка углов, — сказали: дело от запоя, а там от запоя не лечат...» Она прибавила, что решительно не знает, как теперь быть: «На улицу выбросить жалостно как словно, да и полиция взыщет; с другой стороны: даром кормить и держать также не приходится... самим подчас куда туго бывает!..»

В ожидании того, чем решится судьба его, жилец, подобно Иову многострадальному, лежал чуть ли не на навозе, голодный и полураздетый. Пока тетка уговаривалась с хозяйкой насчет уплаты за ночлег и харчи, племянница разговаривалась с больным. Он не столько отвечал на ее вопросы, сколько жалостно плакал, бил себя в грудь, называл себя грешником и все время пытался через силы ухватиться дрожащими руками за край ее накидки и прижать его к губам своим.

Человек этот бы не кто другой, как Хохлов.

На другой день тетка и племянница снова посетили больного; на третий день — тоже. Каждый раз

ему приносили булок, говядины, бульону в бутылке, белья, ту или другую принадлежность одежды и т. д.

Больной заметно стал поправляться.

Как могло случиться, что Хохлов переселился в светлую комнату и перестал в чем-нибудь нуждаться — можно объяснить одним только: живым участием барышни. Впоследствии открылось, как она для этой цели — и, конечно, тайком от родителей и тетки — постепенно продавала браслеты и серьги, доставшиеся ей от крестной матери. Что вынудило ее к такой жертве, чем заслужил это Хохлов, — это другой вопрос, разрешить который труднее. Историю эту узнал я потом во всех подробностях. Поступок этой девушки может казаться диким, эксцентрическим, чем угодно, но могу вас уверить, в нем ничего не было, что могло быть предосудительным для ее чести, могло бросить на нее тень неблагоприятного подозрения. Не касаясь уже личности Хохлова, довольно припомнить ее характер, в высшей степени спокойный, ее серьезный и сосредоточенный ум, чтобы убедиться, что в ее увлечении было нечто совсем другое, чем извращенная наклонность или чувственный каприз. По природе своей она всего скорее принадлежала к типу тех женщин, которые, по преимуществу, могут увлечься гуманной идеей или политической целью и которые, увлекшись тем или другим, ни перед чем уже не останавливаются, идут к своей цели с полной готовностью жертвовать собой.

Нет сомнения, Хохлов, как мужчина, играл здесь совершенно пассивную роль; главным ее двигателем было экзальтированное желание спасти падшую душу, вызвать к жизни погибающего человека, — желание, быстро овладевшее ее умом, воображением, всеми ее чувствами.

XXIX

Помните повесть Тургенева «Странная история»? В ней рассказывается, как прелестная девушка — дочь губернатора — бежала из дому с тем, чтобы следовать за каким-то нищим; как потом встречали ее с ним в зной на пыльных дорогах, как, раз ночью, видели ее на постоялом дворе в то время, когда она, опустившись на колена, обмывает ему раны... История, рас-

сказанная Тургеневым, произошла в действительности точно так же, как та, которую я вам рассказываю, правдива от начала до конца.

Как там, так и здесь причина увлечения выходила из родственного источника: удручающая тоска в окружающей среде, потребность из нее вырваться во что бы то ни стало, сильное возбуждение душевных и умственных стремлений, обращенных к мысли быть полезной ближнему, с готовностью принести себя в жертву для такой цели, не допуская даже соображения о том, заслуживает ли цель такой жертвы.

Чтобы избегнуть скандала, который рано или поздно неминуемо должен был обнаружиться, или, вернее, чтобы удобнее осуществить свой план, она решилась бежать вместе с ним из губернского города и увезти его как можно дальше.

Вот в это-то самое время Хохлов и являлся ко мне в Петербург; она ездила туда, вероятно, с тем, чтобы получить из банка деньги, оставленные ей крестной матерью.

Вскоре узнал я, они переехали границу и поселились в Лозанне.

Мне рассказывали потом, что три или четыре года спустя после переезда их за границу, когда Хохлова разбило параличом и у него отнялись ноги, она с удвоенной преданностью продолжала ходить за ним, терпеливее прежнего сносила его капризы и грубые выходки, кормила его из рук своих, как ребенка, сама его укладывала и одевала, словом, была для него и матерью, и служанкой вместе. В хорошую погоду она усаживала его обыкновенно в кресло, у открытого окна, обернув его ноги пледом, а сама садилась подле за работу. Деньги крестной матери давно были истрачены; жили они тем, что она с утра до вечера, и часто по ночам, трудилась над починкой старых кружев и раскрашивала абажуры для ламп. Хохлов умер. Не знаю, какая постигла ее судьба, не знаю даже, жива ли она теперь...

Не далее, как три года тому назад, привелось мне видеть жену Хохлова. Это было в Петербурге. Выходит ко мне женщина, держа за руку девочку (девочке было лет семь-восемь); смотрю: как будто что-то знакомое, но, хоть убей, не могу припомнить.

— Вы меня не узнаете? — робко проговорила она.

— Нет... извините, — начал было я, и вдруг неожиданно вспомнил, вспомнил не только ее, но всю прежнюю ее обстановку.

С трудом верилось, однако ж, чтоб в десять лет можно было до такой степени измениться! Вместо милостивой, белокурой головки во вкусе Гретхен, смотрело худощавое, бледное лицо, покрытое сплошь тоненькими, как паутина, и мелкими, как рубленый волос, морщинками; меньше всего изменились глаза: еще секунда, и я наверное узнал бы ее по их кроткому, доброму выражению, которое тогда, при первом свидании, врезалось мне в память. Она давно уже переселилась в Петербург, занималась шитьем и теперь пришла просить определить куда-нибудь девочку. (Она не упомянула ни о сестре, ни о муже.) Заговорив о ребенке, она как-то вдруг оживилась и принялась с необыкновенным жаром рассказывать о замечательных способностях девочки, о ее желании учиться, о ее прекрасном характере; ее голос, движения, глаза, которые во время рассказа сияли счастьем, ясно говорили, что она вся охвачена самой горячей любовью к девочке; ей, по-видимому, недовольно было восхищаться ею на словах; она поминутно и с какой-то лихорадочной восторженностью прикасалась к ее волосам, поправляла ей косынку и трогала ее плечи.

Когда девочка была определена, Хохлова снова явилась, но уже с тем, чтобы благодарить меня. В жизнь не забуду этой сцены! Минут десять по крайней мере собиралась она что-то мне сказать и не могла; сердце ее было слишком переполнено; голос ее спирался в груди, и в горле слышалось какое-то клокотанье; слезы ручьями текли по ее щекам. Я слышал только: «Девочка моя... я... я... Благодарю вас...» На силу мог я ее успокоить.

XXX

Она с тех пор каждый год заходит сообщить об успехах девочки. От нее узнал я о кончине мужа. Вспоминая о нем и прежнем житье, она говорила совершенно спокойно, без малейшего оттенка раздражения; у нее во все время не только не вырвалось упрека, но даже намек не было на пережитое с ним горе и пере-

несенное оскорбление... Признаюсь, господа, — заключил юрист, — сильно сомневаюсь, чтобы часто можно было встретить столько великодушия в связи с таким самоотверженьем, таким запасом сердечных чувств, прибавлю: такой добродетелью, сколько, каждая по-своему, выказали эти две женщины, правдивую историю которых я вам передал.

— Меня, по крайней мере, нисколько это не удивляет, — проговорил хозяин дома, — я никогда не сомневался и не раз высказывал вам, что там, где дело идет о благородстве чувств и честности сердца, женщина несравненно честнее, благороднее и великодушнее нашего брата! Мы жалуемся на женскую хитрость, забывая, что сами в ней кругом виноваты: не мы ли поставили женщину в такое положение, что хитрость сделалась, можно сказать, единственной ее защитой; без нее ей оставалось бы окончательно быть приниженной рабой и пешкой! По-моему: да здравствует даже тот тип романтических и мечтательных женщин, который так не по сердцу нашему другу инженеру! Да здравствуют даже и те, которые заставляют нас страдать, да, — страдать, потому что, страдая, все-таки живешь страстной живой жизнью... Но безусловно злых женщин очень мало. Положительно хороших женщин неисчислимое большинство против дурных, и, в общей сложности, если на свете есть какое-нибудь совершенство, оно выражается честной и доброй женщиной!..

Наконец, кто лучше их умеет любить?..

— И в этом их главное преимущество! — подхватил с обычной горячностью литератор. — Любовь! Этот лучший дар, это высшее чувство человека! Обращено ли это чувство к отечеству, к общественной пользе, к отдельной личности, оно далеко оставляет за собой все то, что обыкновенно служит двигателем в нашей жизни. «Жизнь без любви — горький сон», — говорят итальянцы. Я со своей стороны прибавлю следующее: все наши цели, мудрствования, так называемые «дела», тщеславные стремления, карьеры и т. д., и т. д. — все это, если взять в расчет не вечность, но только нашу коротенькую жизнь, все это не стоит в сущности того, чтобы колотиться, биться, огорчаться или радоваться, как мы это делаем! На свете есть одно настоящее дело, которым стоит серьезно заниматься, — это любовь! Уж на что, кажется,

бывали на земле крепкие люди, кремневые натуры, и те не выдерживали — покорялись! А остальная мелюзга только хорохорится; она только хвастает своей несокрушимостью, без нужды, — потому что никто ей не верит. Для любви, для нее одной стоит родиться на свет, и прискорбно умирать потому только, что приходится расстаться с ней и нет более надежды испытывать ее снова...

На этом месте увлеченный оратор был прерван звуком часов, которые пробили час ночи.

Товарищи пожали друг другу руки и стали расходиться, пожелав каждому покойной ночи.

Того же и вам желаю, читатель.

1889





ГОРОД И ДЕРЕВНЯ

(Повесть)

Посвящается графу
Сергею Дмитриевичу Шереметеву

Глава первая

Есть одиночество — в глуши,
Вдали людей, вблизи природы —
Полно задумчивой свободы,
Оно целебно для души;
В нем утихают сердца бури,
В нем думы, как цветы полей,
Как звезды в тьме ночной лазури,
Сияют чище и светлей.

Гр. А. Голеницев-Кутузов

Все жаждет, истомясь от зною;
Все вопиет: дождя, дождя!
И рады все, что солнце мглою
Покрылось, сумрак наводя.

Полонский

I

Уже несколько времени как отцвела черемуха и пришла очередь цвести липам.

Аллея старинного сада, насаженного еще дедом те-перешних владельцев, — цвела полным цветом. Сверху ее донимало жарким полуденным солнцем; внизу только, под ее тесным, густолиственным сводом, можно было укрыться от зноя; но и здесь не легко дышалось в тучном, пресно-медовом запахе лип, которые цвели в этот год с особенной силой. Аллея разделяла сад на две половины: справа и слева, в одну сторону и в другую, — шли ряды яблонь, и тут же, в стороне, теснились кусты малины, смородины, крыжовника и гряды клубники. Здесь солнцу был полный простор жарить своими лучами; надо было прищуриваться, обращая глаза в эту сторону. Воздух не двигал ни од-

ним листиком; все вокруг как бы замерло, куда-то завалилось, попряталось от зноя; одни пчелы целыми роями неугомонно гудели под липами, да слышалось время от времени, как где-то подле лопался от жары стручок, постреливая пересушенными своими зернами.

На одном конце аллеи находилась калитка, проделанная в плетневой загороди; она отворялась на дорогу, огибавшую крутой берег небольшой речки; дальше зеленели луга; еще дальше, — высились холмы, покрытые пашнями и лесом. Другой конец аллеи примыкал к двухэтажному поместительному деревянному дому, построенному без архитектурных затей, как строили в начале столетия коренные помещики, проводившие свой век в деревне. Из середины нижнего этажа, прямо против аллеи, почти касаясь первых ее деревьев, выступал широкий балкон, прикрытый от солнца холстяной маркизой с разводами из кумача.

II

На балконе, в креслах, плетенных из жимолости, сидела хозяйка дома, — женщина лет тридцати, может быть несколько даже старше, — но замечательно сохранившаяся; о таких женщинах говорят обыкновенно: они моложе своих детей. Светло-русые волосы, гладко причесанные, открывали небольшой, но чистый, белый лоб; спокойно, мягко смотрели из-под него прекрасные темно-серые глаза; они были единственной ее красотой, — по крайней мере, больше всего, с первого раза, обращали на себя внимание.

Но стоило всмотреться в остальные ее черты, остановив взгляд на полных губах с их хорошей, доброй улыбкой, познакомиться с ней ближе, чтобы убедиться, как часто внешняя красота уступает перед обаянием женственности; от всего ее существа веяло таким обаянием, — веяло чем-то здоровым и свежим; глядя на ее пышное расцветание, казалось, она призвана была к жизни с тем, чтобы, в свою очередь, передавать другим здоровую жизнь, распространять вокруг себя безмятежное, довольное чувство.

На ней была белая блуза, обшитая русскими кружевами и подпоясанная темной лентой; широкие рукава открывали до локтя прелестные руки; под нежной

белизной кожи просвечивали голубоватые вены; украшением пальцев служило только обручальное кольцо. Подле нее, на круглом столе, пестрел ворох самого разнообразного тряпья, из-под которого выглядывал старомодный баульчик с клубками, ножницами и другими принадлежностями шитья; в стороне виднелись тщательно сложенные один над другим крошечные чепчики, надеваемые обыкновенно на новорожденных; яркие цвета, ленты, пышные, преувеличенные банты давали тотчас же знать о их назначении для крестьянских детей. У ног барыни стояла большая корзина, наполненная доверху таким же тряпьем.

Барыня эта, Александра Васильевна (по мужу Кирсанова), владела Лужниками (так звали деревню) по наследству после тетки, у которой воспитывалась. Она родилась здесь, в этом самом доме, росла в нем, вышла там замуж, родила в нем всех своих детей. В течение десяти лет замужества, она всякий год, зимой, уезжала — много на неделю — в Москву или в Петербург, чтобы повидаться с сестрой. Последняя, шестилетним ребенком, взята была другой теткой, увезена ею в Петербург и воспитывалась в институте; после выхода из него, вышла вскоре замуж и осталась жить в столице.

Александра Васильевна была не одна на балконе.

По ту сторону стола, и также в плетеных креслах, сидел ее муж, рослый, видный мужчина с открытым, прямодушным лицом, на котором загар оставил белыми только верхнюю часть лба и шею. Он был острижен коротко под гребенку; в его полной бороде и усах начинал проскакивать кой-где серебряный волос. Между мужем и женой совершенно справедливо, казалось, разделены были два свойства: ей дана была женственность; ему — энергия и сила воли; то и другое скорее, впрочем, в нем чувствовалось, чем выражалось особенно выдающимися чертами.

Он был в парусинной жакетке, таком же жилете и панталонах, запрятаных в высокие сапоги.

Из-под его стула выглядывала голова собаки с беловатыми глазами, беспокойно моргающими из-под взбудораженных клочков шерсти; голова лежала на лапах, и тут же, сбоку, виднелся вытянутый от жары красный язык с капавшей слюной. Трудно было вообразить что-нибудь уродливее этого шершавого пса, лишенного всякой породы, исполненного, кроме того,

множества недостатков. Но пес этот был любимцем всех детей, и боже упаси было бы отнестись к нему сколько-нибудь строго!

Года два тому назад дети во время прогулки, встретив случайно толпу мальчишек, собиравшихся топить щенка, бросились на выручку, спасли жертву и, горячо споря о том, кому ее нести в дом, явились с ней к родным. Отец, ввиду уродства спасенного, хотел было прозвать его «Квазимодо», но поднялся страшный крик; щенку дано было название «Милюши»; с тех пор детей и Милюшу связывала неразрывная дружба.

В двух шагах от собаки, на полу, лежала, разметав руки и ноги, холщовая кукла домашней работы, т. е. просто сшитая из тряпья, с бисерными крапинами вместо глаз и между ними небольшим нитяным захватом, изображавшим нос.

III

Муж и жена, беседуя под шумок пчелиного жужжания, часто прерывали разговор; она — откладывала свою работу, чтобы опахнуть себя платком; он — закуривал свежую папироску. В одну из таких минут ее глаза, неожиданно встретив куклу, быстро обвели балкон.

— Куда делась Катя?.. — произнесла она мягким голосом, отвечавшим ее наружности.

Муж приподнял голову и, посмеиваясь, указал глазами на ближайшую часть фруктового сада, где тень от лип начинала захватывать гряды, заросшие кустами клубники.

Там выделялась белая накрахмаленная и приподнятая детская юбка, над ней голубой бант, ниже соломенная шляпка, а еще ниже, у самой зелени, затылок русой головки.

— Катя, что ты там делаешь, — проговорила мать, слегка приподымаясь, — ты, кажется, изволишь кушать ягоды?..

— Нет, мамочка, я только их целую... — отвечал тонкий голосок.

— Хорошо, поцелуй еще одну ягоду и ступай сюда...

Край юбки мгновенно опустился, бант исчез и вме-

сто них показалось раскрасневшееся, потное лицо хорошенькой девочки лет трех. Она подбежала к лестнице балкона и стала торопливо подыматься, согласно методу детей ее возраста, т. е. действуя старательно только правой ногой, а левую слегка волоча за ней.

— Посмотри на что ты похожа! — сказала мать, отирая ей лицо и края губ, между тем как отец протягивал уже руки, чтобы посадить ее на колена. Он провел ладонью снизу вверх по волосам девочки и звонко поцеловал ее в лоб.

Собака тотчас же выскочила из-под стула и задвигала хвостом.

Почти в ту же минуту в темном отверстии балконной двери обрисовалась маленькая сухопарая старушка, — из тех, что называют: «стопочками»; на ней был высокий, туго накрахмаленный чепец и ситцевый, коричневого цвета капот с белыми крапинами; лицо ее состояло из одних мелких морщинок и веснушек. Несмотря на то, что ей было далеко за шестьдесят (она выкормила хозяйку дома и теперь нянчила ее детей, не допуская к ним прикасаться остальной прислуге), она держалась прямо, как стрелочка, и все ее движения отличались суетливой быстротой.

Она вошла так неожиданно, что муж и жена невольно повернулись в ее сторону.

— Что тебе, Прокофьевна? — спросил Кирсанов.

— К вам, отцы мои, хошь бы вы вступились, — заговорила старушка, потрясая чепцом, — время ли теперь сидеть за книжками! Вишь жара какая, птица не летит; куры — и те попрятались; а они: та-та-та, ра-ра-ра, сидят, сердечные, уроки твердят... От них только сохнут!..

— Поговори поди с Ольгой Петровной...

— Что мне Ольга Петровна! Она им тетка! Вам надо вступиться!

— Нельзя же им целый день бегать; надо и поучиться... — проговорила Александра Васильевна.

Старуха живо обратилась к ней:

— Ты, мать моя, живя здесь у тетушки, пока замуж не вышла, не бог весть сколько сидела за книжками-то; ума у тебя не убавило, хуже не стала: вишь какая здоровая да румяная... Тьфу! тьфу! чтобы не сглазить! — перебила себя старуха, плюя трижды через плечо. — Сестрица твоя, Надежда-то Васильевна, в петербургском институте воспитывалась, все науки про-

изошла, — что ж, лучше что ли? — подхватила она, — тощая, худая — смотреть жалко! Да!.. Ты вон четверых родила и выкормила — и нуждушки нет! Она, сестрица-то твоя, двух всего родила и то каждый раз чуть не помирала родами-то... Бог только спас!.. Ты вон у нас везде поспела, и по хозяйству, и шить что, и больных лечишь; сама другой раз больному-то рану обмоешь... Сестрица-то, даром в институте науки произошла, — покажи-ка ей рану-то: небось только ахнет да глазки свои зажмурит! Вот она наука-то! Чему вы оба смеетесь! Правду я говорю; послали бы лучше наверх за детьми... Совсем ведь заморили...

— Ну, будь по-твоему, Прокофьевна, ступай, скажи сестре, чтобы детей отпустила... Катю возьми с собой...

— Вот за это спасибо! Обоим в ножки поклонюсь... Пойдем, моя сахарная! — живо подхватила старушка, взяв на руки девочку. — Ты куда, йаршивец! Куда? — обратилась она к собаке, которая, двигая хвостом, пошла было за ней. — Иван Петрович, не пускай его, придержи; прибежит к детям — блох только напустит!..

Собака, как бы сознавая справедливость обвинения, улеглась снова под стул хозяина.

IV

Разговор между мужем и женой, прерванный на минуту появлением няни, продолжался.

— Когда же ты думаешь поднять образа? — спросила Александра Васильевна.

— Думаю, завтра: вся деревня нос повесила; и есть от чего: сегодня ровно три недели, как ни капли дождя, — все пересохло! Сено тощее; овес — если еще три-четыре таких дня — совсем пропал!..

— Ты говорил: рожь превосходна; она за все вознаградит...

— Словно ты не знаешь, что не хлеб нас кормит! Случись неурожай — хлеб можно еще добыть; подвезут с той или другой стороны; без корму — нет скота, нет удобрения и, следовательно, будущий год и хлебу плохо. Помнишь шесть лет тому назад, когда роди-

лась Лиза, пришлось продавать скот; лошадь отдавали за три рубля, корову за рубль, — и то слава богу!.. Едва поправились — опять тем же грозит!

— Не тревожь себя заранее; авось еще бог взмилуется, — сказала жена своим ровным мягким голосом.

— Да, авось! Авось! — возразил он, подавляя вздох, — вот этот самый авось и заставляет тревожиться. Авось, — значит, случайность; изволь-ка существовать в зависимости от этой случайности! Поневоле возьмет раздумье! Природу называют кормилицей; эпитет «равнодушная» подходит к ней гораздо ближе. Нам здесь видней, как мало ей дела до наших нужд, забот и тревожений. Ждешь дождя с замиранием духа — стоит засуха; до зарезу нужны ведра — льет дождь без перерыва, и так далее... С этой стороны позавидуешь, право, городскому жителю: живет себе, в ус не дует; пошел дождь — ему досадно только, что приходится отложить прогулку. «У нас, говорит он, май был восхитителен; представьте: весь месяц — дивная погода, ни капли дождя!» Ему в голову не приходит, что то, что его радует, — сокрушает здесь наши сердца, часто даже заставляет проливать слезы...

V

Разговор был внезапно прерван отдаленным шумом на лестнице внутри дома; послышались учащенные шаги на ступеньках и детские голоса. Собака мгновенно выскочила из-под стула и с визгом понеслась в комнаты.

Минуту спустя, из дверей балкона выбежали две девочки и мальчик, одетые одинаково, в небеленую парусину, с широкими соломенными шляпами на голове; у каждого была в руках плетеная корзинка.

Сначала все бросились к матери; но прежде чем наступила очередь отца, пришлось вступить в борьбу с Милюшей, который точно обезумел: визжал, лаял, производил в избытке радости такие скачки, что часто тыкался мордой в лицо то тому, то другому из детей.

Нужно было появление старой няни, единственного во всем доме личного врага Милюши, чтобы охладить

его восторги; у нее была своя любимица — Катя; она несла ее на руках.

За няней в дверях показалось новое лицо, — сестра Ивана Петровича. Можно было подумать, она была в глубоком трауре. Черный цвет согласовался, впрочем, как нельзя лучше со смуглым цветом ее южного лица, ее черными волосами с синеватым отливом, бровями и даже пушком на верхней губе. Мысль, что она так одевалась потому, что траур придавал тонкость ее стану и шел ей к лицу, показалась бы ей весьма забавной. Сходство между ею и братом было разительное; она, по-видимому, унаследовала даже его нравственные качества; разница была в том, что признаки энергии и воли смягчались у нее большими черными, точно бархатными глазами, задумчиво смотревшими из своих впадин. Задумчивость эта, очевидно, не была праздной; сквозь нее слишком явно отражалось присутствие живой мысли. В любви к брату примешивалось фанатическое чувство с самого детства; она не разлучалась с ним со смерти матери. Когда брат открылся ей первый раз в любви к Александре Васильевне и намерении жениться, — она решила было пойти в монастырь. Чувство ревности, овладевшее ее сердцем, не было продолжительно; оно улеглось само собой, как только она убедилась в счастливом выборе брата. Любовь молодой женщины к мужу, кротость ее нрава, душевные и нравственные качества не только внесли примирение в сердце Ольги Петровны, но дали в нем место новому чувству к той, которую считала она разлучницей; чувство это было — горячая преданность и дружба. Несколько раз потом представлялся ей случай выйти замуж, встречались отличные партии — она всякий раз отказывалась, говоря, что незачем искать счастья, когда Промысл послал ей совсем уже готовое. Она посвятила себя воспитанию детей брата и принялась за это с увлечением и страстно, как во всем, за что ни бралась; страстность ее природы, горячность сердца и также убеждения, несмотря на свою замкнутость, выражались не только любовью к брату, золовке и их детям; ей как будто мало было этого: она простирала любовь ко всему, что жило, нуждалось в помощи, страдало.

Не готовясь быть педагогом, она много училась, повинувшись собственному влечению к любознательно-

сти; к ее знанию примешивались убеждения, которыми она руководилась, воспитывая своих племянниц и племянника.

Одна из главных ее забот состояла в том, чтобы внушать детям чувство милосердия, пробуждать в молодых сердцах уважение и неприкосновенность ко всему, что пользуется даром жизни. Из игр исключены были саки для ловления бабочек, удочки для ужения рыбы; во время прогулок все ограничивалось корзинками для собирания грибов и ягод. Она наблюдала, чтобы дети по возможности меньше обращались к прислуге: сами не только убирали свои вещи, но убирали свою комнату, стлали себе постель, чистили платье. Она делала все это спокойно, без насилия, исподволь. Стараясь действовать на них примером, Ольга Петровна сама, вопреки просьбе золовки и брата, шила себе белье, носила его толще, чем бы могла, не употребляла в пищу мяса, всего, что когда-нибудь жило живой жизнью, — питалась исключительно молоком и овощами.

Так как в последнем случае она не настаивала, ограничиваясь таким правилом для себя собственно, брат и золовка ей не противоречили. В остальных ее взглядах они были с ней согласны.

Так, например, между Кирсановым и его женой решено было не отдавать единственного сына, Сережу, ни в какое учебное заведение, готовить его дома до совершеннолетнего возраста, но вместе с тем постепенно приучать его к сельскому хозяйству.

— Служащих всякого рода у нас множество, — говорил Иван Петрович в оправдание своего взгляда, — настоящих хозяев, знающих и любящих свое дело, — почти нет. Хороший деятельный хозяин, старательно улучшающий свою часть — улучшает известную частицу государства и, следовательно, служит не только себе, но служит отечеству нисколько не хуже любого чиновника или офицера. Наконец, нашему брату, помещику, пора браться за ум, пора заняться настоящим своим делом; без этого всякого рода кулаки и эксплуататоры окончательно вырубят наши леса, разорят нас и пустят по миру вместе с крестьянами. Что же касается домашнего воспитания сына — не вижу в этом худого. Оно сохранит ему любовь к родным, к семье, любовь и привязанность к родному гнезду,

к земле, на которой родился и вырос. С такими чувствами люди не пропадают!

Серезу в семье иначе не называли, смеясь, как: «будущий хлебопашец».

VI

— Тетя Оля, куда мы пойдем сегодня? В какую сторону? — спрашивали дети, окружая тетку.

— Вы знаете, каждому своя очередь выбирать прогулку; сегодня мой черед, — отвечала она, поправляя шляпки то тому, то другому.

— Иван Петрович, — проговорила Прокофьевна, — Савельич велел сказать: беговые дрожки тебе поданы.

— Ты едешь? — спросила жена, видя, что муж тотчас же встал и взялся за фуражку, — подождал бы, пока жара спадет.

— Припекать-то припекает, да что делать! Надо присмотреть, что творится у нас на Выселках; я нанял землекопов рыть канаву для осушки болота; другие работники возят сено; надо еще кой-куда заглянуть... Ну, прощайте, дети! Набирайте побольше грибов! Прощайте все!..

Он перецеловал присутствующих и вышел.

— Александра Васильевна, выдь поди, — заговорила опять няня.

— Зачем?

— Пришла к тебе Анна, — вот что вдова-то; опять ребенок захворал; все с ним убивается; а тут еще старика на подводе привезли из Сосновки, — должно быть, зашибся... Сама пеняй на себя, мать моя, — сама их повадила.

Александра Васильевна убрала работу, перекрестила детей и ушла в комнаты.

— Как не устанешь ты, няня, день-деньской держать на руках Катюшу? — сказала Ольга Петровна. — Тебе как не жаль няню? — свои ноги есть; смотри-ка, здоровые какие икры, точно наливные яблоки! — подхватила она, принимаясь щупать икры девочки.

Остальные дети, смеясь, обступили няню и также начали щупать икры Кати.

— Полно вам! Полно!.. Тьфу! тьфу!! чтобы не

сглазить. Ну, что пристали!.. — отбивалась Прокофьевна, — всегда невесть что тетушка выдумает...

— Гулять, Катя, гулять с нами! — кричали дети.

— Как же, угоняешься за вами, долговязыми! У нее сегодня головка болит... Ступайте, она дома останется...

При последних словах старушки Катя, протянувшая было руки к сестрам, залилась вдруг слезами.

— Ай, слезы... слезы... — запищала она, припадая лицом на грудь няни и обхватывая руками ее шею.

Катя в настоящем случае повторяла только слова матери, которая просила всегда немедленно удалять девочку, когда замечала, что та собирается плакать. «Ай, слезы! слезы!» обозначало у Кати: «Уноси скорей, няня, сейчас заплачу».

— Ах ты, мой слезливый Богдан, слезливый Богдан! Пойдем, моя сахарная!.. Кошка-то наша, Машка, как обрадуется со своими котятками... Ты их, никак забыла... Пойдем, золотая... — уговаривала старуха, глядя девочку по голове и в то же время заслоняя ее локтем от шаловливой Лизы, продолжавшей тормозить сестру.

Тетка, Сережа и Соня успели уже спуститься с лестницы и отбивались от Милюши, окончательно обезумевшего от радости.

Немного погодя тетка, дети и собака скрылись под темным сводом липовой аллеи, шумевшей от пчелиного жужжанья, как сосновый бор, слегка потревоженный ветром.

VII

Аллея, как известно, выходила дальним концом на дорогу и речку. Отсюда, взяв влево, можно было пройти к мельнице и плотине, перекинутой с одного берега на другой.

У плотины Ольга Петровна остановила свою команду.

— Тебе, Соня, старшей и благоразумной девочке, поручаю провести Лизу; я возьму Сережу...

— Я сам, я сам! — закричал «будущий хлебопашец», — я пойду с Милюшей.

— Для того, вероятно, чтобы на самой середине

плотины Милюша начал скакать и сбросил тебя в воду... Вперед, Милюша, марш!.. Давай руку, Сережа! — закричала тетка, ухватив руку мальчика.

Миновав благополучно плотину, Ольга Петровна взяла влево и, обогнув крутой берег, покрытый орешником, вступила с детьми в широкую луговую долину.

Вдали группы ветел обозначали повороты речки. Местами она открывалась, ослепительно сверкая на солнце. Трава недавно была скошена, и от убранных стогов, подымавших свои острые верхушки, долетал запах свежего сена. По ту сторону речки, но очень далеко, виднелось стадо, лежавшее на отдыхе; дальше мелькали белыми крапинами гуси; перья и пух, попадавшиеся на лугу под ногами детей, показывали, что гуси накануне были на этой стороне берега. Дальше, за рекой, местность подымалась волнистыми косогорами и желтеющими полями созревающей ржи.

Весь правый бок долины замыкался сплошным высоким холмом, по которому неправильными косяками сбегали березовые и сосновые рощи. Между ними, по скатам холма, сверху донизу, прорезывались овраги с их извилистыми краями, окаймленными кустарником. Один из них, самый старый и глубокий, был любимым местом детей.

Не трудно было теперь догадаться, что тетушка выбрала его целью настоящей прогулки.

Но радостные крики, сопровождавшие обыкновенно открытие такого рода, были задержаны на этот раз следующим обстоятельством: старшая девочка — Соня, шедшая впереди, неожиданно остановилась; простирая руки в виде крыльев, она дала знать, чтобы за ней никто дальше не двигался.

— Что такое?.. Что?.. — посыпались вопросы.

— Шш!.. Тсс!.. — шептала Соня, — где Милюша?.. Чтобы только он не помешал... — добавила она оглядываясь.

Насчет Милюши нечего было заботиться; лай собаки, гонявшейся вдалеке по лугу за галками и ласточками, едва доносился. Больше опасности было за спиной Соня, где все еще нет-нет прорывался сдержанный шепот и смех Лизы.

Он умолк, как только приблизилась тетка.

— Тсс!.. смотрите... Вот там... там... — едва внятно

продолжала шептать Соня, вытягивая шею и стараясь направить глаза присутствующих к опушке ближайшей березовой рощи.

Там, немного ниже того места, на котором они находились, в траве, оставшейся нескошенной, торчавшей клочками, заметно было легкое колебание. Секунду спустя показалась головка птицы, за ней другая... Еще секунда, и на глинистом бугре, едва прикрытом травой, выступили две куропатки и между ними целый выводок птенцов. Рожденные несколько недель тому назад в густой чаще клевера и других трав и постепенно изгоняемые оттуда косарями, птенцы настолько уже оперились и окрепли, что не встречалось особенной надобности их прятать; напротив, чувствовалась потребность знакомить их со светом и давать им погреться на солнце. Птенцы с видимым удовольствием отдавались такому призыву; суетливо шныряя под прикрытием отца и матери, они радостно били крыльшками, стараясь опередить друг друга и на ходу подбирая зерна.

Притаив дыхание, Ольга Петровна и дети не пропускали их движений. Но Сережа не выдержал; вынуд украдкой из кармана платок, он потрянул им по воздуху.

Миг один — птичья семья собралась в кучу; раздались пугливые голоса, и, прежде чем дети успели опомниться, испуганная стая разом поднялась, описав в воздухе большой круг, и скрылась за рощей.

Присутствующие повернулись к Сереже. Держа платок в руке, он стоял как озадаченный, недоразумевая, по-видимому, как все это случилось.

— Скажи, пожалуйста, зачем ты это сделал? — спросила тетка голосом тихого, сдержанного упрека. — Птички радовались, мы также, на них глядя. У нас ты отнял удовольствие, их напугал и потревожил, не имея на это никакого права...

— Тетя, дорогая тетя, не сердись на него, он больше не будет... — заговорили обе девочки, поглядывая на брата, который стоял весь красный, как печеный рак, и с понурой головой.

— Я не сержусь, — возразила тетка, — говорю только: он не имел права мешать не только нашему удовольствию, но пугать этих бедных птиц, которые ничего ему не сделали... Он прежде всего должен сердиться

на самого себя, за свой необдуманный поступок... Подыми голову! — добавила она, бережно обтирая ему потное лицо. — Мы вышли из дома несколько рано; всем, я вижу, жарко... Теперь, дружным шагом вперед! В овраге всем будет прохладнее!..

VIII

Овраг этот недаром считался любимым местом прогулки.

Когда-то в дальнем его конце был родник и по дну бежал ручей; но от него оставался теперь только плитняк, глубоко засевавший в глину. Остальная часть, от самого дна, густо заросла орешником, мелким дубняком, кустами дикой малины; над ними подымались серые стволы старых осин, с их трепетной листвой, и выделялась темная зелень таких же старых сосен. Путь по дну то и дело заслонялся корнями отживших деревьев, колючими ветками ежевики, цеплявшей везде своими крутившимися усиками. Ветви ближайших деревьев местами встречались и, скрещиваясь с ветками дубняка и орешника, закруглялись сводом, бросавшим под собой густую тень. Свежесть делалась здесь чувствительной, веяло сыростью. В этой заглохшей мгле распускался веером папоротник, носился крепкий запах зари, выставлялись — точно граненые — листья костяники, из-под которых смотрели сердцевидные, сплюснутые красные ягоды. Местами деревья расходились, открывая то справа, то слева глинистые обрывы с верхним зубчатым краем, обвешанным корнями. В тех участках, куда проникало солнце, свешивались косматые пучки трав, и между ними, на тонких, гибких стебельках, наклоняли свои чашечки лиловые колокольчики.

Но прохлада оврага, изобилие в нем ягод и грибов не столько привлекали детей, сколько его таинственная глушь, переносившая их воображение в чащу диких, дальних лесов, о которых любила им читать и рассказывать тетушка.

Не успела она приладиться на давно привычном месте и развернуть книгу, как уже детские голоса слышались в тридцати шагах. Лай собаки возвестил, что она успела к ним присоединиться. Ольга Петровна — здесь по крайней мере — нисколько не беспокоит-

лась за своих питомцев. Кроме того, что овраг был безопасен, дети, бегая по нем каждое лето, знали наизусть все его изгибы и закоулки. В известных случаях она намеренно давала им полную свободу; ей хотелось этим способом приучить их исподволь к некоторой самостоятельности, к личной ответственности за неосмотрительность и оплошность. Дети брата, воспитанные ею, были несколько детьми природы; с ее точки зрения, все это было так, как быть следовало. Переносясь мысленно к детям, виденным ею в Петербурге, припоминая, в большинстве случаев, их бледный, истощенный вид, — следствие замкнутой, сидячей жизни и также насильственного, преждевременного умственного труда; припоминая их болезненную нервность, взыскательность и потребности, часто несвойственные возрасту, она в сотый раз приходила к убеждению, что детство ее «простачков» (так шутя называла она своих племянниц и племянника) было бесприммерно счастливее: они были здоровы телом, не знали причудливых затей, были просты душой.

Время от времени она отрывалась от книги и прислушивалась к их голосам, то удалявшимся и пропадавшим, то раздававшимся над ее головой с высоты окраин оврага. Слышалось, как осыпалась сухая глина, трещали мелкие сучья, и затем между кустами показывался то тот из детей, то другой, с разгоревшимися щеками и потным лицом.

Всякий раз тетушка должна была выслушать какую-нибудь новость, и всякий раз новость сообщалась с преувеличением, свойственным избытку живости и воображения. Милюша выследил зайца, погнался за ним, и его никак нельзя докликаться. Соня напала на целую кучку рыжиков, — столько рыжиков, столько рыжиков, — набрала почти целый короб! Сережа, бегая за белкой, ужасно, ужасно исцарапал руку!

Одна из новостей, сообщенная старшей девочкой, Соней, обратила на себя особенное внимание тетки.

— Тетя! — крикнула Соня, торопливо спускаясь с ближайшего обрыва, — там, за рощей, огромная туча... вся черная, черная... отсюда не видать!.. Ветер с той стороны... Она непременно идет в нашу сторону...

— Где сестра и брат?.. — спросила вставая Ольга Петровна.

— Они тут недалеко... — ответила Соня, придерживаясь на скате за ветку орешника.

— Зови их скорей сюда, — сказала тетка, принимаясь в свою очередь аукать.

Минут десять спустя команда Ольги Петровны была в полном сборе. Но прежде чем собраться в путь, пришлось еще долго утешать Лизу; второпях она опрокинула на скате корзинку, — высыпались все грибы и ягоды. Не успели они общими стараниями подобрать их, как в отдалении послышался громовой раскат.

— Скорей, дети, живо! — заговорила тетка. — От дома далеко; надо поспеть, пока нас не захватил дождь. Скорей, скорей!..

IX

Только что вышли они из оврага, гром прокатился снова, но уже совсем близко. Из-за холма быстро надвигалась косым крылом темно-сизая туча с бурными окраинами; под ней, в глубине, нарастал мрак. Он затопил уже холм и, спускаясь ниже, побежал вперед по луку, захватывая с каждым мигмом больше пространства. Посреди наступившей тишины послышалось вдалеке, как зашумели вдруг рощи; откуда ни возмись, сорвался вихрь; секунду спустя, по всей долине загудел ветер. В темноте, потоплявшей окрестность, неслись клочья сена, оторванные от стогов, неслись в беспорядке галки, усиленно махавшие крыльями, летели ветки прибрежных ветел, которых трепал ветер, обращая их листья посеребренной изнанкой. Перекаты грома повторялись все чаще; то тут, то там сверкала молния, обливая лиловым светом рощу или часть луга; в похолодевшем воздухе начали капать крупные капли дождя.

— Скорей, скорей, детушки! Вон там стог сена, скорей к нему! — говорила тетка, пропуская вперед детей.

Ускоряя шаг, они с трудом придерживали на голове шляпы.

Подгоняемые ветром, они подбежали к стогу и только что успели заслониться от ветра, — раздался

новый удар грома, и дождь полил сильнее. Укрыться от него можно было не иначе, как высвободив сено из нижней части стога; все дружно принялись за работу. Дождь, превратившийся в ливень, мог теперь лить сколько было угодно; Ольга Петровна и жавшиеся к ней дети, подобрав ноги, смотрели из своей засады на длинные струи воды, катившие мимо них с боков стога. Всем было даже весело; выражение веселости задерживалось только беспокойством насчет Милюши; он пропал с тех пор, как погнался за белкой; вероятно, рыщет теперь, весь мокрый, в тщетной надежде напасть на их след. Неизвестно, насколько бы Ольге Петровне удалось успокоить своих питомцев, уверяя, что Милюша не пропадет, что ему ничего не сделается, напротив, его обмоет дождем и убавит в нем блох, если б неожиданно, у их ног, не показалась вдруг морда собаки с ее белыми, моргающими глазами, заслоненными вкривь и вкось мокрыми ключьями шерсти.

— Прочь! Прочь!.. Дети, оставьте его, — он всех нас перепачкает, повторяю вам: дождь ему в пользу... Прочь, Милюша! — говорила тетья в ответ на радостные восклицания. — Теперь вы успокоились?.. Давайте-ка лучше петь песни, благо все довольны.

— Какую?.. Какую?..

— А хоть бы ту... помните, которую поет иногда няня, когда идет дождь?

— Знаю! Знаю! — воскликнула Соня и тоненьким голосом пропела:

Дождик, дождик, перестань,
Мы поедем на Йордань:
Богу молиться,
Христу поклониться...

— Я знаю другую, — вмешался Сережа, — меня научил наш пастух...

— Ну, ну... — заговорили все в один голос.

Сережа, желавший, вероятно, быть вполне верным в подражании пастуху, склонил набок голову и запел неестественным басом:

Дождь, дождь!
На бабину рожь,
На делову пшеницу,
На девкин лён
Поливай ведром!..

Гром продолжал греметь, но раскаты его как бы начали удаляться; вместе с тем струи воды, катившие мимо их ног по бокам стога, заметно стали редеть. Когда вместо них стало только капать, Ольга Петровна и дети решились выбраться из своей засады.

Там, за холмом, где четверть часа тому назад двигалась туча, открывалась полоса чистого неба; туча, с ее зловещим, крутившимся краем, бежала теперь над полем ржи, желтевшим за речкой.

Тетка и дети, подобрав платья и шлепая по мокрой траве, направились целиной через луг к берегу, над которым в одном месте возвышались ветлы; там был старый мост, служивший для перегона стада на луговую сторону. Этим путем скорее всего можно было прийти к дому.

Х

Вокруг между тем становилось все светлей и светлей. Когда они вышли на мост, солнце захватывало уже часть луга, ослепительно сверкая на мокрой траве и мокрых глянцевитых листьях ветел, по которым, звонко шлепая, скатывались дождевые капли. Было несколько трудно подыматься за мостом по скользкой глиняной дороге с колеями, наполненными водой; но подъем кончился, дорога пошла гладью между полями ржи; слева только — и то далеко — замыкали их верхушки старого сада и виднелась красная крыша господского дома.

От тучи оставалось очень немного; сизой полосой делилась она теперь впереди на дальнем горизонте, и по временам оттуда проносилось глухое грохотанье; вся остальная часть неба из края в край отливала, точно обмытая, светлой прозрачной лазурью; в воздухе разливалась мягкая увлажненная теплота. Рожь, взбурдаженная ветром, прибитая дождем неровными волнами, отдавала хлебным запахом; все вокруг, — море колосьев с мелькавшими между ними васильками и бледными пахучими цветками вьющейся повилочки, — снова как бы приходило в себя, оживало и приподымало голову.

В то самое время, как Ольга Петровна входила с детьми на двор, с другого конца двора, в воро-

та, въезжал на своих беговых дрожках Иван Петрович.

Ноги его до колен забрызганы были грязью; поля круглой шляпы и казакин насквозь пропитаны были водой; но прежде всего бросилось всем в глаза его раскрасневшееся лицо, оживленное необыкновенной веселостью.

— Ага! — крикнул он, отдавая вожжи молодому, сопровождавшему его конюху, — вас также, как я вижу, славно всех отделало!.. Но что же вы скажете? а? Какова благодать!

Одновременно с этим восклицанием на крыльце показалась его жена.

— Слава богу, и вы здесь! Ты, Оля, была с ними, но, понимаешь, поневоле брало беспокойство при виде этой грозы... этого ливня.

— Не ливень, голубушка моя, не ливень, — благодать божия, — суцая благодать! Сердце не нарадуется! — с восхищенным видом повторял Иван Петрович, отряхая платье.

Дети окружили мать и отца; кто показывал корзину с грибами, кто с жаром рассказывал впечатления грозы и как они от ливня прятались в сене, как пели песни.

Все наконец пошли в дом.

Пока дети передевались, пили молоко и ложились спать (в правилах Ольги Петровны было укладывать их очень рано), — солнце уже село и наступили сумерки.

Переменив платье, Иван Петрович вместе с женой отправился наверх проститься и благословить детей. Оба спешили сойти вниз, так как в отсутствие Ивана Петровича привезена была почта. К ним вскоре присоединилась Ольга Петровна.

На балконе, где в полдень сидели Кирсановы, накрыт был стол с кипевшим самоваром; лампа, прикрытая бумажным голубым колпаком домашнего изделия, освещая чайный прибор, горшок с простоквашей, хлеб, чашки и стаканы, — бросала слабый голубоватый отблеск на ближайšie липы; остальная часть аллеи, уходя в ночь, едва отделялась верхушками от звездного неба; запах липового цвета распускался еще сильнее, чем утром; но уже не слышалось пчелиного жужжанья.

— Ну-ка, давай, жена, почту! Газеты прочтем

завтра! — сказал Иван Петрович, в котором бывший дождь поддерживал веселость. — Оля прочтет нам письмо сестры; посмотрим, как им там живется!

Ольга Петровна пригнулась к лампе и прочла следующее:

XI

«Милая моя Alexandrine, — прости, что так долго не отвечала на твои два письма! Как ни странно покажется, но в эти последние два месяца положительно не было свободной минуты. Ты и муж твой отлично это поймете, когда скажу вам, что мы изменили нашему намерению провести лето в деревне (отправили туда только гувернантку с Коко и Мери), сами наняли дачу в Петергофе; экономическими соображениями против воли надо было пожертвовать в пользу служебной карьеры мужа. Я писала тебе, что к Новому году он не был представлен к награде; к Святой произошло то же самое; в мае он просился в командировку, думая воспользоваться остатком денег, чтобы провести месяц в Карлсбаде, — опять не удалось. Ему явно недоброжелательствуют. При таких условиях, разумеется, нельзя дальше оставаться на прежнем месте; Поль решил перейти в другое министерство. Так как будущий министр, с которым Поль совсем незнаком, переехал на лето в Петергоф, — мы решили там же взять дачу, чтобы быть ближе к влиятельным лицам, чаще с ними встречаться и иметь случай познакомиться с самим министром и его семейством. Все это увенчалось полным успехом — и, могу сказать с гордостью, — благодаря мне. Мы, женщины, в иных случаях отличные дипломаты! Встретив на музыке князя Липецкого с сестрой жены министра, я просила его меня представить. Мы разговорились. «Давно, — сказала она, между прочим, — меня интересовало познакомиться с дамой, которая одевается так изящно». (Если б ты видела мои последние шляпки, привезенные из Парижа секретарем посольства, бароном Фук, ты сама сказала бы: «Это не шляпки, а души!») На другой день я сделала ей визит; в тот же день она ответила своим. Через нее познакомилась я в Монплеzure с ее сестрой — женой министра, и представила последнему

мужа, который тут же находился, потому что я заранее его предупредила о возможности такой встречи. Мы сделали визит; министр и его жена ответили тем же; таким образом началось знакомство, которому отчасти способствовал милый князь Липецкой, и то также, что мой Польш отлично играет в винт, а министр до него страстный охотник. Мы бываем теперь у них по вечерам запросто, по-дачному. Но это только так говорится; всякий раз встречается у него чуть ли не все высшее петергофское общество, множество иностранных дипломатов и лиц, близких ко двору. Так познакомились мы с графом Павлиновым и его женой, с маркизом Де-Нос-Гренада, мужем и женой Поплавскими (он председатель какого-то важного комитета), с камергером Розинским (очень милый человек) и т. д. Ты скажешь: все это прекрасно; конечно так, если смотреть со стороны карьеры мужа; но ты представить себе не можешь, как при этом утомляются нервы; от одних визитов голова идет кругом; меня не оставляет мигрень. Главное: сколько расходов, боже мой, сколько расходов! Пришлось нанять новых лошадей и обменять нашу карету на ландо; людям известного положения неловко иначе показываться по вечерам на музыке; так уж принято в Петергофе. Приглашенные два раза к министру обедать, мы, по необходимости, должны были ответить тем же. Надо было пригласить придворного повара, прикупить посуды и хрусталя, заказать букеты (теперь так уже принято, чтобы перед каждым прибором был букет), мне также надо было новое платье. Обед прошел, слава богу, очень хорошо; но ты вообразить не можешь, сколько было хлопот из-за того только, чтобы составить список приглашенным, угодить одному, не обидеть другого. Многие из прежних наших знакомых будут, конечно, на нас в претензии; но возможно ли было, например, пригласить тетушку Аглаю, когда муж ее, служивший с министром в то время, когда он был только директором департамента, имел с ним какую-то неприятность? Возможно ли было — согласись сама — пригласить нашего старого Фокина? Его сестра воспитывалась с женой министра у мадам Труба, и с тех пор между ними существует какая-то антипатия. Все это надо было основательно, тонко обдумать, чтобы не попасть впросак. За день до обеда у меня, а у Поля особенно, нервы страшно расстроились от

беспокойства. Ночью, в постели, Поль неожиданно вскрикнул; я испугалась. «Что с тобой?» — спрашиваю. Ему вдруг приснилось, что официант, подавая жене министра желе, нагнул нечаянно блюдо, и желе скатилось ей на голову. Потом пришла, видно, моя очередь разбудить его таким же криком; мне померещилось во сне, что в то самое время, как все было готово, лестница на нашей даче (она и прежде, наяву, меня беспокоила) неожиданно провалилась, между тем как шум карет возвещал о приезде гостей... Всю ночь оба не могли почти заснуть. Довольно, однако ж, об этом. Как твое здоровье, мужа, *строгой* Ольги и детей? Мои два, слава богу, здоровы. Гувернантка писала, у Мери открылась было корь, но оказалась ошибка; все кончилось легким жаром, следствием легкой простуды. Я, однако ж, заболталась; уже десять минут, как Поль кричит снизу, что ландо подано и пора ехать на музыку. Погода у нас отличная: весь июль прошел без капли дождя, — подумаешь, право, мы не в Петергофе, а в Неаполе. Прощай, целую вас всех, — твоя сестра Nadine».

Ольга Петровна собрала листки письма и положила их на стол.

— Я бы дня не могла прожить такой жизнью! — сказала она.

— Мне жаль сестру, — задумчиво проговорила Александра Васильевна.

— Мне несравненно больше жаль детей, — заметил Иван Петрович, — но, друзья мои, убедительно прошу: не будем делать никаких заключений, — сегодня, по крайней мере... Предоставим каждому искать счастья там, где оно ему мерещится... Судить — если встретится в этом надобность — после успеем. Теперь, право, не до того; вспомните: завтра начинают жать, надо чем свет ехать в поле! — заключил он, вставая.

Несколько минут спустя, балкон опустел, стол был убран, лампа погасла.

В доме, в саду, в окрестности все смолкло. Бодрствовала только теплая летняя ночь, мигая своими звездами...

Глава вторая

Унылая пора, очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса!
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

Пушкин

Ведь уж лето прошло,
Ведь уж осень на двор
Через прясло глядит.

Кольцов

I

Тусклый серенький день. «Что это, — как будто осень?» — «Да, осень!» Многие любят ее больше даже остальных времен года. Нельзя не согласиться, она имеет свою особенную прелесть.

Вначале, до той поры пока не наступит полная распутица, когда дороги еще тверды, накатаны до глянца колесами телег, возивших снопы, наступают дни, иногда целые недели, — лучше которых действительно не сыщется в течение года. Солнце показывается редко; небо большей частью сохраняет ровный, тускло-серый оттенок; но он согласуется с обнаженным видом сжатого поля, туманной мглой в долинах, буро-желтым цветом леса, побросавшего половину своих листьев; в нем мягче, как бы сквозь легкий наволок, обозначаются бледные всходы озимого хлеба и черные полосы межей с мелькающими над ними пучками серой побелевшей полыни; он отвечает также тишине, обнявшей окрестности. Птицы отлетели, насекомых не слышно: муха не прожужжит в воздухе. В такие дни не бывает обыкновенно ветра; ни один стебелек не колыхнется, недвижим даже пух, оставленный в лугах гусями.

Когда в эти беззвучные часы приготовления к отдыху очутишься одиноко, лицом к лицу с природой, — окрестная тишина невольно, сама собой сообщается душе; тревожные мысли постепенно отлетают, рождается желание тихой жизни и также — отдыха.

Мирное течение мыслей не прекращается осенью, даже когда приближаешься к деревне; там, однако ж, идет неумолкаемая работа. На улице, правда, тише, чем в другое время, но задняя часть деревни из конца в другой гремит под ударами цепов: здесь молотят, там веют. В чистом, посвежевшем воздухе явственно слышится, как шуршит лопата, захватывая зерна, и как звонко они затем сыплются на гладко убитый ток; из открытых ворот сараев вьется клуб пылки и куколи, слегка отлетающий в сторону. Торопливый бой цепов и хлеск лопат, подбрасывающих зерна, здесь точно так же как бы подсказывают желание скорей кончить работу, отдохнуть, наконец, от долгих трудовых, заботливых дней.

II

Признаки осени, приготовления к зиме и отдыху виднеются не только в сараях, на крышах изб, покрытых свежей соломой, но и на знакомом нам балконе подле липовой аллеи: холщовая маркиза с кумачными узорами уже снята; убраны также круглый стол и стулья; двойные рамы вставлены в окна; дверь еще не заколочена, и то потому, что детям удобнее проходить через нее в сад, которым часто, против воли, ограничивается теперь их прогулка.

Но с некоторых пор самый сад потерял для них свою занимательность. В аллее, вместо тесного зеленого свода, тянется сплошная сеть черных ветвей, местами только заслоненных желтыми, вялыми листьями; слабое движение воздуха — и они бессильно падают на мокрую траву или отлетают, забиваясь в колеи и застилая дорогу.

Еще три недели тому назад, в аллее против балкона стояла жаровня, обставленная с двух сторон столиками, покрытыми яблоками, ягодами, брусникой и стеклянными банками; перед жаровней можно было застать Александру Васильевну с засученными рукавами, фуляром на голове, державшую ручку большого медного таза с кипевшим в нем сахарным сиропом; как только кончалось время учения, можно было также застать здесь всех детей: старшие суетились, подбирая сухие ветки, отправлялись в дом и кладовую исполнять разные поручения матери. Лиза и Катя

ограничивались глазеньем, надеждой получить в конце частичку сахарной пены, окрашенной фруктовым соком.

Дальняя часть сада, где были фруктовые деревья, отдавалась ежегодно в аренду; для караула и также продажи яблок на месте арендатор нанимал старика. Он помещался в длинном шалаше, крытом соломой; при входе в него, весь левый бок, снизу доверху, занят был *падалью*, — яблоками недозрелыми, сброшенными ветром в траву; по дну, на соломе, рядами складывались яблоки по сортам; в правом углу помещались караульщик и его внучка — девочка лет десяти; у входа в шалаш бегала привязанная к длинной веревке собака. Между караульщиком и детьми вскоре завязалась тесная дружба. Кроме того, что старик был словоохотлив, любил рассказывать о походах и сражениях, в которых участвовал, когда был солдатом, он был большой затейник: мастер вырезать из дерева маленькие мельницы, вертевшиеся на ветре, строить домики с трубой для дыма, тележки для кукол. Редкая неделя проходила без того, чтобы тот или другой из детей не получали какого-нибудь подарка.

Дети не оставались в долгу: всякий раз как они приводили Дуню (так звали внучку караульщика) в дом, девочка возвращалась с полными руками: новым платочком, платьем, башмаками. Ольга Петровна давала полную волю своим питомцам посещать старика и слушать его рассказы, и волей этой, надо сказать, радостно пользовались.

Всем было уютно забиться в шалаш с его крепким, но свежим яблочным запахом, смотреть, как старик мастерит какую-нибудь штуку, и прислушиваться к его беседе. Одно разве мешало удовольствию: Милюша, не отстававший от них ни на шаг, возненавидел почему-то собаку караульщика, — приревновал, должно быть, так как дети всякий раз приносили ей остатки от завтрака. Милюшу гнали, стращали, уговаривали всячески, — ничего не помогало.

Но вот, одним серым утром, в сад наехали подводы, яблоки были уложены в рогожи. Когда старик и его внучка пришли прощаться с господами, столько было написано горя на детских лицах, что Александра Васильевна и тетка, желая их утешить, предложили старику оставить Дуню до следующего года. Но дед не согласился.

Прошла таким образом пора варенья, уехали старик и его внучка, — неохотно стало заглядывать в самый сад. Кроме него, не много уже оставалось мест для прогулки, и о любимом овраге думать было нечего; там трудно было бы теперь пробираться между ворохами упавшего листа. Туман над рекой часто также застилал луговую долину, превращая ее в серое озеро, над которым то тут, то там, как острова, показывались скирды сена; одни гуси могли там прогуливаться, не рискуя схватить простуду.

Оставались роща и дорога по той стороне речки между жнивьем. Но и в роще уже не весело: куда ни пойдешь, везде хрустит под ногами опавший лист, сквозят голые сучья дерев, почерневшие от дождя; то тут, то там раздается жалобный писк снегиря, вестника скорого снега; когда идешь по дороге, — то же самое возвещает низкий полет журавлей,двигающихся треугольником в сером, тусклом небе; в их крике нет ничего утешительного: он звучит разлукой, чем-то прощальным...

III

Наступила пора дождей, — нельзя было почти выходить из дому.

Хорошо было то, по крайней мере, что каждый день теперь дети на целые четыре часа оставались с матерью. Тетушка передавала их Александре Васильевне, потому что сама на это время уходила в длинный бревенчатый флигель, куда собирались крестьянские мальчики и девочки. Школу можно было назвать ее созданием: в начале ее устройства, она отказалась от денежных пособий, предлагаемых братом и золовкой. Флигель, учебные книжки, скамьи — все было сделано на ее собственные деньги. В этой настойчивости, сделать все непременно на свои средства, лежало точно какое-то обещание.

В сумерки возвращалась она домой, и всякий раз на ее лице можно было прочесть довольное чувство. К тому же времени возвращался обыкновенно Иван Петрович, часто вымоченный с головы до ног, усталый, озабоченный. Мудреного нет! Немало приходилось ему исколесить на беговых дрожках; немало также пришлось исходить пешком! Требовалось при-

смотреть за наемными молотильщиками, съездить в Выселки, где строился новый скотный двор, отправиться потом в дальний лес, часть которого предназначалась для срубки. Дождь, не перестававший лить несколько суток и везде задерживавший работу, немало причинял досады деятельному хозяину.

При встрече жены, сестры и детей, спешивших в прихожую, как только со двора раздавался стук беговых дрожек, — заботливое выражение исчезало с лица его; оно непритворно сменялось всегда выражением внутреннего радостного чувства.

Вечерком, после того как дети уходили спать, Иван Петрович, его жена и сестра сходились обыкновенно в небольшой теплой комнате, служившей в старые годы, при покойной тетке, гостиной, но теперь превращенной в рабочий кабинет. Александра Васильевна и Ольга Петровна принимались за работу; Иван Петрович садился к столу, чертил планы, брал книгу, читал вслух, или все трое запросто беседовали.

Так проходил вечер. Однообразие нарушалось по субботам, когда мыли детей, — операция, в которой всегда участвовали мать и тетка; и еще в тот день, когда из уездного города привозили почту.

Она доставлялась в большом клеенчатом мешке с кожаной перевязью; вскрытием мешка всегда заведовала Александра Васильевна.

— Письмо от сестры! — произнесла она, подымая конверт.

— Давай, давай! — живо заговорил Иван Петрович. — Давно не писала: интересно знать, что они там подельвают?

— Веселятся, должно быть, по обыкновению! — заметила Ольга Петровна.

— Погоди заключать! Может быть, плачут! — сказал брат.

Александра Васильевна развернула письмо и принялась читать.

IV

«Chère Alexandrine, спешу предупредить: не пиши по старому адресу; мы переменили квартиру; живем теперь на Сергиевской улице. Твой муж, который хорошо помнит Петербург, непременно скажет: «Охота

была переселяться в самую аристократическую и дорогую улицу...» Можешь ему от меня ответить: аристократизм улицы нимало не прельщал меня и Поля. Мы, правда, платим дороже, но взамен имеем удобства, какими прежде не пользовались. В старой квартире уже одна лестница была ни на что не похожа. Наш Коко (заметь, ему в мае минуло всего пятнадцать лет) долго упрямылся приглашать к себе своих товарищей; я и отец пристали: «Почему да почему?» Он нам откровенно наконец признался: «Наша лестница, говорит, так отвратительна, что мне совестно перед ними!» Рано самолюбив, ты скажешь; но теперь они все такие! Если взять в соображение удобства новой квартиры, легко можно примириться с ее ценой. Дорога не столько квартира — дорого ее устройство. Дом новый; окна и двери несравненно выше, чем в прежнем; пришлось переменить портьеры и оконные занавесы и заодно перебить той же материей мебель в гостиной и столовой. Все это, конечно, расходы и расходы, но как быть — иначе невозможно! Сами везде бываем — надо также к себе принимать, как это подчас ни бывает тягостно для кармана. Наши денежные дела, надо надеяться, поправятся, как только мой Польш перейдет в новое министерство. Это уже окончательно решенное дело. На днях у мужа было объяснение с теперешним его патроном, — объяснение, после которого дальше у него нельзя оставаться; судите сами: Польш решил наконец просить у него прибавки жалования и говорит ему: «Получая всего, с тем, что имею из деревни, семнадцать тысяч в год, вы понимаете, с этим, имея жену, дочь и сына, которых надо воспитывать, невозможно, в известном положении, жить в Петербурге», — что ж, ты думаешь, тот на это ответил? «Не понимаю, — говорит, — у меня три сына и две дочери, я никогда не проживал более десяти тысяч — и могу вас уверить, хорошо воспитывал детей и сам всегда жил прилично». Но это еще не все; минуту спустя он прибавил: «Я, — говорит, — охотно исполнил бы вашу просьбу, если б мы были в Турции...» Муж удивился, спрашивает: «Почему?» — «Потому, — ответил тот, — что в Турции служащим денег обыкновенно не платят, тогда как у нас платить надо...» Бедный мой Польш вернулся домой весь расстроенный; на нем лица не было; насилу я его успокоила. И как не утешить мужа, который только

и думает, как бы угодить жене, всегда предупредителен и деликатен! Неделю после того, как мы возвратились из Петергофа, сажусь в карету (мы обменяли на нее ландо, который в городе не так нужен) — не слышу под собой шума мостовой, качусь как по бархату; это был сюрприз моего Поля! Не сказав мне слова, он велел обтянуть шины колес гуттаперчей! Дети вернулись из деревни к первому сентябрю. Я не совсем довольна Мери: какая-то бледная и кислая; гувернантка уверяет, что это от молочной пищи; не верю; это всего скорей происходит от несвоевременного развития и роста; но Коко совершенный молодец. С некоторых пор его узнать нельзя: в умении держать себя, в манерах начинает проглядывать настоящий джентльмен...»

На этом месте чтение письма было прервано неожиданным появлением старой няни. Войдя в кабинет, она торопливо проговорила:

— Батюшка Иван Петрович, у нас там на мельнице неладно... Прибежал Афанасий, рассказывает: паводок, вода через плотину пошла...

Иван Петрович быстро поднялся с места и пошел к двери. Жена и сестра начали его упрашивать остаться, убеждая, не лучше ли прежде послать за мельником и расспросить его; няня присоединилась к ним, говоря, что дождь льет ливнем и ночь темная — зги не видать; Иван Петрович ничего не хотел слушать; сообщение Прокофьевны, по всему было видно, встревожило его не на шутку; упрашивая со своей стороны жену и сестру не беспокоиться, он начал суетливо одеваться.

V

Не успел он сделать двадцати шагов по двору, как под левую его руку просунулась другая рука, и кто-то подле него зашлепал по воде.

— Что ты делаешь, Саша, зачем это?.. Дождь льет как из ведра... Тьма кромешная... Какая ты, право!.. — проговорил Кирсанов с укором, но вместе с тем прижимая к себе локтем женину руку.

— Сердись сколько хочешь — одного не пущу... Бог знает, что там на мельнице... Начнешь суетиться... Нет, нет... Не пущу, не пущу!..

Мельница находилась недалеко, за садом; но темень, их окружавшая, была так велика, что даже после того, как они к ней присмотрелись, надо было подошвами ощупывать дорогу, чтобы не попасть в колеи, превращенные в шумящие ручьи. Дождь, движимый порывами ветра, ходил из стороны в сторону, бил по лицу, замедляя шаги; оба поминутно скользили и, только поддерживая друг друга, могли кое-как подвигаться к речке; она прѳсвечивала в темноте между совершенно черными берегами; сколько можно было различить с первого взгляда, вода в ней была выше и шире обыкновенного; быстрота течения сопровождалась глухим рокотанием. К шуму ветра и ливня, хлеставшего по ближайшим ветлам, присоединились со стороны мельницы крики нескольких голосов, подтверждавшие, что там действительно происходило что-то не совсем ладное.

Ускоря по возможности шаги, Иван Петрович и его жена приблизились к плотине. Тут встретили они целую толпу; по голосам только можно было узнать людей; стояли: мельник, его жена, работники и крестьяне, прибежавшие из деревни. Все надрывались, крича и суетясь, подле плотины, через которую с грохотом валила вода, превращаясь ниже в пену, белевшую среди мрака.

В первую минуту из-за темноты и ливня ничего нельзя было разобрать; раздавались только крики и отрывчатые возгласы:

— Эй, Филипп! Филипп!.. Пропасть должен... Как раз снесет... Брось, брось, говорят! Эй, Филипп!! Господи милосердый!! Эка оказия! — твердил между тем мельник, хлопая ладонями по полушубку.

У Ивана Петровича было отличное зрение; но сколько он ни напрягал глаз в ту сторону, откуда слышались крики, — ничего не мог разглядеть в темноте; слышалось только, как грохотала вода, скатываясь куда-то в бездну.

— Что такое? Что? Кому кричите? — проговорил он, входя в толпу.

Несколько человек, перебивая друг друга, объяснили, что Филипп — один из работников, вопреки увещаний, забрался на середину плотины и, рискуя каждую минуту — спаси господи! — быть увлеченным стержнем, усиливается поднять тварню, чтобы пропустить воду.

— Как! — вскричал Иван Петрович, — человек гибнет, а вы тут тарабарите да суетесь без толку...

— Батюшка, Иван Петрович, никто его не неволил, сам пошел, — говорили одни. — Эй, Филипп! Филипп! — надрывались другие с удвоенной силой. — Может статья, бог поможет ослобонить тварню-то...

— Бог с ней! Душа человеческая дороже, — ребята, сюда! — кричал Иван Петрович, — становись в цепь! Живо, рука за руку... Шест скорей... Переднему шест в руки... Так! Дружно! Эй, молодец! Эй, Филипп! — подхватил он, тщетно стараясь рассмотреть того, к кому обращался, — держись крепче! Крепче держись!..

Цепь живо составила. Один из крестьян вызвался идти вперед; ему подали шест. Держа его в правой руке, он вошел в воду и начал взбираться на плотину, сначала робко, потом смелей; за ним, гуськом, держась руками один за другого, пошли остальные.

Прошла минута тягостного ожидания; у Александры Васильевны колотило сердце и замирал дух.

Внезапно вдалеке из мрака послышался голос: — Держись! Ступай назад, ребята!..

Немного погодя на берег вышел один, за ним другие и, наконец, показался Филипп.

— Ничего, ваше благородие, — проговорил он, подходя к Ивану Петровичу, — маленечко того... подмочило, а то ничего...

Едва договорил он последние слова, раздался страшный треск, плотина рухнула — и вода с яростным гулом покатила между уцелевшими сваями.

Кирсанов судорожно вздрогнул. Он сделал шаг к мельнику, оплошность которого была всему виной, но, почувствовав под рукой руку жены, тотчас же овладел собой. Обратясь к Филиппу и остальным крестьянам, бывшим на плотине, он уже спокойным, ласковым голосом велел им всем прийти к себе на следующее утро.

VI

Ливень продолжал лить; ветер шумел в деревьях; темнота по-прежнему мешала различать дорогу.

Муж и жена, поддерживая друг друга, несколько минут молча направлялись к дому.

— Помнишь ли, ты говорила: «Авось! авось! все поправится», — стараясь ободрить меня, когда я жаловался на засуху, — проговорил Иван Петрович, — вот тебе еще пример тому, как на авось рассчитывать... Все мы так недавно еще радовались, думали: год, слава богу, минул благополучно; тревоги и заботы кончились; авось можем теперь успокоиться... Вот тебе и авось! Недосмотр мельника, неожиданный ливень, глупый случай — и все наши надежды унесло, как ту плотину... Сколько опять с ней новых хлопот, сколько новых расходов!..

— Ты только забыл, что благодаря этому глупому случаю, как ты его называешь, ты спас жизнь человеку, — тихо проговорила жена.

— Правда, не сердись, не буду больше жаловаться, — вымолвил Кирсанов изменившимся голосом.

Обогнув угол сада, они различили сквозь темноту и дождь несколько огней и пошли на них смелее, чем шли прежде.

Глава третья

Вслед за нею зима
В теплой шубе идет,
Путь снежком порошит,
Под санями хрустит.

Кольцов

Я помню, как детьми с румяными щеками
По снегу хрупкому мы бегали с тобой,
Нас добрая зима косматыми руками
Ласкала и к огню сгоняла нас клюкой...

Полонский

I

Иван Петрович вставал очень рано; он просыпался, как только занимался день.

Открыв глаза, он несколько удивился сильному свету на стенах и особенно на потолке. Подумав сначала, не проспал ли он, но в ту же минуту догадавшись в чем дело, он с величайшей осторожностью поднялся с постели, наскоро набросил халат и, весьма довольный тем, что жена спала крепким сном, на цыпочках прокрался к окну.

Окно выходило на двор, окруженный сараями, ам-

барами и забором, отделявшим двор от огорода. Крыши строений, огородные гряды, край забора и самый двор были покрыты пушистым слоем снега, выпавшим за ночь; последние снежные хлопья вились еще кое-где в воздухе, отделяясь на сером небе.

Бережно отворив дверь, Кирсанов спустился в кабинет. Он был очень доволен тем, что зима сменила дождливую осень. Низменный полет журавлей, гуси, собиравшиеся стадами в лугах подле речки, не обманули ожиданий: зима действительно стала ранее, чем в последние два года.

II

Одной из главных теперешних его забот была плотина; ее надо было выстроить совершенно заново; берега, сильно подмытые паводком, требовалось также укреплять. Наступающие холод и морозы, связывая землю и покрывая воду льдом, позволят скорее и удобнее вести работу. С конца октября Иван Петрович целые дни проводил на мельнице или в лесу, присматривая, как рубили деревья для свай и различных скреплений для плотины.

В доме, между тем, жизнь текла обычным порядком. Александра Васильевна каждый день просиживала четыре часа с детьми. Ольга Петровна уходила на это время в свою школу. Она возвращалась обыкновенно до сумерек, брала детей и отправлялась с ними к отцу на мельницу или оставалась с ними на дворе, где устроен был каток и ледяные горы. Вечером, до того часа, когда подавали самовар и детей укладывали спать, семья собиралась в столовой, единственной просторной комнате.

По мере того, как вырастали дети, укоренялся обычай не позволять им оставаться праздными. Выбор занятий предоставлялся врожденному вкусу каждого, но непременно все должны были что-нибудь делать. Соня и Лиза шили крошечные чепчики и выводили замысловатые фестоны на свивальниках для крестников, которых было у них много на деревне. Сережа, после знакомства со старым садовым караульщиком, старался до поту лица над деревянной, весьма сложной постройкой, с резными балконами и украшениями.

Работа прерывалась тогда только, когда слишком уже сильно затрагивалось любопытство тем, что вслух читала тетка. В таких случаях оживлялись даже сонливые глаза старой няни, часто сидевшей тут же, с Катей на коленях. Прислушиваясь к похождениям в диких лесах, встречаю с дикими стадами слонов, громадными змеями и тиграми, она откидывалась назад, крестилась, прижимала сильнее к себе свою любимицу, как бы желая ее предохранить от приближения дикого зверя, иногда вставляла такое замечание, от которого раздавался вокруг веселый смех.

В прежние годы, однообразие зимнего времени оживлялось тем, что заедет, бывало, тот или другой из соседей; но таких близких соседей теперь не было. У кого деревню продали с публичного торга; кто оставил ее, не быв в силах, по слабости характера, справиться с новыми порядками; кто, заблаговременно вырубив лес до последней тычинки, сам скорей ее продал и переселился в город. Их заменили новые владельцы, большей частью кулаки, с которыми Кирсановы не водили знакомства, не встречались даже, разве когда дела непременно этого требовали.

III

Несмотря на то, что жизнь ограничивалась исключительно «своими», можно положительно сказать: никто не чувствовал скуки.

Тому, кто не жил в деревне, считая ее своим родным гнездом, не был к ней кровно привязан и не любил ее всем сердцем, тому, конечно, трудно понять, чем может довольствоваться, зимой особенно, коренной сельский житель. Он с детства ко всему здесь привязан, все ему дорого, — дороги предметы, дороги люди, его окружающие. Встречаемые на улице белые как лунь старики носили его на руках, когда он был ребенком. Их внучат он сам теперь ласкает и берет на руки. Сближение с народом заметно делается чувствительным зимой, когда никого почти нет в разброе, все почти налицо, все скучены в своих избах, густо прикрытых соломой и полузанесенных снегом. Самые случаи такого сближения встречаются зимой чаще, чем в другое время. Редкая неделя проходила без то-

го, чтобы Александре Васильевне или Ольге Петровне не приходилось сталкиваться с живою жизнью, прийти на помощь больному, навестить родильницу.

IV

На дворе глухая морозная ночь. В господском доме тепло. Две лампы, прикрытые бумажным колпаком, обливают светом руки хозяев дома, позволяя вместе с тем любоваться детскими головками, хлопотливо наклоненными над работой.

Внезапно кто-то проходит мимо окон, скрипя по снегу. В сенях слышится говор.

— Что там? — обращаются с вопросом к старой няне, бережно отворившей дверь.

— Пришла Антонова сноха... Плох, говорит... Лекарства просит...

— Как же так?.. Вчера ему было гораздо лучше, — говорит Александра Васильевна, подымаясь с места.

— Останься, Саша, — подхватывает Ольга Петровна, поспешно вставая, — сегодня моя очередь...

— С богом, когда так! — говорит Иван Петрович, отрываясь на минуту от чтения.

Ольга Петровна, закутанная с головой в сибирский яргак, в неуклюжих меховых сапогах, пробирается со двора на улицу, сопровождаемая снохой Антона; фонарь в руках бабы, бросая на снег светлую решетчатую звезду, колеблемую при каждом шаге, усиливает только окружающую темень. Приходится идти осторожно: чуть в сторону от пробитой тропы, сейчас утонешь в снегу по колена. Накануне была метель; снег, несомый по улице и в то же время отбиваемый от изб напором в них ветра, наслоился перед ними высокими сугробами. Попасть в избу иначе нельзя, как взобравшись сначала почти в уровень с косяком и потом вдруг круто спустившись к воротам.

Из окна Антоновой избы блеснул свет; но его поминутно заслоняли. Глухой говор раздавался изнутри.

— Что это? — спросила Ольга Петровна.

— Народ, матушка, сбежался, думают — помирает... — отвечала сноха, суетливо входя в сени и направляя фонарь к низенькой двери, кругом обтыканной паклей, побелевшей от изморози.

Дверь отворилась, выпустив густой клуб седого пара, точно из бани. Несмотря на привычку посещать зимой крестьянские избы, Ольга Петровна невольно отшатнулась. Прямо с мороза едва можно было перевести дух от тучного, жарко нагретого воздуха. Изба битком была набита народом, преимущественно бабами и ребятами.

Ольга Петровна поспешно освободилась от яргака. Фонарь, поставленный снохой у входа в лавку, осветил прежде всего голову теленка с большим выпученным глазом. Привязанный за шею веревкой, теснимый толпой, теленок вертелся во все стороны и положительно давился. Посреди шушуканья, отрывочных восклицаний, охов и ахов, слышался старческий, разбитый голос Антоновой хозяйки; она нараспев, жалобно голосила, как по покойнике.

V

В деревне все хорошо знали Ольгу Петровну. Ей тотчас же очистили дорогу.

Огарок на столе и две желтенькие свечи в углу перед образами тускло горели в сгущенном воздухе, распуская вокруг себя мерцание молочного цвета. Подойдя ближе к больному, можно было, однако ж, рассмотреть его черты.

Антон лежал головой к образам на лавке, прикрытой соломой; в углублении его глаз стояла густая тень, из которой выдвигались заостренный профиль исхудалого лица и ниже — кончик седой бороды. Ноги его недвижно, как у мертвого, вытягивались вдоль лавки. Тут же виднелась голова его старухи, прикрытая темным платком; из-под него выходили стоны и жалобные причитания. К ней тотчас же присоединилась сноха, провожавшая Ольгу Петровну. Она стала подле и, приложив правую ладонь к щеке, склонив набок голову, принялась, как бы по заказу, вторить старухе.

Ольгу Петровну не первый раз возмущал обычай причитать над труднобольным, как над покойником. Она понимала очень хорошо, что обычай этот доказывает, как мало вообще народ избалован надеждой, как, не привыкнув обманывать себя успокоительными мечтаниями, он непосредственно, без размышления, отдается своему горю, считая его неисправимым, ко-

нечным. Она знала, что преждевременные слезы и голошение, — мимо истинной скорби, — вызваны также отчасти опасением, чтобы люди не осудили родных в равнодушии к умирающему; тем не менее всякий раз не могла она победить в себе горького, досадливо-го чувства.

— Не стыдно ли вам, бабы... чего не видали?.. Хоть бы ребят-то не приводили, по крайней мере... — говорила она полусшепотом, обращаясь то к той, то к другой. — Больному без того тяжко, а вы криком кричите ему под ухо, что он умер... Не грех ли вам! Ступайте-ка по домам, да ребят уводите... Им делать здесь нечего...

Многие послушали ее и стали уходить.

В первую минуту ее удивила внезапная перемена в положении больного. Накануне, говорила Александра Васильевна, ему было гораздо лучше. Хотя, как водится, дали знать спустя несколько дней после того, как он занемог, была еще возможность помочь ему; теперь вряд ли оставалась надежда. Вопреки вчерашнему приказанию Александры Васильевны положить больного в дальний угол и не сымать компрессов, — он сутки целые пролежал больным боком под самым окном, в которое дуло как сквозь решето; компрессы были также сняты.

На вопрос, почему так сделали, сноха отвечала:

— Сам велел, матушка... Тяжко, говорит... Положите, говорит, под образа... Сняли, что вечер барыня велела прикладывать, и положили его сюда... Ослушаться не посмели...

Ольга Петровна подошла к больному и приложила ладонь к его сердцу; не чувствуя больше его колебания, она перекрестилась. Напрасно было утешать старуху; она могла теперь причитать вволю: все было кончено!..

VI

Ольга Петровна покинула избу с невыразимо тяжелым чувством. Настоятельно потребовав, чтобы сноха не сопровождала ее как прежде, — она взяла из ее рук фонарь, не заметив второпях, что в нем погас огарок, — и вышла на улицу.

Желая, вероятно, скрыть от семьи только что пере-

житое впечатление, она остановилась на несколько минут подле калитки господского дома. Прислонившись спиной к перекладине, она обернулась к пройденной ею дороге, в ту сторону, где находилась деревня. Кругом зги не было видно; снег обозначался только тем, что хрустел под ногами; в десяти шагах он уходил в ночь, постепенно утрачивая свой белесоватый отблеск. В двух-трех местах смутно мелькали огоньки; не будь их, — могло казаться, что не только тут, под боком, в деревне, но за многие сотни верст в округности нет живого существа, все вымерзло и вымерло. Чуть слышно пронесется звук... Что это?.. Собаки или волки взвыли неожиданно далеко-далеко за рекой?..

Если б края капора, покрывавшего до самых глаз голову Ольги Петровны, могли в эти минуты распахнуться и свет внезапно осветил бы ее лицо, легко было бы убедиться, как мало окрестная тишина вносила спокойствия в ее душу. Не отрывая задумчивых глаз от мигающих огоньков, она с печалью переносилась мысленно к другим деревням, разбросанным вокруг в необозримых пространствах; деревни эти считались тысячами и все точно так же были теперь занесены снегом с непроглядною ночью над ними... Везде было одинаково глухо и дико, точно особенное какое-то царство, отрезанное без сообщения с другим светлым миром... Бежать скорей, бежать от этого мрака!.. «Нет, — думала Ольга Петровна, — нет, так могут говорить или слабые духом, или не верующие в будущность человеческого успеха, или, наконец, те, которые ничем не связаны с судьбой отечества и народа... Нет, не бежать от этого мрака, но остаться в нем, стараясь всеми силами победить его и рассеять...»

Она отворила калитку, оглянула, проходя мимо, флигель, где была ее школа, и вошла в дом.

VII

• • • • •
За несколько дней до Рождества, в сумерки, перед крыльцом господского дома остановились пошевные с сидевшим в них Иваном Петровичем.. меховая шапка, шуба, борода и усы белели от снежной пыли. Приказав кучеру обогнуть дом и остановиться у заднего крыльца, он отряхнул с себя снег, вышел из пошевней

и прямо направился в прихожую, где ждала его вся семья.

Нельзя было не заметить, как, целуя детей, он в то же время обменивался с женой и сестрой какими-то таинственными взглядами. Нельзя было также не заметить особенного одушевления на детских лицах; радость видеть отца — была сама по себе; помимо этого, глаза жадно следили за каждым его движением. Ясно было: все чего-то ждали, думали: вот-вот, сию минуту, сейчас все откроется; но любопытство их не было удовлетворено; оно, тем не менее, не успокоилось; с той минуты, как отец и мать вошли в кабинет, до той минуты, когда надо было отправиться спать, им положительно не сиделось на месте. Всякий раз, как в коридоре раздавались шаги и что-то переносили из задних комнат в кабинет, все чутко прислушивались, начинали скакать и вдруг, без всякой видимой причины, бросались целовать тетю Ольгу.

На следующий день любопытство усилилось еще тем, что двери кабинета и большой столовой были наглухо заперты. Много нужно было терпения, чтобы водворять между ними спокойствие; не успевала Ольга Петровна посадить одного, как уже другой прокрадывался к двери, стараясь прислушаться и заглянуть в замочную скважину.

У Кирсановых канун Рождества праздновался всегда с большой торжественностью. За неделю Иван Петрович отправлялся обыкновенно в губернский город делать покупки для елки и, надо сказать, всякий раз переходил границы той программы, которую заблаговременно составлял совместно с женой и сестрой. «Не сердитесь, что делать, — сердце не камень!» — говорил он смеясь, когда обе входили в кабинет, где все столы, диван, стулья оказывались заставленными подарками для детей, прислуги, крестьянских ребятишек и девочек, отличившихся в школе сестры.

В день елки, к шести часам вечера, трудно было пробраться в толпе дворовых, девочек и мальчиков, теснившихся в прихожей и двух соседних с ней комнатах. Впереди становилась Ольга Петровна с племянником и племянницами, и тут же всегда можно было видеть старую Прокофьевну с Катей на руках.

Посреди сдержанного шепота и нетерпеливого топтанья ног внезапно раздавались три звонко дребезжав-

шие удара в медный таз, дверь в столовую растворялась настезь, — и елка показывалась во всем своем блеске, с сотнями зажженных свечей, цветными фонарями, серебряными нитками, ниспадавшими сверху донизу, золочеными орехами и пряниками всех возможных видов, конфетами и подарками, разложенными на нескольких столах.

Сдержанное шушуканье сменялось говором удивления, и толпа валила в столовую, обступая елку рядами восторженно-радостных лиц...

.

VIII

Вскоре после Нового года получено было письмо из Петербурга от сестры Александры Васильевны.

«Пишу вам наскоро, дорогие друзья, — сообщала она, — пишу с тем, чтобы вы разделили с нами нашу радость: к Новому году мой Поль получил наконец ленту! Можете судить, в каком мы все восхищении! Он так давно желал этого; сколько раз его так несправедливо обходили! Но это еще не все: помнишь, три года тому назад, как горевал он, и, конечно, я вместе с ним, когда, благодаря чину, надо было ему расстаться с камер-юнкерским мундиром. Теперь оба мы утешились: Полю открылась надежда сделаться камергером, и мне, следовательно, предстоит иметь вход ко двору (но, пока, это еще под секретом). Всем этим обязаны мы новому нашему начальнику. Я бы попросту назвала его «душкой», как называли у нас в институте любимых учителей, — если бы такое название не отзывалось чем-то детским. Мой Поль от него в восхищении; мил, приветлив, любезен! Служба притом у него самая легкая; главным образом, требуется только не утомлять его деталями; так уже у него принято, и всякий раз, как кто-нибудь является с докладом, секретарь или дежурный чиновник предупреждает заранее, чтобы передавать в коротких словах сущность дела, не утомляя деталями. Я этому совершенно сочувствую; вероятно, и муж твой, как человек деловой, будет моего мнения; оно и понятно: ум администратора, не затрудняемый мелочами, — сохраняет свою свежесть, яснее видит сущность дела; что же касается подчиненных — их труд и служба в значительной степени облег-

чаются. Я несколько разочаровалась в его жене; с тех пор как мой Поль служит у ее мужа, в ее отношениях ко мне стал чувствоваться оттенок чего-то протекторского, — словом, задирает нос и величается; я руковожусь дипломатическим приемом: не показываю ей вида и любезна с ней по-прежнему; но придет время, мы поквитаемся! Зиму провели мы, вращаясь постоянно в каком-то круговороте: утром — благотворительные комитеты (в одном меня выбрали председательницей, в двух других я только член), дешевые столовые (я участвую в двух); с четырех часов визиты; вечером обед или бал. Было очень весело, но оба мы ужасно устали. Доктор советует мне непременно ехать летом во Франценсбад; моего Поля — посылают в Виши. Дети, слава богу, здоровы. Коко, к сожалению, ленится и не перешел в другой класс; но это потому, что кто-то внушил ему мысль оставить гимназию, перейти в кавалерийское училище и затем поступить в гвардию. Мы думали определить его по окончании курса в канцелярию министерства иностранных дел и, благодаря некоторой протекции, открыть ему путь к дипломатической карьере, — он слышать не хочет: ему уже теперь мерещится гусарский полк, где служили его двое дядей и дедушка. Нам хотелось к Рождеству сделать елку, но оба отказались, прося, вместо того, дать им денег. Как видишь, дети стали теперь практичны и не отстают от взрослых. Ах, эти деньги! деньги!.. Кому они не нужны? К концу года нам было очень трудно; бедный мой Поль должен был обратиться в Дворянский банк и заложить нашу Будиловку. Говорят, это очень выгодно: приходится платить в год какой-то ничтожный процент, между тем как капитал остается на руках и можно им распорядиться с большим успехом. Вы все, конечно, будете нас за это бранить, твой муж в особенности... Но осуждать очень легко; другое сказали бы, попробовав пожить в Петербурге нашей жизнью...»

— Сохрани меня и помилуй бог! — произнес Иван Петрович и даже перекрестился.

— Меня также! — проговорила Александра Васильевна.

— Меня и спрашивать нечего, само собой разумеется! — заключила Ольга Петровна.

Глава четвертая

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года,
Синея блещут небеса.

Пушкин

Заодно с весной
Пробуждаются
Их заветные
Думы мирные.

Кольцов

I

В марте получено было из Петербурга и от того же лица новое письмо.

Вот его содержание:

«Милая Alexandrine, — вам из газет, вероятно, уже известно, что наш министр должен был неожиданно оставить министерство и получил новое назначение. Но вы не знаете главной новости; мы сами узнали ее всего четыре дня тому назад: министерством будет управлять прежний начальник Поля, — тот самый, с которым он должен был расстаться, приметив в нем явное к себе нерасположение. После того, что произошло между ними, Полю невозможно продолжать службу в том же ведомстве. Что дальше будет, — не знаем; пока очень тяжело. Все это до такой степени взволновало моего бедного Поля, — он захворал и теперь лежит в постели. Все эти дни я положительно не выходила из кареты; мечусь по городу, стараясь переговорить с тем и другим из знакомых влиятельных лиц, которых всегда так трудно застать, когда в них нуждаешься, — стараюсь узнать их мнение, расположить их к нам, — словом, подготовить насколько возможно благоприятную почву для будущего. И все это, милый мой друг, надо делать с таким видом, как будто чувствуешь себя совершенно спокойной, даже веселой, как будто приехала с тем, чтобы сделать визит и рассказать забавный анекдот. Роль слезливой, встревоженной просительницы — сейчас испортит все дело. Здесь, более или менее, все о чем-нибудь просят,

и влиятельные лица так к этому привыкли, что не обращают на просьбы никакого внимания, — разве в тех случаях только, когда касается близких родственников или лиц посторонних, но которым выгодно оказывать протекцию. С этой стороны Петербург ужасен! Здесь могут быть счастливы только философы, которые уверяют, что им ничего не нужно потому, что они богаты, у которых, кроме того, нет ни самолюбия, ни благородного тщеславия, заставляющих искать известного положения на службе с тем, чтобы занять известное положение в обществе. Во всяком случае, так или иначе, — мой Поль должен занять какое-нибудь место; оно необходимо столько же для нас, сколько для детей; без этого нам положительно нечем будет скоро сводить концы с концами и воспитывать детей. К неприятности нашего положения прибавилась, как назло, еще домашняя неприятность: Коко, по своему добродушию, был завлечен несколькими товарищами, которые собирались по вечерам в какой-то ресторан; бедный мой мальчик, опасаясь огорчить меня и отца, не решился прямо сказать нам, что сделал маленький долг; по неопытности, он дал расписку какому-то плуту; прошло три месяца, — платить было нечем; Коко, по доверчивости, дал другую расписку, таким образом, из пятидесяти рублей сделалось двести, которые надо было тотчас же уплатить, чтобы вся эта история не дошла до начальства. Все это, ты поймешь, прибавило к расстройству моего Поля и моему собственному. Мери начинает нас утешать; бледность ее прошла; она растет, выпрямляется и обещает быть хорошенькой... Но, слышу, звонят... Доктор к мужу; посещение, признаться, весьма неприятное; мы должны ему за двадцать визитов, и придется просить подождать еще уплату денег. Прощай, целую всех. — Nadine».

II

После чтения этого письма пришлось долго утешать Александру Васильевну. В этом деятельно помогала брату Ольга Петровна, любившая настолько свою золовку, насколько была равнодушна к бедствиям петербургских родственников. Иван Петрович разделял на их счет мнение сестры, — но у него было меньше времени ими заниматься и мысленно перено-

ситься в Петербург. Он весь был поглощен другими, более близкими интересами.

На первом месте была мельница. В общей сложности плотина обошлась дороже, чем он думал. Забивались новые сваи, плитняк для укрепления береговых плеч рыли в снегу и возили из дальнего оврага, навоз для запруды возили из деревни, доски — из города. Хлопот был полон рот, как говорится. Иван Петрович вздохнул свободнее, когда в первый раз пущена была вода и три маховые колеса дружно завертелись, обдавая седой пеной бока мельничного амбара. Он окончательно успокоился только в последних числах марта, после того как река взломала лед, плотина выдержала его напор, разбросав его вместе с водой по берегам речки, и, наконец, когда последняя вступила в берега свои.

Одно не удалось ему: увлеченный во время ночного паводка удалством работника Филиппа, восхищаясь потом, при работе, его ловкостью и сметкой, — он задумал было сменить мельника и посадить на его место Филиппа. Дальнейшие наблюдения убедили Ивана Петровича в необходимости отказаться от такого намерения. На Филиппа не было никакой возможности положиться; работал он превосходно, говорил крайне рассудительно; но стоило ему получить расчет — он вдруг куда-то исчезал, пропадал иногда на целую неделю, и возвращался всегда оборванный, — часто с подбитым глазом. Иван Петрович старался всячески вразумить его, посылал к жене и сестре, которые также старались его усюветить; Филипп всякий раз слезно каялся, клал земные поклоны, благодарил, но с первым же получением денег не выдерживал, пропадал снова, и приходилось его разыскивать. Оставалось только пожалеть и безнадежно махнуть рукой.

III

И то сказать надо: Кирсанову менее чем когда-нибудь был теперь досуг останавливаться на одном предмете.

Приближался апрель; вместе с ним одна за другой подходили новые заботы. Пока не о чем было слишком беспокоиться; напротив, — все, куда только ни обращались глаза — должно было радовать деятельного хозяина. По всем скатам полей, обращенных

к солнцу, — ровной пушистой скатертью зеленела озимь; на других откосах, там, где почва подымалась бугром, начинала щетиниться новая травка; снег оставался только в лесах, оврагах и еще кое-где по межам; подогреваемый сверху мартовским солнцем, снизу — отходившей землей, он везде осаживался, выставляя наружу черные засохшие стебли прошлогодних растений; в рыхлом разъеденном снегу, вокруг каждого стебля, можно было уже заметить пустое пространство, через которое проходил воздух подогретой земли. В лугах, по берегу речки встречались еще ледяные глыбы, но стоило к ним прикоснуться, они рассыпались звонкими мокрыми иглами. Ночью и на заре было еще холодно: земля стыла, снег сжимался, вода в колеях покрывалась тонким кружевом льда. Но восходило солнце — и все оживало: колеи превращались в ручьи; снег видимо делался ноздреватым, таял, увеличивая с каждым часом черные проталины, над которыми заливались уже жаворонки, между тем как по самой проталине важно расхаживал грач, первая хлебная птица. Ранний прилет птиц возвещал теплую, дружную весну.

IV

Утро Благовещения было особенно великолепно. Иван Петрович не утерпел и чем свет вышел из дома. Солнце восходило в чистом, безоблачном небе; оно уже грело, несмотря на раннюю пору. Не доверяя теплоте, чувствуемой на лице, Иван Петрович несколько раз засучивал рукав и выставлял голую руку на воздух; но и на руку веяло также мягкой теплотой. Он пошел дальше по улице деревни. Подле ближайшей избы застал он убеленного годами старика в одной рубашке. Заслоня ладонью глаза, старик щурился к восходу.

— Что, брат Демьян, каков денек для праздника! — окликнул Иван Петрович.

— Да, батюшка, благословил господь... Думать так надо: скоро пахать поедем!..

В соседних избах отворенные ворота позволяли рассматривать других стариков, хлопотавших подле бороны и сохи. На выгоне, за околицей, слышалось блеяние овец и мычание коров, накануне выпущенных на вольный воздух, на свежую траву.

Иван Петрович вышел в поле, сам не отдавая себе отчета в том, отчего так особенно было у него сегодня радостно на сердце. Он обошел два поля; внимательно осмотрел в одном озими, в другом удостоверился, насколько земля держала ногу и позволяла начать пахоту. Он готовился перейти в третье поле, но взглянул на солнце и едва мог поверить, что так незаметно скоро прошло время.

Был уже десятый час утра. Желая укоротить путь к дому, он направился задами деревни. Немного погодя он вошел к себе на двор.

V

Перед крыльцом увидел он жену, сестру, старую Прокофьевну, двух прислужниц, детей и между ними прыгающего и лающего шершавого Мильюшу. Их всех тесно обступала толпа крестьянских девочек и мальчиков. Прислужницы держали в руках сита с печеными из теста жаворонками, которым, для большего сходства, в глаза и нос воткнуты были зерна овса. Александра Васильевна и ее золовка оделяли ими крестьянских детей, причем няня, державшая на одной руке Катю, приподымала всякий раз на воздух свободную руку и вскрикивала тоненьким, дребезжащим голосом: — Жаворонки прилетели!.. Жаворонки прилетели, — весну принесли!..

Возгласы приумолкли тогда только, как в ситах не осталось уже жаворонков, и крестьянские дети стали расходиться.

— Куда ты так долго уходил? — обратилась Александра Васильевна к мужу, как только он подошел к крыльцу и дети бросились к нему навстречу. — Мы давно тебя ждем... Без тебя дети ни за что не соглашались...

— Что вы еще там затеяли?.. Что такое?.. — добродушно повторял Иван Петрович, делая вид недоумения, но в то же время спеша войти в дом, опережаемый детьми и Мильюшей, которого почему-то не решился он на этот раз отогнать.

Все направились в кабинет. Он выходил углом; два окна смотрели в сад, где чернели влажные стволы липовой аллеи и под ними виднелся еще кое-где снег. Из двух других окон открывался знакомый уже вид на до-

рогу, берег речки с возвышавшимися над ней старинными ветлами; за ними тянулся луг, дальше спустились откосы, местами покрытые лесом — пока еще серым.

В двух шагах от первого окна поставлен был стол; на нем красовались большой таз, ручная метелка, клещи, долото, молоток, гвозди; обрывки бумажек и куски замазки, которыми залеплены были на зиму оконные рамы, — валялись подле на полу. Операция открытия в доме первого окна на воздух, очевидно, была уже подготовлена; для ее окончания, как водилось всякий год, ждали только Ивана Петровича.

Всем этим делом, по давно установленному правилу, предоставлялось заведовать старой няне; она относилась к нему самым ревнивым образом. Так и теперь было; никого не допуская помочь ей выдвинуть заржавленную задвижку, она сама принялась хлопотать над ней; задвижка наконец подалась, скрипнула, и первые две половинки окна отворились. Открытие двух вторых половинок потребовало еще больше времени: во-первых, мешали дети; в нетерпении своем они совались вперед, напирали на старуху, стесняя ее движения; во-вторых, следовало прежде всего бережно смести в таз песок с бумажными коробочками, наполненными солью; следовало потом тщательно вычистить подоконник.

Провозившись еще минуту, Прокофьевна проговорила: «Господи благослови!» — перекрестилась, уперлась ладонями в раму, — обе половинки вдруг раскрылись, и в кабинет волной хлынул весенний, обогретый солнцем воздух. Он был встречен восторженными криками. Тут уже никого нельзя было удержать, — даже благоразумную старшую Соню; о Сереже, — «будущем хлебопашце», и Лизе — говорить нечего; Александре Васильевне пришлось скорее взять на руки Катю, чтобы не затолкали ее вместе с Прокофьевной, у которой в первом порыве суеты чепец совершенно сдвинулся на сторону; каждый рвался вперед, каждому хотелось быть первым, чтобы сказать потом, что ему первому удалось подбежать к окну.

В эту минуту, впрочем, никто из старших не думал сдерживать детского восторга. У всех как-то мягко было на сердце; всем было слишком хорошо, чтобы мешать порывам радостного чувства.

И в самом деле, отчего было одним — не выражать своего восторга, другим — не радоваться, когда все вокруг смотрело так радостно, так весело! Когда все, что было перед глазами, сияло и нежилось, охваченное лучезарным блеском!

Легко дышалось в воздухе, приносившем запах обогретой земли; над ней, без напряжения слуха, слышалось, как заливались жаворонки; речка сверкала зеркалом; за ней, в зеленеющих лугах, белели стада гоготавших гусей; ближе — щебетали воробьи, хлопотливо перелетая с соломинкой в носике; доносилось отдаленное журчанье ручьев, кативших по холмам последние снежные остатки. Повсюду ходил одушевленный трепет, все вокруг как бы открывало глаза и, весело осматриваясь, тянулось к солнцу, возвращавшему жизнь.

На земле, в воздухе, в самом небе — носилось какое-то ликование, что-то радостное и праздничное...

И праздник был также на душе тех, кто стоял теперь у открытого окна. Одни радовались ему безотчетно; он радовал других, открывая им в душе простор для счастливых надежд и мечтаний...

1892

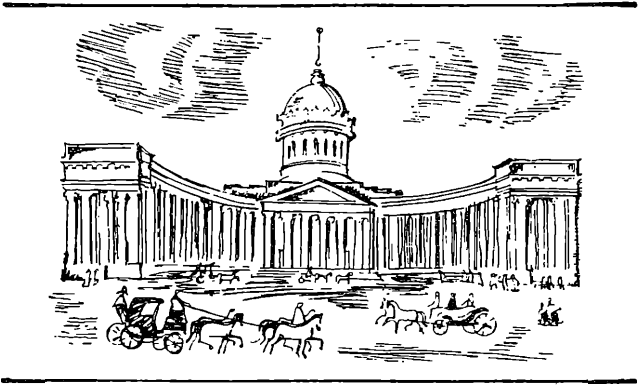




ДРАМАТИЧЕСКИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1873 • 1891







СТОЛИЧНЫЙ ВОЗДУХ

(ЭСКИЗ ПЕТЕРБУРГСКИХ ПРАВОВ)

В одном действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Павел Васильевич Вельский — 40 лет.
Софья Сергеевна, его жена — 32 года.
Александра Александровна Новинская,
двоюродная сестра г-жи Вельской, приехавшая из
провинции — 24 года.
Сергей Львович, ее муж — 38 лет.
Вознесенский, сенатский чиновник, занимающийся
мимо службы ведением дел по разным благотвори-
тельным обществам — 40 лет.
Даша, горничная Новинской — 30 лет.
Сидор, ее муж, камердинер Новинского — 30 лет.
Кормилица Вельских.
Александр, слуга Вельских.

Действие — в Петербурге, между часом и тремя пополудни.
Сцена представляет гостиную в нижнем этаже дома Вельских, где
остановились Новинские; в глубине дверь на парадную половину
Вельских; налево, на первом плане, дверь на половину Новинских,
налево кушетка, стол с вазой и букетом цветов, несколько кресел;
направо стол с письменными принадлежностями.

ЯВЛЕНИЕ I

Д а ш а (*выходя из двери налево*). Опять пропал!
Отвернуться не успела, пропал, разбойник!! Слышу:
звонит барыня, отбежала на минуту, гляжу: его и след
простыл!.. загубил нас этот Петербург проклятый,
чтоб ему провалиться! В шесть недель, как сюда при-
ехали, всех сокрушил, окаянный! Барыня стала на себя
не похожа; барин... барин и того хуже: совсем с толку
сбился... И мой за ним, туда же!! Куда рак с копытом,
туда и конь с клешней... тьфу!.. никак и сама-то
я здесь совсем одурела.

Даша, кормилица (с ребенком на руках).

Кормилица. Здравствуй, Дарьюшка...

Даша (*сильно не в духе*). Здравствуй, коли нечего делать...

Кормилица. Не видела нашей барыни?

Даша. Так к ней и приставлена, чтоб за нею ходить! А что тебе?

Кормилица. Да что, Дарьюшка, второй вот день хожу за ней по всему дому, и все без толку; да же, веришь ли, руки отмотались...

Даша (*сосредоточенно*). Отмотаются, матушка... здесь у вас отмотаются.

Кормилица (*продолжая*). Придешь в спальню, говорят: «Некогда, одевается», — опять придешь, говорят: «Села писать с бумагами!», — придешь опять: «В гости уехамши»... Вечор два раза докладывала; сегодня на лестнице встречалась, опять говорю: «Барыня, послать надуть за дохтуром...»

Даша (*нетерпеливо*). Что же она?

Кормилица. Сначатия словно и в толк возьмет: засуетится, забегает... А тут опять из магазина придут, либо гости, либо сама уедет, смотришь: опять забыла! Весь день так-то ходишь, и все без толку!

Даша. Захотела ты от этих ваших модниц! У них что? Только шалтай-балтай в голове. Коман ву бонжур, мусью! вот и все! Нагляделась я в эти шесть недель, у вас живучи... Ну, уж столичное житье! Да меня озолоти всю, — сюда не поеду.

Кормилица. Нет, не говори, Дарьюшка! Насчет кушанья превосходнее деревенского; вот также и насчет кофею...

Даша (*перебивая*). Нашла что сказать: кофе! По мне хоть бы его вовсе не было! Мы век в деревне его не пили, а хуже не были; от него что: только дуреешь!

Кормилица. Ну вот также и насчет пива.

Даша (*досадливо*). Ах, не поминай мне лучше об этом проклятом пиве! Вот оно где у меня сидит, вот! вот!!

Кормилица. Ты все насчет своего мужа сокрушаешься?

Даша. О чужих что ли я стану плакать? До Петербурга до вашего ничего с ним такого не было;

в шесть недель всему выучил! А все народ здешний, матушка, все народ... Самый что ни на есть пронзительный, разбойник сущий... (*Передразнивая.*) «Чего-с, чего-с!..» тьфу, анафемы! Закружат, завертят человека, и не догадаешься... Пошли эти компании, трактиры, гулянья, кафе-стораны...

ЯВЛЕНИЕ III

Даша, кормилица, Вельская (выходя из дверей против сцены).

Вельская. А, кормилица!.. Здравствуй, Даша... Где твоя барыня?

Даша. К обедне ушли, сударыня.

Вельская. Ах да, сегодня праздник! (*Кормилице.*) Ну что дитя? (*Бросается к ребенку.*) Милый, душка! Baby!.. *Se cher Baby!*..¹

Кормилица. Со вчерашнего дня жарок показался...

Вельская. Жар! Ah, mon Dieu!² Сейчас, сию минуту, надо послать за доктором... Ступай, кормилица... Я сейчас... (*Кормилица уходит; Вельская берет за звонок, но входит Александр с письмом на подносе, и она останавливается.*) Что это, опять письма? (*Александр уходит.*) Решительно себе не принадлежишь... Три письма. Боже мой! сколько дел! ах да, совсем забыла! (*Звонит; входит Александр.*) Александр, пошлите скорее взять ложу во французском театре на завтра; скажите только, — и не забудьте (вы так рассеяны), — взять с правой стороны подле сцены... (*Александр уходит; за ним в другую дверь уходит Даша, пожимая плечами.*) Посмотрим, что тут еще такое... (*Берет первое письмо.*) Счет из Ville de Lyon...³ и третий раз, какие несносные! (*Берет второе письмо.*) «*Chère Sophie*»⁴, сегодня я окончательно навела справку и могу удовлетворить твоему любопытству: благотворительный концерт Kitty принес 2000 рублей...» (*Прерывая.*) Две тысячи рублей! это невозможно! Все говорили, концерт не удался и зала была совершенно пустая! Впрочем, все объясняется... все объясняется этими мальчишками, которых она в себя

¹ Малыш!.. Дорогой малыш!.. (*англ., фр.*)

² Ах, боже мой! (*фр.*)

³ «Город Лион» (*фр.*)

⁴ Дорогая Софья (*фр.*)

влюбляет... Они никому не давали проходу, упрашивая чуть не со слезами купить билеты; билеты не покупались; не смея возвратить их назад, они сложились и сами их купили! *C'est clair, clair comme le jour!*¹ (*Развертывает третье письмо.*) «Милостивая государыня! Не имея никакой чести быть лично представлен вам, я, как простой любитель человечества, прямо обращаюсь к вам, зная, что сердце ваше всегда раскрыто на пользу ближнего...» (*Прерывая.*) Да, меня знают... меня все знают!! (*Продолжая читать.*) «Но буду краток, щадя драгоценное время ваше. Здесь в роскошной, северной столице нашей проживает бедная вдовица, некто Вильгельмина Пешель, имеющая сына, прекрасного молодого человека, одаренного всеми качествами, требующимися для образования замечательного чиновника...» (*Прерываясь.*) Боже мой, как длинно и какой слог!.. (*Продолжая.*) «Наделенный щедрой природой восхитительной наружностью, молодой Пешель отличается необыкновенными душевными свойствами, переданными ему матерью, женщиной высших добродетелей и нравственности, получившей образование в одном из лучших пансионов». (*Прерываясь.*) Боже мой, какое мне дело до этого!.. Какой слог! какой слог! как, еще не кончено?.. (*Читает.*) «Образование молодого Пешеля отвечает вполне его нравственности; он обнаружил поразительные успехи в русском, французском и немецком языках; на первых двух он изъясняется свободно и правильно, особенно на первом, который и есть его природный». (*Прерываясь.*) Он глуп, должно быть! определить его никуда не могли и теперь по обыкновению просят меня похлопотать об нем... *Je suis assomée par ces*² просьбы! Впрочем, это неизбежное следствие моего положения: *je suis si populaire!*³ (*Глядя на письмо.*) Как, еще не кончено? (*Читая.*) «Находясь постоянно при матери, молодой Пешель приобрел от нее прекрасные манеры, характер нежный и игривый, сметливость весьма замечательную...» (*Бросая письмо.*) Нет, довольно! довольно... Но, боже мой, сколько еще дел! сколько дел! Надо написать до сорока пригласительных писем к завтрашнему вечеру, надо

¹ Это ясно, ясно как день!.. (*фр.*)

² Как мне надоели эти (*фр.*).

³ Я так популярна! (*фр.*)

приготовить три платья, сделать несколько визитов... а в три часа... Боже мой, в три часа у меня комитет.

Александр (*докладывая*). Господин Вознесенский!

Вельская. Проси! Проси!

ЯВЛЕНИЕ IV

Вельская и Вознесенский.

Вельская. Здравствуйте... виновата, я все забываю...

Вознесенский (*легко наклоняясь*). Ельпидифор...

Вельская. Ах, да, Анпидифор Антоныч!.. Извините, пожалуйста... эти русские имена... это, знаете, так трудно!.. Как вы мне нужны... Липи... Липидифор Антонович, как нужны!.. Ну, что, как идут наши билеты?

Вознесенский. До сих пор все благополучно...

Вельская (*перебивая*). То есть как благополучно? Я хочу, понимаете, чтобы было превосходно!! Понимаете, Ан... ах, опять забыла... да, Анпидифор Антонович, я хочу, чтобы было превосходно!! Наш концерт должен непременно принести 3000! У меня на это свои важные, очень важные причины! Три тысячи, слышите ли?

Вознесенский (*почтительно наклоняясь*). Вам известна моя преданность к вам... и также к цели, которую вы изволите преследовать...

Вельская. Сколько билетов уже роздано?

Вознесенский. Еще не сведены окончательные счета, но, кажется, уже больше трети...

Вельская. Афишка уже напечатана?

Вознесенский. Сию минуту только что вышла из типографии. Я захватил ее с собой, вот она... (*Читает:*) «В пятницу, 17 числа, Комитетом для снабжения носовыми платками бедных извозчиков дан будет вокальный и инструментальный концерт с живыми картинами и томболой-аллегри...»

Вельская. Надо бы к фразе: «с живыми картинами» — прибавить: «патриотического содержания»!..

Вознесенский. Превосходная мысль; к тому же оно теперь в большой моде! Так как это только первая афиша, завтра, при втором оттиске, можно бу-

дет вставить ваше замечательное замечание... я хотел сказать — вашу мысль!..

Вельская. Хорошо, хорошо... Только помните... ах, боже мой, я все забываю...

Вознесенский. Ельпидифор...

Вельская. Ах, да...

Вознесенский. Антонович...

Вельская. Да, извините, пожалуйста, эти русские имена... право, это так трудно! Помните же, нам необходимо 3000!.. Это очень важно. (*Вкрадчиво.*) Вы просили меня устроить ваше дело, и я устрою его; помните: одолжение за одолжение.

Александр (*докладывая*). Секретарь посольства!

Вельская. Проси, проси!.. Наверх, в голубую гостиную... Скажите только: я очень извиняюсь и прошу подождать... (*В сторону.*) Нельзя не принять, бедняжка так влюблен! Кстати, я дам ему 20 билетов. (*Вознесенскому.*) Приготовьте пока, пожалуйста, бумаги для комитета; в два часа ровно мы начнем! (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ V

Вознесенский (один).

Удивительно, право, сотворены эти светские дамы! Встанут в 12 часов, в час, и думают, что уже с этих пор время целого человечества принадлежит им по праву... Она сказала, однако же: «Услуга за услугу». Гм... Ну, до сих пор, по крайней мере, я с ее стороны ничего еще не вижу... Полгода занимался, как секретарь, благотворительными делами баронессы Ласт, — и получил место; хлопотал об лотерее в пользу снабжения неимущих старух дешевым нюхательным табаком, — графиня Гаденбург сделала меня смотрителем приюта; жалованье, конечно, пустяк, но место сближает с сильными мира, а мне всегда этого хотелось... Состоял потом при постройке часовни, — были при этом даже кой-какие выгоды, и все-таки княгиня Зинзивева выхлопотала вот (*указывает на петлицу*). Ну, а эта, эта пока еще ничего не сделала! А уладить — надо; связи, большие связи!.. Шутка, однако ж, что вздумала! собрать 3000!!! Мало у нее влюбленных, — вот что жаль; мало, так сказать, гаран-

тии для раздачи билетов... Но нет, не тот совсем у нее характер, — слишком разбрасывается! И политика, и благотворительность, и общественные интересы, и светские удовольствия... Да, слишком разбрасывается!.. Однако ж, сколько я здесь ни сижу, провинциальная ее кухня Александра Александровна Новинская все-таки не показывается, а в этот час я всегда застаю ее здесь... Вот эта так не разбрасывается... Это прелесть женщина!.. Но... но вот и она.

ЯВЛЕНИЕ VI

Вознесенский и Новинская (выходя из двери в глубине; она в шляпке).

Вознесенский. Ах, мое почтение, Александра Александровна...

Новинская. Здравствуйте... Вы не видали кухни?

Вознесенский. Сейчас здесь были... Вышли, кажется, одеваться; у нас комитет через четверть часа...

Новинская. Комитет? Но вчера уже был.

Вознесенский. Сегодня другой, сегодня комитет для снабжения дешевым мылом бедных трубочистов... Но не беспокою ли я вас?

Новинская. Извините... мне надо прочесть несколько писем.

Вознесенский. В таком случае, имею честь кланяться. *(В сторону.)* Оставлю здесь несколько бумаг, чтобы иметь предлог вернуться... Холодна, замкнута, сосредоточенна, но очаровательна!! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ VII

Новинская (одна).

Не могу дать себе отчета, но господин этот почему-то особенно мне не нравится... Встречаются такие люди: чем любезнее, тем несноснее. *(Садится, снимает шляпку.)* Но, боже мой, куда же Сережа мог уйти так рано? Вчера я опять его только видела мельком... И так почти каждый день. Но нет, не хочу ве-

рить в такую слабость; круг прежних товарищей, петербургские развлечения, все это, очень понятно, может на время занять человека, особенно после нескольких лет деревенской жизни; но все это не может же завлечь его совершенно... С другой стороны, думаю — и сердце невольно сжимается... Что значит эта перемена в нем? В последние дни он стал особенно как-то озабочен, задумчив... Кузина, как величайшую тайну, сообщила мне, что он проводит вечера с ее мужем в клубе и много играет... Кузина прибавляет (и на этот раз всегда как бы подчеркивает слова свои), что мужчины вообще склонны к увлечению. Боже мой!.. Прожить шесть лет, как я прожила, благословляя каждый миг своей жизни, и все это будет забыто, забыто в какие-нибудь шесть недель... забыто потому только, что в Петербурге существуют какие-то обольщения... *(Плачет.)* Но что это? Отчего же я плачу?.. *(С ударением.)* Да, надо сказать, однако ж, в этой столичной жизни, в этом воздухе, в вихре этой суеты, есть действительно какая-то зараза; действительно есть что-то возбуждающее нервы, но охлаждающее сердце. Здесь даже все понятия как-то превращаются... В шесть недель я много насмотрелась... И когда подумаю, что сама дала мужу мысль сюда приехать, сама к нему приставала... Мне хотелось развлечь его. Хорошо еще, что детей не взяла с собою.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Даша и Новинская.

Д а ш а *(входя неожиданно и подавая два письма)*. Привезли, сударыня.

Н о в и н с к а я. Ах, как ты меня испугала! Что такое?

Д а ш а. Да вот письма, сударыня; одно с почты, должно быть, от наших.

Н о в и н с к а я. А другое письмо?

Д а ш а. Его принесла какая-то чужая горничная с заднего крыльца; людей никого не было, кроме прачки; передали ей, а она мне... Просили отдать в руки камердинера вашего брата.

Н о в и н с к а я. Оставь здесь, — я передам... *(Берет*

письмо и вдруг изменяется в лице, в сторону.) Имя моего мужа... женский почерк... Боже мой!..

Д а ш а *(плаксиво)*. Александра Александровна, у меня к вам просьба есть: сделайте такую милость, сил моих нет терпеть!.. Хоть вы его постращайте, со всем ведь замотался.

Н о в и н с к а я. Что такое?

Д а ш а. Да мой Сидор, сударыня... что и делать не знаю... По целым дням пропадает... пропал как есть.

Н о в и н с к а я. Хорошо, после... оставь меня.

Д а ш а. Пора бы отсюда уехать. Ей-богу, пора! Ничего здесь нет хорошего... только суета одна.

Н о в и н с к а я. Оставь меня, пожалуйста, я сейчас приду.

Даша уходит.

ЯВЛЕНИЕ IX

Н о в и н с к а я *(одна; рассматривая письмо с большим волнением)*.

Да... да. Это его имя: Mr. Mr. de Novinsky. Женская рука... Принесли с заднего хода... *(Читает снова.)* Mr. Mr. de Novinsky... *(Хватаясь за голову, потом за сердце.)* А я так безгранично ему верила!.. Но нет, быть не может, тут что-нибудь не так... Однако ж, вот... вот письмо... его имя... *(Делает движение, как бы желая распечатать его.)* Нет, я не сделаю этого!.. Есть еще другое письмо... *(Смотрит на конверт.)* Оно от жены нашего управляющего, мне адресовано, и я прочту его... *(Читает:)* «Глубокоуважаемая Александра Александровна, пишу вам наскоро и по поручению мужа; он уехал неожиданно по делу и поручил мне просить вас объяснить супругу вашему, что нет никакой возможности так скоро продать рожь и выслать такую значительную сумму денег». *(Останавливаясь.)* Зачем ему вдруг эти деньги? Стало быть, правда, что он играет и... проиграл, может быть!.. *(Берет другое письмо.)* Может быть, здесь узнаю правду... *(Долго колеблется, вдруг раскрывает конверт и читает:)* Cher Bibi adoré, tu m'as promis de me mener aujourd'hui aux îles¹.

¹ Дорогой, обожаемый Биби, ты обещал отвезти меня сегодня на острова *(фр.)*.

Вельская (*быстро входя; Новинская прячет письмо и садится на него*). Bonjour, Zizi! ¹ Во-первых, здравствуй; мы еще не виделись сегодня (*целуются*); во-вторых, я пришла извиниться перед тобой. Ты знаешь, завтра у нас вечер, то есть, собственно, c'est moi ², я даю его; цель та — как можно больше раздать билетов на мой благотворительный концерт. Наверху, в больших комнатах теперь ставят цветы, убирают, и потому я от двух до трех часов завладела внизу твоей столовой... У меня комитет; ты прощаешь?

Новинская. Да, еще бы!

Вельская. Еще просьба... сегодня за обедом (потом скажу, кто и кто у нас будет) подле тебя сядет секретарь посольства барон Чик. Chère amie ³, будь с ним как можно любезнее... он влюблен, ты знаешь. Il en perd la tête... ⁴ Начинают болтать об этом в городе. Cette chère capitale! ⁵ Ты еще не знаешь Петербурга; только слава; а относительно сплетен: c'est un vrai ⁶ Арзамас; ну, так будь мила; я просила его быть очаровательным... Понимаешь, чтобы отвести подозрение. (*Рассеянно.*) Но после обеда ты едешь с нами в оперу.

Новинская. Нет, у меня голова болит...

Вельская. По крайней мере на бал после театра мы едем вместе...

Новинская. Нет, я и на бал не поеду...

Вельская. Chère Zizi, tu as quelque chose... ⁷ Что с тобой? Помилуй, платье твое заказано, готово, сидит на тебе как ангел, как два ангела, и ты отказываешься ехать!..

Новинская. Говорю тебе, у меня голова болит...

Вельская. Ah, chère amie ⁸, полно. Перестань,

¹ Здравствуй, Зизи! (*фр.*)

² Это я (*фр.*).

³ Дорогая (*фр.*).

⁴ Он теряет голову... (*фр.*)

⁵ Это милая столица! (*фр.*)

⁶ Это настоящий (*фр.*).

⁷ Дорогая Зизи, что с тобой... (*фр.*)

⁸ Ах, дорогая (*фр.*).

пожалуйста. У всех голова болит, у всех решительно — и никто на это не обращает внимания... *C'est province...*¹ к завтрашнему дню, по крайней мере, надеюсь, твоя голова пройдет... Она должна пройти! завтра: *c'est le grand-jour, le coup d'état*², ты обещала мне помочь, и я рассчитываю... Вспомни, завтра в два часа праздник на катке!.. Вся молодежь явится, весь город, *tout le monde!*³ Я это затеяла с тем, чтобы иметь случай раздать билеты для моего концерта; ты обещала помогать мне... Но что с тобой?.. *Qu'as-tu, Zizi?*⁴ Смотри, даже прическа твоя расстроена... Встань на минуту, я тебе поправлю... встань... (*Старается приподнять Новинскую, та упирается.*) *Une seconde...*⁵ Встань же!.. (*Новинская приподнимается; на пол падает письмо.*)

Новинская (*в смущении*). Ах!.. (*Неловко старается закрыть ногой письмо.*)

Вельская (*наставительно*). Zizi, будь осторожнее...

Новинская. Как? Ты можешь думать...

Вельская. Не думаю, но вижу и повторяю тебе: Zizi, будь осторожна... *Tu joues là, ma chère...*⁶

Новинская (*быстро поднимая письмо и подавая его*). Читай!!

Вельская (*читая с жадностью*). «*Cher Bibi adré!*» Oh, quelle horreur!⁷ (*Усаживая Новинскую на диван и в то же время пробегая письмо глазами.*) Теперь я понимаю, отчего у тебя глаза красны... (*Читая и вместе с тем говоря с Новинской.*) *Chère amie, du courage;*⁸ я тебе говорила: приходит для нас период черных дней! *Chère Zizi: шесть лет супружества!!*

Новинская. Но нет, я верю моему мужу; тут есть какая-нибудь ошибка...

Вельская (*с убеждением*). Zizi, шесть лет супружества!.. Но кто принес это письмо?

Новинская. Даша, оно было передано Даше твоей прачкой, а той доставлено какой-то горничной через черную лестницу: она велела передать камерди-

¹ Это провинциально... (*фр.*)

² Завтра великий день, государственный переворот (*фр.*).

³ Весь народ (*фр.*).

⁴ Что с тобой, Зизи? (*фр.*)

⁵ Секунду... (*фр.*)

⁶ Ты рискуешь, дорогая... (*фр.*)

⁷ «Дорогой, обожаемый Биби!..» О, какой ужас! (*фр.*)

⁸ Дорогая, смелее (*фр.*).

неру cousin¹, т. е. твоего мужа... на нем было имя моего мужа, и я решила его распечатать.

Вельская я. Zizi, шесть лет супружества!.. Они все так! Nous autres pauvres femmes!..² Но ты говоришь, камердинеру моего мужа... (*В сторону.*) Ah mon Dieu!.. Это ясно, это ему! (*С живостью обращается к Новинской.*) Дай мне это письмо.

Новинская я. Нет, оно адресовано мужу, я отдам его ему по принадлежности.

ЯВЛЕНИЕ XI

Вознесенский (*входя*). Софья Сергеевна, комитет собран и ожидает вас.

Вельская я. Иду... (*В сторону.*) Нет сомнения, моему мужу... Только этого недоставало!.. Ah mon Dieu! (*Уходит.*)

Вознесенский (*следуя за ней, но взглядывая на Новинскую, в сторону*). Прелестная женщина!.. Холодна, сосредоточенна, но очаровательна! (*Уходит.*)

Новинская (*одна*).

Неужели Сережа мог так себя унизить... Быть не может... нет... нет!.. Но между тем, как объяснить себе все это... я так много слышала об этих женщинах! Они, говорят, так опасны! Какой тайной владеют эти женщины, чтобы в один день, в один час разрушить счастье... (*прерываясь рыданием*) счастье, которое честной женщине стоило стольких лет любви и преданности мужу.

ЯВЛЕНИЕ XII

Те же и кормилица (*с ребенком*).

Новинская. Что ты, кормилица?

Кормилица. Да что, сударыня, с утра самого хожу за барыней, — найти не могу... Даже руки отмотала!..

Новинская. Что же тебе?

¹ Кузена (*фр.*).

² Мы бедные женщины!.. (*фр.*)

Кормилица. Да вот жар у ребенка... Сколько раз говорила: «Сейчас, сейчас!», — а все нет ничего; опять ходила, говорят: канитет какой-то...

Новинская *(с живостью)*. Как, ребенок болен и ты... и... *(Звонит; входит Александр.)* Скорее пошлите за доктором. Погодите, я напишу ему несколько слов... Ты ступай, кормилица; сейчас приедет. *(Кормилица уходит; Новинская пишет письмо; в это время входит Вознесенский.)* Вот, отдайте доктору, скажите еще на словах, что его ждут... *(Александр уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XIII

Новинская и Вознесенский.

Вознесенский. Виноват, сударыня, я вас, кажется, беспокоил... Но остались здесь бумаги, и я воспользовался минутой, когда началось совещание... *(Вкрадчиво.)* Надо прибавить: бурное совещание, потому что между председателями, сестрицей вашей и баронессой Ласт начался горячий спор... пошли даже пикировки, ни одна не хочет уступить другой... Но вы, кажется, заняты...

Новинская. Извините.

Вознесенский. В таком случае удаляюсь... Удаляюсь. *(В сторону.)* Какая прелесть!.. *(Уходит; в ту минуту, как он в дверях, из двери налево выходит Новинский.)*

ЯВЛЕНИЕ XIV

Новинский и Новинская.

Новинский *(глядя на дверь, куда вышел Вознесенский, и в сторону)*. Опять этот секретарь?! *(При виде мужа Новинская садится на диван.)* Здравствуй, Alexandrine! я еще не видал тебя сегодня... *(Подходит к ней, обнаруживая явную неловкость, и берет ее за руку.)* Мне говорили — ты была у обедни, я не успел; с десяти часов пришли ко мне Ипатов и Силич, старые товарищи по полку, ты их не знаешь, — и просидели почти до часу... *(Молчание жены все более и более его смущает.)* Право, какой странный город этот Петербург; целый день ничего не делаешь, только мечешься во все стороны... а между тем нет минуты свободного

времени. Не знаю, делает ли на тебя то же впечатлени-
е, но странно то, что при этой бестолковой жизни
у всех какие-то нахмуренные, озабоченные лица... все
как-то недовольны собой, недовольны своим положе-
нием, еще больше недовольны положением другого
и все как-то бранят друг друга... Такой уж здесь воз-
дух. *(С возрастающей неловкостью.)* Ах, да, сестра
мне мимоходом сказала, что ты сегодня на бал не по-
едешь... отчего же?

Новинская. Голова болит.

Новинский. Ты уже вчера жаловалась... я сей-
час пошлю за доктором. *(Делает движение к звонку.)*

Новинская *(удерживая)*. Нет, не надо...

Новинский *(в сторону)*. Она сегодня еще боль-
ше расстроена. *(Громко, придвигаясь ближе к жене.)*
Скажи, пожалуйста, что с тобой?

Новинская *(через силу удерживая слезы)*. Ни-
чего...

Новинский. Ничего... и ты говоришь это чисто-
сердечно... Посмотри мне в лицо... *(Хочет взять ее
руку, она отворачивается, закрывает лицо руками
и вдруг, зарыдав, убегает в дверь налево. Новинский
бросается за женой, потом возвращаясь.)* Но нет, не
пойду за ней... Что же это в самом деле?.. Просто ни
на что не похоже!.. Вот две недели, как это продол-
жается... с того глупого вечера, как я поехал в Цар-
ское Село к старым товарищам и... и... два дня не воз-
вращался... Ну, глупо было... знаю, что глупо! но
все-таки нельзя так долго сердиться... Вельский прав:
баловать жен никуда не годится... Чем больше она
сердится, тем мне досаднее; и хочется подойти к ней,
и вместе с тем чувствуется какая-то неловкость...
А тут Петербург со своей возней; то туда, то сюда,
нет минуты разумного спокойствия!.. Но нет ли также
другой причины в ее перемене? Женщины так фанта-
стичны!.. Вообще все это скучно, глупо, пора кончить
и убираться восвояси.

ЯВЛЕНИЕ XV

Новинский и Вельский.

Вельский *(входя)*. Ба, ты уже готов!

Новинский *(стараясь скрыть дурное располо-
жение духа, принимая шутливый вид)*. Готов! Только

в другом смысле, как обыкновенно принимают... Знаешь, Вельский, это так мимоходом, я пришел к убеждению, и надо сказать, ты много тому способствовал — что женщин вообще, т. е. никогда, баловать не следует...

Вельский. Пари держу — поссорились. И в первый раз как-то интересно... Любезный друг, неизбежно надо прийти к тому!!! Ты еще что? Ты в исключительном положении; твоя поэма тянулась шесть лет; она обыкновенно скорее переходит во всеобщую историю; разница в том только, что исторические сражения служили к истреблению человечества... супружеские битвы нисколько не мешают к его размножению.

Новинский. Ты все шутишь! Повторяю, я пришел к горькому убеждению: жен баловать не следует! *(С увлечением.)* Ты отдаешься женщине душой и телом.

Вельский. Не обо мне ли это говоришь?

Новинский. Нет.

Вельский. То-то, я уже испугался.

Новинский *(продолжая)*. Живешь, так сказать, для нее одной! Шагу не делаешь, ни умственно, ни даже физически, без того, чтобы она не знала.

Вельский *(публике)*. Что значит неопытность! Даже слушать страшно...

Новинский *(продолжая)*. И все это ведет к тому, что если ты только...

Вельский. Не я во всяком случае!

Новинский *(досадливо)*. Ну да, не ты... Что ты все перебиваешь, я о себе говорю; если ты по обстоятельствам, от тебя не зависящим... Ну, хоть бы как я теперь, приехал в Петербург, где условия жизни совсем другие, чем в деревне... не могу же я быть здесь вечно прикованным к жене! это поневоле!.. Что ж? Она серьезно начинает огорчаться, плачет, разводит в душе разные подозрения, впадает в какую-то мрачную меланхолию, расстраивается совершенно...

Вельский. В таких случаях заметь себе одно правило: оставь жену в покое; утешать начнешь — хуже будет, поверь мне; все твои аргументы, утешения, оправдания, доводы, доказательства ни к чему не поведут; действие то же, что подкладывает камни в поток: только шума и пены прибавится!

Новинский. Я не шутя начинаю беспокоиться за ее здоровье.

Вельский. Пустяки.

Новинский. Пустяки?!!

Вельский. Разумеется! Верь мне, я говорю по опыту. Изо всего, что есть на свете живущего, женщины самое крепкое существо и самое живучее — белка совершенная! Они умирают от любви, умирают с горя, мы их морим на каждом шагу, они сами себя убивают беспрестанно, — и что ж? Все-таки живут и процветают для счастья человечества!! Вообще здоровье женщины самая неопределенная вещь. Оно от всего зависит, — от погоды, от часа, от туалета ее приятельниц, словом, от всего и от ничего. Часто женщина, приговоренная утром на смерть целым консилиумом докторов, в три часа очаровательно болтает в гостиной, если это только, конечно, входит в состав ее расчетов, и всю ночь танцует до петухов!.. Короче сказать: между тобой и женой прошла туча: Филемон и Бавкида поссорились!

Новинский. Тебе все смешно!.. Нет, я серьезно говорю: меня жена не на шутку начинает беспокоить...

Вельский. В каком отношении?

Новинский. В отношении чисто сердечном.

Вельский. Счастливец!

Новинский. Счастливец?

Вельский. Еще бы, когда жена в состоянии давать тебе такие сладкие ощущения...

Новинский. Знаешь, Вельский, ты мне просто гадок сегодня! Ты как будто кокетничаешь своим равнодушием; нашел чем хвастать! И, наконец, ты просто прикидываешься; уж будто ты не имеешь этих ощущений?

Вельский. Я?! Да боже меня упаси и помилуй... Спешу прибавить: мои отношения к жене совсем другого рода.

Новинский. Знаю, знаю, ты уж мне говорил; те отношения, которые зарождаются в столичном воздухе и в известных слоях, т. е. люди женятся, живут с другой... а любят только самих себя!..

Вельский. Я говорил это в свое обвинение... и ничего не сказал о жене.

Новинский. Ты постоянно с ней ссоришься.

Вельский (*комически, наставительно*). В Риме, говорят, на гробнице двух супругов была следующая

надпись: «Прохожий, остановись и любуйся величайшим чудом: здесь покоится муж и жена, которые не ссорятся!»

Новинский. Твоя жена отличная женщина.

Вельский. Совершенно справедливо... но справедливо и то также, что на мою долю мало остается.

Новинский. Как так?

Вельский. Свет много себе берет, и надо сказать: жена охотно поддается его требованиям... Требования эти прихотливы... Ты сам, я думаю, видишь: я постоянно живу посреди каких-то превращений: на прогулке жена является великолепным тюльпаном; на бале или в ложе — пышной махровой розой; в гостиной — фиалкой или ландышем, смотря по капризу минуты; для меня собственно что ж остается? Часто одни стебли, а еще чаще крапива!..

Новинский. Короче сказать, ты хочешь меня уверить, что охладел совершенно.

Вельский. Да... кажется.

Новинский. Любопытно бы знать, как ты дошел до этого?

Вельский. Не вдруг, конечно, — этапами; можно даже разделить их, если хочешь, на периоды: 1-й период: бешенство балов и увеселений до белой горячки; 2-й период: дипломатический салон; 3-й период — политическое значение, как питание собственного тщеславия; 4-й — благотворительность, подбитая розовым атласом... Потому что, заметь себе: половина благодетельствования известного рода основана на спекуляции; она невинна, но все-таки спекуляция. Рассыпая благодетельства, всегда сколько-нибудь себе благодетельствуешь... Жена, например, с наслаждением берет у меня пятьсот рублей с тем, чтобы сто отдать своим бедным!.. Но я удаляюсь от предмета; продолжаю: когда начались балы и белая горячка увеселений, — я сладко засыпал в карете — но все еще крепился; дипломатический салон на минуту возбудил мои нервы, и я первый раз подумал о побеге; политическое значение укрепило меня окончательно в таком намерении; когда же дошло до благотворительности, особенно до комитетов, — я зажмурил глаза, как человек, попавший на край пропасти, и скатился очертя голову; к счастью, пропасть была не глубока; к тому же на дне меня подхватили приятели, — я говорю о тех, ко-

торые меня любят, а не о тех, которые меня ненавидят; они, правда, не делали больших усилий, чтобы спасти меня; так только слегка протянули руки и повели меня... в клуб — где я и остался... Тепло, хорошо, покойно, а главное — нет комитетов!

Новинский. Так что ты теперь совершенно равнодушен к тому, что бы в доме ни происходило?

Вельский. Совершенно!..

Новинский. Ну, а если б жена твоя, видя себя совершенно оставленной, вздумала бы увлечься?

Вельский. Не думаю, чтобы такое открытие доставило мне особенное удовольствие, но не думаю также... Да вот я знаю, например, в жену влюблен теперь секретарь посольства барон Чик, и что ж? Разве ты видишь меня в особенной тревоге? Конечно, это до известной границы... И потом, братец, верь мне, во всем этом главную роль играет опыт. Так, например, барон Чик принадлежит к известному числу обожателей, l'adrateur!.. числу, заметь себе, совершенно безвредному и безопасному; обожатель имеет только шансы быть мужем моей жены после моей смерти. Но, как видишь, я жив и спокоен, что ж, пускай себе тешатся!

Новинский. Нет, я не таков... При одной мысли такого несчастья я чувствую, что бледнею. (*Переменив тон.*) Да, кстати, скажи, пожалуйста, я давно собираюсь спросить: что за человек этот Воскресенский, который здесь то и дело вертится?

Вельский. А, право, не знаю... так дрянь какая-то! Господин, пробивающий себе дорожку... больше по черным лестницам...

Новинский. Умен или глуп?..

Вельский. Вопрос, ясно показывающий, что ты заглох в провинции; вопрос в Петербурге неразрешимый; одни тебе скажут: умен, как ясный день! Другие — идиот совершеннейший... Если ты хочешь знать мое мнение, я нахожу, что он слишком помадится!.. Но чем тебя все это интересует?

Новинский. Я замечаю, он постоянно вертится подле жены, и мне хотелось знать...

Вельский. Ты можешь думать?

Новинский. Ничего решительно... я слишком хорошо знаю жену, чтобы позволить себе что-нибудь думать! Но ведь сам же ты говоришь: любовь рождается из ничего.

Вельский. Да, только и умирает также от всего...

Новинский. С другой стороны, меня начинает беспокоить перемена в ее расположении духа; она стала грустна, несообщительна, как будто что-то таит на душе... Даже в отношениях наших, прежде таких ясных и искренних, легла будто тень отдаления...

Вельский. И ты подозреваешь?

Новинский. Повторяю тебе: ничего решительно... Но... но с другой стороны... *(С досадой.)* Ты же сам твердишь то и дело: женщины так фантастичны, так неожиданны!

Вельский *(посмеиваясь)*. Ну, брат, и ты хорош!

Новинский. Что ты этим хочешь сказать?

Вельский. У тебя ничего нет на совести?

Новинский. У меня?

Вельский. А маленькая Фифи?

Новинский *(с испугом)*. Ради бога, тише! Я всего сказал ей два-три слова... Ведь ты же сам пригласил меня к ней пить чай... Что ж тут такого?

Вельский *(смеясь)*. Как испугался! Но послушай, что ж мы стоим, однако ж? Погода славная, скоро два часа, пойдем гулять!

Новинский. Хорошо... Только я хотел бы жену видеть... мне необходимо...

Вельский. Говорю, не утешай! Сто раз будет хуже; все дело испортишь... и, наконец, сто раз успеешь... Погоди меня здесь, я только возьму сигар. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XVI

Новинский *(один)*.

Не узнала ли она как-нибудь об этом несчастном походе... Вельский, верно, разболтал жене; та, как водится, поспешила передать Alexandrine... Кузина не дурная женщина, но язык... Боже мой! Способна на нескромность, ничего не говоря, и проболтаться, не открывая рта... *(Входит Сидор, камердинер Новинского.)* Наконец-то, братец, ты явился! Где ты пропадаешь с утра до вечера?

Сидор. Вы изволили с письмом послать.

Новинский. Дело было на полчаса, а ты пропал целых три... И так всякий день... хотел бы я знать, что ты делаешь?

Сидор. Ничего-с...

Новинский. То-то ничего! Советую, брат, быть чаще дома! Подожди здесь; сию минуту придет сюда Павел Васильевич, скажи ему, что я прошу его подождать минуту! (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ XVII

Сидор (один).

Вишь что: сиди дома! А самому небось не сидится. Вот они, господа, все такие! Никанор Иваныч правду говорит, в таком, то есть, стиснении живем, ни на что такое не похоже! В деревне и того хуже! Ни за что бы туда не поехал, кабы не жена... она, варварка, только шею спутала. (*Даша прокрадывается из двери налево и становится за мужем.*) Когда же он придет? (*Смотрит на часы.*) Четверть третьего, только бы к трем ослобониться; обещали прийти к тому времени в греческую кофейную. Прелюбезная будет компания: Денис кучер, Филипп лакей, Влас другой лакей, Аннушка, Параша.

ЯВЛЕНИЕ XVIII

Даша и Сидор.

Даша (*становясь перед мужем*). Вот ты как, разбойник! Вот ты куда бегаешь!

Сидор. Тише, что кричишь, тише...

Даша. Я тебе покричу, разбойник ты этакой! Параша! Греческая Аннушка! (*Хватает его за шиворот.*)

Сидор (*отбиваясь*). Сделайте ваше одолжение, тише... не извольте себе ничего беспокоиться... отвязись, сатана!!!

ЯВЛЕНИЕ XIX

Новинский (*входя*). Что вы, что вы? С ума сошли... ступайте вон!

Даша (*плача*). Да что, батюшка, Сергей Львович, вы всему причиной! Так разбаловали его! Послушайте, что он говорит; его... его... (*разражаясь рыданием*)

его, вишь, какая-то греческая Аннушка поджидает!..
Сидор. Ничего такого нет, Сергей Львович...
Даша. Лжешь, разбойник!
Сидор. Сама лжешь!
Новинский (*становясь между ними*). Говорю
вам, ступайте вон! Приказываю вам выйти!!!
Даша. Что же это такое будет?!Новинский (*повелительно*). Ступайте, говорю!

Даша и Сидор уходят в разные двери.

ЯВЛЕНИЕ XX

Новинский (один).

Нет, я лучше скажу Вельскому, чтобы шел гулять один, я останусь... Я положительно должен объяснить-ся с женой... Так невозможно: и ей тяжело, и мне невыносимо... Пускай это баловство, пускай провинциальные нравы, пускай слабость с моей стороны... Что мне за дело! То и другое неопасно; я знаю, что жена меня любит, и я люблю ее больше всего на свете!

ЯВЛЕНИЕ XXI

Новинский и Новинская.

Новинский (*быстро идет ей навстречу*). Я сейчас шел к тебе... Послушай, Alexandrine, нам необходимо объясниться... Сядь, прошу тебя. (*Сажает ее.*) Не стану говорить о первых двух, трех днях, когда вдруг, бог знает, что с тобой произошло: ты сделалась нервозна, раздражительна... Положим, поводом могла быть моя поездка в Царское... хотя, надо сказать, с твоей стороны было ребячеством сердиться... Такое недоверие ко мне меня обидело. И вместо того, чтобы прямо сказать тебе, в чем дело, я начал дуться, — знаешь, русская привычка... В эти две недели жизнь вокруг нас, как нарочно, так сложилась, чтобы поддерживать в нас раздражение: балы, обеды, вечера, визиты, чай вечерние, «*thés dansants*»¹ и утренние, сло-

¹ Танцевальные вечера с чаем (*фр.*).

вом, вся петербургская возня, которая так хорошо выражается здесь в доме, не создана для того, чтобы людей успокаивать. Все это поддерживает угар, невольно удаляет друг от друга... Но когда в последние дни ты сделалась особенно грустна и несообщительна, когда десять минут назад ты вдруг зарыдала... я жестоко встревожился, и было отчего! Скажи мне, наконец, что с тобой...

Новинская *(в сторону)*. Как Петербург успел его скоро испортить... Можно ли так лукавить...

Новинский. Ты отворачиваешься... Не хочу я думать, чтобы ты поверила каким-нибудь сплетням. Я знаю, например, что кухня...

Новинская. Она ничего мне не говорила, и наконец я сплетням не верю.

Новинский. Все так говорят, это уж так водится, а между тем еще никто не оставался к ним равнодушен. Если не сплетни, так, стало быть, есть факты какие-нибудь?

Новинская. Может быть...

Новинский *(с испугом)*. Как?.. Что ты говоришь? Какие факты?..

Новинская *(в сторону)*. Как он смутился! *(Громко.)* Перестань, пожалуйста, такая комедия недостойна тебя, и наконец я ее не заслуживаю...

Новинский. Но, Alexandrine... уверяю тебя...

Новинская. Не уверяй! *(Дает письмо.)* Вот, возьми лучше.

Новинский. Письмо? *(Читая письмо.)* M-r. M-r de Novinsky. *(Читая письмо.)* «Mon cher Bibi». *(С живостью.)* Постой... тут на конверте должен быть знак. Вот он! Иначе, конечно, быть не могло... Видишь ты этот крестик сбоку? Это вздумал Вельский; он уверяет, что каждый раз, как у жены является новый влюбленный (ты знаешь, теперь секретарь посольства), она тут-то и делается к мужу особенно подозрительной и начинает его жестоко преследовать. Ты знаешь, он вообще мало себя стесняет и любит веселиться; он придумал эту глупую шутку: адресовать письма известного рода на мое имя; предупредил меня, конечно, насчет звездочки на конверте... Но ты так на меня смотришь, как будто не совсем еще убедилась... Прекрасно!.. хорошо еще, что конверт не испорчен и можно его снова заклеить. *(Звонок.)*

Новинская. Что ты хочешь делать?

Новинский. Увидишь. (*Входит Александр.*) Александр, вот тебе письмо, минут через пять... или нет, лучше стой у двери и, как только я позвоню, — принеси его сюда; мне не подавай, войди только и скажи: письмо принесли. (*Александр уходит.*) Насколько я был тяжело смущен минуту назад, настолько я теперь в восхищении... Теперь отчаивайся, сокрушайся своим недоверием...

За сценой шум, голоса.

Новинский и Новинская (*вставая*). Что это?.. Что-то случилось?..

Два лакея вносят на сцену кресло с распростертой в нем Вельской; за ними идет Вознесенский; из двери справа входит Вельский.

Все. Что?.. Что такое? Что случилось?

Вознесенский. Случилось маленькое неудовольствие... Софья Сергеевна и другой председатель, баронесса Ласт, не сошлись в мыслях и поссорились.

Вельский. Обыкновенный результат ваших заседаний, сколько я заметил.

Вознесенский. Но Софья Сергеевна совершенно права.

Вельский. О, без сомнения... Завтра, вероятно, вы то же скажете г-же Ласт...

Вознесенский. Но позвольте, однако ж... (*В это время Новинский и жена его ухаживают за Вельской.*)

Новинская. Надо бы положить ее на диван.

Вознесенский (*суетливо*). Прекрасная мысль... это будет гораздо удобнее.

Вельский (*перебивая ему дорогу*). Позвольте, м. г., это уж наше дело... Если вам надо что-нибудь передать жене, не угодно ли завтра пожаловать... Извините, пожалуйста.

Вознесенский. Я хотел только услужить... Но впрочем, как вам будет угодно. (*Удаляется, раскланиваясь.*)

Вельский (*обращаясь к лакеям*). Ступайте... больше ничего не надо.

Вельский и Новинский укладывают Вельскую на диван; Новинская поддерживает ей голову; в то время, как Вельский вынимает платок из кармана жены, чтобы обмахнуть ее, из платка выпадает записка. Вельский подхватывает ее и прячет к себе в карман.

Вельская (*приходя в себя*). Где я?.. Ah, c'est vous...¹ А комитет?

Вельский (*раздражительно*). Разъехался...

Вельская. Разъехался?! Je voulais la confondre... Je l'ai confondue!²

Вельский. Да, только с тобой сделалось дурно, тогда как она спокойно себе уехала и совершенно благоденствует... Может быть, даже смеется над тобой.

Вельская. Она смеется!.. Я ее уничтожила при всех!!! Представь, Zizi, я узнала тут же в комитете, мне тихонько передали по секрету: она сочинила целую интригу, чтобы повредить моему патриотическому концерту. Но это так пройти не может!.. (*Обращаясь к мужу.*) Paul... ты непременно должен ехать объясниться с ее мужем.

Вельский. Покорно благодарю, он лучший мой приятель...

Вельская. Я этого ожидала! (*Обращаясь к Новинскому.*) Serge, ты поедешь, не правда ли, ты мой кузен и имеешь на это полное право...

Вельский (*Новинскому*). Предупреждаю тебя: Ласт стреляет без промаха...

Новинская (*обращаясь к мужу*). Serge, ты не поедешь!!!

Вельская. Все против меня! On est jamais trompé que par les siens³.

Новинский дергает звонок; входит Александр с письмом.

Александр. Письмо принесли...

Вельская. Верно, мне... дай сюда...

Вельский (*с живостью*). Почему ж тебе именно?.. quelle idée!..⁴ Не мне ли?

Вельская (*быстро схватывает письмо; Александр уходит.*) Нет, мне... мне... (*Быстро читая конверт, в сторону.*) M-r de Novinsky, je tiens le mystère...⁵

Новинский (*которому Вельский делает выразительные знаки*). Позволь, Sophie, быть может, мне...

Вельская. Нет, мне... мне... (*Быстро разрывает конверт и читает; в это время Вельский разрывает*

¹ Ах, это вы... (*фр.*)

² Я хотела ее смутить... И я ее смутила! (*фр.*)

³ Обманывают только свои (*фр.*).

⁴ Какая мысль!.. (*фр.*)

⁵ Г-н Новинский, вот разгадка... (*фр.*)

конверт письма, спрятанного в кармане, и также читает.)

Вельская (*читая*). «Mon cher Bibi adoré!»

Вельский (*читая*). «Madame!»

Вельская (*встревоженно*). Что такое?

Вельский (*жене*). Ничего, продолжайте...

Вельская (*читая*). Tu m'as promis de me mener aujourd'hui aux îles...¹

Вельский (*читая*). Vous m'avez promis de m'attendre aujourd'hui...²

Вельская (*опускаясь на диван*). Ах! мне дурно!

Новинская поддерживает Вельскую.

Новинская. Поль, повторяю тебе, ты сегодня отвратителен, хуже этого — ты не великодушен, письмо тебе не адресовано... ты не имеешь права его читать.

Вельский. То письмо также не жене адресовано, однако ж она его читала,

Новинский. Перестань... как тебе не стыдно... Sophie, неужто ты не видишь... тут вышло какое-то недоразумение... очевидно, вышла путаница, дай мне это письмо...

Вельская. Ни за что на свете... оно... (*бросает взгляд на мужа*) оно будет служить к обогащению моей коллекции.

Новинский (*обращаясь к Вельскому*). Отдай свое...

Вельский. Ни за что в мире... оно послужит мне для начала коллекции...

Новинский. Все это вздор, пустяки. (*Вельскому*.) Дай сюда! (*Новинский вырывает письмо у Вельского*.)

Новинская (*Вельской*). Chère Sophie... перестань... прошу тебя... (*Берет у нее письмо и передает своему мужу*.)

Новинский (*складывая оба письма, разорвав на куски, бросает в камин*). Вот лучшее для них употребление... все это вышло из дыму, в дым и должно обратиться... (*Входит кормилица*.)

Новинская. Ну, что, был доктор?

¹ Ты обещал отвезти меня на острова... (*фр.*)

² Вы мне пообещали ждать меня сегодня... (*фр.*)

Вельская (*бросаясь к кормилице*). Да, что он сказал?

Кормилица. Говорит, — жар пройдет.

Вельская (*с увлечением*). Ce cher Baby... Alexandrine! вот мои радости!.. mes délices...¹ мое утешение!.. (*С ударением, бросая взгляд на мужа.*)

Входит Даша.

Даша (*плакливо*). Батюшка, Сергей Львович... Александра Александровна... сил моих нет!.. Вступитесь хоть вы, Павел Васильевич...

Все. Что случилось?

Даша. Таперича пришел пьяный... Совсем как есть загубил его Петербург.

Новинский. Успокойся, пожалуйста... Ступай, лучше собирай платья барыни и начинай укладываться в дорогу... В деревне все поправится... ступай.

Даша. Слава тебе господи! (*Уходит, за ней кормилица.*)

Вельский (*подходя к Новинскому*). Как, ты едешь?

Вельская (*Новинской*). Ты хочешь меня оставить?

Новинский (*Вельскому*). Необходимо, мой друг, дела, а главное, я замечаю, жене не совсем здоров петербургский воздух.

Новинская (*Вельской*). Надо ехать, нас ждут дети... Кроме того, петербургский воздух положительно вреден моему мужу.

Вельский (*Новинскому*). Вы как мыши оставляете дом в то время, когда ему грозит опасность.

Новинский и Новинская подходят друг к другу.

И наконец, что вы тут оба рассказываете... Дался им воздух... Дело совсем не в воздухе.

Новинский. Ты прав отчасти... (*целуя жену*) дело вот в чем...

Вельский. Да... Ты хочешь сказать... дело в счастье.

Новинская. Что ж вам обоим мешает?

Новинский. Ничего, решительно ничего.

Подходя к Вельскому.

¹ Мои утешения... (*фр.*)

Дай сюда руку... не мне... а вот сюда.

Ведет его к Вельской.

Новинская в то же время тянет Вельскую к мужу.

Вельский. Я могу это сделать без твоего пособия.

Вельская. И я также.

Вельский и Вельская дают друг другу руки.

Новинский. Ну, вот и прекрасно... давно бы так... Только все-таки вам лучше переменить столичный воздух, оно будет надежнее... право, надежнее!

Вельская. О, мы весной непременно поедem в деревню! (*В сторону.*) Теперь он не будет ревновать к барону.

Вельский. Да, мне давно хочется подышать свежим воздухом! (*В сторону.*) Теперь можно уехать к Альфонсине!!!

1873





ЗАМШЕВЫЕ ЛЮДИ

(ЗАНОЗА)

Комедия в 5-ти действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Граф Борис Алексеевич Павлинов, вдовец, служивший на видном месте. Старик 60 лет. Олицетворенные добродушие и слабость характера с подкладкой детского самообольщения и веры в высокое призвание; представительная наружность, — но, по первому взгляду, можно заключить, что пороку не выдумал. Лицо дышит кротостью, и на губах постоянная улыбка, заслужившая ему название «именинника».

Графиня Анна Алексеевна, его сестра. Старая дева строптивого характера, застывшая в величии, как кол во льду; деспотическая, пристрастная, склонная к лести.

Кокко, сын графа. Юноша 20 лет, как бы родившийся не после 9 месяцев, а после пяти; износившийся, измотавшийся преждевременно до ворса.

Граф Федор Алексеевич, родной брат Павлиновых, 55 лет, но полный еще жизни и огня; прямой, откровенный; что на душе, то и на языке; часто непокладист, резок, но последнее выкупает остроумием.

Мери Кирсанова, племянница графов Павлиновых; девушка 20 лет, эмансипированная, но в хорошем смысле.

Владимир Кирсанов, ее брат, молодой человек 24 лет, умный, с честными побуждениями, но без воли и скучающий.

Липецкий, товарищ Кирсанова, 26 лет; живой, умный, не без остроумия; честное, горячее сердце; отсутствие той практичности, которая требуется для успешной служебной карьеры.

Иван Иванович Подточин. Худосочная наружность в золотых очках, 40 лет; выступает робко, нерешительно; говорит тихо, вкрадливо; при людях вид смиренный, покорный; наедине зрачки смотрят сверх очков и выражают лукавство и хитрость.

Анатолий Федорович Ягозин, 27 лет; прошел огонь, воду и медные трубы в школе пройдох; нахал и трус; руководящая мысль одна: пролезть в люди, приобрести состояние, сделать карьеру.

Княгиня Лукоянова, дальняя родственница Павлиновых.

Волованов, ее племянник. Под 30 лет; одет по последней моде; в голове катаются шарики и шумят мухи; постоянно не знает, куда деваться и что с собой делать.

Софья Семеновна Шилохвостова, 40 лет; бойкая дама.

Баронесса Фук.

Жигулев }
Севрюгин } купцы.
Бабков, скульптор.
Депутация из Москвы.
Господин Н.
Дама в трауре.
Камердинер графа.
Курьер 1-й, курьер 2-й.
Благотворители. Благотворительницы.

Действие в Петербурге.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Большая приемная комната. В глубине дверь на парадную лестницу и большое окно на улицу; слева от зрителя две двери: ближайшая на половину графа, дальняя на половину графини; справа две двери: ближайшая в буфетную, дальняя на половину Кирсанова и молодого графа. Между последними дверями стол; вдоль стен диваны, кресла, стулья.

ЯВЛЕНИЕ I

Камердинер графа, 1-й и 2-й курьеры.

Камердинер посередине сцены между двумя курьерами, готовыми вцепиться друг в друга; в руках камердинера поднос с чайным прибором.

1-й курьер (*запальчиво 2-му курьеру*). Зависть взяла!..

2-й курьер (*горячась*). Совести нет, вот что! Какой уговор был?.. Какой?!

1-й курьер. Контракт что ли подписывали?!

2-й курьер. Контракт!.. Совесть-то где...

Камердинер. Господа!.. Господа!.. Никанор Афанасьевич... Петрарк Иваныч...

2-й курьер (*камердинеру*). Помилуйте, Гаврила Иванович, уговор был ездить в очередь; третий раз отвозит конверты тайком... Вчера отвозил купцу Тузову; мы его достаточно знаем: завсегда на такой случай две красненькие... (*1-му курьеру*.) Где они, деньги-то?.. Опять прикарманил... Ах ты, жидовина!..

Камердинер. Господа, господа!.. Полно вам...

И нашли где ссориться! Помилуйте — скажите: у самых дверей его сиятельства...

1-й курьер. Я ничего, Гаврила Иваныч... Все он...

2-й курьер. Все он!.. Ах ты!..

Камердинер. Господа, полно вам... Господа...
(Увидав входящего Подточина, шепотом.) Подточин!!
(Поспешно ставит на стол поднос; курьеры отскакивают и становятся навтыяжку.)

ЯВЛЕНИЕ II

Те же, Подточин с портфелем под мышкой.
За ним лакей вносит резной стул и такой же ларчик.

Подточин (лакею). Поставь сюда, любезный... Так!.. (Лакей уходит.)

Камердинер (подобострастно). Рано, сударь, изволили пожаловать...

Подточин. Как сегодня его сиятельство?.. Встал?..

Камердинер. Только что изволили пройти в уборную... Не прикажете ли подать чаю?..

Подточин. Нет, спасибо... Кстати: что поделявает мой крестник?

Камердинер. Благодарю вас покорно; сильно было золотуха выступила; теперь, слава богу, прошло...

Подточин. Ну, а старший сын; хорошо ли учится?..

Камердинер. Перешел во 2-й класс... Все вас, сударь, надо благодарить...

Подточин. Ну, полно... полно...

Камердинер. Как же, помилуйте... Не вы ли изволили определить его на счет общества? Экзамената даже не потребовали!.. Все вы, сударь; нам никогда бы этого не добиться... потому как его сиятельство в это не входят...

Подточин. Очень рад, очень рад!.. Всегда рад, когда могу помочь доброму делу.

Камердинер. Нам это очень хорошо известно. (В кабинете графа раздается звонок; камердинер берет со стола чайный прибор. Обращаясь к Подточину.) Прикажете доложить?..

Подточин. Пожалуй!.. Впрочем, нет; я не тороплюсь... я пока зайду к графине...

Камердинер. Они только что изволили чай откусать... *(Уходит к графу.)*

Подточин. Ну, и прекрасно! *(Кладет на стол портфель; вынув из него конверты, передает их курьерам.)* Это на Выборгскую в сиротский приют; подождать ответа; это сейчас же к Калинкину мосту в призрение нищих... *(Подточин уходит в дверь к графине; курьеры суетливо исчезают в парадную дверь.)*

ЯВЛЕНИЕ III

Кирсанов и Липецкий *(выходят из второй двери с правой стороны от зрителя).*

Кирсанов. Нам будет здесь гораздо покойнее; дядя никогда не выходит раньше одиннадцати часов; тетушка также; живя здесь в доме, — я хорошо знаю его обычаи. В ту минуту, как ты вошел ко мне, — ты сам видел, — у меня сидели двоюродный брат Коко и его друг Волованов; невозможно было сказать двух слов... Мы здесь совершенно свободны. Объясни мне ясно и подробно, как могла произойти твоя неудача... Я по крайней мере ничего не понимаю... Если ты, — Липецкий, — ты, считавшийся у нас всегда первым, — ты, — магистр прав, не можешь получить место, — я не знаю, кого им еще нужно... *(Из кабинета графа проходит с поклоном камердинер в буфетную дверь.)* Дал ли он тебе по крайней мере какой-нибудь основательный ответ, — или так, напрямик отрезал и был дерзок, как вообще все выскочки?..

Липецкий *(весело)*. Напротив, он был очаровательно любезен... Но все равно вижу: с этой стороны надо, как говорится, — отложить попечение...

Кирсанов. Ты думаешь?

Липецкий *(так же весело, с оттенком юмора)*. Уверен. Начать с того, — я, кажется, пришел не вовремя; его ли ждали, он ли ждал кого-нибудь или был очень занят — как вообще все в Петербурге... Но в его приеме, в его словах было что-то до такой степени странное... чтобы не сказать забавное...

Кирсанов *(перебивая)*. Что же он сказал?

Липецкий *(смеясь)*. «Скажу вам откровенно, —

говорит, — пожалуйста, не сердитесь, — есть такое обстоятельство... Оно, если хотите, ничтожно, но вместе с тем не совсем удобно... Оно может неблагоприятно повлиять...» — «Что ж такое?» — спрашиваю. «Вы знаете, — говорит он, — в этих случаях весьма важно первое впечатление... Откровенно скажу вам, не повредила бы вам в его глазах ваша живость...» Я удивился. «Как живость?» — спрашиваю. «Живость вашего темперамента, — говорит, — считаю долгом предупредить вас, он имеет предубеждение против живых людей... Что ж делать!.. У этих лиц есть также свои слабости! Потом, — говорит, — есть еще другое обстоятельство». — «Что?» — спрашиваю. «Да вот, — говорит, — ваш голос...»

Кирсанов. Как голос?..

Липецкий *(смеясь)*. Я сам сначала не понял. «У вас, — говорит, — такой смелый, резкий голос; он также этого не любит; смелый голос действует на него всегда раздражительно; оно и понятно; сами рассудите: с утра до вечера заседания, комитеты, аудиенции, совещания, доклады, представления, — поневоле нервы раздражатся... пожалуй, и это было бы еще ничего, если б...»

Кирсанов *(разводя руками)*. Как, разве еще что?.. Боже мой...

Липецкий. «Извините, — говорит, — но надо смотреть на вещи настоящим образом; у всякого человека есть свои слабости; ну, а этим лицам они по-давно извинительны. Я, — говорит, — желаю вам успеха и потому только решаюсь предупредить: когда вы говорите, вы делаете резкие движения и смотрите как-то в упор...»

Кирсанов *(пожимая плечами)*. Черт знает что такое!..

Липецкий. Ты погоди. «Да, — говорю, — правда; что ж, и это также не годится?..» — «Ничего, — говорит, — решительно ничего... Только... только вот этого-то он особенно и не выносит! Состоя, понимаете, темперамента сырого, он прежде всего ищет в человеке спокойствия; предупреждаю вас: когда будете представляться, подходите тихо, говорите, понижая голос, говорите коротко, сжато и вообще как можно меньше; старайтесь стоять спокойнее... если даже можно — с опущенными глазами... покажите вид, что вы испугались... это всегда хорошо действует на старших... Что

ж делать! — говорит, — не нам переделывать свет, — надо уметь жить со светом!..» Понимаешь, могу ли после этого иметь какую-нибудь надежду?!

Кирсанов. Действительно, свет не переделаешь! Надо себя переделать... Кому есть на то охота и, прибавлю, кто на это способен...

Липецкий. На этот счет мы оба, кажется, одинаково не годимся...

Кирсанов. Тебе, впрочем, сполугоря; ты независим, обеспечен, можешь спокойно продолжать свою ученую карьеру...

Липецкий. Конечно... Но мне хотелось бы во что бы ни стало добиться до официального положения... У меня есть на это особые соображения.

Кирсанов. Догадываюсь...

Липецкий (*оживленно*). Догадываешься?..

Кирсанов. Да. Ты любишь мою сестру и боишься...

Липецкий. Ты это знаешь?

Кирсанов. Догадывался, — теперь убежден в этом.

Липецкий. И что ж?.. Не сердись?..

Кирсанов. Мне сердиться!.. Вот тебе ответ (*обнимает и целует Липецкого*); но опасения твои насчет препятствий со стороны дяди и тетки, мне кажется, преувеличены...

Липецкий. Не думаю; я их мало знаю, но хорошо понял; для них только служащий человек нечто существенное; остальное человечество великодушно только пользуется правом на существование.

Кирсанов. В этом смысле ты прав, пожалуй... Они, например, до сих пор сожалеют, что их сестра — моя покойная мать — вышла замуж за бесчиновного помещика. Ты, впрочем, уже выиграл в их глазах, записавшись членом разных благотворительных учреждений, которым они покровительствуют; шаг к примирению некоторым образом сделан. Прими, однако ж, к сведению: сестра и я давно вышли из опеки; ни она, ни я — не пойдем в грубой форме напролом упрямству дяди и тетки; мы в самом деле им многим обязаны; но всему есть границы; мы найдем способы их урезонить...

Липецкий. Спасибо тебе от души за все, за все... Не знаю, как благодарить тебя...

Кирсанов. Пока еще не за что. Здесь главное

дело тетушка. От тебя скрывать нечего: сварлива, горда, тщеславна, — даром что не выскочка! Дядя, — благодушный добряк, — смотрит ее глазами, управляется ее волей, как младенец, — и оба управляются Подточиным... В последнее время он до такой степени влез к ним в душу, до такой степени стал пользоваться их доверием, что я и сестра решились во что бы то ни стало избавить от него дядю и тетку. Мы написали об этом дяде, графу Федору Алексеевичу... ты должен его знать?..

Л и п е ц к и й. Нет, — но помню; много также слышал от отца; они вместе служили; были под Севастополем.

К и р с а н о в. Он почему-то здесь не ужился и уже три года как переселился на южный берег Крыма. Мы написали ему, убедительно прося приехать, и теперь ждем его с часу на час. Он, наверное, тебе понравится. Я уверен, он и в твоём сердечном деле будет полезен... *(За дверью графини слышен ее голос.)* Голос тетушки! Иерихонская труба! Верно, опять что-нибудь не по ней...

Л и п е ц к и й. Прощай... Спасибо тебе еще раз за все, за все... *(Направляется к двери на парадную лестницу.)*

К и р с а н о в. Не сюда... Ты прямо навстречу урагану... Пройди коридором в мои комнаты; все равно выйдешь на парадную лестницу... Прощай, вечером к тебе.

Л и п е ц к и й *(уходя)*. Жду непременно...

ЯВЛЕНИЕ IV

К и р с а н о в, графиня, Мери *(в шляпке)*, Подточин. За ними курьер.

Г р а ф и н я *(Кирсанову)*. Ты здесь! Я только что за тобой посылала... *(Курьеру.)* Ступай! *(Курьер уходит. Кирсанову.)* Получена депеша от управляющего: горит наш стеклянный завод!.. Преступная небрежность! Сейчас писала губернатору; строжайшее следствие, строжайшее!.. Но не в этом дело: дело теперь в том, чтобы брат ничего не знал об этом!..

П о д т о ч и н. Боже упаси! Такое известие крайне растревожит и огорчит графа...

Г р а ф и н я. Прекрасно сказано: именно огорчит

и растревожит... (*Кирсанову и Мери*) итак, слышите: дяде ни слова об этом.

Кирсанов. Хорошо, тетушка; только...

Графиня (*нетерпеливо*). Что еще?

Кирсанов. Постоянно скрывая от дяди все, что близко касается его интересов, под предлогом, что то его огорчит, это его расстроит, — мы этим способом...

Графиня (*строго*). Прошу без наставлений; я знаю, что делаю... Подумай лучше записаться членом нового благотворительного учреждения, которое придумал Иван Иванович...

Подточин (*Кирсанову*). Оно имеет целью содействовать распространению нравственных правил между ломовыми извозчиками.

Графиня. Прекрасная цель!

Подточин (*Кирсанову вкрадливо*). Благотворительность, конечно, не служба... Не какое-нибудь сложное служебное занятие. Это дело сердца...

Кирсанов. Не скажите; она дает иногда очень выгодное положение...

Графиня. Пожалуйста, без иронии; она здесь неуместна; ты к тому же слишком еще молод, чтобы критиковать что-нибудь... Пойдемте к брату, Иван Иванович... (*Увидав на столе резной ларчик.*) Что это?..

Подточин (*подобострастно*). Старшее отделение сиротского приюта просит ваше сиятельство осчастливить его принять знак усердия и душевной признательности... Дети сложились, — даже трогательно было видеть! Сложились и сами сделали вам баульчик для укладки шерсти...

Графиня. Очень мило. Очень им благодарна! Эти дети меня решительно балуют. Мне надо также побаловать их; я пошлю им конфет.

Подточин (*притворно оживляясь*). Простите мне великодушно, ваше сиятельство, — но не делайте этого! Убедительно прошу: не делайте!! Последствия, смею думать, — были бы весьма вредные... Старания мои направлены именно к тому, чтобы держать детей бедных родителей в самой скромной обстановке; единственной их роскошью должно быть нравственное питание; конфеты — произведение роскоши; они разовьют в детях вкусы и желания, не соответствующие их положению...

Графиня. Вы правы. Детям бедных классов действительно опасно развивать вкусы; мы видим слиш-

ком часто, к чему приводит баловство и потворство... Мне все-таки хотелось бы чем-нибудь поблагодарить их...

Подточин. Я велю раздать им книжечки наших правил о благонравии... Они будут очень довольны...

Графиня. Нет, книжечки эти уж много раз им давали...

Подточин. Тогда, если позволите, я прикажу дать им булочек.

Графиня. Прекрасно. Смотрите только, чтобы соблюдалась самая строгая справедливость...

Подточин. Лично буду наблюдать, ваше сиятельство: каждому будет по булочке.

Графиня. Благодарю вас. Пойдемте к брату. *(Уходит в кабинет графа; Подточин кланяется Мери и Кирсанову и уходит за ней.)*

ЯВЛЕНИЕ V

Кирсанов, Мери.

Мери *(указывает на уходящего Подточина)*. Что ты на это скажешь?

Кирсанов. Скажу, что этот лицемер с каждым днем делается мне противнее. Жду — не дождусь приезда дяди Федора Алексеевича...

Мери. Ты рассчитываешь, он должен приехать сегодня?

Кирсанов. Да, судя по депеше... Но отчего ты в шляпке и так рано?

Мери. Рано? Скоро четверть одиннадцатого. Я успела уже сделать длинную прогулку; я только что вернулась с Васильевского острова.

Кирсанов. Это зачем?

Мери. Ужасная история. Молодая женщина моих лет в злейшей чахотке с больным ребенком на руках... Каждая минута была дорога; я скорее оделась и отправилась...

Кирсанов. Как? Одна?

Мери. Это гораздо удобнее; меня всегда стесняет, когда за мной выступает скупающая фигура слуги... На Николаевском мосту мне встретился Липецкий...

Кирсанов. И вы вместе продолжали путь?

Мери. Да; ты, кажется, этим недоволен?..

Кирсанов. Конечно, неосторожность; вас могли встретить... Меня удивляет Липецкий...

Мери. Не вини его; он хотел уйти, — я сама его просила довести меня до места... Одной было как-то жутко... (*Поспешно, как бы стараясь замять впечатление.*) Представить себе не можешь, какую нашли мы печальную картину... Как раз посчастливилось прийти вовремя. Теперь, слава богу, все уладилось. Липецкий сейчас же написал знакомому доктору и сейчас же отправился по какому-то своему делу... Я возвратилась домой одна. Вхожу в ту самую минуту, когда тетушка послала за тобой и выходила сюда... Я потому и не успела снять шляпки... Ну, полно, не сердись... Я замечаю, ты сегодня в каком-то недовольном настроении...

Кирсанов. Да, меня рассердила новая неудача Липецкого; он сейчас был здесь и рассказал...

Мери (*с живостью*). Что случилось?

Кирсанов. Ничего особенного (*пристально на нее глядя*). То дело, по которому он уехал сегодня с Васильевского острова, — ему не удалось. Возмутительно, что такому человеку трудно достать место... Но отчего ты вдруг покраснела?..

Мери. Покраснела!.. Тебе так кажется...

Кирсанов (*взяв ее за руки и целуя ее в голову*). Ах, Мери, Мери, — не думал я, что у тебя будут когда-нибудь от меня секреты. Неужели ты могла предполагать, я не заметил, что между тобой и Липецким давно существует симпатия, — больше чем симпатия... Это началось еще зимой, с того времени, как вы чаще стали здесь встречаться...

Мери. Правда; но пойми хорошенько. Могла ли я говорить об этом, — даже с тобой, — прежде чем не уверилась в чувствах самого Липецкого... Только теперь могу сказать тебе: да, — я люблю его... Но ведь и ты его любишь...

Кирсанов. Да, люблю; люблю, кажется, еще больше с сегодняшнего дня, когда узнал, что он оценил тебя и ты его любишь; лучшего мужа я не мог бы тебе придумать... Немножко идеалист, романтик...

Мери. Ты считаешь это недостатком?

Кирсанов. Нет, но я желал бы ему больше практичности...

Мери. Практичности? Такое желание с твоей стороны удивительно... Не ты ли постоянно и с таким негодованием отзываешься всегда о практических людях...

Кирсанов. Да, но то, что приходится видеть, заставляет сожалеть, что сам лишен этой способности...

Мери. Володя, ты ли это говоришь?..

Кирсанов. Seriously сожалею; практичность, очевидно, выгоднее личных качеств. Липецкий это доказывает. Ты, вероятно, уже догадываешься, почему он так усердно хлопочет поступить на службу?

Мери. Да, но это напрасно; дядя и тетушка могут иметь свои планы. Тетушка, — я тебе говорила, — стала даже делать намеки, подчеркивать, что у меня нет состояния, что я должна искать в муже человека с положением и так далее... Но мне двадцать лет; я, кажется, сама могу располагать своей судьбой... Ты ведь на моей стороне, — с меня этого довольно.

Кирсанов. Разумеется; но, главным образом, надо положиться на дядю Федора Алексеевича... Ты знаешь, как смотрят на меня дядя и тетка! Они, может быть, правы. Я себя не обманываю. Я принадлежу к той категории молодых людей, у которых молодого только наружность... И это вовсе не потому, чтобы мы, — хоть бы я, например, — раньше начали жить и утомились жизнью, — вовсе нет! Мы уж родились какими-то разварными, кислыми, бессильными, — точно хилые плоды от дерева, которое отдало весь свой сок прежним обильным урожаям... Многие между нами одарены способностями, отлично учились, одарены умом, который все понимает, одарены сердцем, которое возмущается неправдой, — и все это не приводит ни к какому результату, — никому и ничему не служит: ум ничего не производит, благородные чувства остаются при себе... И все это потому, что недостает чего-то внутри нас самих, — недостает внутренней силы, внутреннего подъема, способных соединить хорошие качества и привести их в действие; словом, мы лишены той энергии, которой, говорят, так отличались наши отцы и деды... Мной, например, все больше и больше овладевает какая-то ноющая тоска, равнодушие ко всему, безнадежность... Я не вижу цели перед собой; все, что ни делаю, — делаю по обязанности, без увлечения, со скукой... Не я один; нас много! Право, не стоило нашему обществу прожить тысячу лет, чтобы достичь такого результата... О! насколько в этом отношении вы, женщины нового поколения, лучше нас!!

Мери. Ты увлекаешься, Володя...

Кирсанов. Желал бы; но и на это даже нет силы... Говорю по убеждению! Промысел послал вас как бы нарочно с тем, чтобы обновить наше черносливное поколение... (*Голоса из кабинета.*) Слышишь!.. Я уйду; не могу переносить вида этого Подточина...

Мери. Ты нервен, как женщина...

Кирсанов. Скажи лучше: как теперешний юноша... Я надеюсь, однако ж, много будет лучше, — только бы скорей приехал дядя из Крыма... (*Уходят каждый на свою половину.*)

ЯВЛЕНИЕ VI

Граф, графиня, Подточин.

Граф. Прекрасно, прекрасно, Иван Иваныч (*с умиленным чувством*): «О всеобщем, всестороннем распространении благотворительности в Российском государстве». В самых словах слышится даже какая-то музыкальность... Я давно стараюсь приискать название новому нашему учреждению, — вы предупредили меня... Не говорю уже о самом проекте... Он мог зародиться не здесь (*указывая на голову*), но тут, только тут (*указывая на сердце*). (*Увидав резной стул.*) Что это?..

Подточин. Сироты старшего ремесленного отделения просят ваше сиятельство осчастливить их принятием посильного труда... Трогательно было видеть, с каким увлечением...

Граф. Неужто они сами это сделали?..

Подточин. Сами, ваше сиятельство! Сами составили рисунок, сами резали...

Граф. Bravo! Искусно!.. Даже стиль есть!..

Подточин. Самая мысль преподнести вам их труд принадлежит им...

Графиня. Ну уж, признайтесь, Иван Иваныч, мысль вы подали.

Подточин. Могу вас уверить!..

Графиня. Не отказывайтесь, пожалуйста; ваша скромность нам хорошо известна.

Подточин. Благодарю вас, ваше сиятельство. У меня только одно желание; заслужить доверие ваше... Другие цели меня не прельщают... Скажу без лести, — я чужд этого чувства. В той малой доле пользы,

которую приношу, горжусь единственно тем лишь, что служу (*графине*) вам... (*графу*) вам, имя которого уже, так сказать, принадлежит истории...

Граф (*расчувствованно*). Охо-хо!.. Да, да... Вы намеренно верно заметили, Иван Иванович: да, заслуги могут не признаться людьми, но останутся навсегда запечатленными в памяти истории...

Подточин (*искусственно умиляясь*). Вас ли забыть, ваше сиятельство? Вас ли, неоднократно, так сказать, спасавшего отечественные интересы...

Граф. Преданность увлекает вас, добрейший Иван Иванович; я действительно желал, готовился спасти...

Подточин. Это совершенно все равно, ваше сиятельство...

Граф. Отчасти я согласен; во всяком деле главное: готовность и преданность, преданность и готовность! Вот также характер... Нужна во всем твердость... Но перейдем к нашему проекту, который, повторяю (*указывая на сердце*), здесь только мог родиться... Сядемте, однако ж... (*Подточин бежит за стульями; все садятся.*)

Подточин. Я занялся только разработкой проекта, основная мысль всецело принадлежит вам; мысль есть главное...

Граф. Нет, — и мысль ваша!..

Графиня. Ваша! ваша! Полноте скромничать, Иван Иванович! И вы совершенно правы; нельзя допустить, в самом деле, чтобы каждый, кому вздумается делать добро, заводил свое общество, и общество это действовало, как ему заблагорассудится. Это произвол! Произвол, которого нельзя допустить в благоустроенном...

Граф (*робко перебивая*). Нельзя, однако ж, запретить, *ma chère*...

Графиня. Следует! Давно следует!! Дошли до того, что, под предлогом спасти нищих, дают балы с французскими кокотками, которых возят по залам в колесницах под видом мифологических богинь...

Граф. Гм... да... Действительно, это уж чересчур... Пересолили, как говорится... Этого, точно, допускать не следует...

Графиня. Не только не допускать, но остановить, запретить следует; давно пора соединить в одну

твердую руку, — как прекрасно сказано в проекте Ивана Иваныча, — все эти частные благотворительные учреждения и дать им одно общее, строго нравственное направление...

Граф. Одно беспокоит меня... Все это прекрасно, но где возьмем мы столько денег, чтобы соорудить здание для нашего центрального учреждения?.. Пока денег мало еще собрано... Вы говорили: всего девяносто тысяч?..

Подточин. Так точно...

Графиня. Да, это вопрос — и вопрос не последней важности...

Подточин. На этот счет не извольте беспокоиться; я имел уже честь вам докладывать: деньги найдутся... Можно сказать: уже нашлись...

Граф и графиня *(вместе)*. Ба! Что вы говорите!.. Как же это?..

Подточин. Изволите ли видеть: полгода тому назад скончался в Нижнем купец Пузов, оставив по завещанию несколько миллионов и в том числе сто тысяч с тем, чтобы душеприказчик его, купец Жигулев, употребил их на благотворительную цель по своему усмотрению; Жигулев приехал в Петербург, и я с ним виделся; он готов подписать значительную сумму... Ну, разумеется... с тем, конечно... Желает получить что-нибудь...

Граф. Никогда по великодушному влечению сердца; всегда по расчету...

Подточин. Человечество!.. ваше сиятельство...

Графиня. Иван Иванович совершенно прав! Если б в прошлом году разрешено было носить красные панталоны с золотым лампасом, — как предлагал Иван Иваныч, мы имели бы теперь средства для расширения моего сиротского приюта; к сожалению, проект не прошел...

Граф. Потачка тщеславию...

Подточин. Человечество... ваше сиятельство...

Графиня. Желательно было бы знать, кто же теперь не тщеславен. Болезнь времени! Никто не хочет оставаться тем, что он есть. На днях в приют косяязычных пришел сапожник; смотрительница назвала его сапожником, он так обиделся, что поднял целую историю... К счастью, недалеко было полицейское управление... Но дело не в этом... То, что вы

сказали нам об этом купце, крайне радостно... Как бишь его?..

Подточин. Жигулев, ваше сиятельство...

Графиня. Вы, Иван Иванович, положительно чародей...

Граф. Маг и волшебник!! Вашу руку, Иван Иванович, — вашу руку... Помните, я обещал вам... Поспешу исполнить обещание... (*Подточин прикладывает ладони к груди.*) В ожидании этого, с сегодняшнего дня, вы займете в Обществе распространения нравственности место председателя...

Графиня. Прекрасно! Прекрасно!..

Подточин (*испуганно*). Ваше сиятельство, пощадите! Я никогда не мечтал о таком высоком положении... Убедительно прошу вас назначить лицо более достойное...

Граф. Я никого не знаю достойнее вас... И наконец это мое желание... Вы знаете, — я тверд и непоколебим в моих намерениях...

Подточин (*подобострастно*). Боже мой! А я, — я только что думал просить вас, как милости... отстранить меня от видных должностей... Они тяготят меня... Подумают, — я из корыстных целей, из тщеславия... я именно хотел просить вас позволить мне служить вам... так, безо всего... из одной лишь преданности...

Граф (*графине*). Чистая душа! (*Подточину.*) Нет! нет! преданность сама собой!.. Я хочу, чтобы все знали, как я ценю вас... я желаю, чтобы вы председательствовали...

Подточин. Не смею противоречить... Осмелюсь только об одном просить вас...

Граф. Говорите; согласен, заранее на все согласен...

Подточин (*вкрадчиво*). Не быв приготовлен к новой должности... не имея достаточной опытности, прошу как милости и не столько для себя собственно, сколько для пользы самого дела, прошу вас не отказать мне в советах ваших... руководить мной... Без вашего руководства я как нива без огорода, как сирота, как невинный младенец...

Граф (*указывая сестре на Подточина и умиленно*). Какая скромность!..

Графиня. Да, качество не нашего времени...

Граф. Будьте на этот счет покойны. Теперь надо вам приискать секретаря; кого бы вы думали?

Подточин (*нерешительно*). Быть может, вам угодно г. Липецкого...

Граф. Что ж, пожалуй.

Графиня (*перебивая*). Ни за что!

Граф. Ты почему-то предубеждена против него...

Графиня (*высокомерно*). Я предубеждена...

Граф. Я не то хотел сказать. Ты... Я, впрочем, понимаю: тебе не нравится, что он нигде не служит...

Графиня. Это само собой; но я заметила: у него какая-то бойкость, которая мне не нравится; какие-то свои особые мысли... Ужасная самонадеянность...

Граф. Я также это заметил. Именно: много самонадеянности... Ум, конечно, хорошо, просвещение также прекрасная вещь... К сожалению, то и другое имеет свою оборотную сторону; они развивают в молодежи излишнюю самоуверенность... Возьмите тогда нашего племянника...

Графиня (*резко*). Владимир, ты знаешь, — тряпка!.. (*Лакей в парадной двери.*)

Лакей (*докладывая*). Госпожа Шилохвостова!

Графиня. Всегда некстати!.. Где она, в карете?

Лакей. Никак нет; прошли в ваши комнаты через подъезд.

Графиня. Делать нечего; скажи: сейчас!.. (*Лакей уходит; графиня направляется на свою половину.*)

ЯВЛЕНИЕ VII

Граф и Подточин.

Граф. Сестра справедливо заметила: племянник, к сожалению, — тряпка.

Подточин (*нерешительно*). Гм... Ягозин, может быть... Я не смел предлагать его, как ближайшего моего помощника.

Граф. Прекрасно... В вице-председатели возьмем брата Федора Алексеевича; вы его еще не знаете... Он давно сидел сложа руки; пора припрячь его к делу... Мы ждем его с часу на час... (*Смотрит на часы, Подточин встает.*) Постойте, Иван Иванович, прежде чем ехать в заседание, я хотел бы узнать... Не слышали ли

вы, — что вообще думают... какого мнения вообще об обязательном распространении плуга?..

Подточин. Сколько слышно, — большинство против.

Граф. Я также...

Подточин. Надо вам заметить: существует, однако ж, партия за плуги...

Граф. Да, мне говорили...

Подточин. И сильная партия; в ней участвуют князь Хивинский, граф Барнаулов, князь Уссурийский...

Граф. Как! и Уссурийский?!

Подточин. Точно так... (*Входит графиня; она в шляпке и мантилье.*)

Графиня. Я сейчас отправляюсь с Шилохвостовой... Но ведь ты также едешь в заседание...

Граф. Да. (*Подточин отходит к столу и делает вид, будто разбирает бумаги.*)

Графиня (*понижая голос*). Вопрос об этих плугах?

Граф. Да, я именно сейчас рассуждал об этом. Существуют две партии...

Графиня. Слышала; ты будешь, конечно, за, а не против.

Граф. Но большинство против...

Графиня. Какое тебе дело до большинства! За плуги стоит между прочим Уссурийский; пойдешь против, он повредит тебе в другом деле...

Граф (*обращаясь к Подточину, который прислушивается*). Иван Иваныч, я обдумал; я буду стоять за плуги...

Подточин. Вы всегда верно угадываете, ваше сиятельство...

Граф. Вы куда, Иван Иваныч?..

Подточин. Необходимо съездить к купцу Шестипалову; огромное состояние; надо захватить, пока не скончался...

Граф. Как так?

Подточин. Говорят: при смерти; самое лучшее время для пожертвований; жаль пропустить случай...

Граф. Не задерживаю вас; вы эти дела лучше нас знаете... До завтра, мой милый, до завтра... (*Подточин уходит, кланяясь как актеры, когда их вызывают на сцену.*)

ЯВЛЕНИЕ VIII

Граф и графиня.

Граф (*указывая глазами на уходящего Подточина*). Удивительный человек!.. Неусыпная деятельность!

Графиня. Сколько энергии! Какая преданность!..

Граф. И сколько благородного чувства!

Графиня. Ты куда после заседания?

Граф. Я туда на минуту; подам только мое мнение о плугах...

Графиня. После?

Граф. После? В комиссию для разработки в России...

Графиня (*перебивая*). Оставьте на несколько часов Россию в покое, она от этого не погибнет...

Граф (*обиженно*). Ты, ma chère, всегда так резко...

Графиня. Ты хотел заехать к князю Бакланову попросить, чтобы ускорили Ивану Ивановичу обещанную награду.

Граф. Его теперь не застанешь; я поеду в четыре часа.

Графиня. Хорошо; поедем вместе! Пока ты будешь просить князя, — я с той же целью зайду к княгине; она имеет влияние на мужа... Прощай! (*Уходит на парадную лестницу.*)

Граф. Да... эти женщины... Да, поневоле приходится уступать! (*Уходит в кабинет.*)

ЯВЛЕНИЕ IX

Жигулев, камердинер, два курьера.

Минута сцена пуста. Из двери буфетной 1-й курьер таинственно вводит Жигулева, который сует ему в руку ассигнацию.

1-й курьер (*поспешно пряча деньги*). Напрасно изволите беспокоиться, ваше степенство. Обождите малую минуточку... я послушаю у двери и, если никого нет у графа, доложу об вас...

Жигулев. Скажите ему, батюшка: купец Жигулев по собственному делу... *(В ту минуту, как курьер пробирается к двери кабинета, из буфетной показывается камердинер.)*

Камердинер *(курьеру)*. Нет уж, позвольте, Никанор Афанасьевич, — позвольте! Это вам не показано, чтобы водить господ просителей задним ходом через буфетную. Это, с позволения сказать, вы напрасно... Хоть бы меня спросили...

Жигулев *(испуганно)*. Виноват, батюшка... Я их просил... Впрочем, я, с моей стороны, с превеликим удовольствием... *(Вынимает ассигнацию и дает ее камердинеру.)*

Камердинер *(быстро запрятывая деньги)*. Напрасно, сударь, изволите беспокоиться... *(Из двери буфетной 2-й курьер высовывает голову, выдвигается вперед и кланяется.)*

Жигулев *(2-му курьеру)*. Я с превеликим удовольствием готов и вам. *(Дает деньги.)*

2-й курьер *(пряча деньги)*. Напрасно, сударь, изволите беспокоиться...

Камердинер *(ласково)*. Вам, сударь, что же, собственно?

Жигулев. Дело такое, изволите ли видеть *(отводя его в сторону)*; есть надобность повидать графа... Но желательно, чтобы этак... без свидетелей...

Камердинер. Устроить можно; только время теперь не то; оставьте мне ваш адрес, я вас извещу, и тогда пожалуйста... Пожалуйста по той же лестнице, как сегодня; меня только спросите... их *(мигая на курьеров)* не надо...

Жигулев. Теперь разве нельзя?.. Я бы со своей стороны опять готов.

Камердинер *(курьерам)*. Как же не сказали вы его степенству, что графа нет дома... Эх вы!..

1-й и 2-й курьеры *(вместе)*. Мы этого не знали... Мы были в кухне...

Камердинер. Эх вы! Суетесь, а сами не знаете... *(Слышен шум подъехавшей кареты.)* Не граф ли? *(Подбегает к окну.)* Граф, только не наш! Из Крыма который... Ваше степенство, теперь не до того... Пожалуйста, пожалуйста *(поспешно провожая его в буфетную)* сюда... Сюда-с!.. *(Курьерам.)* Ступайте скорее к молодым господам, — скажите: дяденька из Крыма приехали!.. *(Спешит к двери, на секунду останавли-*

вается и говорит публике.) Вот не было печали!! Я его хорошо знаю... не чета нашему графу... С этим держись только!!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Та же декорация.

ЯВЛЕНИЕ I

Мери и Кирсанов.

Мери (*указывая на дверь графини*). Как он долго...

Кирсанов. Дай ему время поговорить! Целые три года не виделся с братом и сестрой. Довольно того, что он велел принести чемоданы в мои комнаты и будет жить с нами!

Мери. Добрый дядя! Заметил ты, как он нам обрадовался!

Кирсанов. Еще бы не заметить! К сожалению, мало было времени; не успел он переодеться, как приехали дядя и тетушка...

Мери. Уходя к ним, он сказал: хочу еще раз хорошенько обнять вас и поговорить с вами; от них сейчас к вам; подождите здесь...

Кирсанов. Я уверен, он не засидится... (*Входит граф Ф. А.*) — Не прав ли я!.. (*Мери и Кирсанов бегут к нему навстречу.*)

ЯВЛЕНИЕ II

Кирсанов, Мери и граф Ф. А.

Граф Ф. А. (*обнимая их и целуя*). Ну, здравствуйте! Еще раз здравствуйте!! Как ты выросла, Мери! И выросла, и похорошела!.. И ты, Володя, какой стал молодец!.. Там (*указывая на дверь графини*), слава богу, все благополучно; оба здоровы; это главное... Но я не видел еще Кокó... Брат и сестра что-то им недовольны... Что он делает?

Кирсанов. Мне, дядя, неловко о нем говорить... я и сестра живем здесь у его отца...

Граф Ф. А. Понимаю; но однако ж?..

Мери. Говорят, делает долги...

Граф Ф. А. Занятие своего рода; надо же что-нибудь делать!.. Сядем теперь и потолкуем; рассказывайте!

Мери. Мы тебе писали.

Граф Ф. А. (*перебивая*). Друг мой, между письмами и живым словом та же разница, что между мертвым и живым человеком!.. Я отчасти уже вижу, в чем дело. Меня не удивляет, что брат дался в руки какому-то пройдохе; в наше так называемое «практическое время» добродушие то же, что кухонная посуда: полезно только в домашнем хозяйстве! Брат служил сорок лет; неожиданно и совершенно случайно поднялся на известную высоту; с этой минуты, как водится, он увлекся сам собой, уверовал в свои силы. Нам нечего церемониться и лукавить; мы здесь свои и можем говорить откровенно. Силы брата выразились, к сожалению, тем, что каждое его распоряжение было воспрещением чего-нибудь; распоряжения, к счастью, спасались худым исполнением: его секретарем был тогда Семипалатинский. Этим все сказано! В один прекрасный день брат так же неожиданно скатился с высоты... В таких случаях, неизбежное последствие: болезнь утраченной власти!! За сим пошло, как водится, усердное нашептывание: «Вас не поняли!» — «Вас не оценили!..» и т. д. Люди любят, чтобы их обманывали! Вымышленная легенда всегда соблазнительнее голого факта... У этого Подточина, должно быть, однако ж, хороший нюх! Он ловко воспользовался положением. Уверить брата в том, что Россия в нем нуждается, было не трудно; такое убеждение всегда было его слабостью! Гораздо было труднее найти ему деятельность, и с этой стороны Подточин представляется мне чем-то вроде Христофора Колумба... Америки он не открыл, но открыл остров благотворительности; добродушие брата довершило остальное... Все это для меня ясно, как дважды два — четыре. Несравненно удивительнее, что сестра дала себя опутать.

Мери. Тетушка, кажется, еще больше увлечена, чем дядя...

Граф Ф. А. Молодец Подточин! Право, молодец! Он начинает меня занимать; по всему видно, малый бойкого свойства...

Кирсанов. Совсем напротив; ты удивишься, когда с ним встретишься: кроткий, мягкий, весь на замшевых подошвах.

Граф Ф. А. Гм! Вот как!.. Стало быть, опаснее, чем я думал? От нахала можно еще отделаться; щелкнешь — отскочит; в этих есть что-то липкое, — никак не отдерешь! Эти замшевые люди, говорят, теперь в большом ходу?..

Кирсанов. Ты представить себе не можешь, до какой степени он вошел в доверие дяди и тетушки.

Граф Ф. А. Очень себе представляю: эти люди как заноза: первое время незаметно, приятно даже, как будто щекочет; потом вдруг опухоль... а там, смотришь, и воспаление.

Кирсанов. Благотворительность, конечно, тут только предлог.

Граф Ф. А. Один из удобных предлогов, чтобы делать карьеру и выходить в люди... Хотя этим способом чаще всего выходят в свиньи, и я охотно присоединяю к их числу нашего Подточина; тем не менее, на мои глаза, он интересный тип...

Мери. Что ты, дядя...

Граф Ф. А. Да, моя милая, — интересный! Такой тип — продукт нашего времени. Эти мелкие люди, одержимые бесом тщеславия, — люди, которых грызет скромность положения и заставляет их искать выхода к свету, — растут вокруг нас, как грибы в сырое, дождливое время; к ним нельзя даже относиться слишком враждебно. Требуется для этого известная упорная сила, требуется энергия, излишек чего-то такого, что вообще редко у нас встречается... Досадно, конечно, когда посредственность заслоняет путь истинным дарованиям, — но последних мало — и они по большей части скромны; первых — легион, и они всегда почти нахальны и дерзки; победа должна оставаться за ними; надо с этим примириться.

Мери. Нет, дядя, я никогда с этим не примирюсь.

Кирсанов. Я также...

Граф Ф. А. Подточина я знаю только по вашим письмам; об остальном догадываюсь... Повторяю, меня больше всего удивляет сестра! Помню, она и прежде занималась благотворительностью...

Кирсанов. Да, но вскоре оказалось: женский персонал больше суетился и путал; молодые люди

и другие благотворители искали случая зацепить что-нибудь...

Граф Ф. А. Это уж как водится!

Кирсанов. Начались сплетни, ссоры; тетушка постоянно раздражалась, восклицая: «с'est désespérant!»¹, — и, наконец, решила все бросить. Это случилось в то время, как дядя лишился места. Явился Подточин, — все приняло другой оборот. Частью лестью, частью видом смирения и преданности вошел он в доверие к тетушке, потом принялся за дядю... Остальное тебе уже известно.

Граф Ф. А. Опять скажу: ловкий человек! Но не вижу собственно, в чем тут, как вы пишете, опасность для сестры и брата?

Кирсанов. Опасность в том, что по поводу благотворительности он втягивает дядю и тетку в сомнительные денежные операции, сводит их с разными темными дельцами, выпрашивает у них награды и протекции... Словом, мы боимся, чтобы это не кончилось какой-нибудь гадкой историей...

Мери. Они на все смотрят его глазами... Дерзость его дошла до того, что он стал мешаться в наши семейные дела...

Граф Ф. А. Ну, это мы еще посмотрим!..

Кирсанов. Мы писали тебе: он стал внушать тетушке мысль уговорить Мери выйти замуж за его секретаря Ягозина... Вот до чего дошла его дерзость!.. Мери, между тем, ты знаешь...

Граф Ф. А. Знаю... Но поздравлять еще не стану, пока не познакомите вы меня с вашим другом Липецким... Я знал его отца; вместе служили...

Мери. Он, верно, был хороший человек?

Граф Ф. А. Превосходный!..

Мери. Сын такой же; могу тебя уверить.

Граф Ф. А. Вот как!.. ты, стало быть...

Мери (*с живостью*). Да, дядя...

Граф Ф. А. Ах ты, милая, милая (*целуется*). Не могу того же сказать о тебе, Володя! Посмотри мне прямо в глаза; скажи на милость: чего же ты смотрел? Если ты видел опасность для дяди и тетки, — как же ты не вмешался, допустил до этого.

Кирсанов. Невозможно было, дядя...

Граф Ф. А. Невозможно?! Полно, братец! «Не

¹ «Это невыносимо!» (*фр.*)

могу» — никогда ничего не сделало, «попробую» производило чудеса, «сделаю!» имело всегда отличный результат! Надо всегда мочь — и чтобы мочь, — быть всегда смелым, мой милый! Смелость — единственное оружие против лжи и нахальства! Прослывешь человеком неуживчивого характера, что за беда? Так всегда бывает с теми, кто не даст себе наступить на ногу; останется утешение, что никогда не протягивал руки там, где надо было поднять ногу, чтобы дать доброго киселя! Смелость, заметь себе, важна особенно у нас, где почва для торжества дерзости отлично приготовлена. Дерзость и нахальство — сила, которую надо побеждать, чтобы не быть побежденным! Перед ними пасуют у нас часто самые умные и лучшие люди. Там, где следует щелкнуть нахала по носу, нами овладевает столбняк; мы смущаемся, опешиваем; возвратясь домой, вымещаем желчь, сломав собственный стул, обвязываем себе голову полотенцем с уксусом и, наконец, тревожно засыпаем... На другой день, — заметь: только на другой день, выпив три стакана насахаренного чая, надумавшись хорошенько, мы изобретаем ответ... Правда, такой ответ, от которого слон упал бы на задние ноги, — но, увы! поздно! Опоздали, как, впрочем, всегда и во всем...

Мери. Слушая тебя, дядя, я от всего сердца радуюсь; ты все такой же веселый...

Кирсанов. И такой же живой...

Граф Ф. А. Ох, не хвали! Ты ведь здешний, должен знать: в глазах лиц сосредоточенно деловых и глубокомысленных, какими полон Петербург, живость служит вернейшим знаком легкомыслия и беспокойного характера.... Ну, да что об этом! По-моему, ваш Подточин не так еще страшен, как вам кажется... Но мы успеем еще поговорить об этом... Теперь пойдемте и накормите меня завтраком; после буфетов на железных дорогах не мудрено проголодаться!.. (*Уходят на половину Кирсанова.*)

ЯВЛЕНИЕ III

Граф, графиня (выходят из половины графини).

Граф. Поведение Коко начинает серьезно меня беспокоить... При тебе, кажется, я сказал брату: необходимо принять энергические меры!.. Я возмущен его

поведением... Желал бы я знать, куда он пропадает, где проводит время?.. Такой образ жизни очевидно невозможен!..

Графиня. Очень рада, что ты наконец так смотришь... Коко, действительно, перешел границы... *(Подходит к столу и звонит.)*

Граф. Что ты делаешь?

Графиня *(обращаясь к брату)*. Сейчас... *(Входящему лакею.)* Попроси сюда графа Николая Борисовича; скажи: я и граф ждем его. *(Лакей уходит.)*

Граф. Как ты это... всегда вдруг, та chère!.. Не основательнее ли было бы сначала обдумать: что и как, и потом уже... Не лучше ли отложить это объяснение до вечера...

Графиня. Это почему?

Граф. С утра чувствую себя сегодня как-то не совсем...

Графиня. Голова?

Граф. Да, и голова и... и вообще как-то...

Графиня. Если так, предоставь мне; я с ним объяснюсь...

Граф *(радостно)*. Отлично! Я чувствую, что вышел бы из себя; ты знаешь, мне это вредно... Прошу только: будь с ним строже... как можно строже... Он вполне...

Графиня. Положись на меня...

Граф. Да, он вполне... вполне... *(Поспешно уходит к себе в кабинет.)*

ЯВЛЕНИЕ IV

Графиня одна.

Всегда так! Малейшее усилие, — сейчас голова и нездоровье!.. Сама виновата: старания скрывать от него неприятности сделали его ужасным эгоистом! *(Выходит Коко с пахитоской во рту.)*

ЯВЛЕНИЕ V

Графиня, Коко.

Графиня *(строго)*. Мог бы, кажется, оставить свою сигарку дома... Ты знаешь, я не люблю, кто курит...

К о к о. Это пахитоска...

Г р а ф и н я. Все равно; ты здесь не у своих коко-ток!

К о к о (*бросает пахитоску*). Вы за этим меня звали?..

Г р а ф и н я. Мне надо переговорить с тобой... Сядь...

К о к о. Благодарю вас; я не устал.

Г р а ф и н я (*нетерпеливо*). Сядь, говорю тебе!

К о к о (*садясь*). Ах, тетушка, как все это скучно!..

Г р а ф и н я. Скучно или нет, ты меня слушаешь. С некоторых пор твое поведение огорчает всех нас: и отца, и меня; оно переходит границы...

К о к о. Что ж я делаю?

Г р а ф и н я (*строго*). Не перебивай! Скажи, пожалуйста, — но говори правду, — что это еще за новая история у тебя с какой-то плясуньей?..

К о к о (*обиженно*). Она, во-первых, не плясунья... Никакой нет плясуньи... Она из первых сюжетов...

Г р а ф и н я. Это совершенно все равно... Ты, говорят, проводишь у нее все дни и... и... Делаешь ей безумные подарки. На днях подарил карету...

К о к о. Что ж, когда она вывихнула ногу...

Г р а ф и н я. Глупые ответы побереги для себя! Вывихнула ногу! Скажите, пожалуйста! Не думаешь ли ты, что мое состояние и твоего отца для того существует, чтобы потакать твоему беспутству, тратить его на разных негодяек...

К о к о (*вскакивая*). Не называйте ее так!.. Я никому не позволю... Вы ее не знаете... Она превосходная женщина... во сто раз выше всех тех, которые...

Г р а ф и н я. Это по всему видно; из-за нее ты не стесняешься огорчать отца, делаешь долги...

К о к о (*садясь*). Отец ничего не знает; вы от него все скрываете...

Г р а ф и н я. И ты этим пользуешься! — деликатно, нечего сказать! Я только и делаю, что уплачиваю твои векселя; но предупреждаю: я больше не намерена тратить деньги отца и мои собственные...

К о к о. Я сказал вам, что больше не стану подписывать векселей... Остается только еще один... И тогда...

Г р а ф и н я. Как, еще?

К о к о. Последний...

Г р а ф и н я. Ни за что! Разделяйся, как знаешь...

Коко. Я вижу, тетушка, с вами невозможно говорить серьезно.

Графиня *(вставая)*. Как?.. Что?.. Нет, он положительно невозможен! *(Уходит на свою половину.)*

ЯВЛЕНИЕ VI

Коко один.

Невозможен! Всегда так, когда о чем-нибудь просишь. Желал бы я знать, к чему на свете существуют эти тетушки?! Откуда, однако ж, узнала она историю с каретой... *(Переменяя вдруг тон.)* Ну да, подарил карету! Так что ж? Еще подарю... и никому нет никакого дела!.. Фу, как мне все это надоело!.. Какая сучка!! *(Волованов и Ягозин, выглянув из двери, откуда вышла Коко, являются на сцену.)*

ЯВЛЕНИЕ VII

Коко, Волованов, Ягозин.

Волованов. Как ты долго! Мы потеряли терпение! Результат совещания?

Коко. Пшик!

Волованов. Не будь я Сергей Волованов, если я этого не предвидел! Вот и Ягозин подтвердит. Ягозин, правду я говорю?

Ягозин. Правду...

Волованов. Для утешения я бы предложил маленький проект: пригласить знакомых дам, обедать с ними у Кюба, затем тройки и цыгане...

Коко. Я не поеду...

Волованов. Так и есть! Я это предвидел! Разве вы, Ягозин, не знаете *(указывая на Коко)* — влюблен! влюблен... вот! *(Указывая на горло.)*

Ягозин. Знаю; знаю даже в кого... Я не думал, чтобы это было до такой степени серьезно, чтобы отказываться от невинных удовольствий... Впрочем, все зависит от предмета... Надо правду сказать: мамзель Фифи — это... это такой предмет...

Коко *(оживленно)*. Не правда ли! Она совсем не как другие!.. Это ангел!..

Волованов. Вначале они, брат, все ангелы... *(Всматривается в панталоны Ягозина.)* Ягозин, кто вам шил панталоны?

Ягозин. Ripetti.

Волованов. Очень симпатичны... очень... Жакет также от него?

Ягозин. Да, — а что?

Волованов. Вот уж это — совсем не то! Жакетки, любезный друг, следует шить только у Франсуа; он один настоящим образом понял жакетку. (*Проводя пальцами по жакетке Ягозина.*) Все это, например, у вас лишнее; линия от верхней пуговицы до нижнего угла должна идти совершенно прямо, энергично, без всякого сентиментального выгиба... Поверьте, все в платье! Что бы мы были без платья? Коко, правду я говорю?

Коко. Мне совершенно все равно!..

Волованов. Понятно! У тебя теперь и здесь, и тут (*показывает на сердце и голову*) не тем теперь занято... Да... О чем, бишь, я хотел сказать... Как глупо! Собираешься что-то сказать — и вдруг... вдруг... (*Вспоминая.*) Да, тебя, значит, уж нечего спрашивать, поедешь ли ты на бал к княгине Закаспийской...

Коко. Конечно, нет!

Волованов. Так и есть!.. Впрочем, я тебе сочувствую! Скука, смертельная мука! Мне, к сожалению, нельзя отделаться: родственница, и притом тетка расседится... Вы, Ягозин, поедете?..

Ягозин. Непременно. Я очень вам благодарен.

Волованов. Ты еще не знаешь, Коко: Ягозин делается решительно светским человеком! Он просил меня представить его тетке; его потом представят другим; пойдут в ход тогда визитные карточки, посещения в театральные ложи... Вот только на обеды пока приглашать не будут. (*Ягозину.*) Но это не замедлит; я вам это устрою!

Ягозин. Буду весьма благодарен.

Волованов. Не за что, любезнейший, — скоро соскучитесь!.. Обеды еще туда-сюда; можно сейчас удрать; но балы, балы, — вот она настоящая-то скучища! Главное: эти разговоры! Теперешние молодые дамы и барышни не то, что были прежде; выдумали какого-то Шопенгауера... Также вот славянский вопрос. На днях, на вечере у графини Милич, подхожу к группе барышень, хочу поздороваться с кузиной, — толкуют о каком-то самостоятельном мышлении или о чем-то в этом роде... Покорно вас благодарю! Я дал себе слово ездить на балы только к ужину, — и то, ког-

да знаю, что будет хороший. Вот и завтра также: велю себя разбудить в 12 часов и поеду; потому только и поеду, что знаю, за ужином будет земляника; я ее очень люблю: ночью она замечательно освежает...
(Из двери на половину Кирсанова выходят Липецкий и Кирсанов.)

ЯВЛЕНИЕ VIII

Волованов, Коко, Ягозин, Липецкий, Кирсанов.

Волованов (*комически-торжественным тоном*). Тсс... Господа! Солидность и серьезность! Перед нами: мой друг Кирсанов и мой друг Липецкий... Люди серьезные и строгие критики...

Кирсанов. Как тебе, братец, не надоест! Вечно одно и то же; пора бы перестать; тебе ведь за тридцать!..

Волованов (*Ягозину и Коко*). Что я вам говорил! Сейчас строгость и нравоучение!.. Тебе, впрочем, юному меланхолику, так и подобает... Меланхолия теперь в моде. Наш милый Коко тем же заразился; взгляните: лицо задумчиво, глаза опущены... Но он влюблен, — ему это извинительно.

Коко. Что ты все врешь...

Волованов. Прости, душа моя, с языка сорвалось.

Коко. Совралось...

Волованов. Сострил! Господа, Коко сострил! Каков Коко?.. К тебе теперь обращаюсь, Липецкий; скажи-ка, ты отчего серьезен? Чего тебе-то недостает; свеж, красив, здоров, молод; притом есть, чем веселиться (*бьет себя по карману*), серьезность совсем даже не к лицу тебе... Ягозин, правду я говорю?

Ягозин (*нерешительно*). Да... Мне самому так кажется...

Липецкий (*Ягозину*). Почему вы так думаете? Вы меня мало знаете; я, напротив, очень веселого нрава.

Ягозин. Ученый и веселый. Как-то странно...

Липецкий. Ученый, по-вашему, должен быть непременно унылого вида, в синих очках на больших глазах. Наконец, я не знаю, с чего взяли, что я ученый. Я пока только ученик! С меня и этого довольно.

Волованов. Рассказывай, рассказывай! Все говорят, тебе предстоит блестящая ученая карьера.

Ягозин. Я также это слышал.

Липецкий. Вы также?! Те, которые так говорят, ошибаются; чтобы сделать карьеру, надо иметь специальный талант, особые способности; они у меня совершенно отсутствуют.

Волованов (*Липецкому*). Постой, серьезный человек, у тебя галстук сбился на сторону. (*Исправляет Липецкому галстук.*) Во-первых, позволь тебе сказать: он цветом своим не отвечает цвету жилета и в дисгармонии с цветом панталон; во-вторых, он повязан, — извини, — как у старого профессора: жестко, без вкуса, без чувства... Покупай галстуки только у Мативе: — восторг! идеал! — скажешь спасибо!.. Да?.. что, бишь, я хотел сказать... как глупо... Да, ты говорил, нет способностей... У меня также не бог знает какие, но тетушка поворожила, — вот тебе и карьера...

Липецкий. Доказательство, что истинные таланты не нуждаются в покровительстве.

Волованов. Ха-ха-ха. Зло, но остроумно, и я тебе прощаю... Ягозин, что вы на это скажете? Каков скромник, не может, говорит, сделать карьеры!

Ягозин (*Липецкому*). Признаюсь, меня это крайне удивляет. Способности, конечно, не лишнее. Но можно и без них; стоит только несколько...

Липецкий (*иронически*). Представьте, вот у меня именно этого-то «несколько» и не хватает. У меня, например, живой, веселый нрав, — следует прикинуться смиренным и кротким.

Ягозин (*в сторону*). Косвенный намек.

Липецкий (*продолжая*). Видишь, у человека курносый нос, надо уверять его, что у него нос греческий, и т. д. Но это мелочь; мало ли что надо для прокладки дороги! Стараться крестить детей у камердинеров влиятельных особ; ухаживать за детьми жены начальника. Сейчас скажут: «Он любит детей, у него добрая душа», — а там, цап — и подобрать, что было намечено.

Ягозин (*в сторону*). Откуда он узнал...

Волованов. Каков критик! Каков! Держись только!..

Ягозин (*Липецкому*). Вам хорошо так говорить; вы имеете независимое состояние.

Липецкий (*Ягозину*). Вам также, кажется, не на

что жаловаться; мне говорили, вы служите в пяти местах.

Ягозин. У меня одно место; остальные больше частные занятия.

Кирсанов. И всюду получаете жалование.

Ягозин. Я и не жалуясь.

Волованов. Бросим, господа, пустые разговоры. Коко, поди сюда. Займемся серьезным делом. Теперь два часа. Что делать? Куда деваться? (*Липецкому.*) К тебе я уже не обращаюсь; ты не наш и никогда им не был...

Кирсанов. Можешь и меня также сюда причислить.

Волованов (*Кирсанову*). С тобой я даже не говорю; давно, братец, рукой махнул!.. Коко, ты к своему ангелу не можешь теперь ехать; он на репетиции. Тра-дедя-бум, бум (*делает несколько батманов*). Что вы, деточки, скажете насчет кабачка?

Коко. Это можно.

Ягозин. Разве вы голодны?

Волованов. Ягозин, ваш вопрос меня огорчает! В кабачки отправляются, мой милый, не столько для собственного питания, сколько для питания веселых собеседниц; главное: для препровождения времени. Не грустно ли, право, думать, что в таком городе, как Петербург, некуда положительно деваться между двумя и пятью часами! Правду я говорю? Коко, пойдем! Пойдите, Ягозин! Прощайте, серьезные люди, еще увидимся. (*Липецкому и Кирсанову.*) Что? Раздумали? И вы с нами?

Кирсанов. Нет, мы только вместе до моей комнаты! (*Поспеино уходит.*) (*Липецкий следует за уходящими Коко, Воловановым и Ягозиным, но, увидав выходящую из двери графини Мери, останавливается.*)

ЯВЛЕНИЕ IX

Липецкий, Мери (она в шляпке).

Липецкий. Марья Михайловна! Я был сейчас здесь с вашим братом. Увидел вас и остался. Как я рад, что встретился с вами! Мне редко выпадает такое счастье! Но вы куда-то собрались. Не смею вас задерживать.

Мери. Я собиралась снова навестить ту бедную женщину, к которой вы меня тогда провожали... Я бы-

ла у нее также вчера; ей гораздо лучше; ребенок также начал поправляться.

Л и п е ц к и й. Слушаю вас и думаю: какое у вас золотое сердце! В вас больше искреннего чувства добра, больше милосердия, чем во всех благотворительных учреждениях с их комитетами и заседаниями!..

М е р и (*весело*). Не хвалите! Меня еще сегодня упрекали в черствости и строптивости характера...

Л и п е ц к и й. Вас в этом упрекали?!

М е р и. Да. Упреки, может быть, несколько преувеличены, но отчасти справедливы... Вы меня еще мало знаете; у меня множество недостатков.

Л и п е ц к и й (*весело*). Не верится что-то, Марья Михайловна... Какие же это такие?..

М е р и. Я, например, очень горда...

Л и п е ц к и й. Ну, это еще не бог знает какой порок...

М е р и. Не говорите; для девушки без состояния гордость — несчастье; надо уметь покоряться, а я совсем не умею...

Л и п е ц к и й. Условия вашей жизни могут перемениться. Вы можете встретить человека, который вас полюбит; наверное его встретите!.. Вам не будет тогда повода покоряться; гордость пройдет сама собой... останется ваше доброе сердце... (*Одушевляясь*.) Марья Михайловна, случаи встречи с вами так редки! Позвольте воспользоваться сегодняшним. Позвольте повторить то, что я говорил вашему брату?.. Зачем ходить окольными путями... Вы, может быть, уже догадываетесь... Брат говорил вам...

М е р и. Я также не хочу с вами лукавить; это также не в моем характере. Да, брат говорил мне... Благодарю вас, Алексей Петрович!

Л и п е ц к и й. Одно только слово... Скажите одно слово...

М е р и. Погодите, Алексей Петрович, я вижу: брат не все объяснил вам.

Л и п е ц к и й. Что такое... Говорите, ради бога.

М е р и (*стесняясь*). У вас, говорят, хорошее состояние; вы знаете, — у меня ничего нет...

Л и п е ц к и й. Так что ж?.. Вас это стесняет?

М е р и. Стесняет.

Л и п е ц к и й (*обиженно*). Такие соображения — результат гордости... Вы правы: вы горды, Марья Ми-

хайловна! Позвольте, однако ж, заметить: существует разница между денежными состояниями — огромная разница! Есть состояния трудовые, кровные, лично приобретенные... я понимаю, они могут дать место деликатным соображениям; гордость честной женщины может возбуждаться тем, что она пользуется трудовыми деньгами мужа.

Мери. Я так всегда думала.

Липецкий. Несомненно, я также так думал. Но поймите: между таким состоянием и моим — нет ничего общего; мое досталось мне совершенно случайно; я лично ничего к нему не прибавил; не ставьте же его мне в вину, не делайте его препятствием... Это было бы несправедливо, и гордость ваша перешла бы здесь границы!.. Она превратилась бы в недоброе чувство... Ваше сердце не может принять в нем участия...

Мери (*глядя ему в глаза*). Вы в этом уверены?

Липецкий. Убежден!

Мери (*медленно протягивает ему руку*). Вот вам моя рука...

Липецкий (*восторженно*). Какое счастье! Какое счастье!! (*Хочет взять ее руку, но в эту минуту показывается графиня, и он отступает на шаг.*)

ЯВЛЕНИЕ X

Мери, Липецкий, графиня.

Графиня (*холодно кивая Липецкому*). Здравствуйте, господин Липецкий... Вы, верно, ждете здесь кого-нибудь?..

Липецкий. Нет, графиня, я вошел сюда с вашим племянником Владимиром... Он только что...

Графиня (*перебивая*). А!.. (*Липецкий кланяется и уходит на половину Кирсанова.*)

ЯВЛЕНИЕ XI

Графиня, Мери.

Графиня. Что это у тебя за *à part*¹?.. Уж не назначаешь ли ему здесь свидания?..

Мери (*вспыхнув*). Я, тетушка, свиданий никому

¹ Уединение (*фр.*).

не назначаю!.. Вам господин Липецкий сейчас объяснял, как он вошел сюда...

Графиня. Все равно; я застала вас здесь вдвоем и нахожу это неприличным!..

Мери. Не знаю, в чем...

Графиня. Ты не знаешь, но я знаю! Липецкий может приходить сколько ему угодно к твоему брату, — здесь ему решительно нечего делать! Большое мнение о себе, неуместная какая-то важность... ни на чем все это не основано... Ничтожество какое-то...

Мери. Он магистр прав...

Графиня. Еще что?.. Скажите, какой важный пост!

Мери. Лучший пост тот, когда человека все уважают и любят.

Графиня (*строго*). Что? Это что за ответ! Ты забываешься.

Мери. Нисколько, я только сказала свое мнение. Позвольте мне уйти.

Графиня. Останься. С некоторых пор я замечаю, у тебя какая-то резкость... Не от этого ли господина ты ее заимствуешь?.. Пора бы, кажется, помнить, что ты племянница графов Павлиновых.

Мери. Очень хорошо помню; но у нас есть также свое имя; я и брат дорожим им не меньше... У всякого своя гордость...

Графиня. Лишнее, матушка, когда нет состояния...

Мери. Бедность презрительна без гордости; она помогает переносить бедность с достоинством! Бедность меня и брата не пугает; ее во всяком случае легче переносить, чем упреки...

Графиня. Прекрасно!.. (*Направляется к двери графа и останавливается. Указывая на Мери.*) Вот она, благодарность!.. (*Уходит.*)

Мери (*смотря вслед графине*). Какая терпимость для благотворительницы — и сколько теплого родственного чувства!..

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Та же декорация.

ЯВЛЕНИЕ I

Граф Ф. А., Липецкий, Кирсанов (выходят из половины Кирсанова).

Граф Ф. А. Очень рад, Липецкий, что познакомился с вами... Повторяю: бросьте вашу химеру! Сделавшись чиновником, вы прибавите только каплю воды в Ладожское озеро. Скажу вам, мой милый, — вы даже опоздали! В Петербурге оставалось одно свободное место: Исаакиевская площадь, но и ту заняли садом. Вообще, здесь легче схватить двадцать насморков и столько же флюсов, чем найти место... без протекции, конечно... И это очень понятно: сюда стекаются все жадности не только наши, но и чужеземные; спросите любого: всякому что-нибудь очень нужно; каждый чего-нибудь добивается, что-нибудь ищет... Всмотритесь: все даже ходят с открытыми ртами, — стараясь зацепить что-нибудь зубами... У вас нет этой жадности; у вас, наконец, не тот темперамент, который требуется; вы то же, что ваш покойный отец: такой же прямой, живой и упорный... Кстати, вы уделите бы сколько-нибудь вашей живости моему племяннику и вашему другу Володе; его точно выварили в молоке с шалфеем...

Липецкий. Если б было в моей власти, я скорее убавил бы ему скромности...

Граф Ф. А. Отлично! В наше время скромность действительно выводится из употребления; она хуже робости; над робкими только смеются, — скромных презирают!

Кирсанов. Не понимаю, из чего вы хлопочете; я вовсе и не робок, и не скромн. (*Графу Ф. А.*) Я тебе говорил: мне просто скучно.

Граф Ф. А. Начни писать оперу — отличное средство против скуки; теперь все так: как только подступит тоска, — садятся сочинять оперу; скука мгновенно избавляет человека и сообщается другим... Но все это вздор; перейдем к делу. Я еще не могу поверить; вы говорили: готовится юбилей?.. У нас действительно в этом существенный недостаток...

Кирсанов. Срам просто! Подточин сам и через

своих помощников везде собирает подписку на юбилей дяди.

Граф Ф. А. Он, очевидно, опоздал! Давно бы пора! Благотворительная деятельность брата длится уже три года...

Липецкий. История с печатанием портрета графа, по-моему, еще хуже. Тут уже покоя никому не дают. Купцам просто-напросто говорят: подписывайся!.. (*Входит Мери.*)

ЯВЛЕНИЕ II

Граф Ф. А., Кирсанов, Липецкий, Мери.

Граф Ф. А. А, вот и Мери... (*Ей.*) Мы беседуем о наших открытиях; не узнала ли ты чего-нибудь нового?

Мери (*целуясь с дядей и братом и здороваясь с Липецким*). Узнала, дядя; представьте: Подточин выдумал поднести тетушке от имени сиротского приюта серебряную группу; госпожа Сандаурова видела рисунок и мне рассказала: в середине фигура милосердия, вокруг группы детей, все на коленях и поддерживают свиток с надписью: «Ты нам как мать и как отец, — прими от преданных сердец!»

Граф Ф. А. Ого! Подточин, как видно, еще и поэт!

Мери. Хорош поэт! Заставляет всех подписывать деньги на эту группу. Госпожа Сандаурова рассказывает, какой-то купец (ему что-то обещал Подточин), — подписал пятьсот рублей...

Граф Ф. А. Ну, друзья мои, в эту неделю, как я здесь, — мы славно поработали! Обыкновенно, когда у нас три человека сойдутся вместе, — они сейчас же разделятся на две партии, и один из них будет непременно принадлежать обеим партиям! Мы действовали единодушно, — и в этом случае представляем трогательное явление...

Мери. Ты, дядя, больше всех нас сделал; ты сделал просто чудо: Подточин от тебя в восхищении! Не только он, но даже его секретарь, — этот гадкий Ягозин... Я вошла к тетушке в то самое время, как оба восторженно о тебе говорили...

Граф Ф. А. Интереснее было бы послушать, что они говорят обо мне без тетушки!

Мери. Но это еще не все; я узнала, Подточин составляет какой-то проект для Коко...

Граф Ф. А. (*Кирсанову*). Надо переговорить с тобой. (*Отводит его в сторону. Мери говорит с Липецким.*) Кстати о Коко; не знаешь ли, куда он делся? Я второй день его не вижу; посылал спросить: вернулся сегодня в шесть часов утра...

Кирсанов. Я ему не сопутствую.

Граф Ф. А. И хорошо делаешь. Бедный брат! Заботится о воспитании сотен чужих детей, — своего одного не мог воспитать... Это, впрочем, бывает! (*Липецкому.*) Липецкий, до свидания! Мы идем здороваться к брату. Надеюсь, скоро увидимся! Мери, ты с нами?..

Мери. Иду, дядя! (*Граф Ф. А., Кирсанов и Мери идут к графу; Липецкий уходит на половину Кирсанова.*)

ЯВЛЕНИЕ III

Подточин, за ним курьер.

Подточин. Ты, вероятно, недосмотрел; господин Ягозин должен быть здесь; поди справься, — нет ли его у молодого графа... (*Курьер уходит.*) Досадно, право! (*Смотрит на часы.*) Все есть у молодого человека: ловок, умеет нравиться, дворянской фамилии, — предубежденье, конечно, но все-таки имеет свое действие! Словом, все есть, чтобы сделать карьеру; одного недостает: нет выдержки! Уж если наметил себе точку, так и иди к ней; у него этого нет, — нет настойчивости! До сих пор, впрочем, не могу жаловаться: был благодарен, слушался... Слушался, может быть, из расчета, но в этом строго винить нельзя; младенец сосет грудь и рассчитывает, как бы побольше молока... (*Входит Ягозин.*)

ЯВЛЕНИЕ IV

Подточин, Ягозин.

Ягозин. Вы уже здесь, Иван Иванович! Я думал, приду первым...

Подточин. Всегда следует приходить первым...

Ягозин. Почему так?

Подточин (*наставительно*). А потому, чтобы каждый и во всех случаях мог видеть ваше усердие. Оно еще нужнее теперь, после того как приехал брат графа. Он человек... человек... прекрасный... но... но умный...

Ягозин. Он мне не нравится!

Подточин (*оглядываясь*). Эх! Сколько раз говорено: нельзя так решительно выражать свое мнение! Никого нельзя бранить... громко, конечно, и особенно тех, в ком можешь нуждаться! Ни одна мысль не сходится с мыслью другого; ваше мнение может не понравиться и как раз повредить вам. Хвалить — другое дело; хвалите сколько угодно! Верьте мне, только скромностью и смирением...

Ягозин. Достигаются цели...

Подточин. Вы сказали! С приездом графа вам надо быть осторожнее, если хотите прийти к желанному результату; кто же может лучше помочь вам? Умейте только подойти, умейте понравиться... Вы ужасно самонадеянны; мне все кажется: не высоко ли вы взяли...

Ягозин. Желал бы я знать, чем Кирсановы выше Ягозиных?! У нее ничего нет, — у меня больше. Вот разве со стороны связей...

Подточин. Шутку сказали: связи! В этом все дело! Вас станут поддерживать, введут в общество, — карьера готова. Но тут еще вопрос: будет ли она согласна? Со стороны графа и графини я уже несколько подготовил... Но повторяю: имеете ли повод думать о ее согласии? Теперь замуж силой не выдают! Вы знаете, она горда, своенравна... к тому же до меня дошли слухи: тут часто вертится этот Липецкий...

Ягозин. Мне даже говорили: он провожает ее рано утром, когда она навещает бедных; он ее компрометирует...

Подточин. Да, отчасти...

Ягозин (*долгим испытующим взглядом поглядывая на Подточина*). Ну, а если б она... Если б... Она в самом деле была компрометирована?..

Подточин (*обмениваясь с Ягозиным таким же взглядом*). ... Ну, это... это уж ваше дело... (*Лакей, выходя из парадной двери.*)

Лакей. Господин Ягозин, вас молодой граф к себе просит...

Ягозин. Скажите: сию минуту. (*Лакей уходит.*)

Подточину.) Право, не знаю, что делать с этим идиотом; совсем размягчился...

Подточин. Опять!.. Нельзя ли придержать язык; он ваш приятель...

Ягозин. Это не мешает ему быть идиотом... Сейчас вернусь, Иван Иванович; я сегодня дежурный *(Уходит.)*

Подточин *(проводжая его глазами)*. Молод, но умен; будь только поосторожнее, — далеко бы пошел! *(Входит граф Ф. А.)*

ЯВЛЕНИЕ V

Подточин, граф Ф. А.

Граф Ф. А. А! господин Подточин! Не ожидал такой ранней встречи.

Подточин. С моей стороны, ваше сиятельство, я... поверьте...

Граф Ф. А. С меня довольно было прожить здесь неделю, чтобы оценить вашу деятельность... Уже одна мысль о всеобщем, всестороннем распространении благотворительности...

Подточин *(почтительно)*. Мысль принадлежит его сиятельству, братцу вашему; я только ее обработал! Пока еще это только проект; он должен будет обсуждаться в комитетах и заседаниях...

Граф Ф. А. Не говорите мне, пожалуйста, о комитетах и заседаниях; я сам служил когда-то и знаю им цену; несколько человек, которые лично заинтересованы, несколько человек, которые притворяются, что интересуются делом, — остальные скучают до зубной боли. Все делает обыкновенно один человек, и успех всякого дела есть результат его личного усилия. Я очень хорошо знаю: вы одни все сделали...

Подточин. Я столько обязан графу и графине...

Граф Ф. А. Полноте, господин Подточин! Всем известна ваша скромность! Я нахожу, что брат и сестра вам многим обязаны и оба, по своему положению, могли бы сделать для вас несравненно больше... *(Подточин разводит руками и грустно улыбается.)* Вы молчите, — я вас понимаю... Мы вообще равнодушны и холодны к заслугам, настолько же, — насколько горячи и решительны в приговорах и осуждениях! Пример у вас перед глазами! На второй день

моего приезда брат показывает мне проект для здания будущего учреждения о всеобщем распространении благотворительности; не разобрав еще дела, я сейчас же, по первому пункту, вступил в горячий спор, напал на него и на вас...

Подточин. На меня?! За что же? Чем я заслужил...

Граф Ф. А. Да, напал, — и как еще! Но обсудил — и вижу: действительно, вы правы: главное помещение в здании несомненно должно быть отведено директору. Это кажется странным только с первого взгляда; но надо вникнуть: что главное в каждом общественном учреждении? — Порядок! — На ком ответственность за порядок? Кто за него отвечает? — Директор! — За ним служащие, — следовательно канцелярия... *(Входит лакей.)*

Лакей. Иван Иванович, — его сиятельство вас просит.

Подточин *(графу Ф. А.)*. Извините, ваше сиятельство...

Граф Ф. А. Прошу вас; служба прежде всего. *(Подточин кланяется и уходит; в эту самую минуту из половины Кирсанова показывается Ягозин.)* А, господин Ягозин!..

ЯВЛЕНИЕ VI

Граф Ф. А., Ягозин.

Ягозин *(низко кланяясь)*. Ваше сиятельство...

Граф Ф. А. Вы, кажется, от племянника? Что он поделывает?

Ягозин. Сейчас только что вышел от него Альфред.

Граф Ф. А. Альфред? Кто это?

Ягозин. Его куафер.

Граф Ф. А. Коко парик себе заказывает?

Ягозин. Нет, Альфред приходит его причесывать.

Граф Ф. А. Причесывать! Помилуйте, у Коко едва ли восемнадцать волос на всей голове!

Ягозин. Альфред является больше по привычке... Для того больше, чтобы рассказывать забавные анекдоты... Впрочем, теперь у Николая Борисовича мадам Биби...

Граф Ф. А. Это что еще?

Ягозин. Старая француженка; она приходит по утрам обтачивать ему ногти на руках... Также, впрочем, больше для рассказов... Так многие теперь делают, — кому, конечно, средства позволяют; тем, у кого их нет, приходится трудиться, бороться за существование...

Граф Ф. А. Скажите лучше: бороться за наслаждения...

Ягозин. Прежде чем наслаждаться, ваше сиятельство, надо упрочить свое положение; главное: найти для этого способ; не всем дано счастье, как, например, Ивану Ивановичу...

Граф Ф. А. Прежде всего, думаю, надо иметь ум! Известную также долю ловкости, хитрости, проницательности.

Ягозин (*оживленно*). О! в этом отношении Иван Иваныч!.. (*Внезапно останавливаясь*.) Простите, у меня невольно сорвалось с языка... Я хотел сказать: Иван Иваныч пошел бы еще дальше, если б, при его уме, у него было бы больше... как бы выразиться... больше такту... Получив образование в семинарии...

Граф Ф. А. В семинарии?.. Я не знал этого...

Ягозин. Как же, помилуйте!.. Я отлично знаю, как он начал, где служил, как потом занялся благотворительностью...

Граф Ф. А. Скажите, пожалуйста! Я до сих пор думал, вы воспитывались с ним в одной школе, — в разное время, конечно, — он на пятнадцать лет старше вас; я думал даже, вы несколько сродни...

Ягозин. Я? Помилуйте, ваше сиятельство! Наша фамилия довольно известна...

Граф Ф. А. Да, я знаю; Ягозиных много...

Ягозин. Мы, собственно, калужские; есть другие Ягозины, — те костромские... Есть еще Ягозины... те уж не знаю откуда... Между мной и господином Подточиным общего только служба. Не могу скрыть: я ему некоторым образом обязан; он представил меня графу... Он вообще прекрасный человек, хотя... хотя в принципе я ему не сочувствую. Он это хорошо знает... С некоторых пор заметно от меня сторонится.

Граф Ф. А. Завидует, вероятно, вашим способностям...

Ягозин. Кто его знает! Человек скрытный и самолюбивый... С этой стороны я был всегда с ним осторожен; всегда во всем отдавал ему преимущество; на службе всегда так: как только начальнику покажется, что подчиненный способнее его, — ищи себе занятий в другом месте... *(Два курьера вносят столик, на котором закрыта группа.)*

Курьер *(Ягозину)*. От художника Бабкова... Куда прикажете?

Ягозин. Ставьте сюда... *(Указывая налево от парадной двери; курьеры уходят.)*

Граф Ф. А. Я забыл; у вас сегодня приемный день... Прощайте! *(Уходит.)*

Ягозин *(проводя его с поклонами)*. Имею честь, ваше сиятельство... *(В парадных дверях сталкивается с Бабковым.)*

ЯВЛЕНИЕ VII

Ягозин, Бабков.

Бабков *(развязно)*. Как здоровеньки, батенька? Давно не видались! Хороши вы, однако ж! Был три раза в вашей канцелярии и никого не застал...

Ягозин. Напрасно жалуетесь... Теперь у нас очень хорошо...

Бабков. Ну уж хорошо; нечего сказать!

Ягозин. Вы бы летом пришли...

Бабков. А что?

Ягозин. Тогда решительно никого не бывает!.. Вы явились показать графу вашу работу?

Бабков. Да, батенька; поддержите...

Ягозин. Ну, конечно... А я забыл вас поздравить! Вы получили, говорят, отличное место: тысячу пятьсот жалования и квартиру... Вероятно, приметесь теперь за работу, удивите нас какой-нибудь статуей...

Бабков. Чего-с? Ну, нет, батенька, благодарю покорно! Теперь могу, кажется, ничего не делать!.. *(В парадной двери показывается купец Севрюгин; Ягозин бежит ему навстречу и выводит его на авансцену; Бабков отходит к столу, на котором его группа.)*

ЯВЛЕНИЕ VIII

Ягозин, Севрюгин, Бабков (у стола).

Ягозин. Вы зачем?

Севрюгин. Хочу графу жаловаться...

Ягозин. На меня?

Севрюгин. А то на кого же?

Ягозин (*оглядываясь на все стороны*). Полноте; что вы?.. Я вам сказал: к новому году все отдам! Все до последней копейки!..

Севрюгин. Второй год так водите; когда ни приду, — все нет да нет! За вами не угоняешься... Очень уж надоело!.. Пожалуюсь, — авось отдадите... (*В дверях показывается депутация из шести лиц; Ягозин поспешно идет к ним навстречу. Севрюгин отходит к двери, ведущей в буфет.*)

ЯВЛЕНИЕ IX

Члены депутации, Ягозин, Севрюгин, Бабков (у стола), дама в трауре.

Ягозин (*депутации*). Сюда, господа, сюда... (*Ставит вошедших лиц по соседству с Севрюгиным.*) Сюда пожалуйте... Как прикажете записать?..

1-й депутат. Депутация из Москвы...

Ягозин (*записывая*). Сию минуту доложу... (*Уходит к графу. Из парадной двери выходит дама в трауре с просьбой в руке. Она робко подает просьбу Бабкову.*)

Бабков. Ошибаетесь, сударыня; не ко мне.

Дама в трауре. Ах, извините...

Бабков. Ничего, помилуйте... Это бывает! (*Дама отходит к депутации. Дверь из кабинета графа раскрывается; из нее выходят: граф, Подточин и Ягозин. Присутствующие выпрямляются и кланяются.*)

ЯВЛЕНИЕ X

Присутствующие, граф, Подточин.

Граф. Здравствуйте, господа!..

Ягозин (*заходя с правого бока графа, указывает ему глазами на Севрюгина и вполголоса*). Тот самый

купец, ваше сиятельство, о котором я сейчас вам докладывал... Очень робок, не смеет просить вас...

Граф (*Ягозину*). Напрасно; таких людей я уважаю; всегда рад... (*Подходит к Севрюгину, который низко кланяется.*) Благодарю, мой милый... я всегда рад... Принимаю с удовольствием вашу хлеб-соль и в среду непременно буду у вас... (*Севрюгин, озадаченный, хочет что-то сказать, но граф отходит к депутации. Ягозин, проходя мимо Севрюгина, говорит ему быстро и вполголоса.*)

Ягозин. Что, взяли... В другой раз завтраком в приюте не отделаетесь... закачу вам обед в тысячу! (*Быстро идет за графом. Севрюгин, пораженный, скрывается за депутацией и прокрадывается в парадную дверь.*)

Граф (*к депутатам*). Из Москвы?..

1-й депутат. Так точно, ваше сиятельство... Имеем честь представиться... Депутация от общества призрения сирот... Сирот китоловов, погибших на мурманском берегу... Просим, ваше сиятельство, сделать честь обществу, принять его под ваше покровительство...

2-й депутат (*шепотом за спиной 1-го депутата*). И председательство...

1-й депутат (*спохватившись*). И председательство...

Граф. Очень рад, господа! Прекрасная мысль! Всегда сочувствую всякому доброму, полезному делу... Давно общество основано?

1-й депутат. Основывается только, ваше сиятельство.

Граф. Прекрасно. Я только не понимаю, почему именно в Москве? Не удобнее было бы где-нибудь подле моря... например, в Архангельске...

1-й депутат. В Москве, ваше сиятельство, предполагается только устройство центральной администрации. Оттуда уже...

Граф. А! Ну, это другое дело! Поблагодарите от меня Общество, господа! (*Все низко кланяются.*) Передайте, что я со своей стороны готов, всегда готов содействовать всякому доброму и полезному делу... (*1-й депутат подносит ему тетрадку.*) Что это?

1-й депутат. Устав, ваше сиятельство.

Граф. Прекрасно! (*Обращаясь к Ягозину.*) Стрекозин, примите... (*Депутация удаляется. Граф под-*

ходит к даме в трауре): Вам что угодно, сударыня?..

Дама в трауре. Я... Я... Ах, боже мой!.. Я... (заливается слезами).

Граф. Успокойтесь, сударыня...

Дама в трауре. Ах, что со мной... Я... Я... (слезы).

Граф. Прошу вас успокоиться; я сделаю все, что будет возможно... Стрекозин, возьмите у дамы просьбу и потом мне передайте... Еще раз прошу вас, сударыня: успокойтесь... (Дама закрывает платком глаза, низко приседает и спешно уходит. Бабков, во время этой сцены, выдвинул с помощью курьеров свою группу и снял с нее покрывало. Граф, обращаясь к нему.) Здравствуйте, мой почтеннейший! Здравствуйте! Ваша работа?

Бабков. Так точно, ваше сиятельство.

Подточин (выдвигаясь из-за спины графа). Проект группы для поднесения княгине Можайской — председательнице общества для снабжения носовыми платками сирот, страдающих насморком...

Граф (рассматривая группу). Прекрасно! И мысль хороша: на якоре гнездо с птенцами и мать, подающая им червячка... Очень мило!.. Мне кажется только: не длинен ли носик у матери... Что вы скажете, Иван Иванович?

Подточин (вертя пальцами перед группой). Действительно... Как будто...

Бабков. Если что... то можно еще исправить...

Граф. О, нет, зачем, мой милый... (Ягозину, который юлит подле группы.) Вы хотите что-то сказать?..

Ягозин. Я хотел только заметить, ваше сиятельство... Вот тут... как будто...

Бабков. Что же вы находите?

Ягозин. Нет... я так... Вот, разве здесь можно бы... едва приметно... смягчить только...

Граф. Оставьте, господин художник сам знает, что надо исправить...

Бабков. Нет, отчего же, ваше сиятельство, пусть делают замечания; я всегда рад слушать правду-матку. Извините меня... я человек простой... никаких этих светских закрутас не знаю, — простой, — вот как лопоть ржаного хлеба, — но правду всегда люблю...

Граф. Я также люблю правду и правдивых лю-

дей!.. Еще раз благодарю вас... Прекрасно, мой милый, прекрасно... До свидания! (*Бабков уходит.*) (*Обращаясь к Ягозину.*) Можете идти... (*Ягозин мнет-ся на месте и ухмыляется.*) Что вы, мой милый?

Ягозин. Я потому, ваше сиятельство... Вам угодно было два раза назвать меня Стрекозиным.

Граф. Как так?

Ягозин. Моя фамилия: Ягозин!

Граф. Извините, пожалуйста... Это я в рассеянности... Отчего же вы меня тогда не остановили?

Ягозин. В данный момент не смел противоречить вашему сиятельству...

Граф. Ну, извините... Извините, пожалуйста!.. (*Ягозин кланяется и уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ XI

Граф, Подточин.

Граф (*проводя глазами Ягозина и обращаясь к Подточину*). Наивный молодой человек!..

Подточин. И нравственности прекрасной, ваше сиятельство...

Граф (*задумчиво*). Да, нравственность! Нравственность! Охо-хо!.. Кстати, скажите, Иван Иванович, вы обещали что-то придумать для сына... (*Входит графиня.*) А, вот и сестра!..

ЯВЛЕНИЕ XII

Граф, Подточин, графиня.

Графиня (*она в шляпке и в мантилье*). Ты не забыл, надеюсь, в шесть часов мы едем в Царское Село; я шла предупредить тебя...

Граф. Знаю, знаю... Но теперь еще и пяти нет. Иван Иванович только что собирался сообщить насчет Коко. Он что-то придумал.

Графиня. Иван Иванович всегда с хорошими вестями. (*Подточин низко кланяется.*) Сядем, однако ж...

Граф. Сядемте, дело серьезное, надо сесть. (*Все садятся.*) Признаюсь, всякий раз, когда касается сына, мною невольно овладевает беспокойство...

Графиня. Ты сам сказал: пора принять меры,

энергические меры, и действительно пора! С его именем, состоянием, заботами о нем, с его протекцией, — ничего из него не вышло! Учиться нигде не хотел, служить также. У него в голове только пустяки да кокотки.

Граф. Да... да! Не далее как вчера мне говорят: он занемог; отправляюсь к нему, подхожу к постели, — думаю: спит. Осторожно нагибаюсь, целую — и что ж? Поцеловал подушки! Он искусно положил их вместо себя, а сам, — как я узнал, — сутки домой не возвращался...

Графиня (*строго*). Assez, mon frère!..¹

Подточин. Молод еще, ваше сиятельство, — молод! В этом вся причина, — смею вас уверить! Молодому человеку всего важнее занятие, которое было бы ему сочувственно...

Граф. Мы все испробовали... и все-таки...

Графиня (*перебивая*). Дай же сказать Ивану Иванычу.

Подточин (*продолжая*). Такое именно занятие нашел я для молодого графа...

Граф. Весьма интересно... Я сам прежде думал...

Графиня (*досадливо*). Ты все перебиваешь; дай же сказать! Говорите, Иван Иваныч.

Подточин (*графу*). Изволите ли видеть: зная, как дороги для вас интересы отечества, я старался соединить их с интересами молодого графа. Изволите ли видеть, ваше сиятельство: с тех пор, как Кавказ стал нашим, там постоянно открываются неисчислимы богатства; в числе таковых обращают на себя внимание обширные леса пробкового дерева. Они тем более драгоценны в стране виноделия, что главное препятствие для вывоза кавказского вина (*граф прикладывает левую ладонь к уху в виде трубы*) заключается в недостатке пробки; отрасль пробочного производства совершенно неизвестна на Кавказе; приходится выписывать из-за границы... Крайне полезно было бы, для начала, командировать доверенное лицо сначала на юг Франции, специально с целью изучения на месте производства пробки... Затем командировать такое лицо на Кавказ, собственно уже для водворения там столь полезной отрасли...

Граф (*удивленно*). И вы думаете послать сына?

¹ Достаточно, брат мой!.. (*фр.*)

Подточин. Почему же нет, ваше сиятельство?..

Графиня. Удалить его на время было бы недурно; но одного отпустить, — особенно за границу, — невозможно...

Подточин. Можно найти такое лицо, ваше сиятельство...

Граф. И вы полагаете, он будет способен, принесет пользу?..

Подточин. Несомненно, ваше сиятельство! Молодому графу будут даны всевозможные инструкции и указания... Наконец, дело не в этом... Я убежден: поездка крайне будет полезна молодому графу: теплый, благоуханный климат, перемена воздуха...

Графиня. Мысль не дурна, *(брату)* что ты на это скажешь?

Граф *(рассеянно)*. По-моему, тоже... Действительно, куда у нас ни помотришь, — везде непочатый край богатства! Тот грек... как бишь его?.. Забыл его имя! — правду сказал: стоит у нас плюнуть на землю — сейчас вырастет пальма!.. Мне приходит, однако ж, на мысль: не повредит ли такое назначение, — если оно состоится, — не повредит ли оно другому кому-нибудь... Другой, может быть, был бы полезнее сына.

Подточин *(находчиво)*. Другого можно будет тогда послать на Кавказ, уже, так сказать, для водворения производства на месте!..

Граф. Спасибо, Иван Иваныч, спасибо! Мы об этом еще поговорим... Я все еще под впечатлением этих наших природных богатств... Вы говорите, леса эти обширны?..

Графиня *(смотря на часы)*. Assez, mon frère... Пора ехать... *(Вставая.)* Прощайте, Иван Иваныч...

Граф *(вставая)*. Прощайте!.. Надеюсь, до завтра... *(Уходит с графиней на парадную лестницу. Подточин, проводив их до двери, возвращается назад.)*

ЯВЛЕНИЕ XIII

Подточин (один).

Предложение, очевидно, понравилось!.. Что ж, надо потешить! Они для меня старались, — я также, кажется... Положим, для себя, собственно... Но не все

ли равно: выходило как бы для них, и они были довольны! Конечно, их удивит, когда узнают, что я, секретно от них, выхлопотал себе назначение из другого ведомства; удивит также, что я вдруг их оставляю... Но позвольте: возможно ли предупреждать в данном случае? Всякий себя бережет. На них нельзя положиться: люди балованные, непостоянные... Теперь у них благотворительность, там опять что-нибудь... *(Пауза.)* Главная причина: приезжий этот граф. Без него я, может быть, еще бы повременил; при нем, — нечего и думать! Хорошо еще, я догадался... *(Пауза.)* До поры до времени следует только выждать, не показывать виду. Займусь как ни в чем не бывало сегодняшним предложением; поручу достать книжки о пробочном производстве, дам их перевести на русский язык... Графчик, разумеется, читать не станет... Другие тоже, я думаю, не заглянут; но это и не требуется! Была бы в руках записка составлена, — и доклад написан!.. Доклад главное! Не первый раз так дело делается!!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Та же декорация.

С правой стороны от зрителя — длинный стол, покрытый зеленым сукном; на нем разложены вокруг листы бумаги; в середине чернильница и колокольчик. Стол со всех сторон окружен стульями.

ЯВЛЕНИЕ I

Подточин и Ягозин (выходят из парадной двери. За ними курьер; последний останавливается в дверях).

Подточин *(курьеру)*. Доложи обо мне графу. *(Курьер уходит в кабинет графа.)* *(Обращаясь к Ягозину.)* Вы думаете, брат графа принял должность председателя ревизионной комиссии единственно с тем, чтобы иметь предлог отказаться от сегодняшнего заседания?..

Ягозин. Да, конечно... Зная, что вы председательствуете, — он из гордости не захотел в нем участвовать... Он вообще вдруг как-то переменялся...

Подточин (*озабоченно*). Да, да, — переменялся... Советую быть осторожнее... (*Курьер выходит от графа.*)

Курьер. Вас граф просит. (*Подточин уходит к графу; курьер уходит в парадную дверь.*)

ЯВЛЕНИЕ II

Ягозин (один).

Вчера, например, я вспылел и толкнул курьера; он вошел, увидел и говорит: «Вы, — говорит, — преждевременно дерзки; подождали бы, когда вас произведут в генералы!» Я смолчал, но подумал: лучше извинюсь, и говорю: погорячился, ваше сиятельство, — мы все, Ягозины, — наша калужская отрасль, — все вспылчивы; это один из наших существенных недостатков! Боялся повредить себе, конечно, только ради его племянницы... Придет время, думаю, он меня поддержит... Во всем этом меня, главным образом, одно беспокоит: как сладить с Шилохвостовой; узнает, — все погибло!.. (*Досадливо.*) Надо же было затевать этот глупый роман! Тогда, впрочем, трудно было сделать иначе: в то время как Иван Иваныч хлопотал с одной стороны, она суетилась с другой, и, надо сказать, я ей некоторым образом обязан... Вот теперь и расхлебывай! Какой-то писатель правду сказал: горе, когда любишь женщину и она тебя не любит, но во сто раз хуже, когда не любишь женщину, а она тебя обожает!! Батюшки, вот и она... Легка на помине... (*Идет к ней навстречу.*)

ЯВЛЕНИЕ III

Ягозин и Шилохвостова.

Шилохвостова (*оглядываясь и быстро подходя к Ягозину*). Анатолий... вы одни... Наконец-то!

Ягозин. Здравствуйте, Анна Семеновна...

Шилохвостова. Что, здравствуйте! Наконец-то можно с вами объясниться! Что это значит: вы теперь по целым дням глаз не кажете? Вчера обещали, я вас ждала, вы не пришли... Что вы хотите этим ска-

зять? Вы играете чувствами женщины, которая всем для вас пожертвовала...

Ягозин. Умоляю вас: успокойтесь...

Шилохвостова. Теперь, успокойтесь! Вы не говорили этого, когда, — помните! — в беседке, убеждали меня... Я... я тогда была чиста, как младенец...

Ягозин. У вас уже было двое детей...

Шилохвостова. Да, но я говорю о своем сердце; я никого не любила; вы очень хорошо знаете, я вышла замуж по недоразумению; я хотела выйти не иначе как за военного; родители уверили меня, что мой жених не чиновник, а сановник, и я решилась... Вы забыли ваши клятвы, забыли все, что тогда обещали...

Ягозин. Зачем вы все это говорите... Я сам в отчаянии... Клянусь, минуты не было свободной... Зачем же принимать так к сердцу...

Шилохвостова. У вас нет его, — вам легко говорить... Но поймите наконец, *(с увлечением)* — пойми, что я должна чувствовать! *(Оглядывается, припадает неожиданно головой к плечу Ягозина и произносит томным голосом:)* Анатолий, скажи мне, за что ты ко мне охладел?..

Ягозин *(испуганно оглядываясь на все стороны)*. Что вы делаете... Ради бога... Нас могут увидеть... Вы меня губите!..

Шилохвостова *(отскакивая и неожиданно переменяя тон)*. Я вас гублю... Вас! О! ни слова больше, — этим все сказано! Весь чудовищный эгоизм мужчины!! Но знайте, я женщина решительная, — я на все пойду...

Ягозин *(испуганный)*. Вы меня не поняли, — я не то хотел сказать... Вы очень хорошо знаете мои чувства... знаете, как я вам предан...

Шилохвостова *(смягчаясь и подходя к нему)*. И любишь?..

Ягозин. Конечно... Еще бы...

Шилохвостова *(с нежностью)*. О, милый, милый, прости мою горячность... Но такое уж у меня сердце!.. Ты прав, надо быть осторожней... Я тебя еще увижу сегодня во время заседания... Прощай; я только на минуту зайду к графине... Прощай! *(Уходит и останавливается.)* Анатолий!.. *(Ягозин оглядывается, она посылает ему поцелуй и быстро исчезает в дверь к графине.)*

ЯВЛЕНИЕ IV

Ягозин (один).

Извольте после этого иметь дело с женщинами! Ищешь поддержки, находишь бушующие страсти и, в конце концов, — перспективу испортить свое положение... (*Смотрит на часы.*) Остается еще полчаса до заседания... Пойду пока покурить... (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ V

Граф Ф. А., Кирсанов и Липецкий.

Граф Ф. А. Поверьте: все дело в петербургской скуке. Те, которые не служат и не играют в карты, поневоле должны к чему-нибудь прицепиться! Отсюда благотворительность с ее бесчисленными видами и проделками; отсюда борьба из-за самолюбия, желание выскочить в люди, заставить говорить о себе и т. д. — Вот хоть бы сегодняшнее заседание... Что это еще за общество?..

Кирсанов. Общество для распространения нравственных правил между ломовыми извозчиками...

Липецкий. Его выдумал Подточин для княгини Любич; ей хотелось дать какое-нибудь занятие и развлечь старшую дочь, тосковавшую после потери мужа...

Граф Ф. А. Черта истинного человеколюбия! (*Переменяя тон, Липецкому и Кирсанову.*) Но у нас времени немного; сейчас начнут собираться; помните же: за несколько минут до начала заседания, — мы исчезаем, спускаемся вниз и принимаемся за ревизию кассы... (*Входит Волованов и прямо идет к графу Ф. А.*)

ЯВЛЕНИЕ VI

Граф Ф. А., Кирсанов, Липецкий и Волованов.

Волованов. Наконец-то, граф, имею удовольствие... Захожу к вам три дня сряду и никогда не мог застать дома... (*Граф здоровается, Волованов жмет руки присутствующим.*)

Кирсанов (*тихо Липецкому*). Еще бы, дядя не велел его пускать...

Волованов (*продолжая*). Впрочем, Петербург такой уж город: никогда никого не застанешь!.. Липецкий, правду я говорю?.. Кстати: тебе передали мою карточку? (*Липецкий кивает головой.*) Тебя не было вчера на балете... (*Всматривается в панталоны Липецкого.*) Постой: немного узко в коленях... теперь носят шире... Вас, граф, также вчера не было... Очень жаль! Ашинька Карпова, как нарочно, была восхитительна... Она делает изумительные успехи! Какие пуэнты, какая элевация!.. Она в пантомиме превзойдет Цукки... Вот кому следует давать первые роли... Но везде интриги... Мой, j'ai...¹ упирал на это... Но ничего не поделаешь... Липецкий подтвердит это... Он также любитель балета...

Липецкий (*графу Ф. А. и Кирсанову*). Никогда не бываю!..

Волованов, увидав вошедшего господина N., — поспешно идет к нему.

Граф Ф. А. (*указывая глазами на удаляющегося Волованова*). Этот также благотворитель?

Липецкий и Кирсанов (*вместе*). Участвует во всех обществах...

Граф Ф. А. Господи, сколько в России лишних людей!.. (*Из парадной двери выходят несколько лиц мужского пола. Граф Ф. А., Кирсанов, Липецкий идут к ним навстречу и здороваются. Волованов подхватывает господина N. под руку и выводит на авансцену.*)

ЯВЛЕНИЕ VII

Господин N., Волованов, граф Ф. А., Кирсанов, Липецкий и вошедшие лица (в глубине сцены).

Волованов. Был у вас, но не застал дома... Спешил вас поздравить...

Господин N. (*желчно*). Что это, — вы в насмешку мне говорите?..

Волованов. Что вы? Помилуйте...

Господин N. Разве вы не знаете?..

¹ Я, именно я... (*фр.*)

Волованов. Ничего не знаю...

Господин Н. Мне следовало получить сюда (*показывает на шею*), — и получил... сюда... (*указывая на обшлаг*). Говорят, по ошибке... Но такие ошибки только у нас случаются... (*Припадая к уху Волованова и понижая голос.*) Да-с, — батюшка, — да-с! вот отчего революции-то происходят в государствах! Да-с!! (*Отходит к группе графа Ф. А., Кирсанова и Липецкого, которые приближаются к авансцене. Волованов подходит к вошедшим лицам, которые размещаются вокруг стола.*)

Граф Ф. А. Но ведь теперь запрещено одному и тому же лицу занимать одновременно несколько мест...

Господин Н. Позвольте заметить: казенных! В частных обществах практикуется сплошь и рядом; не удастся получить награду в призрении нищих, сорвет в сиротском приюте.

Липецкий. Совершенно верно. Ягозин, мимо разных благотворительных учреждений, состоит еще членом в новом обществе страхования от ушибов.

Кирсанов. Принимает участие в совете газового освещения...

Господин Н. (*озлобленно*). Позвольте дополнить: не далее как в начале года получил награду в обществе пособия для сирот китоловов в Чуйкой губе.

Граф Ф. А. (*не замечая подходящего Волованова*). Это, однако ж, черт знает что такое!

Волованов (*неожиданно приближаясь*). Именно, черт знает что такое! (*Обращаясь к господину Н.*) О ком говорят?

Господин Н. О Ягозине.

Волованов. Славный малый! Правду я говорю? Какая деятельность!.. Директор общества для очищения русла Северной Двины от него в восторге...

Липецкий. Разве Ягозин там служит?

Волованов. Конечно. Отличное место; он сам говорит: тысяча пятьсот рублей жалования и положительно нечего делать... У него нет состояния; надо же ему жить...

Граф Ф. А. Признаться, — не вижу в этом особенной надобности!

Волованов. Ха, ха, ха... Впрочем, я знаю Ягозину потому только, что иногда вместе завтракаем...

Кирсанов. Завтраки скрепляют дружбу.
Липецкий. Обеды ее поддерживают.
Граф Ф. А. Ужины окончательно сводят людей...
Спаржа вообще смягчает нравы... (*Входит княгиня
Лукоянова, за ней входит Ягозин.*) Ну, вот и княгиня!

ЯВЛЕНИЕ VIII

Те же, княгиня Лукоянова. При входе княгини все кланяются. Волованов бежит за стулом.

Княгиня Лукоянова. Здравствуйте... (*Графу
Ф. А.*) Здравствуйте... Заседание еще не начиналось?...
Отчего, скажите, у нас всегда все запаздывают?

Граф Ф. А. Оттого, вероятно, что у нас дни короче,
а дела больше, чем в других государствах...

Княгиня Лукоянова (*Волованову и Ягозину,
которые суетливо подставляют ей стулья*). Нет, благодарю,
я не устала! Сегодня мне счастье: сделала пять визитов
и никого не застала дома... (*Входит баронесса Фук.*)

ЯВЛЕНИЕ IX

Те же и баронесса.

Баронесса. Здравствуйте! (*Всем жмет руку.*)
Представьте мое несчастье: сделала три визита, и, как
нарочно, — все были дома!..

Граф Ф. А. Искренность светских отношений...

Княгиня Лукоянова. У нас нельзя без колкого замечания...
Хорош, однако ж: обещал быть в среду и не приехал.

Баронесса. Мне оставил только карточку...
Надеюсь, однако ж, встретить вас вечером у Пузыревых...

Княгиня Лукоянова (*баронессе*). Разве вы у них бываете?
Вы ведь их не любите.

Баронесса. Если видеть только тех, кого любишь,
— пришлось бы жить отшельницей... (*Выходит Подточин.*)

ЯВЛЕНИЕ X

Те же и Подточин.

Княгиня Лукоянова (*обращаясь к Подточину*). Иван Иваныч. (*Подточин спешит к княгине, раскланиваясь на все стороны присутствующим.*) Надо сказать вам несколько слов. (*Встает и отходит с Подточиным.* Баронесса, увидав входящую Шилохвостову, — идет к ней навстречу. Граф Ф. А., Липецкий и Кирсанов, обменявшись взглядами, — незаметно уходят.)

ЯВЛЕНИЕ XI

Те же (кроме графа Ф. А., Кирсанова и Липецкого), Шилохвостова. За нею входят еще несколько лиц.

Княгиня Лукоянова (*Подточину*). Видите: приехала! Но зато вы должны исполнить мою просьбу...

Подточин (*подобострастно*). Приказывайте, княгиня... Душевно рад...

Княгиня Лукоянова. Душевно или нет, все равно, только сделайте... После смерти моего повара — остались две девочки... Надо их определить...

Подточин. Все, что вам будет угодно... (*Отходит с графиней к столу, вокруг которого собралось уже много лиц.*)

Баронесса (*выходя с Шилохвостовой на авансцену с противоположной стороны*). Грех, конечно, радоваться чужому горю, но не хочу скрывать: то, что вы сообщили, меня радует! Графиня Павлинова держится так надменно, так неприступно! Эта история с ее племянницей убавит ей спеси... Жалею девушку, но радуюсь за тетку... Но сами вы, — сами не видели этого?..

Шилохвостова. Нет, но другие видели... (*Таинственно.*) Рано утром, когда весь город еще спит, в глухом квартале, встретили ее... с кем бы вы думали? — с Липецким...

Волованов (*подходя*). Извините, что прерываю вашу милую беседу... Но я хотел сообщить вам новость...

Баронесса. Мы только что о ней говорили... Мне сейчас сообщила Софья Семеновна...

Шилохвостова. Не я, нет... Я только передавала то, что слышала...

Баронесса (*Волованову таинственно*). Молодая девушка... с большими связями... Утром, на заре, прогуливается с одним молодым человеком...

Волованов. Позвольте... Позвольте... Действительно... Не далее как третьего дня, возвращаясь с ужина, часу в четвертом, я встретил в Морской женщину под вуалью... Она шла с молодым человеком...

Шилохвостова. Прибавьте: с вашим знакомым, не Липецким ли?

Волованов. Может быть, но в темноте разобрать было трудно... (*У стола Подточин звонит; все усаживаются. Шилохвостова, баронесса и Волованов шепчутся с другими дамами, и Волованов, при начале заседания, тихонько крадется и исчезает в дверь на половину Кирсанова.*)

ЯВЛЕНИЕ XII

Присутствующие, кроме Волованова.

Подточин (*привстав*). Милостивые государыни, милостивые государи! Имея в виду, что теперь дни праздничные, каждому более или менее приятно отдохнуть от дел и потому собраться весьма трудно...

Голоса. Да... Да... Правда!.. Весьма трудно!..

Подточин. По тому самому я хотел начать с предложения: ускорить, насколько возможно, нынешнее заседание...

Голоса. Прекрасно... Превосходно! — лучше нельзя придумать!

Подточин. Вам известно, что дела общества, которого мы имеем честь быть членами, — хотя и находятся в благоприятных условиях, — но все-таки не настолько, как бы это было желательно... Вы убедитесь в этом из годового отчета, который сейчас прочтет наш сочлен и секретарь Анатолий Федорович Ягозин. (*Ягозин встает с толстой тетрадью в руках.*) Отчет этот, должен вас предупредить, довольно длинен...

Голоса. Не надо отчета... Мы верим! Продолжайте, пожалуйста!.. Предложение!!

Подточин (*звонит*). Предложение заключается в следующем: многолетняя опытность приводит к убеждению, — что лучший способ привлекать великодушных жертвователей для благотворительных целей, — заключается в том, чтобы сам жертвователь был чем-нибудь лично заинтересован. В настоящем случае крайне было бы полезно дозволить раздавать красивые золотые, — даже просто золоченые жетоны или значки, которые можно бы, если не носить в петлице, — о чем можно пожалеть! — то прицеплять их к часовой цепочке; на одной стороне жетона — имя жертвователя, на другой — какая-нибудь аллегория...

Господин Н. (*вставая*). Позвольте, однако ж... Желательно было бы обсудить...

Голоса. Нечего обсуждать... Мысль прекрасная...

Подточин (*звоня*). Позвольте докончить: я полагаю, никто не может сомневаться в пользе, которую помянутые жетоны могли бы принести обществу?

Голоса. Конечно!.. Несомненно!..

Подточин. Дело в том теперь, чтобы присутствующие господа члены согласились для первого опыта выпустить хотя бы триста таких значков и израсходовать на этот предмет известную сумму...

Голоса. Прекрасно! Bravo! Согласны! Согласны!..

Подточин. Еще одну секунду... Прошу вас: одну только... (*Делает знаки Ягозину, чтобы он подал ему журнал заседания.*) Предложение, с которым вам угодно было согласиться, уже включено в журнал сегодняшнего заседания... Остается только подписать его... Не угодно ли... (*Подает лист княгине Лукояновой.*) Не угодно ли начать, княгиня...

Княгиня Лукоянова (*подписывая*). Я желала бы воспользоваться свободной минутой, чтобы поговорить об одном деле, касающемся собственно моего общества...

Подточин (*любезничая*). Хотя это не совсем правильно, так как мы здесь по делу другого общества, но надеюсь, никто не будет против... Тем более, что наше дело почти кончено... К услугам вашим, княгиня... (*Некоторые из членов уходят.*)

Княгиня Лукоянова. Я хотела просить вас — прислать на мой праздник в Летнем саду детей из сиротского приюта; они мне нужны для тамболы и продажи... Прошу только самых хороших...

Подточин. С величайшим удовольствием; надо только знать, в какой именно день назначен ваш праздник...

Княгиня Лукоянова. Двадцать восьмого июля.

Шилохвостова. Я не понимаю, что это значит? Тут какое-то недоразумение... Не ошибаетесь ли вы, княгиня!..

Княгиня Лукоянова *(сухо)*. В чем?

Шилохвостова *(бойко)*. В том, что ваш праздник назначен двадцать восьмого числа...

Княгиня Лукоянова *(резко)*. Нет, не ошибаюсь!..

Шилохвостова *(вспыльчиво)*. Позвольте, — этот день мой, — и также в Летнем саду!

Княгиня Лукоянова. Не знаю, ваш ли это день, но он мой, и я никому его не уступлю!

Шилохвостова. У меня есть разрешение...

Княгиня Лукоянова. У меня также!..

Шилохвостова. Протекцией, вероятно...

Княгиня Лукоянова. А вы, верно, интригой!.. Вы и здесь, — я сейчас слышала, — не упустили случая... рассказать какую-то гадкую историю... *(Быстро уходит к графине. Остальные бессловесные члены уходят; Подточин идет за княгиней и возвращается.)*

ЯВЛЕНИЕ XIII

Те же, кроме княгини Лукояновой.

Шилохвостова *(в сильном волнении)*. Я... Ах, боже мой... Что это... Я... я.

Подточин *(подбегая к Шилохвостовой)*. Софья Семеновна... Умоляю вас: успокойтесь... Возьмите Таврический сад! Я вам все устрою... Соберу красивейших сирот... выхлопочу даровые хоры музыки...

Шилохвостова. Благодарю вас! Не желаю ва-

шего Таврического сада! Я вижу, здесь одни только несправедливости и мерзости!..

Ягозин (*в сторону*). Сатанинский темперамент! Извольте с ней сладить! (*К Ягозину подходит курьер и шепчет ему на ухо; Ягозин спешит к Подточину и отводит его в сторону.*) Иван Иваныч, два слова: (*тихо*) сейчас узнал: брат графа внизу ревизует кассу...

Подточин (*смущенный*). Как?.. Так вот он за чем отказался от заседания!.. (*Быстро удаляется.*)

ЯВЛЕНИЕ XIV

Те же, без Подточина.

Баронесса (*Шилохвостовой*). Софья Семеновна... Я не узнаю вас! Вы ли это?.. Где же твердость вашего характера... Стоит ли этого... Оставьте эту горячку... Пойдемте...

ЯВЛЕНИЕ XV

Графиня, княгиня Лукоянова, баронесса, Шилохвостова, Ягозин (у стола).

Графиня (*баронессе*). Прошу вас на два слова... Княгиня сейчас передала мне: вы сообщили ей какую-то историю насчет моей племянницы...

Баронесса. Весьма сожалею об этом... Вам засвидетельствует княгиня... Здесь многие рассказывали... Сама я несколько не верю... (*Входят граф Ф. А. и Кирсанов.*)

ЯВЛЕНИЕ XVI

Те же, граф Ф. А., Кирсанов.

Граф Ф. А. (*услышав последние слова баронессы*). Еще бы! Поверишь такой нелепости! Сейчас Волованов нарочно прибежал сообщить нам о том, что здесь рассказывали...

Княгиня Лукоянова. Он, вероятно, с добрым намерением...

Граф Ф. А. Вероятно, но не в этом дело! Дело в изобретателе клеветы, и мы его отыщем. (*Видя, что княгиня Лукоянова и баронесса собираются уйти.*) Прошу вас, погодите... Одну минуту... (*Баронессе.*) Волованов говорил нам: вы передали ему эту историю; откуда вы ее слышали?

Баронесса. Что это, допрос?

Граф Ф. А. Нет, только просьба... Вы сами, конечно, возмущены тем, что можно безнаказанно клеветать.

Баронесса. Еще бы... Но я нисколько этому не верю... Все это ничего больше, как сплетни...

Граф Ф. А. Поэтому-то мы убедительно просим вас сказать: от кого слышали вы эту историю...

Шилохвостова (*в сторону*). Ах, боже мой... ах... (*Подает знаки Ягозину, чтобы он подошел к ней; Ягозин делает вид, что ничего не замечает, и постепенно крадется к выходной двери.*)

Баронесса. Особа, которая рассказывала мне, — сама слышала... Она также ничему не верит...

Графиня, граф Ф. А., Кирсанов (*вместе*). Все равно... от нее мы узнаем дальше...

Баронесса. Мне рассказала это... Софья Семеновна...

Шилохвостова (*торопливо*). Я только повторяла... повторяла... Ах, что со мной?.. (*Отыскивая глазами Ягозина и шепотом.*) Анатолий... Федорович... Ах, боже мой... (*Ягозин у двери и готов исчезнуть, но Липецкий внезапно загоразживает ему дорогу.*)

ЯВЛЕНИЕ XVII

Те же и Липецкий.

Липецкий (*взволнованный. Дает знак Кирсанову, чтобы он не выпускал Ягозина.*) Извините меня, графиня, и вы, граф... (*Графу.*) Я не мог исполнить вашей просьбы, не мог дольше ждать... Я все вам объясню. Я главный виновник! Я дал повод этим гадким пересудам... Я сообщил племяннице графини, Марье Михайловне, о положении несчастной женщины с ребенком, взялся провожать ее, — это было всего раз...

Я, конечно, скрыл от Марьи Михайловны настоящую историю несчастной женщины, — она не была замужем! Обольститель бросил ее с ребенком без всякого сострадания; ее слезы, просьбы — все было напрасно...

Ягозин (*в сторону*). Что он говорит...

Графиня, княгиня и баронесса (*вместе*). Вы не узнали его имени?..

Липецкий (*смущенно*). Узнал...

Граф Ф. А. (*перебивая*). Я также знаю... Он здесь — это господин Ягозин!..

Шилохвостова (*растерявшись*). Как?.. Что?.. Анатолий!.. Мне дурно!.. Дурно!.. (*Внезапно оправляясь*.) Позвольте... Когда так... я все скажу (*указывая на Ягозина*), — вот кто первый распустил сплетню про вашу племянницу!..

Княгиня Лукоянова. Какие гадости!..

Графиня. И в моем доме!..

Баронесса. Вот не ожидала!..

} вместе.

Все три отходят. Княгиня Лукоянова и баронесса прощаются и удаляются.

ЯВЛЕНИЕ XVIII

Те же, кроме княгини Лукояновой и баронессы.

Граф Ф. А. (*быстро подходит к Ягозину*). Догадываюсь, что дало вам повод выдумать эту гнусную историю: повод еще гнуснее сплетни... Извольте выйти вон!..

Ягозин (*испуганно*). Позвольте объясниться...

Граф Ф. А. Вон! — без объяснений, — вон! говорю я вам!.. (*Ягозин уходит*.)

ЯВЛЕНИЕ XIX

Те же, без Ягозина.

Кирсанов. Я так не оставлю и с ним еще разделаюсь!..

Липецкий (*в сторону*). Я также...

Граф Ф. А. (*Кирсанову*). Оставь, с такими людьми не связываются; их только вон выталкивают!..

(Шилохвостовой.) Очень сожалею, госпожа Шилохвостова... Но вы понимаете, после того, что случилось...

Шилохвостова (окончательно растерявшись). Я, право, не знаю, что со мной... Я так расстроена... Так... Ах, боже мой... (Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ XX

Те же, кроме Шилохвостовой.

Граф Ф. А. (графине). Сестра, мне необходимо переговорить с тобой... Липецкий и Володя — оставьте нас! Бросьте эту глупую историю; надеюсь, все благополучно кончится... (Липецкий и Кирсанов удаляются.)

ЯВЛЕНИЕ XXI

Графиня, граф Ф. А.

Графиня (подходит к графу Ф. А. и раздраженно). Вот вам результаты вашей хваленой женской эмансипации! От утренней беготни на какие-то курсы недалеко до ранних прогулок и назначения свиданий...

Граф Ф. А. Как?! Ты обвиняешь племянницу?..

Графиня. Кого же, по-твоему? Эти только болтали! Но кто дал повод? Сколько ни старалась, — не могла вывести у нее мещанскую бестактность ее покойного отца! Нетрудно, казалось, было понять, что живет в доме графов Павлиновых...

Граф Ф. А. Тщеславие отложим в сторону: оно вредит пищеварению и мешает спокойно спать; прежде всего надо винить тех, кто принимал у себя в доме господ Ягозиных и им покровительствовал...

Графиня. И господ Липецких, которым ты покровительствуешь...

Граф Ф. А. (горячо). Господин Липецкий настолько же благородный и честный человек, — насколько Ягозин гадок и низок...

Графиня. Assez, mon frère...

Граф Ф. А. Нет, позволь, дай досказать: Ягозина вам преподнес господин Подточин...

Графиня (*перебивая*). Он в нем обманулся; все хорошие люди обманываются; он будет глубоко огорчен, когда узнает... Надо скорей предупредить его, чтобы он не проговорился брату; ты, со своей стороны, предупреди Володю... И сам как-нибудь...

Граф Ф. А. Нет уж извини, я этого не сделаю! Нам нечего здесь задаваться светской практикой: говорить то, чего не думаешь, и притворяться безусловно верующим, когда лгут другие... Будем говорить начистоту! Твоя метода скрывать от брата малейшую неприятность под предлогом, что то его огорчит, это его расстроит, — ничего больше, как обман, и если б ты не была его сестрой, — можно было бы приписать тебе лукавую цель. Благодаря такой милой методе, брат сидит по горло в неведении счастливом, ослеп к правде, превратился в какого-то младенца, в блаженного, способного довериться любому прохожимцу...

Графиня. Это еще что такое?..

Граф Ф. А. А то, что я намерен сейчас же открыть ему глаза... и тебе также. (*Входит граф.*)

ЯВЛЕНИЕ XXII

Графиня, граф Ф. А., граф.

Граф (*в самом благодушном настроении*). Ба! — брат и сестра! Опять о чем-нибудь спорят.

Графиня (*быстро подходя к нему*). Нет... так... я спешила предложить тебе прокатиться. Карета готова.

Граф. Что ж... очень рад.

Граф Ф. А. Я спешил к тебе с другим предложением: уделить мне несколько минут и выслушать.

Граф. Что ж, и этому рад.

Графиня. Да нет же, нет!.. Успеешь в другое время.

Граф Ф. А. Нет, дело спешное и более важное, чем прогулка... Сядьте на минуту. Мне необходимо поговорить с вами насчет Подточина.

Граф (*садясь*). Очень рад, — прекрасный человек!

Графиня (*садясь*). Превосходный!

Граф Ф. А. Он вас обоих обманывает!!

Граф и графиня (*вместе*). Что?.. Как?!

Граф Ф. А. Берусь вам это доказать.

Графиня (*вставая*). Обидно даже слушать.

Граф (*приподымаясь*). Мне также.

Граф Ф. А. А если я докажу вам сейчас, здесь, не сходя с места, — и докажу самым очевидным образом, что вы оба обмануты.

Граф (*опускаясь в кресло*). Я и тогда не поверю!

Графиня (*садясь снова*). Любопытно, как ты это докажешь.

Граф Ф. А. Сейчас. (*Графу.*) Скажи мне: сколько у тебя собрано денег для нового твоего центрального учреждения и т. д.; ты сказывал, помнится, девяносто тысяч...

Граф (*указывая сестре на графа Ф. А. и посмеиваясь*). Сестра, каков! Наш-то философ, а? О деньгах заговорил. А?

Граф Ф. А. Философ сколько тебе угодно, но во всяком случае не из тех, с кем делается дурно от счастья, когда их производят в статские советники!.. Скажи-ка лучше, сколько собрано денег: девяносто тысяч?..

Граф. Да.

Граф Ф. А. И все эти деньги налицо здесь у тебя в кассе?

Граф. Что за вопрос? Разумеется...

Граф Ф. А. Отчего же между ними недостает двадцати семи тысяч? Куда они делись?

Граф. Не может быть!

Графиня. Такие подозрения даже оскорбительны.

Граф Ф. А. Дело не в подозрении, а в факте! Не далее как четверть часа тому назад, в то время как здесь происходило заседание, я обревизовал кассу в присутствии Володи и Липецкого...

Граф (*вспыльчиво*). По какому же праву?

Граф Ф. А. По тому праву, что в общем собрании, согласно твоему же предложению, нас единогласно выбрали членами ревизионной комиссии... (*Входит курьер.*)

Курьер. Господин Подточин...

Граф Ф. А. Как нельзя кстати!.. Справьтесь у него... Я пока здесь лишний. (*Уходит.*)

Граф (*курьеру*). Проси! (*Курьер уходит; обращаясь к графине.*) Я не могу прийти в себя...

Графиня. Не волнуйся... Тебе это вредно... Все это пустяки. (*Входит Подточин.*)

ЯВЛЕНИЕ XXIII

Граф, графиня, Подточин (у него убитый вид).

Подточин. Простите, ваше сиятельство, что я в такой час беспокою... Но я испытал сегодня оскорбление, которое... После которого считаю себя недостойным служить у вас...

Граф. Что такое?.. Что с вами?

Графиня. Какое оскорбление?.. Садитесь, пожалуйста, Иван Иванович...

Подточин (*сохраняя придавленную позу*). Граф, братец ваш, не сказав мне слова, совершенно неожиданно обревизовал кассу... Такое недоверие... Но я не столько о себе... Главное дело в том, что все это произошло прежде, чем я успел предупредить вас... Но мог ли я это сделать?! Зная, с одной стороны, как глубоко изволите вы принимать к сердцу все, что касается нового благотворительного вашего учреждения; охраняя, с другой стороны, спокойствие ваше, легко ли мне было решиться огорчить вас известием, что из девяноста тысяч часть уже израсходована...

Граф. Как же это так?!

Графиня. Так это правда?

Подточин. Правда, ваше сиятельство! Преданность увлекла меня!.. С каждым днем я откладывал доложить графу... ждал удобного случая... Теперь вдруг все открылось...

Графиня. Брат говорил: недостает двадцати семи тысяч...

Подточин. Совершенно так, ваше сиятельство! Но с этим сейчас же сложилась мысль о злоупотреблении — и вот в чем собственно оскорбление! Все между тем объясняется просто, самым ходом дела. (*Графу.*) Извольте вспомнить: как только образовался капитал

в девяносто тысяч, в заседании, которым вы лично изволили руководить, выбрана была сначала совещательная комиссия, потом, тут же, выбран был наблюдательный комитет из шести членов: секретаря и его помощника, бухгалтера и его помощника, кассира и его помощника, письмоводителя и также его помощника... Многие из них были люди труда, семейные и без средств...

Граф. Помню... У одного из них было трое детей.

Подточин. Шестеро, ваше сиятельство, шестеро! Снисходя к их положению, вам, в великодушии вашем, угодно было предложить собранию назначить им содержание... Образовалась, таким образом, маленькая канцелярия... Сейчас же пошли расходы, — это неизбежно: потребовались письменные принадлежности, приходо-расходные книги, столы, мебель всякого рода, лампы для вечерних заседаний... Потом наградные деньги... Прошел год, — и нет двадцати семи тысяч; долго ли?.. Преданный высокочеловеколюбивому учреждению, связанному с вашим именем, созданному вами, я, верьте мне, всегда рад служить ему... Но, воля ваша, после нанесенного сегодня оскорбления... прошу, ваше сиятельство, меня уволить...

Граф. Вас уволить! — ни за что на свете!.. Я вижу теперь ясно... ясно все вижу...

Графиня. Брат со свойственной ему горячностью увлекся по обыкновению... Он не думал оскорблять вас... Вы не должны на него сердиться, добрейший Иван Иванович.

Подточин. У меня и в мыслях этого не было! Братец ваш, без сомнения, имел самое благое намерение.

Граф (*умиленно*). Он же его оправдывает!!

Графиня. Мы никогда не сомневались в ваших чужвах, Иван Иванович...

Подточин. Благодарю вас, ваше сиятельство; вы облегчаете тяжесть моего удрученного сердца!.. Что же касается этих двадцати семи тысяч, — не извольте беспокоиться. Высокочеловеколюбивая мысль ваша так всем сочувственна, что стоит замолвить слово господам членам, деньги эти будут тотчас же пополнены. Наконец, я уже говорил с одним сибиряком; он обещал немедленно внести всю сумму.

Граф *(восторженно)*. И вы хотите, чтобы мы с вами расстались!! Нет! дорогой Иван Иванович, — нет!..

Графиня. Вашу руку, Иван Иванович!

Граф. А я хочу попросту, по нашему доброму русскому обычаю, обнять вас... *(Обнимает.)*

Графиня. Еще одно слово, Иван Иванович: вы не сердитесь на брата?

Подточин. Могу ли сохранять в душе чувство неприязни к тому, кто хоть сколько-нибудь вам близок... *(Целует руку графини и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XXIV

Граф, графиня.

Графиня. Вот что было наделал брат со своей неумеренной горячностью: чуть не лишил нас прекраснейшего человека!..

Граф. Именно, прекраснейшего!! Преданность и благородство! Благородство и преданность! *(Входит граф Ф. А.)*

ЯВЛЕНИЕ XXV

Те же, граф Ф. А.

Граф Ф. А. *(с живостью)*. Ну, что, убедились?

Графиня *(отходя в сторону)*. Стыдись, брат!..

Граф Ф. А. *(изумленный)*. Как?..

Граф. Не совестно ли тебе?

Граф Ф. А. Я вас не понимаю.

Граф. Чего понимать! Ты огорчил прекрасного человека.

Графиня. Мало того: ты оскорбил его...

Граф Ф. А. Я оскорбил его?..

Графиня. Да... И он на тебя даже не сердится! *(Уходит к себе.)*

Граф Ф. А. Какое великодушие!

Граф. Именно великодушие! Поди-ка, поищи другую такую личность! Это чистая душа! Ты в нем

обманулся... Да и во мне также: меня, брат, не так-то легко провести, как тебе кажется! (*Уходит на свою половину.*)

ЯВЛЕНИЕ XXVI

Граф Ф. А. (один).

Оно по всему видно!.. Ну, вот и отлично! Я же виноват остался! Делать нечего, — надо обратиться к сильным средствам... Заноза глубоко засела!.. Но благо кончик занозы у меня в руках, я крепче нажму и, надеюсь, — вытащу!..

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Та же декорация.

ЯВЛЕНИЕ I

Камердинер, Жигулев.

Камердинер (*осторожно вводя Жигулева из буфетной двери*). Пожалуйста... пожалуйста-с; у графа теперь никого нет... Сейчас доложу...

Жигулев. Благодарю вас... (*Дает ему assignацию.*) Позвольте...

Камердинер (*быстро запрятывая деньги*). Со всем напрасно изволите себя беспокоить... (*Входит граф Ф. А.*)

ЯВЛЕНИЕ II

Камердинер, Жигулев, граф Ф. А.

Камердинер (*смущенный*). Я... ваше сиятельство... Вот они... Им была надобность повидать графа...

Граф Ф. А. Отчего же не прямо по парадной лестнице?.. Что за таинственность!?! (*Строго взглянув на камердинера, обращается к Жигулеву.*) Позвольте узнать?..

Жигулев. Купец Жигулев...

Граф Ф. А. Как же, слышал... *(Камердинеру.)* Ступай!.. *(Камердинер уходит.)* Граф, которого вы желаете, не совсем здоров. Я родной его брат; можно передать мне все, что хотели ему сказать. Отчасти догадываюсь; вероятно, насчет пожертвованных вами денег?..

Жигулев. Так точно, ваше сиятельство... *(Таинственно.)* Есть, изволите ли видеть, один такой человек...

Граф Ф. А. Не стесняйтесь, пожалуйста; говорите прямо.

Жигулев. Даны, изволите ли видеть, деньги: десять тысяч... Мы хотя завсегда с великим нашим удовольствием... Но такой уговор был: от графа, в скором времени, выйдет награда... Теперича год этому будет; сумнение берет: нет ли тут какой фальши... потому такие сюжеты нам не впервые... Думается: может, самому графу об этом ничего неизвестно...

Граф Ф. А. Брат, действительно, ничего не знал; вчера только ему об этом передали; он приказал немедленно возвратить вам деньги.

Жигулев. Помилуйте, ваше сиятельство, — за что же так? Мне денег не жалко...

Граф Ф. А. *(перебивая).* Понятно! Я слышал, деньги не ваши, купца Пузова, у которого вы были душеприказчиком...

Жигулев. Все единственно; моя воля была давать или отказать... Я дал, мне было обещано... Все дело в проволочке... Очень уж это обидно...

Граф Ф. А. Как так?

Жигулев. Главная причина: время потеряно! То, что здесь было обещано, — давно можно было получить в другом месте...

Граф Ф. А. *(звонит, входит курьер, обращаясь к Жигулеву).* Очень сожалею. Деньги будут вам завтра возвращены; так угодно брату!.. *(Входит Мери.)* Извините, господин Жигулев; у меня теперь есть дело... *(Жигулев направляется к буфету.)* Не сюда; пройдите по парадной лестнице! *(Курьеру.)* Проводи господина Жигулева...

ЯВЛЕНИЕ III

Граф Ф. А., Мери.

Граф Ф. А. (*Мери*). Жаль, опоздала! Увидела бы образчик великодушного жертвователя! Но что с тобой? Глаза красные; ты плакала?.. Что случилось?..

Мери. Мне надо поговорить с тобой; ты всегда был ко мне и брату так добр. Ты на меня не рассердишься.

Граф Ф. А. Вот вопрос! Конечно, нет! И по двум причинам: во-первых, по убеждению, что ты, конечно, не можешь сделать ничего предосудительного, во-вторых, еще проще, потому, что люблю тебя. (*Целует ее, Мери обнимает его.*)

Мери. Потому только и решаюсь тебе высказать: брат и я — не можем больше оставаться в доме дяди и тетушки...

Граф Ф. А. (*перебивая*). Не далее как сегодня утром твой брат мне все это уже передал; он наймет квартиру, вы будете жить вместе; он служит и получает жалование, ты ему помогаешь, давая уроки... Последнее особенно похвально! Если б даже король Людовик-Филипп не давал уроков, я и тогда не видел бы в этом ничего предосудительного для племянницы графов Павлиновых; напротив, очень было бы хорошо внести труд в наши фамильные предания, столько веков прославленные неумением и ленью! Вообще, намерение ваше было бы очень мило, если б повод к нему: какая-то глупая сплетня и ворчливость старой тетки — не отзывались чем-то ребяческим! Я думал, вы оба больше благоразумны! Наконец, как бы ни ворчлива была тетка, вы выбрали неудобное время для вашего проекта... Вы должны бы понять, что она и без того огорчена теперь и встревожена...

Мери. Мне все еще не верилось... Так это правда? Коко исчез в самом деле?..

Граф Ф. А. Беды бы тут большой не было! Но он исчез с тем, чтобы жениться на какой-то танцовщице... И тут еще нечего было бы особенно сокрушаться, — везде есть хорошие женщины, — но женщина-то эта, говорят, ужасная дрянь!.. Вчера вечером прибежал Волованов и сообщил нам эту новость! Вчера и сегодня приняты были все меры, посланы всюду де-

пеши, предупреждена полиция. До сих пор еще неизвестно, в какую сторону он отправился...

Мери. Какое горе для дяди и тетушки!..

Граф Ф. А. Брат ничего еще не знает; но сестра действительно в горе; и вот почему вы должны отложить ваше решение...

Мери. Ты прав, дядя! Прости меня... Я поступила сгоряча и необдуманно. *(Входит Кирсанов.)* Но вот и брат; он что-нибудь узнал...

ЯВЛЕНИЕ IV

Граф Ф. А., Мери, Кирсанов.

Граф Ф. А. Что нового?

Кирсанов. До сих пор никаких известий...

Граф Ф. А. Где ты был целое утро? Я несколько раз заходил к тебе узнать также о результате наших посланий к господам членам нового благотворительного учреждения брата...

Кирсанов. Вчера еще все письма были разосланы; сегодня со всех сторон получены ответы; все точно сговорились: не только все отказываются принять участие в уплате двадцати семи тысяч, — но отказываются даже от членства...

Граф Ф. А. Да здравствует единодушие! Примите к сведению: когда требуется сделать проверку в искренности между словами и действием, — всегда обращайтесь к карману ближнего, — лучший пробный камень для такой операции! Убедительно прошу тебя и Мери собрать все эти ответы и беречь их до поры до времени... Вот еще что: напиши сейчас Липецкому, скажи, что он мне очень нужен...

Кирсанов. Я не видел его со дня заседания.

Мери. Не болен ли он?

Кирсанов. Нет, вечером в самый день заседания он на минуту заезжал к себе на квартиру, уложил в саквояж самые необходимые вещи и уехал; куда уехал, — никто не знает!

Мери. Уехал... Не сказав нам ни слова...

Граф Ф. А. С саквояжем далеко не уезжают.

Кирсанов. Я начинаю думать: не поехал ли он за Ягозиным, который, я узнал, взял в тот же день от-

пуск под каким-то предлогом, — и уехал! Липецкий так был возмущен этой сплетней, так кипятился...

Мери. Как же ты не уговорил его...

Кирсанов. Как же, уговоришь такую горячку! Тебе, впрочем, не о чем очень беспокоиться; он придерется к тому только, что Ягозин вмешал его в эту сплетню; ты, конечно, не будешь даже упомянута...

Мери (*взволнованно*). Что мне до этого!.. И не знать, где он!.. Куда телеграфировать... (*Графу Ф. А.*) Дядя, прости меня... ты видишь... видишь.

Граф Ф. А. Вижу, но прощать решительно нечего... (*Входит Липецкий.*)

Мери (*бросаясь к нему навстречу*). Липецкий!!

ЯВЛЕНИЕ V

Те же и Липецкий.

Липецкий (*бросаясь навстречу Мери, но внезапно останавливаясь*). Марья Михайловна!.. Извините, граф, — я так смущен...

Граф Ф. А. (*поспешно становясь между Мери и Липецким*). Здравствуйте... Где вы были?

Кирсанов. Я искал тебя везде... Откуда ты?

Липецкий. О, это целая одиссея... Сейчас расскажу... Расскажу, быть может, несколько несвязно... (*глядя на Мери*) я взволнован таким неожиданным счастьем... Но вы не взыщете... Прежде всего сообщу вам хорошую новость: я привез вашего племянника...

Граф Ф. А., Мери, Кирсанов (*вместе*). Коко?!

Липецкий. Да...

Граф Ф. А. Женатым?

Липецкий. Нет, к счастью, я поспел вовремя.

Граф Ф. А. протягивает руку Липецкому.

Мери и Кирсанов (*вместе*). Какая радость для дяди и тетушки!..

Граф Ф. А. Думаю... (*указывая на Липецкого*) и для него также... Рассказывайте, рассказывайте...

Липецкий. После того, что здесь случилось в день заседания, — я пошел искать Ягозина и нигде не

мог найти его; случайно встречаю его сослуживца, — старого моего товарища; от него узнаю: Ягозин наскоро выхлопотал отпуск и на другой же день с курьерским поездом уезжает по Николаевской железной дороге... Я туда. Смотрю: Ягозин взял уже билет и пробирается к платформе; десять минут спустя я усаживался в соседний вагон с тем, чтобы на первой же большой станции встретить Ягозина и с ним объясниться. Не понимаю, как это могло случиться, — но его на поезде уже не оказалось... я обежал вагоны всех классов, бросился искать на станции, — нигде нет, — он точно испарился...

К и р с а н о в. Он, верно, тебя приметил и догадался...

Л и п е ц к и й. Должно быть! Пока я бегал на станции, раздается третий звонок, — я на платформу, — уже поздно, поезд тронулся... Как быть?.. Отправляюсь ночевать в Новгород. Занимаю комнату. В гостинице давно уже все спит. В соседнем только номере за дверью идет оживленный разговор: ссорятся мужчина и женщина... Прислушиваюсь: знакомый голос... Подхожу к двери и говорю: «Господа, считаю долгом предупредить: здесь слышно каждое ваше слово...» — «Липецкий, вы?» — вскрикивает знакомый голос. — «Да», — говорю. Секунду спустя выбегает ваш племянник... Без всяких предварительных объяснений, объявляет он мне с отчаянием, что госпожа Фифи отказывается ехать с ним за десять верст в деревню, где все уже приготовлено для венчанья, требует, чтобы венчание происходило в городе, просит меня убедить ее, ведет меня к ней в номер... Избавляю вас от деталей... Не жалея, конечно, красок, я немедленно развернул перед ними ужасающую картину, — результат их побега: намерение их открыто, полиция предупреждена, телеграфы и телефоны в действии, — их везде ищут... Мамзель Фифи в слезы, посыпались упрёки. «Она никогда не намеревалась выходить замуж; он уговорил ее» и так далее... Он остался, как водится, кругом виноват! Кончилось тем, что утром, с первым поездом, мы втроем сели в вагон и благополучно вернулись в Петербург. Она поспешно отправилась домой, — я вместе с вашим племянником приехал сюда...

Г р а ф Ф. А. (*пожимая руки Липецкому*). Ну, спасибо, Липецкий, спасибо! Брат и сестра не менее меня

будут вам благодарны... Вы сами не подозреваете, какую услугу оказали вашим походом! Случись эта глупая женитьба, мне поневоле пришлось бы отложить на время намерение открыть глаза брату и сестре насчет Подточина, — вы развязали мне руки! Сегодня начну приступ и открою огонь из всех орудий!.. *(Кирсанову.)* Собери, как я тебе говорил, все ответы господ членов на наши письма... Остаься пока дома.... Липецкий, не уходите также; вы мне будете нужны. Теперь, пока, я с вами прощаюсь... До скорого свидания!.. *(Липецкий и Кирсанов уходят на половину последнего; Мери уходит на парадную лестницу. В то время как граф Ф. А. направляется к двери графини, — она выходит.)*

ЯВЛЕНИЕ VI

Граф Ф. А., графиня.

Графиня *(озабоченно)*. Нет ли каких известий?

Граф Ф. А. Самая лучшая новость: Коко нашелся, возвращен, сидит у себя в комнате...

Графиня. И не...

Граф Ф. А. Не успел увенчать своей глупости! И все это благодаря Липецкому, который отыскал его, уговорил, привез домой... Это сделал тот самый Липецкий, которого ты...

Графиня. Упреки?..

Граф Ф. А. Нет, свидетельствую только факт.

Графиня. Надо подумать, какие меры теперь принять против этого повесы... Так оставить нельзя... От него можно всего ожидать...

Граф Ф. А. Я пока радуюсь уже тому, что удалось спасти его от дурацкой женитьбы... Случись иначе, у меня, — как я сейчас говорил, — не достало бы духу сегодня выпотрошить перед вами вашего любимца Подточина...

Графиня. Вы-по-тро-шить! Откуда ты берешь свои выражения! Фи! Сохрани при себе твое желание; мы лучше тебя знаем Подточина...

Граф Ф. А. Без сомнения! Честнейший и преданнейший человек!..

Графиня. Конечно!.. *(Входит граф.)*

Т е ж е и г р а ф.

Г р а ф (*благодарушно улыбаясь*). Опять спорят! Когда же вы наконец уговоритесь?..

Г р а ф Ф. А. Мы не спорили, — напротив, — никогда не были так согласны; говорили о Подточине и я только что произнес: честнейший и преданнейший человек!

Г р а ф. Наконец-то убедился...

Г р а ф Ф. А. До такой степени убедился в чистоте нравственных чувств Подточина, что советовал бы вам водить его как можно чаще по вашим приютам для очищения в них воздуха!..

Г р а ф и н я. Оставь, пожалуйста, свои шутки; они здесь неуместны.

Г р а ф. Ты, брат, я вижу, неизлечим! У тебя положительно какой-то зуб против Подточина...

Г р а ф Ф. А. Не зуб, а если хочешь знать, — целая челюсть! (*Переменяя тон.*) Известно ли вам, например, что скрытно от вас он хлопочет о назначении своем куда-то на юг России?..

Г р а ф и н я. Это вздор... сплетни...

Г р а ф (*с горячностью*). Эта чистая, бескорыстная душа!.. Все служат из чего-нибудь... Он здесь, на этом месте, отказывался от всякой видной должности... Просил снять с него...

Г р а ф Ф. А. И в то же самое время злоупотреблял вашим доверием, прикрывал свои проделки вашим именем...

Г р а ф. Мое имя, добрый друг, надеюсь, выше пересудов!

Г р а ф и н я. Пересуды не слушают, — их презирают!

Г р а ф Ф. А. (*сестре*). Сколько известно, ты ведь не жена цесаря! Чарующие свойства этого фификуса мне неизвестны; знаю только, что под предлогом благоговительности он вымогает деньги, где только может, обещает протекции, награды, концессии, и все это делается от вашего имени. Об этом начинают говорить в городе, распространяются неблагоприятные легенды, — хуже того: над вами начинают смеяться...

Г р а ф. Смеяться надо мной?.. Я, который...

Г р а ф и н я. Дай ему договорить...

Граф. Помилуй, ma chère, ты не даешь мне рта открыть...

Графиня. Ты все перебиваешь...

Граф. Это, наконец, несносно... Я, слава богу, — давно вышел из пеленок... Это, наконец... это... деспотизм!.. я... я...

Графиня. Assez, mon frère!..

Граф Ф. А. Да, к сожалению, начинают смеяться... Что это, например, за юбилей, который выдумал Подточин?

Граф. Юбилей! Какой юбилей?..

Граф Ф. А. Твой юбилей, за три года твоего усердного участия в карьере Подточина, — виноват: участия в благотворительности... Открыта уже подписка между вашими членами...

Граф. Не может быть!

Граф Ф. А. Справься у купцов! Подточин, говорят, с ними меньше всего церемонится. Рядом с этим он открыл другую подписку (*сестре*) для поднесения тебе серебряной группы от сиротского приюта... (*Граф встает.*) Постой, усердие Подточина на этом еще не остановилось; пущена в ход третья подписка... Дело идет о напечатании твоей биографии и твоего портрета для украшения им стен приютов и раздачи сиротам в виде высшей награды...

Граф. Сейчас послать!.. Остановить...

Граф Ф. А. (*усаживая графа и графиню*). Успокойтесь, все уже сделано. (*Графине.*) Твоя группа также не узрит света... Но это еще не все...

Граф. Говори... Ты знаешь: я тверд; меня не так-то легко... Ты, стало быть, сомневаешься в его честности?..

Граф Ф. А. Если честность подвергается простуде, — Подточин страдает жесточайшим насморком! (*Переменяя тон.*) Как объяснишь ты, что человек без всякого дарования, без образования, без служебных заслуг, — словом — полнейшее ничтожество, — как такой человек вышползает вдруг в люди и делает своего рода карьеру?..

Граф. Подточин умен и очень способен...

Граф Ф. А. Ты находишь? Я нахожу: мы до того измелъчали, что уже довольно одного лукавства, чтобы прослыть чуть ли не великим человеком!.. Ваш Подточин ничего больше, как пройдоха!.. Благодаря ему, — нам надо еще будет свести денежные счета...

Графиня. Счеты?.. Какие счета?..

Граф *(в сторону)*. У меня голова кружится...

Граф Ф. А. Не далее как завтра утром приходит-ся уплатить десять тысяч купцу Жигулеву...

Графиня. Десять тысяч!.. Это еще что такое?

Граф. Жигулев... Жигулев... я что-то слышал это имя... от Подточина.

Граф Ф. А. Он забыл прибавить, что Жигулеву обещано было за эти деньги от твоего имени...

Граф. Опять мое имя?

Граф Ф. А. Везде и всюду! Обещанное Жигулев не получил и пошел всюду разглашать, что его обманули. Завтра он получит свои деньги и успокоится. Теперь вам надо еще подумать об уплате двадцати семи тысяч!..

Граф, графиня *(вместе)*. Двадцати семи тысяч!..

Граф Ф. А. А как же! Тех, которые из капитала нового твоего центрального учреждения о всеобщем распространении и т. д. — истрачены были на канцелярию и письменные принадлежности...

Графиня. Эти деньги жертвует один сибирский купец...

Граф. Он сам вызвался их пожертвовать и очень рад...

Граф Ф. А. Мало того: он в восхищении от ожидания получить за эти деньги то, что обещал ему от твоего имени Подточин. Я виделся с этим великодушным жертвователем и разочаровал его; восторг немедленно охладел; он спрятал пожертвование в карман...

Графиня. Но господа члены... Все члены готовы были внести эти деньги...

Граф. Готовы единодушно...

Граф Ф. А. Что касается единодушия, — оно беспримерно! *(Звонит; входит курьер.)* Скажи Владимиру Михайловичу, чтобы прислал с тобой письма... Он знает какие!.. *(Курьер уходит.)* Сомневаясь несколько в искренности господ членов-благотворителей, уверенный, с другой стороны, что Подточин пустил эту штуку для отвода глаз, — я разослал всем членам письма, предлагая внести по частям истраченную сумму... Мери и Володя весь вечер третьего дня и целый день вчера писали и рассылали... Повторяю: единодушное изумительное... *(Входит курьер с подносом, на котором груда писем.)* Можете убедиться! Все

отказываются не только внести деньги, но отказываются от участия в новом твоём центральном и так далее...

Граф (*пораженный*). Отказываются! Но не сами ли они выражали готовность участвовать... Кому после этого верить! На кого положиться...

Граф Ф. А. Всего менее, конечно, на Подточина.

Граф. Я в нём обманулся... Боже мой, какое вероломство! сколько лицемерия...

Графиня. И какая неблагодарность! Брат был его благодетель!!

Граф Ф. А. Давно сказано, моя голубушка: каждое благодеяние дает в результате одного неблагодарного и девяносто девять недовольных!

Граф. Признаюсь: я и прежде... начинал несколько сомневаться... Не показывал только виду; могли думать: я не тверд в своём мнении... Не хотел также противоречить сестре... Наконец, он мне был необходим...

Граф Ф. А. Необходим?

Граф. Был находчив в важных случаях!! Я не ожидал, однако ж! Сестра так горячо его хвалила...

Графиня. Теперь говорю: это негодяй!

Граф. Ты всегда так резко, та сèге... Зачем же?

Граф Ф. А. Справедливо! Зачем так решительно! Нельзя сказать, чтобы Подточин был отъявленный негодяй, — нет, он даже, если хотите, так себе... жаль только, немножко... подлец! Это случается! Скажи-ка теперь, прав ли я, что никогда не доверял этим замшевым людям, подползающим без шума, говорящим робко, с виду покорным и преданным! Я всегда был того мнения, что живые, бойкие люди в тысячу раз лучше; они уже потому лучше, что скорей узнаешь, по крайней мере, с кем имеешь дело, — лучше потому также, что они вообще более даровиты, и можно ожидать от них больше пользы! С ними, правда, живется труднее, они не так податливы, знают себе цену, больше самостоятельны, не так охотно льстят и не подползают, — словом, имеют все то, за что вы их так не любите...

Графиня (*иронически*). Ты забываешь одно только — нравственность!

Граф. Я только что хотел сказать; именно: нравственность.

Граф Ф. А. На нее, друзья мои, нельзя безусловно полагаться; безупречность поведения не всегда говорит в пользу человека; она часто бывает следствием тонкого расчета...

Граф. Ты, может быть, прав.

Графиня. Ты уже согласился...

Граф (*обиженно*). Я не так скоро меняю мнение, как тебе угодно думать... Во всяком случае, нельзя так оставить... Я возмущен его неблагодарностью... Четыре дня тому назад я еще просил ускорить ему назначение...

Графиня. Я в тот же день ездила к кухне просить за него...

Граф Ф. А. Старания ваши увенчались полным успехом! Подточин получил назначение, — но не то, о котором вы хлопотали, а то, о котором я говорил вам. Преданность, благотворительность, проект нового твоего учреждения и прочее — служили только предлогом. (*Входят княгиня Лукоянова и Волованов.*)

ЯВЛЕНИЕ VIII

Те же. Княгиня Лукоянова и Волованов.

Княгиня. Мы без доклада... Взяла скорей племянника, которого напрасно обвиняют, и к вам...

Волованов (*обращаясь поочередно к графу и графине*). Уверяю вас, cousin, — клянусь, кузиночка, — я не принимал никакого участия, — jamais!¹ Напротив: moi, j'ai... упирал на то, чтобы Коко этого не делал. Я хорошо ее знаю... Она отлично танцует... и пуэнты, и грация... и все, что хотите... но...

Граф (*в то время, как графиня делает знаки Волованову*). Что такое?.. Что ты говоришь... Я ничего не понимаю...

Волованов (*не замечая пантомимы графини*). Говорю, если Коко убежал с ней в Новгород...

Граф (*пораженный*). Коко... с ней в Новгород...

Княгиня Лукоянова (*указывая на Волованова*). Он прибежал ко мне и говорит: тетушка, Коко поехал венчаться с танцовщицей; надо спасти его...

¹ Никогда! (*фр.*)

Граф *(падая в кресло)*. Ох... батюшки...

Графиня *(бросаясь к графу)*. Боже мой! Он не привык к таким потрясениям... *(Суетится подле графа.)*

Граф Ф. А. и графиня *(вместе)*. С чего вы взяли... Что за вздор... Кто мог рассказать вам... Ничего этого не было... *(Графу.)* И ты поверил!.. Коко преспокойно здесь у себя дома...

Княгиня Лукоянова. Ах, как я рада... Я было за вас встревожилась и поспешила...

Волованов. Я также... тетушка, правду я говорю!.. Какая клевета... *s'est infect!*¹ Сейчас бегу к нему... Еще увидимся. *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ IX

Те же, без Волованова.

Граф Ф. А. *(графиня и княгиня отходят в глубинную сцены и живо разговаривают)*. Все, что говорили здесь, правда, но не тревожься; Коко не успел сделать глупость... Липецкий захватил его вовремя и привез домой...

Граф. Спасибо... ты меня облегчил...

Княгиня Лукоянова *(графине и приближаясь к ней)*. Ты знаешь, я никогда ему не доверяла... Ты сколько раз на меня за это сердилась... Но, признаюсь, не ожидала такой черной неблагодарности...

Граф Ф. А. О ком вы говорите?

Княгиня Лукоянова. О Подточине... Вы знаете, он оставляет нас...

Графиня. Скажи лучше: мы его оставляем...

Граф Ф. А. И отставляем!.. *(Входят Волованов и Кирсанов.)*

ЯВЛЕНИЕ X

Те же, Волованов и Кирсанов.

Волованов. Ведь выдумают же, право! Cousin Коко преспокойно сидит себе перед туалетным столом... Володя, правду я говорю? Куафер Альфред рас-

¹ Это отвратительно!.. *(фр.)*

сказывает ему разные анекдоты... Принес ему, по обыкновению, целую коллекцию духов и галстуков... Эти французы удивительны! Что там ни говори: насчет вкуса, il n'y a qu'eux!¹ Первые в свете!.. Правду я говорю?

Курьер (входя). Господин Подточин... (Общее изумление.)

Княгиня Лукоянова. Я не хочу с ним встречаться... Прощай... я пройду через твою половину... Серженька!

Волованов. Лечу... ma tante², лечу... Еще увидимся!.. (Убегает.)

ЯВЛЕНИЕ XI

Те же, без княгини Лукояновой и Волованова.

Граф Ф. А. (следя глазами за Воловановым). Боже мой, сколько лишних людей в России... Что насчет Подточина?

Графиня. Я не хочу его видеть...

Граф. Я также...

Граф Ф. А. Вот это напрасно! Ему может быть необходимо передать вам что-нибудь важное... (Курьеру.) Проси! (Кирсанову тихо.) Веди сюда Липецкого и попроси сестру... (Кирсанов уходит.)

ЯВЛЕНИЕ XII

Граф, графиня, граф Ф. А., Подточин.

Подточин (кланяется поочередно каждому из присутствующих; вид его более самоуверенный, чем прежде). Ваше сиятельство... я пришел благодарить вас...

Графиня (резко). Вы получили то, чего желали...

Подточин. Получил, ваше сиятельство... Являюсь выразить вам мою глубокую признательность...

Граф (который долго сдерживался). Вы, милостивый государь, злоупотребили моим доверием...

¹ Только они! (фр.)

² Тетушка (фр.).

Подточин. Слух этот распускают мои недоброжелатели... Вашему сиятельству угодно было когда-то высказать глубокую мысль. Я никогда ее не забуду, вы сказали: «Люди, как рыбы, — большие поедают маленьких...»

Граф. Да, я сказал это...

Подточин. Мысль эта постоянно мной руководила... была, так сказать, моей путеводной звездой. Я был без связей, без покровительства; опасения сделаться жертвой заставили меня искать случаев спастись от такой участи... Кто себе враг!.. Что же касается злоупотреблений, — совесть моя покойна. Если и были упущения, то разве случайные... Человеку суждено ошибаться... Как прежде, так и на будущее время, я всей душой предан вам и высокой мысли, которую вы преследуете...

Граф. И бросаете дело...

Графиня. Когда достигли своей цели!

Граф Ф. А. (*иронически*). К чему терять время на благотворительность, когда можно его употребить с пользой для себя собственно...

Подточин. Благотворительностью занимаются много людей, своим делом занимаешься только сам... Всякий за себя, ваше сиятельство!

Граф (*горячась*). Это эгоизм, милостивый государь; вы недавно еще говорили совсем другое...

Подточин. Преданность моя к вам удерживала меня от излишней откровенности... Я боялся огорчать вас...

Графиня (*с негодованием*). Скажите лучше, — вы нас обманывали...

Граф (*горячо*). Вы лицемер, — милостивый государь!..

Подточин. Я вижу... вы вооружены... Остается мне удалиться... Ухожу с горьким чувством: вы, ваше сиятельство, меня не поняли!! (*Кланяется и уходит.*)

Граф Ф. А. (*в сторону*). Заноза вытащена, — и слава богу! (*Брату и сестре.*) Это напоминает мне следующее: пришел один господин в ресторан, сломал зеркало, разбил два графина, наделал всяких гадостей и, когда пришла полиция, торжественно воскликнул: уйдем отсюда, — нас здесь не поняли!

Граф. Тебе все смешно!.. Несмотря на твердость характера, — все еще не могу прийти в себя... Что за

время, в которое мы живем! Что за человек этот Подточин!!

Граф Ф. А. Человек самый обыкновенный: маленькие способности к интрижке, движимые тщеславием мелкого разбора; этим людям имя — легион! Они плодятся как тараканы; что касается времени, — время такое, когда всякий восхищен собой и не доволен своим состоянием... Таков, например, твой сын Коко...

Граф. Не говори о нем, — я не хочу его видеть!..
(*Входят Мери, Липецкий и Кирсанов.*)

ЯВЛЕНИЕ XIII

Граф, графиня, граф Ф. А., Мери, Липецкий, Кирсанов.

Граф Ф. А. (*указывая на Липецкого*). А вот такой, который не восхищен собой и доволен своим состоянием! Сестра, надеюсь, ты теперь откажешься от несправедливого предубеждения и протянешь ему руку...

Графиня (*протягивая руку, которую Липецкий целует*). Отчего же нет; очень охотно!

Граф. Протянуть ему руку мало после того, что он для нас сделал... Липецкий, дайте обнять вас...
(*Обнимает.*)

Граф Ф. А. Ну вот и бесподобно!.. Мери, что ты там стоишь сиротой... Тебя недостает для дополнения семейной картины. (*Мери подходит.*) Теперь вот что, друзья мои: после комедии — роман: в некотором царстве, в некотором государстве существует молодой человек, влюбленный в молодую девушку, и молодая девушка, которая, — если не ошибаюсь, — тем же ему отвечает... (*Обращаясь к графу.*) Что ты на это скажешь?

Граф. Сестра намекала мне... Хотя, я сам начинал догадываться... Что я скажу? (*Глядя на графиню.*) Скажу... скажу... (*Графине.*) Что она скажет!

Графиня. Я согласна! (*Мери.*) Поставила-таки на своем!..

Липецкий (*целует руку графини*). Как благодарить вас!.. (*Мери.*) О, как люблю вас и как давно хотел это сказать вашим родным...

Мери (*протягивая ему руку*). Я также...

Граф (*вынимая носовой платок*). Я тверд, — но сегодня нервен... Они меня растрогали...

Графиня. *Assez, mon frère.*

Кирсанов (*Мери*). Поздравляю тебя ото всего сердца (*Липецкому*) и тебя также!..

Граф Ф. А. Позвольте, что ж это такое? Меня никто не благодарит и не поздравляет... Я обижен... (*Мери и Липецкий бросаются обнимать его.*) Отлично! Я доволен! (*Мери и Липецкому.*) Примите же теперь мое сердечное пожелание... Оно не совсем удобно в присутствии брата и сестры, но я человек открытый...

Граф и графиня (*вместе*). Говори!.. Говори!..

Граф Ф. А. (*к Мери и Липецкому*). Избегайте замшевых людей вроде Подточина, — и не бойтесь людей смелых и умных; последние, верьте мне, гораздо надежнее!!

Занавес

1891



ПАХАРЬ

Впервые — журнал «Современник», 1856, № 3.

Работа над повестью длилась около трех лет. Закончив повесть осенью 1855 г., Григорович писал Н. А. Некрасову — издателю «Современника»: «Решительно не могу произнести своего суждения о повести; могу сказать только, что много трудился и думал о ней; если добросовестный труд ведет к верному результату и не пропадает бесплодно, — повесть будет недурна. Главная забота моя была в том, чтобы представить читателю то, что я хотел сказать, — в возможно — более компактном, сжатом виде. Три раза переделывал ее. Принимал в соображение теперешнее время и всеобщее настроение умов, — думаю, что основная мысль повести многим должна прийти по сердцу... Я первый раз в жизни высказываю некоторые из задушевных моих убеждений; как ни странны, может быть, покажутся они Вам, — прошу Вас напечатать рукопись без малейших изменений. Мысль повести не повредит ни в каком случае репутации журнала» (Некрасовский сборник. Пг., Общественная польза, 1918, с. 102).

Что же это за *мысль*, про которую все же надо говорить, что она не повредит репутации журнала? Поэзия деревенской жизни действительно впервые была воспета автором «Деревни» и «Антон-Горемыки»: «Тут узнаете вы жизнь народа, — писал он в «Пахаре», — тут услышите вы впервые народную речь и настоящую русскую песню <...> сладко забьется ваше сердце, если только вы любите эту песню, этот народ и эту землю». «Пахарь» — это не повесть, это поэма, и притом — поэма дидактическая: жизнь пахаря рассказывается как пример для нравственного подражания, да и все поведение автора и его размышления также могут оказаться назидательным призывом к иному образу жизни, к приятию иных ценностей жизни.

Тот — наилучший меж всеми, кто всякое дело способен
Сам обсудить и заране предвидеть, что выйдет из дела.
Чести достоин и тот, кто хорошим советам внимает,
Кто же не смыслит и сам ничего, и чужого совета
К сердцу не хочет принять — совсем человек бесполезный.

Эти строки из античной поэмы Гесиода «Труды и дни» (в переводе В. В. Вересаева — «Работы и дни») да и сам образ автора-земледедца напоминают пахаря. Может быть, Григорович вовсе не думал о земледельческой поэме Гесиода, когда создавал своего «Пахаря», хотя и поминает он некие «древние сочинения» о сельской жизни, но та концентрация жизненного опыта, которая Гесиодом излагается как свод завещанной веками народной мудрости, — в «Пахаре» разворачивается подобным же образом. Вся жизнь пахаря — это утверждение нравственного долга перед землей, людьми и богом. Критика как-то не обратила внимания на то, что эта маленькая повесть разбита на тридцать две главки. Это не мозаика. Композиционная сложность вызвана сложностью художественной мысли. «Пахарь» — одно из самых сложных произведений Григоровича, отражающее кризис его мировоззрения. Нет, он не зашел в тупик в поисках верного пути. Его творчество до сих пор укладывалось в русло натуральной школы и двигалось в главном направлении русской демократической литературы. Но «Пахарь» создан на совершенно иных началах. Направление, которое он обнаружил, иное, чем направление натуральной школы.

Может быть, замысел Григоровича станет яснее, если мы выслушаем одного из противников натуральной школы Ю. Самарина, выступившего в журнале «Москвитянин» со статьей «О мнениях «Современника» исторических и литературных» (1847). Нападая на «Деревню» Григоровича, он писал: «В ней собрано и ярко выставлено все, что можно было найти в нравах крестьян грубого, оскорбительного и жестокого. Но поражают не частности, а глубокая бесчувственность и совершенное отсутствие нравственного смысла в целом быту». И далее: «Должно сознаться, что в этом отношении натуральная школа худо понимает свой образец. На ней лежит тяжелый упрек. Она не обнаружила никакого сочувствия к народу, она так же легкомысленно клеветает на него, как и на общество. Под обществом мы разумеем в этом случае тот класс людей, которые выписывают и читают журналы. Пусть им посылают ежемесячно карикатуры, писанные на них же; в этом нет беды; они сами будут судить о сходстве. Но народ безгласен; народ не знает, что про него пишут; народ не сам себя судит;

судят о нем другие, и потому нам кажется, что можно бы и не чернить его заочно. Мы твердо уверены, что наши правоописатели никому не захотят уступить в любви к нему и в искреннем желании услужить ему; то же самое и они должны предполагать в читателях. Что же выиграет наш народ, если от частого повторения одного и того же читатели наконец уверятся, что вся жизнь его ограничивается лежанием на печи, почесыванием за спиною и восхвалением благотельного учреждения розог? Если он действительно таков, каким его изображают, то образованный класс жестоко ошибается на его счет, ставя его в своем мнении не слишком низко, а, напротив, чересчур высоко <...> Мы не понимаем народа, и потому-то мало ему доверяем. Незнание — вот источник наших заблуждений. Мы должны узнать народ, а чтоб узнать, и прежде чем узнать, мы должны любить его <...> Во имя какой-то мнимой истины вы затемняете светлые стороны деревенской жизни и отрицаете в простом народе все добрые свойства, которые могли бы привлечь к нему уважение и сочувствие» (Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века. М., Искусство, 1982, с. 164, 174—175, 176).

Нет нужды сейчас говорить об исторически справедливом или несправедливом приговоре, вынесенном славянофилами натуральной школе. Наша задача показать, что именно в этом направлении повернул свое творчество Григорович. Повернул и... замолчал, редко выступая с своими новыми произведениями в печати.

Итак, под «задушевными убеждениями», высказанными в «Пахаре», подразумевал Григорович свое отношение к народу, хранящему историческую память земледельческого труда, не утратившему связь с целым — животворной природой. Не социальные противоречия, а гармоническая связь человека с землей, которая, собственно, и порождает эстетику труда, формирует целостного человека, — привлекала Григоровича. «Поэзия действительности несравненно выше той, которую может создать самое пылкое воображение», — писал он. Этот поворот от социальной критики к проблемам «чистой» этики не прошел незамеченным. Как пишет Н. Г. Чернышевский в «Материалах к биографии Н. А. Добролюбова», это отсутствие «социальности» взволновало Добролюбова, ему казалось, что повесть проникнута духом смирения: «Я, помню, восхищался при покойном только что тогда напечатанным в «Современнике» «Пахарем» Григоровича. Добролюбов с жаром принялся доказывать всю несостоятельность повести, с особенным напором указывая

на идеализацию, с которой автор описал последние минуты умирающего пахаря» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти томах, т. 10. М., Гослитиздат, 1951, с. 49).

Иную оценку получила повесть в журнале «Русское слово»: «Это собственно не повесть, а физиологический очерк, в котором автор высказывает свой взгляд на изображаемый им мир <...> Во всем своем очерке автор *сился* представить тип земледельческого патриарха, благодушно живущего, благодушно страдающего (как, например, при отдаче в солдаты меньшего сына Васи), благодушно умирающего; мы сказали *сился*: физиологический очерк, т. е. соединение характеристических черт, подмеченных в разных отдельных личностях, в одном фантомном, недействующем лице, обстановка его, совершенно натуральная, но мозаично составленная из некоторых этнографических данных, — все это исключает понятие о творчестве. Спешим оговориться, что мы не намерены указывать на достоинства «Пахаря» (они есть), потому, во-первых, что достоинства эти не очень крупного десятка, а во-вторых, потому что этот очерк нас занял совершенно по иной причине. Жаль, что в издании сочинений г. Григоровича не видно, в хронологическом ли порядке напечатаны они или нет? Не припомним также, когда появился «Пахарь»; но, во всяком случае, сродство его с лучшими произведениями г. Григоровича не подлежит сомнению, хотя, может быть, предположение наше, что очерк этот есть не что иное, как программа, по которой создавались другие вещи автора, и неверно» (Де Пуле М. — Русское слово, 1860, март, отд. II, с. 7—9).

Отношение к «Пахарю» как физиологическому очерку, а не художественному произведению «страшно понизило» художественную мысль. Критик заметил в повести только одного героя — пахаря и одну только черту его характера — благодушие. Тем самым он не только не понял новаторский смысл повести (в плане эволюции творчества Григоровича или в плане эволюции его мировоззрения), но еще и схематизировал ее, принимая композиционную сложность за мозаично-этнографическую картину, сложенную из отдельных зарисовок.

Стр. 7. *Штофная коротайка* — шелковый кафтанчик.

Стр. 10. *...на манер гречишника...* — т. е. столбцом.

Стр. 13. *Аршин* — мера длины, принятая в России в XVI в., равная 71,12 см.

Стр. 17. *Леопольд Робер* — Робер Луи Леопольд (1794—

1835) — французский художник, изображавший народные типы и жанровые пейзажные сцены.

Стр. 20. *...звены и подпрыгивая...* — См. коммент. к «Петербургским шарманщикам», т. 1, с. 485.

Стр. 23. *...индо жаль...* — даже жаль.

Стр. 27. *Миткаль* — суровая бумажная ткань; ситец, изготовленный для обивки.

Стр. 29. *...хотя бы даже минули Петровки* — т. е. после Петрова дня (день памяти апостолов Петра и Павла), отмечавшийся 29 июня ст. стиля. Обычно на Петровки в разгаре сенокос.

Стр. 30. *Осминник* — четверть десятины. В казенной десятине около 1 га; в начале XIX в. в России употреблялась хозяйственная десятина, равная 1,45 га.

Стр. 34. *Сотский* — полицейский надзиратель, рассыльный, один из низших полицейских чинов, избираемый из крестьян.

В ОЖИДАНИИ ПАРОМА

Впервые — журнал «Современник», 1857, № 8.

В небольшом очерке творчества Григоровича, написанном после его смерти, В. П. Острогорский отметил, что «просвещенный образованием, вполне сознательно, целых пятнадцать лет (1846—1861 гг.) в ярких, нередко полных драматизма и всегда задушевности подробностях рисовал то же самое, что и Кольцов, — только эпически, со всеми деталями народной обстановки и быта, захватывая этот быт с разных сторон, в великом разнообразии сюжетов и типов, которых до Григоровича не касался еще никто. Примыкая, с одной стороны, к Кольцову, народнику-запевале, инициатору, с другой — Некрасову и последующим изобразителям народной жизни, Григорович, этот барин, помещик, эстетик, первым выступил на защиту серого мужика. Таким образом, он стал первым писателем-народником, открыв своею последовательною и настойчивою деятельностью широкий путь писателям-народникам последующей эпохи — Успенскому, Златовратскому, Слепцову, Левитову, Решетникову, Засодимскому, Наумову и многим другим, представившим русскую крестьянскую жизнь с разных сторон и с разных точек зрения» (цит. по кн.: Дмитрий Васильевич Григорович. Его жизнь и сочинения. М., 1910, с. 139—140). Как пишет современный исследователь: «Рассказ <...> показал, что писатель решительно отмежевался от

пустозвонного либерализма, расточающего потоки слов, прикрывающих старые крепостнические замашки. В рассказе сталкиваются в открытую интересы помещиков и мужиков <...> Действующие лица делятся согласно их отношению к предстоящей реформе. Их трое: заядлый крепостник, либерал и помещик, лишенный каких-либо определенных убеждений. Искренность героев писатель проверяет действием <...> Писатель показывает, что в его героях не осталось ничего, кроме привычки к беспредметным разглагольствованиям, заимствованной у давно сошедших с общественной арены «лишних людей» <...> Чтобы резче оттенить взаимоотношения мужика и помещика, столь злободневные накануне реформы, Григорович придает своему произведению публицистическую направленность» (Мещеряков В. П. Д. В. Григорович — писатель и искусствовед. Л., Наука, 1985, с. 70—71).

Действительно, после «Пахаря» в нескольких своих рассказах Григорович попытался поставить вопрос о возможности или невозможности объединения низшего класса с высшим. В рассказе «В ожидании парома» он как бы только подступает к этой теме, не зная еще, как можно решить ее, поэтому разъединение между сословиями рассматривается им как результат эгоизма высшего сословия. Именно эгоизм, то есть потеря нравственных критериев поведения, настолько подавил и чувство справедливости и чувство гуманного отношения к бесправному, что выступает уже как социальная черта характера, присущая высшему сословию.

Стр. 50. *Бурмистр* — при крепостном праве: управляющий помещичьим имением или староста, назначенный помещиком из крестьян.

Стр. 51. *Поставец* — небольшой переносный столик со шкафчиком для посуды и ящичками.

Стр. 59. *...прошла Святая...* — т. е. пасхальная неделя.

Стр. 64. *Кавалер Де Грие* — герой романа французского писателя А. Ф. Прево «История кавалера Де Грие и Манон Леско» (1733).

Стр. 81. *Чуфара* — чванливый человек.

Стр. 82. *Корсиканская вендетта*. — Вендетта — родовая месть за убийство родственника. На о. Корсика (Италия) она была особенно жестокой.

Впервые — журнал «Современник», 1857, № 12, с посвящением А. А. Мосоловой.

Н. А. Некрасов, публикуя «Кошку и мышку», писал: «Повесть Ваша — прелесть. Напечатана в XII № «Современника» *без перемен*» (Литературное наследство, т. 51-52. М., Изд-во АН СССР, 1949, с. 22).

Стр. 108. *Подзоры* — резные карнизы на окнах и крышах. *Фестоны* (от фр. *feston* — гирлянда) — зубчатый или волнистый узор в декоративных украшениях избы.

...от Святой до заговенья... — От праздничной пасхальной недели до начала поста (говеть — поститься).

Стр. 109. *Прудка* — плотина или ставень (щит) в мельничной запруде.

Толчя — мельничный механизм, обеспечивающий вращение жерновов.

Набивной платок — платок с набитым узором, т. е. нанесенным на ткань с деревянных форм, путем ударения формы о ткань, а позднее прокатывания по ткани металлических валов с узором.

Стр. 111. *Секретарь* — т. е. коллежский секретарь, чин X класса «Табели о рангах»; чиновничество в России делилось на XIV классов.

Коллежский советник — чин VI класса.

Стр. 113. *Мычка* — очесы льна или пеньки, приготовленные для прядения; кудель.

Стр. 115. *Колотовка* — небольшая водяная мельница с горизонтально лежащим колесом.

Стр. 122. *Поверенный* — мелкий служащий, которому доверено было ведение какого-либо дела.

Дистанционный — начальник дистанции — участка на путях сообщения, управляемого административно-техническим подразделением.

Стр. 128. *Мельница-крупчатка* — осуществляла самый тонкий помол пшеничной муки.

Стр. 130. *Сотский*. — См. коммент. к с. 573.

Становой (пристав) — полицейский чиновник, возглавлявший стан, т. е. один из 2—3 участков, на которые делился уезд.

Стр. 134. *Исправник* — капитан-исправник, возглавлял уездную полицию.

Откупщик — лицо, приобретшее единоличное право тор-

говли или поставки товара, с условием выплаты государству определенной суммы.

Стр. 135. *Плисовый казакин* — кафтан на крючках со сборками сзади из бумажного бархата или бумажного ворса на льняной основе.

Стр. 138. *Сеиды и мюриды*. — Сеидами назывались потомки пророка Мухаммеда от его дочери Фатьмы, они пользовались большим влиянием и были окружены почетом; мюриды являлись учениками и последователями имамов или шейхов, т. е. религиозной мусульманской верхушки; во время кавказских войн России в середине XIX века сеиды и мюриды были вдохновителями сопротивления и главными участниками борьбы кавказских народов, разжигавшими ненависть к русскому народу (и вообще иноверцам); именно поэтому у Григоровича эти слова приобретают бранный оттенок бессовестного подстрекателя на бесчестные дела.

Пенник — крепкое хлебное вино.

Стр. 139. *Чуйка* — длинный суконный кафтан или армяк.

ПАХАТНИК И БАРХАТНИК

Впервые — журнал «Современник», 1860, № 11.

Критика не разглядела то новое, что появилось в повести: между тем на первый план Григорович выдвинул не покорного и забитого крестьянина, а человека, пытающегося бороться за право распоряжаться плодами своего труда. Отзывы в печати оказались единодушно прохладными. Критик «Северной пчелы» писал: «Пахатник и бархатник» делится на две части: в одной изображается положение пахатника, т. е. крестьянина, которым распоряжается какой-нибудь свирепый управляющий, в то время как барин живет себе весело в Петербурге, предполагая, что крестьяне его должны благоденствовать, так как он приказал заменить «ярем старинной барщины легким оброком» <...> Во второй части изображается бархатник, т. е. барин, который на одно представление какой-нибудь молоденькой актрисы кидает несколько оброков, покупая дорогие букеты, предназначенные быть у ног улыбающейся на сцене красавицы. Значит, мысль произведения Григоровича далеко не новая. Ее касался еще в прошедшем столетии Княжнин в своей комедии «Несчастье от кареты» и, признаемся откровенно, с большой энергией высказал свою мысль. В наше же время эта мысль так развита в обществе, что сделать

ее содержанием своего произведения значит не сказать ничего нового или другими словами высказать то, что всем давно известно. Впрочем, мы никак не думаем обвинять Григоровича, зачем он вступился за крестьянина: дело доброе; мы только хотим указать на ту практическую точку, с которой должно смотреть на его рассказ. Мы не вправе требовать от него строгого художественного развития, не вправе упрекать, зачем все части рассказа слишком заметно сшиты белыми нитками, зачем рассказчик так гоняется за разными ненужными сценами и лицами, чтобы только растянуть свой рассказ. Доброе дело прикрывает все, об умении же Григоровича легко, плавно и, пожалуй, живописно рассказывать мы не распространяемся, полагая, что это известно всякому» (Северная пчела, 1861, № 18).

Почти к такому же выводу пришел и критик Орловский (К. Ф. Головин): «В «Пахатнике и бархатнике» Григоровича выставлен резкий контраст между судьбою оброчного мужика, у которого продают последнюю лошадь, чтобы выколотить двадцатипятирублевую недоимку, и петербургским барином, который эти самые двадцать пять рублей тратит на букет какой-то танцовщице. Разумеется, торжество кредитки, с таким трудом уплаченной мужиком и с такою легкостью истраченной барином, понадобилось только ради кричащего эффекта, так как оно ровно ничего не прибавляет к бессердечию помещика, если поднесение букета и следует признать бессердечным. Контраст между обеими частями повести, таким образом, внешний и сводится лишь к вечному противоположению беспечного довольства голой нищете. На самом деле вина барина вовсе не в том, что он живет широко, а в том лишь, что, требуя с крестьян оброк, он не дает себе труда войти в их положение и управление помещьем доверяет кулаку-приказчику. В этой повести Григорович уплатил дань требованиям времени и дань, признаться сказать, шаблонную. Впрочем, несколько фельетонное содержание повести искупается всегдашним качеством Григоровича — тонкою отделкою мелких штрихов, одинаково верных и в картине мужицкого горя и в сценах великосветского разгула» (цит по кн.: Дмитрий Васильевич Григорович. Его жизнь и сочинения, с. 67—68).

Пренебрежительное отношение критики к рассказу объясняется рядом причин. Ее поучающий тон свидетельствует, что не было попытки проникнуть внутрь замысла Григоровича. Между тем заглавие повести прямо указывает на продолжение в ней темы «Пахаря». Этого почему-то не отметил ни один из критиков. Может быть поэтому так

легко и поверхностно судят об открытом приеме контраста, полагая, что нужно это было «ради кричащего эффекта». Поэтому-то и выглядит идея рассказа в отзывах критики так примитивно — «противоположение беспечного довольства голой нищете».

Три рассказа: «Пахарь», «В ожидании парома» и «Пахатник и бархатник» — создают сложную картину поисков истины в отношениях высшего сословия с народом, — той истины, которую Григорович попытался найти на путях славянофильского понимания сущности проблемы разъединения русского народа на чуждые друг другу сословия. Неумолимая правда действительности привела его к отрицанию возможности объединения «пахатников» с «бархатниками». Эта грубая правда жизни только и могла быть окончательно разрешена Григоровичем в резком и прямом (а не примитивном) противопоставлении интересов крестьян и помещиков.

Стр. 157. *...роями стояли коромысла...* — стрекозы (диалект.).

Стр. 175. *Расшива* — плоскодонное парусное судно; название бытовало на Волге и Каспийском море.

Стр. 185. *...обросших зарею и травами...* — Зорею (В. Даль) называли лютик, курослеп.

Стр. 186. *Куколь* — сорняк с ядовитыми семенами, растущий среди злаков.

Стр. 203. *Страстная неделя* — последняя неделя поста перед Пасхой.

Стр. 206. *...белые нити тенетника* — паутина паука-крестовика.

Стр. 214. *Октав Фелье* (1821—1890) — французский романист и драматург, произведения которого были популярны в 50—60-х гг. XIX века, особенно ему удавалось изображение психологии женщин из аристократических кругов.

...пословицы Мюссе. — Альфред де Мюссе (1810—1857) — французский писатель романтического направления; его так называемые «драматические пословицы» (т. е. маленькие сценки, как бы иллюстрирующие ту или иную пословицу) и комедии пользовались заслуженным успехом у зрителя.

Верхняя и нижняя палаты. — Английский парламент состоит из двух палат: верхняя — палата лордов (членство в ней наследственное) и нижняя — палата общин (членство выборное).

Виги и торы — две главные партии, на которые опирался парламент (в дальнейшем — либералы и консерваторы).

...направление наполеоновской политики... — Наполеон III (1808 — 1873), провозглашенный в 1852 г. императором, вел непрерывные захватнические войны: Крымская война 1853—1856 гг.; австро-итало-французская война 1859 г.; англо-франко-китайские войны 1856—1860 гг.

...отношение французского государства к восточному и итальянскому вопросу... — Франция, ведя колониальные войны в Индо-Китае, добивалась открытия доступа своим товарам в глубинные провинции Китая, открытия для торговли речных портов, т. е. стремилась превратить Китай в полуколониальную страну.

Обострение отношений с Италией было вызвано вмешательством Франции в итальянские дела.

...политическое состояние Австрии и Германии... — Австрия в 50—60-х гг. сбрасывала с себя путы феодального социально-экономического порядка и вступала на путь капиталистического развития; во внешней политике Австрия, ведя войны, потерпела ряд поражений.

В Германии в 50—60-х гг. произошел промышленный переворот, буржуазия отказалась от руководящей роли и правление оставалось за крупными землевладельцами, аристократами. Народные массы нещадно ограблялись. Быстрое развитие капитализма поставило вопрос об объединении Германии в единое государство.

...княгиней Халдиной... — персонаж сочинения Д. И. Фонвизина «Друг честных людей, или Стародум».

Стр. 217. *Булевские часы*. — В начале XVIII века французский мастер А. Буль сконструировал настольные часы, которые показывали часы и минуты и были снабжены будильником. Часы украшались пестрыми инкрустациями из черепахи, олова и латуни; в золоченых венчающих фигурах и фигурных композициях как бы отражалось все великолепие двора Людовика XIV. Влияние стиля, созданного Булем, чувствовалось на протяжении всего XVIII века.

Стр. 220. *Камелия* — кокетка. Название пошло от вышедшего в 1848 г. во Франции романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями».

Лоретка — женщина легкого поведения, кокетка.

Стр. 222: *Пьер Дюпон* (1821 — 1870) — французский поэт. В «Песне крестьян» (1849) поэт выражал свою мечту о будущем объединении крестьян с рабочими. «Песня крестьян» была при Второй империи (1852 — 1870) запрещена.

Стр. 227. ...в Гапсаль... — город в Эстонии, славящийся лечебными грязями.

Стр. 229. ...волны его, расступившись стеною... — Библейское предание из книги Моисея «Исход», гл. 15: «И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую сторону».

ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК

Впервые — журнал «Нива», 1883, № 1—3.

В 60-х годах Григорович оставил литературу. Возвращением к ней была повесть «Гуттаперчевый мальчик». Н. В. Успенский вспоминал, как ответил Григорович на вопрос, почему он «бросил литературу»: «Да некуда стало писать... Во всех теперешних журналах требуется тенденция, гражданская скорбь и развенчивание авторитетов, а я просто люблю изображать картины, которые мне по сердцу...» — «Ну, вот в своем «Гуттаперчевом мальчике» вы провели же тенденцию и прекрасно сделали...» — «Это совсем другое дело... тут идея органически совпала с формой, а вы должны знать, что это редко встречается в области искусства...»

Критика единодушно признала рассказ Григоровича. Литературный обозреватель «Нового времени» В. Буренин в статье «Критические очерки» поставил рассказ Григоровича выше других беллетристических произведений, появившихся в начале 1883 г. Он писал: «Рассказ этот, как кажется, до сих пор не замечен нашей «текущей» критикой, а между тем его можно бы и должно бы заметить: среди неряшливых и вялых работ современных беллетристических ремесленников произведение старого художника представляется такою яркою, такою изящною вещью. Кроме того: Д. В. Григорович, как читатели знают, давным-давно не появлялся с новыми беллетристическими работами, и его возврат на писательское поприще после столь долгого молчания представляет во всяком случае заметный литературный факт. Но у нас теперь уже время такое, что все незаметное, всякий мелкий и жалкий скандал в журналистике, всякая дрянная полемическая кропотня становится тотчас же предметом самого пристального внимания. А случись что-нибудь действительно имеющее отношение к интересам литературы, по-

явился произведение действительно изящное — об этом молчат, это считают неважным. Д. В. Григорович с шестидесятых годов и до нынешнего ничего не давал по части изящной литературы <...> Отвлеченный от литературы громадным делом создания музея, которое поглощало все его время, Д. В. Григорович много лет не появлялся на поприще, некогда столь для него счастливом. Но, конечно, крупный художник, создавший «Рыбаков» и «Переселенцев», не мог похоронить литературный талант <...> Он не забывал литературы, как литература не могла забыть его почтенного имени и его крупных заслуг, в качестве автора первых произведений из народного быта <...> Первый по возобновлении литературный труд доказал ясно, что, несмотря на долгое бездействие, его замечательное дарование нимало не ослабело. Я всегда думал и не раз заявлял это в печати, что по изяществу отделки в нашей литературе найдется немного произведений, равных произведениям Д. В. Григоровича. Новый его рассказ в этом отношении является столь же образцовым, как и лучшие работы былого времени. Теперешние литературные ремесленники <...> могут поучиться у старого художника, как следует писать изящные вещи, как следует обрабатывать форму беллетристических произведений. Они могут также в рассказе автора «Рыбаков» почерпнуть уроки той художнической добросовестности, с какой истинный реалист изучает среду, изображаемую им, и того мастерства, с каким он выясняет гуманную тенденцию рассказа без всяких мнимогражданских и мнимолиберальных причитаний и кривляний. Герой рассказа «Гуттаперчевый мальчик» несчастный ребенок, сирота, брошенный в среду акробатов цирка и погибший жертвой несчастного случая <...> Сквозь спокойный тон авторского повествования, сквозь разные, по-видимому сухие и мелкие подробности, невольно пробивается грустно гуманная нота и в читателе уже подготавливается предчувствие жалостной катастрофы с несчастным ребенком, на котором так искусно автор умеет сосредоточить внимание <...> Картина бедственной судьбы бездельного ребенка очень искусно вставлена автором в блестящую раму счастливой обстановки детей графа и становится еще ярче и выразительнее от этой обстановки. Весь рассказ проникнут неподдельным чувством и напоминает лучшие очерки Диккенса. Единственным недостатком рассказа, как мне кажется, может быть сочтена растянутость некоторых страниц, происходящая впрочем у автора из доброго желания сделать свое повествование как можно более законченным и не оставить неотделанной

ни малейшей подробности» (Новое время, 1883, № 2533, 18(30) марта).

Замечательное письмо с отзывом о повести прислал Григоровичу И. С. Тургенев (1883, 1 февраля): «Вашего «Гуттаперчевого мальчика» я давно прочел — и все собирался Вам послать подробный отчет о моем впечатлении, да не до писания было! Скажу Вам вкратце, что это вещь очень характерная: все характеры поставлены верно; но в исполнении я нашел какую-то излишнюю обстоятельность и старательность, которые придают медлительность рассказу. Я бы, напр., вовсе выкинул такие фразы, как на 1-ой же странице со словами: «Масленица» — до слов: «перемена погоды». Вообще в первой части особенно Вы как бы излишне хлопочете. Попадают также некоторые тяжелые обороты: <...> «употреблял все силы, чтоб тот ничего не заметил»; <...> «Колебания... твердую почву». Но я это приписываю именно излишнему старанию, отчего Вы впали в кропотливость. Пишите — как следует авторитету — уверенно, бойко, быстро. И со всем «Гуттаперчевый мальчик» очень хорошая вещь» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Письма, т. 13, кн. 2. Л., 1968, с. 160—161).

Критика обратила внимание на педагогическое значение произведений Григоровича. В обозрении «Критика и библиография» журнала «Женское образование» Н. И. Поздняков писал: «Ввиду того, что рассказ этот появился в таком распространенном журнале, как «Нива», и что он принадлежит перу знаменитого писателя, вновь явившегося перед читателями после долгого молчания, я уверен, что он прочитан всеми, а потому не стану передавать его содержания и скажу только об его воспитательном значении. Рассказ донельзя прост (это — главное его достоинство) и имеет целью возбудить в читателе сострадание к детям, заброшенным судьбою на потеху праздной толпы, посетительницы цирка. Сюжет этот, как известно, часто разрабатывается детскими писателями, но никому из них разработка его не удавалась так, как это привелось г. Григоровичу в «Гуттаперчевом мальчике». Вся разница таится в той простой истине, что «дело мастера боится». Когда за дело взялся художник, рассказ вышел действительно художественным. Фигура несчастного мальчика-акробата выделяется в рассказе особенно ярко и рельефно, благодаря тому контрасту, который он представляет собою с графскими детьми, привезенными в цирк смотреть «гуттаперчевого мальчика». Жаль только, что г. Григорович не исключил из повести некоторые непедагогичные детали, например — кое-какие амурные по-

хождения матери героя повести, или некоторые, хотя и глубокомысленные, но тем не менее преждевременные для детей замечания...» (Женское образование, педагогический листок для родителей, наставниц и наставников, 1884, № 8, октябрь, с. 520—521).

«Гуттаперчевый мальчик» и другие рассказы о детях или с участием детей стали предметом специального исследования А. П. Соболева: «Может быть, Григорович не развернет перед нами таких широких и поучительных в педагогическом отношении картин из детской жизни, как Диккенс или Шпильгаген, не осветит психологическим анализом темной глубины детской природы, как Достоевский: но на этом основании игнорировать педагогические места в его произведениях — значит то же, что не обращать внимания на *не* крупные монеты только потому, что существуют крупные, тогда как пословица велит и копейку беречь, чтобы рубль был сбережен <...> Впрочем, наше сравнение художественных произведений с монетами неточно и только отчасти объясняет нашу мысль; поэтому мы должны прямо сказать, что художественные произведения не могут ни исключать друг друга, ни заменять, хотя бы касались даже одного и того же предмета, не говоря уже про те случаи, когда сюжеты у них разные <...> Поэтому же мы не должны смущаться и тем, что Григорович, может быть, не поразит современного читателя *новизною* идеи тех мест, где изображаются дети <...> Правдивое и художественное изображение Григоровичем детской жизни вполне заслуживает внимания, хотя бы автор и касался, по-видимому, только общеизвестных фактов» (С о б о л е в А. П. Крестьянские дети. Их жизнь, нравы, воспитание и образование по произведениям Д. В. Григоровича (1822—1899). Педагогические картинки. СПб., 1903, с. 15—16).

Стр. 236. *Первый сюжет* — актер, исполняющий главную роль.

Стр. 238. *Гуттаперчевый*. — Гуттаперча — отвердевшая смола гуттаперчевого дерева; после обработки становится эластичной и при 25 °С — гибкой.

Стр. 239. *Голиаф* — исполин; филистимлянин, библейский герой, который вступил в единоборство с Давидом.

Стр. 241. *Чухонка* — карело-финка, жительница пригородов Петербурга.

Стр. 264. *Парфорсное упражнение*. — Парфорсная езда на лошадях сопровождалась различными фигурами и преодолением препятствий.

НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ

Впервые — журнал «Нива», 1884, № 16—19, под заглавием «Алексей Чемезов», с подзаголовком «Недолгое счастье».

Повесть не вызвала в критике каких-либо заметных суждений. Тем не менее одним из критиков было замечено: «Это хотя и довольно бледный, но все-таки подробно очерченный тип загнанного чиновника и, в то же время, писателя. Пока у него жива добрая, хоть и не развитая, жена, он еще делает свое дело: трудится, приносит посильную пользу, составляет статейки в детский журнал, компилирует учебники; но жена умирает от тифа, бедняк сначала приходит в отчаяние, потом мало-помалу успокаивается и попадает в когти хищной немки aus Riga, которая совершенно овладевает им и женит его на себе. Но в день свадьбы Чемезов, вдруг узнав, что немка его обманывает, что она живет со старым любовником (как будто все это он не мог разузнать прежде!), убегает со свадебного обеда в Малоярославец, затем на свою квартиру, видит там тень своей жены и зарезывается. Все это неправдоподобно, мелодраматично, рассказано вяло и незанимательно. Чиновники — чистые карикатуры, сцена свадебного обеда — просто шарж; даже редакция, куда Чемезов носил свои повести, обрисована совершенно бледно и бесцветно, хотя журнальный мир близко знаком нашему блестящему писателю сороковых годов и мог быть бы воспроизведен им во всех подробностях. Даже в языке повести нет ни отделки, ни остроумия. Мы уверены, впрочем, что все эти повести — не более, как «проба пера» даровитого писателя, и что он вскоре же чем-нибудь выдающимся напомним читателям когда-то симпатичного им Григоровича» (цит. по кн.: Дмитрий Васильевич Григорович. Его жизнь и сочинения... с. 109—110).

Как пишет современный исследователь: «Чуткий выразитель общественного настроения — литература — также переживает полосу упадка. «Жизнь, — писал Салтыков-Щедрин в 1885 г., — утонула в массе подробностей, из которых каждая устраняется сама по себе, вне всякого соответствия с какой бы то ни было руководящей идеей. Неоткуда взяться этой идее, неоткуда и незачем. Прошедшее несостоятельно, будущее загромождено». Слабовольные утешали себя фразой: «наше время не время великих задач».

Настроение безысходности, паралич воли запечатлевает и Григорович в повести «Недолгое счастье» (Нива, 1884, № 16—19). В качестве героя писатель избирает «малень-

кого человека», довольствующегося своей жизнью. В нем немало привлекательного, но не хватает какого-то определяющего стержня. <...>

Всем ходом повествования Григорович доказывает: для человека мало-мальски мыслящего недостаточно одного узколичного мира. Отсутствие «руководящей идеи» рано или поздно должно привести его к краху» (Мещеряков В. П. Д. В. Григорович — писатель и искусствовед. Л., Наука, 1985, с. 143-144).

Стр. 278. *Статские и действительные.* — По «Табели о рангах» действительный статский советник являлся чиновником IV класса (генерал-майор), статский советник — чиновником V класса.

Стр. 279. *Блезир* — искаженное от фр. «плезир» (plaisir) — удовольствие.

Стр. 282. *Дри-мадера* — наиболее популярная, янтарного цвета «сухая» мадера, изготавливаемая на о. Мадейра (Португалия).

Цитристки — играющие на цитре, многострунном музыкальном инструменте; различаются щипковые и смычковые цитры.

Стр. 297. *«Соха и плуг. — Рассказы для молодых крестьян».* — Здесь и далее Григорович говорит о целом ряде просветительских книжек, составляемых героем его повести. Издания эти вымышлены, но сам факт деятельности его героя имеет автобиографический характер. Григорович, как сообщалось в журнале «Русское обозрение», «сам предпринял выпуск небольших книжек под общим заглавием: «Народные беседы» (СПб., 1860 г., десять выпусков). Они имели целью дать материал для народного чтения, как можно судить по отдельным названиям: «Описание земли или география», «Рассказы о морских сражениях и крушениях», «Нравы и обычаи разных народов», «Русские знаменитые простолюдины», «История царя Петра Великого», «Странствия вокруг света», «Рыбная ловля в морях и на реках», «Песни и пословицы русского народа», «Жизнь и приключения Морозова» (Русское обозрение, 1893, № 11, ноябрь, с. 531).

Стр. 302. *...подле церкви Николая Морского.* — По церковному преданию, св. Николай (мирликийский архиепископ) был покровителем моряков и путешествующих морем, поэтому в интерьере церкви фрески или иконы изображали житийные истории о спасении Николаем-угодником гибнущих на море.

Шалыган — здесь: пустозвон (шалыгать — трезвонить), хлыст.

Стр. 306. ...завелся «обже» — «предмет увлечения» (от фр. — objet).

Стр. 307. ...платье из серого мериноса... — из шерсти тонкорунной овцы испанской породы.

Стр. 315. «*Фауст*» — опера французского композитора Ш. Гуно (1818—1893).

Стр. 328. *Амвон* — возвышение в храме; место, с которого произносятся проповеди.

Стр. 335. *Розенкранц* — персонаж пьесы У. Шекспира «Гамлет».

НЕ ПО ХОРОШУ МИЛ, — ПО МИЛУ ХОРОШ

Впервые — журнал «Русский вестник», 1889, № 1.

Критик «Нового времени» В. Буренин, с большим сочувствием следивший за новыми произведениями Григоровича, писал: «Д. В. Григорович «сей остальной из стан славной» талантов сороковых годов время от времени дарит литературу своими работами, которые изяществом и законченностью живо напоминают превосходную школу, воспитавшую этого писателя наряду с Тургеневым, Гончаровым, Островским и другими крупными старыми дарованиями. Новое произведение Григоровича, появившееся в январской книге «Русского вестника», представляет ряд, если так можно выразиться, повествовательных этюдов на тему о любви. Эта тема, как известно, стара, как мир, и вместе с тем и вечно молода. Каждый крупный поэт, каждый беллетрист-художник вносит нечто свое, более или менее ценное, глубокое и интересное в непрерывающуюся разработку этой темы. Замечательно, что Григорович в своих работах как молодого, так и зрелого возраста никогда не касался специально этой интересной темы. В его романах из крестьянской жизни изображение любви входит как дополнительный, придаточный элемент широкого воспроизведения народного быта, отношений крепостных к господам и т. д. В романах, повестях и очерках, изображающих так называемое образованное общество, любовные отношения героев и героинь у Григоровича почти всегда обработаны несколько в сатирическом свете. В области любовной драмы и любовной психологии, которая почти для всех романистов и повествователей всегда служила главным предметом творческого исследования, наш почтенный беллетрист в своих

старых работах делал очень редкие и очень осторожные экскурсии: он прогуливался как бы стороною в этой интересной области. Он не создавал «увлекательных» и «чувствительных» героинь, как Тургенев, не занимался серьезным анализом женских душ, буруеваемых любовью, и относился ко всему этому чуть ли не с легкой иронией, выставляя романические увлечения, по преимуществу, с комической стороны.

Последнее произведение даровитого художника, как я уже заметил, представляет очень интересную экскурсию именно в ту область, которой Григорович как бы избегал прежде. Уже из самого заглавия этого произведения видна основная его идея: «Не по хорошу мил, — по милу хорош». Прекрасный и глубокий эпитаф, выбранный автором, еще более уясняет содержание повествовательных этюдов, так удачно озаглавленных автором. Эпитаф этот гласит: «Любящим привет; не умеющим любить — погибель; дважды погибель запрещающим любить». Мысль этой античной надписи в одном из домов Помпеи проходит через все произведение почтенного писателя, представившего не более не менее как несколько художественных иллюстраций этой мысли. Нарисованы эти иллюстрации с тем изящным мастерством, с тою простою, законченностью и обработанностью, которые так свойственны школе писателей сороковых годов и почти чужды школе новейшей беллетристики. Заканчивается произведение Григоровича страстным дифирамбом женщине и любви» (цит. по кн.: Дмитрий Васильевич Григорович. Его жизнь и сочинения... с. 112—113).

Стр. 344. *...не обошлось без болгар...* — По-видимому, имеются в виду воссоединение Болгарии и избрание Фердинанда Кобургского болгарским князем, восстание майора Паницы и другие проявления народного недовольствия внутренней политикой правительства.

...и Бисмарка. — Летом 1888 г. на престол Германии вступил император Вильгельм II, в молодости бывший поклонником Отто Эдуарда Леопольда князя фон Бисмарка (1815—1898), рейхсканцлера Германии. Между молодым императором и Бисмарком начались трения, вся Европа с волнением ждала их разрыва и отстранения рейхсканцлера от власти. В марте 1890 г. Бисмарк подал в отставку.

Серрапионовы братья — персонажи романа Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776—1822) «Серрапионовы братья».

Стр. 354. ...как говорит св. Августин... — Августин (Аврелий; 354—430) был одним из влиятельнейших писателей христианской церкви.

Стр. 358. ...изобразил ее Шекспир в трагедии «Ромео и Юлият»... — Трагедия У. Шекспира «Ромео и Джульетта».

Стр. 359. Сен-Симон — герцог Луи де Сен-Симон (1675—1755), французский государственный деятель и писатель.

...рассказывает в своих записках Стендаль, писавший... под псевдонимом «Бейль». — Стендаль — псевдоним писателя Анри Мари Бейля (1783—1842). В своем «физиологическом» очерке «О любви» (1829) он описал приведенный случай.

Стр. 360. ...некто Бодмер, немецкий писатель... — Иоганн Якоб Бодмер (1698—1783) — швейцарский критик и поэт. По-видимому, мог привлечь внимание Григоровича как издатель еженедельника «Разговоры живописцев», где освещались вопросы эстетики, этики и литературы.

Стр. 361. Кирасир — офицер гвардейского конного полка, в форменную одежду которого входил металлический панцирь (кираса).

Стр. 362. ...Байрон... его история с Маргаритой Коньи. — О своих отношениях с Маргаритой Коньи Байрон рассказал в письме к Дж. Меррею от 1 августа 1819 г. Он писал: «Она одна имела надо мною власть, которую часто оспаривали, но не могли пошатнуть» (Байрон Д. Г. Дневники. Письма. М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 173).

Стр. 363. Спирит — мистик, верующий в общение с душами умерших.

Стр. 364. Турман — голубь специально выведенной породы, способный кувыркаться при полете.

...у французов... — под названием «пистолетного выстрела»... — «le coup de pistolet».

...немцы выражают их словом: «паф»... — Paff! — бац! и der Paff — выстрел.

...итальянцы словами: «amore subito»... — внезапная любовь.

Стр. 377. Бенедиктов — В. Г. Бенедиктов (1807—1873), русский поэт, с 1832 г. в течение двадцати шести лет служил чиновником в министерстве финансов.

...нечто среднее между Джиауром и Демоном... — герои поэм Дж. Г. Байрона «Гяур» и М. Ю. Лермонтова «Демон».

Стр. 378. ...с легкой руки Марлинского и наших побед на Кавказе, — Восток вошел в моду... — А. А. Марлинский (наст. фамилия — Бестужев; 1797—1837) — писатель, декабрист.

В 1829 г. был переведен из ссылки в действующую армию на Кавказ, написал ряд романтических, так называемых «кавказских» повестей.

...восторгалась *Малек-Аделем*... — героем романа французской писательницы Мари Софи Ристо Коттен (1770—1807) «Матильда, или Крестовые походы» (1805), в котором рассказывалось о приключениях Малек-Аделя на Востоке.

Стр. 379. ...романов Ж. Занд, начинавших тогда распространяться в России... — Жорж Санд (наст. имя — Аврора Дюпен, по мужу — Дюдеван; 1804—1876). Наибольшую популярность романы Ж. Санд приобрели в России в 40-е гг. XIX в.

...Лелия... поразила ее. — В романе Ж. Санд «Лелия» (1833) выведена женщина-философ, разочаровавшаяся в жизни.

Стр. 386. ...он — Манфред или Ромео... она... Беатриче... — Герои произведений Дж. Байрона, У. Шекспира, А. Данте.

Стр. 397. ...из дантовского ада нет выхода. — Над входом в ад висела надпись: «Оставь надежду всяк сюда идущий!» (Данте А. Божественная комедия. Ад. Перевод Д. Мина. М., 1855.)

Стр. 399. ...подобно Иову многострадальному... — По библейскому преданию, праведник, испытываемый сатаной с дозволения бога; невинный страдалец.

ГОРОД И ДЕРЕВНЯ

Впервые — «Сборник «Нивы» на 1892 год». Ежемес. прилож. к журн. «Нива». — СПб., 1892, № 1, январь.

Стр. 406. *Маркиза* — наружный холстяной навес или занавес на окна.

Стр. 425. *Ландо* — четырехместная карета с раскрывающимся верхом.

Стр. 428. ...фуляром на голове... — Фуляр — тонкая шелковая ткань, отличающаяся особой мягкостью.

Стр. 437. *Свивальник* — свивальная тесьма, которой заматывают ребенка в пеленках.

Стр. 439. *Сибирский яргак* (ергак) — тулуп шерстью наружу.

Стр. 442. *Пошевни* — широкие сани, розвальни, обшитые залубеневшей (заскорузлой) овчиной.

Стр. 444. *Камер-юнкер* — почетное придворное звание, степенью ниже камергера.

Камергер — почетное придворное звание старшего ранга; отличительный знак — ключ на голубой ленте.

СТОЛИЧНЫЙ ВОЗДУХ

Впервые — в кн.: *Авсеенко В. Окольным путем. Повесть. — В море житейском. Литературный жанр. — Григорович Д. В. Столичный воздух. Эскиз петербургских нравов.* СПб., изд. А. Ф. Базунова, 1873.

Стр. 455. *Сенатский чиновник.* — Сенат с первой половины XIX века стал высшим судебным органом, осуществлявшим надзор за деятельностью государственных учреждений и чиновников.

Стр. 456. *Коман ву бонжур, мусью!* — Искаженная фраза, бессмыслица, в переводе на русский звучащая примерно так: «Как вы здравствуете, господин!»

Стр. 457. *Анафема* — отлучение от церкви, проклятие.

Стр. 459. *Томбола-аллегри* (и т.) — быстро разыгрывавшаяся лотерея, в которой выигрышные номера вынимались из барабана.

Стр. 470. *Филимон и Бавкида поссорились.* — Филемон и Бавкида — мифологические персонажи, благочестивая супружеская чета из Фригии; за гостеприимство, оказанное богам, были награждены долголетием, умерли одновременно и были обращены в деревья, растущие из одного корня.

ЗАМШЕВЫЕ ЛЮДИ

Впервые — журнал «Русский вестник», 1891, кн. 1, под заглавием «Заноза».

Пьеса «Замшевые люди» является сценической переделкой повести «Акробаты благотворительности», вышедшей в 1885 г.

Московский Малый театр обратился к Григоровичу с просьбой отдать пьесу для постановки на сцене театра. По-видимому, писатель не сразу ответил, так что К. С. Станиславскому пришлось вновь обратиться к Григоровичу. Он писал 29 октября 1890 г.: «По поручению Московского Общества Искусства и Литературы, я позволяю

себе еще раз беспокоить Вас нижеследующей покорнейшей просьбой. В Москве держится упорный слух о том, что пьеса «Замшевые люди» не будет исполнена в текущем сезоне на сцене Малого театра. Между тем, московская публика с нетерпением ожидает появления на сцене произведения любимого и уважаемого писателя.

К нам неоднократно обращались письменно и устно некоторые лица из публики с просьбой: дать им возможность познакомиться с Вашим произведением на нашей сцене. Это дало нам смелость еще раз беспокоить Вас своей покорнейшей просьбой, тем более, что мы надеемся исполнить Вашу пьесу с хорошим ансамблем, — по крайней мере, в тщательности ее постановки и срепетовки сомневаться не следует, так как наши члены, руководимые Гликерией Николаевной Федотовой, — относятся к своему делу с полной любовью, воодушевлением, тем доверием, которым Вы, быть может, захотите их почтить.

Мы могли бы, по примеру «Плодов просвещения», игранных нами в прошлом году, исполнить Вашу пьесу без публикаций, т. е. с неофициальной продажей билетов» (Ежегодник Московского Художественного театра. 1948 г. М.—Л., Искусство, 1950, т. 1, с. 484).

Станиславский рассчитывал на 4 вечерних сбора. Премьера пьесы состоялась 25 октября 1891 г. и прошла в сезоне шесть раз.

Стр. 485. *Магистр прав...* — ученая степень, присуждаемая окончившим университет или лицам, сдавшим специальный экзамен и защитившим магистерскую диссертацию.

Стр. 488. *Иерихонская труба* — по библейскому преданию труба, от звуков которой разрушился город Иерихон.

Стр. 493. *...обновить наше черносливное поколение...* — т. е. обессилевшее; чернослив употреблялся как слабительное средство.

Стр. 508. *Кто вам шил панталоны?* — *Ripetti*. — Григорович, снижая образ Волованова, делая его комически нелепым, через всю пьесу проводит художественную деталь: постоянный интерес Волованова к частям туалета героев. На происхождение этой детали указал П. В. Быков: «Мне показалось, что Панаев смотрит сегодня как-то особенно горделиво, — говорил Дружинину Григорович, — верно, опять сшил себе новые, изумительные брюки!» Дружинин на такую шутку морщился, так как и сам любил одеться ще-

гольски. В комедии Григоровича «Замшевые люди» одно из участвующих лиц говорит другому: «Какие у вас симпатичные брюки!» Григорович говорил мне, что фраза — подлинное выражение Панаева, который не мог смотреть равнодушно на красивые брюки. Точно так же он не в состоянии был скрыть неприятного чувства при виде дурно сшитого костюма, плохого белья, немодного галстука» (Быков П. В. Силуэты далекого прошлого. — М. — Л., ЗиФ, 1930, с. 80).

Стр. 509. ...выдумали какого-то Шопенгауера. — Артур Шопенгауэр (1788—1860) — немецкий философ-иррационалист. Сущность мира представлял как неразумную волю, как бесцельное влечение к жизни; его философия носила пессимистический характер.

Также вот славянский вопрос... — В 1867 году в Москве состоялся славянский съезд, который оживил идеи панславизма — общественно-политического течения, ставившего задачи объединения славянских народов под эгидой России. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. широко развернулась деятельность славянских комитетов, но все же панславизм был маловлиятельным политическим течением.

Стр. 521. *Куафер* (фр.) — парикмахер.

Стр. 534. *Какие пуэнты, какая элевация!* — искаженные французские обозначения балетных па: хождения на носках и подъемах.

Стр. 546. *Статский советник* — чин V класса «Табели о рангах», соответствующий военному чину полковника.

Стр. 552. *Если б даже король Людовик Филипп не давал уроков...* — Французский король Людовик Филипп (1773—1850) был сторонником революции во Франции, якобинцем; вынужденный эмигрировать в Швейцарию, зарабатывал на жизнь уроками географии и математики; в 1830 г. был провозглашен королем Франции, отрекся от престола в 1848 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Пахарь	7
В ожидании парома	47
Кошка и мышка	86
Пахатник и бархатник	156
Гуттаперчевый мальчик	232
Недолгое счастье	276
Не по хорошу мил, — по милу хорош	343
Город и деревня	405

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Столичный воздух	455
Замшевые люди	482
Комментарии	567

Григорович Д. В.
Г83 Сочинения. В 3-х т. Т. 2. Повести и рассказы (1856—1892); Драматические произведения/Сост., подгот. текста и коммент. А. Макарова.— М.: Худож. лит., 1988.— с. 591.
ISBN 5-280-00063-9 (Т. 2)
ISBN 5-280-00061-2

Во второй том входят повести и рассказы, написанные Д. В. Григоровичем с 1856 по 1892 гг.: «Пахарь», «Гуттаперчевый мальчик», «Недолгое счастье» и др., а также пьесы «Столичный воздух» и «Замшевые люди».

Г 4702010100-180 3-88
028(01)-88

ББК 84Р1

**Дмитрий Васильевич
ГРИГОРОВИЧ**

Сочинения в трех томах

Том второй

Редактор *О. Голуб*
Художественный редактор *Г. Масляненко*
Технический редактор *Л. Изгаршева*
Корректор *Г. Гананольская*

ИБ № 5224

Сдано в набор 16.07.87. Подписано к печати 30.12.87. Формат 84 × 108¹/₃₂.
Бумага кн.-журн. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,08.
Усл. кр.-отт. 31,5. Уч.-изд. л. 31,3. Тираж 200 000 экз. Изд. № П-2801.
Заказ № 1076. Цена 2 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15